ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ

5

Леонид Андреев



Л. Н. Андреев. Фото 1914 г.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений в шести томах

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1995

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений · Том пятый

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
1914 - 1915

САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ
1908 - 1916

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·

1995

ББК 84(2Рос-Рус)1
А65

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

Составление и подготовка текста
В А АЛЕКСАНДРОВА и Е. М. ЖЕЗЛОВОЙ
(Сатирические миниатюры для сцены)

Комментарии
М. В. КОЗЬМЕНКО

Оформление художника
Г. КОТЛЯРОВОЙ

А $\frac{4702010106-040}{028(01)-95}$ Подписное

ISBN 5-280-01530-X (Т. 5)
ISBN 5-280-00978-4

РАССКАЗЫ
1914–1915

ГЕРМАН И МАРТА

Обоим влюбленным было за пятьдесят: Марте Иконен — пятьдесят один год и Герману Метанену — пятьдесят шесть. Когда началась у них эта странная, смешная и печальная любовь, не знал никто в Мецикюлях, да и не старался узнать: там люди молчаливы, и скрытность их естественна, как естественно молчание зеленых мхов, безгласность снега и глубокая тишина невысоких небес. Оба они вдовели: и Марта и Герман — но каждый в браке своем жил хорошо, как это принято у молчаливых людей, которые не кричат и не жалуются; и у Марты был сын, высокий, худой, склонный к чахотке, работящий Вилли, а у вдовца осталась дочь, уже немолодая и некрасивая девушка, с широкоскулым злым лицом и водянистыми глазами. Ее серо-желтые волосы напоминали парик у дешевых кукол, а юбка непонятного цвета и вылинявшая кофточка имели такой вид, как будто больше всего на свете ненавидит она свою одежду. Звали ее Тильда.

Но далеко позади тихой полосы вдовства, за тем временем, когда еще не рожались на свет ни Вилли, ни Тильда, вспоминалось стариками нечто милое сердцу, что и было, вероятно, началом их необыкновенной любви. Однажды летом, идя каждый по своему делу, они встретились в лесу и молча прошли вместе восемь километров; у большой дороги они простились, и каждый пошел дальше по своему делу: Марта, тогда еще девушка, готовилась к своей свадьбе, а Герман, тогда еще жених, готовился к своей. Только всего и было; впрочем, прощаясь, Герман долго держал руку девушки, а она долго держала свою руку в его руке, но молчания они не нарушили и оба смотрели в сторону. Это было летом, у большой дороги, на опушке леса. И Герман видел возле трухлявого пня кустик земляники, которой много уро-

дилось в то лето, а Марта слушала, как звенят бубенцами невидимая в лесу корова и теленок; но сказать они ничего не сказали и молчания не нарушили.

Овдовев, они стали чаще видеться друг с другом, но не так часто, чтобы это бросалось в глаза; иногда неделями не встречались. Дома их, проконопаченные мхом, почерневшие от снега и осенних дождей, находились рядом, и смежные небольшие участки их земли разделялись гнилым забором из наклонных черных жердей; в одном месте верхние жерди проломились, и тут был лаз, которым они пользовались для соседских деловых сношений. И у Германа его неширокая полоса земли была под травою, и не было на ней ни кустика, ни дерева, а у Марты часть земли запахивалась сыном под овес, и был, кроме того, кусок серого корявого леску, откуда брали сучья на зиму. И вокруг, до самого черного сплошного леса на холме, стояли одиноко такие же домики и такие же заборы, и жили в них все такие же Иконены и Метанены: других фамилий почти совсем не было в Мецикюлях. Вероятно, все они находились в далеком родстве, как в родстве состоят и деревья в лесу, родившиеся от общего семени.

С любовью своею Герман и Марта не торопились, и она росла медленно, как всякая поросль: весною и летом быстрее, зимою совсем останавливалась; очень возможно, что они просто не замечали течения времени или не видели ему конца. И когда решили они пожениться, то встало перед ними новое препятствие: по строгому закону страны, старики за пятьдесят лет могут венчаться только с разрешения детей. Они знали и раньше про этот закон, но, может быть, им не хотелось про него думать; но тут пришлось.

Происходило это весною, в мае, когда всякая любовь шагает быстро; но, хотя день был ясный и теплый, сидели они в избе у Марты, на лавке, перед закрытым окном, за которым неясно желтел луг в золотеньких скромных цветочках. И оба думали.

— Вилли не позволит,— сказала Марта.

— Нет, позволит. И моя Тильда позволит. Как ей не позволить? — сказал Герман. У него были рыжие бачки кустиками и красное сморщенное лицо; с годами он стал легкомыслен и самонадеян.

— Нет, не позволит,— сказала Марта.

И Вилли действительно не позволил. Через неделю вечером, у того же окна, он выслушал просьбу матери и долго молчал, сжав тонкие серые губы. Вероятно, он был удивлен, но не показал этого, и в его голубых, как кусочки стекла,

маленьких глазах нельзя было прочесть ни удивления, ни сочувствия, ни гнева. И, помолчав еще, решительно и коротко сказал:

— Нельзя.

— Почему нельзя? А если можно? Ты подумай, Вилли, я подожду.

Но и еще подумав, он так же коротко и решительно ответил:

— Нельзя.

Потом они еще час сидели рядом на лавке и молчали. И в тот же вечер такой же ответ получил Герман от своей дочери Тильды. Но и злой ответ был быстрее, и Герман не сразу поддался, даже кричал и обругал свою дочь:

— Са́тана!

А у той побелел нос и покраснели скулы, и видно было, что она ненавидит не только платье свое, но и глиняные волосы, и отца, и весь свет.

Через час Герман и Марта сошлись у забора. Они не назначали свидания, но так случайно вышло, что каждый пошел к забору; и Марта сказала:

— Вилли не позволил. А Тильда тоже?

— Тоже. Са́тана!

А в окна, пока они думали, смотрели на них Вилли и Тильда, каждый в свое; и за мутным стеклом их лица были как серые неподвижные пятна. Уже наступила ночь, но свет еще не погас, и не было вероятия, что когда-нибудь и погаснет: так был он неподвижен и тускл. Над головою беззвездное небо мутнело голубым, а на западе, над оранжевой полоскою заката, синими тяжелыми свитками перекинулись неподвижные тучи, на одном краю завязавшись в большие мягкие узлы. Но если бы и двинулись они и закрыли небосвод, свет все ж бы не погас, и только не так красна стала бы крыша на далеком господском доме. Было тепло, под обрывом дымилась река ночным туманом, а за рекой, в березовом пахучем лесу, куковала кукушка. Это была весна, май, когда широко шагает всякая любовь.

И Герман решительно сказал:

— Завтра я поеду в Выборг. Мы еще посмотрим!

— Поезжай,— согласилась и Марта.

Через неделю Герман поехал в Выборг. Это было первый раз, когда он так далеко уезжал из Мецикюль, хотя ехать по железной дороге приходилось всего три часа; и в первый раз он видел город. Как и деревья в их лесу, Метанены и Иконены вообще никуда не ездили, а если кто сходил с ума, то он прямо уезжал в Америку и пропадал навсегда, как

срубленная сосна. Но и в Выборге ничего хорошего не сказали Герману, а спирту он напился, а деньги пропил и потерял, и назад вернулся только через пять дней пешком. Потом, через некоторое время еще, Герман и Марта вдвоем ездили к приходскому ленсману, за двадцать километров, и все уже знали, глядя на них, зачем они едут; знали и то, глядя на них в обратном пути, с чем они возвращаются. Но ни в одних из наблюдавших глаз, ни в голубых, ни в серых, нельзя было прочесть ни удивления, ни сочувствия, ни насмешки. Ездили они на чужой лошади, которую выпросил Герман у соседа, и на возврате Герман гнал ее без милосердия и кричал на нее: сáтана!

Видя, что закон сильнее их любви, Марта и Герман решили подкупить детей: у Марты от покойного мужа оставалось спрятанными четыреста марок да у Германа за проданный когда-то участок сохранилось около восьмисот, итого тысяча двести. Но и на деньги не пошла непреклонная Тильда, а Вилли с тем же безучастным видом и так же коротко ответил:

— Нельзя.

На самом деле и Вилли и Тильде деньги были очень нужны, так как за это время, подчиняясь действию весны и обстоятельств, они сами успели полюбить друг друга и сами решили пожениться: они были молоды, и это было их право, которого никто не отрицал. К тому же вел их и хозяйственный расчет: в отдельности каждый имел мало, а вдвоем они будут иметь большое поле, частью под травою, а частью под овсом, и небольшой корявый лесок.

Марта ничего не сказала, узнав о намерении детей жениться, а Герман ругался и ходил молчать по соседям, у которых рассчитывал найти сочувствие; но сочувствия не встретил, и они тоже молчали, и кончалось лето, с которым проходит и любовь,— и скоро он успокоился. Теперь по ранним вечерам, в холодке наступающей долгой ночи, у забора молча стояли и смотрели в стороны влюбленные Вилли и Тильда, а за мутными стеклами окна серело неподвижное пятно лица Марты. Сперва их было два: Герман тоже глядел на влюбленных, покамест ему не надоело это.

И к зиме все стало так, словно никогда Герман и Марта и не думали жениться, а Вилли и Тильда всегда были женихом и невестой. Они уже вместе ездили в Выборг на ярмарку покупать наряды и лошадь для Вилли, так как Герман отдал дочери деньги и так же поступила Марта с своими четырьмя сотнями марок. И все знали, зачем они едут, а потом все

узнали новую лошадь Вилли и молча занесли ее в список живых тварей, населявших Мецикюли и бывших на счету у приходских властей и у Бога.

Под самое Рождество Марта пропала. Два дня молчал и ждал ее сын Вилли и всю вторую долгую ночь не спал: выходил раздетый за дверь и слушал. Но все молчало, и снег был бел даже в темноте, а избы и заборы черны, чернее же всего было небо за белой прямой крышей Тильдиного дома. На третий день, когда рассвело, Вилли позвал с собой рыбака Айрику с багром, и они вдвоем пошли разыскивать пропавшую Марту. Ясные на неглубоком снегу, прямые следы шагов привели их к забору, к тому лазу, через который общались соседи; потом следы пересекали вспаханное с осени, замерзшее под снегом поле, и тут были неровны, нога вихлялась на колчах. Дальше следы по крутому спуску, по снежной целине привели их на реку,— и тут дело стало ясно.

На льду снегу было совсем мало, и Марта шла прямо и ровно, как по ниточке, ни разу не остановилась и не повернула, шла, как приходский землемер; и по бокам ее узкого следа молча и неторопливо шагали Вилли и рыбак Айрика с багром. У проруби, где снег оледенел от пролитой воды, они остановились и закурили, всматриваясь в черное отверстие, уже затянувшееся тонким ледком; но зоркий Айрика увидел следы за прорубью, и они пошли дальше. За лесистым поворотом открылась черная полоса, пересекавшая реку, там находилась быстрина, не замерзающая в самые сильные морозы, а перед быстриною было глубокое место; и туда шли прямые, как по ниточке, узкие следы. К открытой воде лед становился тоньше и снегу на нем меньше, и перед самой чернотою глубокой воды следы обрывались вместе с обломанным ледком; некоторые льдинки унесло течением, другие уже смерзлись и припаялись к краю, и одна вмерзла тонким обсосанным ребром.

Марту опытный Айрика нащупал багром на быстрине, на мелком месте, куда сволокло ее течением. Потом на новой лошади ее привезли домой, и все шесть дней, до похорон, в ее доме целую ночь светился за мерзлым стеклом неяркий огонь. Но он был один на все Мецикюли, где с восьми часов вечера во всех черных избах гасили свет, и это придавало огню неестественно бодрый и многозначительный характер: словно он один разговаривал, когда все молчит.

Но всего удивительнее было то, что Марта утопилась зимою, когда гаснет всякая любовь.

КОНЕЦ ДЖОНА-ПРОПОВЕДНИКА

На американском корвете «Джордж Вашингтон» родился под пушкою щенок. Его мамаша была дурная и безнравственная собака: она любила шум, скандал и драку и душу отводила не в созерцании красот океана, а в грызне с собаками на берегу и в воровстве на корвете из камбуза; и будь она матросом, она была бы первым пьяницей, и не выходить бы ей из темного карцера. И не было в ней ничего женственного и привлекательного: взъерошенная, как сухая половая щетка, измазанная смолой и варом,— она насквозь пропахла крепким табачным дымом: сама она, конечно, не курила, но курящих обожала. Глаз у нее всего был один, да и тот мошеннический; другой она потеряла во время войны Северных Штатов с Южными, когда она неудачно бежала из плена у южан.

Родив под пушкою щенка, да и то одного вопреки обычаю всех честных собак, она в первую минуту изумилась и растерялась: так для нее самой было это неожиданно. Но кое-какие чувства жили даже в ее табачной, окаянной душе, и целых две недели, к стыду ее друзей матросов, она разыгрывала из себя нежнейшую мамашу, играла безбожную комедию. Когда она под своей пушкою кормила щенка, лицо ее было ханжески свято и непорочно, как у корабельного пастора, когда в воскресенье читает он проповедь. Матросы кляли ее за ложь и притворство, а щеночку было все равно, только бы сосать да греться: он был слеп и ничего не понимал в делах мира сего.

И, конечно, через две недели,— да и те полностью еще не прошли,— безнравственная и дурная собака вернулась к своей пагубной жизни; утомленная вдобавок воздержанием и святостью, она устроила на берегу такой дебош, что даже боцман, сам пьяница, осудил ее, капитан же в гневе приказал отчислить ее с корвета.

— У нас есть щенок,— сказал капитан,— воспитайте его в правилах веры и доброй нравственности, и тогда я не повешу его. А иначе повешу.

Так щеночек и заместил безнравственную мать свою, а ее потом видели матросы в самых грязных притонах Сан-Франциско и в гавани, где она искала для себя подходящий коммерческий корабль. Военная карьера была — увы! — навсегда уже испорчена.

Даже и не подозревая того, что от высоты его нравственных свойств зависит самая жизнь его, щеночек и так был очень мил и порядочен. Вероятно, был хорошим псом его неизвестный отец. Назвали щеночка Джоном и оставили жить под пушкою, которую со временем, по щенячьей наивности, он стал считать своей настоящей родною матерью. Враг шума и громких криков, какими сопровождалась работа матросов на корвете, он любил свое тихое пристанище; возмущаясь божбою и проклятиями матросов, их буйной веселостью в дни праздников и попоек, он особенно высоко ценил молчание пушки, ее строгое и важное спокойствие.

«Едва ли есть у кого такая хорошая мама, как у меня,— думал он, укладываясь спать под лафетом,— конечно, мне послал ее Бог за то, что сам я не грешу».

Здесь уж он хватал через край, как это понятно всякому; но его молитвенно-благодарственное отношение к сущему не ускользнуло от внимательного взора боцмана. Вспомнив же то выражение лица, какое было у его мамаши во время кормления и какое бывает у пастора во время воскресной проповеди, боцман с согласия команды назвал щенка «Проповедником». Так он и назывался Джоном-Проповедником, но капитан об этом не знал. Едва ли бы ему понравилась такая степень совершенства в каком-нибудь щенке!

Но вот что случилось однажды. Собрались матросы у пушки, матери Джона, и что-то весело стали делать возле нее. Это бывало и раньше, когда они чистили пушку и наводили на нее блеск; и Джону-Проповеднику нравилось это, так как косвенно — по его щенячьему мнению — придавало блеск и всему его роду. Да и мама действительно делалась красивее от уборки, и ее молчание становилось задумчивым, как у всякой красавицы; и лунный мечтательный свет охотнее отражался на ее гладких боках.

Но в этот раз матросы делали что-то другое: то ли кормили маму, то ли от чего-то лечили ее,— Джон-Проповедник понять не мог по молодости и отсутствию опыта. Но все смеялись, и было очень весело, и с приятным выражением лица Джон забрался под пушку и оттуда улыбнулся боцма-

ну. Однако боцман не ответил, а концом веревки выгнал щенка и сказал приблизительно следующее:

— Если ты мне, то я тебя! Сядь здесь и смотри.

— Где?

— Вот тут. Тебе весело?

— О да, дорогой мой господин боцман! Я истинно счастлив и только одного желал бы, чтобы и другие собаки могли про себя сказать то же и с такой же основательностью, как говорю это я...

— Не скули. Сейчас будет.

И тут пушка — ахнула! Но ка-а-к она ахнула! Но как! И не успел Джон-Проповедник осуществить первую естественную мысль: о самоубийстве, как мама ахнула вторично. Но ка-а-к она ахнула! Но как!

Взглянул Джон-Проповедник по сторонам, насколько он еще мог глядеть, так как глаза у него тряслись,— и увидел, что стоит ряд таких же нарядных мам, как и его, и все по одной — ахают. Но ка-а-к ахают! Но как!

И тут многое стало ясным Джону в делах мира сего, и сделался он философом. А через какой-нибудь год он имел взъерошенную шерсть, как у беглой мамаши, полтора глаза вместо двух, пил джин, курил и клялся безбожно. И огорченный добрый капитан уже искал веревку, чтобы повесить его согласно обещанию, а боцман невыразимо мучился угрызениями совести и говорил команде:

— А я еще назвал его Проповедником! Простишь ли ты меня когда-нибудь, Джон?

— Уж и не знаю. Если, впрочем, не повесят — прощу!

ЧЕРТ НА СВАДЬБЕ

Когда Черт Карлович проковырял на замерзшем стекле дырочку, надышал в нее своим горячим дыханием и увидел, что там свадьба, ему вдруг ужасно взгрустнулось. Вспомнилась пылкая молодость, и мечты о вселенском добре, порывы к идеалу и тогдашняя чистая любовь к молоденькой ведьмочке, черт ее возьми совсем!

Шморганул носом, спрятал рога в сугроб и, не долго думая, вошел под видом предобрейшего господина. Глазки сделал маленькие и добрые, на носу повесил добродушие и, рассыпая изысканные поклоны, минут двадцать улыбался во все стороны: это я.

— У вас музыканты? Какая неожиданность! У вас танцуют? Какая прелесть! Позволите и мне? Я умею: па-де-катр, лезгинку, английский вальс, тарантеллу, мазурку и, кроме того, хожу на стальных носках: вот так!

Музыканты заиграли, все затанцевали, старики снова задремали, и Черт Карлович, плача горько, сказал новобрачной:

— Дитя мое! Будь счастлива!

— Благодарю.

— Живи долго.

— Благодарю.

— Народи много детей... но, ах!

— Ах! Благодарю.

Трам-блям, трам-блям, тра-та-та! Трам-тррр! Музыкант со стула свалился, струна лопнула, слюною труба подавилась: плю! плю! плю!

Новобрачная засмеялась, девицы засмеялись, старики проснулись и испугались. Кошка поморщилась, мяукнула и, угрожая сгорбленной спиной, демонстративно вышла наружу. Но этого мало: собрала других кошек и вступила с ними в заговор.

— Но, это пустяки! Какие розовые щечки! Какие глазки! Положительно, я таю. Трам-блям!

— Трам-блям.

— Тра-та-та!

— Тра-та-та.

Стало очень весело, потому весь дом закружился. Поплыли, поехали старики и старухи, качаются, как в бурю: никогда еще так не плясалось.

Ах, какой господин! Опять кланялся минут двадцать и улыбался вверх и вниз, всех помазал улыбкой, как собака пушистым хвостом. Вдруг — бува!.. затошнило дедушку.

— Но это пустяки! Не то вино или не туда вино, но позвольте мне! Как говорится: брак и честь имею. Раз! Два! Твое здоровье, мое дитя!

— Благодарю.

— За твоих детей... но, ах!

— Ах! Благодарю.

— Трам-блям, трам-блям, тра-та-та! Трам ... тпру!

Барабан прорвался, а кошка подняла лапу и говорит:

— Вы слышите?

И мрачно задумались заговорщики. И мрачный ветер прошел по мрачному норвежскому берегу и мрачному фиорду. И вышли гуськом из-за скалы двадцать два черта и по очереди стали смотреть в окошко: посмотрит — и кувыркнется. Посмотрит — и кувыркнется.

Трам-блям, трам-блям, тра-та-та!

— Милостивый государь! Мы вас не знаем, но это просто невероятно, чтобы один-единственный господин внес столько веселья. Дом положительно кружится. А ваша нежность равняется только вашему искусству в танцах!

— Помилуйте!

— Нет.

— Пощадите мою скромность!

— Нет!!

— Я умоляю!

— Нет!!!

Трам-блям, трам-блям, тра-та-та!

Вино льется, музыканты зажаривают, у новобрачной чепчик сбился.

И вдруг все сразу залопотали, затрещали старики как сороки: ла-па-та, ла-па-та, ла-па-та! Но какой господин, какой весельчак: выпил свое вино, и вдруг съел свой стакан, сгрыз его, как не бывало! А кошка подняла лапу и говорит:

— Смотрите! Смотрите! Я слагаю с себя ответственность за происходящее.

И, действительно: двадцать два черта придумали новую забаву. Один за другим, по очереди, начали юркать в трубу, головой вниз, хвостом кверху — и хвост стоит палкой, твердый, прямой, как трость у джентльмена. Юркнет черт, повертится в печке и стрелой промчится через комнату наружу, и опять в трубу.

Черт Карлович сердится и хохочет:

— Мерзавцы, вы меня подведете!

— Хи-хи-хи!

А танцоры жмутся, а старики ругаются:

— Ой, в ноги дует! Ой, ревматизм!

— Хи-хи-хи!

Трам-блям, трам-блям, тра-та-та!

Но какое вино: дом пьян! дом пьян! И никто не заметил, как дом два раза кувыркнулся через голову и лег на спину. Танцоры завалились, старики в кучу, старухи хохочут. Что ж! Танцуют на стене, а дедушка сидит на стенных часах и ловит маятник.

— Трам-блям, хи-хи-хи! Трам-блям, хи-хи-хи!

Стоп! Задний ход! Руля на борт! — выскочила скрипка у музыканта и заиграла одна, пьяна, как матрос на берегу. Но что она играет!

— Лови ее! Хватай!

— Я, право, смущен! Какая неожиданность! Вы подведете меня, мерзавцы, сегодня честный брак! Честь имею!

— Хи-хи-хи!

— Хо-хо-хо!

— Держите скрипку! Милостивый государь, это ваши шалости. Она играет черт знает что. Взгляните на дедушку! Взгляните на бабушку!

— Ловите барабан!

— И он тоже?

— И он тоже! Милостивый государь, скажите вашему барабану, что это неприлично; он заигрывает со старухой, у которой двенадцать внучат!

Тррр! Дедушка таки попал ногой в барабан и прорвал, скрипка плачет, дом танцует: трам-блям, тра-та-та. Чертяки хватают за ноги, вышла луна и сверху села на окно. Трам-ти-ти!

— Дитя мое! Я пылаю, как горн. Позвольте мне укусить вашу шейку!

— Но ах! В какое место?

— Дитя мое! Место не важно!

— Ай!!

Бухи-ухи, бац-бац!

Новобрачному, по недоразумению, свернули скулу, дедушка надел на голову барабан, а бабушка бьет его палкой. Вот так драка. Чертяки горланят:

— Наших бьют! Не выдавай! Завораживай! Оттягивай!

— Но позвольте! Вы говорите: оттягивай, когда надо именно наддать! Помню я, как еще в детстве влез я на гору, откуда виден рай. Прелесть! Тишина! Ручейки, птички, звери друг у друга блох за ушами ищут, и полное отсутствие огнестрельного оружия! Но меня не пустили! Не пустили! Наддай!

— Оттягивай!

— Наддай!

Ну и драка! Так раскачали дом, что встал он кверху ногами, насилу черти выскочили. Сели на горочке и смотрят, как дом на голове стоит и в воздухе ногами машет, а внутри гомон, крик, плач, рев, свист, оплеухи, затрещины. А кошка мяукает зловеще:

— Я говорила! Нет, не беру на себя ответственности.

И мрачный ветер прошел по мрачному норвежскому берегу и мрачному фиорду, и загоготали двадцать два черта, загоготали, улюлюкают:

— Улю! Улю! Улю! Сколько нас?

Двадцать два. Карлыча нет! Улю!

— Улю! Улю!

Выскочил и Черт Карлович, сел, едва дышит от усталости, вытирает испарину.

— А рога?

— Ах, черт, рога-то чуть и не позабыл.

Вдруг выскочили скрипка и труба, взвились в воздух и начали разделывать:

— Трам-блям, трам-блям, тра-та-та! Танцуйте, двадцать два! Трам-блям!

Танцуют чертяки на снегу, черные как уголь, из печки, поднятой ветром. А дом подумал-подумал и, как дурак, пошел топиться в фиорде, в холодной воде, в черной воде.

— Улю! Улю! Улю!

— Тра-та-та!

— Улю! Улю!

— Хи-хи-хи!

И мрачный ветер пронесся по мрачному берегу и мрачному фиорду.

Вот так свадебка!

ОСЛЫ

НОВЕЛЛА

1

Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным bel canto [1], и уже при первом выступлении своем затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея; а к тридцати годам жизни его слава распространилась по всему Старому и Новому Свету, от солнцепламенного Рио-Жанейро до холодных гиперборейских стран.

Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти; но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобства холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие плодом этих случайных любовных связей, не

[1] Прекрасное пение *(ит.)*.

оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов.

В ту пору, когда подвизался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса, но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходившей всякое вероятие, и казался принадлежащим всесильному чародею. Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца или магнит железные опилки; правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчивалось успехом и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти.

Так, передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки.

— За бочонком вина и под аккомпанемент барабана — пожалуй, я готов его послушать и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках; но эти трели и пиано... извините, я слишком занят! — сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца.

И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения, равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состояние, близкое к эстазу и потере сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой:

— Ваше величество! Если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы: марш за мной! другим я спел бы: вы мною покорены! Смирно! — и дело было бы в шляпе с позволения вашего вели-

чества. Должен сознаться, что это сильнее штыка и даже — сильнее пушки!

А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось с великим певцом, однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпою. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирался на свидание: внезапно окруженный толпою грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная бонна ведет послушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их немых от восхищения и неожиданности.

Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении.

2

Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы; и однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу, Гонорию ди-Виетри:

— Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу, как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь.

Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни.

— Деревья,— повествовал Гонорий,— привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу; очарованные скалы теснились к нему; птицы лесные оставляли свою чащу, а звери — свои трущобы и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея...

— Так это сказка! — со вздохом облегчения сказал гордый певец.— Ну, а как же окончил Орфей свою жизнь?

— Очень дурно, Энрико,— отвечал Гонорий,— он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. Берегись, Энрико!

Певец засмеялся:

— Да, в этом мы похожи, и я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?

— Мог бы, я полагаю.

— А мог бы он пением привести грабителей в полицию?

— Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка, а ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный.

Энрико задумался и, помедлив, сказал:

— Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?

— Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать,— ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди-Виетри,— но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье!

Оба посмеялись шутке, и на том и окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный, Орфей стоит во мнении людей выше его, и, снова слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру! Очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предрассудок, от которого теперь он должен так несправедливо страдать. Но скалы, которые теснились к певцу? Конечно, скалы — это глупость, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчивы, как были тогдашние; да и зверей теперь можно найти только в зверинцах — но все же?

Уже совсем позабыл о разговоре занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководиться его знаниями и советами:

— Послушай... а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных? Например, коров, собак и кур.

Гонорий подумал и ответил осторожно:

— Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил, но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь.

— Мне все равно, сказка это или нет! — сердито ответил певец.— Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слыхал об этом Орфее, о котором столько лгут!

Испуганный секретарь поспешно согласился, но это

лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, чем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось, и часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупо отвечая на поцелуй горячих и душистых губ, думал в отчаянии: «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего».

Наконец терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди-Виетри:

— Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду три или четыре дюжины ослов...

— Ослов! — воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец гневно топнул ногой и закричал на высоких нотах своего прекрасного голоса:

— Ну да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут! Они очень музыкальны.

Гонорий почтительно склонил голову:

— Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны — наоборот: и пословицы, и опыт народов учит нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья. Так, в басне о соловье...

— А ты сам очень любишь вульгарного соловья? — возразил певец и добавил: — Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как и в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении; самая их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха

коснется мой вдохновенный голос: я им спою все то, что я пел бразильскому императору, графу, грабителям и английской королеве.

Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория: непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всесилие, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря: быть может, Энрико и прав,— думал последний, отправляясь нанимать ослов,— и в этих животных не все еще погасло для искусства, сила же Энрико воистину безгранична!

Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел пригласить синдика и многих других почетных лиц города, не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскрывал он рот для пения. Но первые три ряда кресел он, с надлежащим извинением перед почтенными гостями, предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами, остальным же слушателям оставил боковые и задние места.

Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца: оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику надо платить от трех до пяти лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике; но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что — это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах; и, молитвенно вздохнув, добавил:

— А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты, и, таким образом, ты останешься в выгоде. Главное — победить!

— А в этом уже положись на меня,— ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение.

3

Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания,— сам Энрико и озабоченный Гонорий каждый делали свое дело.

Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все

еще окончательно не уверенный, Гонорий ди-Виетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию; решив затратить даже лишние деньги, он уже три дня выдерживал ослов в саду, перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волнующего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, ослы приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы брому и других успокоительных лекарств.

Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошенькие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами, напоминали скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных; одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать, и лишь при восходе солнца, на рассвете воскресного дня, два или три ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Гонория.

Со своей стороны, Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Гонория можно было назвать «духовною пищею» для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен: для первого отделения — нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно печальный сон.

Для второго, после краткого антракта,— каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц; и, наконец, для третьего, решительного — трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой... нечто такое, над чем может зарыдать и камень! И если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца!

Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочною красотою сада

и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира, Энрико Спаргетти.

Первые четыре ряда, предназначенные для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлица, обитые красным бархатом; и когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения; кроткие и задумчивые, со своей мышиной блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны! На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами.

И вот — при громе аплодисментов показался на эстраде Энрико Спаргетти, несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости; как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном ответив на приветствия, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать.

И все смолкло.

При первых же звуках чарующего голоса, превратившего все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство; и когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какою трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца ослы. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно:

— Это — победа!..

— Si, signor...[1] — ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.

Надо думать, что молчание ослов обусловливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели,— в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдыхами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать г.г. ослам откричаться.

[1] Да, господин! *(ит.)*

Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику — лишь моментами, в случайные порывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.

Так при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле закончилось первое неудачное отделение.

— Это же невозможно! — говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория.— У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хоть ты-то слышал меня? Я себя не слыхал!..

— Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...

— Ах, оставь! — воскликнул Энрико.— Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?

Гонорий нерешительно ответил:

— Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...

— Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! — горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы.— А как я для них старался! Я сам — сам! — плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы... Нет, я их проберу: долой лирику — я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!

— Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! — плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:

— Пожалейте, синьор!

— А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!

При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение: и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных

животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец — слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец.

Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:

— Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!

— Si, signor.

— Он будет моим первым учеником! Начинай!

— Si, signor.

И снова дружно заревели ослы и,— о ужас! — к ним присоединился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приуготовал в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.

Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъехались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:

— Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос.

ЭПИЛОГ

К счастью, тревога оказалась ложною и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время, благодаря стараниям Гонория, самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим bel canto великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда.

Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекричать осла.

Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху.

МОИ АНЕКДОТЫ

(ЛИСТКИ ИЗ «МОИХ ЗАПИСОК»)

Не имея претензии быть присяжным остроумцем, я, однако, не лишен чувства юмора и весьма ценю истинно смешное: смех оживляет общество и позволяет внимательному оратору, следящему за настроением аудитории, поддерживать ее внимание на должной высоте. Решительно не могу припомнить всех тех удачных острот, комических сопоставлений и забавных парадоксов, которыми в часы досуга и дружеской беседы развлекал я моих дорогих посетителей, но кое-какие пустяки остались на клочках рукописи и на полях Библии, единственной книги, не оставившей меня в моем уединении.

Я надеюсь, что мой благосклонный читатель снисходительно отнесется к этим куриозным пустячкам и в невольной легкой улыбке найдет минутное забвение от тягостей и забот докучной жизни.

1. БОЧКА

Через некий глухой город проезжали случайно ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ. Энтузиазм и восторг жителей, никогда не видавших ничего подобного, выразился в естественном и повелительном стремлении видеть дорогих гостей, с каковою целью — одни заняли окна верхних этажей по пути следования процессии, другие же, менее счастливые, толпились на тротуарах, тесня и давя друг друга. Но один пожилой коммерсант, имя которого для нас не важно, продав любопытным все окна своего дома и, тем не менее, страстно желая и сам узреть предмет общего любопытства и восторга, придумал следующее: он достал из своего склада высокую бочку, выкатил ее на тротуар и, поставив стоймя, влез при

помощи своих служителей на ее днище. Таким образом, к зависти остальных, он возвышался над толпою и видел улицу на всем ее протяжении.

Но днище бочки оказалось непрочным, и в тот момент, когда пышная процессия показалась на завороте улицы, доски проломились от неосторожного движения коммерсанта и он провалился внутрь бочки, скрывшись с головою за ее стенками. Там он и пробыл все время, пока проходило торжественное шествие, так как попытки вылезть для этого толстого человека оказались безуспешными, повалить же бочку и таким образом выкатиться из нее не позволяли сдавившие ее зрители.

Здесь смешно то, что, желая видеть больше других, коммерсант видел меньше всех: стоявшие в задних рядах и лично ничего не видавшие могли хоть по выражению лиц соседей судить о впечатлении, производимом ВЫСОЧАЙШИМИ ОСОБАМИ, и косвенно участвовать в торжестве. Он не мог даже этого!

Здесь смешно еще и то, что, стремясь разделить с толпой сограждан чувства энтузиазма и естественного восторга и таким образом слить свою личность с обществом, коммерсант оказался в положении крайнего и совершенно исключительного одиночества; необходимо заметить также, что одиноким он оказался как раз в центре многолюдного сборища. Громкие крики «ура!», причины которых он не видел, лишь увеличивали его искусственную и смешную обособленность и придавали его печальному одиночеству иронический характер.

Мои дорогие посетители много смеялись, когда я рассказал им этот случай.

2. ТРИУМФАТОР ИЛИ ДРУЖЕСКИЙ ПРИВЕТ

Некий юный и отважный авиатор совершил необыкновенный полет, вызвавший чувство всеобщего восхищения. Не считаясь с ветром, бурями и множеством опасностей, которыми встретил смельчака воздушный океан, он пролетел над вершинами высочайших альпийских гор, совершил круговой полет по всей Европе, через Средиземное море, перебрался в Африку и благополучно, ко всеобщему изумлению, возвратился в город, из которого начал свое путешествие.

Здесь его встретили восторженными и бурными овациями, принявшими характер народного торжества; дамы и девицы забрасывали юного героя цветами, и многие почтенные

люди невольно утирали слезы, радуясь победе человека над недоступной, казалось, стихией. (Передавая однажды этот случай моим дорогим посетителям, я присовокупил, насколько помню, что среди собравшихся на торжество находилась и невеста юного триумфатора, но теперь я могу положительно сказать, что невесты у него не было.) Подчиняясь воле народа, представитель правительства украсил грудь победителя знаком отличия первой степени.

Не желая остаться праздными, друзья также горячо пожимали авиатору руки и, наконец, принялись восторженно, при криках: гип-гип-ура! — качать его. Три раза весьма высоко подкинув юного героя, при четвертом разе они неосторожно уронили его на землю; само по себе падение было не опасно, но по роковой случайности несчастный молодой человек ударился головой о чей-то дружеский каблук [1], и этот удар оказался смертельным. Были немедленно приглашены врачи, но все попытки оказались тщетными, и, не приходя в сознание, юный герой испустил дух при молчании потрясенных зрителей.

Здесь смешно то, что, безвредно побывав на высоте четырех тысяч метров [2], доступной только орлам, юноша погиб на двух метрах, что нельзя даже считать высотою. Здесь необыкновенно смешно то, что, преодолев самые страшные опасности, видев под собою ужасные ледяные вершины и зубцы неприютных гор, испытав личное ледяное молчание воздушной пустыни,— несчастный молодой человек погиб на зеленом лугу, среди прекрасных дам и девиц, бросавших цветы, почти на руках горячо любивших его преданных друзей. Следует отметить и то, не лишенное юмора обстоятельство, что смерть настигла юного и слишком смелого триумфатора в тот момент, когда он с несомненным, хотя из приличия и скрываемым восторгом, считал свою цель достигнутой — и не имел никаких догадок о том, что является целью его победоносного и шумного возвращения на землю!

Мои дорогие посетители много смеялись, когда я рассказал им этот случай.

3. ТАНЕЦ

В небольшой южноамериканской республике, постоянно волнуемой внутренними неурядицами, власть была захвачена известным мошенником и канальей; при посредстве

[1] Очень острый.
[2] 4250 метров.

своих корыстных друзей, местных бандитов и наемных солдат, он объявил себя диктатором и расположился в президентском дворце. Не довольствуясь многочисленными казнями, внушавшими народу надлежащий страх перед новым правительством, узурпатор дал в своем дворце ряд пышных празднеств, имевших целью примирение между ним и наиболее влиятельными местными фамилиями. Надо признать, что каналья обладал некоторым вкусом, был остроумен и имел привлекательную внешность; и на его балах молодые красавицы веселились и танцевали, как принято выражаться, до упаду. Но случилось однажды, что один из приглашенных, молодой человек весьма знатного рода, будучи патриотом и желая избавить отечество от тирана, произвел покушение на его жизнь. И хотя ни один из выстрелов не попал в цель — молодой человек был плохим стрелком, — мстительный узурпатор немедленно предал его суду, состоявшему из его приверженцев, и суд приговорил несчастного юношу к повешению. Через пять дней после рокового вечера, в том же бальном костюме, в каком молодой человек присутствовал на балу, он был повешен во дворе тюрьмы в присутствии самого диктатора и небольшого числа приглашенных им приверженцев, таких же мошенников и каналий, как он сам.

Здесь смешно то, что мрачная в общем картина казни приобретала почти игривый характер вследствие бального костюма преступника; хотя и помятый неосторожными руками тюремщиков и палачей, костюм сохранял вид элегантности и свидетельствовал о намерении его владельца повеселиться. Как мне передавали очевидцы, это куриозное несоответствие существа факта и его формы привело всех присутствовавших в смешливое настроение, выразившееся в громком смехе и остроумных замечаниях: кто-то на губах сыграл даже ритурнель, бодрый и веселый призыв к танцам, установленный обычаем на всех балах. И здесь особенно смешно то обстоятельство, что естественные корчи молодого человека, вызываемые смертью от удушения, д е й с т в и т е л ь н о походили на какой-то новый танец; ноги повешенного в их бальных лакированных туфлях положительно выделывали какие-то замысловатые пируэты, как уверял меня очевидец [1].

Мои дорогие посетители, вначале отнесшиеся к рассказанному случаю весьма сериозно, после моих простых объ-

---

[1] Чему я охотно верю. Известно, что бег курицы, у которой отрублена голова, производит такое же комическое впечатление.

яснений, много и охотно смеялись. Их благодарность мне лично, выяснившему смешную сторону, по виду, казалось бы, и печального события, глубоко растрогала меня.

4. СЛАДОСТЬ СНА

Про того же узурпатора рассказывают, что по его личному приказанию многих из осужденных пытали; не довольствуясь смертной казнью и желая увеличить страдания и страх своих врагов, каналья подвергал их изысканным мучениям еще в тюрьме и многих раньше смерти довел до сумасшествия.

Так один довольно пожилой гражданин [1] был с момента ареста вплоть до казни упорно лишаем сна; в течение двенадцати дней и ночей нарочито приставленные стражи разными способами мешали ему уснуть. Когда арестованный уже стал привыкать к свисту, пению и крику и никакие шумы и грохоты не могли принудить его открыть смежавшиеся глаза, остроумные палачи кололи его булавками, щекотали до припадков неудержимого смеха, помещали его стоймя в узком пространстве между остриями гвоздей и прочее. Как это ни куриозно, впервые после многих дней ему удалось слегка соснуть на суде, пока свершался его довольно сложный процесс; чтобы объявить преступнику, что он уже приговорен к смертной казни, его пришлось расталкивать и держать под руки. Но и тут он, кажется, ничего не понял. Еще три дня до казни ему не давали спать, и когда, наконец, его повезли к исполнению приговора, он представлял собою поистине смешное зрелище. Идти он не мог, и его посадили верхом на гроб, помещенный на телеге, в надежде, что неудобство позы не позволит ему уснуть, но он оказался хитрее: точно всадник на лошади, он держался за гроб коленями и ловко приноравливал свое тело к неровностям и толчкам пути — продолжая в то же время глубоко и крепко спать! Разбуженный на мгновение, чтобы сойти с телеги, он снова уснул под виселицей; снова разбуженный общим громким хохотом, он видимо сознал комичность своего поведения, совершенно не соответствовавшего обстоятельствам, и сам у л ы б н у л с я [2] в ответ, своими руками торопливо надевая петлю. Но

---

[1] Впоследствии оказавшийся невиновным.
[2] Это факт.

произошла какая-то задержка [1], и вот тут надо было видеть, какое неистовство сна овладело преступником; он топтался на месте, жалобно морщился и с гневом оглядывался по сторонам. Наконец он стал зевать, положительно раздирая рот! Сперва эта выходка преступника вызвала новый взрыв смеха, но всем физиологам известно, как заразительна зевота: постепенно смех стал переходить в легкое позевывание, затем с таким же отчаянным видом, как и сам преступник, зазевали все. Если кому и удавалось, поборов конвульсивное сжатие челюстей, на мгновение открыть рот для задержанного удушливого смеха, то в следующее мгновение снова побеждала зевота. Уже после смерти преступника, разойдясь по домам, некоторые еще продолжали зевать и лишь немногие могли толково рассказать поджидавшей их семье о необыкновенном и смешном случае.

Здесь смешно то, что наиболее могущественное чувство, которое управляет всеми поступками человека, страх смерти — оказался слабее простой потребности поспать. Здесь смешно то, что неглупый человек явно смешивал смерть со сном; и вместо того, чтобы ужасаться,— кричать,— молить своих палачей,— плакать,— рыдать,— проклинать людей и небо,— страстно цепляться за каждое мгновение жизни, дыхания, света,— сам протягивал шею в роковую петлю и с бессмысленным сочувствием улыбался на смех негодяев! Здесь смешно то, что до самого подножия в е л и к о й н е и з в е с т н о с т и он тащил с собою свое идиотски глупое тело, с его ничтожными потребностями и привычками. Смешно! — точно не человека повесили, а только пиджак и брюки; словно это не эшафот и не виселица, а платяной шкаф.

Мои дорогие посетители много смеялись, когда я рассказал им этот случай.

5. СЛАДОСТЬ ВЕРЫ

Впрочем, если человек хорошо выспался, он ведет себя несколько иначе по отношению к смерти. Я припоминаю в связи с рассказанным другой, довольно куриозный случай, имевший место много лет тому назад, когда я еще был молодым практикующим врачом. Одна молодая, красивая собою дама потеряла своего мужа, члена научной экспедиции, погибшего при падении с высокой горы и разбившегося на-

[1] По-видимому, умышленная.

смерть; по желанию безутешной вдовы, гроб с телом покойного был через две недели доставлен в город, где она жила и где покойный выражал когда-то желание быть похороненным. Это было зимою, и замерзшее тело почти не подверглось разложению, что и привело к следующим комическим последствиям.

Гроб стоял в церкви при соответствующей обстановке, требуемой обрядами, и безутешная вдова печально всматривалась в дорогое ей, почти неизменившееся лицо; завтра утром она должна будет навеки расстаться с любимым существом. И вдруг с ужасным замиранием сердца она заметила, что на лбу покойника выступили две капельки; не догадываясь, что это просто результаты оттаивания тела в теплой церкви, вдова решила, что эти капельки пот и что муж ее еще жив и только находится в глубоком сне [1]. С криком она выбежала из церкви и своим рассказом о каплях пота привела в сомнение и других, близких покойному лиц, хотя все они знали, что кости мертвеца раздроблены. Несмотря на позднюю ночь, они немедленно пригласили врача, каковым случайно оказался я; тесным кольцом окружив меня, они требовали почти с угрозами, чтобы я сказал им правду. Торжественная ночная обстановка церкви придавала всей картине особую эффектность, которой не мог не поддаться даже я. Но вскоре овладев собой, некоторыми пустячными опытами, дешевыми фокусами привычного докторского искусства, вроде известного зеркальца, я доказал потрясенным родственникам и безутешной вдове, что смерть — есть смерть и что интересующий нас субъект гораздо мертвее после своих двух недель, чем трехдневный Лазарь. Однако, удаляясь, я слышал, что готовятся послать за другим врачом, находя, что я *слишком молод* и самоуверен; с невольной улыбкой представил я на своем месте другого врача, который наверное окажется *слишком стар*.

Здесь смешно то, что вопиющая очевидность факта оказалась бессильною перед сладостью веры. В собачьей привязанности к жизни, как единственному сокровищу, целый ряд неглупых людей с ослиным упорством возился над трупом, которому сам Иисус едва ли протянул бы руку, чтобы выйти из склепа. Здесь смешно то, что они почти бранили меня и имели время заметить мою *молодость*, не видя в то же время того, что у них под носом. Им, несомненно, хотелось бы, чтобы смерти не существовало совсем, чтобы

---

[1] Там смерть принималась за сон, здесь сном казалась смерть.

они с своими безутешными вдовами могли жить вечно; им было нужно, чтобы падение с самой высокой горы не вредило их здоровью! Что мне тот ничтожный гонорар, который они выкинули мне «за беспокойство»,— своей человеческой глупостью они испортили мне ночь. Жить вечно! Не умирать!

Это была ночь непрерывного смеха. Всю ночь я бегал по своей пустой квартире и смеялся над ними; и я жалел, что, подчиняясь нелепым приличиям, я не начал смеяться там, в церкви. Жить вечно! Не умирать! И еще плачут, и еще не верят: у них были расстроенные, но невыносимо смешные лица, особенно у этой вдовы — у этой вдовы, которая увидела капельки п о т а. Жить вечно!..

РОГОНОСЦЫ

НОВЕЛЛА

1

На одном из маленьких островков Средиземного моря, где среди камней, жирных кактусов и низкорослых пальм еще витают призраки веселых греческих богов, сохранился от давних времен один очень странный и необъяснимый обычай. Ему удивляются редкие путешественники, прихотями бродяжнической судьбы занесенные на островок, с ним борется мрачное духовенство, против него восстает и современный разум, холодный и скучный,— но сила тысячелетней привычки побеждает всякое сопротивление и сама насмехается над смеющимися.

Обычай этот, или празднество, каким считают его некоторые, приурочен к осеннему времени, когда собран виноград и молодое кислое вино уже начинает невинно покруживать головы и веселить сердца. Самый день торжества обычно держится в тайне его трагическими участниками, но в один из первых больших церковных праздников, следующих за сбором винограда, весь островок вдруг наполняется громким пеньем, музыкой и криком: это появились в своей торжественной процессии мужья-рогоносцы. Каждый муж, считающий себя обманутым женою, привязывает ко лбу бычьи, козлиные или иные рога, какие удалось добыть, и в сообществе с остальными такими же рогоносцами в течение целого дня шатается по городку и тропинкам маленького острова.

Но не нужно думать, что рогоносцы эти погружены в печаль или уныние, объясняемое обстоятельствами,— наоборот, их странное шествие дышит весельем, они поют и смеются, дудят в маленькие флейточки, барабанят, тренькают на мандолинах и гитарах. Некоторые даже подплясывают, и

все вместе весело перекидываются остротами и шутками с сопровождающей их толпой, что под ярким солнцем Средиземья, на фоне гор и голубеющих морских далей составляет отнюдь не печальное зрелище.

Количество мужей-рогоносцев, конечно, в разные годы различно и сильно колеблется: ибо если есть урожай на виноград и маслины, то существует он и на рога; и бывало время, когда всего десятка два или три рогоносцев вяло таскались по островку, теряя бодрость от малолюдства и скуки, но случались и такие года, что чуть не пол-острова убиралось рогами и производило неописуемый шум и гомон.

Но что же делают преступные жены, пока их несчастные мужья столь странно веселятся?

2

Когда хорошенькая и легкомысленная Розина заметила, что муж ее, Типе, вернувшись из города, что-то пронес под полою и запер на замок в своем сундуке, она не на шутку обеспокоилась: нечто колючее в форме спрятанного предмета напомнило ей большие бычьи рога. Но неужели он догадался? Когда-то Типе, человек мрачный и важный, грозил ей в шутку, что в случае измены не только наденет рога, но даже позолотит их, к чему, по его мнению, его обязывало положение богача на островке и возраст. Однако, зная серьезный и сдержанный характер мужа, Розина тогда не поверила этой угрозе и не испугалась; последующие года, когда Типе уже имел некоторые основания присоединиться к процессии, но не делал этого, оставаясь только зрителем, укрепили ее уверенность. Но если спрятанное не есть рога, если Типе действительно не задумал этой подлости, то чем объяснить тогда его необыкновенную любезность и ласковость, столь не похожие на обычную его манеру обращения с женой?

А сбор винограда уже начался, и надо было торопиться предупредить несчастье. И вот, поцеловав мужа (она тоже была особенно нежна все это время), Розина отправилась в городок, к аптекарю Мартуччио, который, кроме прямого своего дела, занимался еще тем, что приготовлял для мужей рога по их заказу, золотил их, полировал и пригонял по мерке: может быть, ей удастся что-нибудь выпытать про мужа.

Придя, она вначале несколько смутилась: Мартуччио сидел на пороге своей лавочки и тщательно скоблил какие-то огромные, небывалые рога, а возле восседало в разных позах целое собрание молоденьких женщин и мужчин, смотревших на его работу и непринужденно шутивших. На Розину

также сперва взглянули с удивлением, но когда она попросила аптекаря слабительной воды для мужа, все поняли, что она пришла за делом, и перестали обращать внимание. Оказалось, впрочем, что и все женщины пришли неспроста, а за лекарством, и все имели добрый и невинный вид, и это опять не понравилось Розине. Мужчины же пришли так, без дела, лениво покуривали и были, в общем, непонятны.

— Какая это глупость!— сказала Розина, нахмурив брови.— И кого они могут напугать этими рогами? Мой Типе никогда бы не пошел на такую глупость: рога!

— А разве?..— спросил один из мужчин, наглый Паоло, и засмеялся.

— Никакого нет «разве», я просто так говорю. Уж не для тебя ли эти рога, Паоло, ты что-то слишком весел?— съязвила Розина, но Паоло не шелохнулся.

— Тогда увидишь, для кого,— лениво ответил он, и опять все мужчины засмеялись. Засмеялись и женщины, а Мартуччио, аптекарь, отодвинул рога на длину руки, полюбовался ими и сказал:

— Это для меня. Хороши?

— А ты примеряй!— засмеялась бойкая Пьеретта.— Тогда мы и скажем.

Мартуччио приставил рога, но оказалось, что они велики для его узкого сдавленного лба, и все женщины стали припоминать, какие лбы у их мужей? Но так по памяти судить было трудно, и опять все стали смотреть на Мартуччио, взявшего для отделки другие, красиво изогнутые козлиные рога. Среди женщин пробежал даже шепот восхищения.

— Их непременно надо позолотить, такие хорошенькие!— сказала красивая и важная Катарина.

Мартуччио поднял глаза и поверх очков взглянул на Катарину, спросивши только:

— Ты советуешь?

Но Катарина покраснела, как декабрьская роза, а мужчины опять чему-то засмеялись. «Так ничего у них не узнаешь»,— подумала Розина и, сделав грустное лицо, сказала:

— Ах, Мартуччио, я и забыла попросить у тебя лекарства для моего бамбино... что-то он жалуется... Пойдем к тебе, я скажу.

— Пойдем!— покорно согласился аптекарь.

Провожаемые насмешливыми взглядами мужчин, они вошли в глубину темной лавочки, и Розина зашептала, сжав руку старого аптекаря:

— Послушай, Мартуччио, я дам тебе десять лир, если ты ответишь мне, был у тебя Типе или нет? Я умоляю тебя.

— Ни за сто, ни за тысячу лир, красавица. Ведь ты знаешь обычай? А если я начну выдавать, то и заказывать мне никто не станет, подумай сама.

Розина заплакала:

— Но ведь он лжет! Я ему никогда не изменяла, разве я могу кому-нибудь изменять? Ты меня знаешь, Мартуччио, такая ли я, чтобы изменить мужу? Это так дурно!

— Я верю тебе, красавица,— ответил аптекарь,— да я и не говорил, что Типе заказывал мне рога.

— А для кого эти... такие большие... с золочеными кончиками? С красной ленточкой... богатые?

Она опять заплакала, но Мартуччио остался неумолим и только уверял, что ничего открыть не может. Розина уже достала золотые двадцать лир, чтобы сунуть их аптекарю в руку, когда с порога раздался нежный голос вошедшей Лючии:

— Здравствуй, Мартуччио... А я к тебе за лекарством, что-то мой бамбино жалуется на животик... Это ты, Розина, здравствуй!

Так и пришлось уйти Розине, ничего не узнав, и сколько потом она ни ходила, сколько ни упрашивала, Мартуччио остался непреклонен. «Вот старый козел,— думала Розина, возвращаясь,— лучше бы себе золотил рога, чем позорить честных женщин».

3

А Типе был все так же любезен, и что ни день, то все любезнее. Подарил ей четки и новый платочек и так ласкался к ней, словно в первые месяцы супружества; и за лоб никогда не брался, как прежде. «Какой негодяй! Какой лицемер!»— думала несчастная Розина, нежно гладя рукой по его плеши и чувствуя в ладони точно колючки: теперь ее какая-то странная сила тянула к голове мужа, все время хотелось потрогать и пощупать.

— Я тебя так люблю, ты такой умный!— говорила она и добавляла со смехом:— А знаешь, что эти дураки опять задумывают?

— Что такое, моя дорогая? Не знаю.

— Да опять эти рога... такая глупость! Я как-то проходила мимо аптекаря, и у него их столько заготовлено, просто смешно смотреть. Я так смеялась!

— Да, говорят, что этот год счастливый: и виноград хорош, и рога удались. Мне кто-то говорил, не помню кто.

— Но ведь это глупо, мой дорогой, ты не думаешь?

— Такой уж обычай, моя дорогая, кому-нибудь надо так.

— А ты пойдешь смотреть?

— Да, надо посмотреть, все идут, так нельзя же мне одному оставаться дома.

Так и здесь ничего не узнала бедная Розина. Воспользовавшись тем, что Типе забыл однажды ключи, посмотрела она в сундучке, но там было пусто, и сперва это обрадовало ее. Но потом пришло в голову, что Типе отнес рога к аптекарю менять на лучшие или спрятал их в другом месте и что ключи он оставил нарочно, чтобы еще больше обмануть ее,— и стало ей совсем грустно. Что же делать?

А тем временем несколько таких же женщин, знавших друг про друга истину, сговорились и тихонько, в вечерней темноте, прокрались к аббату, чтобы просить его об отмене глупого и вредного обычая. Пожилой аббат, отец Никколо, внимательно выслушал их и сказал:

— Сам знаю, что нехорошо, и тщетно борюсь с этим дурным и грязным обычаем. Истинный христианин должен со смирением принимать это испытание, а не веселиться, не прыгать козлом и не петь непристойные песнопения, подобно нечестивому язычнику. Сам знаю, дети мои, и горько страдаю, но что могу поделать, если ваши мужья так безумны!

Тут вошла экономка отца Никколо, полнотелая Эсминия, и также присоединила свой голос к просьбам несчастных женщин:

— Помоги им, падре, ты видишь, как несчастны эти оклеветанные женщины!

Как-то странно, немного вбок и искоса, взглянул аббат на полнотелую Эсминию, погладил себя по лысеющему надлобью и даже заглянул ладонью на гуменце, потом вздохнул и продолжал с некоторой нерешительностью:

— Как человек безбрачный, не могу понять, какое они находят в этом утешение? Допустим, что я приставил бы рога к моему лбу, к этому месту, и с музыкой пошел бы по острову,— какое испытал бы я чувство, кроме известного, конечно, облегчения... и даже некоторой радости при виде такого количества однофамильцев?

— Не понимаю я, какая тут может быть радость,— гневно сказала Эсминия,—а оклеветать честную женщину ничего не стоит!

И, хлопнув дверью, вышла. И еще с большею задумчиво-

стью продолжал отец Никколо, лишая женщин последней надежды:

— Но не будет ли радость эта нечестивою? И в самой потребности испытать таковую,— он снова внимательно потер себя по надлобью,— не кроются ли сети дьявола? И буде такой обычай распространится между нами, не возникнет ли из этого наибольшего и неприятнейшего соблазна? Допустим, например, что целый большой город, подобный Риму или Парижу, следуя нашему обычаю...

Но сколько ни думал падре, ни до чего додуматься не мог: так в позе размышления противоречивого и оставили его женщины, пришедшие за помощью. И, возвращаясь домой по темным уличкам и избегая встречи, они сквозь слезы смеялись над почтенным аббатом и выбирали ему у аптекаря наиболее подходящие рога.

Неизвестный же день осмеяния все приближался: уже собран весь виноград и превращен в жиденькое винцо, уже чудятся по утрам ненавистный смех и звуки мандолин. И тогда решила Розина повидаться с своим любовником Джулио, встреч с которым за это время боязливо избегала, и попросить у него совета, как дальше поступать с Типе: покаяться ли и просить прощения или же спокойно довериться его близорукости?

Даже побледнел краснощекий Джулио, когда услыхал, что Типе, кажется, заказал себе рога у Мартуччио, и притом золоченые.

— Да не может быть!— воскликнул Джулио и с отчаянием покачал головою.— Какой ужасный год! Ты знаешь ли, Розина, что наш нотариус, синьор Бумба, также приобрел себе рога!

— Что же это будет, Джулио? Я тогда не выдержу, я умру. Не лучше ли пасть на колени и сознаться? Типе такой добрый.

Джулио гневно вспыхнул.

— Он не добрый, если заказывает рога, и притом золоченые!

Розина слегка обиделась и сказала:

— Он не может не золоченые, ведь мы богатые, не тебе чета. Но если я сознаюсь, а окажется, что он ничего не знал, и я только удивлю его?

Джулио согласился с нею:

— Это очень возможно. А когда ты сознаешься, он возьмет и купит рога, и нам хуже будет. Я думаю, что лучше положиться на Бога, нашим умом мы тут ничего не сделаем. И еще я попрошу тебя, чтобы ты больше не звала меня, и не

приходила ко мне, и не смотрела на меня даже в церкви. Прощай!

Розина заплакала и сквозь слезы сказала:

— Какой же ты дурной, Джулио, я очень жалею, что любила тебя.

— Я не дурной, а если ты любила меня, то зачем была такой неосторожной, что твой муж все заметил? Я уважаю себя и не хочу, чтобы надо мною все смеялись и показывали пальцами: вот прячется у стены глупый Джулио, который попался! Тогда меня ни одна женщина любить не станет и лучше мне совсем уйти с острова. Прощай!

Так и ушел. Потеряв последнюю надежду на помощь, Розина решила не спать совсем, чтобы уследить мужа, когда он захочет пойти на процессию, и отнять у него рога и не пустить его. Так было однажды на острове, когда какая-то решительная женщина успела в день процессии запереть своего мужа в сарайчик, а один он идти потом не захотел.

И с ночи Розина крепилась и не спала, но к утру каждый раз засыпала так крепко, что трудно было добудиться. Со страхом смотрела она, тут ли муж, а любезный Типе, нежно глядя ей в заспанные глазки, спрашивал:

— Ты не больна ли, моя дорогая? И не сходить ли тебе к аптекарю посоветоваться?

4

Так случилось и в это роковое утро: проснулась Розина, а солнце уже высоко, и мужа нет, и в отдалении явственно слышится музыка, песни и смех, гул бубна и веселые крики. «Какой сегодня праздник?»— подумала Розина, еще не разобравшись, но вдруг поняла все печальное значение веселой музыки и горько заплакала.

— Никуда я не пойду,— решила она,— буду лежать на постели и прятаться, никому не покажусь на глаза; лучше умру, чем вынесу такую насмешку!

Но вдруг новая более радостная мысль заставила ее вскочить с постели: если Типе вовсе и не участвует в процессии, а идет вместе с другими зрителями, серьезный и важный, как всегда? Необходимо пойти и самой убедиться, прежде чем плакать и отчаиваться.

Долго и медленно одевалась Розина, колеблясь в выборе платья и цветов: одевать ли праздничное веселое, как подобает невинной женщине, или темное, приближающееся к трауру? Наконец решила так: юбку и корсаж надела тем-

ные и в руки взяла новые четки, а голову покрыла веселым новым платочком. И, то поднимая глаза, как женщина честная и веселая, то опуская их долу, вышла она из дома, гонимая слабой надеждой, тщету которой она и сама сознавала. Тепло светило осеннее солнце, сладко пахло листом еще зеленого лимона, и красными пятнами, как кардинальская сутана, горела под кручею распустившаяся герань; и на море из голубого шелка не белелось ни единого паруса, ни единой лодочки: видно, и от рыбной ловли отказались на этот день мужья-рогоносцы, продолжавшие шумно веселиться где-то за горою.

Следуя по звуку барабана, степенно приблизилась Розина к показавшейся процессии,— и тут-то сбылись ее самые печальные предчувствия: в середине многолюдной толпы рогоносцев, растянувшейся по дороге, как войско, в одном из первых рядов чинно и важно шествовал Типе, ее муж. Его плешивую голову увенчивали те самые бычьи золоченые, богатые рога, которые так чудесно угадала она среди других рогов, а во рту он нес длинную сигару и курил как ни в чем не бывало. И как стояла среди камней Розина, так и присела, радуясь, что ее не заметили за толстыми листами кактуса, и мечтая о том, как бы поскорее добраться до дому и укрыться за его стенами.

А толпа на дороге все увеличивалась, и возрастал шум. По-видимому, рогоносцы еще только недавно выступили в поход из какого-нибудь тайного места, где они заранее собрались; и, привлекаемые звуками музыки и барабана, отовсюду сбегались к процессии любопытные. Тут же гомонили и дети, которых ничто не могло удержать дома в такой замечательный день; не вполне понимая значение происходящего, они весело резвились и с восторгом открывали в рогатом стаде своего отца или дядю.

И над всей толпою стоял веселый шум и крики; многочисленные любители музыки в среде рогоносцев играли на всевозможных инструментах, не преследуя иных целей, кроме собственного самоуслаждения. И кто играл весело и плясал, а кто с характером более меланхолическим и серьезным наигрывал что-нибудь приятное и мелодическое: так четверо известных на острове музыкантов, по вечерам игравших в местном кафе, теперь очень стройно исполняли песню «Аве Мария», вызывая одобрительные замечания товарищей-знатоков.

Каждый вновь пришедший или пришедшая торопливо окидывал общим взглядом ряды рогатого войска и с жаром выражал свои впечатления, неожиданно находя своих

знакомых и шумно приветствуя их. Кого здесь только не было! Год действительно удался необыкновенный, и жатва рогов превосходила всякие ожидания.

Особенно громко щебетали женщины, которым посчастливилось остаться в числе зрителей, жалели рогоносцев и негодовали на их преступных жен.

— Смотрите! Смотрите: Беневолио! Кто бы мог этого ожидать для такого хорошего человека! — кричали они, указывая на толстого, круглого горожанина, игравшего на барабане и весело моргавшего под навесом огромных кудреватых рогов: — Здравствуй, Беневолио!

Вместо ответа он весело подмаргивал, а женщины удивлялись дальше:

— Страсти Господни! Да это Леоне! Бедненький! Здравствуй, Леоне!

Леоне, не оглядываясь и продолжая приплясывать, снисходительно бросил в ответ:

— Здравствуй, Кончетта, как поживаешь? — и сделал правой ногой такой смелый пируэт, что засмеялись даже наиболее серьезные. Надо заметить, впрочем, что в шествие свое обманутые мужья внесли такое же разнообразие характеров, какое имелось у них и в жизни.

Так, рядом с пляшущим Леоне лениво тащился старый носатый рыбак Джиованни, а дальше важно и несколько рисуясь, шел молодой щеголь и богач Риччиардо, только недавно женившийся. К своему жирному лбу он прикрепил маленькие изящные рожки, на кончиках позолоченные, и небрежно отвечал на приветствия, видимо, и здесь почерпая пищу для своего тщеславия. Совсем иначе и более приятно вел себя весельчак Алессио: он мало того, что выкрасил рога пурпуровой краской, но еще навесил на них маленькие бубенчики, которыми непрестанно звонил, потряхивая курчавой головою. Все его приветствовали, даже дети, а зрители-мужчины серьезно и важно похваливали его:

— Бравый малый! Алессио, не забудь, что еще за мною стаканчик вина!

Очень сильное впечатление произвел своим появлением синьор нотариус Бумба, оказавшийся настолько добрым и негордым, чтобы и для себя принять исконный обычай острова. Польщенные мужчины и женщины хором кричали:

— Синьор Бумба! Смотрите, смотрите: сам синьор Бумба! Доброе утро, синьор Бумба!

— Доброе утро, доброе утро! — рассеянно отвечал

синьор Бумба, ибо, как человек деловой, он и здесь не оставлял мысли о своих занятиях, деньгах и клиентах. Под мышкою он нес кожаный портфель, а маленькие грязные рожки, небрежно привязанные, сбились у него несколько набок, чего он даже и не замечал. Многим, конечно, это последнее не могло понравиться, и среди приветственных кликов послышались и голоса осуждения, ставшие особенно громкими, когда в его грязноватых рожках признали прошлогодние рога бедняка Пиетро.

— Какой скупец этот синьор Бумба,— говорили зрители,— не мог для такого дня купить новые рога!

— Поправьте рога, синьор Бумба,— советовали женщины, а он только отмахивался свободной рукой и бормотал:

— Ну, ну! И так сойдет,— и, увидев в толпе клиента, остановился и вступил с ним в разговор о процессе. Но тут вся толпа забыла даже нотариуса перед новым неожиданным зрелищем: из-за свисших очков блеснули хитрые глазки самого аптекаря Мартуччио! И на лысой голове Мартуччио — кто мог это подумать! — высоко торчали какие-то необыкновенно высокие и прямые рога, на концах обделанные в серебро!

— Вот и доработался! — говорили женщины не без лукавства, но мужчины и здесь одобрили бравого старика. Сам же Мартуччио, среди общего смеха, шутливо и весело козырял, прикладывая руку к рогам, как к военной каске, так как раньше служил солдатом и был человек добрый, умевший обходиться с людьми.

— Всё мои изделия! — говорил он, показывая на чащу рогов, колыхавшихся по дороге, и подгонял отставшего нотариуса: — Эй, синьор Бумба, оставьте ваши дела, сегодня праздник!

— Я только отдал бумагу! — оправдывался нотариус и поспешно нагонял остальных.

День становился жарким, и у маленького кабачка перед городом все остановились, чтобы выпить винца и промочить пересохшее горло. Тут некоторое время отдыхали, расположившись за столиками; кое-кто снял рога и, положив их возле своего стакана, вытирал запотевший лоб. Потом снова надевал, как шляпу. Более пожилые люди толковали о своем хозяйстве, о винограде и червях и жаловались на ранние холода по утрам, а молодежь устроила в садике игры и танцы. Весельчак Алессио взял щеголя Риччиардо вместо подруги и протанцевал с ним от-

чаянную тарантеллу под глухие звуки бубна, на котором играл толстый Беневолио. Потом пошли дальше, оживленные молодым вином, и вступили на улицы городка, где уже у всех дверей и окон толпились зрители.

Тут впервые обнаружили свое существование и преступные жены. Когда процессия двигалась мимо домика Беневолио, у окна во втором этаже показалась его жена, Лукреция. Волосы у нее были не причесаны и растрепаны, лицо опухло от слез и крика, и на всю улицу громким голосом она стала упрекать мужа в неправде:

— Посмотрите на этого пьяницу и разбойника! Кто поверит такому лжецу! Пусть бы громом убило клеветника!

А Беневолио, при общем смехе, стал против нее и так забил в барабан, что даже ее голоса не стало слышно, так она и спряталась назад, в глубину комнаты.

— Вот и поделом ей,— говорили зрители,— обманывать такого хорошего человека! Пусть-ка поплачет!

А еще дальше выскочила из своего дома совсем растрепанная Эмилия, жена весельчака Алессио и, уцепившись за его платье, с криком и слезами не пускала его дальше. Но он даже не оглядывался и, продолжая дудить в трубу, тащил за собою бедную и слабую женщину, что вызвало новый смех и громкие шутки. Так они и шли, пока наконец утомленная Эмилия не отцепилась от платья мужа и не зашагала рядом с ним, продолжая кричать и жаловаться, ибо голос имела сильный и неутомляющийся; и во весь длинный день не оставляла она Алессио, гуляя с ним по всему острову и на остановках допивая вино из его стакана.

Прошли и мимо аббата, стоявшего у себя на балкончике и неопределенно потиравшего белой рукой плешивое надлобье; и тут из вежливости музыка замолчала, и все стали кланяться отцу Никколо. Но когда высунулась из окна полнотелая Эсминия и стала плеваться в толпу и поносить ее за безбожие, все опять развеселились и зашумели, а аптекарь Мартуччио, атеист и вольнодумец, громко крикнул аббату:

— Идите к нам, отец Никколо, с нами веселее, чем одному. А рога у нас найдутся!

И добрый отец Никколо нисколько не обиделся, еще долго стоял на балкончике и даже с удовольствием выслушал «Аве Мария», которую для него исключительно еще раз исполнили музыканты. Хотел он выслать музыкантам и винца, но этого Эсминия не позволила.

Так до темного вечера веселились мужья-рогоносцы, а жены их плакали по своим опустелым домам; но никто не мог бы сказать и не знал, куда попрятались любовники, их как будто и совсем не было на острове.

5

Розина крепко спала, укрывшись с головой, и бамбино спал, когда позднею ночью вернулся домой Типе. Он был на редкость пьян и также на редкость весел, что-то напевал глухим басом и с видимым удовольствием проглотил обильный ужин, приготовленный ему любящей женой. Походил по комнатке, сиявшей необыкновенной чистотою, но Розины будить не стал, чего она очень боялась под своим одеялом, а разбудил бамбино и долго болтал с ним о всяких пустяках.

— А я буду ходить с рогами, как и ты, когда вырасту? — спрашивал невинный бамбино, полдня таскавшийся за процессией,— мне очень понравилось, ты был такой важный!

— Будешь, будешь и ты, бамбино! — отвечал Типе, целуя ребенка и снова укладывая его спать.

Когда в доме все стихло, Розина осторожно протянула руку к мужу, лежавшему рядом: еще не знала она, примет он ее руку или грубо оттолкнет. Долго и нерешительно кралась рука и наконец коснулась плеча мужа с немым вопросом... но ответа не было, сколько она ни ждала: Типе крепко спал спокойным сном честного труженика, утомленного за день.

Спал и бамбино. И еще раз в этот день горько-прегорько заплакала одинокая Розина.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

I

Это был день, полный ярости.

Двое суток германские войска, двигаясь к Парижу, безуспешно штурмовали бельгийский городок Н., защищаемый смешанными корпусами англичан, бельгийцев и французов. Массы бледных людей в остроконечных кошмарных касках шли в атаку и гибли на полпути; их сменяли новые массы таких же бледных людей и остроконечных касок и также гибли: чаще дождевых капель, чаще градин был пулеметный и орудийный град, и легче было не промокнуть в проливной дождь, нежели избегнуть пули и осколка. И случалось, что уже убитый, падая, на своем коротком пути к земле бывал поражаем еще несколькими пулями; ими был насыщен воздух, они неслись бешено и хищно, словно и им передавалась ярость руки, спускавшей курок. Но запас остроконечных касок казался неистощимым, и все росла их лавина. Поглощая телами пули, впитывая смерть из воздуха и напитываясь ею, как губки, они разрежали частоту огня и создавали пустоты, по которым текли новые массы бледных людей; и так продолжалось двое суток — днем при сиянии солнца, ночью при голубом свете прожекторов, при котором лица живых и мертвых казались одинаковыми, а от груды трупов ложились черные неподвижные тени.

Двое суток Вильгельм II почти ничего не ел, плохо спал и в бинокль, судорожно дергая лицом, наблюдал за боем. Когда городок был взят и защитники его частью истреблены, частью взяты в плен, он со свитою въехал на его улицы и остановился в Гранд-отеле; там он весь день принимал поздравления, раздавал награды и шутил с генералами. Городок еще дышал испарениями крови, и всюду пахло кислым от неосевшего мелинитного дыма; часть города еще горела,

и в сумерки окна Гранд-отеля засветились с улицы красным; потом задернули тяжелые драпри и зажгли свечи, но и мелинитом и кровью пахло по-прежнему, и голубой яд гари носился под высоким потолком и — словно только что здесь заседало огромное собрание людей, и все они курили какие-то вонючие, кислые сигары.

По приказу Вильгельма днем были расстреляны заложники, двенадцать человек именитых горожан. Они были взяты еще утром, как только германцы вступили в городок, но днем кто-то выстрелил в прусского солдата-мародера, грабившего дом, и заложники были расстреляны. Ввиду того, что выстрел был только один и выстрелившего тотчас же убили, и что солдат был мародер, в штабе решились спросить самого Вильгельма, но он решительно ответил:

— Кровь самого плохого прусского солдата стоит крови всей Бельгии. Объясните им это, чтобы поняли, и расстреляйте.

Так и сделали.

К ночи занятый городок стих, и у пожара не осталось никого: один, в тишине и безлюдии, трещал и морщился огонь, стихая. Все, кого служба не призывала к бодрствованию, спали сном безграничной усталости, душевного утомления; и казалось, легче было разбудить мертвого на поле, чем такого спящего. Немногие во сне бредили пережитым, но голоса их были глухи и мертвы, как голоса теней с того света: в голове еще шло сражение, а вокруг головы витала тишина.

Как музыкальные ящики, спрятанные под подушку, были полны внутри себя голосов, крика и стонов временные лазареты с ранеными, но наружу приносилось мало: все оставалось за каменными стенами, и тому, кто выходил из лазарета на улицу, казалось, что он сразу погружался в тишину, словно в воду, а кто снаружи входил в освещенные комнаты, тому чудилось, что он попал в какой-то болевой центр, где у тысячи людей болят зубы, болят нервы, болит разорванная кожа и раздробленные кости.

Особая тишина была вокруг Гранд-отеля: император давно уже страдал бессонницей, и принимались все меры, чтобы охранить его покой: караулы сменялись без обычного топота, обозы грохотали по самым дальним улицам, и ни один звук не возрождался без строгой необходимости. Вдали, где германские войска еще преследовали отступавших союзников, округло и слитно гудели выстрелы больших орудий: точно несколько великанов, присев на корточки

и надув щеки, равномерно пухали друг на друга — без гнева и особенной страсти, скорее мирно и глуповато. У спящих счастливцев, которых жизнь настойчиво извлекала из образов смерти, этот далекий гул преображался в светлые сны о летней грозе и пахучем клевере на розовых полях; другие его просто не слышали, как мельник не слышит мельницы. Не слышал стрельбы и император, но иногда слух как бы просыпался, гул становился явственным и четким,— но и это не раздражало, а скорее успокаивало Вильгельма: так среди ночи и тишины ночной приятна колотушка ночного сторожа, бодрствующего над спящими.

Но не от шума не спалось императору. Он даже лучше спал при шуме, и он много раз говорил, даже приказывал, чтобы шумели, но ему не верили, оттого что не могли понять; и стоило разнестись по его временному дворцу известию, что император удалился в спальню, чтобы тотчас же голоса сами собой понижались и усиливалась безмолвная жестикуляция. Так было и теперь: он только что вошел в спальню, он еще ждал бессонницы, а все кругом стихло, точно онемело, и окружило его безмолвием саркофага. Вошел старик камердинер и рассердил Вильгельма, заговорив шепотом.

— Ты что же думаешь, глупец? что я хожу и сплю? Убирайся.

Камердинер выскочил, но и в другой комнате продолжал говорить шепотом, не поняв, в чем причина гнева императора. А Вильгельм продолжал ходить, хотя уже болели и поясница и ноги от длительного дня усталости; но как Вечный Жид, он не мог остановиться и должен был все идти — от одной стены до другой. И мыслей он не мог остановить: они также двигались без дороги и бились о стены; и было во всем теле разлито какое-то смутное, острое, но заведомо невыполнимое желание,— уже потому невыполнимое, что оно было неизвестно. Это и есть начало бессонницы. Потом ход мыслей от стены до стены превратится в сумасшедший бег, в танец ведьм на Брокене, а невыполнимое желание схватит за горло и начнет душить до крика; станет невыносимо.

Тревожило еще выпитое за поздним обедом шампанское, заставляя смеяться одну половину души, в то время как другая бессильно гневалась на самое себя и требовала покоя; раздражали неуловимые испарения крови, хотелось говорить, хотелось приказывать, хотелось без конца продолжать бесконечный день. А они спят! И если разбудить

кого-нибудь и заставить слушать, он будет слушать, но лицо его будет сонно и неумно, и ответы будут невозможны до глупости. «Он хочет спать!»

Но еще не сошла с лица императора брезгливая гримаса, с какою он подумал о хотящих спать, как другое чувство теплом и нежностью охватило его душу: будто кто-то перевернул неприятное представление о спящих и дал ему новый трогательный смысл. Сжатая в один луч, мелькнула перед глазами пестрая картина двухдневных утомительных боев, тяжкой работы во славу императора и Германии — как они работали, как они устали, как они хотят спать и как славно спится их измученным телам! «Бравые солдаты»,— дал короткую реляцию Вильгельм, и грудь его расширилась и поднялась от наплыва силы и необыкновенного счастья. Бравые солдаты!

Счастье становилось все острее, росло, словно облако, и отрывало от земли — и вдруг на глазах Вильгельма блеснули умиленные слезы от мгновенного и яркого представления о каком-то необыкновенном величии, от державно-светлого образа, в котором слились черты всех владык мира, все троны, все земли и моря, все таинственно-чарующие имена древних властителей. Словно светящаяся лестница Иакова, на вершине которой, на самой ее последней тающей ступени находится он, император германский и всего мира.

— Текст, текст,— радостно думал Вильгельм, раскрывая походную Библию,— надо найти текст, надо прочесть проповедь, надо, надо...

Но в тексте оказалось не то, что надо, и сразу стало тяжело почти до отчаяния, до смертельного холода и тоски. Потом снова счастье. Потом опять отчаяние и тоска. Это начиналась бессонница с ее судорогами и отвращением к жизни. А он еще не раздевался — что же будет, когда он ляжет? Тоска! Тоска!

И тогда ему пришла счастливая мысль: среди пленных, захваченных сегодня, вероятно, есть кто-нибудь с головой, с кем можно говорить и даже спорить. Это великолепно: спорить! Он позволит пленному выражать свои мысли, а потом заговорит сам и очарует его, непривычного к разговору с царями. Даже отпустит его: пусть пойдет к своим и всему миру расскажет, что думает император Вильгельм, такой великий и страшный и такой простой.

Но непременно с головой!

II

Это был русский революционер, эмигрант, уже много лет живший в Бельгии и занимавший кафедру в Брюссельском университете. Он был не первой молодости, но пошел добровольцем в бельгийскую маленькую армию, участвовал уже в нескольких боях и отличился; в плен он был взят в штыковом бою и по счастливой случайности, всегда спасавшей его, не получил ни одной раны. Он также не спал, когда его очень вежливо пригласили во дворец, каким стал Гранд-отель; если не знать, что он русский, то его легко можно было принять за бельгийца или северного француза; и если знать — то и его небольшая светлая бородка и серые глаза, утомленные чтением, казались чем-то до чрезвычайности русским, ни на что другое не похожим. Но в списки пленных он еще не попал; даже свои считали его бельгийцем, и таким он и был приведен к Вильгельму. Было приказано, впрочем, не приводить только англичан.

Пленный поклонился, Вильгельм также. Вильгельм смотрел прямо и пристально по привычке, пленный также — и от огромного интереса, который возбуждал в нем император, и также по привычке. Он был без оружия и тщательно обыскан, прежде чем войти к императору, и все это знал Вильгельм, приказав оставить их вдвоем.

— Вы устали? Садитесь,— приказал Вильгельм.

Пленный сел.

— Хотите курить? — спросил Вильгельм, улыбнувшись.

— Хочу,— ответил, также улыбнувшись, пленный и все также прямо смотрел на желтое, дергающееся лицо Вильгельма. Последний, по немецкому обыкновению, рукой передал ему сигару: обрезана, курите. Сам же отпил из бокала шампанского и сел, резко отвернув полу сюртука.

«Уж не пьян ли он?»— подумал пленный с недоумением.

Вильгельм спросил:

— Бельгиец?

— Я занимаю кафедру в Брюссельском университете. Профессор, доктор прав.

— А! Очень приятно, господин профессор. Ланд-штурм?

— Нет, волонтер.

Вильгельм усмехнулся:

— А! Это интересно. Значит, против меня?

— Да, и против вас.

«Он не титулует меня, но голова! — это видно». И, подумав, спросил:

— А как себя чувствует король Альберт?

— Я не знаю, как чувствует себя король Альберт. Вероятно, плохо.

Он ответил просто и спокойно, и от этого спокойствия слов и голоса вдруг заметно стало, что и рука его, которой он держал сигару, и лицо, и грязная нога в разорванном сапоге, закинутая на другую ногу,— все это дрожит маленькой и непрерывной дрожью, и что-то в нем подергивается, соскакивает, неуловимо рябит. Это напоминало самого Вильгельма и было неприятно.

— Вы ранены? — спросил он резко, с неудовольствием.

— Нет. Я устал и, конечно, не совсем в порядке.

— Спать не можете?

— Нет. Минутами хочется, потом проходит. Я позволю себе спросить: это по вашему приказанию расстреляны заложники? Так нам сказали. Нас заставили присутствовать, я видел.

— Да, это приказал я. Кровь самого плохого прусского солдата стоит крови всей Бельгии,— повторил Вельгельм и, подумав, добавил: — Для меня, конечно. А в Бельгии, вероятно, думают наоборот?

— Нет, там этого не думают.

— Пустое; думают, но не смеют сказать. Пустое! Я их знаю. И их маленького короля знаю. Мне его не жаль: это глупый героизм, не достойный коммерческих способностей бельгийцев. Вы не думаете, профессор, что бывает и глупый героизм?

— Я не знаю, что...

— Вы любите Нансена? Я его обожаю: вот человек! Англичане и норвежцы его не оценили. Я обожаю его книгу. Отправиться на полюс, к черту, может всякий дурак, но он готовился, о, как он готовился! Я также. У меня у одного армия, а у вас волонтеры и сброд, и оттого я вас бью и буду бить. Я бью и буду бить!

И снова чувство необыкновенного счастья охватило императора: он улыбнулся и приготовился что-то ласковое сказать несчастному пленнику, который так измучен и принижен, но увидел в его дрожащей руке сигару и испуганно вскрикнул:

— Эй! Вы сроните пепел! Осторожнее.

Пленный вздрогнул от крика и слегка нахмурился, покраснев. Ему вспомнились заложники и то, как один из них плакал и умолял, чтобы не убивать,— так какой-то, видимо, ничего не понимавший ни в войне, ни в героизме.

— А зачем это надо: бить? — спросил пленный и покраснел еще больше.

— Как зачем? — удивился и не понял император.— Я не понимаю, выражайтесь яснее, господин профессор!

— Зачем это надо: бить? — настаивал пленный с некоторой резкостью.

Вильгельм понял и презрительно взглянул — поверх глаз и головы.

— Ах, вы — пацифист! Глупо. Потому вы и в плен сдались?

Но пленный не обратил внимания на оскорбительный смысл последних слов, которые едва ли и слышал. Его также почему-то охватило чувство необыкновенного счастья, как во сне, и он потянулся. Потом тихо засмеялся, глядя прямо на Вильгельма утомленными и ласковыми глазами.

— Что с вами? Вы забываетесь.

— А разве это не сон?

— Нет. Глупо! Это не сон.

— А мне на мгновение показалось, что это сон, и я хотел говорить, как во сне. Я ведь не бельгиец.

— Что такое?

— Я русский, эмигрант. Политический. В тысяча девятьсот шестом году я приговорен к смертной казни, но мне удалось спастись. С тех пор я в Бельгии, и вот теперь... с вами. Я — русский.

— Это другое дело,— холодно сказал Вильгельм.— Произошла ошибка, и вы можете идти, господин...

— Профессор. Но почему вы не хотите говорить со мной? Вам ведь хочется говорить — мне также.

— Потому что вы тотчас же станете играть маркиза Позу, а Поза слишком немецкая выдумка, чтобы я этому верил.

— «Made in Germany» [1].

— Для вывоза, но не собственного употребления. Революционер, эмигрант, русский! Что это за чепуха? Милостивый государь, мне нужен человек порядка, мне нужна старая добрая латинская кровь, с которой спорит моя германская, мне нужен человек этой старой дурацкой культуры, а не русский полудикарь. С вами я не спорю, как и с турками. Что такое русские? Их я бью... задом.

Император громко засмеялся от удачно сказанного слова и повторил, подчеркивая слова резким жестом:

— Я их бью задом!

Но еще светились его серые глаза насмешливой улыбкой, как в душу вошли отвращение, холод и тоска, чувство

[1] Сделано в Германии *(англ.)*.

огромной ненужности всего: и войны, и мира, и смерти, и жизни. Он встал, ощущая острую боль в пояснице, и заходил по кабинету. Это усталость и бессонница. Они требовательны, эти усталость и бессонница, они хотят своего, и их возмущает каждое решительное слово, смелая и яркая мысль; своим ядом они отравляют волю и зовут ко сну, к смерти, к покою. Но он не подчинится их власти. Завтра он поедет на позиции, выспится, отдохнет, и все станет снова хорошо и грандиозно...

И снова заволновалось в нем подымающее веселье, шаги стали быстрее и тверже, звон шпор отчетливее и яснее; и с удовольствием кивнув головой, он услыхал фразу русского:

— Я — доктор прав, бельгийский профессор, говорите со мной, как с бельгийцем или ученым. И я женат на бельгийке.

— Это хорошо,— одобрил император.— А вы говорите со мной, как во сне. Хорошо? Вы хотите быть откровенным? — говорите откровенно: здесь нет этикета — война. Война! Вот вы, русские революционеры, пацифисты, доктора прав и прочее, кричите против войны, а что, кроме войны, могло бы дать вам возможность такого разговора? Вы подумайте, профессор, как это необыкновенно, как это счастливо: ночью, вдвоем, революционер — и германский император! Пусть это будет сон,— но не рутина, понимаете? К черту рутину! Где ваша кафедра? Где мой трон? Вы видите: эта смешная, старая бельгийская гостиница, где останавливаются купцы — мой дворец. Разве это не чудесно!

— У вас бессонница?

— О моих болезнях я говорю с моим лейб-медиком. Оставьте рутину, господин профессор! Или вам жаль вашей деревянной кафедры, дешевого возвышения с двумя ступенями от полу? Или вам жаль ваших безусых учеников с их тетрадками? Сегодня я ваш слушатель. Учите императора, пропагандируйте, ведите себя... свободно!

Император засмеялся и сел, закинув ногу на ногу. Выпил шампанского и бокалом указал в направлении окна:

— Вы слышите? Это мои орудия. Ваши бегут, и мои войска преследуют их. Завтра мы кое-что услышим новое. Сегодня ваш первый бой?

— Нет. Не знаю, который. Мы все время в бою.

— Ого! Да, впрочем, вас мало. Имеете знаки отличия?

— Да. Два.

— Браво! Браво! Я уважаю храбрых, кто бы они ни

были. Но этот глупый героизм... нет, его я не уважаю. Или у вас не знали, что я непременно,— он подчеркнул это слово,— неизбежно раздавлю Бельгию. Пусть мне не удастся съесть яйца, как доказывают ваши фантазеры, но скорлупа должна быть разбита! Не так ли?

— А вы слышите запах крови?

— Что это: ирония? Начало лекции?

— Нет, простой вопрос. Я все время слышу запах крови — очень особенный и очень ясный. Я слышу его и во сне, этим запахом окрашена моя пища. Если я останусь жив, то мне кажется, всю жизнь я буду слышать его: запах свежей крови и разлагающегося трупа. Когда-то я занимался медициной, анатомией, и для меня этот страшный запах трупа не нов — но здесь слишком много трупов, их зловонием заражен воздух на десятки километров, целые страны превратились в мертвецкие, в студенческие препаровочные, анатомические, где свежего человека тошнит. Вас, конечно, не тошнит, вы привыкли, да и я... но я о другом. Вы, вероятно, замечали, что в запахе человеческого разлагающегося трупа есть что-то... почти святотатственное? Животное — другое дело: оно только противно воняет, и достаточно зажать нос, чтобы успокоиться. Но труп человека, когда он залежится? Здесь страшно то, что р о д н о е и б л и з к о е может так ужасно пахнуть. Не правда ли?

Вильгельм улыбнулся:

— Вместо лекции о правах — лекция о запахах?

— Вы смеетесь? Вот об этом я хочу спросить — об этом вашем смехе. Мы, обыкновенные люди, не любим и боимся запаха свежей крови и запаха трупа. Но вы, император? Как он действует на вас? Слышите ли вы его и чем он кажется вам? Вот сейчас — пленный вдохнул воздух и поморщился,— вы слышите, как здесь пахнет, или нет? Ведь очень плохо!

— Да, воздух испорчен,— согласился император и также поморщился.— И нельзя открывать окна: оттуда пахнет еще хуже. Но вы спрашиваете, как отношусь я? Я стою выше этого запаха, понимаете? Выше! Почему запах трупа непривычен и слабонервным людям внушает страх и суеверные мысли? Потому только, что трупы принято хоронить, то есть все зависит от пустяков, обычая, известных навыков. Вы представляете, дорогой профессор, какой колоссальный запах поднялся бы от всех миллиардов умерших на земле, какая ужасающая вонь, какой смрад, если бы их не прятали так быстро в землю? Их прячут, и только от этого они не воняют.

— Сколько трупов вокруг нас. Ночь — и они лежат. Я как будто их вижу,— задумчиво сказал русский.

— А я их не вижу, и их завтра похоронят. Вы слыхали о моих моторных плугах, роющих могилы? Глупцы смеются над ними и ужасаются; им нужен традиционный шекспировский могильщик, который непременно руками рыл бы яму — и болтал глупости в это время, бездельник! Все это дешевый романтизм, сентиментальность старой глупой Европы, блудливой ханжи, выжившей из ума от старости и распутства. Я положу ей конец. Почему жечь трупы, обливая керосином, как делают ваши друзья французы, нравственнее и красивее, нежели класть их в чистую и глубокую колею, как зерна? Или вы так наивны, профессор, что еще захотите спросить меня о жалости: жалею ли я? Сознавайтесь!

— Да, хочу. Сегодня один из заложников, старик, плакал...

— Плакал?

— Да, плакал и умолял, чтобы его не убивали. Так, какой-то старик. Он ничего не понимал... вероятно, он никогда и не думал ни о какой войне. Мне было его жаль.

— Пфуй! Стыдитесь, профессор! Но его все-таки расстреляли, надеюсь?

— Да.

— Бравые солдаты! Молчите, я знаю вашу мысль: да, конечно, конечно, он был невиновен. Как может быть виновен какой-то ничтожный старикашка, никогда не думавший о войне, в том, что кто-то другой, какой-то молодец с темпераментом выстрелил в моего солдата? Но разве были виновны мученики при Траяне и разве виновны в вашем смысле мои солдаты, в которых вы сегодня стреляли? Почему же вы не плачете над мучениками? Плачьте!

Голос Вильгельма стал резким и раздраженным:

— Все гуманисты кричат мне о жалости. Жалость! Жалость! Это глупо, профессор, глупо! Почему я должен жалеть того, кто стал трупом сегодня, а того, кто стал трупом триста лет назад, жалеть не должен? Какая между ними разница? Черт возьми — за пять тысяч лет их столько мучилось, бегало, голодало, теряло детей, умирало, казнилось, убивалось на войне, сжигалось на кострах, что, если их всех жалеть... а какая разница? Разницы нет! Но вы — русский, впрочем; вы этого не понимаете. Русские лишены сознания; они живут эмоциями, как женщины и дети, у них много глаз, но ни одного ума. Их слезы дешевы и случайны. Они плачут над собакой, которую на их глазах

задавил таксомотор, и спокойно курят при разговоре о смерти Христа! Вы не еврей?

— Нет.

— Поздравляю. Но что вы скажете о еврейских погромах в России? Гвоздь в голову, например,— а?

Пленный глубоко и серьезно взглянул в самые зрачки серых холодных глаз и молча опустил голову.

III

Пленный молчал, смотря на потухшую сигару, попробовал пальцем ее холодный конец. Канонада либо удалилась, либо смолкла, и в комнате было тихо, и как будто меньше пахло дымом и гарью. Вильгельм сурово смотрел на его голову: в ней чудилось ему какое-то упрямство, которого он еще не победил; и разорванные, грязные сапоги были неприличны, как у нищего. Русский!

— Возьмите новую. Вот сигары и спички. Курите, а то заснете. Хотите один бокал вина?

— Нет.

— Да, лучше не надо,— опьянеете. Вы слыхали, что у вас в России запрещено вино? Какие слабохарактерные люди! Они похожи на пьяницу, который дал зарок и боится даже уксуса; они могут не пьянствовать только тогда, когда на вино повесят замок. Но кончится война, которая их испугала, и они снова будут умирать от спирта, как эскимосы. Вам не следует пить.

Он с усмешкой отхлебнул из бокала. Русский молчал, и это несколько раздражало. Вильгельм снова усмехнулся и со стуком поставил бокал, так что пленный вздрогнул и посмотрел.

— За это вино я не заплатил и не заплачу ни пфеннига. Вам это также не нравится, господин профессор? Но это хорошо, что вы молчите. И хорошо, что вы о Христе не ответили. Что вы можете ответить? Что может ответить вся Европа? Я читаю ежедневно английские и французские газеты, и это смешно,— вы понимаете! — смешно до коликов в желудке. Ваших газет я не читаю, но, вероятно, то же, да? И, вероятно, также рисуют мои усы, да? И также рассуждают о гуманности и Красном Кресте и зовут меня пиратом и разбойником, а сами воруют на дровах, на хлебе и бумаге, на которой пишут? О да, конечно, также. Скажите: у вас в России есть дома терпимости? Есть! А они еще не закрыты? О нет, конечно,— это естественная потребность; вероятно, и Ной в ковчеге занимался тем же, говорят они, а это был потоп! Вам не кажется, господин

профессор, что теперешняя Европа есть необыкновенное, небывалое собрание мошенников?

— Отчасти, кажется, да. Мошенников много. Но вы включаете и Германию?

— Нет: мы — разбойники и пираты. Вот вы говорили о запахе трупов, который вы так необыкновенно и благородно ощущаете, а не слышите ли вы запаха колоссальной лжи? Правда в Европе давно умерла,— вы не знаете? — и труп ее разлагается, это и есть запах лжи. И трупами пахнут только страны, а ложью? — о, от полюса и до полюса стоит ее смрадная вонь. Почему вы не слышите этого запаха? Почему вы не заметили, профессора и гуманисты, как умерла ваша истощенная культура, и продолжаете держать ее труп, разлагающийся и зловонный? Или в Европе никого не осталось, кроме мошенников и глупцов? Нет, я не злодей и не убийца. Убивают только живое, мучают только невинное. Я — могильщик для старой Европы, я хороню ее труп, и мир — да, сударь, мир! — спасаю от ее зловония. И если мои профессора, начитавшиеся Шекспира,— которого я и сам люблю! очень! — еще стремятся быть гамлетовскими могильщиками и что-то болтают о черепе Йорика; если мои демократы еще немного... цирлих-манирлих, вы понимаете? — и золотят каждую пулю братством и Марксом, то я, Вильгельм Второй и Великий, прям и откровенен, как сама смерть. Я — великий могильщик, сударь. Я миллионносильный плуг для мертвецов, который бороздит землю. И когда эти глубокие, чистые и прекрасные борозды покроют всю Европу, вы сами, профессор, назовете меня великим!

— А бессонница?

— Вы опять о бессоннице? А мой труд? Забудьте о моих усах и скажите по чести: есть ли еще в Европе человек, который мог бы вместить и преодолеть столько, сколько я, германский император? Сколько врагов у Германии, вы знаете? А она одна — одна во всем мире. Одна и побеждает. Какое из государств древнего и нового мира могло бы выдержать такую борьбу: одного со всеми, кроме Германии? А Германия — это я. О, как бы я был счастлив, профессор, на вашем месте: вы видели Вильгельма в этот роковой час, вы слышали его! За это можно заплатить не только свободой, но и... жизнью.

— Мания величия?

— Да. Всякий немец, начиная с меня, имеет право на манию величия. Вы — нет, для вас пусть останутся остальные болезни, вы согласны?

Вильгельм засмеялся и даже похлопал слегка пленника по плечу, мельком взглянув на револьвер, который лежал на круглом столе, недалеко от профессора. Это был заряженный револьвер самого Вильгельма, кем-то глупо положенный и забытый на столе. И продолжал, смеясь:

— Не правда ли, какая интересная ночь? Это, пожалуй, лучше вашей кафедры, профессор! Этих деревянных подмостков для актеров гуманности так много в Европе... но вот странное, очень странное обстоятельство, профессор... не объясните ли вы? Я сам проходил курс университета и знаю, что все профессора учат разуму, справедливости, праву, добру, красоте и так далее. Все! И еще ни один не учил злу и канальству. Но отчего же все ваши ученики — такие ужасные мошенники и лжецы? Вы их не так учите или они не так записывают в тетрадки?

— А чему они научили вас? Я хотел бы видеть ваши тетрадки.

Император засмеялся:

— Прекрасные тетрадки, профессор; моя жена ими гордится. Меня они научили — не верить им. Разве вы сами верите актеру или плачете, слушая граммофон? Это роли, профессор, только роли в устах бездарных лицедеев, и даже чернь уже начинает посвистывать им. Вот вы играете роль доктора прав — я не ошибаюсь? — но кто же, не сойдя с ума, поверит вам, что вы действительно — доктор прав! Теперь вы в новой роли: вы перегримировались, и на вас мундир бельгийского солдата, но...— Вильгельм быстро взглянул на револьвер,— но не скажу, чтобы и здесь вы обнаружили особый талант. Вам не хватает простоты и убедительности!

Вильгельм засмеялся и продолжал, не в силах справиться с овладевшей им странной и тяжелой веселостью, за которой уже стояла тень тоски — он знал это:

— Вы доктор прав, вы — доктор прав,— а не хотите ли, я открою вам важную государственную тайну, касающуюся права? Вы знаете, кто хотел и кто начал войну? Я! Вы довольны? Я! Германия и я. Не правда ли, как это важно для науки права, для всех деревянных подмостков, в две ступени, и всех граммофонов?

— Сейчас это не важно.

— Нет, это важно, сударь, но не в том смысле, как вы полагаете. Нет, это очень важно: ведь и Страшный суд наступит для мира не по приглашению, а в час, свыше назначенный — и назначенный не вами!

Император нахмурился и строго посмотрел на пленника:

— Я объявил войну, я хотел войны, я веду войну. Я и моя молодая Германия. Вы же все — вы только защищаетесь. О, конечно, с точки зрения вашего права, это восхитительно, это делает даже ваших интендантов святыми и как бы кропилом кропит ваши пушки; но есть более ценное в жизни — это сила. Вы — профессор; не давайте же вашим святошам, неучам и ханжам ставить глупый вопрос: что выше: сила или право? Вы же знаете, что сила и есть право. Вы революционер и, конечно, демократ?

— Демократ.

— Конечно! Скажите же мне как честный человек, не актер: вы уважаете существующие законы?

— Нет. Не все.

— Конечно! Вы же не идиот, чтобы уважать закон, который вас,— невинного с вашей точки зрения,— приговорил к смертной казни! Или уважать закон против стачек! Или уважать законы о краже, раз сама собственность есть кража. Где же ваше уважение к праву, господин доктор прав?

— Существующие законы не есть выражение права.

— О, конечно: для вас! Ибо существующие законы — это только воля сильного, навязанная вам, сильного, с которым вы боретесь. Когда вы победите и станете сильны, вы напишите свои законы; и они также будут недурны, но кто-то все же останется ими недоволен и будет уверять с бомбою в руках, что страна истинного права лежит дальше. Не так ли? Почему же я не могу дать Европе своих законов, раз сила за мною? Кодекс Вильгельма Великого — это будет звучать с кафедры ничуть не хуже и не менее правомерно, чем кодекс Наполеона. Вашим ученикам придется завести новые тетрадки, господин профессор!

— А вы уверены, что сила за вами?

— Это разумный, наконец, вопрос, на который я с охотой отвечаю. Не угодно ли еще сигару, господин профессор?

— Благодарю.

— Пожалуйста! Сигары не дурны. Как это называется: когда император, названный в глаза почти злодеем, вежливо предлагает сигару революционеру и пленному, только что стрелявшему, и революционер вежливо благодарит? Кажется, культура? — император засмеялся и снова быстро взглянул на револьвер.— Я шучу, курите спокойно, мне просто хочется, чтобы вы не заснули и похвалили мои сигары. Да, сила за мною потому, что я объявил и хотел

и начал войну. А хотел я потому войны и не мог ее не хотеть, что у единого из всех государств, у Германии, есть двигающая ее идея. Идея, вы понимаете? Народ без идеи — мертвое тело, вы это знаете?

— Это давно сказал наш писатель Достоевский.

— Не знаю, не слыхал... У всех у вас были пушки и солдаты и военные министерства — почему же вы нападали? Не хотели проливать крови? Неправда. Вы нападали, но на слабейшего: французы на арабов, англичане на буров, вы на японцев, итальянцы на турок... впрочем, вы тогда ошиблись с японцами. Кажется, почтенные бельгийцы ни на кого не нападали, но зато для всех делали револьверы. Почему же вы не напали на Германию? Потому что для нападения на Германию нужна идея, а для тех достаточно простого аппетита, желания плотнее пообедать. Но я помешал вашему обеду: я сам хочу скушать кушающих. У Германии львиное сердце — и львиный аппетит!

Император засмеялся и благосклонно посмотрел на пленного. Он знал, что от бессонницы его глаза блестят особым ярким царственным блеском, и ему хотелось, чтобы русский заметил это. Кажется, русский заметил.

— Вы дворянин? — спросил император и, не ожидая ответа, продолжал: — Война с Германией! Для этого недостаточно сотни инвалидов, наемников и марширующих скверно мальчишек. Войну с Германией может вести только народ, весь народ, дети, старики и старухи,— а какой из народов растленной Европы способен к этому? Какому из народов под силу такой взрыв энергии, такая смелость? Объявить войну — это объявить бурю, сударь, взволновать океаны, небо и землю! Объявить войну — это самого себя гордо бросить на весы божественного правосудия, это ничего не бояться: ни анархии, ни смерти, ни совести, ни Бога. И я — объявил войну! Я нападаю. Я — Вильгельм Второй и Великий, львиное сердце молодой Германии!

Он гордо выпрямил грудь и продолжал, усиленно блестя глазами:

— Где идея Франции? Где идея Англии? Они только защищают бывшее, они хотели только покоя и тихой сытости, мира торгашей и мошенников. Теперь даже карманные воры возмущаются Вильгельмом: он помешал им трудиться! Что защищает ваша Франция? Идеи 93-го года? Красоту и свободу? Нет, сударь,— она защищает свои сберегательные кассы, своих всемирных ростовщиков и потаскушек, свое священное право — остроумно и блестяще

вырождаться. Вы, русские революционеры, упрекаете меня, что я моим влиянием подавил вашу крохотную и слепую революцию, неврастенический порыв к свободе, но я — бережливый немец, я давал только советы,— Вильгельм засмеялся,— а деньги для ваших виселиц дала Франция! Защищайте же ее, защищайте,— и когда вам удастся отстоять эту ссудную кассу, она снова настроит вам эшафотов, она не забудет вас своей благодарностью! Но я этого не дам. Вот мой план — хотите послушать? Береговую Францию я возьму себе, остальное объявлю нейтральным... вы знаете, что значит нейтральное государство? Это блюдо, которое еще на кухне, пока здесь накрывают стол. Я съем ее впоследствии, когда она достаточно упреет. И не бойтесь — я сохраню ваш Париж. Ведь существует же Монте-Карло? — отчего же не быть и Парижу, вольному городу кокоток, нерожающих женщин, декадентов и бездельников со всего света. Это будет великий город остроумных наслаждений, половых экстазов и болтовни об искусстве; в нем соберутся евнухи обоего пола, и я сам буду охранять его! Сам! Пусть, как вата в ране впитывает весь гной и мерзость разложения, пусть существует... пока не придет мрачный русский анархист и не взорвет все это к черту!

Голос Вильгельма снова стал крикливым и раздраженным:

— Народ, в котором женщины отказываются рожать и мужчины не хотят производить,— не должен существовать! Евнухи хороши для сераля, но где вы видали нацию евнухов, государство кокоток? У меня восемь сыновей, и я горжусь этим, и я жму руку всякому честному немцу, который днем делает ружья и пушки, а ночью молодцов-солдат! И чем была бы ваша жалкая Россия, если бы вы не рожали так упорно и не создали тех ваших масс, народной брони, которую пока еще не могут пробить и мои 42!

Пленный утомленно и нехотя возразил:

— Но и у вас в Германии начинают принимать меры против излишка рождений...

— Это не Германия! — вспылил Вильгельм и покраснел.— У меня во всей Германии до войны не было ни одной вши — ни одной вши, сударь! — но ваши солдаты нанесли их. Разве эти вши — Германия? И я потому тороплюсь уничтожить Францию, что ее «идеи» безнаказанного распутства, ее отвратительная зараза ложится и на мой свежий и сильный народ. Излишек рождений! — простите, профес-

сор, но это глупо, вас кто-то поймал на удочку, профессор. У вас есть дети?

— Четверо. Я пока не защищаю Францию. Но в чем же идея Германии?

— В том, чтобы стать великой Германией.

— Этого хочет всякий народ.

— Неправда! Об этом кричат только ораторы, профессора и газетчики, пока народ спит. Но когда всякий человек в народе — понимаете, всякий! — начинает хотеть и стремиться к величию, когда благородная страсть к господству становится преобладающей страстью для стариков и детей, когда всякая личная воля устремляется к единому центру и все мозги мыслят об одном,— тогда бесплодная мечта фантазеров становится народною идеей! Германия хочет быть великой — вот ее идея, сударь! И здесь ее сила, перед которой вы дрожите!

— Господство для господ? Этого мало.

Вильгельм внимательно посмотрел на пленного, на револьвер — и усмехнулся.

— Если вам этого мало, то есть и еще нечто, профессор. Что вы скажете об идее возрождения? Что вы думаете о такой вещи, профессор, как... возврат к варварству?

— Это шутка или ирония?

— Такая же шутка, как запах крови и трупов, который вы ощущаете с достаточной и даже излишней, кажется, серьезностью. Нет, я не шучу. Разве вы не знаете, что я — германец? Варвар? О да. Тот самый германец, который еще в тевтобургском лесу колотил культурных римлян. С тех пор мы кое-чему научились у латинян, но в то же время набрались и латинских вшей — нам надо хорошенько вымыться, хорошенько, сударь!

— В крови?

— Если вы так любите эффектные выражения, то — в крови. Разве вам неизвестно, что она моет лучше всякого мыла? Я — варвар, я — представитель молодой и сильной расы, мне ненавистны старческие морщины вашей дряхлой, изжившей себя, бессильно лживой Европы. Зачем она лжет? Зачем она не умирает, как и ваша Сара Бернар, и продолжает кривляться на подмостках? В могилу, в могилу! Вы съели слишком много, чтобы переварить, вы полны исторических противоречий, вы — просто абсурд! Умирайте,— и я буду вашим наследником: кое-что у вас есть. Оставьте мне ваши музеи и библиотеки: мои ученые разберутся в этом хламе и, может быть, кое-что оставят,— но если они выки-

нут даже все, я только порадуюсь. Мне не нужно наследства, на котором слишком много долгов! В могилу! В могилу!

IV

— Вы ошибаетесь,— сказал пленный.— Вас побьют.

— Кто?

— Сила не за вами. Вы погибнете.

Вильгельм молчал. Затем сказал холодно и сурово:

— Мне стыдно за вас, сударь. Вы говорите о голоде, которым хотят победить Германию? Вы вспомнили о наших сухих корках хлеба, о которых кричит сейчас вся счастливая Европа, вычисляя день, когда нам нечего будет есть? Стыдитесь! Я краснею, когда читаю статьи в ваших газетах. Вам следовало бы отвернуться, как сделал Иафет, а вы подслушиваете у дверей Германии, о чем говорят ее хозяйки, и смеетесь над их благородной расчетливостью, как расточительные лакеи. Я весьма мало склонен к чувствительности, сударь, но я плачу, я, император, плачу, когда думаю о германских женщинах и детях; и когда предатели англичане с высоты своих кафедр вычисляют, сколько молока в груди наших молодых матерей, и надолго ли его хватит, и скоро ли начнут умирать наши младенцы,— я плачу от гордости за мой великий народ. Но пусть не торжествуют англичане! Грудь матери Германии неистощима! И когда не останется молока в груди женщин — волчицы из лесов будут кормить младенцев, как Ромула и Рема.

Пленный, покраснев слегка, возразил:

— Но я не о хлебе. Чем вы можете объяснить то огромное сопротивление, которое вам оказано? Вы на него рассчитывали?

Император молчал. Пленному показалось, что он несколько побледнел.

— Или оно не кажется вам таким большим?

Вильгельм пожал плечами:

— Инстинкт самосохранения!

— Только?

— Что же еще? Они защищаются. Правда, я буду с вами откровенен: я не ожидал такого упорства со стороны...

— Трупа?

Вильгельм снова пожал плечами:

— Да, трупа, если хотите. Мертвец тяжелее, нежели я думал, и требует для себя более просторной могилы.

Но разве я ее не рою? Послушайте голоса моих могильщиков, они звучат достаточно... серьезно.

Гул дальней канонады переходил в рев, непрерывный и тяжкий. То ли снова разгоралось сражение, то ли перевернувшийся ветер полнее доносил звуки, но вся та сторона, где находился Запад, волновалась звуками, гудела, громыхала и выла. Как будто там, где находился Запад, кончалось все человеческое и открывался неведомый гигантский водопад, низвергавший в пучину тяжкие массы воды, камней, железа, бросавший в бездну людей, города и народы.

— Вы слышите моих могильщиков? — повторил Вильгельм строго.

Побледневший русский тихо ответил:

— Мне кажется, что мы плывем... и это Ниагара. Туда все падает.

Император засмеялся:

— Нет, это не водопад. Это ревут мои железные стада! Не правда ли, как страшен их голос? А я — пастух, и в моей руке бич, и я нагоню их еще больше, еще больше! Вы слышите? И я заставлю их реветь адскими голосами... ах, они еще недостаточно яростны. Разве это ярость? Пфуй! Надо реветь так, чтобы весь земной шар задрожал, как в лихорадке, чтобы так,— он поднял руку,— там, на Марсе, услышали меня, великого могильщика Европы! В могилу! В могилу!

Крепко и надменно сжав губы, словно забыв, что он не один, Вильгельм молча заходил по комнате. Грудь его была выпячена вперед, рука заложена за борт, голова закинута, шаги отчетливы и точны — он маршировал, он мерял землю и каждым шагом утверждал свою цезарскую власть над поверженным миром. И глаза его были восторженны и безумны.

Русский сказал:

— Вы страшный человек.

— Вы понимаете? — отрывисто и не глядя бросил Вильгельм. Он едва ли понял смысл сказанных слов, и они прозвучали для его сердца широко, радостно и отдаленно, как голос признания, как робкая дань мирового восторга и преклонения. И снова ослепительным видением встала перед ним светящаяся лестница Иакова, и на последней, на самой верхней тающей ступени ее — он, Вильгельм, император германский и всего мира. А под ним — германский народ — бесчисленный, прекрасный, блистающий мечами и касками, грозный и властительный. До крайних

пределов взора волнуется его царственная нива, где каждый колос — блестящий штык солдата, и теряется смутно в синем дыму океанов, в золоте и зелени тучных островов и еще неведомых стран, полных манящего очарования. И грозно блистающее солнце, как мировая корона, прямо над его головою.

Боясь неосторожным движением спугнуть мечту, щурясь от блеска свечей, почти ощупью, Вильгельм добрался до глубокого кресла и сел. И сидел долго, не шевелясь, почти не дыша, с закрытыми, но будто видящими глазами. Глубокая задумчивость, похожая на сон, овладела им и, как сон, мягко тянула его в плывущую глубь неясных образов, светлых и величественных отражений, подобных игре солнца на колеблющейся воде. Замирал слух. Грозная канонада сперва стала не громче тиканья часового маятника — прервалась молчанием — и окончательно стихла в немоте высоких, плывущих, светлых и величественных призраков.

Вдруг легкая судорога пробежала по телу. Бесшумно и быстро, точно под сильным порывом теплого ветра, забегали, заметались и растаяли светлые призраки и глубоким спокойствием звездного неба и безграничной глади морских вод оделась душа, отдыхая. Будто ясною ночью на своем железном крейсере он бесшумно режет податливую и глубокую воду. И ровный стук машины, и быстрое вращение винта, и осторожное прикосновение пенистых волн к скользским стальным бортам — все сливается в один ритмичный звук, подобный биению его собственного сердца, перестает быть звуком, становится дыханием. Теперь он сам — железо, сталь и пушки корабля; теперь он сам — его раскаленные горна, его могучие рычаги, его сильно и крепко вращающийся винт; теперь он сам — его острый стальной нос, властно таранящий воду и пространство. Единое тело, единая воля, единая цель. Но сколько силы нужно для дыхания, когда вместо сердца миллионносильная машина и ребра скованы из стали!..

Император уснул.

Три-пять минут прошло в молчании. На минуту и русский закрыл глаза и удобнее сложил вытянутые ноги, но сон не шел к нему и усталость сделалась как будто меньше. Вытянув шею, с места он близоруко вгляделся в неподвижное лицо Вильгельма, послушал его тяжелое, но ровно сонное дыхание и улыбнулся. Тихо окликнул:

— Государь!

Ответа не было. И с новым чувством особенного интереса

ко всему окружающему, почти детского любопытства, пленный тихо встал и обошел комнату. Осторожно заглянул в окно, слегка отвернув край драпри: внизу было темно и тихо, а за крышей противоположного дома стояло искристое зарево недалекого пожара. Прислушался к канонаде — все то же. Опустил, поправил занавес и с минуту стоял перед огромной, исчерченной, стратегической картой, прибитой к стене; подумал: как мало я понимаю! Медленно отошел к круглому столу, где лежал заряженный револьвер, и осторожно, не глядя на спящего, взял его в руку, заглянул в магазин: да, заряжен. Как глупо и неосторожно!

Держа револьвер обеими руками, низко склонив над ним голову, точно всматриваясь в самую тайну его содержимого, русский с минуту стоял в полной неподвижности и что-то сосредоточенно и глубоко думал; ни один волос, ни одна складка не шевельнулась за это время. Потом также осторожно и тихо положил револьвер на прежнее место — и только тогда взглянул на императора.

Император спал.

Слишком серьезный, чтобы улыбнуться или даже пожать плечами, пленный вернулся на свое место, сел и еще раз оглядел комнату. Теперь она была новая и другая, и тяжелый рев орудий за стеной вдруг потерял весь свой грозный зловещий смысл: не верилось, что там стреляют не холостыми патронами, а настоящими, и убивают. Но усталость у пленного совсем прошла, уже больше не дрожали ни руки, ни ноги, и голос был громок, спокоен и тверд, когда он вторично окликнул Вильгельма:

— Послушайте!.. Проснитесь. Государь!

Вильгельм открыл глаза, ничего не понимая. Но вдруг все понял и с сильно забившимся сердцем вскочил на ноги. Русский так же встал невольно и привычным жестом солдата опустил руки по швам и составил ноги.

V

Вопросы императора были отрывисты и резки:

— Я заснул?

— Да.

— Долго я спал?

— Минут восемь или десять. Может быть, больше.

— Вы вставали?

— Вставал.

— Ходили?

— Ходил.

— Как вы смели!

— Я окликал вас, но вы не слыхали.

— Вы должны были позвать других!

— Я не хотел, чтобы они увидели э т о.

Он спокойно показал глазами на револьвер. Вильгельм быстро взглянул туда же и повторил:

— Да. Это. Пожалуй, вы правы. Да. Это. Садитесь. Вы брали это в руку? Он не так лежал.

— Да, брал.

— И положили обратно? Благодарю вас. Отчего вы не садитесь? Садитесь, пожалуйста. И, конечно, вы теперь свободны, понимаете? — можете идти куда угодно. Я даже не беру с вас слова, что вы не будете снова драться со мною. Деритесь!

— Благодарю вас. Я буду драться.

Вильгельм вежливо наклонил голову:

— Я искренне сожалею об этом, господин профессор. Вы — благородный человек. Моя жена узнает об этой ночи.

Русский также вежливо поклонился. Вильгельм благосклонно взглянул на его бледное, чересчур скромное, чересчур ученое лицо и добавил:

— Но Германия об этом не узнает. Ей совсем не надо знать, что ее император в течение десяти минут был... обыкновенным смертным человеком, не так ли? Я позвоню. Мне хочется видеть теперь кого-нибудь из своих, вы понимаете?

Когда вошел адъютант, император, покраснев от гнева, долго мерял его сверкающими глазами — и крикнул так громко, что вздрогнули оба, и адъютант и пленный:

— Вина!

И еще долго и молча сердился, краснея, пока старый и невинный камердинер, личный слуга императора, не внес новой бутылки шампанского; но и его окинул тем же гневным взором и также громко крикнул:

— Ну? Вон,— живее! — и весело рассмеялся, показав глазами на испуганную согнутую спину старика: — Вы видите, какие они. Ничего не понимают! Берите сигару и курите. Пусть это будет наша трубка мира.

— Или перемирия? — улыбнулся русский.

— Тоже превосходная вещь! — решительно ответил император, дымя сигарой.— Курите. Надо дать отдых нервной системе. Старик Гинденбург говорит, что эту войну выдержит тот, у кого нервы крепче! Silence![1]

[1] Молчание! *(фр.)*

Несколько минут оба молча курили. И только теперь, когда человеческий голос, всегда чужой и тревожный, не нарушал тишины глухой комнаты, почувствовал император все блаженство возвращенной жизни. Мысли были смутны и бежали где-то поверху, как облака в солнечный день, а все тело радовалось до томления, до желания смеяться и петь. С чувством необыкновенного удовольствия Вильгельм осмотрел комнату, благосклонно остановил взор на пленном, добродушно оценивая его как очень милого человека, и сосредоточил внимание на стратегической карте. От нее веяло простором и свежестью, как от весеннего дня, зовущего на дальнюю прогулку; ее путаные линии и условные слабые краски, ее еле выдимые мелкие названия преображались в леса и горы, в широкие реки, над которыми перекинуты мосты, в тысячи городов и селений, полных шумного и торопливого движения.

Где-то за дверью сменяли караул. Приглушенный шепот команды, осторожный, но размеренный и точный топот подкованных сапог, стук приклада о деревянный пол — и снова тишина. Гранд-отель спал. И канонада стихала, удаляясь, или и для дерущихся наступал тот момент непобедимого утомления, что наступает перед рассветом, когда безвольно цепенеют усталые тело и дух. Как большие собаки во сне, отрывисто лаяли одинокие орудия. Охваченный радостным беспокойством, Вильгельм подошел к окну и отдернул драпри. Хотел открыть окно, но тугая рама не поддавалась усилию слабых рук, и пленный вежливо помог, толкнув раму ладонью. В распахнувшееся окно дохнуло свежестью почти летней ночи и запахом гари.

— Надо немножко воздуху,— сказал император, улыбаясь.

— Да, здесь очень душно,— согласился русский.

Они оба стояли у окна, Вильгельм у самого подоконника, пленный немного сзади. Зарево над крышей еще мутно искрилось, и небо было черно; но круглые камни мостовой слегка посветлели — ночь близилась к концу. И внизу было все также тихо и безмолвно; а по дальним улицам ровным гулом водопада, никогда не спящего, грохотали обозы. Вслушавшись, можно было отличить тяжкий придавливающий грохот орудий от тарахтенья возов и кухонь, частое цоканье кавалерийских копыт и ритмичный, еле слышимый, но могучий в своей непрерывности топот пехоты. Влажными, предрассветными гудками пролагали себе путь автомобили. Где-то в вышине и далеко гудели аэропланы, как тугие струны, и весь

теплый воздух был полон бессонья и томительных стремлений.

«К Парижу!»— подумал император, и сердце его застучало ровнее и громче, как под рукой барабанщика. Небольшой звездой на карте, без улиц и людей, на мгновение представился ему мировой город, и туда двигался этот людской поток, увлекая за собою и его душу, жадную, как душа варвара, ищущего завоеваний и добычи. Улыбка сошла с его побледневшего лица; усы хищно топорщились. «К Парижу!»— бормотал он все громче магическое слово, вздрагивая от томительных хищных вожделений,— и, обернувшись, хотел что-то громко сказать своему адъютанту, тихо дышавшему за спиною. Но это не был адъютант, император забылся. Это был какой-то бельгийский солдат, пленный, черт знает что! Лицо Вильгельма исказилось гримасой, и недоговоренные слова камнем упали в душу.

— Вы что-то хотели сказать?— спросил русский.

— Ничего. Закройте окно! — раздраженно приказал император, отходя.

Пленный исполнил приказание и спросил:

— Прикажете задернуть и драпри?

— Да!— также резко ответил Вильгельм и нехотя добавил:— Пожалуйста.

Тяжелые драпри сдвинулись. Стало угрюмо, глухо и душно, и мигающее пламя свечей, всколыхнутое свежим воздухом, было неприятно в своей молчаливой, бестолковой пляске и приседаниях. Если бы не этот русский, он снова открыл бы окно и долго и с наслаждением слушал бы энергичный шум движущихся вооруженных масс, остался бы совсем один, погасил свечи и слушал бы долго, питая душу образами победы и величия... но этот господин! И нельзя просто приказать ему уйти; те десять минут, когда он держал в своих руках жизнь императора и судьбу Европы, дают ему какие-то странные, совсем особые права.

— Что же вы не садитесь? Садитесь.

Пленный сел, положив ногу на ногу. Вильгельм, прищурившись, взглянул на его рваный сапог и спросил:

— А скажите, господин профессор: вы поступили так с револьвером... не из трусости? О, конечно, я говорю про моральную трусость, вы понимаете?

— Нет.

Вильгельм подумал и с некоторою торжественностью произнес:

— Я вам охотно верю. Это было бы слишком глупо и ничтожно. Но догадываетесь ли вы, господин профессор и ис-

тинный гуманист,— Вильгельм сделал свой взгляд суровым и устремил его прямо в глаза пленному,— но догадываетесь ли вы, кто именно спас меня, императора Германии? Нет? Ну, кто удержал вашу руку, уже взявшую это? Нет? Кто, наконец, направил вашу волю по... неисповедимому пути?

Пленный в недоумении покачал отрицательно головой, а Вильгельм встал, выпрямился, как перед фронтом, и торжественно поднял к потолку левую коротенькую руку:

— Бог! Вот кто спас императора Германии.

И низко, почти театрально склонил голову, как бы шепча благодарственную молитву. Русскому надо было встать на время короткой молитвы, но он не встал, и эта непочтительность не понравилась императору. Медленно опустившись в кресло, он неприязненным взглядом окинул задумчивое лицо пленника и коротко бросил:

— Вы атеист, конечно?

— Не знаю, нет.

— А! это искренно. «Не знаю!» Но, допуская существование Бога,— император иронически шевельнул усами,— вы никак не можете допустить, чтобы Бог захотел спасать германского императора. Не так ли?

Пленный подумал с минуту и серьезно ответил:

— Также не знаю! Не удивляйтесь. Все мое мышление направлено по другому пути, и самому мне, конечно, и в голову бы не пришло то, что вы сказали так прямо и с такою уверенностью. Бог! Но когда вы встали и подняли руку к небу, мне вдруг показалось это... очень серьезным. Вы позволите мне быть немного резким?

Вильгельм решительно ответил:

— Можете.

— Я постараюсь не злоупотреблять...

— Можете злоупотреблять. То большое зло, которого вы не сделали, дает вам право на это маленькое зло. Итак?

— Итак, прежде я ответил бы, что вас спасла моя воля. Но за это короткое время войны я узнал многое, о чем не думал раньше, и увидел мою душу в новом свете. Да отчего не допустить, что вас охраняет чья-то высшая воля? Очень возможно. Но не думаете ли вы, что это не Бог, а — дьявол?

— Дьявол?! Да вы с ума сошли.

— Вас оскорбляет это? Но, принимая в расчет все окружающее, эту неумолкающую канонаду крови, страданий, которых я был свидетелем, этих расстрелянных заложников... я никак не могу связать это с именем Бога. Впрочем, я не настаиваю; может быть, и Бог,— отчего не допустить и Бога?

Вильгельм в крайнем недоумении пожал плечами.

— Странно! Очень странно! Вы делаете такую маленькую разницу между тем и другим?

— Точнее — никакой. И это второе имя, дьявол, мелькнуло у меня лишь как отголосок старых и общих религиозных представлений: рутина мыслей, вы понимаете? Важно то, что я допустил чью-то высшую волю. Но я допустил ее еще раньше, до вашего возгласа, когда вы еще спали, а в моей руке был револьвер и возможность мгновенно изменить весь ход событий. Но я подумал: какое право имею я менять ход всех событий? И еще тогда мне стало ясно, что этого права у меня нет и быть не может, что мое назначение в войне твердо ограничено тем местом, которое я занимаю, и не может быть иным. Как солдат, я должен сражаться храбро, быть стойким, убить столько-то ваших солдат и быть убитым самому, это мое право и обязанность, но не дальше того. Иначе — дикая чепуха и неверное решение задачи!

Вильгельм пренебрежительно пожал плечами:

— Восточный фатализм?

— Нет, просто знание своего места в процессе и разумное чувство меры. Для правильного решения небывалой проблемы, поставленной перед миром, каждая цифра должна значить то, что она значит, и твердо занимать свое место в определенном ряду. Я ясно почувствовал это еще давно, еще в тот день, когда сказал себе: т е п е р ь я должен быть бельгийским волонтером и драться с пруссаками. И больше ничего: быть волонтером и бить пруссаков.

Лицо Вильгельма выражало нетерпение. При последних словах пленного он вскочил с места и яростно заходил по комнате, бросая гневные фразы:

— Бить пруссаков! Так они говорят. Волонтеры! Жалкие комбатанты, только раздражающие моих храбрых солдат! Или вы не понимаете, сударь, что вашим благородным участием вы усиливаете сопротивление этого маленького коммерческого народа, который иначе давно уже признал бы мою волю. Это вы и вам подобные слепцы принуждаете меня стереть его с лица земли! Где ваша Бельгия, которой вы так храбро помогали? Я разрушаю ее последние камни. Бить пруссаков! Вы слышите рев впереди нас? Пока мы болтаем, мои молодцы движутся к Парижу — к Парижу, сударь! — через две недели все вы будете сметены в море, как сор!

— Может быть. Но когда происходит взрыв, частицы окружающей материи должны оказывать сопротивление расширяющемуся газу. Иначе взрыва не будет, вы понимаете? И чем плотнее материя, чем крепче ее сопротивление,

тем яростнее взрыв. И я — я только частица материи, оказывающая сопротивление. В этом мой долг.

Вильгельм внимательно взглянул на бледное серьезное лицо пленника и воскликнул полушутливо, с казарменной резкостью:

— Тысячу чертей в эту русскую голову, я ничего не понимаю! Частица материи, оказывающая сопротивление. Сопротивляться, чтобы вернее погибнуть! Уверяю вас, господин русский, что никто из ваших товарищей по фронту не думает, как вы. Быть может, они просто глупы, но они хотят победить, а не гибнуть... для правильного решения задачи. Вы смешали пулемет с кафедрой, господин профессор, это просто нелепо!

Русский ответил:

— Почему вы думаете, что я не хочу победы? Нет, я также хочу победить, иначе я был бы плохим солдатом и изменил моему цифровому значению. Я уже сказал вам: вас победят!

Вильгельм надменно выпрямился.

— Кто?

— Частицы материи, оказывающие сопротивление. Волонтеры и жалкие комбатанты. Женщины и дети. Воздух, люди, камни, бревна и песок, все, что вашим взрывом брошено кверху,— и оттуда свалится на вашу голову. Вы погибнете под обломками, и ваша гибель неизбежна!

1915 г.

ЧЕМОДАНОВ

I

Многие не без основания полагают, что трагический Рок существует только для царей и героев, обыкновенные же маленькие люди находятся вне кругозора трагического Рока, не замечаются им и ни в каком отношении на счет не ставятся. Однако Егор Егорович Чемоданов не был ни царем, ни героем, а вместе с тем над самим Эдипом не работал Рок с таким упорством и яростью, как над его жизнью. Можно думать, что на эти тридцать лет, пока продолжалась жизнь Чемоданова, Рок бросил все другие свои занятия — так много времени, хлопот и неусыпного внимания посвятил он своему странному избраннику.

Родился Егор Егорович в одном из сибирских городов от неизвестных родителей и был в чемодане подброшен на парадное к купцу Егорову, откуда и получил свою фамилию — Чемоданов. И первые годы жизни Егора Егоровича были временем необыкновенного счастья: ни сын знатного вельможи, ни даже принц какого-либо владетельного дома не могли пользоваться большею любовью и роскошью, нежели он: богатый и бездетный Егоров и его супруга все свое богатство и любовь — к зависти боковых родственников и наследников — предоставили подкидышу. Поили его только сливками, одевали только в шелка и бархаты и звали только Егорушкой; и был он в ту пору толстенький, кругленький и как бы сонный от изобильного питания. Впрочем, этот вид не то засыпающего, не то еще не совсем проснувшегося человека он сохранил на всю жизнь вместе с остальными качествами своими: желтыми, мягкими младенческими волосиками и маленьким ростом. Но приятную толщину утратил и к концу жизни даже болезненно поражал взоры своей тоскливой худобою.

Когда Егорушке исполнилось семь лет, его названые родители оба сразу погибли при крушении на новой, только что открывшейся железной дороге; и, жалея их, никто и не подозревал, что истинным, хотя и невольным, виновником их страшной смерти является именно Егорушка и что эта катастрофа есть лишь первое звено в цепи всяких катастроф и ужасов, какими будет окружена его жизнь. Наследники купца, ненавидевшие Егорушку, немедленно совлекли с него шелка и бархаты и просто-напросто выбросили его на улицу; тут бы он и погиб, если бы не вмешались новые добрые люди: обогрев Егорушку, они устроили его в колонию для малолетних преступников. Преступником он не был и даже порочных наклонностей не имел, но не нашлось другого места, куда бы его девать,— и таково было веление судьбы.

Переход от полного счастья к полному несчастью Егорушка принял с покорностью, которая была отличительным свойством его характера, но отнюдь не умилостивляла жестокую Судьбу, а скорее приводила ее в состояние невыносимого раздражения. Его били и морили голодом, его звали Егоркой и вором, на плоском темени его кололи орехи,— а он не только не возмутился и не восстал, а искренно и от души полюбил приют и начальство. О временах же счастья своего забыл совершенно и вплотную, так что даже воспоминания его не мучили. Видя такое его счастье, только возраставшее с годами и привычкой, Рок прибег к крайней и даже ужасной мере: в одну зимнюю ночь здание приюта вспыхнуло и сгорело, причем в огне погибла смотрительница, добрая женщина, и трое малолетних. Но Егорушку добрые люди и в этот раз спасли, а какой-то проезжий прасол, бывший на пожаре, даже пожелал взять Егорку к себе, надеялся, видимо, что подготовка в колонии даст мальчишке и коммерческие способности.

— А дом опять построют?— спросил Егорка, плача.

— Построют, построют, не бойся,— сказал прасол и увез Егорку в Россию, в Самару, не подозревая, каков был тайный смысл вопроса. А дело было в том, что уже тогда Егорка решил при первой возможности бежать обратно в приют, чего вообще никогда не делалось: из приюта бегали многие, но чтобы бежать туда — этого никто не слыхал. Видимо, здесь впервые начала проявляться особая Егоркина воля, увлекавшая его на путь необыкновенных приключений; но если и тут был бунт, то свершался он во имя покорности: раз меня отдали в приют, то и должен я быть в приюте,— неосновательно рассуждал Чемоданов.

И три раза бегал он в Сибирь. В первые два раза его

быстро словили и жестоко избили, но в третий он надолго потерялся среди дорог, глуши и просторов Сибири. Однако и тут не оставляли его опасности и испытания: в лесу его каждый раз преследовал медведь, на дорогах его грабили, в городах и деревнях били за подозрительность. Последнее было уж совсем неосновательно: при всех превратностях своей судьбы Егор Егорович никогда не терял приличного вида и уже с тринадцати лет, не снимая, носил бумажный воротничок, а при счастье и полотняный, крахмальный. Здесь, в добывании воротничка и приличного костюма, он обнаруживал дикую энергию и почти гениальность: голодный, последние три копейки он тратил на воротничок; преследуемый медведем, полумертвый от страха, он с таким расчетом бежал среди кустов, чтобы не порвать и не испортить костюма. Так, вообще, он был честен, но жилеты и воротнички крал всю жизнь, и — странно!— даже не почитал это за грех.

Однако многолетние тяжелые скитания постепенно погасили в Чемоданове его страсть к приюту, и к семнадцати годам мы находим его в Тифлисе младшим телеграфистом на местной железнодорожной станции. Положение высокое, и успехом своим Чемоданов был обязан исключительно костюму; и дальнейшие три года его счастья основанием своим имели все тот же костюм и неизменно чистые воротнички: скромный и лицом невзрачный, он так красноречиво носил свою форму, что это вполне заменяло самые возвышенные разговоры о цели и смысле жизни; по той же причине и нравственность его стояла вне сомнений. Когда же, подчиняясь обычаю, царящему среди телеграфистов, Егор Егорович завел гитару и в промежуток между поездами и телеграммами искусно наигрывал «Тигренка» — все слова стали излишними, и жизнь утвердилась на прочных основаниях. Любопытно, что о минувших страданиях своих Егор Егорович никогда не вспоминал и даже совсем, кажется, не помнил; о катастрофах же, пожарах, медведях и беглых встречных каторжниках рассказывал коротко и просто как о явлениях заурядных и неизбежных.

Когда Егор Егорович был на двадцать первом уже году и в тысячный раз пел:

> Ты мне слезку подари,
> И помчусь я с ней в Гренаду
> На крылах моей любви!—

одна девица услышала его мольбу и отдала ему свое сердце. Была она девица со средствами, и впереди открывались

перспективы,— но вот тут-то и выступил снова притаившийся жестокий Рок, лишь собиравший силы для нового страшного удара: девица почти в одночасье скончалась от черной оспы, а сам Егор Егорович, также заболевший, хоть и поправился, но навсегда утратил красоту лица и перспективы.

Как раз в этом году наступил для Чемоданова призывной возраст, и, еще не вполне оправившийся после болезни, он был зачислен матросом во флот, на один из балтийских крейсеров. Событие, казалось бы, по виду совершенно естественное, но для Чемоданова оно было тягчайшим испытанием, роковой насмешкой и почти медленным убийством: он ненавидел море, боялся его, как ничего другого на свете, и даже во время штиля, когда ликовали природа и матросы, испытывал непрерывную сосущую тошноту. А что делалось с его внутренностями и душою, когда скользящая океанская зыбь невидимой силою своею начинала поигрывать тяжелым кораблем! — тут он впервые серьезно задумался, не лучше ли ему добровольно покончить с своею, столь дорого оплачиваемой жизнью, нежели и впредь подвергаться неустанным преследованиям Судьбы. И особенно горько было то, что ни в ком его слабость не вызывала сострадания, а только насмешку, начальство же с нарочитой суровостью посылало его как раз в те места, где опасность и качка были наисильнейшими. Ни аккуратность Чемоданова, ни его абсолютная трезвость и исполнительность не могли смягчить суровых морских сердец и не улучшили его горькой участи.

Так продолжалось два целых года, когда наконец Чемоданов дезертировал.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .— случилось так, что только один Чемоданов, спрятавшийся за вагонами, остался на берегу, когда крейсер ушел... один, на африканском берегу, среди черномазой африканской толпы, ни слова не зная ни на каком языке, с единственной трехрублевкой в кармане!

Несомненно, Рок предполагал, и даже был уверен, что при этих условиях ненавистный ему Чемоданов неизбежно погибнет,— но здесь как раз с полной явственностью обнаружилось одно новое обстоятельство: наряду с жестоким Роком за жизнью Чемоданова следили какие-то невидимые добрые силы, которые всякий раз вытаскивали Чемоданова из самой глубокой ямы, куда засаживал его Рок. Очень возможно, что это была только игра между ними: Роком и добрыми силами; но как бы то ни было, он и в Африке

уцелел. После самых фантастических скитаний, о которых впоследствии Чемоданов ничего не мог рассказать, как о нелепом и тотчас же забытом сне, он оказался на постоянном жительстве в Каире, в качестве сапожного подмастерья у какого-то туземного мастера.

И эти год или полтора, проведенные в Каире, оказались чуть ли не лучшими в жизни Чемоданова. Одно было мучительно — летняя жара, а в остальном он устроился совсем недурно: будучи трезв и неприхотлив, скопил кое-какие деньжонки, вступил в любовную связь с какой-то черномазой госпожою, что было необходимо для его кроткой и чувствительной души, и по праздникам вместе с прочими каирскими гражданами гулял по улицам, блистая белейшими воротничками. Раз даже случилось ему издали посмотреть на пирамиды, но они ему не понравились.

Но может ли счастье быть прочным? Уже начал думать Чемоданов об открытии собственного сапожного заведения, как вдруг, по неизвестной причине, хозяин его, мастер, попал в тюрьму, а вместе с ним и Чемоданов; там их с хозяином били палками, потом отобрали все деньги у Чемоданова и выгнали его на улицу, признав, по-видимому, невинным. Однако, испуганный и чуть живой от побоев, Чемоданов в тот же день бежал из Каира и снова на долгое время затерялся в фантастических скитаниях по земле, меняя материки, имена, профессии и личины, но нигде, подобно гонимому Агасферу, не находя покоя и прочного пристанища.

Между прочим, за это время скитаний своих Чемоданов пережил три железнодорожных крушения, явно свидетельствовавших о том, что жестокий Рок продолжал неусыпно бодрствовать над ним и ни на единую минуту не выпускал его из виду. Но в душе Чемоданова эти страшные крушения ничего не прибавили и лишь укрепили его странный взгляд на вещи, по которому медведи, пожары и катастрофы представлялись ему явлениями самыми обыденными и простыми, неизбежными в жизни каждого человека.

II

Утомленный африканской жарою и ища прохлады, Чемоданов на первоклассном пароходе зайцем пробрался из Александрии в Неаполь.

В Неаполе Чемоданов первое время голодал и ночевал на пригородных пустырях, тщательно оберегая от порчи

и грязи свои неизменные воротнички, потом служил в корсетной мастерской, был проводником на Везувий (недолго) и, наконец, довольно прочно устроился разносчиком: приобрел ящик, кораллов, дрянной мозаики и прочих пустяков,— открыл торговлю. С этим ящиком Чемоданов исходил всю Италию, побыл в Швейцарии, где ему не понравилось, и перебрался во Францию, где ему очень понравилось; по-прежнему говорить он умел только по-русски, а с туземцами объяснялся на диком смешении арабских, грузинских, турецких, итальянских и иных слов, что, однако, вполне удовлетворяло его несложным потребностям в коммерческом и духовном общении.

В общем, это уже становилось похоже на жизнь, тем более приятную, что почти внезапно прекратились всякие преследования со стороны Рока: то ли Чемоданов ему надоел, то ли он забыл его, то ли просто потерял его из виду и не мог найти. Полное спокойствие сопровождало Чемоданова на всех путях его: ни медведей, ни каторжников, ни крушений,— от невиданного благополучия он слегка пополнел и — странно сказать — даже как будто начал скучать. Его душе, привыкшей к борьбе с Роком, к тяжким испытаниям и громоносным ударам, чего-то словно не хватало, чего-то все искали его беспокойные взоры, непривычные к мирному пейзажу и мирным отношениям с людьми и природой. Начались в душе какие-то томления, какие-то прихоти и капризы, устремления вдаль,— состояния, дотоле Чемоданову совершенно неведомые.

Отсюда можно заключить с полной уверенностью, что Чемоданов был обманут и бездействие Рока было только кажущимся; не имея силы победить Чемоданова в открытом и честном бою, Рок исподтишка забрался в его душу и предательски населил ее опасными чувствами и желаниями. И первым результатом такого предательства явилась у Чемоданова внезапная и острая тоска по Африке, как в детстве когда-то тоска по приюту. Почему так понадобилась ему именно Африка, которую он тысячи раз проклинал за жару и несчастья, он и сам не знал; но чувство было остро и повелительно до полной невозможности противостоять ему. И напрасно предчувствие и старый опыт предостерегали его, чтобы он больше всего боялся моря,— тоска по Африке была сильнее и не поддавалась никаким доводам рассудка.

В ту пору он торговал с своим ящиком на севере Франции. И вот, чертя по карте ломаную линию от севера к югу, слегка упираясь и в то же время неуклонно подвигаясь вперед, точно ведомый на какой-то все укорачивающейся

веревке, Чемоданов в одно роковое утро вступил в Марсель, и здесь — за деньги — сел на огромный пароход, отходивший в Алжир.

О страшной участи этого парохода в свое время с ужасом говорила вся Европа: в сильную бурю сбившийся с пути, ночью он разбился о скалы острова Майорки; и из нескольких сот пассажиров, молодых, красивых, умных и богатых, сановных и счастливых, спасся только один, шальною волною выброшенный на единственную маленькую полоску песка, затерявшуюся среди скал. Конечно, этим избранником был Егор Егорович Чемоданов. Если, однако, и это крушение, погубившее столько людей, было создано все тем же Роком и имело в виду только Чемоданова, то нужно заметить, что Чемоданов в конце концов слишком дорого обходился человечеству, тем более что и цель-то не была достигнута. Впрочем, ящик с товарами и все остальное имущество Чемоданова погибло вместе с пароходом.

Это спасение одного из всех было настолько удивительно и поражало воображение, что на некоторое время спасшийся Чемоданов стал героем дня и сенсационной знаменитостью. Вместе с крушением в нем сразу и навсегда погасла странная любовь к Африке, и когда на собранные между местными жителями и журналистами деньги его отправили обратно в Париж, он этому охотно подчинился; охотно подчинялся он всяким расспросам и интервью, которыми его осаждали по дороге, но гордости никакой не чувствовал и любопытства не понимал: все происшедшее казалось ему обыкновенным, неизбежным, бывающим в жизни каждого человека. А интервьюеры и любопытные после часовой беседы отходили от него с чувством странного недоумения, оглядывались на него, и все им казалось, что чего-то главного они так у него и не спросили. В чем дело?

В Париже за хорошее вознаграждение он был выставлен для обозрения в редакции одной из сенсационных газет как «самый счастливый человек в мире». Здесь его маленькую головку с плоским теменем, рябое лицо и кроткие глаза осматривали художники и мыслители, жирные мещане и суровые рабочие; раз пришел даже американский миллиардер с сигарой, дочерью и двумя секретарями. Но сколько ни рассматривали, ничего понять не могли ни миллиардер, ни мыслители, и, уходя, всё оглядывались назад, на маленькую головку, кроткие глазки и ненужные высокие, белые, слишком широкие для тонкой шеи крахмальные воротнички.

...Самый счастливый человек в мире!

И снова пошел на хитрости и предательство неумолимый Рок, пока невидимые добрые силы всеми способами старались удержать Чемоданова во Франции. Денег, заработанных выставкой, ему вполне хватило бы для жизни и новой торговли, но в душе Чемоданова, пока его осматривали, зародилась новая беспокойная мысль, убийственная по своим последствиям. «У всех людей есть мать, должна же она быть и у меня!» — подумал он с некоторой тоскою и чувством оскорбленного как бы самолюбия. И, разгораясь все больше, не смущаясь явно невозможностью найти мать, которой он никогда не видал и о которой раньше и не думал, он начал чертить по карте новую ломаную линию: от запада к востоку, до самой Сибири, где им предполагалось местонахождение неизвестной матери.

Как дезертир, он много рисковал; но в России и в эти годы совершалась революция,— большой беспорядок, как ее определял Чемоданов,— и это облегчало задачу: казалось нетрудным скрыться и уйти от опасных глаз такой песчинке, как он, в то время, когда вся жизнь и люди были возмущены до дна. Самую революцию Чемоданов не понимал и не любил, ища во всем тишины и порядка, и в общем смотрел на нее приблизительно так, как путник смотрит на дурную погоду: с покорным неудовольствием.

На русской границе его обобрали и обманули контрабандисты: вместо того чтобы безопасно перевести, бросили его ночью где-то во рву, где он чуть не был застрелен кордонными стражниками. Три раза стрелял верховой стражник в темноту канавы, где ему что-то почудилось, и в двух местах прострелил пальто у Чемоданова; потом Чемоданов сам каким-то чудом выбрался на дорогу и, полумертвый от страха, голодный, поплелся в глубину России. Эта страшная ночь во рву была для него началом новых фантастических скитаний, столь темных и жестоких, что словно уже ни разу с той поры не всходило солнце над его головою. Шальные пули, преследования по крышам и через заборы, сыщики, преследующие, как сон, сурово возбужденная толпа, уносящая его с собою неведомо куда и зачем, страшные казаки, темные и странные подполья — и лишь мгновения случайного отдыха, когда он в Москве на две недели устроился приказчиком в одном магазине. Но только что успел он сходить к Иверской помолиться, как разразилось восстание, и снова длинная ночь бесконечного страха, дрожи всем телом, полной душевной потрясенности.

Но как ни странно это: среди всех ужасов и несчастий мысль о матери не оставляла Чемоданова и медленно, но

неуклонно подвигала его к далекой Сибири; в эти тяжелые дни его можно было назвать даже романтиком, настолько мечта владела всей его душою. И еще более странно: как только оказался он в Сибири, на месте рождения своего, эта настойчивая мысль внезапно погасла, точно не в душе она родилась, а была только тем блуждающим, обманчивым огоньком, который заводит путника в трясину и, заведя, гаснет.

Ибо тут, в Сибири, Чемоданова повесили, и жизнь его пресеклась на тридцатом году от рождения. И причиной и поводом для казни послужило, как и следовало ожидать, совершенно нелепое обстоятельство: добытый Чемодановым в Москве паспорт оказался принадлежавшим известному полиции политическому; конечно, в другое время это недоразумение разъяснилось бы, но тогда шла такая спешка, что было не до разбора и щепетильных расследований.

Так Чемоданова и повесили — Егора Егоровича Чемоданова. И так как не было у него ни друзей, ни родных и дел значительных он не совершал, то вместе со смертью исчезла и всякая память о нем, как будто и никогда он не жил на земле.

Да и жил ли он когда-нибудь? Может быть, и жил... а может быть, все это только приснилось суровому и мрачному Року в одно из мгновений его забытья. А когда проснулся он и открыл свои жестокие, пытующие глаза, уже не было на земле никакого Чемоданова, и только цари и герои выжидающие стояли, готовясь к трагической борьбе.

Цари и герои!

ПЬЕСЫ
1914 - 1915
САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ
1908 - 1916

МЫСЛЬ

СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ
В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ И 6 КАРТИНАХ

Посвящаю
Анне Ильинишне Андреевой

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Антон Игнатьевич Керженцев, доктор медицины.
Крафт, бледный молодой человек.
Савелов Алексей Константинович, известный писатель.
Татьяна Николаевна, его жена.
Маша, сиделка в больнице для умалишенных.
Федорович, писатель.
Семенов Евгений Иванович, психиатр, профессор.
Иван Петрович } доктора в больнице.
Сергей Сергеевич } доктора в больнице.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Богатый кабинет-библиотека доктора Керженцева. Вечер. Горит электричество. Свет мягкий. В углу клетка с большим орангутангом, который сейчас спит; виден только рыжий шерстистый комок. Полог, которым обычно закрывается угол с клеткой, отдернут: спящего рассматривают Керженцев и очень бледный молодой человек, которого хозяин зовет по фамилии: Крафт.

Крафт. Он спит.

Керженцев. Да. Так он спит теперь по целым дням. Это третий орангутанг, который умирает в этой клетке от тоски. Зовите его по имени: Джайпур, у него есть имя. Он из Индии. Первого моего орангутанга, африканца, звали Зуга, второго — в честь моего отца — Игнатием. (*Смеется.*) Игнатием.

К р а ф т. Он играет... Джайпур играет?

К е р ж е н ц е в. Теперь мало.

К р а ф т. Мне кажется, что это тоска по родине.

К е р ж е н ц е в. Нет, Крафт. Путешественники рассказывают интересные вещи про горилл, которых им доводилось наблюдать в естественных условиях их жизни. Оказывается, гориллы так же, как и наши поэты, подвержены меланхолии. Вдруг что-то случается, волосатый пессимист перестает играть и умирает от тоски. Так-таки и умирает — недурно, Крафт?

К р а ф т. Мне кажется, что тропическая тоска еще страшнее, чем наша.

К е р ж е н ц е в. Вы помните, что они никогда не смеются? Собаки смеются, а они нет.

К р а ф т. Да.

К е р ж е н ц е в. А вы видали в зверинцах, как две обезьяны, поиграв, вдруг затихают и прижимаются друг к другу — какой у них печальный, взыскующий и безнадежный вид?

К р а ф т. Да. Но откуда у них тоска?

К е р ж е н ц е в. Разгадайте! Но отойдем, не будем мешать его сну — от сна он незаметно идет к смерти. (*Задергивает полог.*) И уже теперь, когда он долго спит, в нем наблюдаются признаки трупного окоченения. Садитесь, Крафт.

Оба садятся к столу.

Будем играть в шахматы?

К р а ф т. Нет, сегодня мне не хочется. Ваш Джайпур расстроил меня. Отравите его, Антон Игнатьевич.

К е р ж е н ц е в. Незачем. Сам умрет. А вина, Крафт?

Звонит. Молчание. Входит слуга Василий.

Василий, скажи экономке, чтобы дала бутылку Иоганисберга. Два стакана.

Василий выходит и вскоре возвращается с вином.

Поставь. Пейте, пожалуйста, Крафт.

К р а ф т. А вы что думаете, Антон Игнатьевич?

К е р ж е н ц е в. О Джайпуре?

К р а ф т. Да, о его тоске.

К е р ж е н ц е в. Много я думал, много... А как находите вино?

К р а ф т. Хорошее вино.

К е р ж е н ц е в (*рассматривает бокал на свет*). А год узнать можете?

К р а ф т. Нет, куда уж. Я к вину вообще равнодушен.

К е р ж е н ц е в. А это очень жаль, Крафт, очень жаль. Вино надо любить и знать, как все, что любишь. Вас расстроил мой Джайпур — но, вероятно, он не умирал бы от тоски, если бы умел пить вино. Впрочем, надо пить вино двадцать тысяч лет, чтобы уметь это делать.

К р а ф т. Расскажите мне о Джайпуре.

Садится глубже в кресло и опирается головой на руку.

К е р ж е н ц е в. Здесь произошла катастрофа, Крафт.

К р а ф т. Да?

К е р ж е н ц е в. Да, какая-то катастрофа. Откуда эта тоска у обезьян, эта непонятная и страшная меланхолия, от которой они сходят с ума и умирают в отчаянии?

К р а ф т. Сходят с ума?

К е р ж е н ц е в. Вероятно. Никто в животном мире, кроме человекоподобных обезьян, не знает этой меланхолии.

К р а ф т. Собаки часто воют.

К е р ж е н ц е в. Это другое, Крафт, это страх перед неведомым миром, это ужас! Теперь всмотритесь в *его* глаза, когда он тоскует: это почти наши человеческие глаза. Всмотритесь в его общую человекоподобность... мой Джайпур часто сидел, задумавшись, почти так, как вы сейчас... и поймите, откуда эта меланхолия? Да, я часами сидел перед клеткой, я всматривался в его тоскующие глаза, я сам искал ответа в его трагическом молчании — и вот мне показалось однажды: он тоскует, он грезит смутно о том времени, когда он также был человеком, царем, какой-то высшей формой. Понимаете, Крафт: был!

Керженцев поднимает палец.

К р а ф т. Допустим.

К е р ж е н ц е в. Допустим. Но вот я смотрю дальше, Крафт, я смотрю глубже в его тоску, я уже не часами, я днями сижу перед его безмолвными глазами — и вот я вижу: или он уже был царем — или же... слушайте, Крафт! или же он мог им стать, но что-то помешало. Он не вспоминает о прошлом, нет,— он тоскует и безнадежно мечтает о будущем, которое у него отняли. Он весь — стремление к высшей форме, он весь — тоска о высшей форме, ибо перед ним... перед ним, Крафт,— стена!

К р а ф т. Да, это тоска.

К е р ж е н ц е в. Это тоска, вы понимаете, Крафт? Он шел, но какая-то стена преградила его путь. Понимаете? Он шел, но какая-то катастрофа разразилась над его голо-

вой — и он остановился. А может быть, катастрофа даже отбросила его назад — но он остановился. Стена, Крафт, катастрофа! Его мозг остановился, Крафт,— и с ним остановилось все! Все!

Крафт. Вы опять возвращаетесь к вашей мысли.

Керженцев. Да. Есть что-то ужасное в прошлом моего Джайпура, в тех мрачных глубинах, из которых он вышел — но он не может рассказать. Он сам не знает! Он — только умирает от невыносимой тоски. Мысль! — да, конечно, мысль!

Керженцев встает и ходит по кабинету.

Да, та мысль, силу которой мы с вами знаем, Крафт, вдруг изменила ему, вдруг остановилась и стала. Это ужасно! Это ужасная катастрофа, страшнее потопа! И он покрылся волосами снова, он снова стал на четвереньки, он перестал смеяться — он должен умереть от тоски. Он развенчанный царь, Крафт! Он экс-король земли! От его царств осталось несколько камней, а где владыка,— где жрец,— где царь? Царь бродит по лесам и — умирает от тоски. Недурно, Крафт?

Молчание. Крафт в той же позе, неподвижен. Керженцев ходит по комнате.

Когда я исследовал мозг покойного Игнатия, не моего отца, а этого... *(Смеется.)* Этот также был Игнатием...

Крафт. Почему вы второй раз смеетесь, говоря об отце?

Керженцев. Потому что я не уважал его, Крафт.

Молчание.

Крафт. Что же вы нашли, когда открыли череп Игнатия?

Керженцев. Да, я не уважал моего отца. Послушайте, Крафт,— мой Джайпур скоро умрет: хотите, вместе исследуем его мозг? Это будет интересно.

Садится.

Крафт. Хорошо. А когда я умру — вы посмотрите мой мозг?

Керженцев. Если вы мне его завещаете,— с удовольствием, то есть с готовностью, хотел я сказать. Вы последнее время не нравитесь мне, Крафт. Вы, вероятно, пьете мало вина. Вы начинаете тосковать, как Джайпур. Пейте.

Крафт. Не хочется. Вы всегда один, Антон Игнатьевич?

Керженцев (*резко*). Мне никого не надо.

К р а ф т. Мне сегодня почему-то кажется, что вы очень несчастный человек, Антон Игнатьевич!

Молчание. Крафт вздыхает и меняет позу.

К е р ж е н ц е в. Послушайте, Крафт, я не просил вас говорить о моей личной жизни. Вы мне приятны, так как вы умеете думать и вас волнуют те же вопросы, что и меня, мне приятны наши беседы и занятия, но мы не друзья, Крафт, я прошу вас это запомнить! У меня нет друзей, и я их не хочу.

Молчание. Керженцев подходит к углу, где клетка, отдергивает полог и слушает: там тихо — и снова возвращается на место.

Спит.— Впрочем, могу вам сказать, Крафт, что я чувствую себя счастливым. Да, счастливым! У меня есть мысль, Крафт, у меня есть — вот это!

Несколько сердито постукивает пальцами по своему лбу.

Мне никого не надо.

Молчание. Крафт неохотно пьет вино.

Пейте, пейте. А вы знаете, Крафт — вы скоро услышите обо мне... да, через месяц, полтора.

К р а ф т. Вы выпускаете книгу?

К е р ж е н ц е в. Книгу? Нет, что за вздор! Я никакой книги выпускать не хочу, я работаю для себя. Мне люди не нужны — я, кажется, уже третий раз говорю вам это, Крафт? Довольно о людях.— Нет, это будет... некоторый опыт. Да, интересный опыт!

К р а ф т. Вы не скажете мне, в чем дело?

К е р ж е н ц е в. Нет. Я верю в вашу скромность, иначе и этого я не сказал бы вам — но нет. Вы услышите. Мне захотелось... у меня так сложилось... одним словом, я хочу узнать крепость своей мысли, измерить ее силу. Понимаете, Крафт: лошадь узнаешь только тогда, когда проедешь на ней!

Смеется.

К р а ф т. Это опасно?

Молчание. Керженцев задумался.

Антон Игнатьич, этот ваш опыт — опасен? Я слышу это по вашему смеху: у вас нехороший смех.

К е р ж е н ц е в. Крафт!..

К р а ф т. Я слушаю.

К е р ж е н ц е в. Крафт! Скажите мне, вы серьезный молодой человек: вы осмелились бы на месяц, на два притвориться сумасшедшим? Постойте: не надеть маску дешевого симулянта — понимаете, Крафт?— а вызвать заклинанием самого Духа Безумия. Вы видите его: вместо короны — солома в седых волосах, и мантия его растерзана — вы видите, Крафт?

К р а ф т. Вижу. Нет, я не стал бы.— Антон Игнатьич, это и есть ваш опыт?

К е р ж е н ц е в. Может быть. Но — оставим, Крафт, оставим. Вы, действительно, серьезный молодой человек. Хотите еще вина?

К р а ф т. Нет, спасибо.

К е р ж е н ц е в. Милый Крафт, с каждым разом, как я вас вижу, вы все бледнее. Вы куда-то исчезали. Или вы нездоровы, что с вами?

К р а ф т. Это личное, Антон Игнатьич. Мне также не хотелось бы говорить о личном.

К е р ж е н ц е в. Вы правы, извините.

Молчание.

Вы знаете Савелова Алексея?

К р а ф т *(равнодушно)*. Я знаком не со всеми его вещами, но он мне нравится, он талантлив. Я еще не читал его последнего рассказа, но хвалят...

К е р ж е н ц е в. Вздор!

К р а ф т. Я слыхал, что он... ваш друг?

К е р ж е н ц е в. Вздор! Но пусть друг, пусть друг. Нет, что вы городите, Крафт: Савелов талантлив! Таланты нужно хранить, таланты надо беречь как зеницу ока, и если бы он был талантлив!..

К р а ф т. То что?

К е р ж е н ц е в. Ничего! Он не алмаз — он только алмазная пыль.— Он — гранильщик в литературе! У гения и крупного таланта всегда острые углы, и савеловская алмазная пыль нужна только для гранения: блестят другие, пока он работает. Но... оставим всех Савеловых в покое, это неинтересно.

К р а ф т. Мне также.

Молчание.

Антон Игнатьич, вы не можете разбудить вашего Джайпура? Мне бы хотелось посмотреть на него, в его глаза. Разбудите.

К е р ж е н ц е в. Вам хочется, Крафт? Хорошо, я разбужу его... если только он уже не умер. Пойдемте.

Оба подходят к клетке, Керженцев отдергивает полог.

К р а ф т. Он спит?

К е р ж е н ц е в. Да, он дышит. Я его бужу, Крафт!..

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ВТОРАЯ

Кабинет писателя Алексея Константиновича Савелова. Вечер. Тишина. За письменным столом своим пишет Савелов; в стороне, за небольшим столиком, пишет деловые письма жена Савелова, Татьяна Николаевна.

С а в е л о в *(внезапно)*. Таня, дети спят?

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Дети?

С а в е л о в. Да.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Дети спят. Уже ложились, когда я ушла из детской. А что?

С а в е л о в. Так. Не мешай.

Снова тишина. Оба пишут. Савелов хмуро морщится, кладет перо и два раза проходит по кабинету. Заглядывает через плечо Татьяны Николаевны на ее работу.

Что ты делаешь?

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Я пишу письма относительно той рукописи, надо же ответить, Алеша, неловко.

С а в е л о в. Таня, пойди сыграй мне. Мне надо. Сейчас ничего не говори — мне надо. Иди.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Хорошо. А что сыграть?

С а в е л о в. Не знаю. Выбери сама. Иди.

Татьяна Николаевна выходит в соседнюю комнату, оставляя дверь открытой. Там вспыхивает свет. Татьяна Николаевна играет на рояли. Савелов проходит по комнате, садится и слушает. Курит. Кладет папиросу, подходит к двери и издали кричит:

Довольно, Таня. Не надо. Иди сюда! Таня, ты слышишь?..

Молча расхаживает. Входит Татьяна Николаевна и внимательно смотрит на мужа.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Ты что, Алеша, тебе опять не работается?

С а в е л о в. Опять.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Отчего?

С а в е л о в. Не знаю.

Татьяна Николаевна. Ты устал?

Савелов. Нет.

Молчание.

Татьяна Николаевна. Мне можно продолжать письма или оставить?

Савелов. Нет, оставь! Лучше поговори со мной... но, может быть, тебе не хочется говорить со мной?

Татьяна Николаевна *(улыбается)*. Ну, какие глупости, Алеша, как тебе не стыдно... смешной! Пусть останется, я потом допишу, не важно.

Собирает письма, Савелов ходит.

Савелов. Мне сегодня совсем не пишется. И вчера тоже. Понимаешь, я не то чтобы устал, какой черт! — а хочется чего-то другого. Чего-то другого. Чего-то совсем другого!

Татьяна Николаевна. Пойдем в театр.

Савелов *(останавливаясь)*. В какой? — Нет, ну его к черту.

Татьяна Николаевна. Да, пожалуй, и поздно уже.

Савелов. Ну его к черту! Ни малейшего желания нет идти в театр. Жалко, что дети спят... нет, впрочем, не хочу и детей. И музыки не хочу — только душу тянет, от нее еще хуже. Чего я хочу, Таня?

Татьяна Николаевна. Не знаю, голубчик.

Савелов. И я не знаю. Нет, я догадываюсь, чего мне хочется. Садись и слушай,— ну? Мне надо не писать,— понимаешь, Таньхен? — а самому что-то делать, двигаться, махать руками, совершать какие-то действия. Действовать! В конце концов это просто невыносимо: быть только зеркалом, висеть на стене своего кабинета и только отражать... Постой: а это недурно бы написать печальную, очень печальную сказочку о зеркале, которое сто лет отражало убийц, красавиц, королей, уродов,— и так стосковалось о настоящей жизни, что сорвалось с крюка и...

Татьяна Николаевна. И что?

Савелов. Ну и разбилось, конечно, что же еще? Нет, надоело, опять выдумка, беллетристика, гонорар. Наш известный Савелов написал... к черту окончательно!

Татьяна Николаевна. А я тему все-таки запишу.

Савелов. Записывай, если тебе хочется. Нет, ты только подумай, Таньхен: за шесть лет я ни разу не изменил тебе! Ни разу!

Татьяна Николаевна. А Наденька Скворцова?

Савелов. Оставь! Нет, я серьезно говорю, Таня: это невозможно, я начинаю ненавидеть себя. Трижды проклятое зеркало, которое висит неподвижно и может отражать только то, что само захочет отразиться и проходит мимо. За спиной у зеркала могут совершаться изумительные вещи, а оно отражает в это время какого-то идиота, болвана, которому захотелось поправить галстух!

Татьяна Николаевна. Это неверно, Алеша.

Савелов. Ты решительно ничего не понимаешь, Татьяна! Я ненавижу себя — понимаешь это? Нет? Я ненавижу тот мирок, который живет во мне, вот тут, в голове — мир моих образов, моего опыта, моих чувств. К черту! Мне опротивело то, что у меня перед глазами, я хочу того, что у меня за спиной... что там? Целый огромный мир живет где-то за моею спиной,— и я же чувствую, как он прекрасен, а головы повернуть не могу. Не могу! К черту. Скоро я совсем брошу писать!

Татьяна Николаевна. Это пройдет, Алеша.

Савелов. И очень жаль будет, если пройдет.— Ах, Господи, хоть бы кто-нибудь зашел и рассказал — о той жизни рассказал!

Татьяна Николаевна. Можно позвать кого-нибудь... Алеша, хочешь я позвоню Федоровичу?

Савелов. Федоровичу? Чтобы снова весь вечер говорить о литературе? К черту!

Татьяна Николаевна. Но кого же? Я не знаю, кого можно позвать, кто подошел бы к твоему настроению. Сигизмунд?

Савелов. Нет! И я никого не знаю, кто подошел бы. Кто?

Оба думают.

Татьяна Николаевна. А если Керженцеву?

Савелов. Антону?

Татьяна Николаевна. Да, Антону Игнатьевичу. Если позвонить, он сейчас приедет, по вечерам он всегда дома. Если не захочется говорить, то поиграй с ним в шахматы.

Савелов *(останавливается и сердито смотрит на жену)*. С Керженцевым в шахматы я не стану, как ты этого не понимаешь? Прошлый раз он с трех ходов зарезал меня... что же мне интересного играть с таким... Чигориным! И я все-таки понимаю, что это только игра, а он серьезен, как идол, и когда я проигрываю, считает меня ослом. Нет, не надо Керженцева!

Татьяна Николаевна. Ну, поговоришь, вы с ним друзья.

Савелов. Говори с ним сама, ты с ним любишь говорить, а я не хочу. Во-первых, говорить буду только я, а он будет молчать — мало ли люди молчат, но он молчит ужасно противно! И потом он просто надоел мне с своими дохлыми обезьянами, своей божественной мыслью — и лакеем Васькой, на которого он кричит, как буржуй. Экспериментатор! У человека такой великолепный лоб, за который за один можно поставить памятник,— а что он сделал? Ничего. Хоть бы орехи бил своим лбом — все-таки работа.— Фух ты, устал бегать!

Садится.

Татьяна Николаевна. Да... Мне, Алеша, одно не нравится: у него появилось что-то угрюмое в глазах. Повидимому, он действительно болен: этот его психоз, о котором говорил Карасев...

Савелов. Оставь! Не верю я в его психоз. Притворяется, дурака ломает.

Татьяна Николаевна. Ну, ты уж слишком, Алеша.

Савелов. Нет, не слишком. Я, голубчик, Антона с гимназии знаю, два года были мы с ним влюбленнейшими друзьями — и это пренелепейший человек! Я ему ни в чем не верю. Нет, не хочу о нем говорить. Надоело! Танечка, я куда-нибудь пойду.

Татьяна Николаевна. Со мною?

Савелов. Нет, я один хочу. Танечка, можно?

Татьяна Николаевна. Иди, конечно. Но только куда же ты пойдешь — к кому-нибудь?

Савелов. Может, зайду к кому-нибудь... Нет, мне так хочется пошататься по улицам, среди народа. Потолкаться локтями, посмотреть, как смеются, как скалят зубы... Прошлый раз на бульваре били кого-то, и я, честное слово, Танечка, с наслаждением смотрел на скандал. Может быть, в ресторанчик зайду.

Татьяна Николаевна. Ох, Алеша, миленький, боюсь я этого, не надо, дорогой. Опять много выпьешь и будешь нездоров — не надо!

Савелов. Да нет же, ну что ты, Таня! Да, я и забыл тебе сказать: я сегодня шел за генералом. Хоронили какого-то генерала, и играла военная музыка — понимаешь? Это не румынская скрипка, которая выматывает душу: тут идешь твердо, в ногу — дело чувствуется. Я люблю духовые

инструменты. В медных трубах, когда они плачут и кричат, в барабанной дроби с ее жестоким, твердым, отчетливым ритмом... Что вам?

Вошла горничная Саша.

Татьяна Николаевна. Отчего вы не стучитесь, Саша? Вы ко мне?

Саша. Нет, Антон Игнатьич пришли и спрашивают, к вам можно или нет. Они уже разделись.

Савелов. Ну, конечно, зовите. Скажите, чтобы прямо сюда шел.

Горничная выходит.

Татьяна Николаевна *(улыбается)*. Легок на помине.

Савелов. А, черт!.. Задержит он меня, ей-Богу! Танечка, ты побудь, пожалуйста, с Керженцевым, а я пойду, я не могу!

Татьяна Николаевна. Да, конечно, иди! Ведь он же свой человек, какие тут могут быть стеснения... миленький, ты совсем расстроился!

Савелов. Ну, ну! Сейчас человек войдет, а ты целуешь.

Татьяна Николаевна. Успею!

Входит Керженцев. Здоровается. Татьяне Николаевне гость целует руку.

Савелов. Ты какими судьбами, Антоша? А я, брат, ухожу.

Керженцев. Что ж, идите, и я с вами выйду. Вы также идете, Татьяна Николаевна?

Савелов. Нет, она останется, посиди. Что это про тебя Карасев говорил: ты не совсем здоров?

Керженцев. Пустяки. Некоторое ослабление памяти, вероятно, случайность, переутомление. Так и психиатр сказал. А что — уже говорят?

Савелов. Говорят, брат, говорят! Что улыбаешься, доволен? Я тебе говорю, Таня, что это какая-то штука... не верю я тебе, Антоша!

Керженцев. В чем же ты мне не веришь, Алексей?

Савелов *(резко)*. Во всем.

Молчание. Савелов сердито ходит.

Татьяна Николаевна. А как поживает ваш Джайпур, Антон Игнатьевич?

Керженцев. Он умер.

Татьяна Николаевна. Да? Как жаль.

Савелов презрительно фыркает.

Керженцев. Да, умер. Вчера. Ты, Алексей, иди лучше, а то ты уже начинаешь ненавидеть меня. Я тебя не задерживаю.

Савелов. Да, я пойду. Ты, Антоша, не сердись, я сегодня зол и на всех кидаюсь как собака. Не сердись, голубчик, она тебе все расскажет. У тебя Джайпур умер, а я, брат, сегодня генерала хоронил: три улицы промаршировал.

Керженцев. Какого генерала?

Татьяна Николаевна. Он шутит, он за музыкой шел.

Савелов *(набивая папиросами портсигар)*. Шутки шутками, а ты все-таки поменьше возись с обезьяной, Антон,— когда-нибудь и серьезно сбрендишь. Экспериментатор ты, Антоша, жестокий экспериментатор!

Керженцев не отвечает.

Керженцев. Дети здоровы, Татьяна Николаевна?

Татьяна Николаевна. Слава Богу, здоровы. А что?

Керженцев. Скарлатина гуляет, надо поберегать.

Татьяна Николаевна. О, Господи!

Савелов. Ну, теперь заахала! До свидания, Антоша, не сердись, что ухожу... Может, я еще застану тебя. Я скоро, голубчик.

Татьяна Николаевна. Я немного провожу тебя, Алеша, мне два слова. Я сейчас, Антон Игнатьевич.

Керженцев. Пожалуйста, не стесняйтесь.

Савелов и жена выходят. Керженцев прохаживается по комнате. Берет с письменного стола Савелова тяжелое пресс-папье и взвешивает на руке: так застает его Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна. Ушел. Что это вы смотрите, Антон Игнатьевич?

Керженцев *(спокойно кладя пресс-папье)*. Тяжелая вещь, можно убить человека, если ударить по голове. Куда пошел Алексей?

Татьяна Николаевна. Так, пройтись. Он скучает. Садитесь, Антон Игнатьевич, я очень рада, что вы заглянули наконец.

Керженцев. Скучает? Давно ли это?

Татьяна Николаевна. У него это бывает. Вдруг бросит работу и начинает разыскивать какую-то настоящую жизнь. Теперь он пошел шататься по улицам и, наверное,

ввяжется в какую-нибудь историю. Мне печально то, Антон Игнатьевич, что, видимо, я чего-то ему не даю, каких-то необходимых переживаний, наша с ним жизнь слишком спокойна...

Керженцев. И счастлива?

Татьяна Николаевна. А что такое счастье?

Керженцев. Да, этого никто не знает. Вам очень нравится последняя повесть Алексея?

Татьяна Николаевна. Очень. А вам?

Керженцев молчит.

Я нахожу, что талант его растет с каждым днем. Это вовсе не значит, что я говорю, как его жена, я вообще достаточно беспристрастна. Но это находит и критика... а вы?

Керженцев молчит.

(Волнуясь.) А вы, Антон Игнатьевич, внимательно прочли книгу или только перелистали?

Керженцев. Очень внимательно.

Татьяна Николаевна. Ну и что же?

Керженцев молчит. Татьяна Николаевна взглядывает на него и молча начинает убирать со стола бумаги.

Керженцев. Вам не нравится, что я молчу?

Татьяна Николаевна. Мне не нравится другое.

Керженцев. Что?

Татьяна Николаевна. Сегодня вы бросили один очень странный взгляд на Алексея, на мужа. Мне не нравится, Антон Игнатьич, что за шесть лет... вы не могли простить ни мне, ни Алексею. Вы всегда были так сдержанны, что это мне и в голову не приходило, но сегодня... Впрочем, оставим этот разговор, Антон Игнатьич!

Керженцев встает и становится спиной к печке. Смотрит сверху вниз на Татьяну Николаевну.

Керженцев. Зачем же менять, Татьяна Николаевна? Он мне кажется интересным. Если я сегодня впервые за шесть лет проявил что-то — хотя я не знаю что,— то и вы сегодня в первый раз заговорили о прошлом. Это интересно. Да, шесть лет тому назад, а вернее, семь с половиной — ослабление моей памяти не коснулось этих дат — я предложил вам руку и сердце, и вы изволили отвергнуть и то и другое. Вы помните, что это было на Николаевском вокзале и что стрелка на станционных часах показывала

в эту минуту ровно шесть: диск делился пополам одною черною чертою?

Татьяна Николаевна. Я этого не помню.

Керженцев. Нет, это верно, Татьяна Николаевна. И помните, что вы тогда еще пожалели меня? — этого вы не можете забыть.

Татьяна Николаевна. Да, это я помню, но что я могла сделать другое? В моей жалости не было ничего оскорбительного для вас, Антон Игнатьич? И я просто не могу понять, зачем мы это говорим — что это, объяснение? Я, к счастью, совершенно уверена, что вы не только не любите меня...

Керженцев. Это неосторожно, Татьяна Николаевна! А вдруг я скажу, что и до сих пор — я люблю вас, что я не женюсь, веду такую странную замкнутую жизнь только потому, что — люблю вас?

Татьяна Николаевна. Вы этого не скажете!

Керженцев. Да, я этого не скажу.

Татьяна Николаевна. Послушайте, Антон Игнатьич: я очень люблю говорить с вами...

Керженцев. Говорить со мной, а спать — с Алексеем?

Татьяна Николаевна *(встает, возмущенно)*. Нет, что с вами? Это же грубо! Это... невозможно! Я не понимаю. И может быть, вы, действительно, больны? Этот ваш психоз, о котором я слыхала...

Керженцев. Что ж, допустим. Пусть это будет тот самый психоз, о котором вы слыхали — если иначе нельзя говорить. Но неужели вы боитесь слов, Татьяна Николаевна?

Татьяна Николаевна. Я ничего не боюсь, Антон Игнатьич. *(Садится.)* Но я все должна буду рассказать Алексею.

Керженцев. А вы уверены, что вы сумеете рассказать и он сумеет что-нибудь понять?

Татьяна Николаевна. Алексей не сумеет понять?.. Нет, вы шутите, Антон Игнатьич?

Керженцев. Что ж, можно допустить и это. Вам, конечно, Алексей говорил, что я... как бы вам это сказать... большой мистификатор? Люблю опыты и — шутки. Когда-то, в дни молодости, конечно, я нарочно добивался дружбы у кого-нибудь из товарищей, а когда он выбалтывался весь, я уходил от него с улыбкой. С легкой улыбкой, впрочем: я слишком уважаю свое одиночество, чтобы нарушать его смехом. Вот и теперь я шучу, и пока вы волнуетесь,

я, может быть, спокойно и с улыбкой рассматриваю вас... с легкой улыбкой, впрочем.

Татьяна Николаевна. Но вам понятно, Антон Игнатьич, что такого отношения к себе я допустить не могу? Плохие шутки, от которых никому не хочется смеяться.

Керженцев *(смеется)*. Разве? А мне казалось, что я уже смеялся. Это вы серьезничаете, Татьяна Николаевна, а не я. Засмейтесь!

Татьяна Николаевна *(насильственно смеется)*. Но, может быть, это также только опыт?

Керженцев *(серьезно)*. Вы правы: я хотел слышать ваш смех. Первое, что я в вас полюбил — был именно ваш смех.

Татьяна Николаевна. Я больше не стану смеяться.

Молчание. Керженцев улыбается.

Керженцев. Вы очень несправедливы сегодня, Татьяна Николаевна, да: Алексею вы отдаете все, а у меня хотели бы отнять последние крохи. Только потому, что я люблю ваш смех и нахожу в нем ту красоту, которой, быть может, не видят другие, вы уже не хотите смеяться!

Татьяна Николаевна. Все женщины несправедливы.

Керженцев. Зачем так плохо о женщинах? И если я сегодня шучу, то вы шутите еще больше: вы притворяетесь маленькой трусливой мещаночкой, которая с яростью и... отчаянием защищает свое маленькое гнездо, свой птичник. Разве я так похож на коршуна?

Татьяна Николаевна. С вами трудно спорить... говорите.

Керженцев. Но ведь это же правда, Татьяна Николаевна! Вы умнее вашего мужа, а моего друга, я также умнее его, и поэтому вы всегда так любили говорить со мной... ваш гнев и сейчас не лишен некоторой приятности. Разрешите же мне быть — в странном настроении. Сегодня я слишком долго копался в мозгу моего Джайпура — он умер от тоски,— и у меня странное, очень странное и... шутливое настроение!

Татьяна Николаевна. Я это заметила, Антон Игнатьевич. Нет, серьезно, мне искренно жаль вашего Джайпура: у него было такое... *(улыбается)* интеллигентное лицо. Но чего же вы хотите?

Керженцев. Сочинять. Выдумывать.

Татьяна Николаевна. Господи, какие мы, женщины, несчастные, вечные жертвы ваших гениальных капризов: Алексей убежал, чтобы не сочинять, и я должна была придумывать ему утешения, а вы... *(Смеется.)* Сочиняйте!

Керженцев. Вот вы и засмеялись!

Татьяна Николаевна. Да уж Бог с вами. Сочиняйте, но только, пожалуйста, не о любви!

Керженцев. Иначе нельзя. Мой рассказ начинается с любви.

Татьяна Николаевна. Ну, как хотите. Постойте, я сяду поудобнее. *(Садится на диван с ногами и оправляет юбку.)* Теперь я слушаю.

Керженцев. Так вот, допустим, Татьяна Николаевна, что я, доктор Керженцев... как неопытный сочинитель, я буду от первого лица, можно?.. так вот, допустим, что я люблю вас — можно? — и что я стал нестерпимо раздражаться, глядя на вас с талантливым Алексеем. Моя жизнь, благодаря вам, расклеилась, а вы нестерпимо счастливы, вы великолепны, вас одобряет сама критика, вы молоды и прекрасны... кстати, вы очень красиво причесываетесь теперь, Татьяна Николаевна!

Татьяна Николаевна. Да? Так нравится Алексею. Я слушаю.

Керженцев. Вы слушаете? Прекрасно. Так вот... вы знаете, что такое одиночество с его мыслями? Допустим, что вы это знаете. Так вот, однажды, сидя один за своим столом...

Татьяна Николаевна. У вас великолепный стол, я мечтаю о таком для Алеши. Простите...

Керженцев. ...и раздражаясь все более и более — думая о многом,— я решил совершить ужасное злодейство: прийти к вам в дом, так-таки просто прийти к вам в дом и... убить талантливого Алексея!

Татьяна Николаевна. Что? Что вы говорите! Как вам не стыдно!

Керженцев. Это же слова!

Татьяна Николаевна. Неприятные слова!

Керженцев. Вы боитесь?

Татьяна Николаевна. Опять боитесь? Нет, я ничего не боюсь, Антон Игнатьич. Но я требую, то есть я хочу, чтобы... рассказ был в пределах... художественной правды. *(Встает и ходит.)* Я избалована, голубчик, талантливыми рассказами, и бульварный роман с его ужасными злодеями... вы не сердитесь?

Керженцев. Первый опыт!

Татьяна Николаевна. Да, первый опыт, и это видно. Как же вы, ваш герой хочет осуществить свой страшный замысел? Ведь, конечно, он умный злодей, который себя любит, и ему вовсе не хочется менять свою... удобную жизнь на каторгу и кандалы?

Керженцев. Несомненно! И я... то есть мой герой для этой цели притворяется сумасшедшим.

Татьяна Николаевна. Что?

Керженцев. Вы не понимаете? Убьет, а потом выздоровеет и вернется к своей... удобной жизни. Ну, как, дорогой критик?

Татьяна Николаевна. Как? Плохо до того, что... стыдно! Он хочет убить, он притворяется и он же рассказывает — и кому? Жене! Плохо, неестественно, Антон Игнатьич!

Керженцев. А игра? Прекрасный критик мой — а игра? Или вы не видите, какие бешеные сокровища бешеной игры сокрыты здесь: самой жене говорить о том, что я хочу убить ее мужа, смотреть ей в глаза, улыбаться тихонько и говорить: а я хочу убить вашего мужа! И говоря это, знать, что она не поверит... или поверит? И что, когда она станет рассказывать об этом другим, ей также никто не поверит! Она будет плакать... или не будет? — а ей не поверят!

Татьяна Николаевна. А вдруг поверят?

Керженцев. Что вы: ведь только сумасшедшие рассказывают такие вещи... и слушают! Но какая игра — нет, вы подумайте серьезно, какая бешеная, острая, божественная игра! Конечно, для слабой головы это опасно, легко можно перейти грань и назад уж не вернуться — но для сильного и свободного ума? Послушайте, зачем писать рассказы, когда их можно делать! А — не правда ли? Зачем писать? Какой простор для творческой, бесстрашной, воистину творческой мысли!

Татьяна Николаевна. Ваш герой доктор?

Керженцев. Герой — это я.

Татьяна Николаевна. Ну, все равно, вы. Он может незаметно отравить или привить какую-нибудь болезнь... почему он так не хочет?

Керженцев. Но если я незаметно отравлю, то как же вы будете знать, что это сделал — я?

Татьяна Николаевна. Но зачем же я должна знать это?

Керженцев молчит.

(Слегка топает ногой.) Зачем я должна это знать? Что вы говорите!

Керженцев молчит. Татьяна Николаевна отходит, потирает пальцами виски.

Керженцев. Вам нехорошо?

Татьяна Николаевна. Да. Нет. Голова что-то... О чем мы сейчас говорили? Как странно: о чем мы сейчас говорили? Как странно, я не совсем ясно помню, о чем мы сейчас говорили? О чем?

Керженцев молчит.

Антон Игнатьевич!

Керженцев. Что?

Татьяна Николаевна. Как мы к этому пришли?

Керженцев. К чему?

Татьяна Николаевна. Я не знаю.— Антон Игнатьевич, голубчик, дорогой, не надо! Мне, правда, немного страшно. Не надо шутить! Вы такой милый, когда говорите со мной серьезно... и ведь вы же никогда так не шутили! Зачем теперь? Вы меня перестали уважать? Не надо! И вы не думайте, что я так уж счастлива... какой там! Мне с Алексеем очень трудно, это правда. И он сам вовсе не так счастлив, я же знаю!..

Керженцев. Татьяна Николаевна, сегодня впервые за шесть лет мы говорим о прошлом, и я не знаю... Вы рассказали Алексею, что шесть лет тому назад я предложил вам руку и сердце и вы изволили отказаться — от того и от другого?

Татьяна Николаевна *(смущаясь)*. Дорогой мой, но как же я могла... не рассказать, когда...

Керженцев. И он также жалел меня?

Татьяна Николаевна. Но неужто вы не верите в его благородство, Антон Игнатьич?

Керженцев. Я вас очень любил, Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна *(умоляя)*. Не надо!

Керженцев. Хорошо.

Татьяна Николаевна. Ведь вы же сильный! У вас огромная воля, Антон Игнатьич, если вы захотите, вы можете все. Ну... простите нас, простите меня!

Керженцев. Воля? Да.

Татьяна Николаевна. Зачем вы так смотрите — вы не хотите простить? Не можете? Боже мой, как это... ужасно! И кто же виноват и какая же это жизнь, Гос-

поди! *(Тихо плачет.)* И все надо бояться, то дети, то... Простите!

Молчание. Керженцев точно издали смотрит на Татьяну Николаевну — вдруг просветляется, меняет маску.

Керженцев. Татьяна Николаевна, голубчик, перестаньте, ну, что вы! Я шутил.

Татьяна Николаевна *(вздыхая и вытирая слезы)*. Вы не будете больше. Не надо.

Керженцев. Да, конечно! Понимаете: у меня сегодня умер мой Джайпур... и я... ну, расстроился, что ли. Взгляните на меня: вы видите, я уже улыбаюсь.

Татьяна Николаевна *(взглянув и также улыбнувшись)*. Какой вы, Антон Игнатьич!

Керженцев. Чудак я, ну, чудак — мало ли чудаков, да еще каких! Дорогая моя, мы с вами старые друзья, сколько одной соли съели, я люблю вас, люблю милого, благородного Алексея — хотя о произведениях его позвольте мне всегда говорить прямо...

Татьяна Николаевна. Ну, конечно же, это вопрос спорный!

Керженцев. Ну, вот и прекрасно. А милые детишки ваши? Вероятно, это чувство, общее всем упорным холостякам, но ваших детей я считаю почти за своих. Ваш Игорь мой крестник...

Татьяна Николаевна. Вы милый, Антон Игнатьич, вы милый!.. — Кто это?

Постучавшись, входит горничная Саша.

Что вам, Саша, как вы меня испугали, Боже мой! Дети?

Саша. Нет, дети спят. Вас барин просит к телефону, сейчас звонили-с.

Татьяна Николаевна. Что такое? Что с ним?

Саша. Ничего, ей-Богу. Они веселый, шутят.

Татьяна Николаевна. Я сейчас, простите, Антон Игнатьич. *(От двери, ласково.)* Милый!

Выходят обе. Керженцев ходит по комнате — суровый, озабоченный. Снова берет пресс-папье, осматривает его острые углы и взвешивает на руке. При входе Татьяны Николаевны быстро ставит его на место и делает приятное лицо.

Антон Игнатьич, едемте скорее!

Керженцев. Что случилось, дорогая?

Татьяна Николаевна. Нет, ничего. Милый! Так, не знаю. Алексей звонит из ресторана, там кто-то собрался,

просит нас приехать. Весело. Едемте! Я переодеваться не стану — идем, милый.

Идут. Татьяна Николаевна останавливается.

Какой вы послушный: идет себе и даже не спрашивает, куда. Милый! Да... Антон Игнатьич, а когда вы были у психиатра?

Керженцев. Дней пять или шесть. Я был у Семенова, голубчик, он мой знакомый. Знающий человек.

Татьяна Николаевна. А!.. Это очень известный, кажется, это хорошо. Что же он вам сказал? Вы не обижайтесь, дорогой, но вы знаете, как я...

Керженцев. Ну, что вы, дорогая! Семенов сказал, что пустяки, переутомление — пустяки. Мы долго с ним говорили, хороший старик. И такие лукавые глаза!

Татьяна Николаевна. Но переутомление есть? Бедненький вы мой,— переутомился! *(Гладит его по руке.)* Не надо, дорогой, отдохните, полечитесь...

Керженцев молча наклоняется и целует ей руку. Она со страхом сверху смотрит на его голову.

Антон Игнатьич! Вы не будете сегодня спорить с Алексеем?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Савелова. Шестой час вечера, перед обедом. В кабинете трое: Савелов, его жена и гость, приглашенный к обеду, писатель Федорович. Татьяна Николаевна сидит на кончике дивана и умоляюще смотрит на мужа; Федорович неторопливо, заложив руки за спину, прохаживается по комнате; Савелов сидит на своем месте за столом и то откидывается на спинку кресла, то, опустив голову над столом, сердито рубит и ломает разрезальным ножом карандаш, спички.

Савелов. Да к черту, наконец, Керженцева! Поймите вы оба, и ты пойми это, Федорович, что Керженцев мне надоел, как горькая редька! Ну и пусть болен, ну и пусть с ума сошел, ну и пусть опасен — ведь не могу же я думать только о Керженцеве. К черту! — Послушай, Федорович, ты был на вчерашнем докладе в литературном обществе? Что интересного там говорили?

Федорович. Интересного мало. Так, больше препирались да ругались, я рано ушел.

Савелов. Меня ругали?

Федорович. Ругали, брат, и тебя. Они всех там ругают.

Татьяна Николаевна. Ну, послушай, Алеша, по-

слушай, не раздражайся: Александр Николаевич просто хочет предупредить тебя относительно Керженцева... Нет-нет, постой, нельзя же быть таким упрямым. Ну если ты мне не веришь и думаешь, что я преувеличиваю, то поверь Александру Николаевичу, он посторонний человек: Александр Николаевич, скажите, вы сами были на этом обеде и сами все видели?

Федорович. Сам.

Татьяна Николаевна. Ну и что же, говорите!

Федорович. Ну, и не подлежит сомнению, что это был припадок форменного бешенства. Достаточно было посмотреть на его глаза, на лицо — форменное исступление! Пену-то на губах не сочинишь.

Татьяна Николаевна. Ну?

Федорович. Керженцев-то ваш и вообще никогда не производил на меня впечатления кроткого человека, этакое идолище поганое на вывернутых ногах, а тут и всем стало жутко. Было нас человек десять за столом, так все и рассыпались, кто куда. Да, брат, а Петр Петрович было лопнул: при его толщине да такое испытание!

Татьяна Николаевна. Ты не веришь, Алексей?

Савелов. А чему мне прикажете верить? Вот же странные люди! Он бил кого-нибудь?

Федорович. Нет, бить он никого не бил, хотя на Петра Петровича покушался... А посуду побил, это верно, и цветы поломал, пальму. Да что — конечно, опасен, кто может поручиться за такого? Народ мы нерешительный, всё на деликатности стараемся, а положительно надо бы сообщить полиции, пусть посидит в больнице, пока отойдет.

Татьяна Николаевна. Необходимо сообщить, так оставлять этого нельзя. Бог знает что! Все смотрят и никто...

Савелов. Оставь, Таня! Просто надо было его связать, и больше ничего, и на голову ведро холодной воды. Если хотите, я верю в сумасшествие Керженцева, отчего же, всяко бывает, но страхов ваших решительно не понимаю. Почему именно мне он захочет причинить какой-нибудь вред? Чепуха!

Татьяна Николаевна. Но я же рассказывала, Алеша, что он тогда вечером говорил мне. Он так меня тогда напугал, что я была сама не своя. Я почти плакала!

Савелов. Извини, Танечка: ты мне, действительно, рассказывала, но я ничего, голубчик, не понял из твоего рассказа. Какая-то нелепая болтовня на слишком острые темы, которых, конечно, следовало избегать... Ты знаешь,

Федорович, ведь он когда-то сватался за Татьяну? — как же, любовь тоже!..

Татьяна Николаевна. Алеша!

Савелов. Ему можно, он свой человек. Ну, и понимаешь, что-то вроде любовной отрыжки — э, да просто блажь! Блажь! Никого и никогда не любил Керженцев и любить не может. Я его знаю. Довольно о нем, господа.

Федорович. Хорошо.

Татьяна Николаевна. Ну, Алеша, миленький, ну, что стоит это сделать — для меня! Ну, пусть я глупая, но я страшно беспокоюсь. Не надо его принимать, вот и все, можно ласковое письмо ему написать. Ведь нельзя же пускать в дом такого опасного человека — не правда ли, Александр Николаевич?

Федорович. Правильно!

Савелов. Нет! Мне даже неловко слушать тебя, Таня. Действительно, только этого не хватает, чтобы я из-за какого-то каприза... ну, не каприза, я извиняюсь, я не так выразился, ну, вообще из-за каких-то страхов я отказал бы человеку от дома. Не надо было болтать на такие темы, а теперь нечего. Опасный человек... довольно, Таня!

Татьяна Николаевна *(вздыхая)*. Хорошо.

Савелов. И вот еще что, Татьяна: ты не вздумай ему написать без моего ведома, я тебя знаю. Угадал?

Татьяна Николаевна *(сухо)*. Ничего ты не угадал, Алексей. Оставим лучше. Когда же вы в Крым, Александр Николаевич?

Федорович. Да думаю на той недельке двинуть. Трудно мне выбраться.

Савелов. Денег нет, Федорчук?

Федорович. Да нет. Аванса жду, обещали.

Савелов. Ни у кого, брат, нет денег.

Федорович *(останавливается перед Савеловым)*. А поехал бы ты со мною, Алексей! Все равно ведь ничего не делаешь, а там мы с тобою здорово бы козырнули — а? Забаловался ты, жена тебя балует, а там двинули бы мы пешком: дорога, брат, белая, море, брат, синее, миндаль цветет...

Савелов. Не люблю Крыма.

Татьяна Николаевна. Он совершенно не выносит Крыма. Но а если бы так, Алеша: я с детьми осталась бы в Ялте, а ты с Александром Николаевичем поезжай на Кавказ, Кавказ ты любишь.

Савелов. Да чего я ради вообще поеду? Я вовсе никуда не собираюсь ехать, у меня тут работы по горло!

Федорович. Для детей хорошо.

Татьяна Николаевна. Конечно!

Савелов *(раздраженно)*. Ну и поезжай с детьми, если хочешь. Ведь это, ей-Богу, невозможно! Ну и поезжай с детьми, а я тут останусь. Крым... Федорович, ты любишь кипарисы? — а я их ненавижу. Стоят, как восклицательные знаки, чтоб их черт побрал, а тексту никакого... точно рукопись дамы-писательницы о каком-то «загадочном» Борисе!

Федорович. Нет, брат: дамы-писательницы больше многоточия любят...

Входит горничная.

Саша. Антон Игнатьевич пришли и спрашивают, можно к вам?

Некоторое молчание.

Татьяна Николаевна. Ну вот, Алеша!

Савелов. Конечно, просить! Саша, попросите Антона Игнатьича сюда, скажите, что мы в кабинете. Чаю дайте.

Горничная выходит. В кабинете молчание. Входит Керженцев с каким-то большим бумажным свертком в руках. Лицо темное. Здоровается.

А, Антоша! Здравствуй. Что это ты бедокуришь? Мне всё рассказывают. Полечись, брат, надо серьезно полечиться, так этого оставлять нельзя.

Керженцев *(тихо)*. Да, кажется, немного захворал. Завтра думаю поехать в санаторию, отдохнуть. Надо отдохнуть.

Савелов. Отдохни, отдохни, конечно. Вот видишь, Таня, человек и без вас знает, что ему надо делать. Тут так, брат, тебя костили вот эти двое...

Татьяна Николаевна *(укоризненно)*. Алеша! Хотите чаю, Антон Игнатьич?

Керженцев. С удовольствием, Татьяна Николаевна.

Савелов. Ты что так тихо говоришь, Антон? *(Ворчит.)* Алеша, Алеша,— не умею я по-вашему молчать... Садись, Антон, что же ты стоишь?

Керженцев. Вот, Татьяна Николаевна, возьмите, пожалуйста.

Татьяна Николаевна *(принимает пакет)*. Что это?

Керженцев. Игорю игрушки. Я уж давно обещал, да как-то все не было времени, а сегодня кончал все свои дела в городе и вот, к счастью, вспомнил. Я к вам ведь проститься.

Татьяна Николаевна. Спасибо, Антон Игнатьич. Игорь будет очень рад. Я его сюда позову, пусть от вас получит.

Савелов. Нет, Танечка, мне не хочется шуму. Придет Игорь, потом и Танька потащится, и такая тут начнется персидская революция: то ли на кол сажают, то ли ура кричат!.. Что? Лошадь?

Керженцев. Да. Пришел я в магазин и растерялся, никак не могу угадать, что ему понравится.

Федорович. Мой Петька теперь уже автомобиль требует, не хочет лошади.

Татьяна Николаевна звонит.

Савелов. Ну, еще бы! Тоже ведь растут. Скоро до аэропланов доберутся... Вам что, Саша?

Саша. Меня звонили.

Татьяна Николаевна. Это я, Алеша. Вот, Саша, отнесите, пожалуйста, в детскую и отдайте Игорю, скажите, дядя ему принес.

Савелов. А что же ты сама, Таня, не пойдешь? Лучше сама отнеси.

Татьяна Николаевна. Мне не хочется, Алеша.

Савелов. Таня!

Татьяна Николаевна берет игрушку и молча выходит. Федорович насвистывает и смотрит по стенам уже виденные картины.

Нелепая женщина! Это она тебя боится, Антон.

Керженцев *(удивленно)*. Меня?

Савелов. Да. Представилось что-то женщине и вот тоже, вроде тебя, с ума сходит. Считает тебя опасным человеком.

Федорович *(перебивая)*. Чья это карточка, Алексей?

Савелов. Актрисы одной. Ты что ей наговорил тут, Антоша? Напрасно, голубчик, ты таких тем касаешься. Я убежден, что для тебя это было шуткой, а Таня моя насчет шуток плоха, ты ее знаешь не хуже меня.

Федорович *(снова)*. А кто эта актриса?

Савелов. Да ты ее не знаешь! Так-то, Антон, не следовало бы. Ты улыбаешься? Или серьезен?

Керженцев молчит. Федорович искоса смотрит на него. Савелов хмурится.

Ну, конечно, шутки. А все-таки брось ты шутить, Антон! Знаю я тебя с гимназии, и всегда в твоих шутках было что-то неприятное. Когда шутят, брат, то улыбаются, а ты как раз стараешься в это время такую рожу скорчить, чтобы поджилки затряслись. Экспериментатор! Ну что, Таня?

Вошла Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна. Ну, конечно, рад. О чем вы здесь так горячо?

Савелов ходит по кабинету; бросает на ходу пренебрежительно и довольно резко:

Савелов. О шутках. Я советовал Антону не шутить, так как не всем его шутки кажутся одинаково... удачными.

Татьяна Николаевна. Да? А что же чаю, милый Антон Игнатьич,— вам еще не подали! *(Звонит.)* Простите, я и не заметила!

Керженцев. Я попросил бы стакан белого вина, если это не нарушит вашего порядка.

Савелов. Ну, какой такой у нас порядок!.. *(Вошедшей горничной.)* Саша, дайте сюда вина и два стакана: ты будешь вино, Федорович?

Федорович. Стаканчик выпью, а ты разве нет?

Савелов. Не хочется.

Татьяна Николаевна. Белого вина дадите, Саша, и два стакана.

Горничная выходит, вскоре возвращается с вином. Неловкое молчание. Савелов сдерживает себя, чтобы не высказывать Керженцеву враждебности, но с каждой минутой это становится труднее.

Савелов. Ты в какую санаторию хочешь, Антон?

Керженцев. Мне Семенов посоветовал. Есть чудесное местечко по Финляндской дороге, я уже списался. Больных, вернее отдыхающих, там мало — лес и тишина.

Савелов. А!.. Лес и тишина. Ты что же не пьешь вино? Пей. Федорович — наливай. *(Насмешливо.)* А на что же тебе понадобились лес и тишина?

Татьяна Николаевна. Для отдыха, конечно, и о чем ты спрашиваешь, Алеша? Правда, Александр Николаевич, что сегодня наш Алеша какой-то бестолковый — вы не сердитесь на меня, знаменитый писатель?

Савелов. Не болтай, Таня, неприятно. Да, конечно, для отдыха... Вот, Федорович, обрати внимание на человека: ему совершенно чуждо простое чувство природы, способность радоваться солнцу, воде. Правда, Антон?

Керженцев молчит.

(Раздражаясь.) Нет, и при этом он думает, что он ушел вперед, понимаешь, Федорович? А мы с тобой, которые еще могут наслаждаться солнцем и водой, кажемся ему чем-то атавистическим, убийственно отсталым. Антон, ты не находишь, что Федорович очень похож на твоего покойного орангутанга?

Федорович. Что ж, отчасти это правда, Алексей. То есть не то, что я похож...

Савелов. Не правда, а просто нелепость, своеобразная ограниченность... Что тебе, Таня? Что это за знаки еще?

Татьяна Николаевна. Ничего. Ты вина не хочешь? Послушайте, Антон Игнатьич, сегодня мы собрались в театр, вы не хотите с нами? У нас ложа.

Керженцев. С удовольствием, Татьяна Николаевна, хотя я не особенно люблю театр. Но сегодня я пойду с удовольствием.

Савелов. Не любишь? Странно! Отчего же ты его не любишь? Это в тебе что-то новое, Антон, ты продолжаешь развиваться. Знаешь, Федорович, ведь когда-то Керженцев хотел сам идти в актеры и, по моему мнению, он был бы прекрасный актер! В нем есть этакие свойства... и вообще...

Керженцев. Мои личные свойства здесь ни при чем, Алексей.

Татьяна Николаевна. Конечно!

Керженцев. Я не люблю театра, потому что в нем плохо представляют. Для настоящей игры, которая в конце концов есть только сложная система притворства, театр слишком тесен. Не правда ли, Александр Николаевич?

Федорович. Я не совсем вас понимаю, Антон Игнатьич.

Савелов. А что же такое — настоящая игра?

Керженцев. Истинная художественная игра может быть только в жизни.

Савелов. И поэтому ты не пошел в актеры, а остался доктором. Понимаешь, Федорович?

Федорович. Ты придираешься, Алексей! Насколько я понимаю...

Татьяна Николаевна. Ну, конечно, он бессовестно придирается. Бросьте его, милый Антон Игнатьич, пойдемте лучше в детскую. Игорь непременно хочет поцеловать вас... поцелуйте же его, Антон Игнатьич!

Керженцев. Мне несколько тяжел сейчас детский шум, извините, Татьяна Николаевна.

Савелов. Конечно, пусть сидит здесь. Сиди, Антон.

Керженцев. И я нисколько не... обижаюсь на горячность Алексея. Он всегда был горяч, еще в гимназии.

Савелов. Совершенно излишняя снисходительность. И я нисколько не горячусь — что ж ты не пьешь вино, Антон? Пей, вино хорошее... Но меня всегда удивляла твоя оторванность от жизни. Жизнь течет мимо тебя, а ты сидишь, как в крепости, ты горд в своем таинственном одино-

честве, как барон! Для баронов время прошло, брат, их крепости разрушены. Федорович, ты знаешь, что у нашего барона недавно скончался его единственный союзник — орангутанг?

Татьяна Николаевна. Алеша, опять! Это невозможно!

Керженцев. Да, я сижу в крепости. Да. В крепости!

Савелов *(садясь)*. Да? Скажи пожалуйста! Слушай, Федорович, это исповедь барона!

Керженцев. Да. И моя крепость — вот: моя голова. Не смейся, Алексей, ты, мне кажется, еще не совсем дорос до этой мысли...

Савелов. Не дорос?..

Керженцев. Извини, я не так выразился. Но только вот здесь, в моей голове, за этими черепными стенами, я могу быть совершенно свободен. И я свободен! Одинок и свободен! Да!

Встает и начинает ходить по той линии кабинета, по которой только что ходил Савелов.

Савелов. Федорович, дай мне твой стакан. Спасибо. В чем же твоя свобода, мой одинокий друг?

Керженцев. А в том... А в том, мой друг, что я стою над той жизнью, в которой вы копошитесь и ползаете! А в том, мой друг, что вместо жалких страстей, которым вы подчиняетесь, как холопы, я избрал своим другом царственную человеческую мысль! Да, барон! Да, я неприступен в своем замке, и нет той силы, которая бы не разбилась вот об эти стены!

Савелов. Да, твой лоб великолепен, но не слишком ли ты полагаешься на него? Твое переутомление...

Татьяна Николаевна. Господа, оставьте, охота вам! Алеша!

Керженцев *(смеется)*. Мое переутомление? Нет, меня не страшит... мое переутомление. Моя мысль послушна мне, как меч, острие которого направляет моя воля. Или ты, слепой, не видишь его блеска? Или ты, слепой, не знаешь этого восторга: заключать вот здесь, в своей голове, целый мир, распоряжаться им, царить, все заливать светом божественной мысли! Что мне машины, которые там где-то грохочут? Вот здесь в великой и строгой тишине работает моя мысль, и сила ее равна силе всех машин в мире! Ты часто смеялся над моей любовью к книге, Алексей,— знаешь ли ты, что когда-нибудь человек станет божеством и подножием ему будет — книга! Мысль!

С а в е л о в. Нет, этого я не знаю. И твой фетишизм книги мне кажется просто... смешным и... неумным. Да! Есть еще жизнь!

Также встает и возбужденно ходит, временами почти сталкиваясь с Керженцевым: есть страшное в их возбуждении, в том, как на мгновение они останавливаются лицом к лицу. Татьяна Николаевна испуганно шепчет что-то Федоровичу, тот беспомощно и успокоительно пожимает плечами.

К е р ж е н ц е в. И это говоришь ты, писатель?

С а в е л о в. И это говорю я, писатель.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Господа!

К е р ж е н ц е в. Жалкий же ты писатель, Савелов!

С а в е л о в. Может быть.

К е р ж е н ц е в. Ты выпустил пять книг — как же ты смел это сделать, если ты так говоришь о книге? Это кощунство! Ты не смеешь писать, не должен!

С а в е л о в. Не ты ли мне запретишь?

Оба на мгновение останавливаются у письменного стола. В стороне Татьяна Николаевна тревожно тянет за рукав Федоровича, тот успокоительно шепчет ей: ничего! ничего!

К е р ж е н ц е в. Алексей!

С а в е л о в. Что?

К е р ж е н ц е в. Ты — хуже моего орангутанга! Он сумел умереть от тоски!

С а в е л о в. Он сам умер или ты его убил? Опыт?

Снова ходят, сталкиваясь. Керженцев чему-то громко смеется один. Глаза у него страшны.

С а в е л о в. Смеешься? Презираешь?

К е р ж е н ц е в *(сильно жестикулирует, говорит точно с кем-то третьим)*. Он не верит в мысль! Он смеет не верить в мысль! Он не знает, что мысль может все! Он не знает, что мысль может буравить камень, жечь дома, что мысль может...— Алексей!

С а в е л о в. Твое переутомление!.. Да, в санаторию, в санаторию!

К е р ж е н ц е в. Алексей!

С а в е л о в. Что?

Оба останавливаются возле стола, Керженцев лицом к зрителю. Глаза его страшны, он внушает. Руку он положил на пресс-папье. Татьяна Николаевна и Федорович в столбняке.

К е р ж е н ц е в. Смотри на меня. Ты видишь мою мысль?

С а в е л о в. Тебе надо в санаторию. Я смотрю.

К е р ж е н ц е в. Смотри! Я могу убить тебя!

С а в е л о в. Нет. Ты... сумасшедший!!!

Керженцев. Да, я сумасшедший. Я убью тебя вот этим!

Медленно поднимает пресс-папье. Также медленно, не отводя глаз от глаз Керженцева, Савелов поднимает руку для защиты головы.

(Внушая.) Опусти руку!

Рука Савелова медленно, толчками, неровно опускается, и Керженцев бьет его по голове. Савелов падает, Керженцев с поднятым пресс-папье наклоняется над ним. Отчаянный крик Татьяны Николаевны и Федоровича.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Кабинет-библиотека Керженцева. Возле столов, письменного и библиотечного, с наваленными на них книгами, не торопясь делает что-то Дарья Васильевна, экономка Керженцева, нестарая, миловидная женщина. Напевает тихонько. Поправляет книги, смахивает пыль, смотрит в чернильницу, есть ли чернила. В передней звонок. Дарья Васильевна поворачивает голову, слышит в передней громкий голос Керженцева и спокойно продолжает свою работу.

Дарья Васильевна *(тихонько поет)*. «Любила меня мать, обожала, что я ненаглядная дочь,— а дочка-то с милым убежала — в глухую ненастную ночь...» Что тебе, Вася? Антон Игнатьич приехал?

Вошел слуга Василий.

Василий. Дарья Васильевна!

Дарья Васильевна. Ну? «Бежала я лесом дремучим...» Обедать сейчас давай, Вася. Ну, что ты?

Василий. Дарья Васильевна! Антон Игнатьич просют дать им чистое белье, рубашку, он в ванной комнате.

Дарья Васильевна *(удивленно)*. Это еще что? Какое еще белье? Обедать надо, а не белье, седьмой час.

Василий. Плохое дело, Дарья Васильевна, я боюсь. У него на всей одежде, на пиджаке и на брюках, кровь.

Дарья Васильевна. Ну что ты! Откуда?

Василий. Почем же я знаю? Я боюсь. Стал шубу снимать, так даже в шубе на рукавах кровь, себе руки запачкал. Свежая совсем. Теперь в ванной моется и просит переодеться. Меня не пускает, через дверь говорит.

Дарья Васильевнв. Вот это странно! Ну пойдем, сейчас дам. Хм! операция может какая-нибудь, да для операции он халат надевает. Хм!

Василий. Скорее, Дарья Васильевна! Слышите, звонит. Я боюсь.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Ну, ну. Какой пугливый. Идем.

Оба выходят. Комната некоторое время пуста. Затем входят Керженцев и за ним, видимо, испуганная, Дарья Васильевна. Керженцев говорит повышенно громким голосом, громко смеется, одет по-домашнему, без крахмального воротничка.

К е р ж е н ц е в. Обедать я не буду. Дашенька, можете убирать. Мне не хочется.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Как же так, Антон Игнатьич?

К е р ж е н ц е в. А так. Ты чего испугалась, Даша? Тебе Василий чего-нибудь наговорил? Охота тебе слушать этого дурака.

Быстро идет к углу, где все еще стоит пустая клетка.

А где наш Джайпур? Нету. Умер наш Джайпур, Дарья Васильевна. Умер! Ты что, Дашенька, ты что?

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Зачем вы ванную заперли и ключ взяли к себе, Антон Игнатьич?

К е р ж е н ц е в. А чтобы вас не расстраивать, Дарья Васильевна, чтобы вас не расстраивать! *(Смеется.)* Я шучу. Скоро узнаешь, Даша.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Что узнаю? Вы где были, Антон Игнатьич?

К е р ж е н ц е в. Где был? Я был в театре, Даша.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Какой же теперь театр?

К е р ж е н ц е в. Да. Сейчас театра нет. Но я сам играл. Даша, я сам играл. И я играл великолепно, я играл великолепно! Жаль, что ты не можешь оценить, что ты не можешь оценить, я бы рассказал тебе про одну изумительную вещь, изумительную вещь — талантливый прием! Талантливый прием! Надо только смотреть в глаза, надо только смотреть в глаза и... Но ты ничего не понимаешь, Даша. Поцелуй меня, Дашенька.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а *(отстраняясь)*. Нет.

К е р ж е н ц е в. Поцелуй.

Д а р ь я В а с и л ь е в н а. Не хочу. Я боюсь. У вас глаза...

К е р ж е н ц е в *(сурово и гневно)*. Что глаза? Ступай. Довольно глупостей! Но ты глупенькая, Даша, и я все-таки тебя поцелую. *(Насильно целует.)* Жалко, Дашенька, что ночь не наша, что ночь... *(Смеется.)* Ну, ступай. И скажи Василию, скажи Василию, скажи Василию, что через час или два у меня будут этакие гости, этакие гости в мундирах. Пусть не пугается. И скажи, чтобы дал мне сюда бутылку белого вина. Так. Все. Иди.

Экономка выходит. Керженцев, очень твердо ступая, ходит по комнате, гуляет. Думает, что у него очень беззаботный и веселый вид. Берет одну, другую книгу, смотрит и кладет обратно. Вид его почти страшен, но он думает, что он спокоен. Ходит. Замечает пустую клетку — и смеется.

А, это ты, Джайпур! Отчего я все забываю, что ты умер? Джайпур, ты умер от тоски? Глупая тоска, тебе надо было жить и смотреть на меня — как я смотрел на тебя! Джайпур, ты знаешь, что я сделал сегодня?

Ходит по комнате, говорит, сильно жестикулируя.

Умер. Взял и умер. Глупо! Не видит моего торжества. Не знает. Не видит. Глупо! Но я устал немного — еще бы не устать! Еще бы не устать! Опусти руку — сказал я. И он — опустил. Джайпур! обезьяна — он опустил руку!

Подходит к клетке, смеется.

Ты мог бы сделать это, обезьяна? Глупо! Умер, как дурак,— от тоски. Глупо!

Громко напевает. Василий вносит вино и стакан, идет на цыпочках.

Кто это? А! Это ты. Поставь. Иди.

Василий также на цыпочках робко выходит. Керженцев бросает книгу, размашисто и быстро выпивает стакан вина и, сделав по комнате несколько кругов, берет книгу и ложится на диван. Зажигает лампочку на столике, у изголовья,— лицо его освещено ярко, как бы рефлектором. Пробует читать, но не может, бросает книгу на пол.

Нет, не хочу читать. Нет.

Закидывает руки под голову и закрывает глаза.

Как приятно. Приятно, приятно. Устал. Хочется спать, спать.

Молчание, неподвижность. Вдруг смеется, не открывая глаз, как во сне. Слегка приподнимает и опускает правую руку.

Да!

Снова тихий и продолжительный смех при закрытых глазах. Молчание. Неподвижность. Ярко освещенное лицо становится строже, суровее. Где-то бьют часы. Вдруг с закрытыми еще глазами Керженцев медленно приподнимается и садится на диван. Молчит, точно во сне. И произносит медленно, разделяя слова, громко и странно пусто, как бы чужим голосом, слегка и равномерно покачиваясь.

А весьма возможно,— что — доктор Керженцев действительно сумасшедший.— Он думал,— что — он притворяется, а он действительно — сумасшедший. И сейчас сумасшедший.

Еще мгновение неподвижности. Керженцев открывает глаза и смотрит с ужасом.

Кто это сказал?

Молчит и смотрит с ужасом.

Кто? *(Шепчет.)* Кто сказал? Кто? Кто? — О, Боже мой!

Вскакивает и, полный ужаса, мечется по комнате.

Нет! Нет!

Останавливается и, простирая руки, как бы удерживая на месте кружащиеся вещи, все падающее, почти кричит.

Нет! Нет! Это неправда, я знаю. Стой! Все стой!

Снова мечется.

Стой, стой! Погоди же! Да не надо же сводить себя с ума. Не надо, не надо — сводить себя — с ума. Как это?

Останавливается и, закрыв крепко глаза, раздельно произносит, нарочно делая голос чужим и хитрым:

Он думал, что он притворяется, что он притворяется, а он действительно сумасшедший.

Открывает глаза и, медленно подняв обе руки, берет себя за волосы.

Так. Случилось. То, чего ждал, то случилось. Кончено.

Снова молча и судорожно мечется. Начинает дрожать крупной, все усиливающейся дрожью. Бормочет. Вдруг налетает на зеркало, видит себя — и слегка вскрикивает от ужаса.

Зеркало!

Снова осторожно, сбоку подкрадывается к зеркалу, заглядывает. Бормочет. Хочет поправить волосы, но не понимает, как это делается. Движения нелепые, дискоординированные.

Ага! Так, так, так. *(Хитро смеется.)* Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим, у-гу-гу! Что, ловко? Ага! Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев, какой-то доктор Керженцев!..

Бормочет. Смеется. Вдруг, продолжая глядеть на себя, медленно и серьезно начинает рвать на себе одежду. Трещит разрываемая материя.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Больница для умалишенных, куда помещен на испытание подследственный Керженцев.

На сцене коридор, в который выходят двери отдельных камер; коридор расширяется в небольшой зал или нишу,— здесь стоит письменный небольшой стол для врача, два стула; видно, что тут любят собираться служащие в больнице для разговоров. Стены белые с широкой голубой панелью; горит электричество. Светло, уютно. Против ниши — дверь в камеру Керженцева.

В коридоре беспокойное движение: с Керженцевым только что кончился сильный припадок. В камеру, занимаемую больным, входят и выходят врач в белом балахоне, которого называют Иван Петрович, сиделка Маша, служители. Проносят лекарство, лед.

В нише тихо болтают две сиделки. Выходит из коридора второй врач, доктор Прямой, еще молодой человек, близорукий и очень скромный. При его приближении сиделки смолкают и принимают почтительные позы. Кланяются.

Доктор Прямой. Добрый вечер. Васильева, что тут такое? Припадок?

Сиделка. Да, Сергей Сергеевич, припадок.

Прямой. Чья это комната? *(Присматривается к двери.)*

Сиделка. Керженцева, того самого, Сергей Сергеевич. Убийцы.

Прямой. А, да. Так что с ним? Иван Петрович там?

Сиделка. Там. Теперь ничего, успокоился. Вот Маша идет, ее можно спросить. Я только пришла.

В камеру хочет войти сиделка Маша, еще молодая женщина с приятным, кротким лицом; доктор окликает ее.

Прямой. Послушайте, Маша, ну как?

Маша. Здравствуйте, Сергей Сергеич. Теперь ничего, стих. Лекарство несу.

Прямой. А! Ну, несите, несите.

Маша входит, осторожно открывая и закрывая дверь.

А профессор знает? Ему говорили?

Васильева. Да, докладывали. Они сами хотели прийти, да теперь ничего, отошел.

Прямой. А!

Из камеры выходит служитель и вскоре возвращается назад. Все провожают его глазами.

Васильева *(тихо смеется)*. Что, Сергей Сергеич, не привыкли еще?

Прямой. А? Ну-ну, привыкну. Что он, буйствовал или так?

Васильева. Не знаю.

Сиделка. Буйствовал. Насилу трое справились, так воевал. Такой уж он Мамай!

Обе сиделки тихо смеются.

Прямой *(строго)*. Ну-ну! Нечего тут зубы скалить.

Выходит из камеры Керженцева доктор Иван Петрович, у него слегка кривые колени, ходит переваливаясь.

А, Иван Петрович, здравствуйте. Как там у вас?

Иван Петрович. Ничего, ничего, прекрасно. Дайте-ка сигареточку. Что, на дежурстве сегодня?

Прямой. Да, на дежурстве. Да услыхал, что у вас тут что-то, зашел посмотреть. Сам хотел прийти?

Иван Петрович. Хотел, да теперь незачем. Кажется, засыпает, я ему такую дозу вкатил... Так-то, батенька, так-то. Сергей Сергеевич, так-то, душечка. Крепкий господин Керженцев человек, хотя по подвигам ихним можно было ожидать и большего. Подвиг-то его знаете?

Прямой. Ну как же. А отчего, Иван Петрович, вы не отправили его в изоляционную?

Иван Петрович. Так обошлись. Сам идет! Евгений Иваныч!

Оба врача бросают папиросы и принимают почтительно выжидающие позы. В сопровождении еще одного врача подходит профессор Семенов, внушительный, крупных размеров старик с исчерна-седыми волосами и бородой; вообще, он сильно облохмател и несколько напоминает крупного дворового пса. Одет обычно, без балахона. Здороваются. Сиделки отходят в сторону.

Семенов. Здравствуйте, здравствуйте. Успокоился коллега?

Иван Петрович. Да, Евгений Иваныч, успокоился. Засыпает. Я только что хотел идти доложить вам.

Семенов. Ничего, ничего. Успокоился, и слава Богу. А что за причина, или так, от погоды?

Иван Петрович. То есть частью от погоды, а частью жалуется, что беспокойно, спать не может, сумасшедшие орут. Вчера с Корниловым опять припадок был, полночи завывал на весь корпус.

Семенов. Ну, этот Корнилов мне самому надоел. Керженцев опять писал, что ли?

Иван Петрович. Пишет! Надо бы у него эти писания отобрать, Евгений Иваныч, мне кажется, что это также одна из причин...

Семенов. Ну-ну, отобрать! Пусть себе пишет. Он интересно пишет, потом почитаете, я читал. Рубашку надели?

Иван Петрович. Пришлось.

Семенов. Как заснет, снимите тихонько, а то неприятно будет, как в рубашке проснется. Он ведь ничего помнить не будет. Пусть, пусть себе пишет, вы ему не мешайте; бумаги дайте побольше. На галлюцинации не жалуется?

Иван Петрович. Пока еще нет.

Семенов. Ну, и слава Богу. Пусть пишет, ему есть о чем поговорить. Перьев ему дайте побольше, коробку дайте, он перья-то ломает, когда пишет. Все подчеркивает, все подчеркивает! Вас ругает?

Иван Петрович. Случается.

Семенов. Ну-ну, он и меня поносит, пишет: а если вас, Евгений Иванович, в халат одеть, то кто будет сумашедший: вы или я?

Все тихо смеются.

Иван Петрович. Да. Несчастный человек. То есть никаких симпатий мне он не внушает, но...

Из двери выходит, осторожно прикрывая ее за собой, сиделка Маша. На нее смотрят.

Маша. Здравствуйте, Евгений Иванович.

Семенов. Здравствуйте, Маша.

Маша. Иван Петрович, вас Антон Игнатьич просит, проснулся.

Иван Петрович. Сейчас. Может быть, вам будет угодно, Евгений Иванович?

Семенов. Нет уж, что его тревожить. Идите.

Иван Петрович следом за сиделкой входит в камеру. Некоторое время все смотрят на запертую дверь. Там тихо.

Превосходная женщина, эта Маша, моя любимица.

Третий врач. Дверей только никогда не замыкает. Оставить ее распоряжаться, так ни одного больного не останется, разбегутся. Я жаловаться вам хотел, Евгений Иваныч.

Семенов. Ну, ну, жаловаться! Другие запрут, а и убежит так убежит, поймаем. Превосходная женщина, Сергей Сергеевич, вы вот к ней присмотритесь, вам это внове. Не знаю, что в ней есть такое, но чудесно действует на больных, да и здоровых — оздоровляет! Этакий прирожденный талант здоровья, душевный озон.

Садится и вынимает папиросу. Ассистенты стоят.

Что же вы не курите, господа?

Прямой. Я только что... *(Закуривает.)*

Семенов. Я бы на ней женился, до того она мне нравится; пусть книжками моими печку подтапливает, она и это может.

Третий врач. Это она может.

Прямой *(улыбаясь почтительно)*. Что ж, вы холостой, Евгений Иваныч, женитесь.

Семенов. Не пойдет, за меня ни одна женщина не пойдет, я на старую собаку, говорят, похож.

Тихо смеются.

Прямой. А как ваше мнение, профессор, это очень интересует меня: доктор Керженцев действительно ненорма-

лен или же только симулянт, как он теперь уверяет? Как поклонника Савелова, случай этот в свое время меня чрезвычайно взволновал, и ваше авторитетное мнение, Евгений Иваныч...

Семенов *(качнув головой в сторону камеры)*. Видали?

Прямой. Да, но этот припадок ничего еще не доказывает. Бывают случаи...

Семенов. И не доказывает и доказывает. Что говорить? Я этого Керженцева Антона Игнатьевича знаю пять лет, лично знаком, и человек он всегда был странный...

Прямой. Но это еще не сумасшествие?

Семенов. Это еще не сумасшествие, вон и про меня рассказывают, что я странный; да и кто не странный-то?

Из камеры выходит Иван Петрович, на него смотрят.

Иван Петрович *(улыбаясь)*. Просит снять рубашку, обещается, что не будет.

Семенов. Нет, рано еще. Был он у меня — мы про вашего Керженцева говорим,— и перед самым почти убийством, советовался о здоровьи, кажется, хитрил, и что вам сказать? По моему мнению, ему действительно каторгу надо, хорошую каторгу лет на пятнадцать. Пусть проветрится, кислородцем подышит!

Иван Петрович *(смеется)*. Да, кислород.

Третий врач. Не в монастырь же его!

Семенов. В монастырь не в монастырь, а к людям припустить его надо, он и сам каторги просит. Так я и мнение свое ставлю. Понастроил капканов да сам в них и сидит, пожалуй, и не на шутку свихнется. А жалко будет человека.

Прямой *(задумавшись)*. А страшная это вещь — голова. Стоит немного покачнуться и... Так иногда и про себя подумаешь: а кто я сам-то, если хорошенько рассмотреть? А?

Семенов *(встает и ласково треплет Прямого по плечу)*. Ну-ну, молодой человек! Не так страшно! Кто про себя думает, что он сумасшедший, тот еще здоровый — а сойдет, тогда и думать перестанет. Все равно как смерть: страшна, пока жив. Вот мы, которые постарше, должно быть, давно уж с ума посошли, ничего не боимся. Посмотрите на Ивана Петровича!

Иван Петрович смеется.

Прямой *(улыбается)*. Все-таки беспокойно, Евгений Иваныч. Непрочная механика.

Издали доносится какой-то неопределенный, неприятный звук, похожий на вытье. Одна из сиделок быстро уходит.

Что это?

И в а н П е т р о в и ч *(третьему врачу)*. Опять, вероятно, ваш Корнилов, чтоб ему пусто было! Всех измучил.

Т р е т и й в р а ч. Мне идти. До свидания, Евгений Иваныч.

С е м е н о в. Я сам к нему зайду, посмотрю.

Т р е т и й в р а ч. Да что, плох, едва ли неделю выдержит. Горит! Так я буду вас ждать, Евгений Иваныч.

Уходит.

П р я м о й. А что Керженцев пишет, Евгений Иваныч? Я не из любопытства...

С е м е н о в. А пишет он хорошо, вертляво: и туда может, и сюда может — хорошо пишет! И когда доказывает, что здоровый, так и видишь сумасшедшего in optima forma [1], а начнет доказывать, что сумасшедший — хоть на кафедру сажай, лекции читать молодым докторам, такой здоровый. Ах, господа вы мои молоденькие, не в том дело, что пишет, а в том, что — человек я есмь! Человек.

Входит Маша.

М а ш а. Иван Петрович, больной заснул, можно служителей отпустить?

С е м е н о в. Отпустите, Маша, отпустите, сами только не уходите. Не обижает он вас?

М а ш а. Нет, Евгений Иваныч, не обижает.

Уходит. Вскоре из камеры выходят два дюжих служителя, стараются идти тихо, но не могут, стучат. Слышнее кричит Корнилов.

С е м е н о в. Так-то. А жалко, что у меня вид собачий, женился бы я на Маше; да и ценз я давно потерял. *(Смеется.)* Однако как соловей наш заливается, надо идти! Иван Петрович, пойдемте-ка, вы мне еще про Керженцева расскажете. До свидания, Сергей Сергеевич.

П р я м о й. До свидания, Евгений Иванович.

Семенов и Иван Петрович медленно уходят по коридору, Иван Петрович рассказывает. Доктор Прямой стоит, опустив голову, думает. Рассеянно ищет карман под белым балахоном, достает портсигар, папиросу, но не закуривает — забыл.

З а н а в е с

---

[1] В наилучшей форме *(лат.)*.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Камера, где находится Керженцев. Обстановка казенная, единственное большое окно за решеткой; дверь при каждом входе и выходе запирается на ключ, не всегда делает это, хотя и обязана, больничная сиделка Маша. Довольно много книг, которые выписал из дому, но не читает доктор Керженцев. Шахматы, в которые он играет часто, сам с собою разыгрывая сложные, многодневные партии.

Керженцев в больничном халате. За время пребывания в больнице он похудел, волосы сильно отросли, но в порядке; от бессонницы глаза Керженцева имеют несколько возбужденный вид. В настоящую минуту он пишет свое объяснение экспертам-психиатрам. Сумерки, в камере уже темновато, но на Керженцева из окна падает последний синеватый свет. Становится трудно писать от темноты, Керженцев встает и поворачивает выключатель: вспыхивает сперва верхняя, на потолке, лампочка, потом та, что на столе, под зеленым абажурчиком. Снова пишет, сосредоточенно и угрюмо, шепотом считает исписанные листы.

Тихо входит сиделка Маша. Белый казенный балахон ее очень чист, и вся она с своими точными и бесшумными движениями производит впечатление чистоты, порядка, ласковой и спокойной доброты. Оправляет постель, что-то тихо делает.

Керженцев *(не оборачиваясь)*. Маша!

Маша. Что, Антон Игнатьич?

Керженцев. Хлораламиду в аптеке отпустили?

Маша. Отпустили, я сейчас принесу, когда за чаем пойду.

Керженцев *(переставая писать, оборачивается)*. По моему рецепту?

Маша. По вашему. Иван Петрович посмотрел, ничего не сказал, подписал. Головой только покачал.

Керженцев. Головой покачал? Что же это значит: много, по его мнению, доза велика? Неуч!

Маша. Не бранитесь, Антон Игнатьич, не надо, миленький.

Керженцев. А вы ему сказали, какая у меня бессонница, что я ни одной ночи как следует не спал?

Маша. Сказала. Он знает.

Керженцев. Неучи! Невежды! Тюремщики! Ставят человека в такие условия, что вполне здоровый может сойти с ума, и называют это испытанием, научной проверкой!

Ходит по камере.

Ослы! Маша, нынче ночью этот ваш Корнилов опять орал. Припадок?

Маша. Да, припадок, очень сильный, Антон Игнатьич, насилу успокоился.

Керженцев. Невыносимо! Рубашку надевали?

Маша. Да.

Керженцев. Невыносимо! Он воет по целым часам, и никто не может его остановить! Это ужасно, Маша, когда человек перестает говорить и воет: человеческая гортань, Маша, не приспособлена к вытью, и оттого эти полузвериные звуки и вопли так ужасны. Хочется самому стать на четвереньки и выть. Маша, а вам, когда вы слышите это, не хочется самой завыть?

Маша. Нет, миленький, что вы! Я ж здоровая.

Керженцев. Здоровая! Да. Вы очень странный человек, Маша... Куда вы?

Маша. Я никуда, я здесь.

Керженцев. Побудьте со мной. Вы очень странный человек, Маша. Вот уже два месяца я приглядываюсь к вам, изучаю вас, и никак не могу понять, откуда у вас эта дьявольская твердость, непоколебимость духа. Да. Вы что-то знаете, Маша, но что? Среди сумасшедших, воющих, ползающих, в этих клетках, где каждая частица воздуха заражена безумием, вы ходите так спокойно, словно это... луг с цветами! Поймите, Маша, что это опаснее, чем жить в клетке с тиграми и львами, с ядовитейшими змеями!

Маша. Меня никто не тронет. Я здесь уже пять лет, а меня никто даже не ударил, даже не обругал.

Керженцев. Не в том дело, Маша! Зараза, яд, понимаете?— вот в чем дело. Ваши все доктора уже наполовину сумасшедшие, а вы дико, вы категорически здоровы! Вы ласковы с нами, как с телятами, и ваши глаза так ясны, так глубоко и непостижимо ясны, как будто и вовсе нет в мире безумия, никто не воет, а только поют песенки. Почему в ваших глазах нет тоски? Вы что-то знаете, Маша, вы, вы что-то драгоценное знаете, Маша, единственное, спасительное, но что? Но что?

Маша. Ничего я не знаю, миленький. Живу, как Бог велел, а что мне знать?

Керженцев *(смеется сердито)*. Ну да, конечно, как Бог велел!

Маша. И все так живут, не одна я.

Керженцев *(смеется еще сердитее)*. Ну, конечно, и все так живут! Нет, Маша, ничего вы не знаете, это ложь, и я напрасно цепляюсь за вас. Вы хуже соломинки. *(Сердится.)* Послушайте, Маша, вы бывали когда-нибудь в театре?

Маша. Нет, Антон Игнатьич, никогда не была.

Керженцев. Так. И вы неграмотны, вы не прочли ни одной книги. Маша, а Евангелие вы хорошо знаете?

Маша. Нет, Антон Игнатьич, откуда ж знать. Только то и знаю, что в церкви читается, да и то разве много запом-

нишь! Я в церкви люблю бывать, да не приходится, некогда, работы много, дай Бог только на минутку вскочить, лоб перекрестить. Я, Антон Игнатьич, в церковь норовлю попасть, когда батюшка говорит: и вас всех, православных христиан — услышу это, вздохну, вот я и рада.

Керженцев. Вот она и рада! Она ничего не знает, и она рада, и в глазах у нее нет тоски, от которой умирают. Чепуха! Низшая форма или... что или? Чепуха! Маша, а вы знаете, что земля, на которой вот мы сейчас с вами, что эта земля вертится?

Маша *(равнодушно)*. Нет, голубчик, не знаю.

Керженцев. Вертится, Маша, вертится, и мы вертимся с нею! Нет, вы что-то знаете, Маша, вы что-то знаете, о чем не хотите сказать. Зачем Бог дал язык только дьяволам своим, а ангелы бессловесны? Может быть, вы ангел, Маша, но вы бессловесны — вы отчаянно не пара доктору Керженцеву! Маша, голубчик, вы знаете, что я скоро действительно сойду с ума?

Маша. Нет, не сойдете.

Керженцев. Да? А скажите, Маша, но только по чистой совести, за обман вас накажет Бог! Скажите по чистой совести: я сумасшедший или нет?

Маша. Вы же сами знаете, что нет...

Керженцев. Ничего я сам не знаю! Сам! Я вас спрашиваю!

Маша. Конечно же, не сумасшедший.

Керженцев. А убил-то я? Это что же?

Маша. Значит, так хотели. Была ваша воля убить, вот и убили вы.

Керженцев. Что же это? Грех, по-вашему?

Маша *(несколько сердито)*. Не знаю, миленький, спросите тех, кто знает. Я людям не судья. Мне-то легко сказать: грех, вертанула языком, вот и готово, а для вас это будет наказание... Нет, пусть другие наказывают, кому охота, а я никого наказывать не могу. Нет.

Керженцев. А Бог, Маша? Скажи мне про Бога, ты знаешь.

Маша. Что вы, Антон Игнатьич, как же я смею про Бога знать? Про Бога никто не смеет знать, не было еще такой головы отчаянной. Не принести вам чайку, Антон Игнатьич? С молочком?

Керженцев. С молочком, с молочком... Нет, Маша, напрасно вы тогда вынули меня из полотенца, глупо вы сделали, мой ангел. На кой черт я здесь? Нет — на кой черт я здесь? Был бы я мертвый, и было бы мне спокойно...

ах, хоть бы минута спокойствия! Мне изменили, Маша! Мне подло изменили, как только изменяют женщины, холопы и... мысли! Меня предали, Маша, и я погиб.

Маша. Кто же вам изменил, Антон Игнатьич?

Керженцев *(ударяя себя по лбу)*. Вот. Мысль! Мысль, Маша, вот кто мне изменил. Вы видали когда-нибудь змею, пьяную змею, остервеневшую от яда? И вот в комнате много людей, и двери заперты, и на окнах решетки — и вот она ползает между, взбирается по ногам, кусает в губы, в голову, в глаза!.. Маша!

Маша. Что, голубчик, вам нехорошо?

Керженцев. Маша!

Садится, зажав голову руками. Маша подходит и осторожно гладит его по волосам.

Маша!

Маша. Что, миленький?

Керженцев. Маша!.. Я был силен на земле, и крепко стояли на ней мои ноги — и что же теперь? Маша, я погиб! Я никогда не узнаю о себе правды. Кто я? Притворился ли я сумасшедшим, только убить,— или я действительно был сумасшедший, только потому и убил? Маша!..

Маша осторожно и ласково отводит его руки от головы, гладит волосы.

Маша. Прилягте на постельку, голубчик... Ах, миленький, и до чего мне вас жалко! Ничего, ничего, все пройдет, и мысли ваши прояснятся, все пройдет... Прилягте на постельку, отдохните, а я около посижу. Ишь сколько волос-то седеньких, голубчик вы мой, Антошенька...

Керженцев. Ты не уходи.

Маша. Нет, мне некуда идти. Прилягте.

Керженцев. Дай мне платок.

Маша. Нате, голубчик, это мой, да он чистенький, сегодня только выдали. Вытрете слезки, вытрете. Прилечь вам надо, прилягте.

Опустив голову, глядя в пол, Керженцев переходит на постель, ложится навзничь, глаза закрыты.

Керженцев. Маша!

Маша. Я здесь. Я стул себе взять хочу. Вот и я. Ничего, что я руку вам на лоб положу?

Керженцев. Хорошо. Рука у тебя холодная, мне приятно.

Маша. А легкая рука?

Керженцев. Легкая. Смешная ты, Маша.

Маша. Рука у меня легкая. Прежде, до сиделок, я в

няньках ходила, так вот не спит, бывало, младенчик, беспокоится, а положу я руку, он и заснет с улыбкой. Рука у меня легкая, добрая.

Керженцев. Расскажи мне что-нибудь. Ты что-то знаешь. Маша, расскажи мне, что ты знаешь. Ты не думай, я спать не хочу, я так глаза закрыл.

Маша. Что я знаю, голубчик? Это вы все знаете, а я что ж могу знать? Глупая я. Ну, вот, слушайте. Раз это, девчонкой я была, случился у нас такой случай, что отбился от матери теленочек, и как она его, глупая, упустила! А уж к вечеру это было, и говорит мне отец: Машка, я направо пойду искать, а ты налево иди, нет ли в корчагинском лесу, покликай. Вот и пошла я, миленький, и только что к лесу подхожу, глядь волк-то из кустов и шасть!

Керженцев, открыв глаза, смотрит на Машу и смеется.

Что вы смеетесь?

Керженцев. Вы мне, Маша, как маленькому — про волка рассказываете! Что ж, очень страшный был волк?

Маша. Очень страшный. Только вы не смейтесь, я не все еще досказала...

Керженцев. Ну, довольно, Маша. Спасибо. Мне надо писать.

Встает.

Маша *(отодвигая стул и поправляя постель)*. Ну, пишите себе. А чаю вам сейчас принести?

Керженцев. Да, пожалуйста.

Маша. С молоком?

Керженцев. Да, с молоком. Хлораламид не забудьте, Маша.

Входит, почти столкнувшись с Машей, доктор Иван Петрович.

Иван Петрович. Здравствуйте, Антон Игнатьич, добрый вечер. Послушайте, Маша, вы почему дверь не закрываете?

Маша. А разве я не закрыла? А я думала...

Иван Петрович. А я думала... Вы смотрите, Маша! Я последний раз вам говорю...

Керженцев. Я не убегу, коллега.

Иван Петрович. Не в том дело, а порядок, мы здесь сами на положении подчиненных. Ступайте, Маша. Ну, как мы себя чувствуем?

Керженцев. Чувствуем мы себя скверно, в соответствии с нашим положением.

Иван Петрович. То есть? А вид у вас свежий. Бессонница?

Керженцев. Да. Вчера мне целую ночь не давал спать Корнилов... так, кажется, его фамилия?

Иван Петрович. А что, выл? Да, сильный припадок. Сумасшедший дом, батенька, ничего не пропишешь, или желтый дом, как говорится. А вид у вас свежий.

Керженцев. А у вас, Иван Петрович, очень не свежий.

Иван Петрович. Замотался. Эх, времени нет, а то игранул бы с вами в шахматы, вы ведь Ласкер!

Керженцев. Для испытания?

Иван Петрович. То есть? Нет, какой там — для невинного отдохновения, батенька. Да что вас испытывать? Вы сами знаете, что вы здоровехоньки. Будь бы моя власть, нимало не медля отправил бы вас на каторгу. *(Смеется.)* Каторгу вам надо, батенька, каторгу, а не хлораламид!

Керженцев. Так. А почему, коллега, говоря это, вы не смотрите мне в глаза.

Иван Петрович. То есть как в глаза? А куда же я смотрю? В глаза!

Керженцев. Вы лжете, Иван Петрович!

Иван Петрович. Ну-ну!

Керженцев. Ложь!

Иван Петрович. Ну-ну! Да и сердитый же вы человек, Антон Игнатьич, чуть что, сейчас же браниться. Не хорошо, батенька. Да и чего ради стану я врать?

Керженцев. По привычке.

Иван Петрович. Ну, вот. Опять!

Смеется. Керженцев угрюмо смотрит на него.

Керженцев. А вы, Иван Петрович, на сколько бы лет засадили меня?

Иван Петрович. То есть в каторгу? Да лет бы на пятнадцать, так я думаю. Много? Тогда можно и на десять, хватит для вас. Сами же хотите каторги, ну, вот и отхватайте годков десяточек.

Керженцев. Сам хочу! — Хорошо, хочу. Значит, в каторгу? А? *(Хмыкает угрюмо.)* Значит, пусть господин Керженцев обрастает волосами, как обезьяна — а? А вот это, значит *(стукает себя по лбу)*, к черту, да?

Иван Петрович. То есть? Ну, да и свирепый же вы субъект, Антон Игнатьич, — очень! Ну-ну, не стоит. А я к вам вот зачем, дорогой мой: сегодня у вас будет гость, вернее, гостья... не волнуйтесь! А? Не стоит!

Молчание.

К е р ж е н ц е в. Я не волнуюсь.

И в а н П е т р о в и ч. Вот и прекрасно, что не волнуетесь: ей-Богу, нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы копья ломать! Нынче вы, а завтра я, как говорится...

Входит Маша и ставит стакан с чаем.

Маша, барыня там?

М а ш а. Там, в коридоре.

И в а н П е т р о в и ч. Ага! Ступайте. Так вот?..

К е р ж е н ц е в. Савелова?

И в а н П е т р о в и ч. Да, Савелова, Татьяна Николаевна. Вы не волнуйтесь, дорогой мой, не стоит, хотя, конечно, я бы барыню не пустил: и не по правилам это, и действительно тяжелое испытание, то есть в смысле нервов. Ну, у барыни есть, очевидно, связи, начальство ей разрешило, а мы что? — мы люди подчиненные. Но, если вы не хотите, то ваша воля будет исполнена: то есть барыньку отошлем назад, откуда пришла. Так как же, Антон Игнатьич? Сможете выдержать эту марку?

Молчание.

К е р ж е н ц е в. Смогу. Попросите сюда Татьяну Николаевну.

И в а н П е т р о в и ч. Ну и прекрасно. И еще вот что, дорогой мой: при свидании будет присутствовать служитель... я понимаю, как это неприятно, но порядок, правила, ничего не пропишешь. Так вы уже не буяньте, Антон Игнатьич, не гоните его — я ж вам нарочно такого остолопа дал, что ни бе ни ме не понимает! Можете спокойно говорить.

К е р ж е н ц е в. Хорошо. Просите.

И в а н П е т р о в и ч. Бон вояж, коллега, до свидания. Не волнуйтесь.

Выходит. Керженцев некоторое время один: быстро смотрится в маленькое зеркальце и поправляет волосы; подтягивается, чтобы казаться спокойным. Входит Татьяна Николаевна и служитель, последний становится около двери, ничего не выражает, лишь изредка конфузливо и виновато почесывает нос. Татьяна Николаевна в трауре, руки в перчатках, видимо, боится, что Керженцев протянет руку.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Здравствуйте, Антон Игнатьич.

Керженцев молчит.

(Громче.) Здравствуйте, Антон Игнатьич.

К е р ж е н ц е в. Здравствуйте.

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Мне можно сесть?

К е р ж е н ц е в. Да. Зачем пришли?

Татьяна Николаевна. Я сейчас скажу. Как вы себя чувствуете?

Керженцев. Хорошо. Зачем вы пришли? Я вас не звал, и я не хотел вас видеть. Если вы трауром и всем вашим... печальным видом хотите пробудить во мне совесть или раскаяние, то это был напрасный труд, Татьяна Николаевна. Как ни драгоценно ваше мнение о совершенном мною поступке, но я ценю только свое мнение. Я уважаю только себя, Татьяна Николаевна, — в этом отношении я не изменился.

Татьяна Николаевна. Нет, я не за этим... Антон Игнатьич! Вы должны простить меня, я пришла просить у вас прощения.

Керженцев *(удивленно)*. В чем?

Татьяна Николаевна. Простите меня... Он слушает нас, и мне неловко говорить... Теперь моя жизнь кончена, Антон Игнатьич, ее унес в могилу Алексей, но я не могу и не должна молчать о том, что я поняла... Он нас слушает.

Керженцев. Он ничего не понимает. Говорите.

Татьяна Николаевна. Я поняла, что я одна была во всем виновата — без умысла, конечно, виновата, по-женски, но только я одна. Я как-то забыла, просто мне в голову не приходило, что вы можете еще любить меня, и я своей дружбой... правда, я любила быть с вами... Но это я довела вас до болезни. Простите меня.

Керженцев. До болезни? Вы думаете, что я был болен?

Татьяна Николаевна. Да. Когда в тот день я увидела вас таким... страшным, таким... нечеловеком, я, кажется, тогда же поняла, что вы сами только жертва чего-то. И... это не похоже на правду, но, кажется, еще в ту самую минуту, как вы подняли руку, чтобы убить... моего Алексея, я уже простила вас. Простите и вы меня.

Тихо плачет, поднимает вуаль и под вуалем вытирает слезы.

Простите, Антон Игнатьич.

Керженцев молча ходит по комнате, останавливается.

Керженцев. Татьяна Николаевна, послушайте! Я не был сумасшедшим. Это... ужасно!

Татьяна Николаевна молчит.

Вероятно, то, что я сделал, хуже, чем если бы я просто, ну как другие, убил Алексея... Константиновича, но я не был сумасшедшим. Татьяна Николаевна, послушайте! Я что-то хотел преодолеть, я хотел подняться на какую-то вершину

воли и свободной мысли... если только это правда. Какой ужас! Я ничего не знаю. Мне изменили, понимаете? Моя мысль, которая была моим единственным другом, любовницей, защитой от жизни; моя мысль, в которую одну только я верил, как другие верят в Бога, — она, она моя мысль стала моим врагом, моим убийцей! Посмотрите на эту голову — в ней ужас невероятный!

Ходит. Татьяна Николаевна внимательно и со страхом смотрит на него.

Татьяна Николаевна. Я вас не понимаю. Что вы говорите?

Керженцев. При всей силе моего ума, думая, как... паровой молот, я теперь не могу решить: был ли я сумасшедший или здоровый. Грань потеряна. О, подлая мысль, — она может доказать и то и другое, а что же есть на свете, кроме моей мысли? Может быть, со стороны даже видно, что я не сумасшедший, но я этого никогда не узнаю. Никогда! Кому мне поверить? Одни мне лгут, другие ничего не знают, а третьих я, кажется, сам свожу с ума. Кто мне скажет? Кто скажет?

Садится и зажимает голову обеими руками.

Татьяна Николаевна. Нет, вы были сумасшедший.

Керженцев *(вставая)*. Татьяна Николаевна!

Татьяна Николаевна. Нет, вы были сумасшедший. Я не пришла бы к вам, если бы вы были здоровый. Вы сумасшедший. Я видела, как вы убивали, как вы поднимали руку... вы сумасшедший!

Керженцев. Нет! Это было... исступление.

Татьяна Николаевна. Зачем же тогда вы били еще и еще? Он уже лежал, он уже был... мертвый, а вы все били, били! И у вас были такие глаза!

Керженцев. Это неправда: я ударил только раз!

Татьяна Николаевна. Ага! Вы забыли! Нет, не раз, вы ударили много, вы были, как зверь, вы сумасшедший!

Керженцев. Да, я забыл. Как мог забыть? Татьяна Николаевна, слушайте, это было исступление, ведь это бывает же! Но первый удар...

Татьяна Николаевна *(кричит)*. Нет! Отойдите! У вас и сейчас такие глаза... Отойдите!

Служитель шевелится и делает шаг вперед.

Керженцев. Я отошел. Это неправда. У меня такие глаза оттого, что у меня бессонница, оттого, что я невыноси-

мо страдаю. Но умоляю вас, я когда-то любил тебя, и ты человек, ты пришла простить меня...

Татьяна Николаевна. Не подходите!

Керженцев. Нет, нет, я не подхожу. Послушайте... послушай! Нет, я не подхожу. Скажите, скажи... ты человек, ты благородный человек, и я тебе поверю. Скажи! Напряги весь твой ум и скажи мне спокойно, я поверю, скажи, что я не сумасшедший.

Татьяна Николаевна. Стойте там!

Керженцев. Я здесь. Я только хочу стать на колени. Помилуй меня, скажи! Подумай, Таня, как я ужасающе, как невероятно одинок! Не прощай меня, не надо, я не стою этого, но скажи правду. Ты же одна знаешь меня, они меня не знают. Хочешь, я дам тебе клятву, что, если ты скажешь, я убью себя, сам, сам отомщу за Алексея, пойду к нему...

Татьяна Николаевна. К нему? Вы?! Нет, вы — сумасшедший. Да, да. Я вас боюсь!

Керженцев. Таня!

Татьяна Николаевна. Встаньте!

Керженцев. Хорошо, я встал. Ты видишь, как я послушен, разве сумасшедшие бывают так послушны? Спроси его!

Татьяна Николаевна. Говорите мне вы.

Керженцев. Хорошо. Да, конечно, я не имею права, я забылся, и я понимаю, что вы сейчас ненавидите меня, ненавидите за то, что я здоровый, но во имя правды — скажите!

Татьяна Николаевна. Нет.

Керженцев. Во имя... убитого!

Татьяна Николаевна. Нет, нет! Я ухожу. Прощайте! Пусть вас судят люди, пусть вас судит Бог, но я вас... прощаю! Это я довела вас до сумасшествия, и я ухожу. Простите меня.

Керженцев. Постойте! Не уходите же! Так нельзя уходить!

Татьяна Николаевна. Не трогайте меня рукой! Вы слышите!

Керженцев. Нет, нет, я нечаянно, я отошел. Будем серьезны, Татьяна Николаевна, будем совсем как серьезные люди. Садитесь... или не хотите? Ну, хорошо, я тоже буду стоять. Так вот в чем дело: я, видите ли, одинок. Я одинок ужасно, как никто в мире. Честное слово! Видите ли, наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Да, да, одиночество!.. Великое и грозное одиночество, когда кругом ничего, зияющая пустота, понимаете? Не уходите же!

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Прощайте!

К е р ж е н ц е в. Одно только слово, я сейчас. Одно только слово! Одиночество мое!.. Нет, я больше не буду про одиночество! Скажите же, что вы поняли, скажите... вы не смеете уходить так!

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а. Прощайте.

Быстро выходит. Керженцев бросается за нею, но служитель загораживает ему дорогу. В следующую минуту с привычной ловкостью он выскальзывает сам и закрывает дверь перед Керженцевым. Керженцев бешено стучится кулаками, кричит:

— Откройте! Я сломаю дверь! Татьяна Николаевна! Откройте!

Отходит от двери и молча хватается за голову, вцепляется руками в волосы. Так стоит.

З а н а в е с

КОРОЛЬ, ЗАКОН И СВОБОДА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Клермон.
Эмиль Грелье — знаменитый бельгийский писатель.
Жанна — его жена.
Пьер, Морис — его сыновья.
Лагард — министр.
Генерал-адъютант гр. Клермона.
Безумная девушка.
Франсуа — садовник.
Генриетта, Сильвина — слуги Грелье.
Командующий германской армией в Бельгии.
Фон-Блюменфельд.
Фон-Ритцау, Фон-Штейн, Фон-Шаусс — офицеры штаба.
Клетц — военный инженер.
Циглер — военный телеграфист.
Грейцер.
Германский офицер.
Бельгийский крестьянин.
Шофер-бельгиец.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Действие происходит в Бельгии, в начале войны 1914 года. На сцене уголок сада при вилле знаменитого бельгийского писателя Эмиля Грелье. Вдали, за вершинами невысоких дерев, за каменной оградой, которая отделяет владение Грелье от соседних садов,— вдали рисуются в мягких полутонах красные крыши городка, ратуша, старинная церковь. Там уже знают о войне, там уже звонит беспокойно набатный колокол, а здесь в саду все еще мир и благодатная тишина молчаливо рождающей земли. Небольшой, образцово содержимый питомник; на грядках и куртинах тяжелые от запаха и красоты головы цветов; цветущие кусты. Угол оранжереи; стеклянные рамы полуоткрыты, и в свежей глубине покоятся солнечные пятна,

вырезывают светом экзотику пальмовых листьев, сгущают до темноты влажную зелень глубоких фонов. Солнце светит мягко, в воздухе синеватый туман теплого и тихого дня, и все краски благородно смягчены; только на передних планах резко красочны гармоничные пятна цветов.

У одной из грядок сидит на корточках и подрезывает розы старый и глухой Франсуа, суровый фламандец с длинными седыми волосами. Во рту потухшая фаянсовая трубка. Франсуа работает и не слышит набата; он один в саду, и ему кажется, что все спокойно и тихо.

Но что-то смутно тревожит его, какой-то неясный зов. Он оглядывается — никого. Мурлычит про себя какую-то песенку без слов и мотива, старческий бессознательный лепет. Вдруг замолкает, выпрямляется с ножницами в руках и снова оглядывается.

Франсуа. Кто меня звал?

Нет никого. Глядит на оранжерею,— ему кажется, что теперь оттуда его зовут.

Я слышу, мосье Эмиль. Я здесь.

Нет никого. Франсуа хмурится и сердито окликает.

Кто меня звал? — Нет никого. *(Оглядывает небо, цветы и спокойно присаживается для работы.)* А говорят, что я глухой. А я слышал, как кто-то окликнул меня дважды: Франсуа! Франсуа! Нет, это кровь шумит в ушах.

Молчание. Но непонятная тревога не стихает, и Франсуа снова прислушивается, скрывая это с хитростью глухих, которые не любят своей глухоты.

А я до сих пор слышу, как кто-то кричал: Франсуа! Ну вот и Франсуа, а кому надо, тот может еще позвать. Я не побегу. А птиц я давно не слышу, замолчали птицы для меня. Глупости это: птицы. Ну и глухой... вы думаете, что я от этого заплачу? *(Кривит в насмешливую улыбку старческий рот.)* А мои глаза? Да, вот это да. А глаза! Отчего ты все молчишь, Франсуа? А зачем я буду говорить, когда я не слышу вашего глупого ответа. Глупости это: говорить и слушать. А вижу я столько, сколько ты не услышишь. *(Смеется.)* Да. Вот этих я вижу. Эти тоже не болтают, а наклонись к нему, и ты узнаешь столько, сколько не знал и Соломон. Так и в Библии сказано: Соломон. Для тебя вся земля — шум и болтовня, а для меня она, как Мадонна в цветах на картинке. Иисус-Мария! — как Мадонна в цветах.

Набат продолжается. Издали молодой голос кричит: папа́! папа́! Потом: Франсуа! От дома показывается быстро идущий юноша лет семнадцати, младший сын Грелье, зовут его Морис. Еще раз громко окликает Франсуа, но тот не слышит. Наконец кричит над самым ухом.

Морис. Франсуа, да что же ты! Я тебя зову, зову... Ты не видал, где папа́?

Франсуа *(спокойно, не оборачиваясь)*. Это ты звал меня, Морис? Я давно слышу.

Морис. Слышу, а не отзываешься! Какой ты упрямый.

Ты не видал, где папа́? Я его везде ищу? Ну скорее же! Где папа́?

Франсуа. Папа́?

Морис *(кричит)*. Где папа́? Ты не видал? Сильвина говорит, что пошел в оранжерею. Слышишь?

Франсуа. В оранжерее его нет. Утром мосье Эмиль говорил со мной, а с тех пор я его не видал. Нет.

Морис. Как же быть!.. А какой набат! Франсуа, что это будет, ты слышишь, как звонят?

Франсуа. А! слышу. Ты будешь брать розы, мальчик?

Морис. Ты ничего не понимаешь, с тобой невыносимо. По улицам уже бегут, все бегут туда, а папа́ нет. Я тоже сейчас побегу туда, может быть, он уже там. Какой день!

Франсуа. Кто бегут?

Морис. Ты ничего не понимаешь! *(Кричит.)* Они вошли в Бельгию!

Франсуа. Кто вошли в Бельгию?

Морис. Они же, пруссаки. Пойми же ты: война! Война! Ты только представь себе, что это будет. Пьеру надо идти, и я тоже пойду. Я ни за что не останусь!

Франсуа *(выпрямляется, роняет ножницы)*. Война? Что ты городишь, мальчишка! Кто вошли в Бельгию?

Морис. Они же, пруссаки! Пьер теперь пойдет, и мне надо идти, я ни за что не останусь, понимаешь? И что будет теперь с Бельгией, трудно представить! Они вчера вошли в Бельгию,— ты понимаешь, какие это негодяи!

Вдали, на тесных уличках города, тревожный звук шагов и колес, постепенно быстро растущий. Отдельные голоса и вскрики смешиваются в сдержанный, но полный значительности, тревоги и угрозы, широкий гул. Набат то стихает устало, то повышает свой призыв почти до крика. Тщетно старается услышать что-нибудь Франсуа; и снова сердито берется за ножницы.

Франсуа!

Франсуа *(сурово)*. Глупости все это. Что ты говоришь, мальчишка! Войны нет, этого не может быть.

Морис. Сам ты глупый старик! Они вошли, понимаешь — уже, уже!

Франсуа. Это неправда.

Морис. Почему неправда?

Франсуа. Потому что этого не может быть. Газеты пишут глупости, и все с ума сошли. Глупцы, и больше ничего, сумасшедшие. Какие пруссаки? Мальчишка, ты не смеешь так шутить надо мной.

Морис. Да послушай же ты...

Франсуа. Пруссаки!.. Какие еще пруссаки? Я не знаю никаких пруссаков и не хочу их знать.

Морис. Да пойми же ты, старик, что они стреляют уже в Льеже.

Франсуа. Нет!

Морис. Уже многих убили — ах, какой ты! Ты слышишь набат? Народ на площади, все бегут туда, плачут женщины. Что это?

Франсуа *(сердито)*. Ты топчешь грядку, отойди!

Морис. Оставь меня!.. Отчего они так закричали? Там что-нибудь случилось!

Вдали военный рожок, крики толпы, минутами усиливающиеся почти до рева. Где-то в стороне неясные звуки бельгийского гимна, мотива почти не слышно; угадывается только ритм. Вдруг молчание, зловещее после крика, и одинокий звон колокола.

Теперь молчат... Что же это?

Франсуа. Глупости, глупости... *(В ярости.)* Ты опять топчешь грядку! Уходи! Все с ума сошли — ступай, ступай! Пруссаки!..

Морис. Это ты с ума сошел!

Франсуа. Мне семьдесят лет, а ты говоришь: пруссаки. Ступай!

Там снова крик толпы. От дома бежит горничная Сильвина, издали окликает: мосье Морис!

Сильвина. Пожалуйте домой. Мадам Жанна вас зовут, мадам уходит, идите!

Морис. А папа́?

Сильвина. Его еще нет. Идите!

Оба идут. Франсуа сердито присаживается у грядки.

Морис. Нет, вы понимаете, Сильвина,— он не верит, что война!

Сильвина. Мне очень страшно, мосье Морис. Я боюсь...

Уходят. Франсуа гневно смотрит им вслед, опускает фартук и делает вид, что хочет работать.

Франсуа. Сумасшедшие! Мне семьдесят лет, да. Мне семьдесят лет, а они хотят, чтобы я поверил в пруссаков. Глупости, с ума сошли. Пруссаки... Но это правда, что я ничего не слышу. Иисус-Мария! *(Встает и тщетно прислушивается.)* Нет, ничего. Или что-нибудь? — ах, черт побери, я ничего не слышу! Не может быть. Нет... нет, не может быть. А если?.. Но разве я могу поверить, чтобы в этом тихом небе — в этом тихом небе... Что?

Грозный шум войны растет. Франсуа снова прислушивается и что-то слышит. Лицо его становится осмысленным, глаза приобретают выражение страха и разрешаемого страшного вопроса. Он переходит с места на место,

наклоняя голову и ловя ускользающие звуки. Вдруг далеко отбрасывает ножницы и всем видом своим, раскрытым старческим ртом, поднятыми руками и бледностью выражает ужас.

Я слышу! — Нет, нет, опять ничего. О Боже мой, да дай же мне услыхать!

Снова ускользают звуки, и снова он мучительно ловит их наклоненной головой, вытянутой шеей. Волоса его растрепались, он сам становится страшен, не зная этого. Вдруг чудом воли ясно слышит и полный отчаяния, мятущийся звон колокола и голоса — и отступает, подняв руки.

Боже мой! Они звонят! Они кричат! Война! Какая война? Какая война? Эй, кто там — война!

Набат и крики растут. Быстро идет по дорожке Эмиль Грелье.

Эмиль Грелье. Вы что кричите, Франсуа? Где Морис? В доме никого.

Франсуа. Война.

Эмиль Грелье. Да, да, война. Пруссаки вошли в Бельгию. Но вы ничего не слышите.

Франсуа *(мучительно ловя звуки)*. Я слышу, слышу. Убивают?

Эмиль Грелье. Да, убивают. Пруссаки вошли в Бельгию. Где Морис?

Франсуа. Но, мосье Эмиль, но, мосье — какие же пруссаки? Простите меня, мне семьдесят лет, и я давно ничего не слышу... *(Плачет.)* Это война?

Эмиль Грелье. Да, по-видимому, это война. Я сам еще не понимаю. Но там уже дрались. Я сам еще не понимаю, но это война, старик.

Франсуа. Говорите, говорите, мосье, вам я верю, как Богу. Говорите, я слышу. Убивают?

Эмиль Грелье. Война! Какой это ужас, Франсуа! Очень трудно понять — да, очень, очень трудно понять.

Хмурится и нервно потирает высокий, бледный лоб.

Франсуа *(плачет, сгорбившись и покачивая головой)*. А цветы наши? А цветы наши?

Эмиль Грелье *(рассеянно)*. Цветы? Не плачьте, Франсуа... ах, что это там!..

Набат смолк. Разноголосый крик толпы переходит в стройный, широкий и согласный шум: там кого-то приветствуют или что-то объявили.

(Вслушиваясь.) Постойте! Там ждали короля, он проезжает к Льежу... Да, да!

Там полное молчание — и вдруг громоподобный рев. Вот он переходит в песню: толпа поет бельгийский гимн.

Занавес

ВТОРАЯ КАРТИНА

Приемная комната (холл) в вилле Эмиля Грелье. Все красиво и своеобразно, много воздуха, света и цветов. Большие раскрытые окна, за которыми зелень сада и цветущих кустов. Одно из окон небольшое, почти сплошь закрыто листьями разросшегося винограда.

В комнате двое: Эмиль Грелье и его старший сын Пьер, красивый, несколько излишне бледный и хрупкий молодой человек, одет в военную форму. Медленно ходят по комнате; Пьеру, видимо, хочется ходить быстрее, но из уважения к отцу он замедляет шаги.

Эмиль Грелье. Сколько километров?

Пьер. До Тирлемона километров двадцать пять — тридцать. И здесь...

Эмиль Грелье. Семьдесят четыре или пять...

Пьер. Семьдесят пять... да, километров сто. Недалеко, папа́.

Эмиль Грелье. Недалеко. Я вчера слушал ночью. Мне показалось, что слышна канонада.

Пьер. Нет, едва ли.

Эмиль Грелье. Да, я ошибся. Но лучи прожекторов все же видны; вероятно, очень сильные прожекторы. И мама́ видела.

Пьер. Да? У тебя опять бессонница, папа́?

Эмиль Грелье. Нет, я сплю. Сто километров... сто километров...

Молчание. Пьер внимательно сбоку смотрит на отца.

Пьер. Папа́!

Эмиль Грелье. Да? Тебе еще рано. Пьер,— до твоего поезда три часа. Я слежу за временем.

Пьер. Я знаю, папа́. Нет, я о другом... Папа́, скажи, ты еще надеешься на что-нибудь?

Молчание.

Я не решаюсь, мне немного неловко высказываться в твоем присутствии, ты настолько умнее и выше меня, отец... Да, да, пустяки, конечно, но то, что я узнал за эти дни в армии, оно — видишь ли... не оставляет надежды. Они идут такой сплошной массой людей, железа, машин, орудий, коней,— что остановить их нет возможности. Мне кажется, что сейсмографы должны отмечать то место, по которому они проходят: так давят они на землю. А нас так мало!

Эмиль Грелье. Да, нас очень мало.

Пьер. Очень, очень мало, папа́! Ужасно мало! Если бы мы даже были бессмертны и неуязвимы, если бы мы убивали их день и ночь, то и тогда мы скорее упадем от изнеможения и усталости, нежели остановим их. Но мы смерт-

ны... и у них ужасные орудия, папá! Ты молчишь? Ты думаешь о нашем Морисе... я сделал тебе больно?

Эмиль Грелье. В их движении мало человеческого.— О Морисе ты также не думай, он будет жив.— У человека есть лицо, Пьер. У каждого человека есть свое лицо, но там нет лиц. Когда я стараюсь представить их, я вижу только огни прожекторов, автомобили, вот эти ужасные орудия,— и что-то идет, что-то идет. И еще эти пошлые усы Вильгельма,— но ведь это маска, неподвижная маска, которая четверть века стоит над Европой... что за нею? Эти пошлые усы — и вдруг столько несчастья, столько крови и разрушения! Нет, это маска.

Пьер *(почти про себя)*. Если бы не так много их, не так много... Мне самому кажется, папá, что Морис останется жив. Он счастливый мальчик. А мамá что думает?

Эмиль Грелье. Мамá что думает?

Входит Франсуа и угрюмо, ни на кого не глядя и не кланяясь, начинает поливать цветы, поправлять их.

А что думает вот этот? Посмотри на него.

Пьер. Он совсем плохо слышит, Франсуа!

Эмиль Грелье. Я не знаю, слышит он что-нибудь или нет. Однажды он слышал. Но он молчит, Пьер, и с бешенством отрицает войну, отрицает ее работой — один он работает в саду так, как будто ничего не случилось. Наш дом полон беглецов, все в доме и мамá хлопочут, кормят их, моют детей — мамá моет,— он как будто не видит ничего. Отрицает! Теперь он разрывается от натуги, стараясь услыхать или догадаться, о чем мы говорим, но видишь, какое у него лицо! А если ты попробуешь заговорить с ним, он уйдет.

Пьер. Франсуа!

Эмиль Грелье. Оставь его, ему хочется быть хитрым. Может быть, он и слышит... Ты спрашиваешь, что думает мамá,— а разве я знаю и кто-нибудь знает? Ты видишь, что ее здесь нет, а ведь это твои последние часы в этом доме... да, в этом доме, я про дом говорю. Она так же молода и решительна, как всегда, она так же сильно движется и так же ясна, но ее нет. Просто ее нет, Пьер.

Пьер. Она скрывает?

Эмиль Грелье. Нет, она ничего не скрывает, но она ушла в такую глубину себя, где все молчание и тайна. Она переживает все свое материнство, с самого начала, понимаешь? — когда вы с Морисом еще не родились, но при этом она хитрит, как и Франсуа. Иногда я ясно вижу, что она

страдает нестерпимо, что она полна ужаса перед войной... но она улыбается в ответ, и тогда я вижу другое: что в ней вдруг ожила какая-то доисторическая женщина, та, что подавала мужу боевую палицу... Но, погоди, опять идут солдаты!

Вдали военная музыка. Приближается.

Пьер. Да, по расписанию это девятый полк.

Эмиль Грелье. Послушаем, Пьер. Я несколько раз в день слышу эту музыку. Там, направо, начинается и вон там затихает. Все там.

Слушают.

Но они молодцы!

Пьер. Да.

Оба у окна внимательно слушают; Франсуа искоса смотрит на них и также тщетно старается что-нибудь услышать. Приблизившись, музыка начинает стихать.

Эмиль Грелье *(отходя от окна)*. Вчера они играли марсельезу. Но они молодцы!

Быстро входит жена Эмиля Грелье.

Жанна. Вы слышите? Как красиво! Даже наши беглецы улыбнулись, слушая.— Эмиль, я принесла телеграммы, вот. Я уже прочла.

Эмиль Грелье. Ну что же ты! Давай!

Читая, ощупью находит кресло, садится. Бледнеет.

Пьер. Ну что, папа́?

Эмиль Грелье. Читай!

Пьер читает через плечо отца. С загадочным выражением смотрит на них женщина. Сидит, закинув все еще красивую, крупную голову совсем спокойно. Эмиль Грелье быстро встает, и оба с сыном начинают ходить в различных направлениях по комнате.

Пьер *(сквозь зубы)*. Ты видишь?

Эмиль Грелье *(так же)*. Да.

Пьер. Нет, ты видишь?

Эмиль Грелье. Да! Да!

Жанна *(как бы равнодушно)*. Эмиль, это была интересная библиотека, которую они сожгли? Я не знаю.

Эмиль Грелье. Да. Очень.— Но что ты спрашиваешь, Жанна! Как ты можешь говорить!

Жанна. Нет, я только потому, что это книги. Скажи, там много было книг?

Эмиль Грелье. Да, много, много!

Ж а н н а. И их сожгли? *(Напевает негромко свежим и сильным голосом.)* ..Лишь ореол искусств венчает — закон, свободу, короля! Закон...

Э м и л ь Г р е л ь е. Книги, книги.

Ж а н н а. И там еще был собор, о, я его помню. Не правда ли, Эмиль, это было красивое здание? *(Напевает.)* Закон, свободу, короля...

П ь е р. Папа́!

Э м и л ь Г р е л ь е. Что?

Ходит.

Ж а н н а. Пьер, тебе скоро уходить. Я сейчас дам тебе покушать. Как ты думаешь, Пьер, это правда, что они убивают женщин и детей? Я еще не знаю.

П ь е р. Правда, мама́.

Э м и л ь Г р е л ь е. Что ты говоришь, Жанна! Ты не знаешь!

Ж а н н а. Нет, я только потому, что это дети. Да, там пишут, что и дети, там это пишут. И все уместилось на этой бумажке: и дети, и огонь...

Быстро встает и уходит, напевая.

Э м и л ь Г р е л ь е. Куда ты, Жанна?

Ж а н н а. Я так, Франсуа, ты слышишь: они убивают женщих наших и детей. Франсуа! Франсуа!

Не оборачиваясь, угрюмо согнув спину, Франсуа выходит. Все смотрят ему вслед. Со странной полуулыбкой Жанна идет в другие двери.

П ь е р. Мама́!

Ж а н н а. Я сейчас вернусь.

Эмиль Грелье и Пьер одни.

Э м и л ь Г р е л ь е. Как их назвать? Нет: как их назвать? Милый мой Пьер, мальчик мой — как мне их назвать?

П ь е р. Ты очень волнуешься, папа́...

Э м и л ь Г р е л ь е. Я думал всегда, я был уверен, что слово мне подвластно, но вот я стою перед этим чудовищным, непонятным, и я не знаю, и я не знаю: как их назвать? Сердце мое кричит, я слышу его голос — но слово! Пьер, ты студент, ты еще мальчик, твоя речь непосредственна ,и чиста — Пьер, найди мне слово!

П ь е р. Мне ли его найти, папа́? Да, я был студентом и тогда я знал еще какие-то слова: мир, право, человечность, но теперь ты видишь! Сердце мое также кричит, но как назвать этих негодяев, я не знаю. Негодяи? Но этого мало. *(С отчаянием.)* Все мало!

Эмиль Грелье. Ты видишь: все мало? Пьер, это решено.

Пьер. Решено?

Эмиль Грелье. Да. Я иду.

Пьер. Ты, папа́?

Эмиль Грелье. Уже несколько дней я решил это, еще тогда, в самом, кажется, начале; и, право, не знаю, почему я... Ах да: мне надо было преодолеть в себе нечто... мою любовь к цветам. *(Иронически.)* Да, Пьер, мою любовь к цветам. Ах, мой мальчик: ведь так трудно перейти от цветов к железу и крови!

Пьер. Папа́! Я не смею возражать тебе...

Эмиль Грелье. Да, да, ты не смеешь, не надо. Послушай, Пьер, мне необходимо, чтобы ты освидетельствовал меня как врач.

Пьер. Я еще только студент, папа́.

Эмиль Грелье. Да, но ты знаешь достаточно, чтобы сказать... Видишь ли, Пьер, я не должен обременять нашу маленькую армию одним лишь больным и слабым человеком. Не правда ли? Я должен принести с собою силу и крепость, а не расстроенное здоровье. Не правда ли? И я прошу тебя, Пьер, освидетельствуй меня, просто как врач, как молодой врач. Но мне с тобою немного неловко... Я должен это снять или можно и так?

Пьер. Можно и так.

Эмиль Грелье. Я думаю, что можно... И... я должен тебе рассказывать все или?.. Скажу, во всяком случае, что у меня не было никаких серьезных болезней, и для моих лет я вообще довольно здоровый и крепкий человек. Ты знаешь, как я живу...

Пьер. Этого не нужно, папа́.

Эмиль Грелье. Нет, нужно, ты врач. Я хочу сказать, что в моей жизни не было тех вредных... и дурных излишеств... О, черт возьми, как это, однако, трудно!

Пьер. Папа́, я ведь знаю!

Быстро целует у отца руку. Молчание.

Эмиль Грелье. Но пульс необходимо послушать, Пьер, я тебя прошу!

Пьер *(слабо улыбаясь)*. Да и этого не надо. Как врач я могу сказать тебе, что ты здоров, но... ты негоден для войны, ты негоден, папа́! Я слушаю тебя, и мне хочется плакать, мне хочется плакать, папа́!

Эмиль Грелье *(задумчиво)*. Да. Да.— Но, может быть, и не надо плакать. Ты думаешь, Пьер, что я, Эмиль

Грелье, ни в каком случае и никогда не должен убивать?

Пьер *(тихо)*. Я не смею касаться твоей совести, папа́.

Эмиль Грелье. Да, это страшный для человека вопрос. Нет, я должен убивать, Пьер. Конечно, я мог бы взять ваше ружье, но не стрелять — нет, это была бы гадость, Пьер, кощунственный обман! Когда мой кроткий народ осужден, чтобы убивать, то кто я, чтобы сохранить мои руки в чистоте? Это была бы подлая чистота, Пьер, гнусная святость, Пьер! Мой кроткий народ не хотел убивать, но его вынудили, и он стал убийцей — ну, значит, и я стану убийцей вместе с ним. И на чьи же плечи возложу я грех: на плечи юношей наших и детей? Нет, Пьер. И если когда-нибудь Высшая Совесть мира позовет к страшному ответу мой милый народ, позовет тебя, Мориса, моих детей, и скажет вам: «Что вы сделали? Вы убивали!» — я выйду вперед и скажу: суди меня сначала, я также убивал,— а Ты знаешь, что я честный человек!

Пьер сидит неподвижно, закрыв лицо руками. Входит Жанна, ее не замечают.

Пьер *(открывая лицо)*. Но ты не должен сам умирать! Ты не имеешь права!

Эмиль Грелье *(громко и презрительно)*. Ах, это!

Оба видят Жанну и умолкают. Жанна садится и говорит все с тем же странным, как будто веселым спокойствием.

Жанна. Эмиль, она опять пришла.

Эмиль Грелье. Да? Она опять пришла. Где она была две эти ночи?

Жанна. Она сама не знает. Эмиль, платье и руки ее были в крови.

Эмиль Грелье. Она ранена?

Жанна. Нет, это не ее кровь, а по цвету я не могла разобрать, чья.

Пьер. Кто это, мама́?

Жанна *(неопределенно)*. Девушка одна. Так. Безумная. Теперь я причесала ее и надела чистое платье. У нее прекрасные волосы.— Эмиль, я кое-что слыхала: ты хочешь также идти?

Эмиль Грелье. Да.

Жанна. Туда, где твои дети, Эмиль?

Эмиль Грелье. Да, Пьер освидетельствовал меня и нашел, что я могу стать в ряды.

Жанна. Ты думаешь завтра идти, Эмиль?

Эмиль Грелье. Да.

Жанна. Да. Сегодня ты не успеешь. А тебе осталось всего полтора часа, Пьер.

Молчание.

Пьер. Мамá! Скажи ему, что он не смеет... прости, папá,— что он не должен идти. Не правда ли, мамочка? Скажи ему. Он отдал народу двух сыновей — и что же еще? Остального он не смеет.

Жанна. Остального, Пьер?

Пьер. Да — своей жизни. Ты его любишь, ты сама умрешь, если его убьют,— скажи ему, мамá.

Жанна. Да, я люблю. Вас я также люблю.

Пьер. О, что такое мы, Морис и я! Но он... Как не смеют на войне разрушать храмы и сжигать библиотеки, как не смеют касаться вечного, так и он... он... не смеет умирать. Я говорю не как сын твой, нет — но убить Эмиля Грелье, ведь это хуже, чем сжечь какую-то книгу! Послушайте меня, вы, родившие меня, послушайте! хотя я юноша и должен был бы молчать... Послушайте! Они уже ограбили нас — как жестоко, как подло они ограбили нас. Они лишили нас земли и воздуха, они лишили нас сокровищ, которые создал Гений нашего народа,— и теперь мы сами бросим в ихнюю пасть наших лучших людей! Что это? Что же останется тогда у нас? Пусть убьют нас всех, пусть в дикую пустыню обратится земля и в огне выгорит всякое дыхание жизни, но пока он жив — Бельгия жива! А что без него?.. Ах, да не молчи же, мамá! Скажи ему!

Молчание.

Эмиль Грелье *(с некоторой суровостью)*. Успокойся, Пьер.

Жанна. Вчера я... Нет, Пьер, я не о том — о том я ничего не знаю. Как могу я знать? Но вчера я — у нас здесь уже трудно найти овощи и даже хлеб, и я ездила в город, но почему-то мы поехали не туда, а ближе к сражению... Как это странно, что мы оказались там! И вот я увидела их, они шли...

Эмиль Грелье. Кто?

Жанна. Наши солдаты. Они шли оттуда, где четыре дня было сражение, и их было немного, ну как — сто или двести. Все, что осталось. Но мы все, на улице еще было много народу, мы все отодвинулись к стене, чтобы дать им дорогу — Эмиль, подумай, как странно: они не видели нас и могли наткнуться. Они были черные от дыма, от грязи, от засохшей крови и шатались от усталости. И все

очень худые, как в чахотке. Но это ничего, это все ничего, а вот глаза... что это такое, Эмиль? В них не было окружающего, в них все еще стояло отражение того, что видели они там: все еще огонь, все еще дым и смерть — и что еще? Кто-то сказал: вот люди, которые возвращаются из ада. Но они не слыхали. Мы все кланялись им — кланялись им, но они не видели и этого. Так может быть, Эмиль?

Эмиль Грелье. Да, Жанна, может быть.

Пьер. И в этот ад пойдет он?

Молчание. Эмиль Грелье подходит и молча целует руку у жены, та смотрит с улыбкой на его голову. Но вдруг встает.

Жанна. Прости, мне еще надо сказать...

Идет быстро и легко, но вдруг, точно споткнувшись на невидимое препятствие, падает на одно колено. Пробует подняться, но падает на другое. Бледная, но все еще улыбаясь, медленно клонится на бок. К ней бросаются и поднимают ее.

Пьер. Мамá! Мамá!

Эмиль Грелье. У тебя закружилась голова? Жанна милая... что с тобой?

Она отталкивает их, стоит твердо, старается скрыть сильную дрожь рук.

Жанна. А что такое? Что? Пусти же меня, Эмиль. Голова?— нет, нет. Просто подвернулась нога, знаешь, эта, которая болела... Видишь, я уже иду.

Эмиль Грелье. Стакан воды, Пьер.

Жанна. Зачем? Как все нелепо.

Но Пьер уже вышел. Жанна садится, опускает голову, как виноватая, старается не смотреть в глаза.

Какой горячий юноша, твой Пьер. Ты слыхал, что он говорит?

Эмиль Грелье *(значительно)*. Жанна!

Жанна. Что? Нет, нет — что ты так смотришь на меня. Да нет же — я тебе говорю!

Пьер приносит и подает воду, но Жанна не пьет.

Благодарю, Пьер, но я не хочу.

Молчание.

Как пахнут цветы. Пьер, дай мне, пожалуйста, ту розу... да, ту. Благодарю. Как она свежа, Эмиль, и какой славный запах — подойди, Эмиль.

Эмиль Грелье подходит и целует руку жены, в которой роза. Быстро взглядывает на Жанну.

(Опускает руку.) Нет, я только потому, что этот запах кажется мне бессмертным — и он всегда один, как небо. Как это странно, что он всегда один. И когда поднесешь ее к лицу так близко — и закроешь глаза — то кажется, что нет ничего, кроме красной розы и синего неба. Красной розы и далекого, бледного, такого бледного — голубого неба...

Эмиль Грелье. Пьер!.. послушай меня, мой мальчик. Об этом говорят только ночью, когда одни со своей душой,— и она это знает, но ты еще нет. Ты знаешь, Жанна?

Жанна *(вздрогнув и открывая глаза)*. Да. Я знаю, Эмиль.

Эмиль Грелье. Жизнь поэта не принадлежит поэту. Кровля, которая кроет головы людей, вот эти стены, которые их защищают — все призрак для меня, и жизнь моя не мне принадлежит. Я всегда далеко и не здесь, я всегда там, где меня нет. Ты думаешь найти меня среди живых, а я мертв; ты в смерти боишься найти меня немым, холодным, обреченным тлену — а я живу, я громко пою из гроба! Та смерть, что делает безгласными людей, что налагает печать молчания на самые бойкие уста — поэту возвращает голос. Мертвый, я говорю громче, чем живой, мертвый — я живу! И мне ли — подумай, Пьер, мой мальчик! — мне бояться смерти, когда в самых упорных поисках моих я не мог найти границы между смертью и жизнью, когда в чувстве моем я смешиваю их воедино... как два крепких, божественных вина! Подумай, Пьер, мой мальчик.

Молчание. Эмиль Грелье улыбаясь смотрит на сына, закрывшего лицо руками. Совершенно спокойна по виду женщина и неторопливо переводит глаза с плачущего сына на мужа.

Пьер *(открывая лицо)*. Прости меня, папá.

Жанна. На тебе розу, Пьер... а когда она осыпется и завянет, сорви другую: она будет пахнуть, как эта. Ты глупенький мальчик, Пьер, но ведь и я глупая тоже, хотя Эмиль так добр, что думает другое. Вы будете в одном полку, Эмиль?

Эмиль Грелье. Нет, едва ли, Жанна.

Пьер. Тогда уже, папá, лучше в одном. Я это устрою, папá,— ты позволишь? И я тебя поучу ходить,— ведь я буду твоим начальством.

Эмиль Грелье *(улыбаясь)*. Хорошо.

Жанна *(идет, негромко напевая)*. ...Лишь ореол искусств венчает — закон, свободу, короля... Кто это? Ах, это ты. Смотри, Пьер, вот девушка, которую ты хотел ви-

деть. Войди, войди, дитя мое милое, не бойся, войди. Его ты знаешь, это мой муж, он очень добрый человек и не обидит тебя, а это мой сын, Пьер. Дай ему руку.

Вошла девушка, худенькая, очень бледная, красивая. На ней черное платье, прическа ее скромна, как и движения. В больших глазах застывший испуг и тоска. Следуя за ней, из той же двери показываются: горничная Сильвина, пожилая добрая женщина в белом чепце, м-м Генриетта и еще какая-то женщина — домочадцы и слуги Грелье. Останавливаются у порога и с любопытством следят за девушкой; пожилая женщина плачет, глядя на нее.

Девушка *(протягивая руку Пьеру и приседая)*. О, это солдат. Будь добр, солдат, скажи, как пройти мне к Лонуа? Я потеряла дорогу.

Пьер *(смущенно)*. Я не знаю, мадемуазель.

Девушка *(печально оглядывая всех)*. Кто же знает? Мне пора идти.

Жанна *(осторожно и ласково усаживая ее)*. Сядь дитя мое, отдохни, моя милая, дай оправиться твоим бедным ножкам. Пьер, у нее изранены ноги, но она все хочет идти.

Пожилая женщина. Я хотела удержать ее, мосье Пьер, но ее нельзя удерживать. Если перед нею закрыть дверь, бедняжка начинает биться о стены, как залетевшая ласточка. Бедная девочка!

Вытирает слезы... Со стороны сада, в наружную дверь вошел Франсуа и, отворачиваясь, снова занялся чем-то у цветов. Искоса следит за девушкой; видны его мучительные усилия что-нибудь услышать и понять.

Девушка. Мне надо идти.

Жанна. Отдохни у нас, дитя мое. Зачем уходить? Ночью так страшно на дорогах. Там в черном воздухе вместо наших милых пчел жужжат пули, там бродят злые люди, злые звери. И никто тебе не скажет и никто не знает, как пройти к Лонуа.

Девушка. А ты разве не знаешь, как пройти мне к Лонуа?

Пьер *(тихо)*. Что она спрашивает?

Эмиль Грелье. О, можешь говорить громко, она слышит так же мало, как и Франсуа.— Селенье, которое сожгли пруссаки; прежде там был ее дом, а теперь только развалины и трупы. Нет дороги к ее Лонуа!

Девушка. И ты не знаешь? Никто не знает. Я всех спрашиваю, и никто не может сказать, как пройти мне к Лонуа. Мне надо торопиться, меня ждут. *(Быстро встает и подходит к Франсуа.)* Скажи, ты добрый, ты не знаешь, как пройти мне к Лонуа?

Франсуа исподлобья смотрит на нее; молча поворачивается и выходит, сильно горбясь: есть волчье в его походке.

Ж а н н а *(снова усаживая ее)*. Сядь, девочка моя милая. Он также не знает.

Д е в у ш к а *(печально)*. Я спрашиваю, а они молчат.

Э м и л ь Г р е л ь е. Вероятно, она спрашивает и трупы, которые лежат на полях и в канавах, как пройти ей к Лонуа.

Ж а н н а. На руках и одежде ее была кровь. Она ходит ночью. Отдохни, моя девочка, вот я обниму тебя, и тебе будет хорошо и спокойно. Деточка моя!

Д е в у ш к а *(тихо)*. Скажи, как пройти мне к Лонуа?

Ж а н н а. Да, да, пойдем. Эмиль, я пройду с ней в мою комнату, там она спокойнее. Идем, моя милая, вот я обниму тебя. Идем.

Выходят обе; вместе с ними и остальные женщины. Эмиль Грелье и Пьер одни.

Э м и л ь Г р е л ь е. Какое-то Лонуа! Какое-то тихое местечко, которого никто не замечал, дома,— деревья и цветы. Где оно теперь? Кто знает к нему дорогу, Пьер,— это душа нашего народа бродит среди ночи и спрашивает трупы, как пройти ей к Лонуа! Пьер, я больше не могу! Меня душат ненависть и гнев. О, плачь, народ германский,— горька будет участь твоих детей, страшен будет твой позор перед судом свободных народов!

З а н а в е с

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Ночь. В глубине направо темный силуэт виллы Эмиля Грелье, ее характерный угол. Ближе, среди деревьев, небольшая привратницкая, завитая плющом; в окне тусклый свет. У чугунной ограды, за которой даль, собрались испуганные женщины и смотрят на далекий пожар. Кровавое, беспокойное зарево охватывает почти все небо, и только в зените небо темнеет по-ночному. Отсветы зарева падают на предметы и людей; дают жуткие отражения в зеркальных стеклах немой и темной виллы. Голоса звучат сдержанно и робко; частые паузы и продолжительные вздохи.

Женщин три.

Г е н р и е т т а. Боже мой, Боже мой, как это ужасно! Горит и горит, и нет конца огню.

В т о р а я ж е н щ и н а. Вчера горело дальше и там, а сегодня ближе. Оно становится ближе, о Господи!

Г е н р и е т т а. Горит и горит, и нет этому конца. Сегодня днем солнце было как в тумане.

В т о р а я ж е н щ и н а. Все горит, а солнце гаснет. Теперь ночью светлее, чем днем.

С и л ь в и н а. Мне страшно!

Г е н р и е т т а. Молчи! Молчи, Сильвина.

Молчание.

Вторая женщина. И ничего не слышно. Что там горит такое? Если закрыть глаза, то можно подумать, что ничего и нет. Так тихо! — Даже собаки не лают.

Генриетта. А я и с закрытыми глазами всё вижу это.— Смотрите, как будто бы сильнее!

Сильвина. Ой, мне страшно!

Вторая женщина. Где это может гореть?

Генриетта. Не знаю. Горит и горит, и нет этому конца. Может быть, там уже все погибли. Может быть, там делается что-то такое ужасное, а мы смотрим и ничего не знаем.

Тихо подходит четвертая женщина.

Четвертая женщина. Здравствуйте.

Сильвина *(сдержанно)*. Ой!

Генриетта. Ой, вы нас напугали. Здравствуйте, соседка.

Четвертая женщина. Здравствуйте, мадам Генриетта. Ничего, что я пришла, очень страшно дома. Я так и догадалась, что вы не спите и смотрите. От вас хорошо видно. Вы не знаете, где это горит?

Вторая женщина. Нет. И ничего не слышно, какая тишина!

Генриетта. Горит и горит.— Про вашего мужа ничего не слыхали?

Четвертая женщина. Нет, ничего. Я уж и плакать перестала.

Генриетта. А с кем же сейчас ваши дети?

Четвертая женщина. Одни. Они спят. Это правда, я слыхала, что мосье Пьера убили?

Генриетта *(волнуясь)*. Вы подумайте: я не знаю. Я просто не понимаю, что это такое. Вы знаете, что в доме теперь никого, и мы боимся там спать...

Вторая женщина. Мы все трое спим здесь, в привратницкой.

Генриетта. Я и днем боюсь туда заглядывать: такой большой и такой пустой дом! И мужчин нет никого, ни одной души...

Четвертая женщина. Это правда, что Франсуа ушел стрелять пруссаков? Я так слыхала.

Генриетта. Может быть, все говорят, но мы не знаем. Он скрылся тихо, как мышь.

Четвертая женщина. Его повесят, таких вешают пруссаки.

Генриетта. Постойте, постойте — и вот сегодня

из сада я слышу, что телефон в доме звонит, и, вероятно, уже давно. Я так испугалась, а потом все-таки пошла... И вы подумайте! Кто-то говорит: мосье Пьер убит!

Вторая женщина. И больше ничего?

Генриетта. И больше ничего, ни слова! И все замолчало, и мне стало так страшно и нехорошо, что я едва выбежала. Теперь я ни за что не войду туда!

Четвертая женщина. А чей голос?

Вторая женщина. Мадам Генриетта говорит, что голос совсем незнакомый.

Генриетта. Да, незнакомый.

Четвертая женщина. Смотрите: окна в доме как будто светятся, там кто-то есть!

Сильвина. Ой, мне страшно. Я не могу!

Генриетта. Ну что вы, ну что вы! Там никого не может быть.

Вторая женщина. Это от зарева.

Четвертая женщина. А если там кто-нибудь опять звонит?

Генриетта. Ну что вы! Ночью!

Все прислушиваются. Тишина.

Вторая женщина. Что будет с нами? Они идут сюда, и ничто не может их остановить.

Четвертая женщина. Я хотела бы скорее умереть. Когда умрешь, ничего не будешь слышать и видеть.

Генриетта. И так всю ночь: горит и горит. А днем опять не будет видно от дыма, и хлеб будет пахнуть гарью. Что там делается?

Четвертая женщина. И мосье Пьера убили.

Вторая женщина. Убили. Убили.

Сильвина. Не надо говорить. Боже мой, куда же мне уйти! Я не могу совсем, я этого не понимаю.

Тихо плачет.

Четвертая женщина. Говорят, что их двадцать миллионов, и что они уже сожгли Париж. И что у них такие пушки, которые могут стрелять на сто километров...

Генриетта. Боже мой, Боже мой, и все это идет на нас...

Вторая женщина. Боже милосердный, сжалься над нами!

Четвертая женщина. И они летают и с воздушных кораблей бросают бомбы, страшные бомбы, которые разрушают целые города...

Генриетта. Боже мой, что сделали они с небом!

Прежде в небе Ты был один, а теперь и там подлые пруссаки!

Вторая женщина. Прежде, когда душа хотела покоя и радости, я смотрела в небо, а теперь некуда смотреть бедному человеку!

Четвертая женщина. Все отняли у нашей Бельгии, даже небо! Я хотела бы скорей умереть, уже нечем становится дышать. *(Внезапно пугаясь.)* Послушайте, вы не думаете, что сейчас мой муж, мой муж...

Генриетта. Нет, нет.

Четвертая женщина. Отчего же такое зарево? Что там горит?

Вторая женщина. Сжалься над нами, Боже! Оно как будто идет сюда!

Молчание. Тишина. Зарево колышется над землею, безмолвно дышит огнем.

Занавес

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Сумрачный рассвет. Солнце взошло уже давно, но его не видно за густой пеленой тумана и дыма.

Большая комната в вилле Э. Грелье, приспособленная к тому, чтобы в ней могли находиться раненые. Их двое: сам Эмиль Грелье, серьезно раненный в плечо, и сын Морис, у которого легкая рана на правой руке. Большое окно, задернутое полупрозрачными портьерами, дает слабый синеватый свет, в котором с трудом различаются постели под белыми одеялами. Оба раненые как будто еще спят. В кресле, у постели Эмиля Грелье, неподвижная фигура в белом — это Жанна. Тихо.

Эмиль Грелье *(тихо)*. Жанна!

Жанна *(быстро наклоняется к постели)*. Тебе дать воды?

Эмиль Грелье. Нет. Ты устала.

Жанна. Нет, ничего, я дремала всю ночь. Ты не можешь спать, Эмиль?

Эмиль Грелье. Который час?

Она неслышно подходит к окну и, слегка отодвинув портьеру, рассматривает маленькие часики, так же неслышно возвращается.

Жанна. Еще рано. Ты, может быть, заснешь, Эмиль? Мне кажется, что тебе очень больно, ты стонал ночью.

Эмиль Грелье. Нет, мне легче. Какое утро?

Жанна. Плохое, Эмиль. Туман, и солнца не видно. Засни.

Молчание. Тишина. Вдруг на своей постели вскрикивает во сне Морис; крик переходит в стон и невнятное бормотание. Жанна подходит и прислушивается, потом возвращается назад.

Эмиль Грелье. Мальчик ничего?

Жанна. Ничего, будь спокоен, Эмиль. Это он во сне.

Эмиль Грелье. Сегодня он несколько раз так.

Жанна. Я боюсь, что он тебе мешает. Его можно поместить в другой комнате, и с ним будет Генриетта. У мальчика здоровая кровь, через неделю можно будет, кажется, снять повязку.

Эмиль Грелье. Нет, пусть тут. Жанна!

Жанна. Что, дорогой мой?

Становится у постели на колени и целует осторожно неподвижную руку, лежащую поверх одеяла.

Эмиль Грелье. Жанна...

Жанна. Жар, кажется, меньше... дорогой мой.

Приникает долгим поцелуем к руке.

Эмиль Грелье. Ты моя любовь, Жанна.

Жанна. Молчи, молчи. Не волнуйся.

Короткое молчание.

Эмиль Грелье *(беспокойно передвигает голову)*. Мне трудно дышать, здесь воздух...

Жанна. Окно открыто всю ночь, мой милый. Такой воздух неподвижный.

Эмиль Грелье. Дым.

Жанна. Да.

Морис *(вскакивает снова, бормочет)*. Стой, стой, стой! *(Снова невнятно.)* Оно горит, горит оно! Ой! Кто на батарею, кто на батарею...

Бормочет и затихает.

Эмиль Грелье. Тяжелые сны.

Жанна. Это ничего, мальчик и всегда любил поговорить во сне. А вчера у него был такой свежий вид.

Эмиль Грелье. Жанна!

Жанна. Что, дорогой мой?

Эмиль Грелье. Сядь.

Жанна. Хорошо.

Эмиль Грелье. Жанна... А о Пьере ты думаешь?

Молчание.

Жанна *(тихо)*. Не надо.

Эмиль Грелье. Да, не надо. Смерть, это вовсе не так страшно, правда, Жанна?

Жанна *(после некоторого молчания)*. Правда.

Эмиль Грелье. Потом пойдем к нему мы. Он сюда не придет, но мы к нему пойдем. Мне ночью что-то казалось, я об этом думал. Так ясно! Ты помнишь красную розу, которую ты ему дала? Я помню.

Жанна. Да.

Эмиль Грелье. Так ясно! Жанна, наклонись ко мне. Ты лучше всех.

Молчание.

(Мечется.) Мне трудно дышать.

Жанна. Дорогой мой...

Эмиль Грелье. Нет, ничего. Это ночь мучает меня, Жанна, мне это приснилось или действительно была слышна канонада?

Жанна. Да, была слышна — в пятом часу. Но очень далеко, Эмиль, едва слышно. Закрой глаза, милый, отдохни.

Молчание.

Морис *(негромко)*. Мамá!

Жанна *(неслышно подходит)*. Проснулся?

Морис. Да. Больше не хочется. Что папá?

Жанна. Он не спит.

Эмиль Грелье. Здравствуй, Морис.

Морис. Доброе утро, папá. Как ты себя чувствуешь? Я хорошо.

Эмиль Грелье. Я тоже. Жанна, можно открыть, я спать не буду.

Жанна. Да, можно уже.— Видишь, какой плохой день, но все-таки при свете тебе легче будет дышать.

Постепенно, чтобы не сразу свет, открывает драпри. За большим окном смутные силуэты деревьев, у самых рам несколько поникшие цветы. Морис уже задвинул свои ширмочки и что-то возится там.

Жанна. Ты что, Морис?

Морис. Да шинель... Ничего, я сам. *(Виновато.)* Нет, мамá, помоги.

Жанна *(уходя за ширмы)*. Какой ты глупый, Морис. *(За ширмой.)* Осторожнее, осторожнее, ну — так! Не торопись, осторожнее.

Морис *(за ширмой)*. Ты мне здесь заколи, как вчера. Так очень удобно.

Жанна *(за ширмой)*. Ну, конечно. Погоди, потом поцелуешь... Ну? Так.

Морис выходит, правая рука у него на перевязи. Подходит к отцу и сперва целует его руку, потом, по его знаку глазами, целует в губы.

Эмиль Грелье. Здравствуй, здравствуй, мой миленький.

Морис *(оглядываясь на ширмы, где мать убирает постель)*. Папá, посмотри.

Вынимает руку из повязки и быстро выпрямляет ее. Потом так же быстро прячет обратно. Эмиль Грелье слегка грозит ему пальцем. Жанна отставляет ширмы, за которыми уже убранная постель.

Жанна. Ну вот, готово. Пойдем, Морис, в ванную, я тебя умою.

Морис. Ни за что! Я сегодня сам. Я вчера вечером уже сам умывался левой рукой, и превосходно. *(Подходя к раскрытому окну.)* Какая гадость, однако! Эти негодяи совсем испортили день. А все-таки тепло и пахнет цветами. Нет, хорошо. Папа́, очень хорошо!

Эмиль Грелье. Да. Приятно.

Морис. Ну, я пойду.

Жанна. Зубы почисти, ты вчера этого не сделал, Морис.

Морис *(ворчит)*. Ну, сто́ит сейчас! — Хорошо, хорошо, я сделаю. *(От двери.)* Папа́, а знаешь: сегодня будут хорошие вести, я это чувствую.

Слышно, как он звонким голосом кричит: Сильвина!

Эмиль Грелье. Мне легче, Жанна. Совсем легче. Кто-нибудь поливает цветы?

Жанна. Да, насколько возможно. Сейчас я дам тебе кофе... ты сегодня много лучше выглядишь, много лучше!

Эмиль Грелье. Это что?

Жанна. Одеколон с водой, я вытру лицо, и тебе станет свежее. Вот так, вот и снова у меня маленькие дети, которых надо мыть, вот и снова... Видишь, как приятно?

Эмиль Грелье. Да. Что он говорит про хорошие вести?

Жанна. Это он так, он очень счастлив, оттого что он герой!

Эмиль Грелье. Ты знаешь что-нибудь новое?

Жанна *(неопределенно)*. Нового ничего — что же может быть нового?

Эмиль Грелье. Говори. Ты была решительнее, Жанна. Говори, дорогая.

Жанна. Разве решительнее? Может быть... Это я ночью привыкла с вами говорить тихо. Но, как тебе сказать это. Эмиль... они идут...

Эмиль Грелье. Идут?

Жанна. Да. Ты же знаешь, сколько их и сколько нас. Ты не волнуйся, но сегодня нам, вероятно, придется уехать в Антверпен.

Эмиль Грелье. Они близко?

Жанна. Да, недалеко. Очень близко. *(Напевает.)* Le roi, la loi, la liberté...[1] Очень близко. Я тебе еще не сказала,

---

[1] Король, закон, свобода... *(фр.)*

что вчера король справлялся о твоем здоровьи. Я ответила, что тебе лучше и что ты можешь сегодня поехать.

Эмиль Грелье. Да, конечно, могу. А что он говорил о тех?..

Жанна. Что говорит король? *(Напевает то же.)* Что их слишком много.

Эмиль Грелье. А еще? А еще, Жанна?

Жанна. А еще? А еще, Эмиль, что есть Бог и справедливость. Так мне послышалось, Эмиль: есть еще Бог и справедливость. Не правда ли, какие старые слова, Эмиль? — но так хорошо, что они еще существуют.

Молчание.

Эмиль Грелье. Да, ты днем другая. Откуда у тебя столько силы, Жанна?

Жанна. Откуда?

Эмиль Грелье. Да. Я все смотрю на твои волосы: отчего они не белеют?

Жанна. Я их крашу ночью, Эмиль.— Сейчас я принесу еще цветов. Теперь у тебя совсем уютно. Да, я еще не сказала: сегодня кто-то будет у тебя. Министр Лагард и с ним кто-то, кто зовется граф Клермон.

Эмиль Грелье. Граф Клермон? Я не знаю.

Жанна. Так и нужно, чтобы ты не знал. Это просто называется граф Клермон, граф Клермон... это хорошее имя для очень хорошего человека.

Эмиль Грелье. Я знаю одного очень хорошего человека в Бельгии...

Жанна. Тсс! Ты ничего не должен знать. Ты должен только запомнить: граф Клермон. Им необходимо о чем-то очень важном переговорить с тобой, я так думаю. И тебе пришлют автомобиль, чтобы ехать в Антверпен...

Эмиль Грелье *(улыбаясь)*. Граф Клермон?

Жанна *(так же)*. Да. Тебя все очень любят, Эмиль, но если бы я была король, я прислала бы тебе аэроплан. *(Закидывая руки с печалью, которую тщетно старается подавить.)* Ах, так хорошо теперь подняться над землей и полететь... и долго, долго, долго лететь!

Входит Морис.

Морис. Вот я и готов, почистил зубы и был даже в саду. Я немного, немного, мамá! Но почему я раньше не замечал, что у нас такой красивый сад? Папá, наш сад удивительно красив!

Жанна. Сейчас будет кофе. Если он станет мешать тебе болтовней, Эмиль, позови меня.

М о р и с. О! Я не думал, прости, папá! Я не буду!

Э м и л ь Г р е л ь е. Говори, говори. Мне совсем лучше, почти хорошо.

Ж а н н а. Но тебе надо беречь силы, не забудь, Эмиль.

Выходит.

М о р и с *(скромно садясь у окна)*. Может быть, мне действительно помолчать, папá?

Э м и л ь Г р е л ь е *(слабо улыбаясь)*. А ты это можешь?

М о р и с *(краснея)*. Нет, папá, сейчас не могу. Я, вероятно, кажусь тебе еще очень молодым, папá?

Э м и л ь Г р е л ь е. А ты как думаешь сам?

М о р и с *(снова краснея)*. Да, это правда. Но все же отдай мне справедливость: я уже не так молод, как три недели назад. Да, всего только три недели... Помню набат на нашей церкви, помню, как я тормошил Франсуа... как странно, что Франсуа пропал без вести. Что это значит: человек пропал без вести?.. Вдруг пропал без вести! Прежде все так видно было на земле.

Э м и л ь Г р е л ь е. Да.

М о р и с. Папá! Почему таких вешают, как Франсуа! Это жестоко и глупо... извини, что я так резко говорю. Но разве старый должен меньше любить свою землю, чем я, например? Старые любят еще больше, и пусть всякий дерется как умеет. Я не утомлю тебя, папá? К нам пришел один такой, совсем дряхлый, просил патронов — ну пусть повесят и меня: я ему дал. Некоторые из нашего полка над ним шутили, но он сказал: если только одна прусская пуля попадет в меня, то значит, у пруссаков будет на пулю меньше. Мне это понравилось, папá.

Э м и л ь Г р е л ь е. Да. Мне так же. Ты слыхал канонаду на... на рассвете?

М о р и с. Нет! А разве, папá?..

Э м и л ь Г р е л ь е. Да, стреляли. Мамá говорила тебе: они приближаются, идут.

М о р и с *(вставая)*. Да? Не может быть!

Э м и л ь Г р е л ь е. Идут. И сегодня нам надо уезжать в Антверпен.

М о р и с. Да? *(Быстро и легко ходит по комнате, забыв о раненой руке. Взволнован, сжимает кулак.)* Папá, скажи, что ты думаешь о положении вещей?

Э м и л ь Г р е л ь е. Мамá говорит: еще есть Бог и справедливость.

М о р и с *(поднимая руку)*. Мамá говорит... пусть Бог благословит мою мамá! Я не знаю... я... ну хорошо, ну хоро-

шо! Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим! *(По-ребячьи кривит лицо, стараясь удержать слезы.)* Я еще за Пьера им должен! Извини, папа́, я знаю, что я не смею так, но пойми, что я совсем другое дело, чем ты! Ну и нехорошо, ну и не могу я. Я сегодня в саду смотрел на твои цветы, и мне стало так жалко... тебя, что ты их растил... Мерзавцы!

Эмиль Грелье. Морис!

Морис. Мерзавцы! Не хочу их считать за людей и не стану!

Жанна входит.

Жанна. Морис, что это? Как нехорошо!

Морис. Пусть!

На ходу левой рукой крепко обнимает мать и целует ее.

Жанна. Ну хоть сядь — тебе вредно так ходить.

Эмиль Грелье. Сядь, Морис.

Морис садится у окна лицом к саду. Жанна спрашивает глазами, что с ним. Эмиль Грелье печально улыбается и устало закрывает глаза. Сильвина, горничная, вносит кофе, приготовляет на столике около кровати Эмиля Грелье.

Сильвина. Доброе утро, мосье Эмиль.

Эмиль Грелье *(открывая глаза)*. Доброе утро, Сильвина.

Сильвина выходит.

Жанна. Иди завтракать, Морис.

Морис *(не оборачиваясь)*. Я не хочу. Мама́, я завтра сниму повязку.

Жанна *(смеется)*. Солдат, неужели ты капризничаешь?

Молчание. Жанна помогает Эмилю Грелье пить кофе.

Дай твою голову, Эмиль. Так. Удобно тебе так или лучше ложечкой? О моя бедная голова, такая слабая!..

Морис *(подходя)*. Извини меня, папа́, я больше не буду. Я очень глупо погорячился, но, знаешь ли, никакое терпение этого не выдержит! Мне можно взять чашку, мама́?

Жанна. Да, это твоя. Теперь прошло?

Морис. Прошло, мама́.

Эмиль Грелье. Мне сегодня совсем хорошо, Жанна. А когда перевязка?

Жанна. Вероятно, уже потом... Граф Клермон привезет сегодня своего хирурга...

Морис. Кто это, мама́? Я его видал?

Жанна. Увидишь. Но только, пожалуйста, Морис, когда увидишь его, не раскрывай рта так широко. У тебя есть эта привычка: раскрыть рот и забыть про него.

Морис *(краснея)*. Вы оба смотрите на меня и улыбаетесь: ну — значит, так и надо. Но мы еще подрастем, мы еще подрастем.

На улице гудок одного автомобиля, другого; точно вызывают гудком.

Жанна *(поспешно вставая)*. Вот, кажется! Морис, это только граф Клермон, не забудь... Я сейчас. Они будут говорить с тобой об очень важном, очень важном, Эмиль, но ты не должен волноваться.

Эмиль Грелье. Да, я знаю.

Жанна *(быстро целуя его)*. Я иду.

Выходит, почти столкнувшись с взволнованной Сильвиной.

Да, я знаю, знаю. Уберите здесь, Сильвина.

Сильвина убирает со стола, отодвигает кресла. Эмиль Грелье закрыл глаза, бледен и неподвижен.

Морис *(шепчет)*. Кто это, Сильвина?

Сильвина что-то отвечает с восторгом и ужасом: то же выражение появляется на лице Мориса. Сильвина выходит. Морис быстро удаляется к окну и заранее прикладывает левую руку ко лбу, вытянувшись по-военному; так стоит, пока его не заметили. Входят: Жанна, граф Клермон, за ним, на некотором отдалении, министр Лагард и адъютант графа, пожилой генерал сурового вида, со многими знаками отличия. Сам граф Клермон — высокий, стройный молодой человек в скромной офицерской форме; никаких орденов и знаков высокого происхождения. Держится очень скромно, даже застенчиво, но, поборов первое смущение, говорит горячо и сильно, с широкими и свободными жестами. Движения быстры. Все относятся к нему с большой почтительностью. Лагард — сильный старик с седой львиной головой; речь проста, движения спокойны и решительны; видна привычка говорить с трибуны.

У Жанны в руках большой букет цветов. Граф Клермон прямо и быстро подходит к постели Грелье.

Граф Клермон *(смущаясь)*. Я приехал пожать вашу руку, дорогой учитель... О, только ни одного лишнего движения, ни одного, иначе я буду очень несчастен!

Эмиль Грелье. Я глубоко тронут, я счастлив...

Граф Клермон. Нет, нет, не говорите так! Здесь перед вами только человек, который учился мыслить по вашим книгам. Но что они с вами сделали — посмотрите, Лагард!

Лагард. Здравствуйте, Грелье, хочу и я пожать вашу руку. Сегодня я, волею судьбы, министр, но вчера я был только врачом и могу поздравить вас: у вас хорошая рука. Давайте-ка попробуем пульс.

Генерал *(выступая, скромно)*. Позвольте и мне от лица нашей армии выразить наше восхищение, мосье Грелье!

Эмиль Грелье. Благодарю вас. Мне совсем хорошо, Лагард.

Граф Клермон. Но, может быть, хирурга?..

Ж а н н а. Он может слушать и говорить, граф. Он улыбается — он может слушать.

Г р а ф К л е р м о н *(увидя Мориса и смущаясь)*. О, кто это? Пожалуйста, опустите руку, вы ранены?

М о р и с. Я так счастлив... граф!

Ж а н н а. Это наш второй сын, Морис. Первый наш сын, Пьер Грелье, убит в Льеже... граф.

Г р а ф К л е р м о н. Я не смею вас утешать, мадам Грелье. Дайте мне вашу руку, Морис.

М о р и с. О... граф! Я только солдат, я не смею...

Г р а ф К л е р м о н. И я, дорогой мой, теперь только солдат. Руку, товарищ. Вот так. Учитель! — мои дети и жена прислали вам цветы... Но где же они? О, какой я рассеянный!

Ж а н н а. Вот, граф.

Г р а ф. Благодарю вас, мадам. Но я не знал, что у вас цветы лучше моих, а мои... они так пропахли дымом и гарью!

Л а г а р д. Как и вся Бельгия. *(Графу Клермону.)* Пульс хороший.— Грелье, мы приехали к вам не только затем, чтобы выразить вам наше сочувствие,— в моем лице рабочие всей Бельгии жмут вашу руку...

Э м и л ь Г р е л ь е. Я горжусь, Лагард.

Л а г а р д. Ну и мы гордимся не меньше. Да, нам надо поговорить. Граф Клермон не решался вас беспокоить, но я сказал: пусть умрет, но раньше мы с ним поговорим — э, не так ли, товарищ?

Э м и л ь Г р е л ь е. Я не умру. Морис, тебе лучше выйти.

Г р а ф К л е р м о н *(быстро)*. О нет, нет. Он ваш сын, Грелье, и он должен присутствовать при том, что скажет его отец. О, я гордился бы честью иметь такого отца!

Л а г а р д. Наш граф очень славный молодой человек. Простите, граф, я опять несколько нарушаю...

Г р а ф К л е р м о н. Ничего, я уже привык. Сегодня вам и вашей семье, дорогой учитель, необходимо переехать в Антверпен.

Э м и л ь Г р е л ь е. Наши дела так плохи?

Г р а ф К л е р м о н. Скажите ему, Лагард.

Л а г а р д. Что же говорить! Плохи, да — очень плохи. Это орда гуннов идет на нас, как морской прилив. Сегодня они еще там, а завтра они зальют ваш дом, Грелье. Они идут к Антверпену. Что мы можем им противопоставить? Отсюда они, а там море — от Бельгии уже немного осталось, Грелье. Скоро моей бороде негде будет поместиться. Не так ли, мол... граф?

Молчание. Издали приносятся глухие звуки канонады; все обращают взоры к окну.

Эмиль Грелье. Это сражение?

Граф Клермон *(прислушиваясь, спокойно)*. Нет, это случайно. Пристреливаются. Но уже завтра они повезут мимо вас, Грелье, свои дьявольские орудия. Вы знаете, это — настоящие железные чудовища, под тяжестью которых содрогается и стонет наша земля. Они движутся медленно, как амфибии, выползшие ночью из пучины — но они движутся! Пройдет еще несколько дней, и они подползут к Антверпену, они на город, на церкви обратят свои пасти... Горе Бельгии, учитель, горе!

Лагард. Да, очень плохо. Мы честный и мирный народ, который ненавидит пролитие крови — ведь этакая глупость: война! И мы уже давно не имели бы ни одного солдата, если бы не это проклятое соседство, не это разбойничье баронское гнездо...

Генерал. А что бы мы делали без солдат, мосье Лагард?

Лагард. А что мы можем сделать и с солдатами, мосье генерал?

Граф Клермон. Вы неправы, Лагард. С нашей маленькой армией у нас есть еще одна возможность: погибнуть, как гибнут свободные. А без нее — мы уже были бы чистильщиками сапог, Лагард!

Лагард *(ворчит)*. Ну, я-то никому не стану чистить сапоги. Плохо дело, Грелье, плохо. И осталось у нас одно только средство... Правда, довольно страшное средство...

Эмиль Грелье. Я знаю.

Лагард. Да? Какое же?

Эмиль Грелье. Плотины.

Жанна и Эмиль вздрагивают и с ужасом смотрят.

Граф Клермон. Вы вздрогнули, вы дрожите, мадам! А что же делать мне, что же делать нам, которые не смеют дрожать!

Жанна. Нет, я так. Я подумала о девушке, которая ищет дорогу к Лонуа. Никогда ей не найти дорогу к Лонуа!

Граф Клермон. Но что же делать! Что же делать!

Все задумались. Граф Клермон отошел к окну и смотрит, нервно пощипывая усы; Морис отодвинулся в сторону и по-прежнему стоит навытяжку; невдалеке от него, опираясь плечом о стену и закинув красивую, бледную голову, стоит Жанна. Лагард по-прежнему сидит у постели, поглаживая седую, всклоченную бороду. Мрачно задумался генерал.

(Решительно обернувшись.) Я — мирный человек, но я понимаю, что можно поднять оружие. Оружие! Это значит меч, это ружье, это разрывные снаряды... это, нако-

нец, огонь! Огонь убивает, но он и светит, огонь очищает, в нем есть нечто от древнего жертвоприношения. Но вода! — холодная, темная, молчаливая, обволакивающая тиной, раздувающая трупы... Вода, которая есть начало хаоса, вода, которая день и ночь сторожит землю, чтобы броситься на нее... Друзья мои, поверьте мне: я довольно смелый человек, но я боюсь воды! Лагард, что вы скажете на это?

Лагард. Мы, бельгийцы, слишком долго боролись с водой, чтобы не научиться страху. Я тоже боюсь воды.

Жанна. Но кто страшнее: пруссаки или вода?

Генерал *(кланяясь.)* Мадам права: они не страшнее, но хуже.

Лагард. Да. У нас нет другого выбора. Страшно выпускать воду из плена, зверя из логовища, но все же она нам больше друг, чем пруссаки. Черт возьми, ведь плавал же Ной, когда пришлось... простите, граф. И я предпочту, чтобы всю Бельгию с головой покрыло море, чем протянуть руку примирения негодяю! До этого ни он, ни мы не доживем, хотя бы сам Атлантический океан ринулся на нас!

Короткое молчание.

Генерал. Но до этого мы не дойдем, надеюсь. Пока нам необходимо затопить только часть территории, это не так страшно.

Жанна *(закинув голову, с закрытыми глазами)*. А что будет с теми, которые не захотят покинуть своих жилищ — которые глухи, которые больны и одиноки? Что будет с нашими детьми?

Молчание.

Там, на полях и в оврагах, есть раненые; там бродят тени людей, но в жилах их еще течет кровь — что будет с ними? О, не смотри на меня так, Эмиль, лучше не надо слушать, что я говорю. Я только потому, что у меня вдруг заболело сердце... и меня вовсе не надо слушать, граф.

Граф Клермон быстро и решительно подходит к постели Грелье, вначале говорит, смущаясь, приискивая слова, но дальше все смелее и громче.

Граф Клермон *(смущаясь)*. Дорогой и уважаемый учитель! Мы не осмеливались бы отнимать у вас хотя бы крупицу вашего здоровья, если бы... если бы не уверенность в том, что служение народу может дать только новые силы вашей... героической душе! Уже вчера на нашем совете было решено взорвать плотины и затопить часть королевства, но я не мог, я не смел дать полного согласия, пока не выслушаю вас. Всю ночь я не спал и думал — о, как страшны,

как невыразимо печальны были мои мысли! Мы все, и он и я, мы тело, мы руки, мы голова, а вы, Эмиль Грелье,— вы совесть нашего народа. Ослепленные войной, мы можем невольно, совсем нечаянно, совсем против нашего желания нарушить заветы человечности — пусть ваше строгое сердце скажет нам правду. Друг мой! Мы доведены до отчаяния, у нас нет Бельгии, она затоптана врагами, но в вашей груди, Эмиль Грелье, бьется сердце всей Бельгии — и ваш ответ будет ответом самой нашей измученной... окровавленной... несчастной страны!

Отворачивается к окну. Морис плачет, глядя на отца.

Лагард *(тихо)*. Браво, Бельгия!

Молчание. Слышна канонада.

Жанна *(Морису тихо)*. Сядь, Морис, тебе нехорошо стоять.

Морис. О мама! Мне такое наслаждение сейчас стоять... о мама!

Лагард. Теперь и я добавлю несколько слов. Как вам известно, Грелье, я человек из народа. Да, это верно. И я знаю, чего стоит народу его труд, чего стоят все эти огороды, сады и фабрики, которые мы похороним под водой. Это стоит нам пота, Грелье, здоровья и слез. Это наши страдания, которые обратятся в радость для наших детей. Но как народ, который выше пота своего, крови и слез уважает и любит свободу,— как народ, говорю — я предпочту, чтобы здесь над головами нашими ходили морские волны, нежели чистить сапоги пруссаку! И пусть от Бельгии останутся только острова, они назовутся «Честными островами», а островитяне будут по-прежнему бельгийцы!

Все в волнении.

Эмиль Грелье. А что говорят инженеры?

Генерал *(почтительно выждав ответа молчавшего графа)*. Они говорят, мосье Грелье, что это может быть сделано в два часа.

Лагард *(ворчит)*. В два часа! В два часа! А строили сколько лет?

Генерал. Инженеры плакали, говоря это, мосье Грелье.

Лагард. Инженеры плакали... Да как и не заплакать, подумайте сами, Грелье?

Внезапно всхлипывает и не торопясь лезет в карман за платком.

Граф Клермон. Мы с волнением ждем, Грелье. На вас тяжкий долг перед родиной вашей — поднять на нее руку.

Эмиль Грелье. А иной защиты у нас нет?

Молчание. Все в позах тяжелого раздумья; Лагард откровенно вытирает глаза и неторопливо, со вздохом, роняет ответ.

Лагард. Нет.

Генерал. Нет!

Жанна *(качнув бледной головой)*. Нет.

Граф Клермон *(быстро)*. Нам необходимо выиграть время, Грелье. Силою всех наших жизней, брошенных в поле, мы не можем их остановить *(топнув ногой)*. Время, время,— нам необходимо украсть у судьбы частицу ее вечности, несколько дней, неделю! К нам спешат! Уже идут с востока русские. Уже до самого сердца французской земли проникла немецкая сталь... и в ярости от боли уже поднимается над немецкими штыками французский орел и к нам направляет полет! Уже стремятся к нам благородные рыцари моря, британцы, и к Бельгии через пучину протянуты их мощные руки... но время! время! Дайте нам времени, Грелье,— о нескольких днях, о часах молит нас Бельгия! Вы уже отдали ей свою кровь, Грелье, и вы имеете право поднять на родину вашу окровавленную руку!

Короткое молчание.

Эмиль Грелье. Плотины надо разрушить.

Занавес

ПЯТАЯ КАРТИНА

Время к ночи. Небольшой сельский домик, занятый германским штабом. У двери, которая ведет в помещение командующего армией, застывший часовой. В этой комнате все двери и окна открыты, за ними тьма. Освещена комната довольно ярко свечами. Два дежурных штаб-офицера лениво переговариваются, страдают от духоты. Лагерь спит; лишь изредка тяжелые размеренные шаги сменяемых пикетов и частей, сдержанные голоса, ругательства. Где-то в доме гудит динамо беспроволочного телеграфа.

Фон-Ритцау. Вы хотите спать, фон-Штейн?

Фон-Штейн. Спать — нет, курить — да.

Ритцау. Вредная привычка! Но вы можете покурить в окно.

Штейн. А если он войдет? Благодарю вас, фон-Ритцау. О, какая душная ночь, в легкие не попадает и капли чистого воздуха. Он весь отравлен гарью. Надо что-нибудь изобрести против гари, займитесь этим, Ритцау.

Ритцау. Я не изобретатель. Но сперва этот воздух надо выжать, как грязное белье, и высушить на солнце. Он мокр так, точно мы плывем под водой. Вы не знаете: он в хорошем настроении сегодня?

Штейн. А разве у него бывают настроения хорошие или плохие?

Ритцау. Колоссальная выдержка!

Штейн. Вы видели когда-нибудь его раздетым... ну полуодетым? Или чтобы волосы его не лежали, как на параде? Гениальный старик!

Ритцау. Он дьявольски мало говорит, Штейн.

Штейн. Он предпочитает, чтобы говорили его пушки. Это довольно сильный голос, не так ли, Ритцау?

Тихо смеются. Быстро входит высокий, красивый штаб-офицер и направляется к двери командующего.

Постойте, Блюменфельд! Новости?

Высокий отмахивается рукой и осторожно открывает дверь, заранее наклонившись для поклона.

Делает карьеру!

Ритцау. Нет, он хороший парень. Я не могу, Штейн, я задыхаюсь.

Штейн. Вы лучше хотели бы быть в Париже?

Ритцау. Я предпочел бы всякую другую, менее несносную страну. Как здесь, вероятно, скучно зимой.

Штейн. Но мы их надолго избавили от скуки. Вы бывали в монмартских кабачках, Ритцау?

Ритцау. Натурально!

Штейн. Не правда ли, какая изумительная тонкость, культура и такой... оригинальный шик? К сожалению, нашим берлинцам до этого далеко.

Ритцау. О да, конечно. Колоссально!

Из двери, почти задом, выходит высокий. Вздыхает свободно и присаживается к говорящим. Вынимает сигару.

Фон-Блюменфельд. Как дела?

Ритцау. Хорошо. Мы говорили о Париже.

Штейн. Тогда и я закурю.

Блюменфельд. Курите. Он не выйдет. Хотите слышать колоссальную новость?

Штейн. Ну?

Блюменфельд. Он сейчас засмеялся!

Штейн. Черт возьми!

Блюменфельд. Честное слово. И двумя пальцами потрогал меня по плечу — вы понимаете?

Штейн *(с завистью)*. Натурально! Вероятно, вы счастливый вестник, Блюменфельд?

Военный телеграфист, козыряя, подает Блюменфельду сложенную бумагу.

Телеграфист. Радиограмма, господин лейтенант.

Б л ю м е н ф е л ь д. Давай.

Не спеша кладет на подоконник сигару и по-прежнему, точно крадучись, входит в кабинет.

Ш т е й н. Ему везет. Нет, что ни говорите про судьбу, а она есть. Кто этот Блюменфельд? Фон — а вы знали его отца? Или деда?

Р и т ц а у. Имею основание думать, что деда у него вовсе не было. Но он хороший товарищ.

Б л ю м е н ф е л ь д выходит и снова присаживается к собеседникам, берет еще горящую сигару.

Ш т е й н. Опять военная тайна?

Б л ю м е н ф е л ь д. Да, конечно. Все, что здесь говорится и делается, Штейн, есть военная тайна. Но это я могу вам сказать. Известие касается наших новых осадных орудий: они подвигаются успешно.

Ш т е й н. Ого!

Б л ю м е н ф е л ь д. Да, успешно. Сейчас они миновали самый трудный участок пути, знаете, где по бокам болота...

Ш т е й н. О да!

Р и т ц а у. Колоссально!

Б л ю м е н ф е л ь д. Дорога не выдержала тяжести и провалилась; наш очень беспокоился. Он приказал сообщать о движении через каждый километр.

Ш т е й н. Теперь он заснет спокойно.

Б л ю м е н ф е л ь д. Он никогда не спит, фон-Штейн.

Ш т е й н. Да, это правда.

Б л ю м е н ф е л ь д. Он никогда не спит, фон-Штейн! Когда он не принимает донесений или не командует, он размышляет. Как личный корреспондент его светлости, я имею честь многое знать, что не дозволено знать другим,— о господа, это удивительная, это гениальная голова!

Р и т ц а у. Колоссально!

Входит еще один ш т а б - о ф и ц е р, молоденький; отдает честь Блюменфельду.

Б л ю м е н ф е л ь д. Садитесь, фон-Шаусс. Я говорю о нашем.

Ш а у с с. О!

Б л ю м е н ф е л ь д. Это немецкая философская голова, орудующая с пушками, как Лейбниц с идеями. Все разгадано, все предусмотрено, движение наших миллионов приведено в столь стройную систему, что ею возгордился бы Кант! Нас ведет вперед, господа, несокрушимая логика и железная воля. Мы неумолимы, как судьба!

Офицеры тихими возгласами «браво!» выражают свое одобрение.

И как он может спать, когда движение наших армий

есть лишь движение частиц его мозга! И зачем вообще спать? Я также мало сплю и вам, господа, советую не предаваться глупому сну.

Ритцау. Но этого требует организм.

Блюменфельд. Глупости! Организм — это выдумали доктора, которые ищут практики среди невежд. Я не знаю никакого организма. Я знаю только мои желания и мою волю, которая говорит: Гергард — делай, Гергард — иди! Гергард — бери! И я беру!

Ритцау. Колоссально!

Шаусс. Вы мне позволите, господин лейтенант, записать ваши слова в памятную книжку?

Блюменфельд. Пожалуйста, Шаусс. Вам что, Циглер?

Вошел старший телеграфист.

Циглер. Я, право, не знаю, господин лейтенант, но что-то странное... Вероятно, нас перебивают, но я ничего не могу понять...

Блюменфельд. Что такое? В чем дело?

Циглер. Одно слово мы разобрали: вода, но дальше совсем непонятно. И потом опять: вода...

Блюменфельд. Какая вода? Вы пьяны, Циглер! Тут пахнет водкой, а не водой. Инженер там?

Циглер. Он так же удивляется и не понимает.

Блюменфельд. Вы осел, Циглер! Надо вызвать...

Входит Командующий, высокий, прямо держащийся старик. Бескровное, сухое, бесстрастное лицо анахорета; от тонких, твердо сжатых губ залегли две неподвижные складки. Так же сух и бесстрастен голос.

Командующий. Блюменфельд!

Все вскакивают, вытягиваются и замирают.

Что здесь такое?

Блюменфельд. Я еще не успел расследовать, ваша светлость. Циглер докладывает...

Командующий. Что такое, Циглер?

Циглер. Ваша светлость, нас перебивают, я не знаю, но ничего нельзя понять. Разобрали одно только слово: вода. Потом опять: вода.

Командующий *(поворачиваясь назад)*. Разберите, что там, Блюменфельд, и потом доложите мне...

Почти вбегает военный инженер.

Инженер. Где Блюменфельд! Виноват, ваша светлость!

Командующий *(останавливаясь)*. Что там у вас, Клетц?

Инженер. На наши вызовы не отвечают, ваша светлость. Молчат, как мертвые; там что-нибудь случилось.

Командующий. Вы думаете, что-нибудь серьезное?

Инженер. Не смею думать так, ваша светлость, но меня это беспокоит. На наши самые энергичные вызовы ответом служит глубокое молчание. Но вот что-то хочет сказать Грейцер... Ну? Что там, Грейцер?

Вошел тихо телеграфист и застыл.

Грейцер. Молчат, ваша светлость.

Короткое молчание.

Командующий *(снова поворачиваясь к двери)*. Прошу распорядиться, господин лейтенант.

Делает шаг к двери и останавливается: за окном какое-то движение, легкий шум и голоса; часто повторяется слово: вода. Постепенно шум и голоса растут, местами переходят в гул огромной толпы.

Что это?

Все оборачиваются к окну. Вбегает расстроенный офицер, без фуражки, волосы в беспорядке, лицо бледно.

Офицер. Я к его светлости! Я к его светлости!..

Блюменфельд *(шипит)*. Вы с ума сошли!

Командующий. Успокойтесь, господин офицер.

Офицер. Ваша светлость! Имею честь доложить вашей светлости, что бельгийцы взорвали свои плотины, и нашу армию заливает вода. Вода!

Движение ужаса.

Надо торопиться, ваша светлость!

Командующий. Торопиться? Прошу вас успокоиться, господин офицер. Наши орудия?

Офицер. Уже затоплены, ваша светлость.

Командующий. Опомнитесь, вы ведете себя недостойно! Я спрашиваю: наши орудия?

Офицер. Затоплены, ваша светлость. Вода идет сюда. Необходимо торопиться, ваша светлость, мы в низине, мы в ужасной низине! Они взорвали плотины, и вода идет как бешеная. Сейчас она только в пяти километрах, и мы едва ли... Виноват, ваша светлость!

Молчание. Беспорядочный шум за окнами растет. Появились какие-то мерцающие светы. Чувствуется начало безграничной и безумной паники, которая сейчас охватит весь лагерь. Здесь все с тоской нетерпения смотрят на бесстрастное, теперь слегка окрасившееся кровью, сухое лицо.

Командующий. Но ведь это же... *(с силой ударяет кулаком по столу)* глупо!!

Смотрит с холодной яростью, но все опускают глаза. Испуганный офицер откровенно перебирает ногами и косится на окно. Там светы все сильнее: видимо, зажгли какое-то здание поблизости. Нестройные голоса перешли в крики и рев: словно ревет испуганное стадо. Какой-то грохот, какие-то выстрелы. Здесь постепенно теряется дисциплина.

Блюменфельд. Они с ума сошли.

Офицер. Стреляют. Это ночное нападение!

Штейн. Но это не могут быть бельгийцы!

Ритцау. Но они могли воспользоваться...

Блюменфельд. Стыдитесь, Штейн! Стыдитесь, господа!

Командующий. Молчать! Я вас прошу...

Вдруг раздается пронзительный, дико плачущий звук рожка, приказывающего отступление. Его безумную песню ужаса подхватывает второй, третий, без счета — до самой глубокой дали. И одновременно возрастает испуганный рев.

(Кричит.) Кто скомандовал отступление? Кто смеет приказывать, когда я здесь! Позор! — Блюменфельд — вернуть.

Блюменфельд опускает голову.

Это не германская армия. Вы недостойны называться солдатами. Позор. Мне стыдно называться вашим генералом — трусы.

Блюменфельд *(выступая, с некоторым достоинством)*. Ваша светлость...

Офицер. Э, мы не рыбы, чтобы плавать под водой...

Выбегает, за ним двое-трое других, паника растет.

Блюменфельд. Ваша светлость! Мы просили вас... ваша жизнь в опасности... ваша светлость.

Еще кое-кто выбегает; комната почти пуста; только часовой все в той же позе каменного изваяния.

Ваша светлость. Я умоляю вас. Ваша жизнь... я боюсь, что через минуту будет поздно... ваша светлость.

Командующий. Но ведь это... *(Снова с силой бьет кулаком по столу)*... но ведь это же глупо, Блюменфельд!

Занавес

ШЕСТАЯ КАРТИНА

Тот же час ночи.

Плоская местность; в темноте трудно различимые силуэты разрушенных зданий, одиноких деревьев. Наискось, начиная от правого угла, светлеет шоссейная дорога с полуразрушенным каменным мостом через овражек. У левого угла дорога поднимается на невысокий бугор, округло закрывающий часть горизонта. Где-то, очень далеко, небольшой спокойный пожар, почти не дающий зарева. Ночное мглистое черное небо в разных направлениях иссечено лучами германских прожекторов. Лучи в непрестанном тревожном движении.

Около моста, с трудом переехав его, остановился автомобиль, в котором перевозят в Антверпен раненых: Эмиля Грелье и его сына; с ними Жанна и молодой доктор, военный. В автомобиле что-то испортилось: с маленьким фонариком возится у машины солдат-шофер. Около него доктор Ланглуа.

Доктор *(с беспокойством)*. Ну что? Как?

Шофер *(разглядывая)*. Пока не знаю. Кажется, засорился карбюратор.

Доктор. Серьезная поломка?

Шофер. Нет, не знаю.

Морис *(из автомобиля)*. Что там такое, доктор? Мы не можем ехать?

Шофер *(сквозь зубы)*. Поедем.

Доктор. Пока еще неизвестно. Что-то засорилось, кажется. Он говорит, что это не серьезно.

Морис. А долго будем стоять?

Доктор *(шоферу)*. Долго будем стоять?

Шофер *(сквозь зубы)*. Почем я знаю. Минут десять, я думаю. Посветите мне, пожалуйста.

Передает фонарь доктору, тот светит.

Морис. Тогда я выйду.

Жанна. Лучше не надо, Морис. Ты можешь ушибить руку.

Морис. Нет, ма́ма, ничего, я осторожно. Где тут ступенька? Как неудобно. Хоть бы прожектором посветили.

Спрыгивает и смотрит, что делает шофер.

Однако какая гадость. Мы застряли.

Шофер *(ворчит)*. Мост! Разве можно ехать по такому мосту!

Доктор. Да, неприятно. Нам надо было выехать раньше.

Морис *(пожимая плечами тихо)*. Па́па не хотел. Как же мы могли. *(Громко.)* Ма́ма, как ты думаешь, наши уже, вероятно, в Антверпене?

Жанна. Да, я думаю. Эмиль, тебе не холодно?

Эмиль Грелье. Нет. Мне очень приятно дышать воздухом. Я чувствую себя сильнее.

Доктор *(Морису)*. Мы, кажется, еще в той полосе, которая...

Морис. Да, в той... Который час, доктор?

Доктор *(рассматривая часы)*. Без двадцати... без четверти десять.

М о р и с. Значит, уже четверть часа, как взорваны плотины. Так! Мама́, ты слышишь: сейчас без четверти десять.

Ж а н н а. Да, я слышу.

М о р и с. Но странно, что взрывов не было слышно совсем.

Д о к т о р. Что вы, мосье Морис! Очень далеко!

М о р и с. А мне казалось, что такие взрывы должны быть слышны за сотни километров. Боже мой, как это странно все! Где-то наш дом и сад; его скоро зальет водой... интересно, как высоко она поднимется! Неужели до второго этажа?

Д о к т о р. Возможно. Ну что же вы — как у вас дела?

Ш о ф е р *(ворчит)*. Делаю.

М о р и с. Смотрите, смотрите! Мама́, смотри, как бегают прожекторы! Они как будто испугались. Папа́, ты видишь?

Э м и л ь Г р е л ь е. Жанна, приподними меня немного.

Ж а н н а. Я не знаю, дорогой мой, можно ли?

Д о к т о р. Немного можно, если только не очень больно. Перевязка сделана крепко.

Ж а н н а. Тебе больно?

Э м и л ь Г р е л ь е. Нет, ничего. Да, они испугались.

М о р и с. Папа́, они бегают по небу как сумасшедшие! Смотрите, смотрите!

Слабо осветив всю группу, проносится голубоватый призрачный свет.

Прямо в глаза! Это с какой-нибудь возвышенности, папа́?

Э м и л ь Г р е л ь е. Вероятно. Их или известили, или вода уже подходит.

Ж а н н а. Ты думаешь, Эмиль?

Э м и л ь Г р е л ь е. Да. Мне кажется, что с той стороны я уже слышу шум воды. Тянет свежестью и тиной.

Все прислушиваются и смотрят в ту сторону, откуда послышался шум.

Д о к т о р *(беспокойно)*. Однако как это неприятно! Нам было необходимо раньше выехать, мы очень опоздали.

М о р и с. Папа́, а мне кажется, что это голоса. Ты послушай, как будто бы кричат. Много, много народу. Папа́, это кричат пруссаки. Это они!

Слышно что-то далекое и смутное, похожее на рев отдаленной толпы. Как будто выстрелы. Как будто вопли военных рожков. Мечутся прожекторы.

Э м и л ь Г р е л ь е. Они.

Д о к т о р. Если через четверть часа мы не тронемся...

Э м и л ь Г р е л ь е. Через полчаса, доктор.

М о р и с. Папа́, как это красиво и страшно! Дай мне руку, мама́.

Ж а н н а. Зачем?

М о р и с. Хочу поцеловать. Мама́, ты без перчаток!

Ж а н н а. Какой ты глупенький, Морис.

М о р и с. Мосье Ланглуа сказал, что мне через три дня можно будет снять повязку. Ты только подумай, через три дня я снова смогу взять ружье! О, кто это? Смотрите, кто это?

Все около автомобиля принимают напряженно-оборонительные позы: у шофера и доктора револьверы. Со стороны поля и из канавы показывается какая-то тень. Вблизи это к р е с т ь я н и н, раненный в ногу, идет медленно, опираясь на палку.

Кто идет?

К р е с т ь я н и н. Свои, свои. А вы кто? Едете в город?

М о р и с. Да, в город. Да вот сломалось, чиним. А вы зачем здесь?

К р е с т ь я н и н. Зачем я здесь?

С любопытством рассматривает незнакомых людей, его так же, осветив фонарем, внимательно разглядывают.

Ш о ф е р. Да светите же мне!

К р е с т ь я н и н. Раненого везете? Я тоже ранен в ногу. Не могу ходить, трудно, вот на палку опираюсь. В город едете? А я лежу в канавке и слушаю: говорят по-французски, я и выполз. Меня зовут Жаклар.

Д о к т о р. Как вас ранили?

К р е с т ь я н и н. Я шел по полю, они и выстрелили. Должно быть, думали, что это кролик. *(Хрипло смеется.)* Должно быть, думали, что это кролик. Что нового, господа? Пропала наша Бельгия? *(Смеется.)* А? Пропала наша Бельгия?

М о р и с. А вы разве не знаете?

К р е с т ь я н и н. Что знать? Лежу и на небо смотрю, вот и все, что я знаю. Вы небо-то видели? Вы посмотрите, я все время смотрю. Что на небе-то, а? Как это можно объяснить?

Э м и л ь Г р е л ь е. Садитесь к нам.

М о р и с. Послушайте, вы садитесь к нам. Очевидно, вы ничего не слыхали. Отсюда надо убираться. Вы знаете: плотины взорваны. Понимаете: плотины!

Молчание.

К р е с т ь я н и н. Плотины?

М о р и с. Да. Вы слышите крик вон там? Слышите? Это они кричат, пруссаки!

К р е с т ь я н и н. Вода?

М о р и с. Вода. Вероятно, уже подходит, они узнали. Послушайте, далеко, а как слышно!

Крестьянин хрипло смеется.

Садитесь, вот тут можно, автомобиль большой. Доктор, помогите ему, а я посвечу.

Ш о ф е р *(ворчит)*. Садитесь, садитесь! Эх!

Д о к т о р *(с беспокойством)*. Что? Плохо? Надо скорее, шофер, так же нельзя! Вода идет. Надо нам было раньше, раньше выехать.

М о р и с. Какая гадость, однако!

Ж а н н а *(громко и возбужденно)*. Они вас подстрелили, как кролика? Ты слышишь, Эмиль,— они думали, что это бежит кролик! Разве вы так похожи на кролика.

Так же громко смеется, крестьянин вторит ей.

К р е с т ь я н и н. Похож, да! Совсем как кролик.

Ж а н н а. Ты слышишь, Эмиль: он говорит — совсем как кролик!

Смеется.

Э м и л ь Г р е л ь е. Жанна!

М о р и с. Мама́, что ты!

Ж а н н а. Мне смешно... мне смешно, что они принимают нас за кроликов. А теперь кто же мы: водяные крысы? Эмиль, ты представь, водяные крысы в автомобиле!

М о р и с. Мама́!

Ж а н н а. Нет, нет, я больше не смеюсь, Морис! *(Смеется.)* А кто же мы еще? Кроты? Надо нам уйти в землю?

К р е с т ь я н и н *(смеется)*. А теперь должны в землю...

Ж а н н а *(все так же)*. А на земле будут они? Эмиль, ты слышишь?

Э м и л ь Г р е л ь е. Дорогая моя... Дорогая моя...

М о р и с *(доктору)*. Послушайте, надо что-нибудь. У вас нет, послушайте!.. Мама́, мы сейчас поедем, мамочка!

Ж а н н а. Нет, я ничего, я больше не смеюсь. Какой ты глупый, Морис. Мне просто захотелось говорить. Я слишком долго молчала, все молчала, и мне хочется болтать. Эмиль, я тебя не беспокою, что говорю? Отчего так молчала вода, Эмиль? Это король сказал: вода очень молчалива? А мне хотелось бы, чтобы она ревела, чтобы это был гром... Нет, я не могу, я не могу выносить этой тишины! Ах, почему так тихо — я же не могу!

М о р и с *(шоферу)*. Милый, пожалуйста, ну скорее!

Ш о ф е р. Да! Да! Делаю, делаю. Сейчас поедем.

Ж а н н а *(вдруг кричит угрожающе)*. Но я не могу! Я не

могу! *(Закрывает себе рот руками, зажимает его, но сквозь стиснутые пальцы пробивается придушенный вопль.)* Я не могу!

Морис. Мама́!

Эмиль Грелье. Все будет, Жанна. Все будет! Я знаю. Я тоже. Но все будет, Жанна!

Жанна *(все так же сквозь пальцы, но затихая)*. Я не могу!

Эмиль Грелье. Все будет, Жанна! Бельгия будет! Солнце будет! Мне трудно, но я знаю, Жанна!

Морис. Скорее, скорее же!

Шофер. Сейчас, сейчас. Теперь хорошо, сейчас.

Эмиль Грелье *(слабо)*. Жанна.

Жанна. Да, да, я знаю... Прости, прости, я сейчас...

Из темноты громкий женский, несколько охрипший голос.

Девушка. Послушайте, скажите, как пройти мне к Лонуа?

Здесь восклицания неожиданности.

Морис. Кто это?

Жанна. Эмиль, это она! *(Смеется.)* Она тоже как кролик!

Доктор *(бормочет)*. Что такое, что такое... Кто?

Освещает девушку. Платье ее растерзано, глаза безумны. Крестьянин смеется.

Крестьянин. Опять пришла?

Шофер. Да светите же!

Доктор. Да, да.

Девушка *(громко)*. Как пройти мне к Лонуа? Ну!

Эмиль Грелье. Морис, ее надо удержать. Дитя мое, дитя мое! Доктор, вы!

Шофер. Поставьте же фонарь! Черт вас возьми, наконец!

Девушка *(кричит)*. Прочь руки! Нет, нет, вы меня не...

Морис. Ее нельзя...

Девушка убегает.

Эмиль Грелье. Доктор, надо нагнать. Она погибнет, скорее...

Во тьме преследование. Девушка убегает.

Крестьянин. Она и меня спрашивала, как пройти к Лонуа. А я откуда знаю. Лонуа!

В темноте женский крик и тишина снова.

Эмиль Грелье. Ее необходимо поймать. Что же это, это невозможно.

Морис. Но как же, папа́...

Прислушиваются. Тишина и далекие глухие крики толпы, впрочем, это может и казаться. Жанна смеется, сдерживаясь.

(Бормочет.) Теперь он пропал. Ах, Боже мой...

Шофер *(торжествующе громко)*. Садитесь! Готово.

Морис. Но ведь доктора нет. Ах, Боже мой! Папа́, что делать?

Шофер. Надо кричать, эх!

Морис и шофер кричат: доктор, эй! Ланглуа!

(Сердито.) Я обязан доставить мосье Грелье, и я его доставлю. Садитесь.

Морис *(кричит)*. Ланглуа!

Вдали глухой отклик.

Идите! Доктор!

Отклик ближе.

Крестьянин. Не поймал. Ее не поймаешь. Она и меня спрашивала про дорогу. Сумасшедшая *(смеется)*. Теперь таких много.

Эмиль Грелье *(умоляюще)*. Жанна!

Жанна. Но я не могу, Эмиль. Что это? Я не понимаю? Что это? Где мы? Боже мой, я ничего не понимаю. Я все понимала, я все понимала, а теперь? Где Пьер? *(Настойчиво.)* Где Пьер?

Морис. Ах, скоро ли он! Мамочка, мы сейчас!

Жанна. Да, да, мы сейчас. Но я ничего не понимаю. Где это? Почему такой сон, почему такой сон? Я не понимаю. Кто пришел? У меня нехорошо в голове. Кто пришел? Почему так?

Голос из темноты, довольно близко: эй!

(Испуганно.) Кто кричит? Какой странный сон, какой страшный, страшный, страшный... Где Пьер?

Морис. Мама́!

Жанна *(кричит)*. Я не могу. *(Тише.)* Я не могу, зачем вы мучите меня? Где Пьер?

Эмиль Грелье. Он умер, Жанна.

Жанна. Нет!!!

Эмиль Грелье. Он умер, Жанна. Но клянусь Богом, Жанна — Бельгия будет жива. Плачь, кричи, ты мать, я сам плачу с тобой — но клянусь Богом: Бельгия будет жива!

Мне дано видеть, и я вижу: здесь зазвучат песни, Жанна. Здесь будет новая весна, и деревья покроются цветами,— клянусь тебе, Жанна, они покроются цветами. И матери будут ласкать своих детей, и солнце будет светить на их головы, на их золотые головки, Жанна! Крови не будет. Я вижу новый мир, Жанна. Я вижу мой народ: вот с пальмовыми ветвями он встречает Бога, вновь сошедшего на землю. Плачь, Жанна, ты мать! Плачь, несчастная матерь, с тобою плачет и Бог. Но будут счастливые матери — я вижу новый мир, Жанна, я вижу новую жизнь!

Занавес

Конец

САМСОН В ОКОВАХ

ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Самсон.
Мариам — его мать.
Слепая из Иудеи.
Ахимелек — внук и преемник филистимского царя Рефаима.
Галиал — знатный филистимлянин, советник и учитель Ахимелека.
Далила — его сестра.
Адорам — его брат.
Фара — филистимский воин, друг Галиала.
Гефтора — наложница Галиала.
Ягаре-Оргим — тюремщик.
Аморрей — военачальник.
Верховный жрец Дагона.
Ахузаф } граждане.
Одоллам }

Жрецы, воины, филистимские вельможи и народ.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

В мягком камне грубо вырубленная пещера с одним столбом-колонной посередине. Под самым потолком пещеры довольно большое, с неровными краями, квадратное окно, защищенное толстыми железными полосами; в левой стене проход, оттуда спадают в пещеру массивные каменные ступени. Ложе у стены, стол и скамья — все из камня, все грубо, массивно и тяжело. Пещера эта служит темницей для важных преступников, и теперь в ней заключен Самсон, сын Маноя, ранее бывший судией израильским. Красный весенний закат. Лучи солнца наискось падают в пещеру, наполняют ее красноватым сиянием отсветов. Самсон только что вернулся с работ и лениво валяется на своем ложе. Он слеп и грязен, имеет вид раба. Мощный торс и ноги обнажены, и только вокруг бедер какое-то грязное цветное тряпье; борода и огромные волосы в диком беспорядке. На руках и ногах тяжелые оковы.

Самсон *(лениво зовет тюремщика)*. Ягаре! Ягаре-Оргим! Пойди сюда.

Чешется, тяжело переваливаясь и звеня цепью, старается достать спину.

Ягаре, пойди сюда. Отчего ты не идешь? Эй! Ягаре-Оргим!

Спускается по ступеням тюремщик, маленький, сухой старик, похожий на козла.

Ягаре. Что надо? Что кричишь? Ну!

Самсон. Почеши мне спину. Я не достану.

Ягаре. За этим звал, собака? Сам почеши.

Самсон. Я не достану. Цепь мешает. Почеши мне спину.

Ягаре. Пойди к стене, как овца, и чешись. Грязный скот!

Выходит.

Самсон. Куда ты?

Ягаре. Тебе за едой. Какой ты грязный скот, Самсон! У тебя оплевана вся борода. Умойся, кувшин с водой на столе.

Самсон. Не стану. Почеши мне спину, Ягаре. Ягаре, Ягаре-Оргим!

Тюремщик вышел. Самсон нехотя встает и чешет спину у стены. Ворчит. Проходя полосу солнца, останавливается и стоит некоторое время на расставленных нелепо ногах, подставив солнечным лучам волосатую грудь. Таким застает его Ягаре, принесший пищу; толкая обходит его.

Не толкайся.

Ягаре. А ты не стой на дороге. Иди есть.

Самсон. Ягаре, это солнце?

Ягаре. Солнце. Ты как раз попал.

Самсон. Как раз? Оно у меня на груди?

Ягаре. Да. Довольно, иди есть, Самсон.

Самсон. Сейчас. Оно немножко греет. А ночью опять будет стужа, и я опять буду трястись от озноба. Собаки! *(Идет к столу.)* Зачем сегодня меня привели сюда? Или завтра праздник?

Ягаре. Праздник. А разве у жерновов тебе лучше?

Самсон *(смеется)*. Там беспокойно спать. Сегодня она будет искать меня в яме, чтобы проклинать всю ночь, а меня нет. *(Ест.)* Собаки, все собаки. Она тоже слепая. Какую гадость ты мне даешь, я не стану этого есть! Другим то же дают?

Ягаре. Не глупи. Это дают всем рабам.

Самсон. Я не раб.

Ягаре *(смеется)*. А кто же ты?

С а м с о н *(бессмысленно смеется)*. Я пророк. Тут нечего есть, одни жилы. Я хочу еще!

Я г а р е. Довольно с тебя и этого. Какие у тебя зубы, Самсон! Ты грызешь кости, как шакал.

С а м с о н. Скажи: как лев. *(Ворчит.)* Она тоже слепая. Ваши ее зовут: Слепая из Иудеи. Она меня проклинает. У нее голос, как у совы.

Я г а р е. Плюет в лицо?

С а м с о н. Нет, не плюет. Филистимляне плюют и бьют меня по щекам и выдергивают волосы, а иудеи нет, не смеют. Она меня проклинает словами нашего Бога. Собаки, и филистимляне и иудеи, все собаки. Давай вина, Ягаре!

Я г а р е. Не глупи.

С а м с о н *(горланит)*. Ягаре! Давай вина! А то я тебя задавлю. Вина!

Я г а р е *(злобно)*. Если ты, грязный скот, опять будешь приставать с вином, я позову рабов, и они отхлещут тебя бичами. Иудейский пес, ты мне надоел! Я двадцать лет в тюрьме, и она моя, а не твоя,— молчи.

С а м с о н *(негромко)*. Козел. От тебя воняет козлом.

Я г а р е. Я велю забить тебя до смерти! Ты мне надоел! Это я тебе говорю, злой Ягаре-Оргим!

С а м с о н *(ворчит)*. Я пошутил, я просто посмеялся. Не сердись, старик. Но мне так хочется вина, семь лун я уже не пил вина. А знаешь, сколько я прежде пил? Всегда пил, когда хотел, а я столько его хотел... Я хорошо жил. А другие пьют?

Я г а р е. Рабы не пьют.

С а м с о н. Нет, пьют.

Я г а р е. Ты опять?

С а м с о н. Рабы всегда крадут и пьют. Я буду просить царя. Если я раб, то отчего меня не держат вместе с ними? У них хорошая жизнь. Пусть дадут мне хижину и рабыню для услуг. Я слепой, мне все равно, какую, только бы женщину. Правда, старик?

Входит ю н о ш а - р а б, помощник Ягаре-Оргима, убирает посуду.

Я г а р е *(хихикает)*. Спроси у Сафута. Сафут, тебе все равно, какую женщину?

С а ф у т *(стыдливо)*. Все равно.

Все трое смеются.

С а м с о н. Нет, правда. А теперь я, как жеребец без матки. Я люблю женщин, я имел их много. Они сами приходили ко мне и просились на ложе, потому что я был красив...

Я г а р е. Самсон — ослиная похоть.

Сафут стыдливо смеется, не уходит.

С а м с о н. Нет, правда. Меня и Далила звала на ложе, она меня очень любила.

Тюремщики смеются.

С а ф у т. Ягаре-Оргим, он лжет?

Я г а р е. Лжет.

С а м с о н. Нет, не лгу. Очень, очень любила. Она раздевалась и танцевала передо мною, такая белая. Такая белая! Нет, я не лгу. И на ногах у нее, на ее тоненьких ножках, беленьких ножках, были золотые кольца, и они так звенели: зын-зын-зын. Как у козочки.

Я г а р е. Ты хотел бы такую, Сафут?

С а ф у т *(смеясь)*. Хотел бы.

С а м с о н. Ну да!— потому что я был красив и меня звали пророком. Я был судиею над Израилем. Что вы смеетесь, собаки? Меня все боялись и почитали. Когда я на площади ставил седалище свое, юноши прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи...

Я г а р е *(глумливо)*. Князья?

С а м с о н. Сокрушал я беззаконному челюсти, и все меня боялись. Что смеетесь, собаки? Я мог говорить с Богом.

С а ф у т. Зачем он так говорит, Ягаре? Он опять лжет?

Я г а р е. Опять. Это самый большой лжец во всей Иудее.

Оба хохочут.

С а м с о н. Нет, это правда, клянусь вашей богиней Иштар. Я могу когда угодно говорить с Богом. Когда хочу, тогда и говорю.

Я г а р е. И он тебе отвечает? Ну, довольно, довольно, а то принесу бич. Ступай, Сафут, здесь тебе нечего делать. И я пойду, мне некогда, некогда. Пусть болтает один.

С а м с о н *(ворчит)*. Филистимские собаки! Козел!

Я г а р е. Ну! Ну!

С а м с о н. Оставь мне кость, Сафут, я еще не доел.

Я г а р е. Оставь ему кость, пусть грызет.

С а м с о н. Не уходи, Ягаре, мне еще не хочется спать. Поговори со мной.

Я г а р е *(уходя)*. Некогда, некогда! Погрызи кость и спи, заснешь.

С а м с о н *(негромко, вдогонку)*. Козел!

Оба тюремщика уходят. Самсон нащупывает кость и кладет на пол, возле своего каменного ложа; сам ложится, ворочается и готовится ко сну. Говорит сонно и вяло.

Самсон. Надо спать, а у меня болит все тело. Как измучили меня филистимские собаки! Днем жжет меня солнце, а ночью знобит стужа, а ночью... *(Глухо и равнодушно стонет, по привычке.)* И все болит, все болит и чешется, и чешется. Хижину и рабыню, молоденькую, да, молоденькую... Кость я положил? Положил. Нет, я не лягу. *(Сонно зовет.)* Далила! Далила!

Молчание. Темнеет. Со стороны входа повелительный стук в железную дверь, голоса, приказания. Быстро входит со светильником Ягаре.

Ягаре. Вставай, Самсон! Самсон! К тебе пришли.

Самсон вскакивает. Испуган, почти в ужасе.

Самсон. Кто? Ягаре, кто? Не надо, не пускай!..

Ягаре. Молчи ты!..

Самсон испуганно отодвигается в угол, прижимается к стене. На лестнице голоса многих людей, свет факелов. Сопутствуемая вооруженными рабами, спускается Далила, останавливается, не доходя последней ступени. Далила юна, как девушка, и прекрасна собою. С нею оба ее брата: рыжий Галиал с белым как мел, дергающимся лицом и красивый презрительный Адорам. Все одеты с царственным великолепием.

Адорам *(негромко)*. Где же он? Тюремщик!

Ягаре *(кланяясь)*. Он здесь. Самсон!.. Он очень испугался, господин, он спал. Он спрятался. Самсон, иди сюда!

Самсон. Не пойду.

Адорам. Он понимает, что ему говорят?

Ягаре. Не знаю, господин. Его разум омрачился, как я думаю, и мы сейчас только смеялись над его речами. *(Хихикает.)* Но простые слова он понимает. Самсон, к тебе пришли... Самсон! Сюда никто не ходит, господин...

Галиал *(тюремщику)*. Отойди, глупец. Вы, светите! Самсон, отчего ты не выходишь сюда?

Самсон. Я сплю. Не трогайте меня, не надо. *(Кричит.)* Не надо!

Галиал. Очнись. Это не сон! Очнись и выйди к нам.

Молчание. Самсон делает нерешительный шаг вперед.

Самсон. Вот я. Я не знаю, кто вы и зачем пришли. Сюда никто не ходит. *(Кричит.)* Ягаре! Ягаре-Оргим, где ты?

Ягаре. Я здесь. Не кричи! Если ты будешь кричать и упрямиться, они прикажут принести бич и...

Галиал. Молчи!— Ты не узнаешь моего голоса, Самсон? Припомни. Ты его слышал в последний раз тогда, когда и свет видел в последний раз. Вспомни каленое железо, Самсон!

Самсон. Это ты, Галиал? Не убивай меня, я не сделал ничего дурного. Ягаре лжет на меня.

Далила. Он не хочет тебя убивать. А мой голос ты узнаешь, Самсон?

Самсон. Твой голос, женщина... О!

Бросается на колени, звеня цепями, униженно лбом прижимается к полу.

Далила! Госпожа моя, Далила! Твой раб счастлив, что ты удостоила твоими белыми ножками... твой раб счастлив, прости, Далила, твой раб счастлив!

Адорам *(негромко)*. Он отвратителен. Какое скверное животное!

Галиал. А ты болтун! Встань, Самсон.

Далила. Поднимись, Самсон, я хочу тебя видеть. Поднимись же.

Самсон нерешительно встает. Факелы ярко освещают его изуродованное, с выжженными глазами, дикое лицо.

(Отшатываясь.) Так вот... так вот ты какой! Говори с ним, Адорам, я не могу.

Галиал *(предостерегающе)*. Сестра!

Далила. Я ничего. *(С судорожным смешком, похожим на всхлипывание.)* Так вот он... какой!

Галиал. Эй вы, с факелами — назад!

Адорам *(равнодушно и презрительно)*. Здравствуй, Самсон. Я брат Далилы, Адорам, ты узнаешь меня? Когда-то мы с тобой дружили — помнишь моих египетских певиц и плясуний? Если ты хочешь знать, я был против твоего ослепления и сейчас нахожу, что это было глупо. Мы пришли узнать, как ты живешь. Что же ты молчишь?

Самсон. Я н-не знаю, что мне говорить. Сюда никто не ходит. Здесь тьма.

Адорам. Да, пожалуй, и я на твоем месте не знал бы, что говорить. Не угодно ли тебе продолжать, брат, или тебе, сестра? С меня довольно.

Далила. Самсон! Это я, Далила,— ты помнишь? Мы, я и братья, мы пришли... Завтра праздник богини Иштар, и по дороге в храм мы зашли к тебе... Ты помнишь, что это за праздник, Самсон? Ты помнишь богиню Иштар? Иштар!

Самсон. Нет, госпожа. Я ничего не помню. Я прошу не наказывать меня строго, если я... Я работаю, как вол, я не ленюсь!

Далила. Ты не помнишь? Это праздник весны и любви, Самсон. Когда мы подходили сюда, звезда Иштар уже дро-

жала и искрилась в огне заката, а скоро взойдет луна... Ты помнишь луну, Самсон? Вспомни: дома все станут белые, а тени от них черные, и тогда — ты помнишь?— юноши и девы филистимские пойдут в сады и рощи, чтобы до утра славить богиню Иштар. Они будут плясать и петь... ты хотел бы пойти с нами?

С а м с о н. Нет. Я слеп. Мне будет страшно под луною, которой я не увижу. Но голос твой сладок, как мед пчелиный — о госпожа моя Далила! Я ничего не помню и не знаю, я верный раб царя филистимского. Попроси же царя, чтобы мне дали хижину, как другим рабам, и молодую рабыню для услуг слепцу.

Д а л и л а *(почти со слезами)*. Я тоже буду петь и плясать... Ты помнишь мои танцы, Самсон?

С а м с о н. Не смейся, госпожа. Сжалься надо мною, госпожа моя Далила! *(Повелительно.)* Эй, Ягаре-Оргим, собака — освети меня — смотри, Далила, смотри: вот они выщипали мне бороду, видишь, вот здесь — каждый день по волосу. Они меня бьют и щиплют, они мешают мне работать, я не ленив!

Падает на колени.

Сжалься над моими страданиями, госпожа! Лицо мое оплевано, спина моя в струпьях от незаживающих ран, а я работаю, как вол. Я не ленив, они лгут! Пожалей бедного слепца.

Стукает лбом о камни, звеня цепями; продолжает невнятно бормотать. Филистимляне тихо переговариваются.

А д о р а м. Он отвратителен. Во что он превратился?— Он был князем в своей земле. И такой тебе нужен, Галиал?

Г а л и а л. В твоей голове бродят вино и песни, и ты не умеешь смотреть. Сестра! Будь сильнее и говори, что надо.

Д а л и л а. Сейчас! Не торопи меня.

А д о р а м *(громко)*. Эй, Самсон, князь израильский, не бормочи и слушай. Ты скольких перетягиваешь верблюдов?

С а м с о н. Трех. А они требуют еще больше, я не могу.

А д о р а м *(с ленивым смехом)*. Этого для тебя достаточно, Галиал: три верблюда? Ну, встань, раб, довольно.

Самсон встал, прислушивается.

С а м с о н. И еще я хотел бы просить тебя, госпожа, чтобы давали мне вино, оно мне нужно для веселья. Куда мне пойти? — я слеп. А если выпить вина... *(Подобострастно смеется.)* Добрые господа понимают это, хорошее вино радует душу.

Г а л и а л. Мы выйдем, Далила, мы будем близко. Идем, Адорам. Эй ты: оставь светильник и уходи.

Все, кроме Далилы, выходят.

Д а л и л а. Самсон! Ты помнишь меня? Вспомни: я Далила. Ты помнишь мою красоту?

С а м с о н. Да.

Д а л и л а. Говорят, что я стала еще краше. Я делила твое ложе. Ты помнишь, Самсон?

С а м с о н. Да.

Д а л и л а. Я любила тебя! Клянусь богиней Иштар, я любила тебя, как ни одного человека. Семь лун прошло с тех пор, но клянусь светлым ликом Иштар: когда сегодня я шла сюда, сердце билось у меня ужасно, я думала, что я умру. Ты околдовал меня, Самсон, и твои чары еще на мне. Ты слышишь?

С а м с о н. Да. Мне нужно хижину и рабыню. Все равно какую — я слеп!

Д а л и л а. Ты не веришь мне?

Молчание.

Это твое ложе? Ты спишь на камне. Это больно — спать на камне. Самсон... и ты не хочешь пойти на праздник богини Иштар? Я тоже не пойду, я буду ждать тебя. Прийди ко мне, прийди. Я умащу елеем твои волосы и сама каждый день буду заплетать их в семь косиц. Прийди! Я благовониями натру твое тело, и я одену тебя в шелковые одежды, и золотые кольца будут на твоих руках. Они все — трусливые собаки, воющие шакалы, а ты лев! Прийди!

С а м с о н. Ты обманешь. Я тебе не верю. Вы все хитрые, а я слеп! А зачем пришел с тобою Галиал?

Д а л и л а. Теперь он твой друг. Он хочет дать тебе много... так много, как целое царство! Прийди!

С а м с о н. Ты видишь мои глаза? Он отнял у меня свет. И ты помогала ему, филистимлянка, ты предала меня. Молчи! Я слеп!

Д а л и л а *(страстно)*. Он обманул меня, проклятый! Что я понимала?— а он клялся, что ты волхв и что тебя надо убить. Он злой и криводушный, он и теперь таит в сердце обманы и ложь, но я узнала его. Он думает, что он сам пришел сюда, а это я привела его, клянусь богиней Иштар, это я привела его! И я ненавижу его: это он, проклятый, выжег твои глаза. Они были, как голуби при потоке вод, купающиеся в молоке, а он их выжег, проклятый! Ты хочешь мести, Самсон? Сладкой мести, как фарсисское вино? Настанет час силы нашей, и мы его убьем, на огне сожжем его

подлое сердце. Поверь мне, возлюбленный! Ты слышишь, Самсон?

Самсон. Я слышу.

Далила. Это для тебя мой голос сладок, как воркование голубицы, а для него я стану змеею. *(Нежно.)* Я страшна в гневе, о возлюбленный мой! Я никогда не прощаю, и он знает это, и он боится меня, лжец. Не верь его крику, он трус! Прийди же ко мне! Прийди! Я жду тебя на душистом ложе моем, я жду. Души во мне не стало с той поры, как ты ушел! Прийди!

Молчание.

Самсон. Мне надо хижину и рабыню. Скажи царю Рефаиму: Самсон, сын Маноя из Цоры, на коленях просит...

Появляется Галиал. Глазами и дергающимся лицом спрашивает сестру, но та гневно потупила глаза и не отвечает. Выражение лица Галиала часто не соответствует его словам: речь добродушна и ласкова, а в лице злоба и гнев, глаза страстно бегают и ищут.

Галиал. Я за тобою, сестра, нам надо уже идти. Ну, как, Самсон, поговорил ты с ней? Правда, какая она хорошая? Она очень хорошая, она тебя любит. И я люблю, я твой друг, Самсон, мы все твои друзья. Брат Адорам, ты его помнишь?..

Самсон. Что вам нужно от меня? Семь лун я здесь и семь лун не слышал я вашего голоса. Отчего ты теперь заговорил?

Галиал. Она тебя любит, она все время говорит мне о своей любви. «Галиал!»— говорит она...

Далила *(гневно)*. Галиал!

Галиал *(смеется)*. Разве не правда, Далила? Я не хотел говорить при рабах, но меня послал к тебе милостивый царь Рефаим. «Пойди к Самсону,— сказал он,— пойди к Самсону и спроси, не нужно ли ему чего? Он в темнице, и я уже не гневен, отошло мое сердце»,— сказал он. Да, да, семь лун прошло с того несчастного дня...

Самсон. Я слеп!

Галиал. Да, да, это большое несчастье. Но я так рад, что ты все понимаешь, ты все так же мудр, судия израильский! И ты понимаешь, что мы все ошиблись, ужасно ошиблись: ты наш друг, а мы считали тебя врагом. Я слыхал, что иудеи проклинают тебя, зовут предателем, грозят тебя убить,— это правда?

Далила. Я иду, Галиал.

Галиал. Идем, идем. Так ты прийдешь к нам, Самсон?

Приходи. Я и всегда любил тебя, друг Самсон, но если царь приказывает...

Далила. Прощай, Самсон.

Самсон. Прощай.

Галиал. Прощай! Так ты прийдешь к нам? Но не торопись ответом, я еще зайду к тебе поговорить. *(Смеется.)* Хочешь много золота, Самсон? Я так, я пока еще шучу, но я прийду, я прийду.

Самсон. Мне надо хижину и рабыню для услуг. Госпожа моя, Далила! И еще я прошу тебя: пришли мне вина сегодня — нет, сейчас.

Далила. Хорошо.

Галиал. Вина? Все будет, что ты пожелаешь, Самсон. Какой он умный, Далила, правда? Но я еще прийду поговорить с ним... *(Смеется.)* Хижину и рабыню — это для Самсона, для царя... ах, какой он умный!

На лестнице их встречает Ягаре-Оргим, уходят вместе.

Свети нам. Прощай, друг Самсон!— Это тебя зовут: злой Ягаре-Оргим? Ты у меня не будешь злым...

Самсон один. Ищет места, где бы спрятаться, укрывается за каменный столб.

Самсон *(глухо ворчит)*. А мне нечем ударить!.. Ах, я слеп! Я ударю цепью. Если они бросятся, я ударю цепью. Злые собаки, лживые собаки!.. Друг Самсон... золото... Ах, я слеп! Кто идет?

Ягаре. Это я, Самсон. Что с тобою, господин? Это я, твой добрый Ягаре-Оргим. Очнись.

Самсон. Ты один? Там кто-то дышит. Я чувствую его дыханье. Кто с тобою еще?

Ягаре. Я один, все ушли.

Самсон. А кто там дышит? Там — там!

Ягаре. Клянусь семерыми из бездны — я один! Все ушли, и дверь заперта. Очнись, Самсон, это я, твой добрый Ягаре-Оргим.

Самсон *(ворчит)*. Ну, иди! А с каких пор ты стал добрым, собака? Лжешь ты, все лгут. Они меня напугали! Скажи, это не было во сне,— ты их тоже видел?

Ягаре. Видел, господин.

Самсон. Я слышал только голоса без людей. Как много они говорили, я устал слушать. А что говорил тебе Галиал?

Ягаре. Господин Галиал приказал почитать тебя и исполнять твои приказания, Самсон.

Самсон. И золота тебе дал?

Я г а р е. Дал!

С а м с о н. И много?

Я г а р е. Много, Самсон,— столько, что душа моя улыбнулась и я стал добрым. Я добрый Ягаре-Оргим!

С а м с о н. Если много, то это хорошо: Галиал скуп. Если я лгу больше всех в Иудее, то рыжий Галиал самый большой лжец на свете... но правду золота он знает. Он хитрый! *(Угрюмо.)* А он не просил тебя, чтобы ты подбросил яду в мою пищу? Или зарезал, когда я усну? Или подвел меня к обрыву и сказал: иди, Самсон, тут прямая дорога?

Я г а р е. Нет, нет, клянусь семерыми! Они тебя почитают, иудей.

С а м с о н. А! Теперь веришь, собака? А тогда не верил. Скажи мне про Далилу, что ты видел.

Я г а р е. Теперь я ничего не вижу, как и ты: мои старые глаза ослеплены ее красотою. Она прекраснее всех жен филистимских!

С а м с о н. А!— ты видел. А ты видел, что она сама пришла сюда? Своими ножками шла, шла и пришла. Как жаль, что здесь негде ходить. Я хотел бы быть в пустыне и прыгать по скалам,— мне здесь тесно, Ягаре! А скажи мне еще раз — она прекрасна?

Я г а р е. Прекрасна, Самсон.

С а м с о н. Скажи еще раз, нарочно я не слыхал. Она прекрасна?

Я г а р е. Прекрасна! Ее бледному лику позавидует сама богиня Иштар.

С а м с о н. Так, так, Ягаре. А скажи мне, как все они одеты, хорошо?

Я г а р е. Как цари! Галиал весь сиял, как золотой. Его виссоновые одежды...

С а м с о н. Пусть разверзнется земля и возьмет Галиала! Я не хочу о нем слышать. Расскажи, как одета Далила. На ней тонкая шелковая епанча?

Я г а р е. Да.

С а м с о н. Какого цвета ткань?

Я г а р е. Цвета яхонта, Самсон! И на ногах ее красивые цепочки, звезды и луночки...

С а м с о н *(радостно хохочет)*. И серьги, и ожерелья! Я помню. И запястья, и пояс драгоценный! Ты видел у нее сосудцы с духами? От нее так хорошо пахло, как от финикийского корабля, нагруженного благовониями. Теперь как ты скажешь, собака филистимская: пророк я или нет? Говори.

Я г а р е. Пророк, я вижу это и кланяюсь тебе, Самсон. Какие люди к тебе приходили!

С а м с о н *(помолчав)*. Нет, я не пророк. Я раб милостивого царя филистимского. *(Угрюмо.)* У тебя слишком длинные уши, Ягаре-Оргим: сколько ты получил, чтобы предать меня?

Я г а р е. Я твой верный раб, Самсон. Разве ты не знаешь мою доброту? А вон и вино для тебя, господин!

С а ф у т вносит на голове большую глиняную амфору с вином.

Сюда, сюда ставь, мальчишка. И уходи, тебе здесь нечего делать. Сейчас я дам твою чашу, Самсон, она здесь. Ох, стар я и не сразу нахожу вещи! Вот.

С а м с о н. Я не стану пить.

Я г а р е. Не глупи, Самсон! Отчего ты не станешь пить?

С а м с о н. Не стану. Оно отравлено. Выпей прежде ты, я посмотрю, как ты сдохнешь, филистимский лжец.

Я г а р е *(смеется)*. Вот так я сдохну! *(Пьет.)* Это царское вино, я никогда не пил такого!

С а м с о н. Царское? Я знаю вкус царского вина, дай мне попробовать немного. *(Пьет.)* Знаешь, Ягаре, а это царское вино, я узнал. Налей мне еще! Клянусь богиней Иштар, сегодня я буду пьян, как египтянин. *(Пьет.)* Оно само льется в горло... Собаки!— не давали мне вина. Выпей, Ягаре-Оргим, я позволяю.

Я г а р е. Благодарю, Самсон, я выпью. Само льется в горло!

С а м с о н. Само. Пей, я позволяю, но не задерживай чашу. Ягаре!— это чистое фарсисское вино, клянусь Богом.

Я г а р е. Они тебя боятся. Но какие люди!

С а м с о н. Они меня боятся. Они знают, что я могу сделать все, что хочу. Что ваши боги? Я скажу только слово, и Единый размечет их капища, развеет по ветру города и камни превратит в легковеющую пыль! Я пророк, я судия израильский, и мне стоит сказать только слово...

Я г а р е. Теперь и я боюсь тебя, иудей!

С а м с о н. Тебя я не трону. Но я буду долго торговаться с ними, они меня не обманут, как молодую женщину на базаре, которую потом бьет муж. Не задерживай чашу, старик! А ты не знаешь, зачем я стал нужен им? Не ведут ли они снова войну с Египтом? Или с Сидоном? Я не люблю египтян.

Я г а р е. Я ничего не знаю, Самсон, откуда мне знать?

С а м с о н. А финикийцев я люблю, они всегда дарили мне пурпур и душистые трости. И филистимлян я люблю, они богатые и веселые. А иудеи — собаки!

Ягаре. Собаки! Ты скажи Галиалу: дайте мне тысячу сиклей золота, никак не меньше... тридцать перемен одежд...

За окном с пением и плясками проходят филистимские юноши и девы. В окно падает косой луч месяца.

Самсон. Молчи!.. Что это, старик? Как хорошо!

Ягаре. Идут на праздник. Прежде и мы ходили, Самсон, э? *(Хихикает.)*

Самсон. Молчи! Как хорошо... Нет, это очень хорошо! Я помню, какая бывает луна: дома белые, тени от них черны и теплы. Луна холодит. *(Громко кричит.)* Далила, ты ждешь меня?

Ягаре смеется. Самсон протягивает руки и громко зовет:

Далила! Ты ждешь меня?

Пение удаляется.

Ягаре. Давай петь и мы. *(Поет козлиным голосом.)* Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Играй складно...

Самсон. Молчи, шакал, и давай вина. Я пророк! Я меч Господень! Я судия над Израилем! Захочу — и все вы поползете на брюхе к моим ногам. Вина! Ягаре! Светильник горит?

Ягаре. Да. Можно еще зажечь, у меня масла много.

Самсон. Нет. Потуши! Я хочу думать, что я не слеп, пусть здесь будет просто темно. Потушил?

Ягаре *(обманывая и кому-то хитро подмигивая)*. Потушил.

Самсон. Это ночь. Это просто темная ночь, и это пустыня вокруг меня. Ты слышишь, как воют шакалы? Это они пришли на труп льва, которого я убил. Но почему нет звезд? Ягаре! Почему нет звезд?

Ягаре. Небо в облаках, и звезд не видно. Не надо звезд! *(Поет.)* Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно...

Самсон. Если ты не замолчишь... собака! Почему нет ветра, я тебя спрашиваю! В пустыне всегда ветер, и лицо мое хочет ветра. Дуй, Ягаре!

Ягаре. Я не ветер. Не задерживай чашу.

Самсон. Дуй, а то я удушу тебя! Где ветер? Зажги светильник.

Ягаре. Горит твой светильник, не глупи.

Самсон. А почему темно? Я хочу видеть. Где свет? Я должен видеть свет — сейчас же!.. Слышишь! Где конец

у тьмы? Я хочу схватить и разорвать ее, но у меня нет краев. Давай свет, собака!

Ягаре. Не глупи. Сейчас я зажгу все светильники. Возьми цитру, ходи по городу.

Самсон. Зажигай все! Скорее! Я ничего не вижу.

Зажимает руками глаза. Ягаре, пошатываясь и напевая, идет на лестницу.

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Полная луна над древним Аскалоном. Городская площадь, окруженная невысокими, восточного склада, белыми домами — с плоскими крышами, с окнами, обращенными во внутренние дворы; у одного из домов каменная белая ограда, за которою купа дерев и одинокая, стройная, высокая пальма. На одной стороне дома и часть мостовой из плоских квадратных камней залиты неподвижным светом луны; тени другой стороны почти черны. В отверстия двух узеньких улиц, спадающих вниз, открываются глубокие смутные дали, призрачные в очаровании лунного света. В углу площади фонтан с сонно-журчащей водой; посередине каменное, под навесом, круглое углубление, где среди массивных столбов покоятся теперь неподвижные тяжелые жернова; от улицы они отделены редкими железными прутьями. Все это сооружение, за исключением навеса, находится в тени, и Самсона не видно.

Тихо и пусто. Из ямы доносится глухой вздох, потом протяжное звяканье цепи, грузный перебор железных колец: то во сне повернулся на другой бок Самсон. И снова тихо; еле слышно плещется вода в фонтане. Что-то веселое напевая про себя, громко отбивая шаги по камню, поднимается из улочки прохожий, пересекает площадь, но вдруг останавливается и молча, с глубоким вниманием, смотрит в направлении темной ямы. Прохожий весь озарен луной; стоит долго и неподвижно, лицо немо и озабоченно, в глазах напряженный блеск лунного света. Бросает последний взгляд и медленно удаляется, не напевая больше, не стуча ногами. Тишина. Где-то далеко, у городской стены, перекликаются стражи; еще более далекий лай многочисленных собак, из-за чего-то подравшихся. Смолкают.

Негромко разговаривая, выходят на площадь трое граждан: два старика и третий молодой, высокий, красивый, по виду воин. Останавливаются на освещенном конце площади далеко от ямы.

Воин Аморрей *(невольно звучным голосом)*. Да я вижу. Я еще не заходил сюда, но теперь припоминаю. И все так же плещется фонтан. Но какой маленький наш Аскалон после прекрасной Ниневии! Там есть одна площадь...

Первый гражданин. Тише, Аморрей! Он, кажется, спит.

Аморрей. Можно разбудить. Эй, Самсон!..

Первый гражданин *(хватая за руку)*. Оставь. Не надо.

Второй гражданин. Не бойся, Ахузаф! Рабы спят

крепко, а у этого израильского скота мертвый сон. Но здесь ли он? Тише...

Прислушивается. Из ямы доносится тот же глухой сонный вздох и продолжительное бряцание цепи. И снова тихо.

Аморрей *(улыбаясь)*. Гремит цепью, точно собака.

Второй гражданин. Да. Теперь его часто берут отсюда, и яма всю ночь остается пуста.

Аморрей. Куда берут?

Второй гражданин. А мы разве знаем? Нам ничего не говорят.

Первый гражданин. Да, да, мне это не нравится. Мне многое не нравится из того, что я вижу и слышу.

Аморрей *(с легкой усмешкой)*. Прежде было лучше, почтенный Ахузаф?

Первый гражданин. Лучше.

Второй гражданин *(осторожно)*. Я думаю, что царь Рефаим слишком стар. Ему восемьдесят два года, как и мне. Трудно в наши года бороться с молодым. Ахимелек юн и доверчив, и у него злые советники.

Первый гражданин. Да, худо, худо.

Аморрей. А мне двадцать четыре года, и я бы хотел мечом сразиться с Самсоном. Вы качаете головами?

Первый гражданин. Да, худо, худо. Ты молод, Аморрей, ты долго был на чужбине и ты стал почти чужим нашему народу...

Аморрей. Это неправда!

Первый гражданин. Да, да, Аморрей, ты молод и отважен, как и внук нашего мудрого Рефаима, прекрасный, как солнце, но безумный Ахимелек...

Аморрей. Кто смеет называть царевича безумным?

Второй гражданин. А кто смеет кричать, когда старцы не повышают голоса? Или так делается в Ниневии?

Аморрей. Прости, Одоллам. Но я не понимаю...

Первый гражданин. Да, да, ты многого не понимаешь. Ты хочешь сразиться с Самсоном мечом, а он и меча никогда не носил, этот князь нищих, этот злой бес, буйный ветер из пустыни!

Аморрей. Но как же он убивал мужей филистимских? Я слыхал: он их много побил.

Первый гражданин. Да, много. Не счесть. Он убил их гневом.

Аморрей. Гневом? Я не понимаю или вы шутите: как можно убить гневом?

Первый гражданин. Ты молод, Аморрей.

Второй гражданин. Против меча есть меч, а что есть против волшебства и злых волхвований? Ты молод, Аморрей.

Аморрей *(насмешливо)*. Но Дагон стар. Или Израильский бог сильнее Дагона?

Первый гражданин. А кто теперь почитает Дагона? Не ты ли, ниневиец?

Вдали веселое пенье, звуки гусель и тимпана.

Второй гражданин. Наш прекрасный Аскалон, нет города на земле прекраснее его! Восемьдесят лет топчу ногой я эти камни, и смотрю на эту луну, и слушаю песни наших юношей и дев, и молюсь великому Дагону. Был я молод и пел сам, теперь я стар и слушаю других, а в старом сердце все радость и любовь. Светлая богиня Иштар, будь защитой твоему Аскалону, спаси его от злых и темных чар, пожалей прекрасных дев, славящих тебя так сладко!

Первый гражданин. Да, худо, худо. Пока чародей в яме, мы спим спокойно; но вот опустеет яма...

Аморрей. И это сонное животное, и этого ощипанного женщинами петуха ты называешь чародеем? Я не знаю, что с вами, мои почтенные учителя. Сегодня праздник в Аскалоне, я шел на пир к Гефторе, куда зван, но вы привели меня сюда — слушать, как храпит израильская собака; теперь вы хотите, чтобы я боялся его... я, Аморрей — военачальник! Лучше я продолжу мой путь к Гефторе и музыкой потешу мой слух, упьюсь вином и любовью, а не страхами перед нестрашным.

Первый гражданин. Да, да, потише, Аморрей! Мои трое сыновей пали от руки этого ощипанного петуха.

Аморрей *(смущенно)*. Я этого не знал, почтенный Ахузаф. Но ночь так прекрасна, и мне так хочется веселья...

Второй гражданин. Тише. Слушай.. Тише!

В уличке слышится громкое и равномерное постукивание деревянного посоха. Приближается.

Первый гражданин *(со страхом)*. Слепая!

Второй гражданин. Слепая из Иудеи! Уйдем скорее, скорее.

Тащит за собою Аморрея, уходят в тень.

Аморрей. Но я хочу взглянуть! Я не понимаю, что за страхи бродят над Аскалоном?

Первый гражданин. Тише, тебе говорят, безусый!

Аморрей *(тихо)*. Кто это: Слепая из Иудеи? Волшебница так же?

В т о р о й г р а ж д а н и н. Мы не знаем.

А м о р р е й. Она иудейка?

В т о р о й г р а ж д а н и н. Да. Народ отступился от Самсона. Она иудейка. Она каждую ночь приходит проклинать Самсона. Она проклинает и плачет. Она плачет ужасно, она воет, как стая шакалов под лапою голодного льва. Идем.

А м о р р е й. Сейчас! Я хочу только взглянуть. Она безумная?

Слушают. Стук палки все ближе.

В т о р о й г р а ж д а н и н. Как и весь их народ... Молчи. Вот она.

На свету, вся облитая сиянием месяца, показывается С л е п а я и з И у д е и. Постукивая длинной палкой, идет решительно к яме.

А м о р р е й *(шепчет)*. Она стара или молода?

В т о р о й г р а ж д а н и н. Молчи...

Слепая остановилась и прислушивается.

С л е п а я *(гневно)*. Кто здесь еще? Я слышу разговор.

Молчание.

Самсон, ты здесь? *(Делает шаг к яме и прислушивается.)* Самсон, ты здесь? Или мне опять плакать всю ночь над твоим пометом? *(Стучит палкой.)* Самсон! Чье дыханье я слышу — это не твое, Самсон? Самсон!

Краткий, как будто робкий звук соскользнувшей цепи. Слепая смеется. Громким смехом вторит ей Аморрей; его схватывают за руку и увлекают; недолгий звук поспешных шагов вниз по уличке.

Кто смеется еще? Или засмеялось эхо лживых домов филистимских? Проклятый город, в котором и камни смеются над нашим горем. Самсон, собака, я пришла из Иудеи. Спишь? Не лги, пророк, я слышала, как звенел ты цепью. Вставай, вставай!

В яме продолжительный и грубый зевок, свободное бряцание цепи.

Утомился, пес? Натрудился за день, раб филистимский?

Садится наземь возле клетки; лицо ее освещено луной, глаза скрыты покрывалом. Теперь видно, что она молода и красива.

Я устала подниматься в гору. Вставай, Самсон, вставай!

С а м с о н *(грубо)*. Ты опять пришла проклинать и плакать, сова? Уходи, я хочу спать.

С л е п а я *(смеется)*. А! Заговорил, пророк израильский. Заговорил, грязный раб филистимский! Ну, что еще скажешь, мудрый судия? Говори.

Самсон. Я не боюсь твоих проклятий. Ты мне надоела, нищая. И слезы твои мне надоели. *(Смеется нехотя.)* Иди к шакалам и вой с ними, а я буду спать.

Слепая. И он еще смеется и не давится смехом своим! Что делать народу Божьему, что делать Израилю?

Покачивается на свету.

Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили: под тенью его будем жить среди народов. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша.

Самсон. Криво поешь, ночная птица. Это вы меня предали, грязные трусы. Когда меня взяли обманом, кто из иудеев пришел освободить меня?

Слепая. А где бы мы взяли силу, которая вся у тебя? Ты вел Израиля, предатель.

Самсон. Попрятались в норы и шипят оттуда, ядом брызжут. Я вас ненавижу, отступники! Вы жили за моей спиной, мошенничали, воровали коз друг у друга, ходили по Газе и Аскалону, задравши носы, и толкали филистимских воинов,— а когда я упал, вы гневаетесь, рабы. Ты мне надоела. Филистимляне мои честные враги, я их истреблял, и они меня пленили, но они кормят меня и дают вино. А что вы дали, нищие?

Слепая. Куда ты дел твою силу, Самсон? Ты сам себя обманул, проклятый. Ты Божью силу отдал плясуньям аскалонским, финикийскому вину, ты променял ее на золото офирское. Или и пророк бывает блудницей и избранники Божии продаются на базарах, как овцы? Скажи.

Самсон. А кто меня избрал? Я не хотел этого и не просил.

Слепая. А разве Бог спрашивает избранников своих? Молчи, обесчещенный, плачь, обездоленный, бей себя в грудь, слепой меняла у ворот. Ты был гордостью Израиля, надеждою для взоров, а чем ты стал? Стыдом и позором, мерзостью и поношением! Чей дух не смутится, чьи глаза не заплачут, увидев царя в яме, вождя в подначалии. Где венец твой, князь израильский, где твоя держава и жезл повелевающий? Грязен ты, как скот, и нет тебе оправдания, изблеванный из уст Господних! Будь ты проклят, сластолюбец, блюдолиз филистимский, прихлебатель, лакающий похлебку из свиного корыта!

Самсон *(смеется)*. Слепая! Я и вчера пил вино.

Слепая. Лжешь и хвастаешь — кто даст такому!

Самсон. А ты знаешь, когда я говорю правду и когда

лгу? Я и вчера пил вино. Мне дадут все, чего я захочу. Я только не хотел еще, а теперь захочу. Эй, слепая! Скажи твоей нищей Иудее, что я скоро прийду с силою и повалю ее хижины, и растопчу ногой ее младенцев, и женщин брошу на ложе филистимское!

Слепая. Ты же сам иудей! Что ты болтаешь, словоблуд ночной?

Самсон *(ворчит)*. Сам иудей!.. А ты видала, в пустыне, как змеи дерутся между собой? И я стану большим змеем для Иудеи, я проглочу ее народ, в крови ее детей я омою мои грязные ноги — топчилом виноградным я сделаю всю землю вашу!

Слепая. Уж не правду ли ты говоришь? Отчего ты не смеешься? Твой голос нов и страшен. Ах, я слепа и не вижу твоего лица. Засмейся, чтобы я услыхала, зазвени цепями, чтобы я поверила! Самсон!

Самсон. А! Испугалась, змея!.. Что же ты не шипишь, змея? Наклонись ко мне, слушай: я тебя ненавижу. Слушай еще: я тебя ненавижу. Откуда столько змей в Иудее? Они жалят в сердце. Ехидны, вы опутали мое сердце, вы в душе моей положили гнезда и вывели детенышей; они ползают и шипят, они шипят и жалят. Яма змеиная — ухо мое, и лучше б я оглох. Прочь отсюда! Умолкни и умри навсегда, голос ночи. Я не слышу тебя больше.

Слепая. Ужасный, что ты ответишь Богу? Проклятый, ты мрачнее мрака, ты темнее тьмы.

Самсон. Я не хочу быть невольником у вашего Бога.

Слепая *(пугаясь)*. Что ты сказал, Самсон?

Самсон. Я ничего не сказал. Тебе послышалось, я молчу. Прочь отсюда, ехидна! Умолкни, голос ночи, я тебя не слышу больше!

Резкое громыхание цепи и молчание в яме.

Слепая. Самсон. Скажи еще! Самсон! Я иду к народу нашему, что ему сказать? Я иду на гробницу отца твоего, Маноя,— что ему сказать? Самсон! Мать твоя, Мариам, больна и умирает и ждет слова от тебя — ты слышишь? Проклятый, ты жив?

Молчание. Вдали звуки песен и музыки.

Боже Израиля, мне страшно! Или я уже умерла, и это мрак смерти вокруг меня? Самсон!.. Или я одна среди смерти? Ай, мне страшно!..

Быстро уходит, почти бежит, натыкаясь на стены и вскрикивая. Негромко зовет кого-то: «Гедеон! Гедеон!» Скрывается в уличке; слышен ее подавленный стон ужаса — и молчание. В яме звяканье цепи, стон и глухой голос.

С а м с о н. Или я уже умер и это мрак смерти вокруг меня? Кто кричал так громко и кто ушел? Или это опять сон, видение сонное, чары тьмы? Я не хочу. Кто здесь есть? Помогите Самсону! Далила! Далила! Приблизьтесь, поющие во сне. Я один. Какой ужасный мрак! *(Кричит.)* Эй, сюда, скорее! Сюда!

На площадь с шумом и говором выходят Г а л и а л, его друг Ф а р а, рослый, надменный и спокойный филистимлянин, р а б ы Галиала и в о и н ы.

Г а л и а л. Чей это голос? Это ты, Самсон? Отчего ты кричишь, ты один... не ужалил ли тебя тарантул?

С а м с о н. Это я! Возьми меня отсюда.

Г а л и а л. Я за этим пришел. Эти негодяи оставили тебя здесь, и я велел отхлестать их бичами. Я пришел к тебе в темницу, и вдруг тебя нет; тогда мы бросились сюда... Эй, отковать и вывести Самсона!.. Живее, рабы!

Воины и рабы отковывают Самсона от столба и выводят на площадь. Галиал и Фара тихо разговаривают.

Он чем-то испуган. Ты слыхал его крик, Фара?

Ф а р а. Я не думал, что он трус.

Г а л и а л. Он не трус. Хотел бы я знать, что он видел. Ты слыхал его крик?

Ф а р а. Он слепой: что мог он видеть?

Г а л и а л. Да, да! Я люблю тебя, Фара, ты так спокоен всегда. Теперь он будет мне благодарен... собака! Как он кричал. Да, он слеп. Собака! Ты замечаешь, как с ним осторожны наши воины?

Ф а р а. Я бы их наказал за это.

Г а л и а л. Ты не знаешь сомнений и страха, друг Фара! Слишком многих, слишком многих пришлось бы наказать тогда... Вот он... посмотри на него поближе.

Подходят к Самсону, неподвижно стоящему среди кучки воинов; последние, по знаку Фары, слегка отходят в сторону. Группа из троих залита лунным светом; сияют виссоновые одежды Фары и Галиала, его золоченая кольчуга, блестит оружие; лицо Самсона мрачно и неподвижно под светом месяца, как каменное. Пение и звуки музыки становятся ближе.

Вот ты и вышел из ямы, друг Самсон, и больше не вернешься туда... если захочешь. Но как они смели забыть! Я приказал держать тебя в темнице, я так боюсь, чтобы эти коварные иудеи... Мне показалось, что ты кричал, или я ослышался?

С а м с о н. Что-то проползло по моей ноге, вероятно, тарантул. Кто еще с тобой, кто слушает нас?

Г а л и а л. Это мой друг, Фара, тот, что победил финикиян. Помнишь? Он и твой друг, здесь все твои друзья. Но

нас могут услыхать... Отчего ты не приходишь к нам? *(Тихо.)* Далила ждет тебя! Она не пошла на праздник и ждет тебя, Самсон.

Самсон. Отчего твой друг молчит?

Фара. Я смотрю на тебя, Самсон.

Самсон. Не могу ответить тебе тем же, воин: я слеп. Господин мой, Галиал, прикажи отвести меня в темницу. Я привык к моему каменному ложу и не ищу для себя лучшего.

Галиал. Ты мудр, Самсон, ты мудр, как змий. Привык к каменному ложу... Что он говорит, ты слышишь, Фара! *(Тихо.)* Я к тебе прийду сегодня.

Самсон *(так же тихо)*. Приходи. Но один!

Галиал. Да. Эй, Иовис, сюда! Отведите Самсона в темницу, но будьте к нему добры: его постигло несчастье, и он не виновен в своей судьбе. *(Делает Иовису энергичные знаки.)* Прощай, друг Самсон.

Самсон. Прощай, господин мой Галиал. *(Сделав шаг, оборачивается.)* Скажи: сегодня луна или светло?

Галиал. Да. Богиня Иштар благосклонна к нам.

Самсон. И с одной стороны дома белые, а с другой черные, и тени от них черны?

Галиал. Ты как будто видишь!

Самсон. Да, я как будто вижу. Прощай. Ведите же меня и дайте руку... Не бойся, трус, я не сломаю тебе руки! Веди.

Самсона уводят. Некоторое время еще слышен звон его оков. Галиал в беспокойстве заглядывает в спокойное лицо Фары.

Галиал. Ну как? Ты его видел близко, что же ты скажешь, Фара? Что ты думаешь о нем?

Фара. Думать — не мое дело, Галиал.

Галиал. Тебе не показалось, что он лжет? У него уже другое лицо, чем было семь дней назад. Собака! Я не хотел говорить, но тогда он показался мне ничтожным, жалким рабом, разум которого погас от слепоты. И какой у него слух: он услыхал твое дыхание, Фара!

Фара. Я всегда громко дышу. Не знаю, что видел ты, Галиал, но я и теперь видел только раба. Он грязен и противен. Его тело нравится моему глазу, он был князем и повелителем, но какая сила может быть у слепца? Прикажи его добить, как слепого коня.

Галиал. Нет! Нет! Ты не знаешь, и никто не знает. Я один. Ах, как это трудно, друг Фара: знать одному то, чего никто не знает!

Ф а р а. Это правда. Я всегда говорил, что ты, Галиал, наш истинный царь и повелитель. У царя Рефаима уже не осталось ни одного зуба, он стар, а этот мальчик, это Ахимелек...

Г а л и а л. Тише, друг, тише!

Ф а р а. Мальчик пригож и смел, но ты управляешь им, как я своим конем. Что он знает? А ты знаешь все, как Дагон. Ты один сумел ослепить дикого Самсона и наложить на него оковы.

Г а л и а л. Да, это я! Они даже думать не смели.

Ф а р а. А теперь ты хочешь расковать его,— значит, так надо. Разве я спорю? Ты все знаешь.

Г а л и а л *(страстно шепчет)*. Я возьму его силу, Фара! Что этот меч, который скользит по железу и ломается в руках: ты держал ли в руке вихрь, который вырывает деревья и разрушает города? В моей власти будет ураган. Одним его дыханием я подниму волны и опрокину финикийские корабли. Одним его дыханием я смету врагов филистимского народа и моих.

Ф а р а. Ого! Ты так веришь в него?

Г а л и а л. У меня много врагов. Нашу семью ненавидят эти глупцы. Но что мои враги! Я сокрушу всех. Что мечи, что сила человеческая против божьей силы? Ах, Фара! Ты держал ли молнии в своих руках? Он глуп, он нищий, он грязный пес, который сам не знает силы своих зубов,— в моих руках он станет молотом, а вся земля наковальней. Какой престол скую я для филистимского царя!

Ф а р а. Ты будешь царем египетским. Я пойду за тобою.

Г а л и а л. Нет, нет! Дагон меня накажет, если я этого захочу. Я только для народа, только для народа, Фара. Но сейчас я один, я один!

Ф а р а. А я?

Г а л и а л. О, сколько лжи на моем честном пути. Мне приходится терпеть брата, этого развратного глупца Адорама, потому что его любит Ахимелек. Мне надо льстить и кланяться мальчишке и старикам, выжившим из ума, щекотать сердце у влюбленных женщин. Я один даже в семье!

Ф а р а. А мне нравится вся твоя семья. *(Со вздохом.)* Богиня Иштар не пожелала, чтобы ко мне склонилось гордое сердце сестры твоей Далилы, и я очень несчастен, Галиал. Мне бы хотелось умереть, но это все равно, я вас очень люблю. Не думай о глупцах, не надо, тогда сам глупеешь; или скажи мне, и я мечом отсеку ложь у самого корня. Ты не пойдешь к твоей Гефторе? Она будет огорчена.

Г а л и а л. Нет.

Фара. И у тебя есть женщина, которая любит тебя, а я один. Вот у этого водоема Далила раз поцеловала меня, но только раз. Этого мало на всю жизнь. Она была еще девочкой тогда и не знала Самсона. А скажи, это правда: она любит его?

Галиал. Далила? Не знаю. Да, любит. Ах, я многого еще не знаю. Я тебя люблю, Фара! Скажи мне, чего я не знаю: я трус — или смелый воин? Я боюсь Самсона.

Фара. Если бы ты боялся и бежал от него, то был бы трус; но ты боишься и идешь к нему,— нет, ты не трус. Слушай, это они сюда идут! Мне послышался голос Гефторы. Как им весело!

Пение и голоса совсем близко. Женский смех, звуки цитры.

Галиал. И они еще могут смеяться и петь!..

Фара. Отчего же им не петь? Сегодня весь Аскалон звучит песнями, и только мы не поем. Ты думаешь, а я вздыхаю.

Галиал *(указывая)*. А эта яма?

На площадь высыпает веселая и пьяная толпа знатных филистимлян и филистимлянок. Смех, пенье, шутки. Пьяного Адорама ведут под руки друзья. Аморрей, звеня доспехами, идет в пляске с женщиной в белом; две другие полуобнаженные женщины поддерживают и обнимают пожилого, толстого, как бочка, филистимлянина. Пьяная, яркая, почти голая, в бешеном танце несется Гефтора. Крики: «К Самсону! Самсон! Его нет в яме!»

Адорам *(поет)*. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Играй складно...

Толстый филистимлянин. Смотрите, Галиал здесь. И мы его ждем!

Первая женщина *(кружащейся в танце Гефторе)*. Гефтора, твой Галиал здесь. Утешься!

Вторая женщина. А это скупой Фара. Какая у него длинная черная тень!

Первая женщина. Как и он сам. Фара, пой с нами и пляши!

Адорам. Мой брат Галиал сторожит пустую яму. Оставь, Галиал, иди лучше пить. Возьми цитру...

Первая женщина. А я не боюсь Самсона!

Вторая женщина. Мы пришли его звать к нам. Играйте, играйте!

Играют гусли и тимпан. Женщины танцуют. Гефтора подходит к Галиалу и целует его.

Гефтора. А я так ждала тебя! Отчего ты не пришел, возлюбленный? Мои губы жаждут твоих поцелуев, и уже два раза я ошиблась...

Аморрей *(издали)*. Три раза, Гефтора!

Гефтора. Он клевещет, господин: всего два раза. Но я не могу ждать так долго. Когда ты не приходишь, становится темно, и я... в темноте...

Галиал. Веселись сегодня без меня, я занят с Фарой. *(Тихо и угрожающе.)* Но не ошибаться!

Гефтора *(испуганно)*. Я пошутила, возлюбленный, я пошутила!

Галиал. И не шутить. Я прийду позже. Веселитесь и пойте! И ты с ними, бессонный Эммор? Ты неутомим в пьянстве, как бог.

Толстый филистимлянин. Днем я таю на солнце, Галиал, а богиня ночи возвращает мне жизнь. И молодые люди нуждаются в наставнике.

Женщина. Ты слишком тяжел, Эммор! Катись сам, ты круглый.

Галиал. Поучи пить Адорама. Но он сегодня и так весел и бодр! Я рад видеть тебя таким, брат.

Адорам. Я пьян, брат Галиал, и женщины покинули меня. Женщины, возьмите меня, я хочу танцевать с вами. Возьми цитру...

Женщина. Перестань! От этой песни весь Аскалон сошел с ума. Пой другое, а то я ущипну тебя...

Смех, музыка, танцы. Гефтора отводит в сторону Галиала.

Гефтора. Прости за шутку, возлюбленный мой. Взгляни на меня светло и без гнева: я умираю, когда не вижу твоей золотой улыбки! Пойдем со мною, я так утомилась ждать тебя. Ты думаешь, я здесь случайно? Я искала тебя, Галиал.

Галиал. Нет, иди. У меня дела. Гефтора, если ты обманешь меня...

Гефтора. Нет, нет.

Галиал. Я не прощу, клянусь Дагоном! Я прийду позже. Мне нужен будет отдых, и вино, и твои ласки.

Гефтора. Все будет, господин.

Галиал. Мне нужен отдых! Как сияют твои глаза,— и в них маленькая Иштар. Сердце ты мое! Но почему сегодня все глаза кажутся мне лживыми,— или я проклят? Нет, я шучу. Завтра мы принесем с тобою жертву Дагону, и я развеселюсь. Иди.

Гефтора *(целуя его)*. Я жду тебя. Как бледно твое дорогое лицо, возлюбленный!

Галиал. Ты вызовешь на нем розы. Иди, сердце мое. Фара, пойди ко мне.

Гефтора. Юноши и девы, идемте дальше! *(Танцуя.)*

Сегодня я хочу исплясать весь Аскалон! Ниневиец, вперед!

Филистимлянин. А Галиал?

Женщина. Играйте, играйте!

Адорам. Где мои ноги? Друзья, переставляйте мои ноги, я больше не могу. Возьми цитру...

Со смехом и пением, танцуя, удаляются. Площадь пустеет и затихает; слышен плеск фонтана. Галиал и Фара одни.

Фара. Вот и ушли. Я был во многих городах, но нет веселее и прекраснее Аскалона. Да сохранят его великий Дагон и милостивая пресветлая богиня Иштар!

Галиал. А эта яма? А там? Ты знаешь, что там?

Показывает рукою вдаль.

Фара. Там пустыня и иудеи. Что же еще? В каком огне твое сердце, Галиал!

Галиал. И мои мысли. Пустыня и иудеи!.. А ты знаешь, что такое пустыня и иудеи? Проводи меня до темницы, друг. Я сегодня буду говорить с Самсоном. Собаке я обещаю груду золота,— ах, чего бы я ни дал ему за его силу! Как ты думаешь, Фара: продаст он или нет за груду золота? Нет! Какой глупец продаст такую силу!

Проходят несколько шагов.

Фара. Иногда мне кажется, Галиал, что ты уже не веришь в Дагона. Правда это?

Галиал *(останавливаясь, испуганно)*. Нет, нет, что ты говоришь, безумный! *(Шепчет молитвенно и со страхом.)* Перворожденный, отец богов, великий!.. Что ты сказал, Фара! Что ты сказал?

Фара. Да, это невозможно. Только глупец может не верить в Дагона. Но откуда же эта тревога, которая сжигает тебя? Мне больно смотреть на твое лицо, так бледно оно, и все бледнее оно становится. Или это от луны?

Галиал. От луны.

Фара. И я так думаю. Отчего мы не идем? Ты улыбаешься?

Галиал. Нет. Ах, я один, Фара! Что со мною: я не знаю, надо ли мне идти к Самсону. У тебя мужественное сердце, Фара, из всех людей ты один никогда не испытавший страха...

Фара. Никогда.

Галиал. И возле тебя спокойно всем. И посмотри, как спокоен наш Аскалон, где мы родились. Как он спокоен и прекрасен! Лучше умереть, чем видеть разрушенными эти

дома, умолкнувший фонтан, женщин, которые больше не поют... Нет, нет!

Фара. Ты так боишься Самсона?

Галиал. Я не трус. Не знаю. Но вот что я расскажу тебе. Этого никто не знает, ах! — я один, Фара. Слушай... Нет, отойдем сюда, там может услыхать прохожий. Слушай! Ты знаешь, что это я ослепил Самсона?

Фара. Да.

Галиал. Это мои сны, других я не вижу; это мои ночи, других у меня нет. Отойдем сюда! Я видел последний взгляд очей Самсона прежде, чем красное железо коснулось их. Он был пьян тогда, и язык его лопотал бессвязное; он был пьян, и в глазах его дико прыгало вино, но на одно мгновение оттуда, из глубины тумана, из-за груды пьяных туч блеснула молния Синая. Их Синая, той горы, на которой их страшный Бог.

Фара. Ты испугался тогда?

Галиал. Не знаю. Но рука моя остановилась. Я смотрел в его глаза. Я знал, что если еще раз блеснет молния оттуда, я умру. Умрут все, и народ наш погибнет. Я ждал.

Фара. Но она не блеснула?

Галиал. Нет. И тогда я,— вот этою рукою,— я насунул вечный мрак на его глаза и душу. Будь ты проклят! — сказал я. Остальное сделали рабы. Уходя, я слыхал, как они сдирали с него золото и били его; я полагал, что они его убьют. Но он остался жив. Фара,— он жив!

Замирает с поднятой рукою. Молчание. Плещется вода в фонтане.

Занавес

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Во внутреннем покое дворца Далилы. Много золота, тяжелых драгоценных тканей, слоновой кости, звериных шкур; основной тон всему дает черное дерево, которое на стенах, в вещах и отделке. Курятся благовония; высокие светильники светят мягко, не убивая тьмы. Но в одном углу, где за парчевой золотистой занавесью вход в опочивальню Далилы, светильники ярки, свет высок и желт. Кажется душным и пьянящим сизый от курений воздух, но в легкости огней и блеске золота много радости.

В соседнем помещении звучат замедленно-нежные истомные голоса египетских певиц-рабынь, замирающие переборы струн. Порою стихают совсем; в тишине легкими всплесками ладоней и звоном золотых колец и запястий отбивается ритм какого-то неслышного танца. И снова слабый рокот струн и призывные, полные томной страсти, замедленно-нежные шепоты певиц. В покое находятся: Далила, оба ее брата и юный прекрасный Ахимелек, внук и преемник престарелого царя Рефаима. Огненно-рыжий Галиал в золоченой кольчуге, в тяжелых тканях осенне-коричневого листа; его страстное лицо бело, как маска. Высокий и гибкий, как камы-

шовая трость, томный А д о р а м одет в легкие ткани блекло-зеленых тонов, в краски угасших надежд и капризной усталости. Легкие одежды смуглого, черноволосого Ахимелека сияют белизной.

Немой раб-нубиец поправляет огни светильников. Для услуг и на зовы являются другие черные, богато одетые рабы.

Ждут Самсона. Галиал беспокойно прислушивается у двери. Ахимелек стоит в глубине, спокоен и задумчив. Адорам лениво развалился на глубоком и низком сиденьи. Молчание.

А д о р а м. Самсон заставляет ждать. Почему ты не велел, Галиал, подгонять его бичами? Он шел бы скорее.

Д а л и л а. Он может не прийти совсем.

Г а л и а л *(оборачиваясь)*. Ты думаешь? Почему?

Д а л и л а. Я не знаю.

А д о р а м. Прийдет, пес; вероятно, Галиал обещал ему хорошую кость. Мне все равно, но нехорошо, что он заставляет ждать царевича. Тебе не скучно, Ахимелек?

А х и м е л е к. Нет.

Г а л и а л *(подходя)*. Он не думает, что здесь будут другие, кроме Далилы, и ему трудно идти. Но я не понимаю, зачем царевичу ждать? Идите и веселитесь, вы молодые люди, а я сделаю все, что следует.

А х и м е л е к. Нет, я сам хочу его видеть.

Г а л и а л. Но едва ли это зрелище будет тебе приятно, Ахимелек! Придя из темницы, Самсон не будет иметь того вида, который впоследствии...

А д о р а м. ...впоследствии придаст ему Галиал. Сомневаюсь!

А х и м е л е к. Нет, я хочу.

Г а л и а л. Царевич юн, но мудростью старше нас всех, ты же, Адорам, только болтун. Ты его увидишь, Ахимелек.

Молчание.

А д о р а м. Брат, а почему в саду и во дворе столько воинов? Это похоже на стан перед битвой.

Г а л и а л. Так надо.

А д о р а м. Галиал волнуется. Сестра, ты заметила у себя эту египтянку, новую, что всегда у стены? Послушай, сестра,— она фальшивит нестерпимо! Ты не находишь, Ахимелек?

А х и м е л е к. Я не знаю. Кажется.

Г а л и а л *(с коротким смехом)*. Самсон не заметит!

А д о р а м. Но я-то замечаю: зачем же портить мне вечер? Ах, Далила, если бы ты послушала, каких певиц подобрал я Ахимелеку! Это...

Входит р а б.

Д а л и л а. Что надо, Татами?

Р а б. Пришли те, кого ты ждешь, госпожа.

Д а л и л а. Пусть войдут. Приготовлено ли масло, вода для омовения и все, что я приказала?

Р а б. Приготовлено, госпожа.

Г а л и а л. Так иди же! Как он медленно ворочается, собака! Иди.

Раб выходит.

Вот он, Ахимелек. Взгляни сам. Это он!

А д о р а м. Ты так хрустишь пальцами, Галиал, что и он услышит.

Г а л и а л. Оставь, болтун. Тише.

Входят С а м с о н и тюремщик Я г а р е - О р г и м. У Самсона все тот же дикий вид; на его руках и ногах тяжелые цепи; придерживаясь за Ягаре, не зная, что впереди, валится вслед за ним на колени, лбом прижимается к полу. Так остаются некоторое время.

С а м с о н. Здравствуй, госпожа моя Далила. Вот я и пришел, как ты приказала.

Д а л и л а. Я не приказывала, но я тебя ждала. Встань, Самсон. Встань, добрый Ягаре-Оргим. Сейчас ты совершишь омовение, и тебе дадут новые одежды, Самсон. Иди и возвращайся скорее, я жду тебя. Ты еще чего-нибудь хочешь?

С а м с о н. А как же цепи, госпожа? *(Снова падая на колени, но с большей смелостью.)* Прикажи расковать меня, госпожа моя Далила! Я верный раб царя филистимлянского, и я не сделаю зла.

Далила смотрит вопросительно на Ахимелека: тот делает утвердительный жест.

Д а л и л а. Будет сделано, как ты просишь. Ты слыхал, Ягаре-Оргим? Идите.

Самсон встает и, придерживаясь за полу одежды тюремщика, звеня цепями, выходит. Здесь молчание. Все смотрят на Ахимелека; тот взволнован.

А х и м е л е к. И это — Самсон? Я его не узнал. Я его видел однажды, и он был прекрасен тогда, как царь, весь Аскалон смотрел на него... а что же это? Это раб!

Вопросительно смотрит на Далилу. Та, вспыхнув, гневно и гордо опускает глаза. Галиал также хмуро потупился.

А д о р а м. Я говорил тебе, Ахимелек. Раньше это было Самсоном и даже моим другом, кажется, теперь это грязное и волосатое животное. Раб.

А х и м е л е к. Мне стало так печально! Я тоже буду ца-

рем, и разве со мной может быть то же? Это так печально, у меня даже заболело сердце. У тебя тоже, Далила?

Далила *(не поднимая глаз)*. Нет.

Ахимелек. Какой злой его Бог! Почему он не дал Самсону смерти? Наш великий Дагон дал бы. Когда царь перестает царствовать, он должен умереть.

Далила *(не поднимая глаз)*. Прикажешь отослать его назад в темницу, повелитель?

Ахимелек *(смотря на сурово молчащего Галиала)*. Ах, я не знаю!

Адорам. И этого не надо: в твоем царстве достаточно рабов и без Самсона. О нем нужно забыть. У сестры есть какие-то славные камешки, которые бесследно растворяются в вине, и человек так приятно умирает после третьей чаши! Ты помнишь этого красавца с постным лицом, этого тоскливого ревнивца, который так надоел тебе, Далила? Но какая у меня плохая память, я совсем забыл его имя...

Ахимелек. Что же ты молчишь, Галиал?

Галиал резко и насмешливо хохочет. Ахимелек, покраснев, с гневом смотрит на его белое как мел, дергающееся лицо.

Как ты можешь смеяться, когда я не смеюсь? Раб! Если ты смеешься надо мною, потому что я юноша,— то я еще буду царем, смотри! Если ты смеешься над ним,— то он был царем! А кто ты? Раб!

Галиал, падая на колени и распростираясь перед Ахимелеком.

Галиал. Прости, повелитель!

Адорам. Галиал волнуется, и смех его не вовремя. Он любит и почитает тебя, царевич.

Ахимелек. Я не сержусь. Встань, не надо! Но я не люблю, чтобы смеялись, когда я чего-нибудь не понимаю. Лучше расскажи, ты мой учитель. Я тоже тебя люблю.

Галиал. Смею ли я учить тебя? Кто я? Раб. Мы все живем, пока есть твоя милость, а отвернешь ты от нас твое светлое лицо...

Ахимелек. Нет, нет. Ты все знаешь, а мне надо еще учиться. И мне не нравится, что Адорам шутит, сейчас не время для шуток. Говори, учитель.

Галиал. Прекрасный юноша! Солнце нашего народа! Сын богов! Глаза мои слепнут, когда я проникаю взором в величие твоих замыслов, в твои божественные дерзания. Мудрый Рефаим неслышно близится к смерти, а в тебе возрождается жизнь всех царей филистимских и их славных богов. Чудесный пришелец из светлой страны золотых островов и синего моря, ты ведешь свой род от далеких богов...

А х и м е л е к. Но говорят, что это сказка и что я вовсе не сын богов?

Г а л и а л. Лживые языки, которые надо вырвать!

А х и м е л е к. Да, в моих снах я вижу иногда эти золотые острова, о которых ты говоришь. *(Вздыхая.)* А здесь все так чуждо мне, и кругом такая скучная пустыня. Там не было пустыни. Ты хорошо говоришь, Галиал.

Г а л и а л. Ты смел и силен, Ахимелек, на твоем челе печать избрания, и народ поклоняется тебе в храмах...

А х и м е л е к *(краснея)*. Не так много, друг! Я еще юноша, почти мальчик.

Г а л и а л. А разве у богов есть возраст? А разве львенок не сын льва? Полно, царевич! Разве солнце на восходе, когда встречают его темные пастухи,— не то же солнце, что в полдень слепит глаза всему живущему? Полно, царевич! Обними орлиным взглядом землю и вспомни слова мудрого Рефаима, твоего деда: Иудея — только отдых на нашем великом пути, случайное становище среди чужих племен. Тебя ждет древний престол фараонов, повелитель!

А х и м е л е к. Да, я знаю, ты уже говорил это. Но разве Самсон может быть военачальником? Он слеп... и ты видел, какой он.

Г а л и а л. А Иудея? Она вцепилась в наши ноги и не пускает нас дальше. Мы как волна моря, разбившаяся у скалы! Мы как луч солнца, встретивший каменную стену. А Иудея?

А х и м е л е к. Они покорны и платят дань исправно, ты говорил.

Г а л и а л. Это покорность зыбучего песка, который втягивает и душит, расступаясь. Опасайся их, царевич, это страшный народ! Мрачный, он гасит нашу радость; лукавый, он гнется и расступается подобно тростнику, но не хранит путей пришельца и забывает его законы. Мы стоим недвижимо! Сотни лет, как слепые рабы безжалостной судьбы, мы косим все один и тот же скудный луг. Народ мятежный, лживые дети!

А х и м е л е к. Это правда. Говорят, что они все волхвы.

Г а л и а л. Им ведомы тайны злых очарований. Ты заметил, что наши великие боги бессильны в этой стране рабов и грязных нищих?

А х и м е л е к. Разве? *(Со страхом.)* Я этого не знал, ты никогда не говорил. Это правда, Далила?

Молчание.

А д о р а м *(с усмешкой)*. Наши боги!.. А тебе не кажется, Галиал, что и наших великих богов мы где-то украли по до-

роге и они любят больше всех прежних владельцев, чем нас?

Ахимелек *(с гневом и страхом)*. Не смей так говорить! Ты ни во что не веришь, Адорам! Пойди со мною в храм Дагона, и ты увидишь много иудеев, которые толпятся у жертвенника с своими козлятами и голубями. Дагон велик!

Адорам. Но Галиал боится не Дагона... Но я согласен с вами: нам надо уходить отсюда, здесь невыносимо. Здесь наш смех глохнет, как в подземельи. Здесь нельзя взглянуть на красотку, чтобы кто-нибудь тотчас же не проклял тебя! Попробуем Египет.

Ахимелек. Самсон тоже волхв?

Галиал. Да. Великий волхв. Они зовут это пророком. Его силой мы сокрушим их силу.

Ахимелек. А он не убьет нас?

Галиал. Мы его купим.

Ахимелек. Разве он такой плохой? Он был царем.

Галиал. Он любит золото, вино и... *(Быстро взглядывает на Далилу.)* Он ненавидит Иудею, которая прокляла его, и он согласен. Я говорил с ним.

Ахимелек. Но он слеп.

Галиал. Мы будем его глазами.

Ахимелек. Ах, ты так на все умеешь ответить. Но есть ли у него сила? И велика ли она? Он тебе показывал ее?

Галиал *(хмуро)*. Да. Не слушай этих болтунов, которые ни во что не верят, не слушай стариков, которые всего боятся,— доверься мне, повелитель! Спроси Фару, он также твой верный слуга, как и я. Не верь жрецам, которые уже болтают, что я изменил Дагону. Это неправда! *(Молитвенно шепчет.)* Великий, перворожденный, отец богов... Что делали жрецы, пока он умерщвлял наших воинов и мужей? А я ослепил его, и я воздвигну его силу для твоей славы, Ахимелек! Во имя Дагона!

Молчание.

Ахимелек. Я тебе верю. Поцелуй мою руку, Галиал.

Галиал коленопреклоненно целует руку царевича.

Адорам *(сестре, тихо)*. Лжет Галиал или говорит правду?

Далила *(пожимая плечами)*. Спроси его.

Ахимелек. Но я еще хочу взглянуть на него, можно?

Галиал. Ты приказываешь, царевич.

Ахимелек. Я буду смотреть твоими глазами, но это потому, что я так хочу. Ах, мне все-таки его жаль! Тебе тоже, Далила?

Входит раб.

Р а б. Госпожа! Иудейский раб, Самсон, ждет твоих приказаний.

Г а л и а л *(гневно)*. Не раб, а судия израильский! Если ты мне еще раз скажешь, собака!.. Зови сюда.

Раб выходит.

(Решительно.) Мы станем в тот угол, сестра. Он не услышит нас.

Д а л и л а *(с неудовольствием)*. Вы будете ему мешать...

Г а л и а л. Он не догадается... *(Тихо.)* Далила, потерпи, я молю тебя! Ты умнее их всех, ты одна понимаешь, Далила. Я дам тебе все, все! Я сам бы выгнал этого щенка!..

Д а л и л а *(громко)*. Тогда и я выйду в опочивальню. Вы лучше его рассмотрите, пока он будет один.

Удаляется в опочивальню. Галиал поспешно, улыбаясь царевичу, присоединяется к нему и Адораму. Выходит С а м с о н. Подстриженная и подровненная борода его завита по ассирийскому обычаю, длинные волосы заплетены в семь косиц, перевитых золотом; одет он в роскошные тяжелые ткани; на голых руках браслеты, в ушах тяжелые золотые кольца. В нерешимости останавливается у порога.

С а м с о н. Далила! Где ты, Далила? Это я пришел, Далила!

Молчание.

Здесь нет никого. Она сейчас прийдет.

Осторожно, протянув руки, подвигается вперед.

Так, так. Здесь прежде что-то стояло... Нет.

Ощупывает, медленно подвигается.

Так, так. Припоминаю. Надо сюда, направо... верно! *(Смеется.)* Вот я и вернулся! Так, теперь сюда, назад. Она, пожалуй, и не заметит, что я слепой.

Останавливается и с выражением крайнего удовольствия гладит пальцами ткани своих одежд, впивает душистый воздух, прислушивается к замедленно нежному напеву египетских рабынь. Глубоко и сильно дышит.

Те же песни, те же песни... *(Громко.)* Далила! Далила!

Входит Д а л и л а.

Д а л и л а. Я здесь, Самсон, я здесь. Дай твою руку. Отчего она дрожит, Самсон?

С а м с о н. Так. Я перестану дрожать. Так. Это ты, Далила. Ты одна?

Д а л и л а. Да.

С а м с о н. Какая у тебя теплая, белая рука... Почему я сказал: белая? Нет, пусти мою руку. Смотри, я один пройду, как будто я вижу. Можно мне пройти или нельзя?

Д а л и л а. Все можно, Самсон.

С а м с о н. Смотри!

Стараясь скрыть нерешительность шагов, с мучительно-напряженным выражением лица проходит взад и вперед. Самодовольно смеется.

Ты видела, Далила? А скажи, на мне золотистые одежды, да?

Д а л и л а. Да. Почему ты знаешь, Самсон?

С а м с о н. Я вижу пальцами. *(Смеется.)* Я вижу пальцами! А вот это — белое. А вот это... твоя рука *(осторожно касается обнаженной руки Далилы)*, это тоже белое. Да? *(Смеется.)* Вот как я вижу! У тебя новые рабыни?

Д а л и л а. Да. Некоторые.

С а м с о н. А поют старое. Мне очень нравится. Мне нельзя вина... немного?

Д а л и л а. Можно. Все можно, Самсон!

Стоящие в углу слушают так: Адорам не смотрит на Самсона и с скучающим видом что-то вертит в руках; Ахимелек смотрит прямо, волнуясь и самолюбиво краснея; Галиал весь вытянулся вперед и пожирает взорами Самсона. При последних словах все трое переглядываются быстро.

С а м с о н. И вина можно? И ходить можно? Я еще немного пройду, надо привыкать. А ты не отошлешь меня назад в тюрьму?

Д а л и л а. Нет.

С а м с о н. А это чьи одежды, которые на мне? Мои?

Д а л и л а. Твои.

С а м с о н. Мне можно их оставить или пока надо отдать назад?

Д а л и л а. Оставь.

Гневно смотрит в сторону стоящих: Адорам не глядит, Ахимелек опустил глаза, Галиал смотрит все так же напряженно: ему не до пустяков и мелочей.

С а м с о н. Я постараюсь их не испачкать. Прежде я так много портил одежды, пятнал ее вином, рвал неосторожно... Смотри: теперь я уже лучше хожу. А скажи: я очень некрасив теперь?

Д а л и л а *(резко)*. Ты красив. Ты красивее всех мужей филистимских.

С а м с о н. А очень заметно, что у меня глаза...

Д а л и л а. Нет, не очень. Если ты не близко к свету, то совсем незаметно. Ты очень красив.

С а м с о н. А где самый сильный свет?

Д а л и л а. У тебя за спиной.

С а м с о н. Тогда я буду ходить в эту сторону. Нет, это неправда, ты обманываешь меня, потому что добрая. Я некрасив *(хмуро)*, я очень некрасив! *(Ворчит про себя.)* Пес израильский, грязный скот...

Ходит быстрее и решительнее. В поступи является понемногу прежняя легкость, свобода человека, выросшего в пустыне. Что-то со стуком роняет Адорам. Самсон быстро поворачивается и с угрожающим видом в два звериных прыжка приближается к стоящим.

Кто здесь? Кто? Далила, здесь кто-то есть?!

Наклонившись хищно, делает шаг вперед. Галиал в страхе откинулся назад и полуобнажил меч; на устах его готов крик о помощи. Адорам презрительно улыбается. Ахимелек, покраснев, выступил на шаг вперед.

Д а л и л а *(громко)*. Кто здесь, ты говоришь? Это раб, он пришел за приказаниями. Как ты неосторожен, Татами!

Делает знаки.

С а м с о н. Я слышал звук меча.

Д а л и л а *(смеется)*. Что ты, мой возлюбленный! Это раб, Татами его зовут. Ты хотел вина, мой возлюбленный? Сейчас будет вино... Скорее же, раб, скорее!

С а м с о н *(всматривается слепыми глазами)*. Отчего он молчит? А я и не слыхал, когда он вошел.

Д а л и л а. Это музыка заглушила его шаги, Самсон, это песни...

Во время их разговора те трое один за другим неслышно выходят.

Скорее же давай вина, Татами! Мой возлюбленный томится жаждой.

Все трое вышли. Последним медленно Ахимелек.

Ах, как я люблю тебя, Самсон!

Обнимает Самсона и головой припадает к его груди. Плачет.

Они измучили меня! *(Гневно.)* Они так долго терзали мое сердце... Ах, как я люблю тебя, Самсон.

С а м с о н. Кто? Далила! Кто?

Д а л и л а. Те, кто мешал поцеловать тебя, мой возлюбленный. Ты пришел! Ты пожалел меня и вернул мне душу. Как могла я жить без души... лучше бы ты убил меня, Самсон!

С а м с о н. Ты плачешь? Прежде ты никогда не плакала.

Д а л и л а. Я научилась, господин мой.

С а м с о н. Не надо. Не плачь. Я люблю филистимлянок

за то, что они никогда не плачут. Не надо. Мне все так нравится у тебя, ты хорошо живешь.

Далила *(вздыхая)*. Теперь я плохая филистимлянка. Тебе что-нибудь угодно, господин мой?

Самсон *(отстраняя Далилу)*. Что они делают? Ах, пляшут. Как хорошо. Я как будто их вижу. Я еще пройду. А вещи мне можно трогать? У тебя так много всего. *(Роняет на пол вазу и разбивает.)* Что это? О, какое несчастье, какое несчастье, я разбил вазу! Прости меня, госпожа моя Далила, я так этого не хотел. Какое несчастье!

Печально стоит над черепками.

Далила *(радостно смеясь)*. Ах, какой ты! А мне так нравится, что это твоя рука разбила вазу!

Самсон. Что же здесь хорошего? Но я научусь.

Далила. Хочешь, я тоже разобью? Мне так хочется бить... Вот, вот! *(Бросает вазу.)* Какое счастье!

Самсон. Не надо, что ты! Это стоит так дорого!..

Далила. Пусть,— я хотела бы еще дороже, ах, я себя хотела бы разбить! Пусть это будет жертва моему возлюбленному, который вернулся!

Оба смеются.

Самсон *(снисходительно)*. Какая ты! А я больше не вернусь к жерновам?

Далила. О!..

Самсон. Да, не надо. Теперь я разбил бы голову о камни. Смотри, как я хожу, теперь я все понимаю кругом. Это дверь, там воины. Почему так много воинов, я слышал их шаги? Это против меня? А это... вот здесь... это опочивальня, да?

Смеется.

Далила *(смеясь)*. Да, мой возлюбленный.

Самсон. Видишь, я узнал. Это здесь меня ослепил Галиал?

Далила. Нет! Нет! Нет!

Самсон. А я думал, что здесь. Правда, я был пьян тогда. О, какой это ужас... нет, я про тюрьму говорю. Ты даже не думаешь, как это страшно. Первое время я горел весь: у меня горели глаза, волосы, у меня как будто дымились пальцы,— так я горел! И я все ждал кого-то, все ждал.

Далила. Меня, Самсон?

Самсон *(с удивлением)*. Тебя? Нет, тебя я не ждал. А потом я крепко заснул и все видел сны, и все видел сны... Что я видел?

Далила. Меня?

Самсон. Тебя? Нет. Разное, не надо говорить. *(Смеется.)* Пустыню видел. Разное, не надо говорить, я не люблю. Но ты разбудила меня, это правда. Я тебя не ждал, но ты так хорошо пришла, и, знаешь, в тот вечер я напился пьян, как египтянин. *(Смеется.)* Я чуть не задавил Ягаре-Оргима. Зачем ты пришла?

Далила. Я люблю тебя.

Самсон. Но ты же меня ослепила.

Далила. Нет. Ты мне не веришь? Клянусь Дагоном, я думала, что тебя убьют.

Самсон. Да, это другое. Это лучше. Но не ты, так твой брат. Я не сержусь, нет, это я так спрашиваю. Я и на Галиала не сержусь, хотя он рыжий: я ведь-таки кое-что наделал! *(Смеется.)* Это золото, что я держу в руке?

Далила. Да.

Самсон. Какие вы богатые, филистимляне! И веселые, у вас так хорошо поют. Я вас очень люблю.

Далила. А о моей любви ты не хочешь слушать?

Самсон. Но я думал, что ты сказала уже. Нет, я хочу. Я и сам люблю тебя. Но я устал, покажи мне, где сесть. Первый раз покажи, а потом я буду сам. Мы скоро будем пить вино? Твой молчаливый раб что-то не приходит. Может быть, он не слыхал?

Далила. Он сейчас придет. Самсон, зачем ты обманул меня?

Самсон. Когда? Я не помню. Ты говоришь пустое.

Почти во все время разговора ощупывает пальцами ткани постилок, свою одежду.

Далила. Зачем ты скрыл, что ты пророк?

Самсон *(повернув голову, резко)*. Неправда. Ты обезумела, женщина? Я громко говорил, что я пророк.

Далила. Да, ты говорил. Но почему же я не верила? Скажи! Нет, не говори, не надо, я глупая, я безумная. Я тогда не любила твоего Бога. Он страшный, да? Но когда ты ушел, и пришли другие... их много приходило на мое ложе, Самсон, и были красивые среди них... или нет? Я забыла.

Самсон *(угрюмо)*. Мне все равно. Я вертел жернова.

Далила. Да, все равно. Я забыла. Одного я отравила и тоже не помню за что. Он мне надоел, собака!

Самсон *(ворчит)*. Собака! Все собаки...

Далила. Все собаки. Но я как будто оглохла тогда. Они говорят, а я не слышу. Они шевелят губами, а звука нет, и все молчит. Я говорю: «Кричи, собака, клянись!» А он мол-

чит. И вот охолодало мое ложе, и осталась я одна, и тогда простерлись надо мною твои чары, Самсон. Что стража у ворот, что запоры и замки висячие, когда во сне приходит возлюбленный? И как остановить любовь, которая тоньше воздуха и никем не видима, а крепка, как смерть? И говорит Галиал: «Это оттого, что Самсон волхв, он и меня посещает во сне». А я ответила: «Нет! Он пророк Господень! Он вождь! Он лев, а вы все только воющие шакалы». Я плохая филистимлянка, Самсон, я тебя люблю и, любя, плачу.

Плачет.

Самсон. Девушки иудейские тоже умеют любить.

Далила. Нет!

Самсон. Они имеют одного мужа, а не двадцать.

Далила *(гневно)*. Но они не любят и одного! И если они так хороши, то почему ты любишь филистимлянку? Иди к ним. Я знаю, что не пойдешь.

Самсон. Нет.

Далила приникла к его груди; он пальцами осторожно ласкает ее закрытые глаза.

Нет, я ни к кому не пойду. Я тебя тоже очень люблю. В темноте моей есть одно светлое,— это ты. Ты вся из золота и драгоценных камней, ты вся звенишь и поешь, как золотые струны. Я слеп, но тебя я вижу, и мне хочется смеяться от радости. Какой бог тебя создал? Он тоже смеялся от радости, когда создавал тебя. Ты целуешь мою руку, а мне кажется, что я коршун над пустыней, и лечу. Куда я лечу, Далила?

Далила *(закрыв глаза)*. Расскажи мне про твоего Бога.

Самсон *(резко)*. Нет!

Отстраняет Далилу и встает. Хмуро ходит большими и свободными шагами.

Я не пророк. Госпожа моя, Далила, если ты ждала к себе пророка, то отошли меня к жерновам! Там кто-нибудь стоит и слушает, а когда я скажу, что я пророк, они бросятся сзади и убьют.

Далила. Нет, возлюбленный. Тебя никто не тронет. Раньше погибну я, но смерти твоей не увижу. Отдам ли я душу мою? Нет.

Самсон. А зачем ты спрашиваешь о Боге? Прежде один Самсон работал на них, а теперь они хотят, чтобы и сам Бог Израиля вертел филистимские жернова. *(Грозит пальцем.)* Какие вы хитрые и умные!

Далила. Нет. Я не хитрю. Я хочу знать твоего Бога. Он велик и страшен?

Самсон. Да.

Далила. Он выше и сильнее Дагона?

Самсон. Да.

Далила. Когда Он тебя посещает, ты бываешь рад, Самсон?

Самсон. Нет. Не знаю.

Далила. Ты обманываешь? Человек должен быть рад, когда его посещает Бог. Я была бы рада. Или Он так велик и страшен даже для тебя? Но кто же ты, видевший Его и еще живой? Ах, растопчи меня твоей ногою, пророк Божий, утоли мою любовь и печаль!

Самсон стоит, опершись о стол; Далила падает перед ним на колени и кладет его руку на свою голову.

Самсон. Галиал был у меня в темнице. Он говорит и клянется, что царь хочет силы моей. Галиал обещал много. Он не обманет?

Далила. Нет. Он боится твоего Бога.

Самсон. Пусть боится! *(Наклонившись.)* А что они думают о моей силе? Они думают, что она очень большая?

Далила. Они не знают.

Самсон смеется.

Самсон. Они не знают! Нет, это смешно, как ограбленный финикиец. Они не знают!

Далила. А ты знаешь?

Самсон. Пусти мою руку. Отойди немного и не пугайся: я отвык, чтобы мою руку держали. Стань там, я тебя люблю... Ты хочешь знать, какая моя сила? Хорошо, я скажу тебе, чтобы ты удивилась вместе со мной. Но если тут есть еще кто-нибудь, пусть он уйдет поспешно: мои слова убьют его, он умрет! Я — волхв израильский!

Далила. Здесь нет никого. Я не умру, если услышу?

Самсон. Я шутил, что убьют. Смотри на меня. Если я захочу, то могу — все!

Стоит раскрыв руки, как бы изумляясь сказанному.

Но я не всегда могу захотеть. Отчего это, я не знаю. Вот кричу себе: хочу — хочу — хочу! а сам знаю, что не хочу. Или вот-вот я захочу, совсем уж начинаю хотеть... и опять не хочу! Когда твой брат Галиал уже поднял железо над моими глазами, я взглянул на его проклятое белое лицо и совсем было захотел, совсем; и вдруг засмеялся в душе и сказал: пусть! Он и выжег, проклятый!

Далила *(шепчет)*. Проклятый.

Самсон. Теперь мне жалко, что я не захотел. Я мог бы и темницу разрушить, и цепи порвать, и жернова бросить, и первое время я все кричал: хочу — хочу — хочу! — а сам знал, что не хочу. Какое хитрое мое сердце, Далила! Оно лжет и мне. Зачем ты спрашиваешь меня? Я не хочу, не надо. Я хочу веселиться!

Далила. А твой Бог не любит веселья?

Самсон *(гневно)*. Опять?

Далила. Не гневайся, мой возлюбленный, прости глупую, лучше посмейся над безумной. Я ли не хочу веселья, когда вернулась ко мне душа! *(Кричит в дверь.)* Татами, вина! Попробуй, как пляшет мое сердце,— оно ли не хочет веселья? Возляг, мой возлюбленный, пусть все будет, как прежде. Ты хочешь?

Самсон. Да, как прежде.

Далила. И ты хочешь, чтобы я смеялась? Я буду смеяться. Возляг сюда, мое сокровище, как прежде, отдохни, мой возлюбленный. Хорошо ли тебе так? Удобно ли драгоценной голове твоей? Положи руку сюда, пусть лежит для моих поцелуев и не уходит. Хорошо тебе?

Самсон. Да, хорошо. От твоих курений у меня кружится голова. Я отвык.

Раб вносит вино и уходит, Далила услуживает Самсону.

Далила. Иди, иди, Татами. Сегодня я буду твоей рабыней, возлюбленный. Дай твою руку, вот вино. Тебе хочется знать, какое оно? Оно красное, как мои губы. Господин мой! Мне можно прилечь у твоих ног?

Самсон жадно пьет, протягивает пустую чашу.

Самсон. Еще! Приляг.

Пьет и смеется.

Далила. Тебе весело и хорошо?

Самсон. Я вспомнил Ягаре-Оргима. Вели ему завтра дать двадцать ударов воловьими жилами. Я хочу, чтобы и он вспомнил обо мне. Еще, возлюбленная, еще вина!

Далила. Я прикажу. Тебе хорошо?

Самсон. Твои волосы под моей рукой, как золотые нити. Скажи: свет у меня за спиною?

Далила. Да. Войдем в мою опочивальню, возлюбленный. Я истомилась любовью, господин мой, я жду твоих объятий. Войдем! Там не будет света, который здесь, но ты подумаешь, что ты прозрел, ты увидишь меня всю. А здесь и

я слепая. Разве не твоими глазами я вижу? И вот темнеет все передо мною, я не вижу, и нет мне света. Войдем!

Самсон. Да. А я тебя вижу. Пойдем. Нет, дай мне еще чашу вина. Как хорошо!

Из-за занавеса бесшумно появляется Галиал. Лицо его дергается; смотрит на Самсона с тем же напряженным вниманием. На гневный жест увидевшей его Далилы отвечает таким же гневным и нетерпеливым жестом.

Благодарю. Приляг у ног моих, возлюбленная. Как хорошо они поют, я вижу то, что они поют. Разве в Египте тоже есть пустыня? — они рассказывают, что пустыня велика.

Далила. Пустыня велика. *(К Галиалу.)* Если Галиал захочет умертвить тебя, я убью его раньше.

Галиал презрительно скалит зубы и делает нетерпеливый жест.

Самсон. Не надо о нем. Пустыня велика, ты говоришь. А львы там есть?

Далила. Не знаю.

Самсон. Если есть пустыня, то есть и львы. Далила! А мне можно пойти в пустыню?

Далила. Все можно, возлюбленный. Тебе хорошо?

Самсон. Да. Мне хорошо, и я слушаю, и сейчас мы пойдем в твою опочивальню, где я буду видеть...

Галиал так же бесшумно исчезает.

Но я и сейчас вижу, я так много вижу и понимаю. Хорошо быть воином и мужем, Далила, носить меч при бедре и поражать врага. Хорошо быть нильским тростником, когда он поет на рассвете. Хорошо быть ветром в пустыне, ветер все видит и над всем летает. Все хорошо. Дай мне еще вина.

Далила. Изволь, господин мой.

Самсон поднял чашу и задумался. Громче поют рабыни. Притихла Далила у ног пророка.

Занавес

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Во дворце Далилы, в богатых покоях брата ее Адорама, любимца Ахимелека. Наружи — первый весенний сожигающий зной, здесь покой и прохлада; пузырчатые зеленоватые стекла пропускают мягкий водянистый свет. Когда открывается широкая дверь во внутренний двор, на мгновение мелькает, ослепляя, зелень сада, залитого ослепительным солнцем, и врывается плеск фонтана. В соседних покоях еле слышные отрывки пения, женский смех: то рабыни, которых Адорам обучает пенью, частью занимаются лениво своим делом, частью весело бездельничают.

Адорам и Самсон за чашею вина; оба одеты в легкие туники, завиты и расчесаны; на смуглом теле изобилие золотых украшений. Молоденькая красивая рабыня опахалом навевает прохладу на изнеженного Адорама. Самсон спокоен и величав, переживает состояние тяжелого блаженства. Сидение, на котором раскинулся Самсон, возвышено и напоминает трон. Красивый юноша-невольник, по имени Ахи, играет негромко на гуслях; звуки нежны, просты и милы, как журчание холодного ручья по камням в знойный день. Смолкает.

Адорам. Хорошо, Ахи, ты кое-чему научился. Отдохни. Тебе нравится, Самсон?

Самсон (*не двигаясь*). Да.

Молчание. Адорам поднимает чашу. Смеется.

Адорам. Про тебя рассказывают, Самсон, что ты пьяница, но передо мной ты ребенок, сознайся, друг. На мои две чаши ты едва отвечаешь одной. А что для тебя лишняя чаша! Или тебе не нравится мое вино?

Самсон. Нет, вино твое хорошо, я пью. Ты хорошо живешь, Адорам.

Адорам. Если бы ты сказал, что вино плохо, я возненавидел бы тебя. Можно порицать моих богов, но нельзя касаться моих песен, моих рабынь и моего фарсисского вина! У кого есть еще такое? Мой маленький друг, божественный Ахимелек, едва ли бы научился пить вино без моей помощи. У царя Рефаима прескверное вино! Но неужто тебе не жарко, Самсон?

Самсон. Нет. Я привычен к зною и холоду. Когда я был мальчиком, я дни и ночи проводил в пустыне, не ища прикрытия для головы.

Адорам. Счастливец! Нет, я не выношу солнца, когда оно жжет и сверху, и снизу; а эти весенние первые жары в Аскалоне ужасны! Нет, я не могу. Но ты что-то задумчив, друг?

Самсон. Я не хочу двигаться. Нет, я ничего не думаю, мне хорошо.

Лениво поднимает чашу и пьет.

Адорам (*смеясь*). Ты величав, как царь! Но что ты не думаешь, это хорошо. Зачем думать и о чем? Брат Галиал, поручивший тебя моим заботам, особливо наказывал: смотри, чтобы не стал задумываться Самсон!

Самсон. Он называет тебя болтуном. Ты болтаешь, как женщина у колодца.

Адорам. Может быть, но я правдив, а он не всегда!

Молчание. Выражение глаз Адорама, пытливых и внимательных, не соответствует его словам.

Самсон. Отчего он перестал играть? Пусть играет.

Адорам. Сыграй еще, Ахи. Но не давай струнам кричать и не торопись.

Юноша играет. Молчание. Адорам негромко смеется.

Теперь Галиал лжет и дергает лицом перед слабоумным Рефаимом и жрецами... Ты помнишь, как у него дергается лицо, когда он говорит неправду и клянется всеми богами сразу? И царь ему верит, он всему верит, а жрецы нет... Ах, они ненавидят нас еще сильнее, чем тебя. Глупцы, утонувшие в своем уме! Теперь они все, и Галиал с ними, придумывают испытание для тебя... что-то я слыхал о жертве Дагону, которую ты должен принести всенародно. При чем здесь народ, когда это наше дело? Но они так хотят. Им надо, чтобы ты преклонил колена перед истуканом: как будто от этого они станут сильнее, а ты покорнее! Глупцы!

Смотрит на Самсона, тот молчит с ленивой усмешкой.

Да, это смешно, я и сам смеюсь. Потрескавшийся Дагон, который может... ты знаешь, что у Дагона на левом боку трещина?.. Ах, слушай, слушай!... Перестань, Ахи, замолчи.

За стеною красивый женский голос выкликает музыкальную фразу, которая переходит в звонкий смех.

Наконец она рассмеялась! Это новая, из Мемфиса. Для Ахимелека. Хороша? Я сам учу ее петь, она одна стоит всех остальных. Но она очень печальна, еще плачет о своих, и это очень хорошо, что она рассмеялась! Очень хорошо.

Самсон. Я хочу в пустыню. Завтра!

Адорам. Да, да. Ступай, Ахи, ты мне надоел. Да, да, это очень важно, что она рассмеялась!

Юноша-невольник выходит в домовую дверь.

Самсон. Я хочу в пустыню. Завтра!

Адорам. В пустыню? Ты каждый день говоришь: я завтра хочу в пустыню, и не идешь. Когда тебе угодно, друг, когда угодно! Если ты хочешь, я могу сопутствовать тебе, и мы возьмем рабынь и вина.

Самсон. Нет, я хочу один.

Адорам. Да, и солнце вредно мне... Как хочешь, друг, как хочешь! Ты, вероятно, желаешь вспомнить старое, но нужно ли это? Нет, нет, я не спорю, ты совсем другой человек, и тебе это надо. Пойди, пойди. На этих днях Галиал

устраивает охоту на льва... но я опять болтаю: он так просил не говорить тебе...

В наружную дверь, впуская слепящее солнце, входит раб.

Раб. Господин, там ждут тебя и просят...

Адорам. Закрой, закрой! Ты хочешь ослепить меня! Что надо?

Раб. Господин, там ждут...

Адорам. Знаю, скажи: сейчас. Иди, не раскрывай дверь так широко, будто это твой глупый рот. Ступай!

Раб уходит, снова на мгновение впустив солнце. Адорам знаком отсылает невольницу с опахалом, та неслышно выходит.

Эта черная голова может задымиться, а не испугается жара. Но какой жар! Аскалон весь накалился, как печь, и нечем дышать. Это ужасно!.. Кто это смеется? Нет, не она. Ты слышишь, как мои ученицы смеются там, в такой зной и смеяться!

Самсон. Мне нравится их смех. Теперь я хочу, чтобы всегда кто-нибудь смеялся возле меня. Я и тебя люблю за то, что ты весело болтаешь. Ты веселый, а Галиал нет.

Адорам *(смеясь)*. А Далила?

Самсон *(помолчав)*. Она хорошая.

Адорам. Она тебя любит. Я и говорю Галиалу: зачем хитрить с Самсоном, прятать от него неприятных людей, скрывать мысли? С ним надо быть правдивым, как правдив он сам. И разве он не наш? Самсон, там две иудейки хотят видеть тебя и говорить. Уже второй раз приходят они, но ты знаешь Галиала? Они ждут у фонтана.

Самсон *(насторожившись)*. Кто? Две иудейки?

Адорам *(небрежно)*. Да. Одна из них слепа, другая ее вожатая, старуха.

Самсон. Слепа, ты говоришь?

Адорам. Да. Воины наши зовут ее: Слепая из Иудеи. Ты не слыхал о ней?

Молчание.

Прикажешь прогнать их? Вероятно, они хотят попросить у тебя золота или какой-нибудь милости. Они похожи на нищих. Пошли им что-нибудь и прогони.

Самсон. Они не за милостыней. Да, прогони. Скажи, что я не хочу видеть никого из Иудеи! Или...

Адорам. Или?..

Самсон. Нет, позови. *(Встает.)* Кто эта старуха?

Адорам. Не знаю. Вожатая. С ними еще мальчик, они зовут его Гедеоном. Но какие они! *(Смеется.)* Если это

нищие, они не разбогатеют. Когда я увидел их, они были опалены солнцем и шатались от усталости; но вот я предложил им вина и хлеба и они отказались. Омочили губы в фонтане, и это все после такого пути! Я даже пожалел немного, особенно старуху, она так слаба.

Самсон смеется.

Самсон. Не жалей. Они все такие в Иудее. Ты никогда не слыхал, как в Иудее проклинают?

Адорам. Я не люблю мрачного. Но не хочешь ли ты, чтобы я послушал?.. В такой зной?

Самсон *(смеясь)*. Нет, я послушаю один. Позови их.

Адорам *(поднимаясь)*. Они все ненавидят тебя. Да и какой ты иудей? У меня есть монеты с изображениями владык ассирийских, ликом и статностью твоею ты один из них, прекраснейший, а по душе ты давно наш. Я пойду пока к Далиле...

Самсон. Скажи ей, что и я сейчас прийду.

Адорам. Скажу, она будет счастлива. Галиал станет бранить меня, когда вернется, но иногда он просто глуп, этот мудрец и советник царей! А знаешь, эта, которую зовут Слепой из Иудеи, молода и красива... но голос у нее не для песен!

Оба смеются.

Самсон. Я выйду с тобою, а потом вернусь. Так будет лучше.

Адорам. Не прикажешь ли, чтобы замолчали мои ученицы? Иудеи не любят наших песен.

Самсон. Нет! Пусть поют, я люблю. Дай руку. Они отказались от нашего хлеба: пусть заткнут уши, если не хотят и песен наших!

Смеясь, удаляются во внутренние покои. Минуту покой пуст, затем широко открывается наружная дверь, впуская солнце. На пороге останавливаются залитые светом, точно горящие по контуру, две женщины: Слепая и маленькая, черная, сморщенная старушка, мать Самсона, Мариам. Старушка слаба, нерешительна и боязлива. Слепая, мучаясь слепотою и ища помощи у Мариам, в то же время почти насильно влечет ее, толкает впереди себя. Одеты бедно, почти в рубище.

Слепая. Веди же меня, Мариам! Отчего ты остановилась?

Мариам. Там темно, я боюсь. И у меня дрожат ноги... подожди, Мелхола. И у меня дрожат ноги, я устала.

Слепая. Ты всю дорогу жалуешься на усталость. Или ты боишься твоего сына, мать?

Мариам. Я стара и больна, отпусти меня, Мелхола.
Слепая. Веди!

Почти толкает старуху; входят, закрыв дверь. Становятся у порога, привыкают к полумраку. У Мариам вид скромной и испуганной просительницы. Слепая сурова и решительна, держит ее за руку, не отпускает.

Слепая *(тихо)*. Есть кто?
Мариам. Нет, никого. *(Плачет.)* Сын мой, сын мой...
Слепая. Не плачь!
Мариам. А если он уже умер?
Слепая. Ну что ты, Мариам!
Мариам. А зачем ты не позволила вкусить мне пищи? Я ослабела и не могу не плакать.
Слепая. Я же давала тебе фиников дорогой и молока, что ты говоришь, Мариам!
Мариам. Один раз только. Я не могу!
Слепая. Нет, два раза, да еще сейчас я дала тебе финик, ты его спрятала. Мать, мать! Или ты совсем забыла, зачем пришла к сыну? Вспомни! Что наказывали тебе старейшины и народ? Что сказал бы твой супруг, покойный Маной, если бы он видел твою слабость? Вы оба посвятили Самсона Богу, вспомни — он Назорей...
Мариам. Я знаю, знаю. Не учи меня тому, что я сама знаю. Ты всю дорогу учишь меня.

Молчание. За стеной поют и смеются рабыни.

Чем это пахнет, Мелхола? Так хорошо!
Слепая. Не знаю.
Мариам. А кто это поет? Блудницы? Я думала, что они поют только на площадях. Ты бывала в городе, скажи.
Слепая. Блудницы... Здесь очень богато?
Мариам. Очень, Мелхола, как у царя. Не стал ли царем мой Самсон?
Слепая. Мать!
Мариам. Я знаю! Ты не даешь мне сказать и слова,— говори сама.
Слепая. Да, я буду говорить сама, а ты пока молчи. Так надо, мать! Здесь пахнет вином, ты не видишь ли сосудов, Мариам?
Мариам *(лжет)*. Нет, не вижу. Может быть, где-нибудь и есть, почему я знаю. Говори с ним, Мелхола, но только не кричи и не требуй, не угрожай, а проси. Ты знаешь его нрав. Он добр и милосерд, но он и отца не слушал, когда отец кричал, тебя ли станет слушать?
Слепая. Не меня послушает, так Бога. Не жалей его, мать! Или сына любишь больше, нежели народ?

М а р и а м. Я не жалею, я так говорю. Ох, идет он, Мелхола, идет. Я не могу...

Слепая крепче держит ее за руку и не позволяет броситься к сыну. Раздвинув занавесы, входит С а м с о н; стараясь придать уверенность своим шагам, находит сидение и садится. Величаво и хмуро ждет. Мать в ужасе смотрит на его выжженные глаза.

С л е п а я. Привет тебе, Самсон, от Израиля. Ты узнаешь меня?

С а м с о н. Узнаю. Здравствуй, слепая. Кто это плачет тихо?Кто еще пришел с тобою?

С л е п а я. Одна старая женщина, она вела меня по дорогам. Я слепа, как и ты, Назорей, и не могу ходить без помощи.

С а м с о н. Не зови меня Назореем. О чем она плачет! Скажи ей перестать, я не люблю ваших слез, которыми вы лжете. Замолчи, старуха!

Мариам испуганно умолкает. Слепая сжимает ее руку.

С л е п а я. Ты не чтишь старых, Самсон, и путника не приветствуешь. Или так делается у филистимлян? Она стара и устала от дороги, к тебе так долог путь из Иудеи!

С а м с о н. Пусть сядет, если устала. Сядь, добрая женщина, и не плачь. А ты, слепая, говори скорее, зачем пришла. У меня нет времени, меня ждет царь Рефаим и советники. Жаль, что ты слепа и не видишь, какое на мне платье, пусть женщина расскажет тебе.

С л е п а я. Я слыхала, что иудеи не носят богатых платьев, если они не ограбили кого-нибудь.

С а м с о н *(усмехаясь)*. Это мое платье. Я его купил.

С л е п а я. А где твои цепи, Самсон?

С а м с о н *(усмехаясь)*. Их нет.

С л е п а я. Мы слыхали, что их нет, но не верили. Не изменил ли ты народу своему, Назорей?

С а м с о н. Изменил. Что же ты не спрашиваешь дальше, слепая? Я хочу отвечать, спрашивай. Тебе нравятся мои певицы, как они поют? Это мои рабыни, у меня их много. Здесь все мое. Что же ты не шипишь, змея? Приползла, так шипи. Тебе не нравилось видеть царя в яме, теперь приветствуй его на престоле.

С л е п а я. Ты и престол купил, Самсон?

С а м с о н. Да, я и престол купил. Или он не достаточно высок? Погоди, будет еще выше, и поклонится мне Израиль. Скажу слово,— и что от вас останется?

С л е п а я. Ты зол.

С а м с о н. Да, я зол.

С л е п а я. Ты страшен!

С а м с о н *(усмехаясь)*. Вам всегда страшно, вы трусы. А мне ничего не страшно, я сам моя воля. Или я не могу хотеть? Расскажи Израилю, что я хорошо живу. Меня любят царь и Далила, и у меня есть друг, его зовут Галиал, он рыжий. Скоро мы поедем с ним на колеснице охотиться на льва: я буду натягивать лук, а он укажет цель. *(Смеется.)* Ты видала таких стрелков?

Смягчая удар, опускает кулак на стол.

Я так могу ударить, если захочу. Я сам моя воля. А что говорят обо мне в грязной Иудее?

С л е п а я. Давно ли она стала грязной, а ты чистым? В грязной Иудее говорят, что ты предался богу и народу филистимскому и хочешь принести жертву идолам. Это правда?

С а м с о н. Правда. Я так хочу. Мне все равно, какие боги. Я сам моя воля. Я Самсон.

Старуха в ужасе всплескивает руками и шепчет Слепой: «Проси его! Проси!»

Что шепчет старуха? Говори громко.

С л е п а я. Пожалей народ твой, Самсон! Пожалей!

Падает на колени вместе с Мариам. Молчание.

С а м с о н. Когда просят о жалости, то плачут. Плачь, змея!

Слепая встает и поднимает Мариам.

С л е п а я. Я не свирель, чтобы петь тебе в уши. Или нет у тебя жалости, и ты сам не знаешь того, о ком просим? Зол ты, как Аббадон, безумный!

С а м с о н. Я не безумен. А вы пожалели меня, когда я был в темнице? Как вол, жующий жвачку, ходил я по кругу и вертел жернова. Кто поднял меч и пришел освободить меня? Вы только плевали на меня, как в место поганое, упрекали и гневались. Кто усладил мою душу, когда умирала она, не ты ли, сова, проклятиями твоими? Око за око, зуб за зуб, иудейка!

С л е п а я. Пожалей, Самсон!

С а м с о н. Нет, не пожалею. Не вы ли детей своих учили проклинать меня и именем моим гнушаться? А когда стал я в силе и никого не зову, вы приходите, кричите и умоляете. Противно мне слушать тебя. Око за око, зуб за зуб, иудейка!

С л е п а я. В тебя вошли бесы, безумный! Сам дух тьмы заплакал бы, увидев страдания нашего народа. А что ты, пьяница, предатель? Око за око, говоришь ты и болтаешь. Так узнай же, кому я отдала очи мои!

М а р и а м *(умоляет, шепчет)*. Не надо, не говори!

Слепая *(вырывая руку)*. Тебе отдала, предатель,— за каждое око по оку! Или этого мало тебе? Или не прекрасны были мои глаза, и ты сам не любовался ими в часы вечерние! Или не больно было мне, девице невинной и робкой, когда красным железом жгла я свет голубой в очах моих? О, свет, голубой и небесный, лица милые, дали прекрасные!.. *(Яростно рыдает.)*

Самсон *(вставая)*. Ты лжешь! Кто может ослепить себя?

Слепая. А кого я любила и ждала, от дороги глаз не отводила? Не тебя ли, Самсон? Не всегда была я совою, птицей ночной, а была и я зябликом для слуха твоего. Вспомни Мелхолу и ее глаза!

Самсон *(глухо)*. Мелхола? Дочь Иесея из Гефы? Ах, безумная, безумная, что ты сделала с собою!

Самсон закрыл лицо руками и неподвижен. Старуха плачет тихо. За стеною отрывки песен и звонкий смех.

Слепая *(сдерживая слезы)*. Вернись же к народу, пророк, он ждет тебя, как дождя! Пожалей старцев наших: они седы, кланяются тебе. Ороси любовью землю, которая осиротела: у корня умирают лозы виноградные, как младенцы у груди иссохшей. Вернись.

Самсон *(не открывая лица)*. Давно ли ты слепа?

Слепая. С того дня, как и ты, Назорей! Спроси у других, если мне не веришь. Зачем мне свет? — сказала я,— любя свет, позабуду я Самсона и клятву его перед Богом, и кто без меня напомнит? Буду ходить и напоминать ему, не оставлю я тьмы без голоса!

Самсон *(не открывая лица)*. Какие вы злые! Какие ужасные!

Слепая. Во тьме ростила я отчаяние, питала святую злость мою! Не верь словам гневливым и крику отчаянному, за которым любовь. Любим мы тебя! Вернись, избранник, голубь белый, ангел Божий, хранитель венца нашего! Не в свои одежды ты облачился и на чужом троне ты сидишь, и ничей взор не порадуется на твою красоту; обманчива она и страшна, как пышность гроба, в котором мертвец. Чем величаешься? Кому усмехаешься? Устрашись Бога единого. Уйди от идолов филистимских, оставь Далилу: лживы ее прелести, и поцелуй ее для уст пророка, как укус змеиный! Вернись!

Самсон *(открывая лицо)*. Нет. Вы злые, и я вас не хочу. Ваша молитва, как нож у горла; любя, вы проклинаете и, прося, угрожаете! Живых вы не жалеете, а мертвых люби-

те, и не хочу я вас. И слепота твоя мне противна; нет глаз и у духа тьмы, и не видит он света!

Слепая. Мы любим тебя, почти любовь народа!

Самсон *(гневаясь)*. Нет! Как тенета льву, так мне ваша любовь — или мало вкушал я горького? Я сам моя воля и не хочу другой. Погонщики безжалостные, вы навьючиваете пророка желаниями, как ослицу, и кричите на него хрипло: рря! рря! Я не хочу и не стану. Довольно я слушал тебя. Пойди к народу твоему и скажи громко, чтобы слыхали все, живые и мертвые: Самсон узнал свою волю и другой не хочет! *(Грозно.)* В Царе возле нашего дома все так же шумит ручей? Да говори же, слепая!

Слепая молчит. Мариам шепчет тихо и испуганно.

Мариам. Все так же!

Самсон. Там есть камень, на котором купала меня мать. И камню этому скажи: Самсон узнал свою волю. Что мне до шумящего ручья? Я его прокляну, и он высохнет, и больше не будет шуметь. Будь проклят ручей у нашего дома, и каждая волна и каждый камень, рассекающий воды! Пусть высохнет! Пусть не шумит!

Слепая *(яростно)*. А что ты скажешь матери твоей, которая больна и умирает?

Мариам. Неправда! Я жива! Самсон, не проклинай нашего ручья, он высохнет!

Самсон *(пораженный)*. Мать!

Мариам. Самсон, не проклинай нашего ручья!

Самсон падает на колени и обнимает ноги матери.

Самсон. Это ты, мать?

Мариам. Я, сын.

Самсон. Боже, не гневайся! Мать, о мать... Это твои ноги устали, я не знал. Разве можно так со старыми ногами? Дай мне их, я согрею их губами, дыханием охлажу, о мать, мать! Ты старая, ты шла пустынею, и на тебя могли напасть звери... мать, мать! И это ты стояла, пока я сидел и величался,— сядь же на место мое! Сядь!

Поднимает мать на руки и, забыв, где сидение, беспомощно ищет.

Мариам. Пусти, мальчик, я сама, ты не найдешь. *(Садится на место Самсона.)*

Самсон. Выпей вина, мать, выпей скорее! *(Шарит руками по столу и роняет сосуд.)*

Мариам. Я сама, сама. Ты ничего не видишь, Самсон!

Самсон у ее ног.

Самсон. Ничего, мать. Я слеп. Посмотри на меня, какой я, мать, мать! Где мои глаза, попробуй рукою, дай руки, не страшись. Видишь, видишь, какие страшные рубцы и шрамы? Они железом,— мне было так больно, так больно, я кричал. Мать, мать! Отчего ты не пришла в темницу, я звал тебя.

Мариам. Меня не пустили к тебе, народ наш не хотел и не позволил. И как бы я дошла? Я и дороги не знаю. И ты ничего не видишь?

Самсон. Ничего, мать! Тьма кромешная!

Мариам. А солнце видишь? Оно такое светлое.

Самсон. Нет, мать, не вижу. Я и тебя не вижу, а ты еще светлее.

Мариам *(плача и лаская голову Самсона)*. А плакать тебе можно или нет?

Самсон. Не знаю. Приласкай меня, мать. Я изнемог, черна моя душа, как мрак сени смертной, и не хочу я вести Израиля. Душит меня кто-то, на горле рука его, а кто, не знаю!

Мариам. А ты говорил, что хорошо живешь, и я уже порадовалась...

Слепая. Мариам! Вспомни Маноя и гробницу его! Вспомни, о чем просил тебя народ!

Самсон *(гневно)*. Ты еще здесь? Молчи, ехидна, а то я раздавлю тебя!

Мариам. Не гневайся, Самсон, она хорошая и любит тебя. Она привела меня сюда — ох, уже умирала я. И им очень плохо, это правда, я знаю; пожалей их, помилуй. Им очень плохо! Вот пришли ко мне старейшины и говорят: «Встань из гроба, мать, Самсон ополчился на нас! Пойди и умоли его. А если не послушает, то прокляни, ты мать». Им очень плохо, жалко их. И ручья нашего не проклинай *(плачет)*, не проклинай, Самсон, привыкла я к шуму его!..

Самсон. Нет, нет, мать. Пусть шумит, пока ты жива. И не для нее и не для них, а для ног твоих усталых прощу я Израиля, помилую и пощажу! Пусть живет и стонет под ярмом бессилия, как волчица в капкане!

Мариам. Не гневайся, если помиловал. А ты вернешься со мною?

Самсон. Нет. Не спрашивай, мать, о том, о чем может знать только ночь. Мне нет пути назад, и не моли меня вернуться, дай покой усталому,— долог ли отдых его? Благослови меня, мать, и иди с миром, не тронут тебя звери, и услышишь ты шум ручья, к которому привыкла. Нет ли нужды у тебя? Я дам тебе золота...

Мариам. На что мне золото? Нет, не надо. *(Плачет.)* И как же я могу тебя благословить, если ты отступился, и мне повелено проклясть тебя!

Слепая. Прокляни его, Мариам! Прокляни, ты — мать. Вспомни, что приказал тебе народ и старейшины!

Самсон *(поднимаясь с колен)*. Кто может приказывать и повелевать, кроме Бога?

Мариам плачет, дрожа; сходит с трона.

Слепая. Прокляни его, Мариам! Так повелел Бог Израиля, которому ты обещалась и клялась!

Самсон *(с ужасом)*. Ты обещалась, мать, мать!

Мариам. Обещалась, Самсон, но я не могу проклясть тебя.

Слепая. Прокляни, Мариам! Призови черных воронов на голову его, пусть клюют вечно его лживое сердце, очи слепые! Или менее ужасны мои шрамы и рубцы, или менее любила я свет? Прокляни, иначе сама погибнешь!

Старуха умоляет в страхе.

Мариам. Ох, не кричи так, Мелхола, не пугай!

Слепая. Что скажешь Богу? Что ответишь Маною, когда пойдешь к нему? Ты скоро умрешь. Прокляни!

Самсон. Молчи, ехидна!

Мариам. Ох, не кричи и не зови Маноя. Я... я...

Нерешительно поднимает руки для проклятия, дрожит.

Самсон. Мать!

Мариам *(поднимает руки выше и дрожа все сильнее)*. Самсон! Будь... Будь... Нет!

Падает и остается недвижима. Самсон в ужасе ищет ее руками, нащупывает лицо. Слепая с криком, натыкаясь, выбегает.

Самсон. Мать, мать! Скажи!.. Я вернусь... мать!

Молчание. Самсон встает и говорит громко, потрясая руками.

Теснит меня Бог! Трясет у корня, как древо плодоносное! Куда бегу от Тебя?

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Пустыня. Время к вечеру. Удлиняются тени. Небо тревожно. Охота на льва в мрачном ущелье скал Етама. У трупа убитого льва гневно спорят Самсон и Фара. Возле Адорам и кучка воинов, испуганно прислушивающихся к спору, негодующих на притязания Самсона. Дыбятся и ржут кони, боящиеся трупа. Вдали крики остальных охотников.

Самсон, в одеянии филистимского воина-охотника, одной ногой наступил на убитого льва, говорит громко, гневно и упрямо.

С а м с о н. Я убил. Мой лев!

Ф а р а *(так же упрямо и гневно)*. Нет, это я убил. Мой лев!

А д о р а м. Самсон! Фара!

С а м с о н. Лжешь, пес филистимский! *(Смеется вызывающе.)* Куда тебе с твоей силой пронзить матерого льва! Ты пощекотал ему уши.

Ф а р а. Нет, это ты лжешь, слепец! Воины видели мой удар.

Воины неодобрительно переговариваются. Самсон гневно оборачивается к ним.

С а м с о н. Что там бормочут? Громче, псы!

Воины смолкают, отодвигаются назад.

Они молчат! Я тебе говорю, филистимлянин, это я убил. Когда он бросился и заревел...

Ф а р а. Это мой лев! Моя стрела оперена красным, посмотри!

С а м с о н. Я не хочу знать твоего красного, белого и синего. Я убил!

Ф а р а. Ты слеп. Как ты мог попасть?

С а м с о н. Адорам направил мою руку. Адорам, что же ты молчишь?

А д о р а м. Я уже сказал! Это твой лев, Самсон!

С а м с о н. Ага! Мой лев!

Ф а р а. Адорам лжет, как и ты.

С а м с о н *(смеется)*. Ага! Все лгут, один ты говоришь правду, трус.

Ф а р а. Я не трус!

А д о р а м *(воину, тихо)*. Скорее за Галиалом! Они будут биться.

В о и н. Галиал умчался за другим львом.

А д о р а м. Ах, что же делать!.. Самсон! Фара! Подождите Галиала, он решит ваш спор!

С а м с о н. Я знаю сам, что лев мой!

Ф а р а. Я так же знаю сам. Моя стрела в его сердце.

Воины ропщут.

С а м с о н. Тихо! Если ты не трус, возьми твоего льва. Моя нога на нем,— попробуй, возьми!

Ф а р а *(обнажая меч)*. Мой лев! Воины, берите льва на мою колесницу.

С а м с о н *(обнажая меч)*. Назад, собаки.

А д о р а м *(между ними.)* Фара, ты обезумел! Назад! Ты ответишь Ахимелеку.

Обнажает меч в защиту Самсона. Воины готовятся к бою за Фару. Недовольные голоса: «Царский блюдолиз! Где правда? Бейтесь за Фару! Стрелу в израильского пса!»

Вы ответите царю. Назад! *(Зовет.)* Галиал! Галиал!

Голос Галиала: «Я здесь! Где добыча?» Выносится на коне и спрыгивает.

Г а л и а л. Где лев? *(Оглядываясь.)* Что это, мечи? Фара, Самсон!

С а м с о н. Это мой лев. Я убил!

Ф а р а. Я убил. Это мой лев.

Г а л и а л *(на воинов)*. А вы что? В ножны мечи. Где Аморрей?

А д о р а м. Он с Далилой. Галиал, скажи Фаре...

Ф а р а. Ты справедлив, Галиал, и ты знаешь оперения моих стрел. Посмотри! Разве это не моя стрела? Я убил! Он издевается над нами.

С а м с о н. Когда я пустил стрелу, я слышал его рев. Он заревел и упал у моих ног. Скажи, Адорам!

Г а л и а л *(делая знаки)*. Как тебе не стыдно, Фара! Самсон, друг, он погорячился, он ошибается. Ты как мальчишка, Фара, который плачет от игры! Самсон наш гость на охоте, а ты споришь, как безумный, и обнажаешь меч. Что с тобою, Фара, друг?

Ф а р а. Посмотри сам, это моя стрела.

Г а л и а л *(делая знаки)*. Нет, я знаю твою стрелу. Это не твоя. Ты ошибся, друг Фара, тебя увлекла твоя горячность.

Адорам смеется.

С а м с о н *(ворчит)*. Это мой лев. Пусть возьмет его тот, кто хочет.

Здесь обмениваются знаками.

Г а л и а л. Ты был возле, Адорам...

А д о р а м. Я направлял удар. Это стрела Самсона, я сам вынул ее из колчана. Но как он натягивает лук, Галиал: не только пронзить зверя, он может раздробить и камень! А как хорош лев, не правда ли? Самец.

Ф а р а *(угрюмо)*. Я ошибся. Льва убил Самсон.

С а м с о н *(вкладывая меч)*. Ага! Теперь видишь, филистимлянин? *(Смеется.)*

Ф а р а. Я и тогда видел. Это не моя стрела, я погорячился, и мне было обидно.

Г а л и а л. Честный Фара! *(Делая знаки.)* Но лев прекрасен, редко удается такая добыча, как у тебя, Самсон! Понятно, что Фара так заспорил, я сам бы на его месте...

Ф а р а. Дай руку, Самсон. Помиримся.

С а м с о н. На. Лев мой, я его убил.

Вносится на коне Д а л и л а; она вся в огне охоты, волосы ее разметались, глаза горят дико и страстно. Соскакивает. Ей делают знаки, на которые она не обращает внимания.

Д а л и л а. Скорее, скорее! Там львица с двумя... Она задрала коня у Аморрея, он спасается на скалах. На коней!

Охотники торопливо сбираются.

Что здесь? Какой лев! Ах, какой! Это ты убил, возлюбленный?

Молчание. Отвечает Галиал, делая знаки, которых она не понимает.

Г а л и а л. Да, Самсон. Славный удар, сестра!

Д а л и л а. Разве теперь у него красные стрелы? *(Припадает ко льву).* Он еще теплый, смотрите, смотрите! *(Смеется.)* Какие у него космы; я умру, купаясь в них. О милый, о милый, милый... Он пахнет пустыней и кровью... Ты вдыхал запах, Самсон? Вдохни, ах, да скорей! Милый, милый... Подари его мне, возлюбленный.

С а м с о н. Проси Фару.

Д а л и л а. Почему?

Г а л и а л *(перебивая).* Нам надо спешить. Солнце низко, и львы разъярились. На колесницу, Самсон, Адорам! Фара!

С а м с о н. Я не хочу больше охотиться. Возьми льва, Фара, он твой. Я ошибся.

Д а л и л а. Это правда? Как жаль,— это правда, Самсон? Не надо!

Ф а р а. Это твой лев, Самсон, а следующий будет мой.

Адорам и Галиал беспокойно переговариваются. Далила с недоумением смотрит на них. Воины умчались, и только трое ждут с конями.

Д а л и л а. Я не понимаю. Почему ты больше не хочешь с нами, Самсон? Я сегодня была так счастлива, возлюбленный. Отойди, Фара, что ты смотришь на меня, как голодный? Если это твой лев, мне его не надо. Он стар и плешив, можешь выбросить в ров эту падаль. Пойдем, Самсон!

Фара удаляется. Здесь только Самсон, Далила с братьями и два воина в стороне.

С а м с о н. Я не хочу. Я останусь здесь. Охотьтесь без меня.

Галиал. Самсон устал, мне кажется...

Самсон. Да, устал. И не надо так говорить с Фарой, он смелый воин.

Далила. Ну!.. Но неужто мы так и кончим? Мне надо остаться с тобой, возлюбленный, или можно еще немного? Там львица и два крупные детеныша... *(Смеется.)* Ах, что-то Аморрей! Он был так смешон, когда быстро-быстро лез на скалу! Ему надо помочь.

Галиал. Ему помогут. Я тоже устал и больше не хочу. Ты говоришь: львица и еще два? Жаль! Мы останемся с тобою, Самсон.

Самсон. Зачем? Не надо.

Далила. Я только взгляну!..

Галиал. Далила!..

Адорам. Ты меня смешишь, сестра! Как можно так увлекаться? Лев, львица... глупцы!

Самсон. Скачи, скачи, Далила! И когда увидишь львицу, пошли ее сюда: лев ждет ее, скажи!

Далила. Я сейчас!

Вскакивает на коня при помощи воина и с криком, разметав волосы, уносится. Галиал мрачен.

Адорам. Ну вот! А если львица действительно придет по следу, и ты здесь один...

Самсон *(усмехаясь)*. Я руками разорвал льва среди этих скал. Поищи его кости и найдешь.

Адорам. Но пойми, друг, что мне скучно с ними, и я устал. Галиал пусть идет, он притворяется, что не хочет. Разве он может простить львице, что убежала от него? Иди, Галиал, а я останусь.

Самсон *(сдерживая гнев)*. Я хочу быть один. Идите. Или вы боитесь, что я убегу? Я слеп.

Галиал. Что ты говоришь, друг! Идем, Адорам. Да, надо сознаться, эта львица не дает мне покоя. Слышишь рев? Это она! Скорее! Мы сейчас вернемся, Самсон.

Вопреки словам, уходят медленно и часто озираясь на Самсона. Самсон один. Вдали рев зверя. Самсон опускается на колени у трупа льва, нащупывая стрелу.

Самсон. Красная... красная...

Скрыв лицо в гриве льва, глухо плачет. Охота удалилась. Тишина. Самсон садится, опершись о труп льва, рукою подпирая тяжелую голову. Голова его над головою льва. Лицо неподвижно и мрачно.

От тебя пахнет пустыней и кровью,— сказала она и поцеловала твою мертвую голову. А чем пахнет от меня? Я Самсон, судия израильский, и от меня пахнет загоном. Нехорошо?

Да, нехорошо. Загоном, где до рассвета мочится домашний скот и храпят пастухи. Почему они не убьют меня? Я бы убил, всадил стрелу под лопатки. Фара хорошо натягивает лук, а я назвал его филистимским псом. Зачем я солгал, что лев мой? Он твой, Фара, а ты пес. Пес, и я ненавижу!

Молчание.

Как он взревел, умирая! Так и я взреву, когда буду умирать,— нет, еще громче, как ревут от Божьей стрелы. Поразит меня стрела, и уйду я в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак сени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Что ты разрушишь, то не построится; кого заключишь, тот не высвободится! И это Твоя воля?

Молчание. Высоко над головою пролетает большая птица, со свистом рассекая воздух крылами. Самсон прислушивается.

Это птица пролетела. Куда ее путь? — крылья ее широки и покрыли меня, как шатер. И птица летит, куда хочет, и зверь неразумный прокладывает свои пути, и у змеи ползающей есть хотение, зачем же меня ты лишил всего? Не Тебя ли молил я сегодня, умолял и выпрашивал: дай мне убить льва, оправдай мою силу перед нечестивыми! А что Ты? Руке вора отдал Ты добычу и посмешищем сделал меня для врагов. Я этого не хочу. Посмеявшийся надо мною да не живет!

Молчание, тишина. Загорается небо тяжелыми и мрачными красками заката.

Речи их мед, а молчание полно отравой змеиной; одна была у меня спина, за которой таились обманы, а теперь сколько? Далила, возлюбленная моя, вернешься ли к покинутому? Единого дара попросила ты у меня, и не дал я тебе ничего: что дам? Возлюбленная моя, взял бы я тебя на крылья широкие и отнес бы я тебя к ручью шумящему и в водах его омылся от тьмы... Нет! Я его проклял, и он не шумит!

Встает и напрягает волю и хотение.

Верни мне зрение. Покрой слепоту мою, возжги свет в очах невидящих. Я хочу! Я хочу! Я хочу! Открою глаза и увижу: и скалы, и свет, и небо надо мною. Я хочу и увижу.

Молчание, вздох.

Нет. Не уйду от тьмы, не увижу скал, не увижу неба. Тьма кромешная, мрак пустынный! Если и снежной водой омоюсь, не стану светлее в глазах Твоих. Услышу ли голос Твой!

Освободи меня и отпусти. Могу ли увидеть? Раз бы единый увидеть мне пустыню мою, время короткое, столько, сколько даешь Ты на дыхание,— или нет?

Молчание. Самсон хмуро смеется и расправляет члены, как бы после труда и усталости. Внезапно слышится вблизи рев зверя, разъяренной львицы, глухой и сдержанный. Сразу изменившись, Самсон хватается за меч и готовится к обороне, но в следующее мгновение далеко отбрасывает меч.

Ты сама идешь или послана? Если послана, а не сама идешь, так не медли, зверь,— иди! Я готов, и жду и смеюсь. Иди же скорее! Иди! Я слеп и не могу выйти навстречу, царица, не прогневайся, поторопись!

Рев ближе.

Ну, прыгай, прыгай, ленивица,— так-то ты спешишь! Так-то выполняешь повеления! Прыгай! Или ты слепа и не видишь,— лжешь, по голосу узнаю твои глаза. *(Кричит.)* Эй! Здесь человек, иди! Твой возлюбленный начинает смердить: ведь и мертвый лев смердит, как шакал,— или не знаешь? Иди. Поцелуй его и меня, поцелуй же, возлюбленная моя! Я жду! Нежны шаги твои по камням, но сколько блаженной ярости в сердце твоем, и ты прекрасна, царица! Иди, целуй же, возлюбленная моя!

Становится на колени, готовясь принять смерть. Львица глухо ревет и как бы стонет, но расстояние все то же.

Или ты боишься, красавица? Иди, тебя никто не тронет. Поспеши, я томлюсь. Что плачешь? Кого зовешь? Мертв возлюбленный, иди. Или не горяча кровь моя? Или я не пророк?

Ждет. Рев становится глуше, удаляется. Самсон вскакивает, полон ярости.

Уходишь? Не уходи, я говорю! Вернись! О, презренная, она уходит, трусиха, дочь шакала, трусиха! Я тебя накажу!..

Ищет меч и не находит, ударяется о камень и падает. Встает.

Вернись! Я смеюсь над тобою, слышишь? *(Смеется.)* Трусиха, подлый зверь, трусиха!.. Ушла?.. Будь же ты проклята, подошедшая так близко!

Останавливается, пораженный новой мыслью. Вытягивает шею, прислушиваясь.

Или ты мне сказала, чего я не слыхал и не понял? Скажи еще!

Молчание. Небо тревожно и бурно пылает, Самсон неторопливо находит свое место у головы льва и садится по-прежнему. В лице его бесшумная буря, как в небе.

Ты слыхал: она ушла! А ты не понял, что она говорила? Молчишь? Все молчит! Все сговорились молчать. А кто же кричит так громко, если все молчит? *(Тихо смеется.)* Никто. Ты бы засмеялся, лев, если бы не был так холоден и так мертв. Галиал зовет. Галиал зовет. Что мы солжем Галиалу, и что он нам солжет? Он кричит так, точно за ним гонятся бесы из преисподней. Или поднялась пустыня?

Вдали тревожный зов Галиала: «Самсон! Самсон!» Самсон встает, смеясь, и отвечает ответным зовом: «Галиал!» Голос ближе, и без шлема, в изорванной одежде, вбегает Галиал.

Галиал. Самсон! Моего коня задрала львица. Меня спас Аморрей. Но что ты? Что с тобою? Чему ты смеешься? Меня спас Аморрей.

Самсон. Смотри: лев. Это я его убил! Он мой! К нему приходила львица.

Галиал. Что с тобою, Самсон? Нам надо спешить. Поднимается буря, уже зашевелились ветры и сейчас сорвутся в ущелье. Что ты скалишь зубы так страшно? Поднимается буря, ты слышишь меня! Здесь еще тихо, но в небе нет места, где бы осталась тишина.

Самсон. К нему приходила львица. Как она ревела, звала и плакала, но кто осмелится взять пророка? *(Грозно.)* Не ты ли?

Галиал. Друг, я тебя не понимаю. Львица убита! Нам надо спешить.

Самсон. Убита? Так кто же приходил и ревел мне на ухо, если она убита?

Молчание. Галиал смотрит со страхом. Его лицо, огненно-белое в огнях заката, дергается судорогами, похожими на смех.

Галиал. Это другая! Я не знал, что здесь есть еще. Она ушла?

Самсон. Она ушла. Да, это другая! *(Смеется.)* Хочешь, я назову тебе ее имя? *(Грозно.)* Но ты умрешь, услышав,— умрешь!

Галиал отскакивает назад и кладет руку на меч. Молчание. Далекие свисты начинающегося ветра. Угрожающе пылает закат.

Галиал. Не тронь меня, Самсон! *(Подозрительно.)* Отчего ты кричал, как тогда? Ты был один. Тебя посетил твой Бог? Это Он приходил?

Самсон. Зачем ты привел меня в пустыню? Это пустыня.

Г а л и а л. Ты сам просил. Тебя посетил Бог? Скажи! Это не ты призвал бурю? Она погубит нас.

С а м с о н. Я слышу ветер!

Г а л и а л. Она погубит нас! Что же ты делаешь, волхв! Твое лицо безумно, и все бежит. Это ты призвал бурю, она в лице твоем. Самсон!

С а м с о н. Лев мой. Я его убил. Или я лгу?

Г а л и а л. Твой, твой. Тебя расстроил Фара? Он глупец! Что ты так смотришь на меня? Самсон!

С а м с о н. Я слеп и не могу смотреть.

Г а л и а л. Нет, ты смотришь; и ты смеешься!

С а м с о н. Я радуюсь буре. Глупец, я радуюсь буре. Слышишь, как она визжит? Друг Галиал, друг Галиал, я слышу пустыню! Она уже на лице моем. Она сейчас поднимет волосы мои, как гриву, и я стану львом. Я лев пустыни!

Г а л и а л. Да, да, это хорошо, но идет ночь, ночь и буря! Я тебе верю. Ты слышишь, что я говорю: я тебе верю! Ты помнишь, что будет завтра,— ты обещал? Самсон! Друг Самсон!

Самсон не отвечает, как бы не слыша. Неподвижный, окаменевший, он впитывает и поглощает голоса бури. Вбегает А м о р р е й и кучка воинов. Взвизги и свисты приближающегося ветра все сильнее. Закат страшен. Постепенно подходят остальные испуганные охотники, готовясь к поспешному бегству.

А м о р р е й. Где Далила? Нам надо торопиться, господин, буря бежит, как гонец. В долине я видел вихри, и небо там черно, как в полночь!

Г а л и а л. А где Фара? Он мне нужен.

А м о р р е й. Фара идет. *(Тихо.)* Что с Самсоном, господин?

Отходят от Самсона, он один.

Г а л и а л. Он радуется буре. Спроси его! Где Фара? Фара, сюда!

Ф а р а. Я здесь, иду. Где Далила?

А м о р р е й. Он радуется? Сейчас поднимутся все звери пустыни, чему же он радуется?

С т а р ы й в о и н. Скажи, начальник: все бесы, и ты скажешь правду. Звери не страшны, а что мы поделаем с семерыми из бездны? Они сокрушат нас. И кто их призвал? Смотри!

Показывает на одиноко и неподвижно стоящего Самсона, и все смотрят на него. Испуганно ропщут воины. Галиал, так же смотревший, вскрикивает диким криком охотника.

Аморрей *(обернувшись)*. Галиал! Господин!..

Порывистым движением Галиал выхватывает лук у близстоящего воина и стрелу из колчана, бьет в Самсона. Подскочивший Фара толкает его под локоть, и стрела проносится над головой Самсона. Смятение, но все стараются не кричать и не шуметь. Влетают на коне Далила и Адорам с нею, соскакивают и, видя смятение, бросаются к Галиалу. Самсон неподвижен.

Далила. Что здесь?

Фара *(тихо)*. Его смутила пустыня, и он метнул стрелу в Самсона. Галиал, ты убьешь его завтра, но сегодня он твой гость...

Далила. Ты!.. Ты, проклятый!..

Выхватывает короткий меч и заносит для удара; Адорам борется и отнимает меч.

Адорам. Сестра! Что с вами со всеми? Галиал!

Галиал. Это бесы пустыни!.. *(Хватаясь за голову.)* Ах, я не знаю! Посмотри на него!

Адорам *(злобно)*. Ты глупец! Ты хочешь приручить льва и ведешь его в пустыню. Глупец! Я скажу Ахимелеку...

Спорят. Далила подходит к Самсону и обнимает его.

Самсон. Далила! Ты вернулась. Возлюбленная моя, ты слышишь: пустыня поднялась! *(Тихо.)* Ко мне приходила львица.

Далила. Крепче обними. Ах, зачем я тебя оставила, сердце мое, дыхание мое!.. Какая страшная буря!

Почти внезапно гаснет свет, и темнеет. Буря уже в ущелье, стонет и завывает.

Самсон. Ты опять плачешь? У тебя мокрые щеки.

Далила. Я тебя люблю.

Аморрей *(громко.)* Торопитесь! Идет мрак... держите коней!

Далила *(кричит)*. Аморрей! Где моя колесница? Я сама повезу Самсона, скорее! *(Самсону.)* Сегоня никто не будет твоим возницей, кроме меня, возлюбленный, душа моя! Я помчу тебя, как на крыльях, мне не нужно ни глаз, ни дороги!..

Налетает буря — и тьма. Во тьме громкий голос Аморрея.

Аморрей. На коней! Где ты, Далила? Колесница ждет. Скорее! Воины, на коней — вперед, кто знает дорогу!

Занавес

ПЯТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Храм Дагона, отца богов. Дневной свет в капище не проникает, и под низкими сводами, среди толстых, покрытых священными изображениями массивных колонн — неясный дымный полусвет, создаваемый многочисленными светильниками.

Огромная грубая статуя сидящего Дагона: его человеческое лицо благосклонно и немного напоминает лик греческого Зевса; перед статуей жертвенник Дагона. По сторонам и в углублениях статуи других богов: злого с звериной мордой Ваала, повелителя преисподней, его страшных семи бесов и богини Иштар. В светильниках, колоннах и предметах жреческого служения повторяется мистическое число семь. Много золота и тяжелой восточной роскоши.

Храм почти полон собравшимися на торжество жертвоприношения. Первые, ближайшие к жертвеннику места заняты филистимской знатью и военачальниками; одежды их богаты и пышны, блестят золотом и драгоценными камнями. В глубине граждане и простонародье в ярких и цветистых тканях, резкость цветов смягчается сумраком, царящим в притворах храма. На возвышениях пола в нескольких местах группы вооруженных воинов, меченосцев и лучников; они в полной готовности, и задача их — предупредить возможность нападения Самсона на толпу. Начальствует ими веселый и светлый Аморрей. Вся толпа, за исключением сурово молчащих и неподвижных воинов, находится в легком и смутном движении, полна тихими шепотами и шорохами шелковых одежд, мелодичным позвякиванием оружия и золотых колец. Возвышенное место для царя Рефаима и его приближенных еще пусто.

От высоких курильниц к сводам тянутся голубые ленты душистого дыма и сизым туманом расплываются наверху.

На первом возвышенном плане, возле жертвенника Дагона, у колонн, беседуют несколько знатных разряженных филистимлян, людей среднего возраста и молодых. С ними третий жрец Дагона и служитель храма, не из важных.

Первый. Страшная буря! Никто у нас в Аскалоне не запомнит такой. Ты знаешь, какие пальмы были в саду богача Ахузафа?

Второй. Но неужто?..

Первый. Не осталось ни одной! Говорят, что Ахузаф лишился рассудка.

Третий. Я видел сегодня гонца из Газы. Разве вы не знали? Город разрушен!

Жрец *(улыбаясь)*. Это неправда.

Третий. Но я сам говорил с ним...

Жрец. Это неправда. Два-три дома, не больше. Храм в Газе цел и не потерял ни одного камня.

Первый. А народ знает?

Жрец. Зачем ему знать? Узнает завтра, не надо портить ему праздника.

Третий. А ты думаешь, что сегодня праздник?

Жрец, значительно улыбаясь, пожимает плечами.

Кажется, народ думает иначе. Чернь веселится и пляшет, но люди почтенные...

П е р в ы й. И я что-то слыхал о Газе, но не обратил внимания. Так вот что! Город разрушен! Кажется, народ кое-что знает.

Т р е т и й *(жрецу)*. А не думаешь ли ты, что вчерашняя буря?.. Но ты знаешь, о чем я хочу сказать.

Все с любопытством и тревогой смотрят на жреца. Тот улыбается и пожимает плечами с той же многозначительностью. Подходит новый филистимлянин, приветствует.

Н о в ы й. Вы слыхали, что случилось сегодня на базаре? Неужели не слыхали? Странно, об этом говорит весь Аскалон, а завтра закричит вся Иудея! Кучка пьяных воинов с криком и ругательствами *(шепотом)*, кляня Самсона, *(громко)* напала на торговцев иудеев и многих убила, а остальных выгнала за ворота города. Сегодня утром...

Молчание. Кто-то улыбается. Жрец также.

Ж р е ц. Это неправда. Тебе солгали.

Н о в ы й. Но я живу у самых ворот и своими глазами видел, как с воплями бежали иудейские женщины и дети за ними...

Ж р е ц *(резко)*. Это неправда! Ты что хочешь сказать?

С л у ж и т е л ь х р а м а *(нерешительно)*. Сегодня в храме нет ни одного иудея из тех, которые раньше...

Ж р е ц *(резко)*. Они еще придут. *(Усмехаясь.)* Один во всяком случае будет!

Теперь усмехаются все.

В т о р о й. А кто видел сегодня Галиала?

Молчание. Улыбки исчезают, лица становятся серьзны.

Н о в ы й *(тихо)*. Говорят, что воины проклинали и благородного Галиала.

Ж р е ц. И это неправда! *(Улыбаясь.)* Кто смеет угрожать великому Галиалу, любимцу мудрого царя Рефаима, советнику юного Ахимелека?

Н о в ы й *(решительно)*. Я пойду домой. Так будет лучше. Жаль, что я не увижу торжества, но... у меня дела.

Т р е т и й. У меня так же. Идем вместе.

П е р в ы й *(тихо)*. Галиал.

Все испуганно смолкают, жрец становится очень серьезен. Со стороны задних врат, где ход для жрецов и близких храму лиц, показываются в е р х о в н ы й ж р е ц и Г а л и а л, весь огненно-красный, блестящий. За ними следуют два престарелых и надменных вельможи, главный военачальник, по имени Б е ф - Е п а н и м, суровый и мрачный воин, и Ф а р а, печальный и строгий. Жрец бледен и зол, Галиал хмур, раздражен и умышленно надменен. Говорившие низко кланяются жрецу и Галиалу, последнему более низко, и незаметно уходят все, кроме жреца.

В е р х о в н ы й ж р е ц *(упрямо и зло)*. Я нахожу, что этого недостаточно! Для жертвы очищения необходимо, кроме двух козлят и голубей...

В т о р о й ж р е ц *(пожимая плечами)*. Что такое голуби?

Третий также пожимает плечами и улыбается.

В е р х о в н ы й ж р е ц. Я нахожу, что если Самсон искренно хочет отречься от своих идолов и...

В т о р о й ж р е ц. Искренность Самсона!

Г а л и а л. Но, отец мой, я не спорю с вами. Мы уже час говорим о пустяках...

Ж р е ц ы *(хором)*. Пустяках?

Г а л и а л. Да, да, но я действую от имени царя Рефаима и правителя Ахимелека. Надо думать о молитвах и молиться, а не...

В е р х о в н ы й ж р е ц *(бледнея)*. Не хочешь ли ты поучить меня? Ты слыхал ли когда-нибудь, почтенный Беф-Епаним, чтобы меня учили, как служить храму и великому Дагону?

В т о р о й ж р е ц. Кощунство!

Б е ф - Е п а н и м. Нет, я этого никогда не слыхал и больше никогда не услышу. Сегодня я сам буду говорить с царем Рефаимом.

Г а л и а л *(перебивая)*. Я сам буду говорить с царем Рефаимом. Ты, Беф-Епаним, еще должен ответить за то, что произошло сегодня на базаре!

Б е ф - Е п а н и м. Я не отвечаю за пьяных.

Г а л и а л. А кто их напоил? Они ссылались на твой приказ.

Б е ф - Е п а н и м. С каких пор ты стал другом иудейских собак, Галиал?

Жрецы смеются.

Г а л и а л. Я не друг иудеев, это ложь! Но я их ненавижу, а вы только злы и лишились разума от злобы! Чего вы добиваетесь? Кого хотите погубить: меня или себя? Что, если Самсон узнает о побоище и разъярится...

В е р х о в н ы й ж р е ц. Тогда мы узнаем искренность Самсона.

Б е ф - Е п а н и м. И твою!

Г а л и а л. Вы ломаете там, где надо гнуть, и радуетесь, сломавши! Вы лишились разума. И воины не только убивали иудеев: они грозили и мне, и поранили моего евнуха. Это восстание! Правитель Ахимелек сегодня узнает обо всем, и тогда мы увидим, в ком крепче держится жизнь!

Беф-Епаним. Не грози! Я не боюсь ни тебя, ни Ахимелека. Со мною мои воины.

Галиал. Со мною также. Я прикажу Аморрею...

Верховный жрец. А с кем народ? Он знает, кто нынешней ночью разрушил Газу.

Галиал. Это неправда, что город разрушен, и ты это знаешь!

Верховный жрец. Это неправда до той поры, пока я молчу; скажу — и будет правда. С нами великий Дагон, а кто с тобою, отступник?

Резко повернувшись, жрецы и военачальник уходят в глубину и там гневно, не скрывая своего раздражения, переговариваются. Здесь остались Галиал, Фара и два престарелых вельможи.

Галиал *(гневно)*. Вы слыхали: он назвал меня отступником! Он ответит! Завтра они все ответят мне. Я никого не пощажу! Ослушники, они поплатятся жизнью.

Фара. Успокойся, в народе слушают. Не увеличивай смятения! Они грозят, но они сами боятся своих угроз.

Галиал. Но если он крикнет народу про разрушение Газы...

Фара. Он боится, чтобы не крикнул ты.

Первый вельможа. Ты слишком гневлив, Галиал! Советнику царя подобает спокойствие и мудрость, и мы неповинны в страхе нашем перед израильским волхвом. Обсуди и подумай. Что, если силою волшебства он разрушит храм и погубит людей? Мне нечего бояться и нечего терять. Если я погибну, то найду среди мертвых больше друзей и близких, нежели среди живых. Но здесь будет царь Рефаим и юный Ахимелек, жизнь которых...

Галиал. Я знаю это лучше, чем ты. Ты видишь там воинов со стрелами и мечами? Если этот пес осмелится косо взглянуть или только улыбнуться, или в лице его я увижу угрозу, мои воины...

Второй вельможа. Если он пес, то зачем он нам нужен? А если он Самсон, то зачем ему нужны мы? Такова твоя прославленная мудрость, Галиал, злой советник безрассудного Ахимелека!

Поворачиваются оба и присоединяются к группе, где жрецы. Галиал и Фара одни.

Галиал. Ты слышишь, Фара? Ты видишь, Фара? Я один! Так всю жизнь мучаюсь я с ними. Когда я натыкаюсь на их слепоту, Самсон кажется мне зрячим; когда я слушаю их безумные речи, я сам готов разрушить этот храм. *(Лицо его дергается.)* Фара, друг, ты знаешь, что все погибло!

Ф а р а. Ты пугаешь даже меня. Не ломай пальцы, на тебя смотрят.

Г а л и а л. А Газа?

Ф а р а *(тихо)*. Разве это правда?

Молчание.

Да, вчера была страшная буря, но такие случались и раньше. Ты не веришь Самсону? Что он говорит?

Г а л и а л. Он молчит. Все погибло, Фара,— ни ты, ни я не уйдем отсюда.

Ф а р а. Прикажи его убить. Я исполню.

Г а л и а л. Убить! А кто тогда защитит меня от смерти? Он мой ужас и гибель, но он и защита моя. Ты думаешь, эти пощадили бы меня, если бы за мной не стоял Самсон, которого они страшатся? Мне жаль тебя, Фара: ты был мне больше друга, больше брата. Ты один верил мне, когда все сомневались, и куда я привел тебя, брат мой?

Ф а р а. Мне не жаль жизни, на что мне жизнь? Умру, только и всего. Но мне больно за тебя, брат. Где твои дерзания? Где твоя смелость? Галиал, Галиал! Не ты ли ослепил Самсона, кого же ты теперь боишься?

Г а л и а л *(протягивая руку к толпе)*. Их! Взгляни на эту толпу, на это стадо глупцов, занятых собою. Кто из них молится? Кто ждет? Взгляни: одни смеются, другие ссорятся из-за места и зовут приставника; честные женщины кормят детей, а несчастные мыслят о разврате, шепчутся с любовниками. Вон Гефтора кивает мне головой... Здравствуй, здравствуй, Гефтора, ты тоже погибнешь, блудница! Смеется, и счастлива, как будто не настал час гибели для всех! Или пляскою думаешь спастись?

Ф а р а. Ты никогда так не говорил о своем народе.

Г а л и а л. А разве я его знал? Я сам пел и плясал с ними, пока не подошла смерть. Чем встретим Самсона? Взгляни на них: достаточно одного дуновения из уст сильного, чтобы все это повалилось, как их глиняные дома от ветра! Звучат по камню шаги Самсона, чем встретим его? Надо молиться, надо взывать и бить себя в грудь исступленно. Надо, чтобы и камни в храме молились и были горячи, как огонь. А это что? Все погибло! Придет Самсон, и услышит безмолвие камня, и покажется ему храм пустым и не имеющим бога, и кто остановит его руку, если поднимется на нас? Ах, Фара, если бы у меня был такой Бог, как у Самсона!

Ф а р а. Правду сказал жрец: ты отступился от Дагона!

Г а л и а л. Ты думаешь? Тебе тоже кажется?

Ф а р а. Ты слишком много думал о Боге Самсона.

Г а л и а л. Ах, нет, нет! Не говори! *(Пробует молиться.)* Отец богов, всемилостивый, перворожденный...

Бормочет и смолкает; в лице его растерянность и страх. Фара смотрит на него с беспокойством и состраданием.

Ф а р а *(тихо)*. Не можешь?

Г а л и а л *(с глубоким вздохом)*. Нет. А ты?

Ф а р а. Я уже давно не молюсь. *(Со вздохом.)* Пришла Далила. Взгляни.

Г а л и а л. Что же нам делать? Что?

Понемногу прибывают и рассаживаются приближенные царя, среди них Д а л и л а с п р и с л у ж н и ц а м и. Она бледна и печальна, но одета пышно, как и все. Жрецы удалились. Где-то в стороне, отражаемое низкими сводами храма, раздается мрачное и глубокое пение жрецов. Низкие голоса звучат в унисон, в них темная страсть и угроза.

(Всматриваясь.) Я плохо вижу. Что у нее в лице? С нею говорил Самсон, и она что-то знает. Что у нее в лице, Фара?

Ф а р а. Она печальна, но спокойна. *(Со вздохом.)* И прекрасна, как всегда, Галиал! Если ты и твоя сестра отступитесь от Дагона, то я пойду за вами. Что мне Дагон? Вчерашний лев был для меня дороже Дагона, а я уступил его Самсону. Пусть возьмет и богов моих!

Г а л и а л. Опомнись, Фара! И ты отступаешь? Кто же будет молиться? Ах, я один! *(Яростно молится.)* Отец богов, смилуйся! Перворожденный, всемилостивый...

Бормочет, закрыв глаза. Поют жрецы. От задних врат быстро идет А д о р а м, возбужденный и небрежно одетый.

А д о р а м. Галиал! Ты знаешь, что сегодня сделали на базаре эти глупцы? Они хотят погубить нас. Я был у Ахимелека, но меня не допустили!

Галиал и Фара переглядываются.

(Яростно.) Меня, меня не допустили! Мне сказали, что Ахимелек молится и чтобы я убирался с моими певицами,— какие певицы?!

Г а л и а л. Молится?

А д о р а м. Лгут! Просто скрывается от друга, которому стыдно взглянуть в глаза. Это ужасно! Ты погубишь нас всех, Галиал!

Г а л и а л. Это судьба. А что Самсон? Все то же?

А д о р а м. Все то же. Здравствуй, Фара. Его ведут. Сейчас будет. Все то же. Молчит и нехотя, как царь, улыбается на мои шутки. Но скорее царя заставил бы я смеяться, чем этого израильского пса! Чтобы я убирался с моими певицами! ты слыхал?

Галиал. А вино?

Адорам. Он отказывается от вина и не принимает пищи. Нет, ты знаешь: когда ему принесли обещанное золото, он по локоть купал в нем руки, а потом все подарил мне. *(Злобно смеется.)* Теперь я богат, как иудейская собака. Он невыносим. В нем появилось что-то злое и недоступное, он говорит издали, словно с горы!

Галиал. Его посетил Бог! Фара, ты слышишь?

Адорам. Какой еще Бог? Пустое. Но ты, Фара, поступил неосторожно: зачем ты спорил с ним вчера! Или мало убил ты львов, и тебе не хватало одного? Он горд, как царь, этот пес, которому я давно всадил бы нож под лопатку. Галиал, если сегодня твой Самсон обманет и не совершит какого-нибудь чуда и не напугает Ахимелека...

Галиал. Ты бредишь!

Адорам. Я не прощу тебе! Я сам велю сковать тебя и отправлю к царю, как барана! Все терять из-за твоей глупости! Мало ты брал из царской сокровищницы и дарил Гефторе.

Галиал. Адорáм!

Адорам. Кричи на глупцов, я тебя не боюсь. Отступник!

Спускается по ступеням и идет к тому месту, где Далила, садится рядом с нею и нетерпеливым жестом отвечает на ее вопросы. Увидев Беф-Епанима, идущего к своему месту, пробирается к нему и весело шутит. Галиал смеется.

Галиал. Ты видишь, Фара? И это мой брат, щенок, вскормленный мною. О, Самсон, если ты не обманешь! Какой кровавый пир завтра же устрою я в Аскалоне! Сегодня они плачут о Газе, а завтра заплачут о себе, и как заплачут! И первый, кому я всажу нож вместе с рукою, будет мой брат, Адорам.

Фара *(гневно)*. Поручи его мне.

Пение продолжается. В храме сильное движение: все засматривают в эту сторону, поднялись с мест, тянутся через головы. Голоса: «Самсон! Самсон!» Со стороны тех же задних врат, сопровождаемый стражами и жрецами, быстро подходит Самсон. На нем одеяние раба, но имеет такой вид, будто это нарочно. На голове, однако, золотой обруч, знак высокого достоинства: руки закованы в цепи. От любопытных взоров толпы его отделяют колонна и кучка царедворцев, воинов и жрецов.

Самсон *(громко)*. Где мой друг Галиал? Ведите к нему!

Верховный жрец. Тише! Кто смеет кричать в храме!

Голоса в толпе: «Самсон! Самсон!»

С а м с о н *(не слушая жреца)*. Где мой друг Галиал?

Г а л и а л. Я здесь, друг Самсон, я здесь! Вот моя рука.

С а м с о н. Дай руку.

Молча ворочает головой, как бы осматриваясь. Все движения порывисты и резки. Его окружили, но близко не подходят, смотрят на него со страхом. Пение продолжается. Верховный жрец приближается к Самсону.

В е р х о в н ы й ж р е ц. Сын мой, я должен тебе сказать, что здесь нельзя говорить так громко...

С а м с о н *(не слушая, перебивает)*. Галиал, это храм Дагона?

Г а л и а л. Да.

С а м с о н. А кто шумит там? Я слышу голоса и крики. Это народ?

Г а л и а л. Да.

С а м с о н. А что они поют? Это жрецы? Кто касается меня рукой?

В е р х о в н ы й ж р е ц. Это я, Самсон, первосвященник храма сего.

С а м с о н. А! Это ты. У тебя холодная рука, не касайся меня.

В е р х о в н ы й ж р е ц. Ты спрашиваешь, сын мой, о чем они поют? Они поют о славе и силе Дагона, отца богов, о его доброте и милости к живому. Ему ты сегодня поклонишься. Они поют о славе и силе Ваала, повелителя преисподней, бога зла, господа отчаяния и смерти; о семи духах бездны поют они. Ты слышишь, Самсон?

Толпа около Самсона постепенно редеет. Жрецы поют где-то близко, слышны слова.

Ж р е ц ы *(поют)*. Их семеро, семеро их! — Семеро их в подземной бездне, семеро поднялись до небесной выси.— Они взращены в недрах подземной бездны.— Не мужского пола они и не женского.— Жен у них нет, детей они не рожают.— Они — опустошительные вихри; им неведомы жалость и пощада. Мольбам и просьбам они не внемлют.— Они — дикие кони, взращенные в горах.— Богу Дагону они враги.— Они сидят на больших дорогах, и прохода от них нет.— Бесы они, бесы! — Семеро их, семеро, трижды семеро! — О, дух Неба, к тебе взываю! — О, дух Земли, к тебе взываю!

Вся толпа в храме тихо повторяет последнее моление:

О, дух Неба, к тебе взываю! О, дух Земли, к тебе взываю! взываю!

Пение смолкает. Самсон опустил голову и молчит. На него с любопытством смотрят.

Второй жрец *(тихо и заученно повторяет)*. О, дух Неба, к тебе взываю...

Самсон. Мне скоро начинать? Или будут петь еще?

Галиал. Сейчас прибудут царь Рефаим и Ахимелек. Присядь, отдохни, Самсон.

Самсон. Я не устал. Дай мне воды.

Галиал. Не хочешь ли вина? Оно подкрепит тебя.

Самсон. Нет. Дай мне воды.

Служитель храма приносит воду, и Самсон с жадностью пьет.

Благодарю. Где мне надо стоять?

Галиал. Пока здесь. Я с тобою, Самсон, и Фара здесь.

Самсон (*усмехаясь*). А, Фара! Дай руку, филистимлянин, ты хорошо натягиваешь лук. Но лев мой, я тогда ошибся, когда сказал, что твой. Ты слышал, как он взревел, умирая? Галиал, скажи, чтобы отошли и не дышали на меня так близко.

Жрецы, пожимая плечами, и другие отходят. Чей-то голос: «Не один ли это из семерых?»

Галиал. Самсон, здесь только я и Фара. Поверь мне, я умоляю: я люблю тебя, я люблю тебя! У меня нет друзей, кроме тебя и Фары. Ты слышишь голоса: это все мои враги, они хотят погубить меня и тебя. Ты молчишь, и я не знаю, о чем ты думаешь! Потерпи, друг, я умоляю.

Самсон. Я на тебя не сержусь. Позови ко мне Далилу, она здесь?

Галиал. Здесь. Фара, друг...

Фара молча отправляется за Далилой.

(Шепчет.) Нас только двое, откройся мне, Самсон! Твой Бог с тобою? Ты усмехаешься, не веришь? О, нет, какой же я предатель! Призови твоего Бога, или Он с тобою? И убей моих врагов, я всех отдаю тебе. Только пощади меня и Фару. Ты слышишь? Сегодня тебя привели в цепях, ты раб, но завтра ты поведешь филистимский народ! Клянусь твоим Богом, ты будешь царем. И мы будем молиться, мы все будем молиться, чтобы твой Бог вернул тебе зрение. Он вернет, ты прозреешь! Самсон!

Самсон сурово молчит. Галиал вздыхает и искоса смотрит на него, не то готовясь поразить его мечом, не то пасть на колени перед пророком. Подходит Далила, за нею Фара. Они с Галиалом отходят в сторону.

Далила. Возлюбленный мой, ты звал меня? Я здесь.

Самсон (*нежно*). Далила! Скажи мне: ты прекрасна? Я хочу знать, я сам не вижу. Ты прекрасна?

Д а л и л а. Так говорят люди. Для тебя моя красота, возлюбленный. Со вчерашней ночи, когда мчала я тебя в колеснице среди мрака и бури и ты весь был мой, я полюбила тебя до смерти. Возьми меня, куда хочешь, но не покидай меня: тобою дышу. Твой Бог и мой Бог, твой народ — мой народ, Самсон.

С а м с о н. Молчи! Я не пророк, Далила. Возле моего дома в Цоре был ручей, шумевший постоянно...

Д а л и л а. Я не знаю, возлюбленный, отчего ты так печально говоришь?

С а м с о н. Да, был. И он больше не шумит, Далила, я проклял его. Тебе не противна моя слепота? У меня такие дурные рубцы и шрамы. Нет, не целуй, тебя увидят — какая ты!

Г а л и а л *(подходя)*. Прибыл царь. Иди, Далила, поспеши. Самсон не уйдет от тебя... Правда, друг Самсон?

Д а л и л а. Прощай, возлюбленный мой! Прощай!

С а м с о н. Прощай.

В отдалении снова поют жрецы. В храме движение, крики: «Дорогу царю!» Предшествуемый воинами и слугами, окруженный царедворцами, медленно проходит к своему месту царь Р е ф а и м, совершенно дряхлый, полуслепой старик. Его поддерживает под руку красивый и гордый А х и м е л е к, потом садится у его ног. Возжженные новые светильники заливают всю эту группу ярким светом; сияет золото и виссон, сверкают драгоценные камни и оружие; богатство царя и его близких кажется несметным. Пение продолжается, не смолкая. Все в храме становятся при проходе царя на колени, здесь так же. Одновременно с этой стороны к Самсону подходят жрецы и служители храма, несут для него пышные одежды.

Г а л и а л (*шепчет*). Поклонись царю, Самсон.

С а м с о н. Где он, я не вижу.

Г а л и а л (*шепчет*). На колени. Тебе надо стать на колени, Самсон. Так требует обычай.

В т о р о й ж р е ц (*резко*). На колени.

Самсон становится на колени. Пение смолкло. Все встают.

Г а л и а л. Теперь встань, Самсон. Сейчас тебе надо начинать. Помни, друг, помни.

С а м с о н. Что мне делать?

В е р х о в н ы й ж р е ц. Тебе скажут. Осмотрите, хорошо ли подрублены цепи. Хорошо? Тебе их не трудно будет разорвать, иудей.

Служители храма осматривают цепи.

Г а л и а л. Ты еще не видал твоих новых одежд, Самсон, которые ты наденешь. Эй, подойди сюда! Попробуй, Самсон, нет, попробуй, ты еще не знаешь какие. Правда, хорошо?

Я тебе не хотел говорить, но это мантия самого царя Рефаима, пожалованная тебе. *(Тихо и страстно.)* Когда ты облечешься в нее, ты станешь нашим вторым царем, и весь народ пойдет за тобою!

Верховный жрец (*перебивая*). Ведите его! Не уходи, Галиал, ты мне нужен.

Галиал. Мое место возле царя.

Верховный жрец. Нет, твое место здесь. Ты еще нужен. И здесь повелеваю я! Иди за Самсоном и стой возле него.

Два вторых жреца выводят Самсона на возвышенное место между двумя колоннами, видимое всему народу. В толпе широкий гул и затем полное молчание. Верховный жрец, скрываясь в тени колонны, с злой усмешкой наблюдает за обрядом. Возле Самсона теперь остается только третий жрец. Галиал стоит немного позади.

Жрец (*протяжно*). Раб милостивого царя нашего Рефаима, иудей Самсон, сын Моноя из Цоры, ранее бывший судиею и повелителем над нечестивым Израилем, желает преклонить колена перед народом и царем филистимским. Он просит позволения царя и народа.

Царь усиленно кивает головой, шепчет Ахимелеку.

Ахимелек (*срывающимся голосом*). Царь Рефаим снисходит на мольбы Самсона из Цоры. Пусть преклонит колена. Мы ждем!

Жрец. Самсон, сын Маноя из Цоры, преклоняет колена и униженно молит царя и народ филистимский простить его за содеянное зло. Кровь убитых на голове его и народа его до седьмого колена. *(Негромко.)* Становись же.

Самсон опускается на колени. В толпе гул восклицаний, смех, радость. Далила бледна, глаза ее гневно опущены.

(*Тихо.*) Теперь встань. (*Громко и протяжно.*) Слуга царев, верный Галиал, приблизься! Преисполни чашу скорби и унижений раба Самсона, князя израильского, и ударь его десницею твоею по ланите. (*Негромко.*) Бей же.

Галиал (*в страхе шепчет жрецу.*) Этого не надо. Что ты еще придумал?

Верховный жрец (*из-за колонны*). Это я повелеваю. Бей!

Галиал (*отступая*). Я не стану, я не могу.

Самсон неподвижен, как будто не слышит. В толпе недоумение, гул. Ахимелек, встав, через головы гневно смотрит на Галиала.

(*Нерешительно подвигаясь.*) Самсон, ты позволишь мне...

Самсон, клянусь, я сам не знал, они хотят погубить тебя и меня...

В толпе крики: «Бей же! Что же ты стоишь! Что же ты медлишь! Он боится!» Толпа испугана.

Самсон, друг...

Нерешительно, точно обжигаясь, прикасается рукою к щеке Самсона. Тот неподвижен, как и прежде. В храме легкий вскрик и затем бешеный гул восклицаний, проклятий, хохота, женского визга. Царь слегка испуган. Далила с нескрываемой ненавистью смотрит на царя и народ.

Жрец. Молчание! Молчание! *(Тихо)*. Теперь стань сюда, обопрись о камни, так. *(Громко и протяжно)*. Раб Самсон! Ты показал нам степень смирения твоего и порадовал царя и народ филистимский. Теперь покажи силу твою. *(Тихо.)* Подними руки вверх. *(Громко.)* Разорви цепи, которыми ты окован, дабы видели мы несокрушимую и несокрушенную силу твою! Смотри, народ.

Самсон легким движением рук разрывает цепи; они падают со звоном. В первую минуту молчание испуга; почти все встали, но Самсон неподвижен, и снова своды храма сотрясаются бешеным воплем восторга. Громовой хор жрецов, покрывая голоса народа, возглашает славу Дагону и богам.

Жрецы *(поют)*. Слава и сила Дагону! Перворожденному, отцу Богов и людей! Сотворившему Небо и Землю. Слава светлоокой богине Иштар! Дарующей смех и любовь! Слава великому и мрачному Ваалу, господу зла и мрака, повелителю преисподней! Слава и сила! Слава и сила! Слава и сила!

Смолкают.

Жрец. Молчание! Молчание! Самсон хочет говорить к Дагону, царю и народу филистимскому. Внимайте!

Самсон в недоумении молчит. Галиал также в недоумении и яростно смотрит на улыбающегося верховного жреца. Голос в дальних рядах: «Охрип, пес!» Смех. Самсон в недоумении ворочает головой и молчит. В толпе настойчивые крики:

— Говори, Самсон! — Кайся! — Пляши, Самсон! — Палками иудейскую ослицу! — У него вырвали язык, как и глаза! Зачем нам нужен немой! *(Смех.)* Несите палки, воловьими жилами бейте его! — Говори, Самсон!

Самсон *(громко и тупо)*. Что мне говорить?

Новый взрыв смеха, визга, проклятий. Некоторые из воинов и служителей храма тщетно стараются охранить порядок и восстановить тишину. Ахимелек, покраснев от обиды, гневно смотрит то на Самсона, то на кричащих.

Голоса. Пляши, Самсон! — Расскажите ему, как плясали сегодня иудеи на базаре! — Ря-рря! — Бейте его!

Г а л и а л *(кричит)*. Говори, Самсон! Вспомни! Дай знамение!

С а м с о н. Молчать!

Крики стихают. Самсон угрожающие делает шаг вперед.

Эй, вы, рабы филистимские, молчать!

Крики стихли. Одинокий голос: «Ты не царь, а мы не рабы». Короткий смех и молчание.

Я пророк, я меч, я жезл гнева Господня! Волею Бога Израиля я приказываю вам замолчать и в молчании внимать глаголу моему. Внимайте, народы! Внимай, небо и земля!

Г а л и а л *(в ужасе)*. Это молния Синая. Остановись!

С а м с о н. Господь сказал: Я есмь Господь Бог твой и да не будут тебе боги иные, кроме меня!

Г а л и а л *(в ужасе кричит)*. Это молния Синая! Спасайтесь! Спасайся, Фара! Все погибло!

А м о р р е й. Воины, за мной! Спасайте царя! Спасайте Ахимелека! За мной! Бейте его!

Устремляются к Самсону. Одни из воинов обнажили мечи и пробираются сквозь толпу, давя и тесня, другие натянули луки и целятся. Фара выхватил лук у воина и натягивает тетиву, спокойно целясь.

С а м с о н. Кто смеет поднять меч на пророка? Да падут мечи наземь.

Со звоном падают мечи.

Да разорвется тетива, как лен перегорелый! У меня нет очей, чтобы приказывать и повелевать, но взгляни на них Ты, Боже Израиля, и одень их в неподвижность камня! Пусть станут камнями, окаменятся и станут безгласны и неподвижны, подобно камню стен и подпорок!

Два-три легких движения, вздох, и все каменеет. Еще пытается Фара сбросить страшное оцепенение и бессильно падает на одно колено; так застывает. Пал ниц Галиал, весь огненно-золотой, блистающий; увял, как ранний цветок на стебле, юный и прекрасный Ахимелек. Одна Далила, при начале успевшая близко подойти к Самсону, превозмогает силу наваждения, распластываясь, как под неимоверною тяжестью, подползает к Самсону и смотрит на него глазами поверившей. Застывает и она. Храм безмолвен, как кладбище.

Боже Израиля! Непреклонна Твоя воля, но сосуд нечистый избрал Ты для духа Твоего, и не достоин я вести Израиля. Кто я, сын Маноя из Цоры, Самсон, которого бьют по щекам? Я полон скверны, я раб и собака, я люблю золото, вино и песни...— таковы ли Твои пророки, и мне ли возве-

щать Твои глаголы? Слепец на дорогах, куда приведу я Твой избранный народ? О, горе мне, горе,— я слеп и ничего не вижу. Что делать мне с силою Твоею? Ни храма Тебе я не создам, ни славы Твоей не умножу,— я слеп и ничего не вижу! — Почему все молчит? — Боже, Ты здесь, Ты слышишь меня? Я, Самсон, я слеп и ничего не вижу. Ты слышишь меня? О Господи Боже, куда мне пойти с силою Твоею?

Умри, душа моя, с филистимлянами.

Колеблет колонны, и храм рушится, погребая мертвых.

З а н а в е с

1915

МЛАДОСТЬ

ПОВЕСТЬ В ДИАЛОГАХ

К постановке автором
не разрешается

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

В доме Мацневых на Посадской улице. Четверг Страстной недели, сияющий апрельский день; время к заходу солнца.

Просторный, провинциально обставленный зал-гостиная; у окон много зимних цветов, среди коих фуксия и уже зацветшая герань. Одно окно выходит в стеклянный коридор, идущий вдоль всего дома и кончающийся парадным крыльцом; другие четыре окна выходят на улицу — немощеную, тихую улицу, с большими садами и маленькими мещанскими домишками. Сейчас все заняты тем, что выставляют первую зимнюю раму. Собрались: сам Мацнев, Николай Андреевич, высокий, полный, красивый еще человек, со смуглым цыганским лицом; видимо, обычно носит русский костюм, но сейчас домашне и привычно распущен: красная шелковая, полурасстегнутая в вороте рубашка без пояса, широкие черные шаровары, внизу завязанные тесемочками. Вместо сапог — туфли. Ему всегда жарко. Александра Петровна, жена, добрая и всегда озабоченная. Старшая сестра Мацнева, вдова, одинокая женщина с характером — зовут все тетей Настей; и стоит и ходит, заложив руки в бока, курит. Гимназистик Вася, грязный, замусоленный, видно, что сейчас только возился в какой-то грязи; карманы оттопыриваются от бабок. Взволнован больше всех и всем лезет под ноги. Две взрослые гимназистки, семиклассницы: дочь Надя, скромная, тихая, мечтательная девушка, влюбленная в подругу,— и подруга Зоя Николаевна Пастухова. Дворник, он же и кучер Петр.

От одного окна цветы отодвинуты, и Петр, взгромоздившись на подставленный стол и тужась, тянет за веревку, продетую в кольцо на верхней перекладине рамы. Александра Петровна со страхом смотрит на раму и время от времени поднимает руки вверх, как бы готовясь принять свалившегося Петра и раму. Тетя Настя, самостоятельно заложив руки в бока, смотрит иронически. Гимназистки в стороне.

Мацнев. Да ты тяни, а не мусоль! Ну?

Петр. Да она не падает, Николай Андреич. Боюсь, как бы веревка не оборвалась, тогда я вам таких дров наделаю.— Не идет, говорю.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Ну, конечно, оборвется. Петр, Петр!

М а ц н е в. Дай-ка я... Эх, ты, ворона!

Т е т я *(иронически)*. Сам собрался — да тебя, батюшка, и стол-то не выдержит.

В а с я. Пусть папа,— папа, полезай! Лезь, папа.

М а ц н е в *(пробует стол)*. А ведь — правда, не выдержит. Петр, принеси-ка стол из кухни.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да не надо, Николай Андреич. Ну, что ты собрался к вечеру рамы выставлять, еще захолодает.

В а с я *(возмущенно)*. Ну, что ты, мама, говоришь! Такая жара, а она...

Т е т я. Уж оставь его, Саша: приспичило. Петр, а ты и правда на голову-то не свались, не легонький!

П е т р *(тужась)*. И свалишься!

В а с я. Папа, пусть он вожжи возьмет. Новые, они крепкие.

М а ц н е в. Не мешай, Васька! А и то правда: принеси-ка, Петр, вожжи. Старые возьми.

В а с я. Нет, новые! Новые, Петруша, возьми.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да не мешай ты, Вася.

П е т р *(выходя)*. Лодыжки-то рассыпал, подбери,— игрок!

В а с я. Где? *(Подбирает, толкая сестру.)* Пусти, Надька, под тебя закатилась. Да пусти ты, когда тебе говорят: расставилась, как барыня!

Н а д я. Ну, и выражаешься ты, Васька.

М а ц н е в. Васька! Не выражайся.

В а с я. А чего ж она?

М а ц н е в *(делая вид, что сконфузился за свой костюм перед барышней)*. Ах, простите, что я без галстука.

Как будто хочет поднять подол рубашки и закрыть им шею. Вася хохочет.

Н а д я *(смущенно)*. Ну, ты всегда, папа.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Оставь, Николай Андреич!

В а с я. Я тоже без галстука. Смотрите.

Поднимает вверх куртчонку, опять вываливаются бабки.

Н а д я. А у вас уже выставлены рамы, Зоечка?

З о я. Нет, у нас они просто как-то открываются. Николай Андреич, а правда, что сегодня очень хороший день?

М а ц н е в. Правда, Зоенька, правда святая.— А ну-ка, Петр! — А ты где был, Всеволод, помогай.

С Петром вошел старший сын, Всеволод, студент.

Всеволод. В саду яблони окапывал. Что выставлять? Можно.

Вася *(с диким пафосом поет)*. «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался...»

Александра Петровна. Да замолчи ты, Вася, оглушил!

Мацнев. Васька! — Продел, Петр?

Петр *(тужась)*. Готово. Э — ты! не идет.

Всеволод. Пусти-ка, Петруша.

Вскакивает на стол.

Александра Петровна. Не надо, Севочка, упадешь. Скажи ему, Николай Андреич!

Тетя. Теперь уже молчи, Саша. Герои!

В молчании Всеволод тянет вожжи, постепенно вытягивая раму; Вася тянет также за свободный конец вожжи; все глядят вверх; Петр и Мацнев, подняв руки, поддерживают и принимают отлипшую раму.

Вася *(кряхтит)*. Здорово!

Взволнованное молчание. Петр выносит раму, все невольно толпятся к окну, отодвигают стол; Мацнев старается распахнуть окно.

Александра Петровна. Погоди, Коля, дай хоть замазку смахнуть.

Мацнев. Ладно. Смахивайте.

Распахивает окно. В комнате сразу становится просторно и светло: почти видно, как льет весенний воздух. И слышны уличные весенние голоса, клохтанье кур и отдаленные веселые крики играющих во что-то ребят. Мацнев раздувает ноздри: так нравится ему воздух. Вася лезет к окну, но его оттесняют.

Тетя. И правда, теплынь. Слава Богу, вот и опять дождались тепла — да ты что, Вася, прямо на ноги лезешь, у меня, голубчик, мозоли!

Вася. Я нечаянно!

Мацнев высунулся в окно и смотрит.

Всеволод *(Зое)*. Хотите подойти?

Зоя. Спасибо. Надя, ты хочешь?

Вася. Да пустите вы меня!

Александра Петровна принесенной тряпкой смахивает с окна замазку, убирает вату. Ей помогает и тетя Настя.

Тетя. Пусти на минутку, Коля. Вася, отойди.

Александра Петровна. Господи, да когда же ты перестанешь лезть, Вася! Скажи ты ему, отец.

М а ц н е в. Не мешай, Васька!

В а с я. Никому я не мешаю, это вы мне мешаете!

Вдруг плачет с ревом, распуская карманы с бабками, весь обмокая.

Только и слышу: Васька, не мешай! Только и слышу! Как сами, так хотите смотреть, а как Васька подошел, так...

М а ц н е в *(не оглядываясь)*. Ну, ну — взревел.

В а с я. Тут взревешь! Как сами, так хотите, а как я подошел раз... нюхнуть, так вам не хватило!

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Ну, перестань, ах, вот же глупый! Ты целый же день по улице бегаешь. Ну, и нюхай, дай только пыль стереть.

В а с я. Знаю, какая это пыль! Как сами...

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Видишь, что и папа ждет. Ну, и нюхай,— ах, какой глупый!

В а с я. Надька, не смейся!

В с е в о л о д. Вот глупый Васюка.— Пойдемте в сад, пока здесь приберут.

З о я. Пойдемте. Вы деревья окапываете? От вас землей пахнет.

В с е в о л о д. Да так. В земле копаюсь.

Н а д я *(выходя с остальными)*. Идемте. Он сегодня оттого злится, что в бабки проиграл. Приготовишка!

В а с я *(яростно)*. Врешь, окаянная!

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Ну, Вася,— да что это с тобой? Ты что, белены объелся?

В а с я. А чего ж она!

Теперь в комнате трое: сам Мацнев, который, облокотившись на подоконник, молча и жадно смотрит на улицу, мать и Вася.

М а ц н е в *(не оборачиваясь)*. Ну, иди уж, Васька.

В а с я. Тут даже негде, ты все окно загородил.

М а ц н е в *(подвигаясь)*. Становись.— Ты вот что, мать,— ты вот что: дай-ка мне сюда стаканчик чайку. Хочу попить со свежим воздухом.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Не простудись, Коля.

М а ц н е в *(нетерпеливо)*. Ничего, ничего. Неси.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Сейчас, самовар уж готов.— Ты что шепчешь, Вася? Я не слышу.

В а с я *(шепчет, умоляя)*. Мамочка, ну, Христа ради, дай и мне стаканчик чайку сюда, я с папой. Мамочка, если ты не дашь!..

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Спроси отца. Николай Андреич, можно ему чаю сюда, я жиденького?

М а ц н е в *(ровнодушно)*. Незачем.

Вася. Ну, папочка!

Мацнев. Дай. Ну, иди сюда, клоп.

Садится на стул у окна, Вася стоит подле в заискивающей позе, говорит льстиво.

Вася. Тебе нравится, папа?

Мацнев. Нравится. А тебе?

Вася. Мне тоже. Мне очень.

Мацнев. Что ж тебе нравится? Улица?

Вася. И улица, и разное.

Мацнев. А давно ты улицу видал?

Вася. Так это совсем другое дело: отсюда смотреть!

Мацнев. Красивее?

Вася. Понятно, красивее.

Александра Петровна сама приносит два стакана чаю.

Мацнев. Спасибо, мать. Слышишь, как ракитой пахнет, цветет уже. Хорошая, мать, весна.

Александра Петровна. Она всегда, Колечка, хорошая.

Мацнев. И Пасха будет хорошая. Поцелуй-ка меня в голову, мать. А Васька-то?

Александра Петровна. Ну, если только он мне простудится...

Вася. Не простужусь, не таковский.

Александра Петровна. Вот увидим, каковский ты. Ну, пейте, пейте. И не обжигайся, Вася.

Выходит. Отец и Вася молча, оба с блюдечек, пьют чай. Вася пьет благоговейно и несколько подобострастно.

Вася. А как чай пахнет с воздухом. Хорошо, папа?

Мацнев. Хорошо. Васюк, ты рад, что две недели гулять? Постой, сегодня четверг?

Вася. А то что же? Сегодня из церкви со свечками пойдут. А ты рад?

Мацнев. Чему?

Вася. Что тоже гулять?

Мацнев. Тоже рад.

Вася. Все рады. Папа, а ты знаешь, чьи это куры?

Мацнев. Нет, а чьи?

Вася. Ей-Богу не знаешь? Совсем не знаешь?

Мацнев. Нет. Та, куцая, что-то знакомая, где-нибудь встречались.

Вася *(хохочет)*. Встречались! Да это наши!

Мацнев. Да ну?

Вася. Да ей-Богу же! Честное слово! А он смотрит и не знает, говорит, знакомая.

Мацнев. А кто ей хвост выщипал? Не ты?

Вася. Конечно, я этим не занимаюсь. Да наша же Жучка и выщипала.— Папа, я выпил.

Мацнев. На здоровье.

Вася. Папа, а тебе не скучно будет, если я пойду? Ты один посиди.

Мацнев. А что, дела есть?

Вася *(вздохнув)*. Есть. Ты не скучай, маму позови. А мне нельзя. Хочешь, я велю тебе еще чаю принести. Пей. Хочешь?

Мацнев *(в тяжелом раздумьи)*. Да как тебе сказать, Вася, чтобы не соврать?

Вася *(нетерпеливо)*. Ну?

Мацнев. Конечно,— с одной стороны, отчего и не выпить?

Вася. Ну да! Только говори скорее! А с другой?

Мацнев. Но, с другой, если вдуматься — понимаешь, вдуматься...

Вася. Ну?

Мацнев. А с другой... *(Смеется.)* Ну, вели, вели. Постой: стакан захвати!

Вася выходит со стаканом. Мацнев один, смотрит в окно, тихонько напевает на мотив Васькиного пения: «Выставляется первая рама...» Входят Надечка и Зоя.

Зоя. Все в окно смотрите, Николай Андреич? А я к вам проститься, домой иду.

Мацнев. Что ж так рано, Зоенька? Мало вы сегодня у нас покрасовались.

Зоя *(улыбаясь)*. Надо, ждут. Какой у вас красивый сад — неужели это правда, что вы сами весь его насадили?

Мацнев. Сам.

Надя. Я тебе ж говорю, что сам. Теперь веришь?

Мацнев. До меня, как я эту землю купил, тут огород был, капусту садили. А что, хорош?

Зоя. Очень хорош. Но вы такой еще молодой, а деревья совсем большие. Скоро они зацветут — какая у вас будет красота! Я к вам буду приходить к экзаменам готовиться, можно? Меня Надечка зовет.

Надя. О чем ты папу спрашиваешь? Смешная!

Мацнев *(улыбаясь)*. Приходите. Одним цветком будет больше. Ах, простите, что я без галстука!

Надя. Ты опять, папа! — Папа, мы с ней сегодня вместе к стоянию пойдем.

Входит со стаканом чаю Александра Петровна.

Александра Петровна. С Зоей Николаевной?

А я сама с тобой вместе хотела, как же ты так! Придется нам вдвоем с теткой, видно... ну, ничего, зато и скорее будет, мы с ней на лошади поедем. А Сева не с вами, взяли бы вы его!

Надя. К нему сейчас Нечаев придет. Они для нас слишком важны!

Зоя *(улыбаясь)*. Нечаев не важен.

Александра Петровна. Нечаев придет, как же это? А в доме никого не будет, так они и будут в пустом доме сидеть? Марфа тоже к стоянию идет, я ей обещала, им и самовара подать некому. Или мне остаться?

Мацнев. Пустяки, Саша, иди себе. И так посидят. А вы вот что, Зоенька, после стояния вашего приходите с Наденькой к нам, Нечаев нам на гитаре сыграет...

Александра Петровна. Да что ты, да разве сегодня можно? Опомнись, Коля!

Мацнев. А что, нельзя? Ну, так, если гитары мать не позволяет, я галстук надену, усы нафабрю — приходите.

Надя. Папа в тебя влюблен *(шепотом, страстно)*, Зойка, приходи! Непременно, слышишь!

Мацнев. Папа влюблен. Влюблен папа, только маме не говори.

Александра Петровна. А маме что! Приходите, Зоечка, приходите.

Зоя. Право, не знаю, постараюсь. У вас так хорошо, что, вероятно, приду, если дома только не задержат. На наших улицах, среди камня, даже весны как-то незаметно — вы бы так не могли жить, Николай Андреич?

Мацнев. Не мог бы, Зоенька. Я первобытный человек: на краю города еще могу, около города еще помещаюсь, а в самую вашу гущу залезть — сдохну.

Надя. Папа ни за что не стал бы жить в городе, если бы не служба. Ну, надо идти, Зоечка! До свидания, мама.

Целуется с матерью, Зоя прощается, уходят.

Александра Петровна. У них свой дом на Дворянской и тоже сад, Надя говорит. Вот странно, Коля: семь они лет вместе учатся и как будто друг друга не замечали, а этот год водой их не разольешь! Мне она тоже нравится, воспитанная девочка, но чтобы так влюбиться в нее, как наша Надя...

Мацнев. Куда ты, Саша? Посиди, поговори.

Александра Петровна. Да некогда мне, Колечка, насчет ужина надо еще распорядиться, ведь мы сейчас

идем с тетей... *(Выглядывает в окно.)* А и правда, как хорошо пахнет! — ракита эта, что ли? Хорошо!

Мацнев. Сядь. Ракита. А ты видала, какие у нас завязи на сирени?

Александра Петровна. Ну, рано еще!

Мацнев. А ты посмотри-ка, Саша, взгляни-ка: Мишка Додончик начал крышу перекрывать, да так и не кончил: теперь Пасху так простоит.

Александра Петровна. Да и то! Вот пьяница! — Надо идти мне, Коля, кажется, к Первому Евангелию звонили уж.

Мацнев. Поспеешь, Саша, а на будущий год я решил: бросаю банк — и в деревню. Мне Иван Акимыч говорил: есть тут одно именьице десятин семьдесят, но пречудесное... Вот бы! Саша!

Александра Петровна. А дом?

Мацнев. Продам, конечно.

Александра Петровна. Жалко будет, Коля, привыкла я!

Мацнев. Там я еще лучше устрою. А тут что нам делать одним? Всеволод в Москве, Надя осенью туда же, ну, а Ваську у дяди устроим...

Александра Петровна. Это верно: Петр с удовольствием его возьмет. А на лето к нам. Да и те приедут, старшие — им тоже будет хорошо.

Мацнев. Саша, а тишина-то какая, а ширь-то какая. Хорошо у нас, а все город, а там вот теперь, когда солнце заходит... Или пойти по меже среди зеленей... Тесно тут!

Александра Петровна. И не говори — а я разве не отдохнула бы? Вот теперь Пасха, гости, голову потеряешь. Марфа-то наша и куличей поставить сама не умеет... Ты говоришь: сирень, а я и в сад-то сегодня зайти не могла, все некогда!

Мацнев. А ты все-таки зайди.— А хорошо бы еще на свете пожить, Саша! Годков так бы тысячу!

Александра Петровна. Куда нам столько! — Слышишь: опять у Михаила Архангела звонят. Надо идти.

Молчание. Оба задумались.

Коля!

Мацнев. Что?

Александра Петровна. Что-то, мне кажется, лицо у тебя почернело последнюю неделю? Может быть, это только от воздуха, а я все-таки боюсь.

М а ц н е в. Волка бояться, в лес не ходить. *(Вздыхает.)* Эхма, кабы денег тьма: купил бы собачку и весь день брехал бы на нее!

Заметно смеркается. Входит тетя Настя.

Т е т я. Саша, ты что же это? Я тебя по всему дому ищу, а она расселась! Одевайся, матушка, пора, для тебя поп на бис петь не станет!

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да вот этот заговорил. Сейчас!

М а ц н е в. Да куда вы, стрекозы! Успеете еще. Настя, а скажи-ка про Всеволода: хорош? Видала, как девицы на него посматривают? Что ж, язва, молчишь!

Т е т я. Герой!

М а ц н е в. А я уж и не герой?

Т е т я *(подходя ближе и кладя руки в бока)*. Ты, Коля,— я прямо это скажу — в его года такой был, что все от тебя с ума сходили!

М а ц н е в. В воду бросались — сколько тогда утонуло, я помню!

Т е т я. В воду не бросались, а по бережку ходили. Вот она тебя не знала, а ведь все это на моих глазах, Николай Андреевич, было!

М а ц н е в *(посмеиваясь)*. Всю жизнь за мной шпионишь: дал Бог сестру!

Т е т я. Бог, а то кто же? Это мужа иногда или жену черт дает, а сестру всегда Бог. Моего Сергея Марковича черти у всех на глазах ко мне привели, только я одна не замечала. Говорит, бывало, покойничек, напившись: что это, Настя, все черти около нас вьются, а мне и невдомек, что это сваты наши... тьфу, тьфу, согрешила! Если бы ты, Коля, пораньше пить бросил, да не прожигал бы жизнь, как солому, да не...

М а ц н е в. Поехала! Ты с горы-то осаживай. Полегче!

Т е т я. И поеду! Она тебя не знала...

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да что ты, Настя, в самом деле: как это я его не знаю?

Т е т я. А так, что и не знаешь. Твой Всеволод — пачкун перед ним! У Коли взгляд был орлиный, всегда немного исподлобья, гордый: ко мне не подходи, я сам все вижу, спуску никому не дам...

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да и Всеволод исподлобья. А мне это и не нравится! Взгляд должен быть открытый, ясный, светлый...

Т е т я. Много ты смыслишь, Саша! Вот у моего Мар-

кыча взгляд был не только что светлый, а прямо-таки луженый, а кроме чертей, прости Господи, никого не видал. Рассердилась я раз, взяла его за вихор и сама его в часть повела. Показываю ему на каланчу: это что, голубчик? А он задрал голову вверх, посмотрел и говорит: полбутылки. Хоть бы бутылка сказал!

Мацнев смеется, Александра Петровна сердита.

Александра Петровна. Твой Сергей Маркыч был очень добрый человек. А вот вы вдвоем всегда против меня, даже детей не смею любить...

Мацнев *(улыбаясь, гладит ее по плечу)*. Не глупи, Сашенька...

С готовым ревом вбегает Вася.

Вася. Папа, пусти меня, они меня, эти, не пускают! я тоже к стоянию пойду. Папочка, пусти! Мне Петруша фонарик для свечки сделал, я целый год собирался, только и думал... Пусти!

Мацнев. Ну, взревел — перестань. Тебе говорю. Отчего его не пускаете — пусть идет. Ступай.

Александра Петровна *(решительно)*. Ну, тогда пусть с нами едет, иначе не пущу.

Вася *(с новым сильнейшим ревом и так же решительно)*. Тогда не надо мне совсем, не поеду я с вами, с такими. Какая я вам компания? Мне Петруша фонарик, я с фонариком...

Александра Петровна. Да поздно назад, поздно, тебе говорят! Темно.

Вася. Всем человекам не поздно, а мне поздно. Я фонарем дорогу освещать буду. Папа, скажи им!

Мацнев. Да пусть идет. Иди,— не реви только, как осел.

Вася. Нет, ты что мне,— ты им скажи!

Мацнев *(смеется)*. Сказал, видишь,— побледнели. Ну, проваливай.

Вася *(убегает)*. Не выгорело, тетки!

Александра Петровна. Да что ж это такое — прямо белены объелся! Балуешь ты его, отец.

Мацнев. Это он в первобытное состояние обратился. Ничего!

Тетя. Герой!

Александра Петровна. Его теперь за книгу...

Мацнев. Что? А вот я с вами так поговорю.

Внезапно охватывает обеих за плечи и начинает жать так, что обе пищат.

(Как будто не слыша.) Ты что говоришь, Саша — не слышу? А ты что говоришь, Настя? Что? Не слышу. Кто не пускает?

Входят Всеволод и Нечаев, офицер. Мацнев выпускает женщин, те бранятся, оправляются. Здороваются.

Тетя. Как был медведь, так медведем и остался.

Александра Петровна. Задушил совсем. Здравствуйте, Корней Иваныч.

Тетя. Видите, молодой человек, как из теток дуги гнут — вот поспорьте с таким героем. Или вы тоже герой?

Нечаев. Разве только по долгу службы, Настасья Андреевна. Выставили окошечко, Николай Андреич, посиживаете? Ах, до чего хорошо у вас тут, словно в деревню попал. Какой воздух, какая ясность красок!

Тетя. Ну, мы поплелись, Коля. Идем, идем, Саша,— к шапочному разбору.

Уходит.

Мацнев. Идите, идите.— Правда, хорошо?

Нечаев. Замечательно! И в саду у вас такое великолепие: трудно поверить, что до Рядов всего полчаса ходьбы.

Мацнев. Двадцать пять минут.

Всеволод. Ну, это, папа, как шагать! А чаю ты уж подожди, Иваныч, в доме ни души; впрочем, они скоро вернутся. Пройдемся или посмотрим в окно, как со свечками пойдут?

Мацнев. Некуда идти, посидите, ребятки. А я пойду по дому и поброжу, потом и чаю попьем. Ты, Всеволод, матери не говори, что я опять пошел в своей шубе на рыбьем меху, браниться будет.

Нечаев. А вам и вправду не холодно, Николай Андреевич? Солнце зашло, посвежело.

Мацнев *(с порога)*. Мне всегда жарко.

Всеволод и Нечаев некоторое время молча ходят по комнате. Курят.

Всеволод. Вот человек! Вот так вот все свои часы он хозяйственной тенью бродит по дому. Теперь в сад пойдет и будет каждую почку пробовать, потом по сараям; на днях я полез зачем-то на чердак,— а он там стоит и в слуховое окошечко смотрит. И так он может смотреть по целым часам.

Нечаев. Свое царство!

Всеволод. Мало уж очень его царство, он большего заслуживает. И особенно это у него весной; мне кажется иногда, что он тоскует о чем-то.

Н е ч а е в. А подойти?

В с е в о л о д. Нет, как можно! Он никогда о своем не говорит, так и умрет, пожалуй, не сказавши.

Н е ч а е в *(беря его за руку)*. Как и ты, Сева?

В с е в о л о д. Ну, я-то еще говорю. Разве тебе я мало сказал?

Н е ч а е в. Много. Но и я тебе все сказал, Сева. Мы — одна душа, правда? Послушай, как по-твоему: хорошо? «На заре туманной юности всей душой любил я милую...»

В с е в о л о д. Чье это?

Н е ч а е в *(поднимая остерегающе палец)*. «Всей душой любил я милую. Был в очах ее небесный свет, а в груди горел огонь любви». Нет, правда, хорошо?

В с е в о л о д. Хорошо.— Да — и все мне кажется, что он, отец, моложе меня: во мне есть какой-то холод, какая-то темная печаль...

Н е ч а е в. Опять, Всеволод?

В с е в о л о д. Все время, и днем и ночью.— А если он тоскует, то разве только об уходящей жизни... Какое сокровище, подумаешь! Недавно купил он у Рейхерта зрительную трубу, и они вдвоем с Васькой по целым дням сидели на крыше: окрестности в трубу разглядывали! А мать снизу смотрит на них и все боится, как бы не свалились.

Н е ч а е в. Нет, это трогательно. Всеволод, это очень трогательно! Какая, значит, жажда смотреть! Какая, значит, потребность расширить горизонт и... Нет, непременно попрошу Николая Андреича взять меня на крышу... Он не обидится?

В с е в о л о д. Нет, конечно.— Между прочим: ведь наши все совершенно не догадываются о том, что со мной происходит. Спокойны.

Н е ч а е в. А что, Сева — неужели ты и до сих пор?

Молчание. Почти стемнело. Вдали несколько монотонных ударов колокола.

Всеволод, скажи, я не ошибаюсь — самоубийство?

В с е в о л о д. Я уже давно говорил тебе. А ты что же думал, Корней?

Н е ч а е в. Не сердись! Нам последнее время совсем не удавалось поговорить...

В с е в о л о д. Не удавалось? — Странно! Как же это может случиться, чтобы друзьям, у которых одна душа, не удавалось поговорить? Кстати: ты отчего вчера не пришел? Ты ведь обещал?

Н е ч а е в. Ты ждал меня?

В с е в о л о д. Ждал.

Н е ч а е в. Да, ты прав, Всеволод, я виноват, я слишком много таскаюсь по людям, занимаюсь пустяками. Но ты знаешь, что я человек слабый, даже совсем слабежь — не то, что ты; и один, без людей, я просто не мог бы вынести того, что во мне.

В с е в о л о д. А разве ты один?

Н е ч а е в. Прости, опять не то. Ерунда, ерунда!

Молчание.

Сейчас я встретил Зою Николаевну с твоей сестрой, к стоянию пошли.

В с е в о л о д. Да, я знаю.— Ты вчера гулял с нею в городском саду?

Н е ч а е в. Да, случайно встретил. *(Решительно.)* Гулял.

В с е в о л о д. Оттого и ко мне не пришел?

Молчание.

Лампу не зажечь, темно?

Н е ч а е в. Нет.— Какая у вас в доме тишина!

В с е в о л о д. Никого нет, все в церковь ушли.

Н е ч а е в *(подходя к окну)*. И на улице тихо. *(Вздыхает.)* Какая чудесная тишина!

Молчание.

В с е в о л о д. Ты говоришь, Корней Иваныч: одна душа — но, кажется, ты совсем не знаешь, что такое дружба. Вот сейчас ты, вероятно, подумал, что я ревную к тебе Зою, как влюбленный мальчишка, но это неправда. Я давно уже сказал тебе, что совсем и навсегда я отхожу от этой девушки, с которой мы никогда и не говорили даже, и что ты...

Н е ч а е в. Послушай, Всеволод!

В с е в о л о д. И что ты в твоем отношении к ней совершенно свободен. Я говорил это?

Н е ч а е в. Говорил. *(Тихо.)* Но мне это не нужно.

В с е в о л о д. Дело твое.

Молчание.

Н е ч а е в. Всеволод! Я человек мелкий, я человек ничтожный, сознаю это, и в этом невыносимое страдание моей жизни — тебе это известно. Но я никогда не позволю себе взять девушку, которую ты так великодушно...

В с е в о л о д *(резко)*. Она не моя, и я не могу ее давать. Бессмыслица! Но если бы я... если бы я мог давать ее кому хочу, то — знаешь, кому бы я дал? — Отцу. Нет, не подумай, пожалуйста, что отец влюблен, пустяки — но если

бы ему было столько лет, как мне,— он любил бы ее. И она любила бы его, а не нас... что мы для нее! И если я решил покончить с собой...

Нечаев. Решил?

Всеволод. То не потому, что я влюблен,— что мне до этой женской, земной, человеческой маленькой любви, которая никогда не ответит мне: зачем я живу! Другие видят, а я смысла в жизни не вижу, Корней! Для всех весна, а у меня весной такая невыносимая, острая, мучительная тоска — зачем все это, когда я умру, сдохну, как последняя собака, умру, как скоро умрет мой отец! Для всех цветы — а для меня это цветы на чьем-то гробу! Сейчас весь город радуется, молится, в весенней тишине ждет какого-то благостного откровения, а для меня... Зачем? Зачем все это? И неужели ты думаешь, что для меня может что-нибудь значить любовь Зои, твоя измена? Только немного больше тоски, лишняя бессмысленная слеза — и больше ничего.

Нечаев. Прости! Прости меня, Сева! Я не знал, что тебе так больно, что ты так мрачен... друг мой!

Всеволод. А откуда же тебе знать? Странно! Когда твой друг в одиночестве грызет себе пальцы от смертной тоски — ты гуляешь в саду с какой-то девчонкой! Миленькая жизнь, в которой такие друзья! Когда-то ты говорил, клялся, что всюду, в жизнь и в смерть, мы пойдем вместе, что ты никогда не оставишь меня одного,— а теперь ты гуляешь по саду? Хорошо там было, Корней? — Одна душа!..

Нечаев. Какой я подлец!

Всеволод. По крайней мере, вы могли бы подождать, пока я покончу с собой.

Нечаев. Всеволод!

Всеволод. Что?

Нечаев. Ты меня презираешь?

Молчание.

Может быть, мне уйти, Всеволод?

Всеволод. Зачем же. Посиди. Сегодня у нас будет Зоя Николаевна.

Нечаев, уже взявший фуражку, кладет ее и решительно садится на место.

Нечаев. Хорошо, я останусь.

Продолжительное молчание. Входит Мацнев, не сразу замечает сидящих.

Всеволод. Папа!

М а ц н е в. Фу-ты: сидят и молчат. Что это вы, ребята? Отчего свету не зажжешь, Сева?

В с е в о л о д. Нам и так хорошо. Зажечь?

М а ц н е в. А вам хорошо, так я и не жалуюсь. *(Подходит к окну.)* Какой теплый вечер, завтра все выставим. Корней Иваныч, приходите-ка завтра утречком рамы выставлять, мы без армии не обойдемся.

Н е ч а е в. С удовольствием, Николай Андреич. Приложу все силы.

М а ц н е в. Сейчас и со свечками пойдут. А заря-то еще горит, как поздно солнце заходит! Всеволод, это ты на правой дорожке яблони окопал или Петр?

В с е в о л о д. Я. А что?

М а ц н е в. Ничего, хорошо.

Н е ч а е в. Николай Андреич, мне Всеволод говорил, что у вас есть хорошая зрительная труба, можно как-нибудь посмотреть?

М а ц н е в. Когда угодно, хоть завтра. От нас весь вокзал как на ладони. Мамонтовская роща видна... Смотри, Сева,— вон и первая свечечка показалась!

В с е в о л о д *(выглядывая в окно)*. Быстро идет. Ветру нет, не гаснет.

М а ц н е в. Тишина.— Попоете сегодня, Корней Иваныч? Мать будет ругаться, но мы ее обработаем. Сегодня и Зоя ваша будет. Как это, кажется, у Пушкина: «Зоя, милая девушка — ручка белая, ножка стройная...» Соврал, кажется. Так споете?

Н е ч а е в. С наслаждением, Николай Андреич.

В с е в о л о д *(спокойно)*. Он новую песню знает: «На заре туманной юности всей душой любил я милую...» Как дальше?

М а ц н е в. Какая же это новая, и я ее знаю. Старая.

Н е ч а е в. Про меня, Николай Андреич, товарищи в полку говорят: гитарист и обольститель деревенских дур, он же тайный похититель петухов и кур...

М а ц н е в. Сильно сказано. Господа, а ведь это Васька — он! *(Кричит в окно, не получая ответа.)* Васька! — Всех опередил. Сейчас, значит, и наши будут, чайку попьем. Посмотрите-ка, вон их сколько показалось, как река плывет!

Н е ч а е в *(заглядывая в окно)*. Как красиво, Боже мой! Людей не видно, словно одни огоньки душ!

М а ц н е в. Правильно.

На пороге показывается с горящей свечой Вася; свеча обернута бумажкой, и весь свет падает на счастливо нелепое Васькино лицо.

В а с я. Папа!

М а ц н е в. Ну?

В а с я. Папа! Я...

Медленно, не сводя глаз со свечи, подвигается к отцу.

Папа! Донес! Первый! Мне ребята фонарь разорвали, а я бумажку сделал. Донес! Только дорогой два раза от старушки зажигал. Смотри!

Далекий гул церковного благовеста.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Конец мая. Полная луна.

Темный профиль невысокой железнодорожной насыпи; самое полотно и даль позади его залиты немерцающим ровным светом месяца. Две высокие березы по эту сторону; стволы их слабо белеют в тени насыпи, а кроны, пронизанные светом, кажутся прозрачными и воздушными. Пешеходная тропинка, идущая внизу вдоль насыпи, в этом месте наискось подымается на полотно. По тропинке — гуськом и по двое — идет гуляющая молодежь: здесь Мацневы, брат и сестра, Зоя, Нечаев, статистик Василий Васильевич, молчаливый, худой человек. Развязный студент в кителе; второй студент Котельников, бородатый, в штатском. Гимназист Коренев, Миша, двоюродный брат Мацневых, и его товарищ семиклассник. Две окончившие гимназистки: хорошенькая Катя и Столярова.

У подъема наверх некоторая заминка; поднявшись — темными силуэтами четко и резко вырисовываются на фоне озаренной светлеющей дали и скрываются налево. Смешанный, негромкий гул голосов; изредка смех. Кто-то впереди на ходу тренькает на гитаре. Поблескивают пуговицы студенческих кителей, погоны Нечаева.

Мацнев и Нечаев, несколько отделившись, идут сзади других последними.

С т у д е н т. Господа, наверх! Здесь нет проходу. Наверх!

Г о л о с а. Почему? — Наверх, говорят, надо верхом идти — Котельников, где вы?

На минуту сбиваются в кучу.

К о т е л ь н и к о в *(спокойным басом)*. Здесь, господа, наверх!

Г и м н а з и с т. Скоро мост, вон уже семафор!

К а т я. Голубчики мои, да тут ноженьки все переломаешь! Вот вели-вели, да и завели. Столярова, карабкайся!

Г о л о с а. А сторож? — Можно идти, я всегда хожу! — Да нельзя же низом, тут мост, вам говорят!

К о р е н е в. Надя, Зоя Николаевна, что же вы? Внизу нельзя!

Некоторые уже поднялись, другие поднимаются. Тот, что с гитарой, впереди.

К а т я *(с полугоры)*. Постойте: а поезд пойдет? Я боюсь!

К о р е н е в. Да честное же слово, ничего! Здесь настоящая дорожка.

Г и н а з и с т. Идемте же! Ну, что стали!

К о т е л ь н и к о в. Вон Василь Василич вперед уже удрал! *(Кричит.)* Василь Василич!

В а с и л ь В а с и л и ч *(не останавливаясь и не переставая тренькать)*. Здесь, иду.

Г и м н а з и с т *(наверху, скверно поет)*. «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края — и будешь там царицей ми-и-ир...» *(обрывается)*.

К о т е л ь н и к о в *(спокойным басом)*. «Подруга вечная моя».— Я пошел!

Все поднялись на насыпь.

Н а д я. Миша, как ты скверно поешь, тебе не совестно?

К о р е н е в *(хохочет)*. Это Скворцов загнул!

Н а д я. Ну, так извините. Зоечка, я возьму тебя за руку.

З о я. Бери. А где же Нечаев?

С т у д е н т. Они сзади идут. Не ошархнитесь, Зоя Николаевна, тут скользко.

З о я. Нет, пожалуйста, не держите, я сама.

Г о л о с а *(наверху)*. Конечно, здесь лучше! — Какая красота, матушки мои! — Я давно говорю, пойдемте по полотну! — Превосходная тропинка.— А сторож? — Да брось ты сторожа, вот привязался!

Г и м н а з и с т *(кричит)*. Василь Василич! Василь Василич!

Постепенно скрываются.

К а т я. А я по рельсе пойду! Ох, проклятая!.. Столярова, иди.

Н а д я. Я тоже. Ой, сразу сорвалась!

С т у д е н т. Давайте мне руку.

Н а д я. Нате.

К а т я. Лучше самой и... загадать... сколько пройдешь. Готово! Сверзилась! Это не считается.

Н а д я. Пустите руку, я также сама! Катя, я иду!

С т у д е н т *(Зое)*. А вы не хотите, Зоя Николаевна?

З о я *(печально)*. Мне не о чем гадать.

С т у д е н т *(в тон)*. Отчего вы так грустны, Зоя Николаевна?

Уходят. На освещенной насыпи пусто. Не торопясь, поднимаются Мацнев и Нечаев.

Мацнев. Куда это они?

Нечаев. Дальше мост, Сева, внизу нет дороги.

Мацнев. Ах, да, я знаю. Как тут красиво наверху. Покурим.

Нечаев. Покурим.— Всеволод, тебе хочется с ними идти?

Мацнев. Нет, а тебе?

Нечаев. Мне тоже. Посидим здесь. Вот на шпалы сядем.— Тебе удобно?

Мацнев. Удобно. Дай спичку.

Нечаев. На.— И дышишь — и будто не дышишь. Как странно! И какая тишина! — Вон семафор.

Мацнев. Да.— Тишина.— В лунном свете есть томительная неподвижность...

Нечаев. Но и красота!

Мацнев. Красота — и томительная неподвижность. Солнце не то, там всегда что-то бежит, струится, а здесь все остановилось. При солнце я всегда знаю, сколько мне лет,— при луне... дай еще спичку, потухла — при луне я словно не имею возраста, жил всегда, и всегда было то же.

Нечаев. Это верно. И разговаривать при луне можно только о том, что было всегда,— правда, Сева?

Мацнев. И будет — правда! Послушай, Корней,— тебе, может быть, хотелось бы к тем? Ты скажи прямо.

Нечаев. Ты все еще мне не веришь? — Постой, кто-то возвращается.

Мацнев. Это Надя. Чего ей надо?

Показывается Надя, издали кричит:

— Господа, что же вы отстали, Сева! Все ждут вас. Корней Иванович! Вы петь обещали, а Василь Василич всю гитару расстроил.

Нечаев. Отнимите у него! Я потом спою.

Надя. Когда же потом?

Мацнев. Скажи, Надечка, что мы здесь посидим, вас подождем. Идите.

Надя. Господи, как это скучно! Пошли вместе, теперь... Сева, пойди ко мне на минутку.

Мацнев. Что там?

Надя. Нужно. Неужели тебе так трудно подняться?

Мацнев *(поднимаясь и подходя к Наде, ворчит)*. Глупости какие-нибудь. Ну, что?

Надя *(тихо)*. Севочка, отчего ты такой мрачный сегодня? Все замечают.

Мацнев. Кто все?

Надя *(не сразу)*. Зоя. Отчего ты не хочешь с нами идти, о тебе все спрашивают.

Мацнев. Так, Надя, оставь. Идите себе.

Надя. И Корней Иваныч сегодня такой странный... Вы не поссорились с ним?

Мацнев. Наоборот.

Надя *(значительно)*. Да не из-за чего и ссориться! Ну, напрасно не идешь!.. *(Кричит.)* Так мы скоро назад, Корней Иваныч, вы нас же подождите!

Быстро уходит. Слышен ее голос: Зоя, Зоечка... Мацнев садится на прежнее место на шпалы.

Нечаев. Славная у тебя сестра.

Мацнев. Девчонка еще пустая. Она, по-моему, слишком рано кончила гимназию, но учится хорошо, ничего не сделаешь. Совсем еще девчонка. Это не то, что Зоя — Зоя человек.

Нечаев. Да. Зоя человек.— Всеволод, но неужели ты все еще не веришь мне?

Мацнев *(помолчав)*. Не знаю, Иваныч. Нет, теперь, кажется, верю. Но тогда, после Пасхи, когда я уехал в Москву...

Нечаев. Я держал себя отвратительно! Ну?

Мацнев. До твоих еще писем — я решил внутренно совсем порвать с тобой.

Нечаев. Неужели решил, Всеволод? Да, да, конечно, ты иначе не мог, ты был прав. Но теперь?

Мацнев. Скажи, Иваныч, я не понимаю: ты серьезно любишь ее?

Нечаев. Ах, не в этом дело, Всеволод! Не в том дело, голубчик, серьезно или несерьезно. Если хочешь, я иначе любить даже не умею, как только всей душой... какой иначе смысл в любви? Иначе мерзость, разврат!

Мацнев. Конечно.

Нечаев. Ну да! Но не в том дело, голубчик! Ты, Христа ради, не подумай, что я так... повернулся весь — от неудач в любви. Что за черт, это было бы совсем отвратительно, гнусно и мерзко. Скажем просто: ведь ты сам решительно и при всяких условиях отказываешься от нее?

Мацнев. Да. *(Вздыхает.)* Но в этом нет заслуги, Иваныч.

Нечаев. Нет, это ты уж оставь! Заслуги! А я был просто глуп, я был мелочен, я просто был скотина, каких полон свет. Именно: скотина! Когда ты уехал, не простившись со мною,— я, брат, верить этому не хотел, я руки себе ломал,

я готов был головой биться о стену. Честное слово! Подумай: великое, святое, единственное в жизни — нашу дружбу — я готов был променять, скотина, и на что же? На что, я спрашиваю? На прогулки в саду! На пожатие ручек, на вздорную, призрачную, лживую женскую любовь! Да на тысячу женщин, хотя бы всех их любил, как Зою, я не отдам часа, который мы с тобой! Ты веришь?

Мацнев. Верю, Иваныч.

Нечаев. Спасибо.

Оба вздохнули, молчат.

Что за черт: гляжу кругом и ничего не узнаю! Мне все кажется, что сейчас война и мы в какой-нибудь Маньчжурии... сидим себе и разговариваем. Нет, хорош лунный свет, Сева, от него душа становится чище! Всеволод, а скажи мне, я все не решался тебя спрашивать об этом: ты все так же думаешь о смерти? Ты очень печален, голубчик.

Мацнев. Все так же, Корней. *(Вздыхает.)*

Нечаев. И?..

Мацнев. Я решил умереть. Скоро. Не спрашивай, Иваныч.

Молчание. Нечаев встает и снова быстро садится.

Ты что, Иваныч?

Нечаев. Ничего. Плохо, Всеволод. Очень-очень плохо!

Мацнев. Ну?

Нечаев. Очень плохо! И это — дружба! И это — одна душа! Смешно, Всеволод, честное слово, смешно! Что же ты думаешь,— что я останусь жить без тебя? Смешно! Буду гулять в саду? Пожимать ручки прекрасным девицам? Носить цветы на твою... скажем просто: могилу? Ах, Мацнев, Мацнев!

Мацнев. Но послушай, Корней!

Нечаев. Ты, может быть, думаешь, что мне очень нужна эта луна? Вся эта красота? Какая трогательная картина: офицер Нечаев гуляет при лунном свете с прекрасной Зоей! Да к черту ее,— раз так, то вот что я тебе скажу! К черту! Ну да, я твердил и теперь твержу: «На заре туманной юности...»

Мацнев. «Всей душой любил я милую» — хорошие слова.

Нечаев. Всей душой любил я милую — ну да, всей душой, а как же? Но разве это я про женщину говорил? Извини, но ты оскорбил меня, когда подумал, что это относится к Зое, к какой-то девчонке, которая сегодня

любит одного, завтра другого. Эти слова я принес тебе, нашей с тобой юности, нашей дружбе, а не какой-то — Зое!

Мацнев. Ты прости меня, Иваныч, но как тогда я мог думать иначе? Сам посуди!

Нечаев. Сужу — и ну, конечно, ты был прав тогда... А теперь? — Нет, постой, не говори. А теперь... я не спрашиваю тебя, когда ты решил покончить с собой — сегодня, завтра, через неделю,— но если ты осмелишься умереть один, без меня, то я не знаю что! Я пощечин себе надаю, и все-таки убью себя, но с презрением к себе, ко всему миру — к тебе, Всеволод, который только говорил о дружбе! Молчи, молчи! — Какая луна красивая, черт ее...

Молчание. Нечаев громко, трубным звуком, сморкается и говорит деловым и даже сухим тоном.

Наши не идут, загулялись. Хоть бы облачко одно: действительно, какая неподвижность! — Но скажи, Всеволод, что, собственно, заставило тебя решиться?

Мацнев. Я уже говорил тебе: тоска. Невыносимая, немыслимая, день ото дня растущая тоска... что-то ужасное, Иваныч. Понимаешь: я молод, я совершенно здоров, у меня ничего не болит,— но я не понимаю, зачем все это... и не могу жить! Зачем эта луна? Зачем все так красиво, когда мы все равно умрем? Я встаю утром и спрашиваю себя: зачем я встал? Я ложусь и спрашиваю себя: зачем я лег? А ночью — какие-то дикие кошмары. Ужасно! И ни на что нет ответа, ни на один самый маленький вопрос. Подумай: вот я кончу курс и стану адвокатом, журналистом...

Нечаев. Ты мог бы быть знаменитым адвокатом, Плевакой!

Мацнев. Ну, хорошо, ну, стану я знаменитым адвокатом, а дальше что? Потом женюсь, как отец, и буду иметь собственного Всеволода — а дальше что? Бессмыслица — отвращение! — белка в колесе. И чем красивее вокруг, тем невыносимее для меня. В серые осенние дни я еще спокоен, тогда мне кажется, что я почти умер уже, но вот теперь!.. Как мне схватить и удержать всю эту красоту? Я ее зову, а она молчит! Я к ней протягиваю руки — и в них пусто... а там что-то идет, что-то свершается — нет, ужасная красота! И все обман, и все обман! Ты говоришь: Зоя — да разве это не обман, разве это не та же все — моя мама, твоя, всякая мама, всякая бабушка. Зоя — бабушка! *(Смеется.)* Ты можешь представить это, Корней?

Н е ч а е в *(помолчав)*. Могу. Ты извини меня, Всеволод, если я не все пойму в твоих словах: ты знаешь, я человек малоразвитой, почти не читаю, и все эти вопросы... Но ты прав.

М а ц н е в. Уже почти год это у меня. И сколько я перечитал за это время, Корней, все искал ответа... *(Смеется.)* Ответа! Ответа захотел дурак у моря!

Н е ч а е в. И нет ответа?

М а ц н е в. Слишком много.

Н е ч а е в *(рассудительно)*. Слишком много — значит, ничего. Я так и думал. Все это прекрасно, об этом ты мне еще расскажешь, но как ты, Всеволод, решил вопрос о родителях? Это вопрос, брат, прости меня — серьезный. У меня родителей нет, я подкидыш, по фамилии Нечаев, что должно было обозначать нечаянную радость, но ты? Тут надо подумать и подумать, как говорится.

Молчание.

М а ц н е в. Если хочешь, то по-настоящему о своих я не думал, да и думать не хочу. Зачем? Что такое родители, отец, мать, когда все бессмыслица, когда нет ничего! Значит, так нужно, чтобы я умер, а они страдали.

Н е ч а е в. Жестоко это, Сева, слишком жестоко!

М а ц н е в. Жестоко? А если бы я умер от чахотки или от тифа — ведь я всегда могу умереть от какого-нибудь тифа,— тогда не жестоко? Оставь, Корней! И почему то, что может сделать со мной любая бацилла — того я сам не смею сделать с собой? И у них есть Надя, Васька, славный мальчишка... и оставим их! Я о тебе, Корней, чудак ты мой милый, ты-то зачем со мной покончишь? Это, брат, уже форменная бессмыслица.

Н е ч а е в. Ты это серьезно?

М а ц н е в. Но подумай сам, Иваныч...

Н е ч а е в. Тогда и я серьезно. Погоди, не сбивай — мне трудно.— Конечно, я человек малоразвитой, армейский офицер, недоучка и во все эти твои тонкости войти не могу, нет. Смысл, бытие-небытие, зачем и к чему — к этому, извини меня, я равнодушен. То есть не то чтобы совсем равнодушен, а вроде этого: не понимаю. Но зато у меня есть свои основания — понимаешь: свои основания. Очень, конечно, возможно, что без тебя я бы никогда не собрался в эту дорогу, но только потому, что слаб характером и дрянь! Вот.— Покурим? — Луна-то как взлезла.— Да. Поставим вопрос просто: как ты думаешь, могу я стать Наполеоном — я тоже офицер, как и он был?

Мацнев *(хмуро)*. Пустяки это, Иваныч.

Нечаев. Нет, брат, не пустяки. Конечно, я так выражаюсь, но дело тут серьезнейшее, брат. Всякий человек имеет право быть Наполеоном, а если он не вышел — то к чертовой матери все! Вот. Конечно, я не честолюбив — но разве это хорошо? Это-то и есть главная моя подлость, это значит, что и всю жизнь я могу остаться тем же офицеришкой и не подвинуться ни взад, ни вперед. Помнишь, как я собирался готовиться в Академию, петушился... а что вышло? И как я живу? — совестно подумать, в темноте краснеешь: точно и не живу, а сплю. Вот ты приехал, и я с тобой проснулся, а уедешь ты или... И кому я нужен такой? Ну, конечно, не украду я там или не предам, ну, и добр я до глупости, но разве это настоящее? Нет, та же бесхарактерность, собачье виляние хвостом. Ничтожен я, Всеволод, ужасающе ничтожен. Стыдно подумать!

Мацнев. Не унижай себя, Иваныч, не надо.

Нечаев. Я и не унижаю себя, а надо же говорить правду. И еще скажу тебе самое позорное, о чем даже тебе говорить неловко: ужасно, брат, я некрасив! Другого хоть форма скрашивает, а как погляжу я на себя в зеркало со всеми этими ментиками-позументиками: фу, думаю, какой осел! Нынешней зимой, когда ты был в Москве, знаешь, о чем я размечтался? Не смейся — о монастыре.

Мацнев. Ну, что ты! Какой еще монастырь! Ты шутишь?

Нечаев. Нет, голубчик. Но только посмотрел опять в зеркало — и успокоился: да разве с такой физиономией угодники бывают? И не в том, конечно, дело, что рожа,— а ведь чего я хотел от монастыря? Спрятаться и только, без боя сдать позиции. И все это гнусно до последней степени, и вот тебе мои основания. Кому я нужен такой? Кто обо мне заплачет? И луна эта, и вся эта красота, и там далеко чьи-то прекрасные глаза смотрят в другие прекрасные глаза... но при чем я здесь? Ничтожен я, Всеволод, ужасающе, до боли ничтожен!

Молчание.

Так как же, Всеволод,— принимаешь в компанию?

Молчание.

Мацнев. Нет, Иваныч, пустяки. Какие это основания? Такому честнейшему человеку, как ты...

Нечаев. Да к черту, наконец, мою честность! Ведь это, наконец, оскорбительно: тыкать в нос честностью.

Мацнев. Обижайся или нет, а я говорю, что такому честнейшему человеку, как ты, вовсе не надо быть Наполеоном, чтобы иметь право на жизнь, на уважение и любовь. Пустяки, Иваныч. Ты просто хочешь принести некоторую жертву, а чтобы мне не было трудно, ты вот и придумываешь разные...

Нечаев. Жертва? Допустим. Пусть это будет только жертва, и больше ничего. Конечно, чего стоят мои нечаевские основания с точки зрения бытия-небытия? Вздор, простая блажь! Допустим. Но как ты, человек умный и благородный, не понимаешь сам, сколько надменности и презрения, какая проповедь неравенства в таком твоем отношении? Как ты, человек умный, не понимаешь, что жертва моя — есть мое единственное богатство, моя единственная красота, где я не уступлю никому в мире! Этой минутой единой я всю жизнь мою украшу, этой минутой я вечности достигну! И кому эта жертва? Тебе? Глупо, брат,— извини, но очень глупо! Не тебе, а дружбе! Вот кому, дружбе!

Мацнев *(потирая лоб)*. Да, одна душа — одна душа!

Нечаев. Одна ли душа, две ли — не в этом дело. Но в том дело, что был человек, который для святой человеческой дружбы не пожалел своей жизнишки поганой! Но был человек, который встал, вот так, перед всем миром *(встает)*, и громко сказал: ничего не жалею для друга! Не богатству, Сева, не славе земной, не дрянной любвишке женской — дружбе, Сева, дружбе, дружбе...

Садится и тихо плачет.

Мацнев *(обнимая его)*. Корней, милый ты...

Нечаев. Нет, ты скажи!..

Мацнев. Ну, конечно, вместе! Иваныч, брат ты мой родной!..

Нечаев *(не поднимая головы)*. Не брат, а друг. Брат убил брата, а друг умрет вместе с другом. Всеволод — как прекрасна жизнь!

Мацнев. Прекрасна, Иваныч! Так прекрасна, что...

Молча сидят, обнявшись. Нечаев легко вздыхает, громко сморкается и встает.

Нечаев. Стоп. Сейчас наши придут. Сева, я сегодня петь буду.

Мацнев. Пой!

Нечаев. «На заре туманной юности всей душой любил я милую»,— ах, Господи, до чего невыразимо хороша жизнь.

Ну — стоп! Еще одно слово: Всеволод, давай кончим на этом месте в воспоминание вечера сегодняшнего... Ты не сердись на сентименты, но тебе ведь все равно...

Мацнев. Нет, не все равно. Давай здесь!

Нечаев. И еще, револьвер или поезд? Револьвер — один может случайно остаться, а потом надо повторять. Поезд, конечно, страшнее, но я думаю, что это не важно — не важно, Сева. А луна-то дура смотрит и ничего не понимает. Но красиво, все красиво, правда, Сева? Вот мы на шпалах сидели — старые шпалы, а тоже поезда по ним ходили... Совсем заболтался я, не слушай. Но только мы свяжемся. Наши идут!

Очень далеко голоса и треньканье гитары.

Да, идут. И Зоя идет — как смешно: Зоя!

Мацнев. Зачем связываться, Иваныч, можно просто взяться за руки.

Нечаев. Разбросает — невозможно! Разбросает! Эта штука, брат, как хватит! Нет, так вернее и ближе. Но это потом, потом, Сева!..

Мацнев. Что, Корешок?

Нечаев. Так, болтаю. Ты меня не слушай.— Ишь, как весело идут. Если бы сегодня я был в лагерях, я напился бы, честное слово!

Мацнев. А вот это зря.

Нечаев. И сам знаю, что зря, а все-таки напился бы. И Горбачеву дал бы по роже. Давно ищу подходящего случая.

Мацнев. Что это за Горбачев — я не знаю его?

Нечаев. Ты не знаешь. Так, дрянь одна. Ну его к черту, подождет, если хочет. *(Встает на рельсы и кричит.)* Компания! Ого-го!

Кто-то из идущих на мотив тирольского рожка отзывается: а-у! Нечаев повторяет громко: а-у-у! Постепенно все выходят с левой стороны. Говор.

Студент. А нас по мосту не пустили.

Гимназист. Я говорил, что сторож не пустит.

Коренев. А я говорю, что тут ходил. Не пустил оттого, что много народу. Еще бы, если ты будешь выть: царицей ми-и-ррр...

Катя *(садясь на откос)*. Хоть на руках меня несите, дальше я не пойду. Столярова, плюхайся, матушка, тут так принято. Какой песок-то теплый, попробуй рукой. А?

Столярова. Да, совсем теплый!

Около них устраиваются на откосе Котельников и Василь Василич.

Н а д я. Не соскучились без нас?

Н е ч а е в. Стосковался до последней степени, едва дожил. Садитесь.

Н а д я. Да и то ноги не держат.

Г и м н а з и с т. Надо было низом идти.

К о р е н е в. Вот осел! Тебе же говорят, что там нет проходу!

С т у д е н т. А что же вы не присядете, Зоя Николаевна?

Н а д я. Зоя, иди рядышком. Садись.

З о я. Тут негде.

М а ц н е в *(хочет встать)*. Вот место!

З о я. Нет, сидите, сидите, пожалуйста, я устроилась. *(Садится между ним и Надей.)*

К о т е л ь н и к о в. Нечаев, отнимите у Василь Василича вашу гитару, он с ума всех свел. Василь Василич, да перестаньте, Христа ради!

Нечаев и студент стоят перед Зоей; оба гимназиста стоят на полотне.

З о я. Вы отчего не пошли с нами? Было так красиво.

Н е ч а е в. Да и здесь хорошо.

Н а д я. Корней Иваныч, я загадала, сколько мне прожить еще — знаете, сколько вышло? Еще сто двадцать!

К а т я *(издали кричит)*. А мне всего-то три годочка — на четвертом так с рельсы и сверзилась!

С т у д е н т. Но Зоя Николаевна сегодня в очень грустном настроении.

З о я *(сухо)*. Вам показалось.— Всеволод Николаевич, куда же вы? Я вас тесню?

М а ц н е в. Нет, я так. Засиделся.

З о я. Посидите с нами!

Мацнев, не отвечая, как будто не слыхал, отходит в сторону, некоторое время стоит один, потом один же садится на откосе. Студент отходит к тем, где Катя.

К о р е н е в *(кричит)*. Надя! А мы послезавтра все на дачу!

Н а д я. И дядя?

К о р е н е в. Он будет приезжать на праздники. Приезжайте с Севой.

З о я *(Нечаеву)*. У вас сегодня необыкновенное лицо... Отчего вы молчите и смотрите на меня? — Теперь вас не видно.— Вы молчите?

Н е ч а е в. Это луна-с. Луна строит миражи и рожи.

З о я. А какая я?

Н е ч а е в. Вы? *(Помолчав.)* Вы — мираж. Сейчас вы

есть, вас делает луна, а когда запоют петухи, вы рассыпетесь.

Зоя. Все рассыпется, когда запоют петухи.

Нечаев. Нет — не все!

Гимназист *(Кореневу)*. А ты можешь подпустить поезд на три шага и только тогда отскочить?

Коренев. Могу. Сделаем?

Катя. А если вздумаете, я вам уши надеру!

Гимназист. Какая строгость!

Катя. А вот и строгость. Надечка, ты поезда боишься?

Надя. Нет, чего его бояться. А ты?

Катя. Ужасно, моченьки моей нет. Василь Василич, зачем вы мучаете бедное животное? Смехота!

Василь Василич. Виноват, я не понял.

Катя. Гитару.

Смех и разговор.

Надя. Зоечка, можно мне поспать у тебя на коленях? *(Кладет голову ей на колени.)*

Зоя. Поспи, дружочек.— Да, мне грустно, вы правы.— Корней Иваныч, я не хотела говорить этому навязчивому господину, но вам могу сказать. Сегодня утром, когда я сидела у себя в саду, я услышала сзади голос: Зоя! Оглянулась — и нет никого. Но весь день мне чудится этот незнакомый и странный голос, иду, а сзади все время кто-то зовет: Зоя!

Нечаев. Печальный голос?

Зоя. Нет, совсем простой. И я не знаю, отчего, но все во мне так волнуется. Почему все так красиво? Вот я смотрю на луну — почему она такая красивая и такая страшная? Нет, не страшная, но, вероятно, я скоро умру.

Надя *(не поднимая головы)*. Зойка, не говори глупостей.

Нечаев. Зоя Николаевна, послушайте: есть еще один человек, который говорит — зачем эта луна?

Надя *(так же)*. Глупый человек.

Зоя. Постой, Надечка! Кто так говорит: вы или другой?

Нечаев. Другой, но я был почти согласен с ним. А теперь смотрю я на вас и думаю: может быть, луна нужна только затем, чтобы вот освещать ваши глаза и чтобы они — вот так — блестели. Зоя Николаевна, вы знаете: я сегодня безумно, бессовестно счастливый человек!

Зоя. Да?

Нечаев. Да. Сегодня я как какой-нибудь древний царь,

которому принадлежит вся земля. Смотрите, сегодня все мое: и луна эта... и ваши глаза...

Надя *(сонным голосом)*. Он совсем с ума сошел!

Нечаев. Там, далеко, в неведомой стране чьи-то прекрасные глаза смотрят на другие прекрасные глаза — и это все мое! И никто не отнимет у меня моего царства, сама смерть не смеет коснуться моей короны! Вот. Важно, а?

Катя *(кричит)*. Корней Иваныч, что же это, голубчик, смеетесь вы над нами? Обещал всю дорогу петь, а хоть бы кошка замяукала! Знала б это, лучше бы дома спала, чем по ночам шататься.

Коренев. А Василь Василич пел — это не кошка?

Гимназист. Это не кот наплакал?

Нечаев. Я готов, Катенька. Что прикажете?

Котельников. Отдайте гитару, Василь Василич.

Василь Василич. Нате.

Катя. Что же мне вам приказать? *(Поднимается.)* Ой, ногу отсидела! Ой, голубчики, помираю! Столярова, держи меня! Пойте что хотите... ой, ой, колет!.. «Андалузскую ночь»... ой! Нет, отходит.

Нечаев. Слушаю-с. Все, что прикажете.

Настраивает гитару, переданную ему Котельниковым. Все собрались около, кроме Мацнева.

Зоя. Надечка, заснула? Пусти, девочка. Корней Иваныч, садитесь на мое место.

Надя. Заснула. Фух — какая луна!

Нечаев *(садится и чувствительно поет)*.

Кончил. Молчание.

Катя. Господи! А как хорошо в Андалузии! Испанчики, испаночки, и глазки у всех черненькие. И луна там какая, не нашей чета. Что у нас за луна: раз всего в месяц, и разгуляться-то некогда!

Котельников. Космография!

Катя. Не в космографии дело, эх, идолы вы каменные! Голубчики, а что-то и мне захотелось попеть. Иван Алексеич, давайте-ка грянем «Ночи безумные», где наша не пропадала!

Котельников. Давайте. Корней Иваныч, помогайте.

Под аккомпанемент Нечаева тихо спеваются.

Надя. Зоечка, а где же Сева?

Зоя. Он все один, Надя. Вон он. Ты бы прошла к нему.

Гимназист. На мосту звонили, сейчас поезд пойдет!

Катя. Ох, батюшки, а успеем?

Нечаев. Успеем.

Катя. Нет, я уж лучше тут стану, а то запоешься, да и не заметишь, как голову оттяпало. Ну?

Поют «Ночи безумные». В середине пения начинает, в перерывы, слышаться гул подходящего поезда — далекий свисток.

(Поет.) «...В прошлом ответа ищу невозможного».— Коренев, сходите с полотна! Я вам!..— «Вкрадчивым шепотом вы заглушаете звуки дневные, несносные, шумные...»

Надя подходит к Всеволоду, что-то говорит, но тот не отвечает; Надя осторожно заглядывает в опущенное лицо и возвращается к Зое.

Катя и Котельников *(поют)*. «...ночи бессонные, но-о-чи безу-у-мные».

Кончили. Сильнее гул поезда. Свисток.

Надя *(с испугом)*. Зоечка, кажется, Сева плачет. Пойди к нему.

Зоя. Да что ты!

Надя. Я боюсь. Пойди к нему. Что с ним?

Идут к Всеволоду.

Гимназист. Господа, с полотна! Идет.

Катя. Сами уходите!

Коренев. Пассажирский, три фонаря! Скорее!

Надя *(подойдя)*. Всеволод! Севочка!

Зоя *(наклоняясь)*. Дорогой... Всеволод Николаевич, что с вами? Голубчик, голубчик, Всеволод Николаевич!

Молчание.

Мацнев *(как бы отталкивая ее рукой)*. Оставьте меня! Оставьте.

Грохот поезда заглушает все разговоры; на рельсы ложится желтоватый свет фонарей.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Небольшая столовая в доме Мацневых, за нею маленькая проходная комната с угловым диваном и запертая дверь в спальню, где лежит умирающий Мацнев. Душная июньская ночь, оба окна в столовой открыты. Беспорядок. Тихо. В столовой сидит с какой-то книгой, но не читает, Надя; одета простенько, по-домашнему, лицо бледное, глаза заплаканы и припухли. В угловой комнате, не освещенной, молча сидит Александра Петровна; о ее присутствии в первую минуту не догадываешься.

Из спальни, осторожно приоткрывая и закрывая за собою дверь, выходит тетя Настя, идет тяжело, согнувшись; на минуту останавливается перед золовкой. Надя испуганно прислушивается, отстраняя волосы с уха.

Т е т я. Саша, а Саша, ты прилегла бы. И чего ты сидишь? А?

Молчание.

Иван Акимыч сказал, что до утра никаких перемен не может быть. Надя?

Не дождавшись ответа, тою же тяжелой походкой, согнувшись, проходит в столовую; при свете видно, что лицо ее также испугано и глаза заплаканы. Надя, встав, тревожно и с готовностью смотрит на тетку.

Н а д я. Ну, что, тетя?

Т е т я. Ничего. Пойди, Надя, скажи Петру...

Н а д я. Сейчас!

Т е т я. Скажи Петру, чтобы льду помельче нарубил и принес.

Н а д я. Я знаю, тетя, больше ничего?

Т е т я. Ничего.

Надя быстро выходит. Тетя, опершись головой на подпертую руку, опустив глаза вниз, стоит неподвижно до ее возвращения посередине столовой.

Н а д я. Он уже нарубил, сейчас принесет. А еще ничего не нужно?

Т е т я. Нет. Как Всеволод придет, скажи.

Н а д я. Хорошо, тетечка.

Той же тяжелой походкой возвращается в спальню. На секунду останавливается пред Александрой Петровной и, ничего не сказав, проходит. От двери, уже взявшись за ручку, идет назад.

Т е т я. Надечка, а ты не ужинала? Поешь чего-нибудь.

Н а д я *(быстро)*. Я не хочу, тетечка.

Тетя уходит в спальню. Надя на цыпочках подходит к двери в угловую, боязливо взглядывает на мать и с отчаянием, прижав руки к груди, возвращается на свое место. Прислушивается. Где-то сдержанные голоса. Быстро подходит к двери и почти сталкивается с вошедшим Всеволодом. Всеволод бледен, волосы слегка прилипли к мокрому лбу, по высоким запыленным сапогам видно, что он гулял где-то за городом. Испуган, как и все.

В с е в о л о д. Что с папой? Мне Петр сказал. Что с папой?

Н а д я. Севочка! *(Плачет.)* Севочка!

В с е в о л о д. Когда случилось?

Н а д я. В четыре, как раз за обедом. Теперь он без сознания, лежит на полу.

В с е в о л о д. Почему на полу?

Н а д я. Тише, там мама. Он просил, чтобы его на пол положили. Там у него Веревитин. Севочка! *(Плачет.)*

В дверь нерешительно заглядывает Нечаев, также запыленный и испуганный.

Всеволод. Пусти, Надя, я пойду к нему. Не плачь.

Идет. Навстречу ему выходит из угловой, покачиваясь от горя и плача, Александра Петровна, обнимает его.

Александра Петровна. Отчего ты не приходил, Сева? Он звал тебя, отчего ж ты не приходил? Какое у нас горе, Сева, какое несчастье!

Всеволод. Мамочка! Мамочка!

Александра Петровна. Отчего ты не приходил?

Всеволод. Мы с Нечаевым гуляли, были за городом. Мне Петр сказал. Мамочка! Я пойду к нему.

Александра Петровна. Иди.

Всеволод быстро, но осторожно ступая, идет в спальню, за ним медленно и все так же пошатываясь плетется мать. Надя делает шаг за ними, но останавливается и стоит в позе отчаяния, приложив руки к груди. Нерешительно входит Нечаев.

Нечаев. Надежда Николаевна! Какой ужас! Это я, это я. Мы гуляли со Всеволодом, подходим к дому, вдруг чья-то лошадь стоит. Думали, гости, и вдруг Петр говорит... Какой ужас! Когда это случилось?

Надя. За обедом, мы обедали, в четыре часа. Какое-то жаркое подали, и папа вдруг улыбнулся и говорит: а у меня-то рука не действует, должно быть, Ко... Кондратий пришел, а Васька еще спрашивает: какой Кондратий? И вдруг лицо перекосилось и... Корней Иваныч, голубчик, умрет папа! *(Почти громко плачет.)*

Нечаев сажает ее на стул, обнимает, говорит со слезами.

Нечаев. Ну, Надечка, ну, голубчик, ну, бедная моя девочка! Ведь еще ничего, еще, может, обойдется. Николай Андреевич очень крепкий человек... Ведь это у него первый удар?

Надя. Первый. Иван Акимыч говорит, что может случиться второй. Кровь-то не пошла.

Нечаев. А может, и не будет. Раз столько времени прошло, то второго, может, и не случится. Бедная вы моя девочка! И как тут, наверное, перепугались, а мы, как назло, гулять ушли...

Надя *(немного успокоившись)*. Вы куда ходили?

Нечаев. Мы до самого Покровского дошли, там молоко пили. Ночь такая душная. Ах, Боже мой, Боже мой! И надо же было, а мы-то, а мы-то! Надечка, я у вас побуду, может быть, понадобится что, в аптеку сбегать... Можно?

Надя. Да, конечно же! Мы совсем одни. *(Снова плачет.)*

Н е ч а е в. Если я тут мешать буду, я в саду посижу, вы только кликните меня. Не плачьте, ей-Богу, не надо.

Из спальни выходит доктор Веревитин, старый приятель Мацнева. Говорит обычно громко, зная, что умирающий ничего теперь не слышит.

(Почтительно.) Здравствуйте, Иван Акимыч.

В е р е в и т и н. А, ваше благородие! Гулять ходили! Жаркий сегодня денек. Ты вот что, Надюша...

Н а д я. Как папа?

В е р е в и т и н. Ничего, голубчик, ничего, все так же. Выкрутится Никола, не бойся, у него организм-то бычачий! А ты вот что, дружок, вели-ка там дать мне чего-нибудь перекусить, с утра ничего не ел...

Н а д я *(весело)*. Сейчас, Иван Акимыч!

В е р е в и т и н. Да погоди, вели еще водочки мне дать. Ну, ступай!

Надя быстро выходит.

Фух, душная какая ночь, дышать нечем. Второй уже час, однако. Так как же, ваше благородие, хорошо изволили погулять? Где были?

Н е ч а е в. В Покровском, молоко пили.

В е р е в и т и н. Ого! Далеко.

Н е ч а е в. Иван Акимыч,— что, плохо?

В е р е в и т и н. Надо второго ожидать, а в общем ничего неизвестно. Хоть такие дубы, как вот мы с ним, именно с одного раза и валятся, но... Кто знает, кто знает! Я не знаю. А говорил ему: ой, Никола, чернеешь, пусти кровь! Не захотел, смеется, а вот Кондратий Иваныч и пришел. Жара еще тут. Что это — будто разок гром тут был слышен? Не гроза?

Н е ч а е в. Собиралась, да мимо прошла. Впрочем, всю дорогу где-то сверкало. Ужасная духота!

В е р е в и т и н. Зарницы, должно быть. Что, водочка?

Заплаканная Марфа молча ставит водку и закуску.

Давай, давай, матушка,— как звать-то, забыл, ты у них недавно?

М а р ф а. Второй уж год. Марфой зовите, барин.

В е р е в и т и н. Ну, не помню, прости. *(Наливает рюмку и с удовольствием пьет.)* А все вот отчего,— от водочки! вот кто погубительница-то наша, враг рода человеческого! *(Снова наливает.)* А вы рюмочку?

Н е ч а е в. Нет, как можно! Да ведь Николай Андреич ничего и не пил, совершенно?

В е р е в и т и н. Теперь совершенно, а посмотрели бы на него раньше. Да! Таких на очереди у меня еще трое: Алек-

сей Иваныч Чикильдеев, пожалуй, Попов, Степан Гаврилыч, да я, третий. Александру Петровну мне жалко, хороший она человек!

Нечаев. Боже мой, Боже мой, как все это неожиданно и... Иван Акимыч, а отчего за родными не послали, никого нет?

Веревитин. За Петром Петровичем, дядей, посылали, да он еще вчера на дачу уехал, только завтра вернется. Да и зачем они? — только лишний шум да слезы. Так-то в тишине лучше... *(Вошедшей Наде.)* Ну что, дружок?

Надя. Сейчас жареное будет, Иван Акимыч, разогревают.

Веревитин. Напрасно хлопочешь, душечка, я уже закусил и выпил. Когда теперь жарить.

Надя. Это ничего, Иван Акимыч, это от обеда осталось. Я очень рада. Я сейчас у Васи была; он проснулся и сюда хотел, но я не пустила.

Веревитин. И правильно, нечего ему тут делать!

Нечаев. А мама?

Веревитин. Они все в спальне, пусть их. Ваше благородие, угостите-ка папиросочкой, я свои все выкурил.

Нечаев. Извините, Иван Акимыч, нет, так же все за дорогу...

Надя. Я сейчас папиных из кабинета принесу. Только вы не уезжайте, Иван Акимыч, дорогой!

Веревитин. Никуда я не уеду.

Надя выходит.

Я сам нынче на дачу собирался, так все равно уж, тут ночевать буду. Эх, Никола, Никола — а давно ли на именинах гуляли. Что, Марфуша, жареное?

Марфа. Баранина.

Веревитин. Ну, давай баранину — баранина так баранина. С утра нынче не ел, так вот теперь и захотелось. А что... все забываю, как вас зовут... Корней Иваныч, да! на каком теперь курсе Всеволод?

Нечаев. На четвертый перешел.

Веревитин. Недолго, значит, до окончания осталось, это хорошо: надо семью поддерживать, семья-то не маленькая. У меня у самого, батенька, пять штук, да еще все попечения требуют. Сдохну, нищими останутся... А, это ты, тетка! Ну, что там?

Вышла из спальни тетя Настя и с тем неподвижно горестным лицом присела к столу.

Т е т я. Ничего, все то же. Иван Акимыч, а отчего он все дышит ровно-ровно, а потом вдруг всхрипнет?

В е р е в и т и н. И мы с тобой будем всхрипывать, как Кондратий придет. Да к тебе не придет, ты Кощей бессмертный. Лед меняла?

Т е т я. Меняла. А такой лежит, как будто спит, и грудь подымается ровно!

В е р е в и т и н. Да, грудь широченная, как площадь мощеная. Да ты погоди, Настасья, не обмокай, ведь я еще и сам ничего не знаю. Ведь сила-то у него не твоя, так что ж ты раньше времени!..

Н а д я *(вошла)*. Насилу отыскала папиросы, они в ящике. Вот, Иван Акимыч, курите. Корней Иваныч, берите. А там ничего?

Н е ч а е в. Ничего, все хорошо. *(Тихо.)* Надежда Николаевна, я тут боюсь помешать, я лучше в саду посижу. Вот папиросочек возьму и... В случае нужды я тут же, на террасе. И Севе скажите, что я тут, если спросит. Кажется, есть надежда, слава Богу.

Н а д я *(крестится)*. Слава Богу! Хорошо, идите, голубчик, я тогда позову.

Нечаев, осторожно ступая, выходит. В черных окнах слабый мгновенный свет далекой глухой молнии.

В е р е в и т и н. Проголодался. Тетка, ты бы с нами посидела, что стоишь. Все равно там ничего не сделаешь.

Т е т я. Ничего.

Н а д я. Ты куда, тетя?

Т е т я. За льдом.

Н а д я. Так зачем же ты сама? Я сейчас!

Быстро выходит.

В е р е в и т и н. Тетка, на дачу я уже опоздал, я у вас лягу. Приготовь мне на диванчике. Ты провиант покупаешь? — хорошая баранина, надо сказать себе взять.

Т е т я. Я тебе в кабинете приготовлю. Окна не закрывай, а то жарко к утру будет. Тебе простыню или одеяло?

В е р е в и т и н. Простыню, разве теперь под одеялом проспишь? А мух у вас много?

Т е т я *(с тем же неподвижным лицом)*. Мух нет, Коля их сам не выносит.

Н а д я *(приносит небольшое ведерко со льдом, поясняя)*. Я сама, а то Петр очень стучит.

Осторожно входит в спальню.

Тетя *(ни к кому не обращаясь)*. На кого они останутся?

Веревитин *(сердито)*. Да погоди ты отпевать раньше времени! Характерец у тебя кремневый, а распустилась ты, как кисель. На кого останутся!

Тетя *(все так же)*. А на кого я останусь!

Из спальни выходят вместе Всеволод и Надя. У Всеволода успокоенное лицо.

Веревитин. Ну, как?

Всеволод. Мне кажется, что пока ничего — как вы думаете, Иван Акимыч?

Надя. Он как будто заснул. Правда, Иван Акимыч?

Веревитин. Ну, и слава Богу. А мать?

Всеволод. Она там хочет сидеть. Я ее звал сюда, но она не идет. Я там окно открыл, ничего? Душно очень, и мне кажется, что свежий воздух будет полезен.

Тетя молча поднимается и уходит в спальню. За ней следят глазами.

Веревитин. Да, да, свежий воздух, отчего же? А я и не заметил, что там закрыто.

Всеволод. Я так и подумал, что хорошо. А мы, Иван Акимыч, пошли с Нечаевым гулять, да и забрались...

Надя. Он здесь, Сева. Он на террасе сидит, не хочет тут мешать. Он такой добрый.

Веревитин. Да кому он помешает? Зовите его сюда, что ж он в темноте сидеть-то будет.

Всеволод. Я позову.

Выходит.

Веревитин. А ты вот что, Надечка, дружок: просил я твою тетку в кабинете мне диван приготовить, да она в таком расстройстве...

Надя. Вам в кабинете? Я сейчас!

Веревитин. Да в кабинете, что ли. Вели-ка, дружок!

Надя. Я сама.

Веревитин. Ну, сама. Постой, постой! Про лошадь-то я забыл. Скажи ты моему, чтобы распряг...

Входят Всеволод и Нечаев — и почти в ту же минуту в спальне раздается крик или плач. Открывается дверь, и тетка с вытаращенными от ужаса глазами кричит:

Тетя. Иван Акимыч! Умирает Коля!

Скрывается. Все, за исключением Нечаева, почти бегут в спальню. Оттуда ничего не слышно. Нечаев, хватаясь за голову, суется по комнате, смотрит в открытое окно и снова ходит.

Нечаев. Какой ужас! Господи, какой ужас!

Всеволод выглядывает из спальни.

Всеволод. Корней, позови Васю!

Скрывается. Нечаев в некоторой нерешимости, не понял. Быстро выбегает Надя, плачет.

Нечаев. Что? Что? Что?

Надя. Я за Васей. Мама велела. Умирает.

Нечаев ходит. Обратно, почти пробегает Надя с помертвевшим, безгласным Васей, одетым в одну ночную сорочку. Там тишина. На дворе поют петухи. В дверь столовой заглядывает Марфа, Петр и еще кто-то.

Марфа. Кончается барин? *(Плачет.)*

Нечаев. Да.

Из спальни выходит Веревитин и молча, на ходу, плача и утирая слезы рукой, ходит по столовой. Нечаев забился в угол. Выходит Всеволод и, закрыв лицо руками, неподвижно стоит посередине комнаты, заставляя шагающего доктора обходить его. В беспорядке выходят остальные. Помертвевший Вася со страхом озирается, старается к кому-нибудь прижаться, но его отталкивают. Прижимается к тихо плачущей сестре и через ее голову смотрит.

Александра Петровна. Коля!.. Что же это? Нет, что же это? Коля! Колечка! Голубчик мой, Колечка!

Нечаев. Александра Петровна! Боже мой, вам воды! Господи! Сева, да как же это?

Всеволод *(отстраняя его)*. Пусти!

Тетя *(она не плачет, но все лицо ее дрожит; вдруг громко почти кричит)*. Нет, ты его не знала! Ты его не знала! Его никто не знал! Коля, мой Коля! Брат ты мой, Колечка! Умер, голубчик, умер.

Александра Петровна *(так же кричит и даже топает ногой)*. Да как же тебе не стыдно перед Богом! Да как же я его не знала! Бессовестная ты! Бессовестные вы все. Колечка мой, друг мой, одна моя?.. О, Господи, Господи!

Тетя. Саша, родная моя, одни мы, одни мы с тобой... *(Обнимает золовку, и обе вместе плачут.)*

Всеволод и Надя *(вместе)*. Мама!

Вася *(вдруг кричит с плачем)*. Мама! Перестань! Мама!

Александра Петровна *(отрываясь от тети и судорожно крепко обнимает Всеволода)*. Всеволод! Севочка! Ты один теперь... Ты одна наша... Сева, Севочка! Умер ведь папа!

Всеволод *(плача, но твердо)*. Я с тобою, мама, я с тобою.

Александра Петровна. Севочка! Я не могу!

Валится на колени, цепляясь за его руку. К ней бросаются Надя и Вася, и все трое с плачем и бессвязными восклицаниями окружают Всеволода.

Н а д я. Сева! Севочка!

В с е в о л о д *(плача и гладя волосы матери)*. Я с тобой, мама! Я с тобою!

Только тетя Настя стоит в стороне — заложив бессознательно руки в бока, дрожа всем лицом, она смотрит на этих.

Т е т я. Да-да-да! Да-да-да! Да!

ВТОРАЯ КАРТИНА

Знойный полдень. Уголок сада Мацневых. Четыре высоких и кряжистых тополя составляют как бы тенистую беседку; здесь несколько простых, без спинок, деревянных некрашеных скамеек. Кругом густые заросли малины, широкие кусты крыжовника и смородины; дальше молодой, но пышный фруктовый сад, яблони и груши. Возле дорожек трава полна цветов и высока — почти до пояса. Неподвижный воздух весь гудит, как тугая струна,— так много в траве пчел, ос и всякой другой жизни.

Под тополями дорожка разветвляется и идет к дому вдоль двухэтажного, бревенчатого амбара-сарая, с несколькими небольшими конюшенными оконцами. За углом амбара, в гуще высоких берез и кленов, терраса, на которой в настоящую минуту оканчивается поминальный обед. Террасы отсюда не видно, доносится только сдержанный гул голосов и стук посуды. Один раз попы и обедающие поют «вечную память».

Под тополями собралась молодежь, бывшая на похоронах, но уклонившаяся от обеда. Здесь Зоя Николаевна, Катя и Столярова; гимназист Коренев, Нечаев. Все девушки в черных платьях. Говорят негромко, с большими паузами.

К о р е н е в. Смотрите, господа, сегодня к вечеру опять гроза собирется. Ну и жара!

Н е ч а е в. Да, парит. Зоя Николаевна, вы где вчера находились, когда эта молния хватила?

З о я. Дома сидела. Да у нас было не так сильно.

Н е ч а е в. А мы думали, что прямо в крышу.

С т о л я р о в а. А я в Ряды ходила и сразу вся промокла. На подъезде спряталась.

К а т я. Испугалась?

С т о л я р о в а. Конечно, нет.

К а т я. Ну и врешь, испугалась! А я как гроза, так все подушки себе на голову и лежу ни жива ни мертва. Ох, Господи батюшки, да когда же они кончат есть! И как они могут: мне кусок в горло бы не пошел. Бесчувственные какие-то!

К о р е н е в. Языческий обычай: тризна над умершим.

К а т я. Ну, вы тоже, язычник! А если хочется, так подите, кушайте себе, вас никто тут не держит. Язычник тоже!



Л. Н. Андреев с женой Анной Ильиничной у своей дачи в Ваммельсуу.
Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев с детьми. Слева стоит Вадим, справа — Вера; на руках Валентин. Фото ок. 1913 г.



Л. Н. Андреев на даче. Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев. Фото 1913 г.



Слева направо: Нина Карницкая (дочь А. И. Андреевой от первого брака), Савва, Вера и Валентин Андреевы. Фото 1916 г.



Л. Н. Андреев.
Фото 1910-х гг.

Л. Н. Андреев.
Фото 1910-х гг.



Анна Ильинична Андреева
с детьми: Саввой, Вадимом,
Верой. Фото 1910-х гг.





Анна Ильинична Андреева.
Портрет работы И. Е. Репина. Ок. 1920 г.



Л. Н. Андреев. Фото 1910-х гг.



Сын Л. Н. Андреева Вадим. Фотография, сделанная отцом. Ок. 1912 г.



Л. Н. Андреев. Один из последних снимков. Фото 1918 г.



Обложка сатирической пьесы Л. Н. Андреева «Прекрасные сабинянки». Издание с иллюстрациями Ре-Ми (Н. В. Ремизова). СПб., 1913.



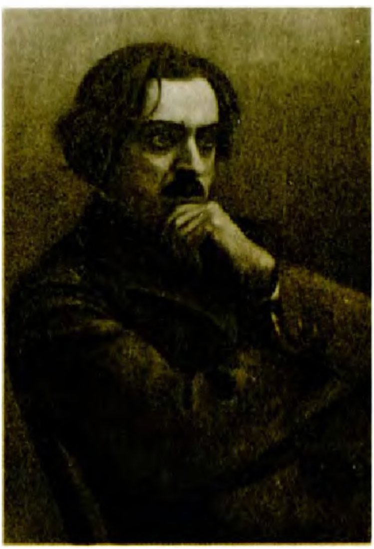
„МЫСЛЬ“,

Л. Н. Андреева.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Во время дѣйствія входъ въ залъ не допускается.

Пьеса Л. Н. Андреева «Мысль» в Московском художественном театре. Постановка 1914 г. Программка.



«Мысль» в МХТ. И. Н. Берсенев в роли писателя Савелова.



«Мысль» в МХТ. В. В. Барановская в роли Татьяны Николаевны, жены писателя Савелова.



«Мысль» в МХТ. Е. Б. Вахтангов в роли Крафта.



«Мысль» в МХТ. В. В. Барановская в роли Татьяны Николаевны.



«Мысль» в МХТ. Л. М. Леонидов в роли доктора Керженцева.



«Мысль» в МХТ. В. В. Лужский в роли психиатра Семенова.



«Мысль» в МХТ. Л. М. Леонидов в роли доктора Керженцева.



Афиша кинофильма по пьесе Л. Н. Андреева «Тот, кто получает пощечины» (1916 г.).



Л. Н. Андреев на репетиции пьесы «Тот, кто получает пощечины» в Московском драматическом театре. Постановка 1915 г. И. Н. Певцов в роли Тота (слева) и И. Э. Дуван-Торцов в роли барона Реньяра. Фото. Октябрь 1915 г.



«Тот, кто получает пощечины» в МДТ. А. П. Морозова в роли Зинаиды.



«Тот, кто получает пощечины» в МДТ. И. Н. Певцов в роли Тота.



«Тот, кто получает пощечины» в МДТ. О. Н. Фрейлих в роли Безано.



«Тот, кто получает пощечины» в МДТ. Е. А. Полевицкая в роли Консуэлы.



Л. Н. Андреев. Фото 1910-х гг.

Коренев. Но позвольте, при чем...

Нечаев. Всеволоду трудно: он в таком состоянии, а тут надо занимать разговорами, угощать...

Катя. Да неужели еще разговорами занимать? Ей-Богу, бесчувственные! А Севочка наш молодец, я сегодня в церкви в него влюбилась, так вы и знайте. Такой бледный, такой красивый, такой серьезный... бедненький, так бы на шею ему и бросилась!

Столярова. Александру Петровну два раза из церкви выносили.

Умолкают.

Нечаев. Вам жаль, Зоя Николаевна?

Зоя. Да. Мне Николая Андреича жаль.

Нечаев. Он вас очень любил, я знаю.

Умолкают.

Катя. Где-то моя Надюшка несчастненькая? Неужто и она этих идолов бесчувственных занимает! Вот недоставало, прости Господи!

Нечаев. Нет, она с Александрой Петровной. Вы очень печальны, Зоя Николаевна.

Зоя. Да.

Коренев. А какой у дяди сад роскошный, густота какая!

Катя *(с гордостью)*. Сам Николай Андреич насадил. Столярова, хочешь, пойдем посмотреть? Вставай.

Коренев. Постойте, опять поют.

Молчание. На террасе нестройно поют «вечную память».

Гимназист *(баском подпевает)*. Вечная память... вечная память. Кончили. Ну, пойдемте, и я с вами. По какой дорожке пойдем?

Катя. По этой. Я тут каждую яблоночку знаю, он сам мне показывал. Он не одну Зойку любил, а и меня тоже.

Коренев. Да, жалко дядю Колю.

Скрываются за поворотом.

Нечаев. Значит, осенью в Москву, Зоя Николаевна?

Зоя. Да, Корней Иваныч! Отчего все так просто? Вот умер человек, и как будто ничего не случилось, и мы опять в саду сидим. Промелькнула какая-то тень, чьи-то ресницы взмахнули, что-то стало ясно на минуту — и опять закрылось. Сад!.. Вчера я еще понимала, что Николай Андреич умер, и это было ужасно, а сегодня уже не понимаю. Умер... Это правда, что он умер?

Н е ч а е в. Правда, Зоя Николаевна. Я, к сожалению, не умею объяснить, но так надо, вероятно.

З о я. И как только зарыли человека в землю, так необходимо тотчас же начать забывать. И мы все его забудем, так надо.

Н е ч а е в. Но Всеволод потрясен. Я еще никогда не видал его таким, и я даже не совсем понимаю... Ах, если бы вы все знали, Зоя Николаевна!

З о я. Что все?

Н е ч а е в. Так! Но до этого дня Всеволод был моложе меня на год, а теперь стал на десять лет старше. И как я его люблю — Боже мой, как я его люблю! Когда он сегодня один, впереди всех, без фуражки шел за гробом, я не смел подойти к нему, но если бы смел...

З о я *(ласково глядя на него)*. Вы очень хороший человек, Корней Иваныч.

Н е ч а е в *(решительно)*. Не говорите так!

З о я. Почему? Нет — вы очень хороший, вы даже удивительный, я сегодня смотрела на вас. И у вас такие хорошие глаза!

Н е ч а е в *(волнуясь)*. Зоя Николаевна... нет, не говорите так! И не смотрите так на меня; слышите... простите, что я так, но не надо! Я просто... скотина!

З о я *(тихо улыбаясь)*. Вы-то?

Н е ч а е в. Нет, это факт... ах, Зоя Николаевна, какой это вообще ужас! Вы чистая девушка, но если бы вы знали, до какой низости, до какого падения может дойти человек, какие у него могут быть подлые, коварные, отвратительные мысли. Нет, это что же! Это невозможно! — Постойте, там, кажется, кончили, сейчас все пойдут сюда...

З о я. Я не хочу, тогда я уйду. Мне невыносимо видеть...

Н е ч а е в. Нет, нет — но послушайте! Если... если мой Бог мне позволит, то я тоже переведусь в Москву. Нет, это что же, вы подумайте!

З о я. Какой ваш Бог? Разве у вас особенный?

Н е ч а е в. Особенный, да. Но если *(бьет себя в грудь)* позволит... Идут. *(Скороговоркой, шепотом.)* Или — сдохну, факт!

На дорожке показываются Катя и остальные. У Кати в руке большой букет жасмина.

З о я *(также шепотом)*. Что вы говорите, Корней Иваныч?!

Н е ч а е в. Если вы... хоть немного цените меня, то — молчите. Я скотина.— Идут.

Катя *(садясь)*. Там, кажись, кончили, надо и нам по домам. Повидаем Надюшу, да и айда. Господи, какой еще длинный день, и что бы такое придумать? Столярова, пойдем ко мне, а потом вместе купаться.

Столярова. Пойдем.

Катя. Ты на спинке умеешь?

Столярова. Конечно, умею.

Катя. Врешь, поди? А я, матушка, как на спинку повернусь, так и поминай как звали, с водолазами не найдешь. Ну, тише, ты! — вон идет. Миленький мой!

От дома к сидящим идет Всеволод, здоровается, как будто раньше никого не видал. Бледен и серьезен; впечатление такое, словно при разговоре не сразу все слышит и понимает. Но старается до известной степени быть как все.

(Привставая, очень почтительно.) Здравствуйте, Всеволод Николаевич!

Нечаев. Разошлись, Всеволод? Устал ты с ними, брат.

Всеволод. Нет, ничего.— Там еще кой-кто остался.— Жаркий сегодня день.

Садится и закуривает. Почтительное молчание.

Катя. Всеволод Николаевич, это ничего, что мы у вас жасмину нарвали? Это мне на память.

Всеволод. Ничего, пожалуйста. У нас много цветов.

Молчание.

Катя. Ну, мы не будем вам мешать, Всеволод Николаевич, мы только Надю хотели повидать. Можно?

Всеволод. Она с мамой. Там и дядя Петр.— Миша, я забыл, дядя велел тебе сказать, что вы сегодня на дачу не поедете.

Коренев. Хорошо.

Нечаев. А как Александра Петровна?

Всеволод. Ничего. Жаркий сегодня день.— Вы тетю Настю не видали? Она в сад, кажется, пошла.

Катя. Видели. Она на круглой скамеечке сидит, одна, да мы с Столяровой побоялись подойти. Вам ее позвать, Всеволод Николаевич?

Всеволод. Нет, я так.— Ну, что, Корней?

Нечаев. Ничего, брат, сижу.

Всеволод. Посиди.

Нечаев. Да я и не ухожу.

Катя. Ну, а мы идем. Вставай, Столярова. *(Также почтительно.)* До свидания, Всеволод Николаевич. Скажите, пожалуйста, вашей сестре, что я завтра приду, а если ей

нельзя будет, так ничего, я в садочке посижу. А собака ваша нас не тронет?

Всеволод. Нет, она никого не трогает.

Зоя. И я с вами. Нет, провожать не надо, Корней Иванович, до свидания, Всеволод Николаевич! — Всеволод Николаевич!

Всеволод. Что, Зоя Николаевна?

Зоя. Нет, ничего.

Решительно, впереди других, уходит. Катя еще раз слегка приседает Мацневу, гимназист крепко трясет руку. Уходят. Молчание.

Нечаев. Она сегодня очень волнуется.— Всеволод, ты, быть может, хочешь прилечь? Ляг, а я с твоими побуду.

Всеволод. Нет, я не хочу.

Нечаев. Ты две ночи не спал.

Всеволод. Так что же? Потом сосну. Корней!

Нечаев. Что, голубчик?

Но Всеволод задумался и молчит. Нечаев со страдающим лицом смотрит на него.

Всеволод. Чем это пахнет?

Нечаев. Я не совсем понимаю тебя. Ладаном, кажется, пахнет, но совсем немного. Ты про это?

Всеволод. Нет. Хорошо пахнет. Да, смородиной. Как пахнет!

Нечаев. Тут вообще, брат, такое благоухание, чего только нет. Это после вчерашнего дождя, и вообще удивительный, брат, рост трав! Когда мы тут были последний раз? и трава была всего по колено, а сейчас смотри: по пояс! Мне почти по пояс. Как это говорит Пушкин, и «равнодушная природа красою вечною сиять». И верно: красою вечною сиять!

Всеволод. Нет, она не равнодушная, это неверно. Ты слышишь, как они жужжат, сколько в траве всякой жизни. Сегодня обратно с кладбища я ехал, не знаю, почему — с Веревитиным, на его лошади, и знаешь — еще никогда мне не казалось все... таким красивым и...

Нечаев. И?..

Всеволод. Не знаю, не могу найти слова. Иваныч, ты иди лучше домой.

Нечаев. Хорошо, голубчик. А когда опять прийти? Я вечерком зайду, ладно?

Всеволод. Ладно. Корней, сейчас не время говорить, но...

Нечаев. Да и не надо, Севочка, успеется. Ты так устал...

Всеволод. Ты помнишь... наше решение? Ну, ты знаешь, о чем я...

Нечаев. Знаю.

Всеволод. Так это... ну, глупости, что ли. Надо жить.

Молчание. Нечаев взволнован.

Нечаев. Всеволод! Ты не подумай, пожалуйста, что я как-нибудь лично за себя, хочу отвертеться и так далее — пожалуйста, Всеволод! Мне что! Если даже хочешь — то есть если бы так нужно, то я могу покончить и один, но ты... Извини, брат, но ты должен жить. На тебе обязанности, Всеволод!

Всеволод *(медленно)*. Нет, это не то, Иваныч. Но помнишь, ты сказал тогда, что жизнь прекрасна? Она не прекрасна, но... В эти две ночи, когда я ходил по двору или по саду, в темноте, или был около отца, я очень страдал, что ли, но... Нет, потом.

Поднимает голову и широко и медленно оглядывается. Улыбается слегка.

Вон Васькина западня. Открыта. Должно быть, ничего не попалось. Так иди, Иваныч. Нет, погоди. Вот еще что, потом не знаю, как скажу. Я относительно Зои.

Нечаев. Оставь, Сева, не надо! Какая теперь... Зоя!

Всеволод. Зоя по-гречески значит — живая, живущая, я сейчас только сообразил.

Нечаев *(бормочет)*. Не знаю, может быть... Не надо, Сева, мне больно.

Всеволод. Не будь таким ребенком, Корней. Зачем скрывать? И смущаться не надо. И раз мы решили остаться, то вот я хотел тебе сказать: Зоя осенью едет в Москву. Переведись и ты, и...

Нечаев *(слегка бьет себя в грудь)*. Но мой Бог, мой Бог мне этого не позволит. Не надо, Всеволод!

Всеволод. Нет, надо, Иваныч.

Нечаев. И как же ты... и как же я... Чушь, опять все то же мое скотство. У тебя скончался отец, ты и так ограблен, ты и так лишен... а тут еще я стану отнимать! И я только потому слушаю тебя, что ты в таком сейчас состоянии, но — не надо, Сева! Если бы еще ты совсем ее не любил...

Всеволод. Я ее не люблю, а она тебя любит, мне так показалось, давно уже. Ну, не надо больше, только знай. Дай руку.

Нечаев *(крепко и долго жмет руку)*. Сева, я верю тебе, что ты это делаешь не из презрения ко мне, но мой Бог, мой Бог! Но вы все, вы все зовете меня на мерзость,

и я, кажется, действительно подлец.— Ну, ну, не обращай внимания, я пойду.— А ты приляг, голубчик, миленький ты мой, Севочка, друг ты мой, красота ты моя! Дай же я тебя поцелую.

Целует Всеволода и потом отчаянно машет рукой. Оправляется и говорит деловым тоном.

Значит, до вечера, Всеволод. Ты тут будь спокоен, я сейчас зайду посмотреть, как там Александра Петровна. Как парит: опять гроза будет. До свидания.

Всеволод. До свидания, Иваныч. Я буду ждать тебя. Если там что-нибудь, то скажи... мне правда хочется здесь отдохнуть.

Нечаев. Будь спокоен.

Уходит, сдерживая треньканье шпор. Всеволод один. Расстегивает китель, широко и как бы с удивлением оглядывается. Медленно подходит тетя Настя, молча, в своей обычной позе, останавливается перед Всеволодом, молча смотрит на него.

Всеволод. Ну, что, тетечка? Устали вы сегодня с народом.

Тетя. Ничего.

Всеволод. Посидите со мной.

Тетя *(не садясь)*. Ничего. Всеволод, сказал бы ты Петру, чтобы он прививки перевязал: я сейчас три уже подвязала, а один сломался. И рамы от парника так и брошены.

Всеволод. Хорошо, тетя, я скажу.

Тетя. Так и валяются, а они денег стоят. Там на террасе дядя и Иван Акимыч чай пьют, ты не пойдешь?

Всеволод. Нет, мне туда не хочется... или надо идти?

Тетя. Зачем это надо, и одни посидят. Так я тебе сюда принесу. Всеволод, а я через девять дней хочу в Севск, я уже Прасковье написала.

Всеволод. Да что вы, тетя! Зачем?

Тетя. А кому я тут нужна? Коле я нужна была, а вам я зачем. Нет уж. Семья у тебя большая, тебе теперь и так будет трудно, а тут еще я на шею сяду. Слава Богу, работать еще могу.

Всеволод быстро встает и крепко, с нежностью обнимает и целует слегка отворачивающуюся тетку.

Всеволод. Да что вы, тетя, да как же вы могли подумать! Ах, ты чудачка какая! Ах, старушка моя глупая, старушечка... Да вы мне теперь в тысячу раз дороже еще стали, чем... И разве я не его сын? Тетя?

Плачет, закрывая глаза. Тетя также молча и открыто плачет, не скрывая лица; потом аккуратно вытирает слезы и говорит.

Т е т я. Ну, значит, дура я. Как Саша? Я ее сегодня весь день не видала.

В с е в о л о д. Ничего, хорошо. С ней Надя.

Т е т я. Ну, я пойду, Севочка, надо комнатами заняться. Платить всем ты сам будешь или мне поручишь? Давай уж мне, а то тебя еще обманут.

В с е в о л о д. Хорошо, тетя.

Показывается Вася. Сперва идет быстро, но у скамейки замедляет шаги и скромно садится на край. Одет в полотняную парочку, ременный с бляхой пояс, за который он часто берется руками.

Т е т я. Ты что, Вася?

В а с я. Я так. Пришел. Тут можно мне?

В с е в о л о д. Можно, Васюк, посиди.

Т е т я. Сева, тебе кто креп делал?

В с е в о л о д. Не знаю, кажется, Надя.

В а с я. Мне тоже Надя делала.

Т е т я. Надо было мне этим заняться, да уж... стара я стала. Я сейчас чаю принесу, посиди, попей. Колечка тут любил чай пить.

В с е в о л о д. Да зачем вы сами? Вон Васюк принесет.

В а с я. Я принесу, только скажите что.

Т е т я. Ну, сиди, сиди, егоза. Тоже — герой! Принесу!.. Ты его так принесешь, что одни черепки останутся. Сиди уж!

Медленно уходит.

В с е в о л о д. Васюк, пойди сюда, сядь. *(Обнимает его и голову прижимает к своему боку.)* Хорошо у нас в саду? Тебе нравится?

В а с я. Нравится, а тебе?

В с е в о л о д. Мне тоже. Это твоя клетка, ничего не попалось.

В а с я. Я знаю, что ничего. Сева, а тебе жалко папочку?

В с е в о л о д. Жалко, Васючок.

В а с я. А отчего ж ты не плакал?

В с е в о л о д. Так. Не все могут плакать.

В а с я. Я тоже не плакал. Сева, а ты теперь меня любишь?

В с е в о л о д. Люблю, милый, очень люблю.

Всеволод целует его.

В а с я. Папочка говорил, что меня надо больше целовать, чтобы я скорее рос большой. Это правда, что от этого скорее человеки растут?

В с е в о л о д. Правда.

Вася. Как от воды? Сева, как от воды? Ты что молчишь, Сева? Как от воды?

Всеволод. Да, как от воды.

Молчание. Всеволод обнимает Васю, так сидят.

Вася. Сева, посмотри-ка!

Всеволод. Что посмотреть?

Вася. Бляха на поясе. Как блестит, ты видишь? Какая чистая!

Всеволод. Да, очень чистая.

Вася. Это я ее сегодня кирпичом начистил. Какая чистая! Сева, а мне надо весь день обувши ходить?

Всеволод. Нет! Чего ради? Разувайся себе, жарко.

Вася. Хорошо. Я потом разуюсь. Может быть, завтра разуюсь, а, может быть, сегодня...

Сидят молча в той же позе.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

На Н-ском вокзале. Время — после десяти часов вечера. Отдаленная боковая платформа, тускло освещенная редкими фонарями; ближняя часть платформы крытая... В темноте смутно намечаются пути: десяток белых и зеленых, рассеянных по пространству огоньков, ряд узких освещенных окон какого-то станционного здания, должно быть, мастерских. Над зданием — высокая труба, из которой время от времени выбиваются искры. Еще какие-то смутные силуэты. Дальние станционные огоньки почти смешиваются с низкими яркими звездами августовского неба — туда уходит дорога. Тихо, лишь редкие, негромкие свистки, рожок стрелочника, пыхтение пара. Один раз где-то сбоку проходит поезд. На пустынной платформе со стороны вокзала показываются трое: Катя, Столярова и Василий Васильевич, статистик.

Катя. Ну, и тут нет.— Темень какая!

Василий Васильевич. Значит, еще не приезжали. До поезда долго еще ждать.

Катя. Столярова, ты уморилась?

Столярова. Нет, не особенно.

Катя. А меня, матушка, и ноженьки не держат. Сядем-ка да посидим — ох, Господи! И говорила ведь: взять бы извозчика, и так бы превосходно втроем доехали, а то на́ тебе — пешком. Василь Василич, отойдите-ка.

Василий Васильевич *(вставая)*. Куда?

Катя. А вон туда — нет, нет, подальше. Стойте там и сюда не смотрите. Стойте!

Василий Васильевич. Стою.

Столярова. Ты что, Катя?

Катя. Посмотри-ка, Женька, у меня тут раскололось... Нашла?

Столярова. Нашла. Погоди, не вертись.

Катя. Не успела сегодня дошить, у меня тут все на булавках. А дорогой вдруг чувствую: матушки, поползло! Ну? В тело булавку не вонзи.

Столярова. Ну, вот еще. А ты толстая, Катька.

Катя. Толстенькая. Столярова!

Столярова. Ну?

Катя. Ты видала вчера в саду, как я на него пялилась?

Столярова. На кого?

Катя. На него! На него — на миленького моего. Не заметила — да н-ну? Ой, не щекочи... Женька, да ты, матушка, спятила?

Столярова. Готово. Врешь ты все.

Катя. Вот тебе крест — не вру! И такой он миленький, и такой он одинокенький, и такой он благородный. Меня даже тошнит. Постой... *(Громко.)* Василь Василич!

Василий Васильевич *(оборачиваясь)*. Что?

Катя. Ступайте-ка на вокзал, посмотрите, не приехали Мацневы. Мы тут посидим. Ступайте, ступайте, не задумывайтесь. А тогда скажите: слышите?

Василий Васильевич *(уходя)*. Слышу.

Столярова. А я ничего и не заметила, какая ты. Нет, ты правда?

Катя. Что уж! Сегодня всю ночь, как дура, в подушку ревела. И опять реветь буду, чует мое сердечушко... бедная Катюшенька! И просохнуть не успеваю, вот как, Столярова, любят-то по-настоящему. Ты не смейся, матушка, и тебе то же будет, погоди!

Столярова. Врешь ты все.

Катя. Кабы врала... А тут этот еще навязался, вот дурак, вот дурак! Да неужто ж ты и этого не видала, как он сцены мне вчера закатывал?

Столярова. Ей-Богу, не видала! А что?

Катя. А глаза-то выворачивал? А когда домой провожал, так грозиться вздумал: хочет предложение сделать. Такой-то!

Столярова. Ты его отпой.

Катя. Я его так, голубчика, отпою! — Для него, подумаешь, цвела я, расцветала — как же!..— Ну и что же это не идут, Господи батюшка! И полюбоваться-то не придется в остатний разочек, разнесчастная я Катюшенька. Столярова, ей-Богу, меня тошнит! Вот эта любовь, Женька, а? — ей-Богу, тошнит, так и подкатывает!

Столярова. Пойдем воду пить.

Катя. А прозеваем? Сиди уж. *(Напевает.)* «Ах, зачем

порой — вижу траур в них по душе моей — вижу пламя в них непобедное — сожжено мое сердце бедное!..»

Столярова. Идут сюда, кажется.— Да, они, Мацневы.

Катя. И впрямь идут. Столярова, возьми руку, жми — крепче, крепче! Идет, голубчик, идет! Идет, миленький, идет!

Столярова. Катька, перестань!

Катя. Сейчас еще зубами ляскать начну! Аа-авв-ав... идет! Кто это с ними, смотри ты, я ничего не вижу! Зойка, кажется,— успела, змея!

Столярова. Зои нет. Пойдем навстречу. Там Александра Петровна и тетя.

Катя. Один конец — идем.— Голубчики, кажется, опять блузочка моя поползла, вот грех! Ну, идем, идем!

Чинно идут навстречу показавшимся Мацневым. Тут все они: сама Александра Петровна, тетя Настя, Всеволод и Надя. Все одеты по-дорожному, но в черном. Александра Петровна держит за руку Васю — он в длинном, на рост, гимназическом пальто, картуз все время слезает на нос. С Мацневыми провожающие: Котельников, Нечаев; тут же и Василь Василич. Катя и Столярова здороваются, Катя старшим и Всеволоду чинно приседает.

Здравствуйте, Александра Петровна! Здравствуйте, Всеволод Николаевич. А мы уж бояться стали, что вы опоздаете.

Котельников. До поезда еще час.

Александра Петровна. Ну, и хорошо, что час: лучше пораньше, чем опаздывать. Да не дергайся ты, Вася, все равно не пущу: под поезд попадешь!

Всеволод. Посидим здесь, господа. Вон скамейка.

Александра Петровна. Боюсь я... Тетя Настя, а какой номер у нашего носильщика?

Тетя. Да не хлопочи ты, Саша, сиди! Все устроют и без тебя, сиди.

Александра Петровна. Будет он искать нас, а мы тут... Только тут будь, Вася, слышишь: чтобы я все время тебя видела.

Все садятся в ряд на длинной скамейке. Котельников и Нечаев стоят. Молчание.

Вот мы и поехали! Сева, а когда-то Бог приведет нас сюда? Может, и никогда.

Всеволод. Приедем как-нибудь. Иваныч, папироску?

Нечаев. Береги на дорогу, у меня есть.

Закуривают. Молчание.

Надя. А какой вечер теплый! В Москве, должно быть, холоднее. Катя, вы пешком сюда?

Катя. Пешечком. Мы и назад пешком пойдем.

Александра Петровна. Нет, не могу... Вася, иди

сюда! Ходить по краю,— а вдруг поезд пойдет? Точно маленький! Вот — сиди.

Котельников. Тут редко поезда, с этой платформы. Надежда Николаевна, а когда Зоя Николаевна в Москву?

Надя. Не знаю, наверное... кажется, через неделю собиралась.

Котельников. Значит, вместе поедем. Я тоже, так через недельку.

Александра Петровна. Вася, куда ты? Опять!

Катя. Вы не беспокойтесь, Александра Петровна, я его за руку держу. Тебе не жарко, Вася?

Вася. Жарко.

Александра Петровна. Расстегнись немного, пойди сюда, я посмотрю.

Нечаев. Васька!

Вася. Что?

Нечаев. Ты рад, что в Москву едешь?

Вася. А то, конечно.

Тетя. Герой! В багаже бабки его везу, такой бенефис нам устроил, что брать не хотели!..

Смеются.

Нечаев. А сада жалко, Васюк?!

Вася. Нет.

Нечаев. А в Москве сада-то не будет?

Вася. Я там марки собирать буду. Сева!

Всеволод. Что, Васюк?

Вася. Ты видал, какую собаку большую тоже в Москву везут? С намордником на морде. И три охотника с ней, с ружьями. Сева, а патронов у них много?

Всеволод. Много. Куда ты, мамочка? Рано еще!

Александра Петровна *(вставая)*. Нет, не могу я тут. Вы посидите, только не опоздайте, а мы с Васей пойдем. Пойдем, тетя, а то будет он искать с билетами... Багаж-то ты весь сдала?

Тетя *(также вставая)*. Ну, и лотоха ты, Саша!

Александра Петровна. И лица его я не помню — и как это они скоро: налетел, подхватил, чуть самое с ног не сбил — и был таков. Теперь ищи его по вокзалу!

Тетя. Да чего искать, сам придет. *(Останавливается, заложив руки в бока.)* Ах, батюшки, а корзиночка?

Александра Петровна *(также останавливаясь, в испуге)*. Какая? Настя, какая? Да не пугай ты меня!

Тетя. Постой, куда я ее?.. *(Идет.)* Ну, идем, цела. С тобой, Саша, голову потеряешь! Идем, идем, все цело.

Идут.

Катя. А не легко вам, Всеволод Николаевич, всем домом подыматься? Жили-жили, и вдруг на тебе!

Всеволод. Да, не легко. Волнений много.

Надя. Мама ведь ни разу за всю свою жизнь из города не выезжала, а теперь сразу — в Москву! И тетя тоже.

Всеволод. Но странная вещь, Иваныч, я думал, что старухи наши больше будут жалеть о доме, даже боялся несколько... но нет! Столько жили, и другого ничего ведь не знали, казалось, как деревья в землю вросли... и ничего!

Нечаев. Ничего?

Всеволод. Поплакали, конечно, но представь: даже в сад сегодня не зашли!

Надя. Мы сегодня на кладбище ездили.

Всеволод. Да. И больше того: какое-то любопытство у них, особенно у матери, даже нетерпение: поскорее ехать. Вначале мать за каждую вещь хваталась, непременно с собой брать, а теперь даже необходимое оставляет — там новое будет! Новое!

Катя. И вы, Всеволод Николаевич, очень изменились.

Всеволод *(улыбаясь)*. Что — разговорчивее стал?

Катя *(выразительнее)*. Очень! Очень.

Котельников. Везде люди живут. А вас, Катерина Алексеевна, отец так и не пускает в Москву?

Катя. И не говорите, голубчик, не отец, а варвар. Ремингтон мне купил, чтоб я хлеб себе зарабатывала, вчера весь Божий день с самого утречка писала: его превосходительству, его превосходительству! Ну, да я, Бог свят, к Рождеству удеру.

Василий Васильевич *(не без ехидства)*. По шпалам?

Катя. А и по шпалам — ходят же люди, эка напугал! Я теперь обмороки учусь делать: ах, ах, ах! Вчера нашу кошку до смерти напугала.

Столярова *(убежденно)*. Она удерет!

Катя. Удеру. Позаймусь немного, а потом такую истерику ему закачу, что все зубы растеряет. Василь Василич! Пожалуйста, не смотрите на меня так морально!

Столярова. Вас зовут, Всеволод Николаевич.

Тетя издали зовет: Севочка!

Тетя. Сева, пойди на минутку!

Всеволод подходит.

Севочка... а, может, мне не ехать?

В с е в о л о д. Почему? Что вы, тетечка!

Т е т я. Один тут Колечка останется. И панихидку отслужить некому. Осталась бы я, Сева.

В с е в о л о д *(горячо)*. Да как же можно, тетечка! Ведь сам папа, будь он жив, послал бы вас с нами! Как можно!

Т е т я *(думает)*. Да и билеты-то уж взяты... Ну, значит, дура я. Ну, иди, а я пойду багаж устраивать.

Медленно, руки держа в бока, уходит. Всеволод возвращается к сидящим, но сам не садится.

Н а д я. Севочка, что тетя?

В с е в о л о д. Так, свое.

Молчание.

К а т я. Господи батюшка — и сколько тут этих путей-дороженек, и туда идут, и сюда идут! Столярова, слышишь, как дорогой пахнет? Я сегодня всю ночь буду во сне ехать... Эх, счастливый вы, Всеволод Николаевич! Вот вы поедете, а мы домой с Василием Васильичем пойдем... и будут улицы темные, и будут на нас собаки брехать, а кавалер-то у нас такой, что и отбрехнуться не умеет. Дорога-дороженька, когда-то я по тебе поеду!

В с е в о л о д. У меня с самого детства особенная какая-то любовь к дороге. Помню я...

К о т е л ь н и к о в. Это у всех русских так. Поезжайте по нашим станциям и поглядите: сколько народу сидит и на рельсы смотрит.

В с е в о л о д. Не знаю, но с самого детства все, самое для меня важное и дорогое, связано с железной дорогой. Иваныч, помнишь?

Н е ч а е в. Помню.

В с е в о л о д. И этот запах, о котором вы сказали, и свистки, и огоньки эти... Ведь знаю, куда ведет дорога, и сам по ней ездил, а все кажется, что нет ей конца, что там вот, за этой линией и огоньками, где темнота и звезды...

Н е ч а е в. Всеволод, мне надо с тобой поговорить. Извини, что перебил.

К а т я. Вот некстати! Уж и ненавижу я этих друзей — не могли раньше наговориться, Корней Иваныч! Куда же нам теперь — под поезд?

В с е в о л о д. Мы недолго.

Н а д я. А мы, Севочка, к маме пойдем, она там, наверное, беспокоится. Дайте мне руку, Иван Алексеич.

К о т е л ь н и к о в. Пожалуйста. Вы также волнуетесь, Надежда Николаевна.

Идут.

К а т я *(почти со слезами)*. Василь Василич, ну, что ж вы стали? Шагайте, шагайте, а руки вашей мне не надо. Столярова, идем, матушка, на рельсы смотреть, так, говорят, на всех станциях делается.— Корней Иваныч!

Н е ч а е в. Слушаю!

К а т я. Мы скоро вернемся — слышите?

Уходят. Платформа пуста. Молчание.

В с е в о л о д. Что с тобой, Иваныч?

Н е ч а е в. Извини, Всеволод, что я очень не вовремя... у тебя семья и вообще отъезд... Может быть, мы отложим разговор? Правда, я лучше напишу тебе.

В с е в о л о д. Я сам сегодня хотел говорить с тобой, ждал тебя весь день, но ты так и не показался. И скажу правду, Корней: мне было очень горько. Что бы там ни было дальше и впереди, но с тобой связано лучшее в моей жизни и самое дорогое... и я так ждал тебя, так волновался!

Н е ч а е в. Почему ты сегодня так ласков со мной? Мне казалось, что ты уже перестал меня любить.

В с е в о л о д. Бог с тобой, Иваныч! Я и прежде любил тебя, но то было другое, злое, как и все тогда, а теперь! Сегодня я любил всякого встречного офицера, только потому, что на нем вот такая же форма. И теперь только одно меня радует, что скоро мы снова будем вместе, в Москве. Ах, Иваныч, Иваныч!

Н е ч а е в. Я еще не знаю, Всеволод. Я в Москву не перевожусь.

Молчание.

В с е в о л о д. Я этого не знал. Но неужели — опять Зоя Николаевна? Так. Она что-нибудь тебе сказала? Ну... не любит?

Н е ч а е в. Она любит тебя, Всеволод. Ты и этого не знал?

В с е в о л о д *(помолчав)*. Нет. Может быть, догадывался... не знаю. Нет.

Молчание.

Н е ч а е в. Это и естественно: кого ж ей любить, как не тебя? Меня? Но ты знаешь, что и кто я такое — подпоручик Нечаев. Не в том дело, голубчик. Конечно, печально, что девушка, которую люблю, отказала мне, но не в этом дело, как это ни плохо. А в том, что два месяца я жил в низости: как прирожденный подлец, я забыл все высокое в жизни, я забыл нашу святую дружбу, нашу гордую мужскую дружбу, которой им ввек не понять,— и все возложил

на проклятый алтарь этой любви... так, кажется, говорится? Ну, да все равно, так или не так, ты понимаешь. Подлость, подлость, жалкое ничтожество души! Я Бога своего забыл, Всеволод. Ты ждал меня сегодня, а мне было стыдно показаться на твои глаза, клянусь моим Богом, стыдно! Ведь это же я вру, что ты охладел ко мне, дурака валяю,— я сам, сам изменил тебе, черт! Э, да что!

По платформе проходит стрелочник, спрыгивает и скрывается где-то на путях. Молчание.

Жить надо мужественно и сильно. Жить надо для подвигов, для высокой дружбы, для гордой жертвы — а куда я лез? Черт знает что, мерзость какая! Но ты силен и горд — и ты не поймешь этого, да и не надо понимать.

Всеволод *(медленно)*. Нет, я что-то понимаю. Странно, странно.

Нечаев. Но своим честным отказом — слушай, Всеволод! — она разбудила меня! Сейчас мне стыдно, как собаке, которая украла мясо, но вот здесь, во мне, растет та-а-кое!.. Не буду болтать, я и так слишком много болтал, но клянусь тебе моим Богом, Всеволод: на этом разрушенном месте ты когда-нибудь увидишь человека!

Всеволод *(раздумчиво)*. Как и на этом разрушенном месте ты тоже когда-нибудь увидишь человека. Ах, Корней, Корней!

Нечаев. Я тебя не совсем понимаю сейчас, но одно я понял и никогда не забуду: жить надо мужественно и сильно!

Всеволод. Ах, Иваныч, Иваныч, какая странная и какая жуткая вещь — жизнь! Если, по твоим словам, ты был подлецом, то чем был я тогда, помнишь, на полотне? И нужна была смерть — смерть любимейшего человека, отца, чтобы я также что-то понял. В этом есть что-то чудовищное, об этом просто страшно думать, но своею смертью он дал мне жизнь!

Нечаев. Ты очень изменился, Сева.

Всеволод. Я изменился! Что об этом говорить! Но как я ему об этом скажу — ведь моей любви он не видал и никогда не увидит! А они, мать и остальные, разве мою любовь видали? А ты? Вчера я был у него на могиле — один — и как я, брат, плакал! А где все это было раньше? Где был я сам?

На платформе показываются господин и дама в вуали. Видимо, сдерживая себя, господин говорит.

Господин. Я этого не позволю.

Дама. Сомневаюсь.

Господин. А я вам говорю, что не позволю!

Дама. Тогда лучше совсем оставить этот разговор. Довольно.

Господин. Вы чего же хотите от меня?

Дама. Тише! Там сидят. Который теперь час?

Оба круто поворачивают назад, молча уходят.

Нечаев. Ты говоришь, где был ты, Сева, нет, а ты скажи мне, где был я вот эти дни? Все возложил на алтарь, а? Теперь вот ты говоришь, а я слушаю и все время смотрю на эти пути: Боже мой, какой простор! Как много дорог, какое счастье просто, что можно сесть и куда-то ехать, ехать — ехать, ах, черт бы меня побрал, подлеца!

Всеволод. Собственно говоря, я и сейчас не знаю, в чем смысл жизни и так далее, но это уже не волнует меня, как будто даже так надо, чтобы я пока этого не знал. Но чувствую я себя... как бы сказать... ну, как солдат, шагающий в шеренге других солдат, и знаю — что надо идти — что будет какое-то сражение — что близко враг и надо быть наготове... Понимаешь?

Нечаев. Это я понимаю. Ах, Сева, вот это я понимаю! Велено — и иди. А генералом будешь, сам все узнаешь, верно? Тогда сам других поведешь,— верно?

Всеволод. Верно. И мне теперь так жаль той любви, которая была во мне и которой я никому не давал, что я боюсь, просто боюсь потерять хоть маленький росточек, я... Иваныч, а что, если я тоже люблю Зою Николаевну, ведь это очень возможно. Очень.

Молчание.

Тебе больно?

Нечаев. Что за боль! Говори.

Всеволод. До смерти отца я и этого не знал, да и теперь... Понимаешь, я сейчас даже не могу припомнить ее лица, я совсем не знаю ее, какая она... Но вот услышу я ее голос или просто почувствую, что она недалеко,— и во всем откроется такой необыкновенно радостный смысл. Рельсы запахнут сильнее...

Нечаев. Знаю, испытал. Огни станут ярче — еще бы! Испытал я, знаю. Но, Всеволод, Севочка,— не надо.

Всеволод. Ты думаешь?

Нечаев. Не надо! Твой Бог накажет тебя, как и меня наказал — не надо. Сегодня я ужасно боялся разговора с тобой, просто стыдно было показаться с такой оплеванной харей, но ты отнесся ко мне как человек, как друг — и я

заклинаю тебя, не надо. Поверь моему горчайшему опыту, моему стыду и позору! Жить надо мужественно и сильно, иначе тебя накажет твой же Бог. Севочка, дорогой мой, как я это понимаю! Люби ее, как и я люблю, чти свято свою любовь и плачь ночью, как я, брат, плакал, но не касайся лепестков. Облетят.

Всеволод. Ты думаешь?

Нечаев. Севочка, ты человек умный и развитой, вспомни: видел ли ты на свете мужчину, у которого не было бы своей женщины? Верно? А теперь скажи, а друзей, как мы, ты много видал? Ты можешь даже жениться на ней, и, конечно, я тебя не оставлю, но ты сам, от стыда одного, оставишь меня. Факт, Сева, факт! Извини, что я как будто учу тебя, я не имею на это ни малейшего права, но — факт, Сева, факт.

Молчание. На платформе показываются Катя и Столярова. Катя издали кричит:

— Еще не кончили, господа? Пора уж! Александра Петровна беспокоится, и там Зоя с Кореневым пришла, дядя с доктором приехал.

Всеволод. Мы сейчас, скажите. Одну минуту.

Катя. Нельзя же так!

Уходят.

Нечаев. Вот и эта Катюшенька наша, разве она не достойна любви? Как еще достойна-то, но... Нет, подумать только, до какой низости, до какого свинства я дошел! Что со мной случилось? И за каким чертом мне понадобилось, чтобы она тоже любила меня? Ерунда какая! Но ты молчишь, Сева.

Всеволод. Думаю.— Да, ты прав, Иваныч.

Нечаев. Нет, ты серьезно? Послушай — ты серьезно? Нет, лучше сейчас даже не говори, потом. Обдумаешь и напишешь, потом, потом.

Всеволод. Это во мне не было Бога, а в тебе Он всегда есть и был.

Нечаев. Нет, ты не шутишь? Что ты говоришь! После этого? Невозможно, что ты говоришь! Я же был подлецом, Сева, форменным, понимаешь. Это глупо, и вообще я дурак, но, Всеволод, поклянись мне, что ты не издеваешься, что ты хоть немного... уважаешь меня, Сева?

Всеволод. Уважаю. И я так рад, так счастлив, Иваныч!

Молчание. Нечаев встает и говорит с некоторою торжественностью.

Нечаев. Ну, так слушай, Мацнев, вот что я тебе скажу — слушай и запомни. Если ты будешь когда-нибудь на

краю земли и будешь болен, или будет у тебя горе, или какой-нибудь подлец обидит тебя — позови меня. И если когда-нибудь случится так, что слопает тебя жизнь, и ты попадешь в какую-нибудь грязь и станешь сволочью — позови меня, и я лягу в лужу рядом с тобой, сочту за честь. И если когда-нибудь ты вздумаешь умереть, то знай, Мацнев, один по этой дороге ты не пойдешь! Ручаюсь тебе в этом моим честным словом и — клянусь. Молчи! Да святится имя Его! Молчи! А сегодня я поеду провожать тебя до полдороги и будем говорить как черти, а завтра подаю о переводе в Москву. Факт!

Всеволод. Но неужто поедешь? Ах, Иваныч, Иваныч, ну, что ты за дикая фигура! И ты еще смеешь говорить о каком-то ничтожестве... действительно, осел!

Нечаев. И это факт, и все факты и ну их, наконец, к черту, Севочка, но что это странное делается со мною: мне опять захотелось дать Горбачеву по роже?

Всеволод. Кто это — я его не знаю?

Нечаев. Нет, ты его не знаешь... ну, да ладно, не в том дело. Нет, ты посмотри, сколько дорог,— и чтобы хоть по одной я не поехал из этой чертовой дыры? Но спокойствие, спокойствие, как говорит Гамлет, и тебе осталось всего двадцать пять минут. Идем, Сева!

Всеволод. Идем, тебе надо еще билет! Мы будем стоять на площадке, ладно, Корешок? Но все-таки — какая же ты дикая фигура, вот дикая фигура. Да не беги ты как сумасшедший.

Нечаев. Стой! Ни шагу дальше! — Ну? Ты и сам фигура, но слушай. Сева, осаживай ты меня! Как только начну заноситься, как только почувствуешь, что начались излияния,— бери за шиворот. Пожалуйста! Есть во мне что-то бабье — нет, пожалуйста... Так, дождались, вон и наши. Идем.

Всеволод. Идем.

Через несколько шагов встречаются со всеми и смешиваются в беспорядочную толпу едущих и провожающих.

Катя. Свинство, Корней Иваныч, свинство!

Александра Петровна. Да что же ты, Сева! Уже первый звонок был, идем. Там дядя с Иваном Акимычем, в буфете вино пьют, тебя спрашивали! Идем, пожалуйста. Тетя, ты где?

Тетя. Да успеется, Саша, не лотоши ты, Христа ради.

Катя. Уж мы ждали, ждали. Свинство, Корней Иваныч,— и всем хочется провожать, не одному вам.

З о я. Здравствуйте, Всеволод Николаевич. Мы опоздали немного.

К о р е н е в. Извозчика не было, полдороги пешком прошли...

К а т я. А мы всю дорогу пехом перли, да и то не жалуемся. Всеволод Николаевич, вот это вам цветочек, а откуда, не скажу! Давайте приколю.

С т о л я р о в а. Да в вашем же саду сегодня и нарвали. Хитрая Катюшенька!

К о т е л ь н и к о в. Осени поздней цветы запоздалые...

К а т я *(держа булавку в зубах)*. Не войте — зареву. Ну, вот и хорошо.

Всеволод целует ей руку, приводя ее тем в крайнее смущение.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да идемте же,— ей-Богу, опоздаем. Можно и там попрощаться.

В а с я. Сева, пойдем, а то поезд уйдет.

В с е в о л о д. Идем, идем, Васюк. Надо тебе бумаги в фуражку подложить.

В а с я. Я уже подложил.

Т е т я. Это я его вчера на дорогу догола оболванила!

В а с я. Идем, Сева. Скорей!

Идут. Василий Васильевич останавливается и говорит нерешительно:

— Господа! Позвольте мне...

К а т я. Что еще там?

Василий Васильевич молча достает из-под полы бутылку шампанского и штопор. Смех. В стороне остановились двое, по-видимому, железнодорожных рабочих, смотрят.

Да неужто ж сам придумал! Вот смехота!

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Да что вы это, Василий Василич, да когда же нам теперь пить шампанское! И стаканов нет. Вася, не лезь, не видал, как бутылку откупоривают!

К о р е н е в. А это что?

Он и тот же Василь Васильич тащат из карманов стаканчики, обернутые бумажкой.

К а т я. Так это вот кто придумал! А я уж удивляюсь!..

К о р е н е в. Нет, честное слово, это Василий Василич. Скорее, Василь Василич, а то жандарм пойдет. Господа, берите!

Н а д я. Мамочка, нà. Тетя, вы что ж?

Все берут стаканчики, пьют. Молчание. Вася что-то шепчет матери.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Нет, нет, рано тебе еще шампанское. Ну, на, из моего стакана, видишь, какая гадость!

Нечаев *(громко поднимая стакан)*. Господа, вопреки принятому обычаю мой первый тост не за едущих, а за остающихся: Катеньку и Василь Василича!

Катя. Типун вам на язык — тьфу, тьфу! Еще бы за «ремингтон» выпил!

Нечаев. А второй бокал мой — за дружбу... Сева, осаживай, и потом третий, с вашего позволения, за меня и мой скорейший отъезд в Москву!

Вдали остановился жандарм. Еще две-три железнодорожных фигуры из пассажиров думают, что свадьба.

Надя. Еще куда? Столярова, слышишь, матушка?

Нечаев. Факт. Перевожусь и еду, а если откажут, выхожу в отставку и иду по шпалам. Катенька, а что, если нам соединиться? Натуры мы одаренные, имеем слух и голос, купим шарманку и в Москве под окнами... А? Идет?

Катя. Идет!

Нечаев. Катенька, вашу руку. Покажем образец? Исполним? Есть?

Катя. Есть!

Катя и Нечаев *(становятся рядом и поют, он вертит ручку воображаемой шарманки)*.

Движение, смех, голоса, перебивающие друг друга. Жандарм в сомнении, но улыбается, так как поет офицер.

Александра Петровна. Сева, скажи им, они с ума сошли. Вася!

Котельников *(подпевает, ловя незнакомый мотив и слова)*.

Тетя. Герои.

Коренев. Браво! Браво!

Александра Петровна. Вася! Сева! Надя!

Катя и Нечаев *(поют)*.

Шумной, поющей и говорящей толпой подвигаются к выходу с платформы, скрываются, но некоторое время еще слышны пение и смех. Тащутся за ними и зеваки. Тихо. Двое рабочих, стоявших в стороне, подходят к скамейке и садятся.

Первый. Вино пили.

Второй. Пили. Ты нонче дежурный?

Первый. Я, и завтра я же. Эх, мать честная, курнуть нету?

Второй. Нету.

Первый. Тут офицер папироску бросил, где она тут?

Второй. Брось, ногами затоптали. Не ищи.

Первый *(нашел и рассматривает окурок)*. И то, растоптали.

Дальний звонок. Где-то свистнул паровоз. Тишина.

ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

С любовью посвящаю моему другу
Сергею Сергеевичу Голоушеву.
Автор

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Консуэлла, наездница (по афише — «Царица танго на конях»).
Граф Манчини, отец Консуэллы.
Тот, клоун в цирке Брике (по афише — «Тот, кто получает пощечины»).
Брике («Папа Брике»), директор цирка.
Зинида, укротительница львов, жена Брике.
Альфред Безано, жокей.
Господин.
Барон Реньяр.
Джексон, клоун («Солнце Джексона»).
Тили } музыкальные клоуны.
Поли }
Томас, Анжелика и другие артисты и артистки цирка Брике.

Действие происходит в одном из больших городов Франции.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В цирке

На сцене — большая, даже огромная, грязноватая комната с оштукатуренными стенами; в левой стене, в арчатой нише, единственное окно куда-то во двор — свет мутен и слаб, так что и днем приходится зажигать электричество. На стене, противоположной рампе, в самом верху, ряд небольших окошечек с запыленными стеклами: эти окна обращены куда-то внутрь цирка, и по вечерам, во время представления, ярко светятся, днем же темны. В этой же стене, над двумя каменными ступеньками, большая, наглухо забитая дверь, окрашенная белой меловой

краской. В правой стене, почти в углу, высокая и широкая дверь без филенок, с округлым верхом, ведет в конюшни и на арену; днем там темновато, вечером слабо освещено.

Служит эта комната для разных надобностей. Тут и кабинет директора цирка, папы Брике, здесь его маленький письменный столик; тут же раздевальня для некоторых артистов и место сборища для тех же артистов во время спектакля и репетиций. Сваливают сюда и хлам, какие-то поломанные золоченые стулья, декорации от пантомимы, разную мелочь циркового обихода. На стенах яркие афиши-плакаты.

Утро.

В цирке идут репетиции и подготовка к вечернему спектаклю. При открытии занавеса с арены доносятся хлопанье бича и вскрики берейтора. Несколько мгновений сцена пуста, затем показываются два музыкальных клоуна, Тили и Поли, разучивающих новый марш. Играя на маленьких дудочках, они идут от темной двери к окну; звуки приятны, но мелки, и так же мелки и клоунски напыщены и шажки артистов. Одеты они в пиджаки, похожи друг на друга бритыми лицами и ростом; у младшего, Тили, на шее вязаный шарф. Котелки на затылке. Дойдя до окна,— Тили покосился, что за окном,— клоуны поворачивают обратно, маршируют.

Поли *(останавливается)*. Стой! Опять наврал. Слушай меня. *(Один играет на дудочке в лицо Тили; Тили рассеянно слушает, почесывая нос.)* Вот. Ну?

Оба играют и идут. В дверях встречаются с директором и Манчини; последний, грызя золоченый набалдашник палки, идет сзади. Граф Манчини худ, тонок, потерт по всем швам, но застегнут наглухо и держится с величайшим изяществом; любит аристократически поигрывать палкой и принимать ослепительные позы, часто смеется, причем все худое, острое лицо его собирается в гримасу сатира. Директор, папа Брике,— невысокий, полный, спокойный человек с несколько нерешительной походкой.

Клоуны дают дорогу; директор вопросительно взглядывает на старшего.

(Коверкая язык.) Наша музика. Марш муравьев. К пантомиме.

Брике. А!..

Расходятся. Клоуны начинают играть, но Поли останавливается и идет назад. За ним и младший.

Поли. Папа Брике, сегодня Жак плохо работает.

Брике. Отчего?

Поли. У него горло болит. Посмотри, что у него.

Брике. Пойди сюда. Ну-ка, раскрой пошире, пошире! *(Ставит клоуна под свет, у окна, и, нахмурившись, заглядывает в горло.)* Намажь йодом.

Поли. Я говорил, что пустяки. Ну?

Играя, уходят теми же мелкими и важными шажками. Директор садится, Манчини принял позу у стены и насмешливо улыбается.

Манчини. Ты их и лечишь? Смотри, папа Брике, у тебя нет диплома.

Б р и к е. Маленькие советы. Они все очень мнительны.

М а н ч и н и. Он просто обжег горло абсентом: эти двое пьянствуют каждую ночь. Папа Брике, я тебе удивляюсь, ты мало следишь за нравственностью! *(Смеется.)*

Б р и к е. Ты мне надоел, Манчини.

М а н ч и н и. Граф Манчини к вашим услугам.

Б р и к е. Ты мне надоел, граф Манчини. Ты всюду лезешь и мешаешь артистам работать. Они тебя побьют когда-нибудь, и я не стану отнимать.

М а н ч и н и. Как человек другого круга и воспитания, я не могу относиться к твоим артистам как равный. Что ты выдумал, Брике? Я и тебе делаю честь, говоря с тобой так фамильярно и совсем запросто...

Б р и к е. Ну, ну!..

М а н ч и н и. Я шучу. Но если они вздумают напасть на меня, то ты это видал, а? *(Вытаскивает из палки стилет. Любуется сам.)* Полезная вещь! А знаешь, какую девочку я вчера открыл в предместье? *(Смеется.)* Ну, ну, допустим, что ты этого не любишь, у всякого свои вкусы. Но послушай! — ты должен дать сто франков.

Б р и к е. Ни сантима.

М а н ч и н и. Тогда я беру Консуэллу. Кончено!

Б р и к е. Ты говоришь это каждый день.

М а н ч и н и. Говорю, говорю! И ты бы сказал, если бы так позорно нуждался, как я. Нет, послушай,— но ведь я должен поддерживать блеск моего имени, а? Ведь если несчастья моего рода привели к тому, что я мою дочь, графиню Веронику, должен был сделать наездницей... для куска хлеба! Для куска хлеба, понимаешь ли ты, чурбан!..

Б р и к е. Ты слишком много бросаешь на девочек. И ты попадешь-таки в тюрьму, Манчини!

М а н ч и н и. В тюрьму! Нет, но я должен же поддерживать блеск моего рода? *(Смеется.)* Манчини во всей Италии известны тем, что любили девочек, только девочек,— ну, и разве я виноват, что мне приходится платить бешеные деньги за то, что моим предкам доставалось совсем даром? Ты осел, ты парвеню, ты не понимаешь, что такое традиции рода. Я не пью, я совсем бросил карты после того случая... ну, ну, без усмешек! — и если я откажусь еще от девочек, то что останется от Манчини? Один герб! Ну, послушай, ну для традиций — дай сто франков!

Б р и к е. Я сказал, что не дам, и не дам.

М а н ч и н и. Но ведь целую половину жалованья я отдаю Консуэлле. Или ты думаешь, что я не люблю мое дитя, мою единственную дочь, оставшуюся мне, как последнее воспо-

минание о ее святой матери? Какая жестокость! *(Делает вид, что плачет, и вытирает глаза кружевным грязноватым платком с короной.)*

Брике. Лучше скажи, что она такая дура, и отдает тебе половину заработка. Ты мне надоел!

Входит Зинида, укротительница зверей, жгуче-красивая, осанистая женщина, со спокойно повелительными движениями, которые на первый взгляд кажутся даже ленивыми. Она — невенчанная жена директора Брике.

Зинида *(Манчини)*. Здравствуй.

Манчини. Мадам Зинида! Пусть этот варвар, эта грубая душа пронзит меня кинжалом, но даже в его присутствии я не могу сдержать взрыв моей любви. *(Шутовски становится на колени.)* Мадам, граф Манчини просит вас чести быть его женой!

Зинида *(Брике)*. За деньгами?

Брике. Да.

Зинида. Не давай. *(Утомленно садится в угол рваного дивана и закрывает глаза.)*

Манчини встает и отряхает колени.

Манчини. Герцогиня! — не будьте так жестоки. Я не лев, я не тигр, я не дикий зверь, которых вы привыкли укрощать,— я просто скромное домашнее животное, которое хочет... мня, мня — кушать зелененькую травку.

Зинида *(не открывая глаз)*. Мне Джим сказал, что ты держишь для Консуэллы учителя. Это зачем?

Манчини. Заботы отца, герцогиня, заботы и неусыпное попечение любящего сердца. Крайние несчастья моего рода, среди которых я вырос, оставили и в ее образовании некоторые пробелы. Друзья мои! дочь графа Манчини, графиня Вероника, почти неграмотна, допустимо ли это? А ты, Брике, ты, грубая душа, спрашиваешь, зачем мне деньги!

Зинида. Он хитрит.

Брике. А чему ты ее учишь?

Манчини. Всему. К ней ходил студент, но вчера я его выгнал: влюбился в Консуэллу и мяукал за дверью, как кот. Всему, Брике, чего ты не знаешь. Литературе, мифологии, орфографии...

Входят две молоденькие артистки, в шубках поверх легких костюмов, и утомленно рядышком присаживаются в уголке.

Я не хочу, чтобы моя дочь...

Зинида. Он хитрит.

Б р и к е. Ты глуп, Манчини. Зачем ты это делаешь? *(Наставительно.)* Ты ужасно глуп, Манчини. Зачем ей знать? Раз она здесь, ей ничего не надо знать о том, понимаешь? Что такое география? Всякий тебе скажет, что это пустяки. А я был бы вдвое счастливее, если бы не знал географии. Будь я министром, я совсем бы запретил артистам читать книги: пусть читают афиши и больше ничего!..

Во время речи Брике входят о б а к л о у н а и еще какой-то а р т и с т, тихо и утомленно рассаживаются.

Теперь твоя Консуэлла — превосходная артистка, а когда ты ее научишь мифологии и она станет читать, она сделается дрянью, развратной девчонкой, а потом отравится. Я знаю их книги, я сам читал, они только и учат, что разврату, да как потом убивать себя.

П е р в а я а р т и с т к а. А я люблю романы, которые в газетах.

Б р и к е. Ну и дура, ну и пропадешь. Поверьте мне, друзья мои: о том, что там, нам надо совсем забыть. Разве мы можем когда-нибудь понять, что там делается?

М а н ч и н и. Ты враг просвещения! Ты обскурант, Брике!

Б р и к е. А ты глуп. Вот тебя спросить, ты оттуда — ты чему там научился?

Артисты смеются.

А родись ты в цирке, как и я, ты кое-что знал бы. Просвещение — это глупости и больше ничего. Вот спроси Зиниду, она все знает, что знают и там, и географию, и мифологию, а стала она от этого счастливее? Скажи им, дорогая.

З и н и д а. Оставь меня, Луи.

М а н ч и н и *(сердито)*. Наконец — пошел ты к черту. Когда я слушаю твою философию осла, мне хочется содрать с тебя не сто франков, а двести, тысячу! Боже мой, какой осел, хоть и директор. Вот я при них опять говорю: ты мало платишь, скупец, ты должен прибавить Консуэлле сто франков. Послушайте, честные бродяги: кто собирает каждый вечер полный цирк? Вы, два музыкальных осла? Тигры и львы? Очень нужны кому-то эти голодные кошки...

З и н и д а. Оставь тигров в покое.

М а н ч и н и. Прости, Зинида, я не хочу тебя обидеть — клянусь честью, я сам в восторге от твоей бешеной смелости и грации, я целую твои ручки, героиня, но что они понимают в геройстве?..

На арене небольшой оркестр наигрывает танго.

(Восторженно.) А вот, вот! Вы слышите? Ну, скажите, честные бродяги: разве не Консуэлла с Безано собирают публику? Их танго на конях, но ведь это... ведь это! Черт возьми, тут не выдержит сам его святейшество папа!

Поли. Это правда. Номер знаменитый. Но ведь идея принадлежит Безано?

Манчини. Идея, идея! Мальчишка влюблен, как кот, вот и вся его идея. И что такое идея без женщины? Много ты напляшешь с твоей идеей. Итак, папа Брике?

Брике. Контракт.

Манчини. Какой подлый формализм!

Зинида. Дай графу десять франков, и пусть убирается.

Манчини. Десять? Ни за что! Пятнадцать! Ну, будет упрямиться, папа, ну, для традиций рода — двадцать, а? Клянусь честью, меньше не могу.

Брике дает двадцать франков.

(Небрежно.) Мерси.

Зинида. Возьми у твоего барона.

Манчини *(поднимая брови, в благородном негодовании)*. У барона? За кого ты принимаешь меня, женщина? Чтобы я стал одолжаться у постороннего человека, который...

Зинида. Ты что-то хитришь, ты что-то ужасно хитришь. Я тебя еще мало знаю, но, вероятно, ты ужасный негодяй.

Манчини *(смеется)*. Оскорбление из прекрасных уст...

Входит артист, по складу — борец.

Борец. Папа Брике, к тебе какой-то господин с того света.

Артистка. Призрак?

Борец. Нет, как будто живой. Ты видал, чтобы призраки были пьяны?

Брике. Если пьян, то откажи ему, Томас. Он именно ко мне или к графу?

Борец. К тебе. Может быть, он и не пьян, а просто призрак.

Манчини *(охорашиваясь)*. Человек из общества?

Борец. Да. Я его позову, папа Брике, и ухожу. До свиданья.

На арене хлопанье бича, вскрики; звуки танго то затихают совсем, то звучат близко и громко. Здесь молчание.

Б р и к е *(касаясь руки Зиниды).* Устала?

З и н и д а *(отводя его руку).* Нет.

П о л и. Сегодня твой рыжий лев неспокоен, Зинида.

З и н и д а. Ты его напрасно дразнишь.

П о л и. Я играл ему из «Травиаты». И он очень мне подпевал. А что бы поставить этот номер, папа Брике?

Т о м а с вводит г о с п о д и н а и показывает пальцем: вон директор. Сам уходит, тяжело переваливаясь. Господин — человек не первой молодости, с безобразным, но живым, смелым и несколько странным лицом; одет в дорогое пальто-сюртук с меховым воротником, шляпу держит в руке, перчатки.

Г о с п о д и н *(кланяясь и улыбаясь).* Имею удовольствие видеть господина директора?

Б р и к е. Да. Садитесь. Дай-ка стул, Тили.

Г о с п о д и н. О, не беспокойтесь. *(Оглядывается.)* Это ваши артисты? Очень приятно.

М а н ч и н и *(оправляясь и слегка наклоняя голову).* Граф Манчини.

Г о с п о д и н *(удивленно).* Граф?

Б р и к е *(неопределенно).* Да, граф... А с кем имею честь?

Г о с п о д и н. Я еще сам не знаю. Ведь вы все выбираете себе имена, да? Но я еще не выбрал, вы мне потом посоветуете. Кой-что я уже и придумал, но, знаете, все выходит слишком... литературно!

Б р и к е. Литературно?

Г о с п о д и н. Да. Пахнет выдумкой.

На него с удивлением смотрят.

Мне кажется, что эти два господина — клоуны. Я так рад... Позвольте пожать вашу руку. *(Встает и с приятной улыбкой жмет руки клоунам.)*

Те делают идиотское лицо.

Б р и к е. Но позвольте... чем, однако, могу служить?

Г о с п о д и н *(все с той же приятной и доверчивой улыбкой).* Это не вы служить, а я служить! Я хочу у вас служить, папа Брике.

Б р и к е. Папа Брике? Но вы совсем не похожи...

Г о с п о д и н *(успокаивая).* Это пройдет. Я буду похож. Вот эти господа сейчас сделали замечательное лицо... хотите, повторю? Вот. *(Делает идиотское лицо, точно подражая клоунам.)*

Б р и к е. Да. *(Невольно.)* А вы не пьяны, сударь?

Господин. Нет. Я вообще не пью. А разве я похож на пьяного?

Поли. Есть-таки.

Господин. Нет, я не пью. Это просто особенность... моего таланта!

Брике. Ты раньше где служил? Жонглер?

Господин. Нет, но я рад, что ты почувствовал во мне товарища, папа Брике. К сожалению, я не жонглер и... я нигде не служил. Я просто так.

Манчини. Но вы имеете вид человека из общества.

Господин. О, вы мне льстите, граф! Я просто так.

Брике. Что же ты... вы хотите? Должен сказать, что у меня все занято.

Господин. Это не важно. Я хочу быть клоуном, если позволите.

Некоторые улыбаются. Брике начинает сердиться.

Брике. Что же ты умеешь? Знаешь, это ты многого захотел. Ну, что ты умеешь?

Господин. Ничего. Разве это не смешно: ничего не уметь?

Брике. Нет, не смешно. Любой бездельник умеет столько же.

Господин *(беспомощно, но все улыбаясь, оглядывается)*. Можно что-нибудь придумать...

Брике *(с иронией)*. Литературное?

Тихо входит клоун мистер Джексон и, незамеченный, останавливается позади господина.

Господин. Да, можно и литературное. Например, что вы скажете о маленькой, но хорошенькой речи... ну, хотя бы на религиозную тему? Так, маленький диспут между клоунами.

Брике. Диспут? Провались, милый, здесь не академия.

Господин *(огорченно)*. А жаль! Что-нибудь такое... легкую шутку о сотворении мира или об его управлении?

Брике. А комиссар? Не годится.

Джексон *(выступая)*. Об управлении миром? Оно тебе не нравится? Мне тоже... давай руку.

Брике *(знакомя)*. Наш главный клоун, знаменитый Джексон.

Господин *(в восторге)*. Боже мой, это вы? Позвольте горячо пожать вашу руку, вы столько наслаждения доставили мне вашим гениальным...

Джексон. Очень рад.

Б р и к е *(пожимая плечами)*. Вот хочет быть клоуном, посмотри, Джим.

По знаку Джексона господин поспешно снимает пальто и бросает на стул. Готов к осмотру. Джексон, поворачивая, критически осматривает его.

Д ж е к с о н. Клоуном, хм! Повернитесь-ка... Хм! Для клоуна... да... улыбнитесь-ка, пошире, пошире! Разве это улыбка! Так. Положим, задатки есть, но для полного развития... *(С огорчением.)* Ты, пожалуй, и сальто-мортале не умеешь?

Г о с п о д и н. *(вздыхая)*. Нет.

Д ж е к с о н. А сколько тебе лет?

Г о с п о д и н. Тридцать девять. Поздно?

Джексон, свистнув, отходит.

Б р и к е *(холодно)*. Мы не нуждаемся в ваших услугах, сударь.

Молчание.

З и н и д а *(тихо)*. Возьми его.

Б р и к е *(гневно)*. Но, черт побери, что же я буду делать с ним, если он ничего не умеет. Он просто пьян!

Г о с п о д и н. Честное слово, я не пьян. Благодарю вас за поддержку, сударыня. Вы не знаменитая ли г-жа Зинида, укротительница львов, царственная красота и смелость которой?..

З и н и д а. Да. Но я не люблю, когда мне льстят.

Г о с п о д и н. Это не лесть!

М а н ч и н и. Ты просто не привыкла к людям из общества, душа моя! Лесть! Господин искренно и в прекрасных словах выражает свой восторг, а ты... это невоспитанность, Зинида. Что касается меня...

Входят К о н с у э л л а и Б е з а н о в костюмах.

К о н с у э л л а. Ты здесь, папа?

М а н ч и н и. Да, дитя мое, ты не устала? *(Целует ее в лоб.)* Моя дочь, сударь, графиня Вероника, по сцене знаменитейшая Консуэлла, царица танго на конях... изволили видеть?

Г о с п о д и н *(кланяясь)*. Я был восхищен... Изумительно.

М а н ч и н и. Да, это признано всеми. А как вам нравится имя? Consuelo! Я взял его из романа госпожи Жорж Занд, оно значит — «утешение».

Г о с п о д и н. Какая блестящая начитанность!

М а н ч и н и. О, пустяки. Несмотря на ваше эксцентрич-

ное желание, я вижу, сударь, что вы человек моего круга; и должен вам сказать, что только роковые несчастья древнего рода... Sic transit gloria mundi [1], сударь!

Консуэлла. Надоел, папа. А где же мой платок, Альфред?

Безано. Вот, возьми.

Консуэлла *(господину)*. Это настоящий венецианский — вам нравится?

Господин *(вторично кланяясь Консуэлле)*. Мои глаза ослеплены. Такая красота! Нет, папа Брике, чем больше я смотрю, тем больше хочу остаться с вами. *(Делает тупое лицо простака.)* С одной стороны — граф, с другой...

Джексон *(одобряя)*. Это недурно. Послушай, раскинь же мозгами, придумай, кем ты можешь быть. Здесь каждый думает за себя.

Молчание. Господин думает, приложив палец ко лбу.

Господин. Придумать, придумать... Эврика!

Поли. Это значит: нашел. Ну?

Господин. Эврика! Я буду у вас тем, который получает пощечины.

Общий смех, даже Брике улыбнулся.

(Глядя на всех и улыбаясь.) Видите: вот вы и рассмеялись. А разве это легко?

Все становятся серьезны. Клоун Тили вздыхает.

Тили. Да, это нелегко. Ты засмеялся, Поли?

Поли. Я очень засмеялся. А ты?

Тили. Я тоже. *(Наигрывает на губах, подражая инструментам, весело-печальный мотивчик.)*

Джексон. Тот, который получает пощечины? Это недурно.

Господин. Не правда ли? Мне самому очень нравится, это вполне соответствует свойствам моего таланта. Знаете, товарищи: я и имя для себя придумал... я буду называться Тот. Хорошо?

Джексон *(обдумывая)*. Тот? Недурно.

Консуэлла *(певуче)*. Какой он смешной! Тот — как собака. Папа, есть такие собаки?

Внезапно Джексон наносит пощечину, искусственную, господину. Тот отшатывается и бледнеет.

Господин. Что?!

Общий хохот покрывает его слова.

---

[1] Так проходит земная слава *(лат.)*.

Д ж е к с о н. Тот, кто получает все пощечины! Или ты не получил?

П о л и *(коверкая язык)*. Он говорит: ему мало.

Господин улыбается, потирая щеку.

Г о с п о д и н. Такая внезапность и быстрый переход к делу... Но странно: ты меня не ударил, а щека горит?

Снова смех. Клоуны кричат утками, петухами, лают и скулят. Зинида, что-то сказав Брике и бросив взгляд на Безано, выходит. Манчини принимает вид скучающего человека и смотрит на часы. Выходят обе артистки.

Д ж е к с о н. Возьми его, папа Брике, он будет нас шевелить.

М а н ч и н и *(смотря на часы)*. Но имейте в виду, что папа Брике скуп, как Гарпагон. И если вы думаете поправить ваши дела, то вы горько ошибаетесь... *(Смеется.)* Пощечина, что такое пощечина? Здесь это разменная монета, полтора франка дюжина. Вернитесь в общество, там вы заработаете больше. Мой друг маркиз Джусти за одну пощечину — вы представьте! — за одну маленькую оплеуху получил пятьдесят тысяч лир!

Б р и к е. Не мешай, Манчини. А ты займешься им, Джексон?

Д ж е к с о н. Могу.

П о л и. А музику ти любишь? Например, сонату Бетховена на метле или Моцарта на бутилках?

Т о т. Увы — нет! Но я буду бесконечно благодарен, если вы научите меня. Клоун! Это было моей мечтой с детства. Когда мои школьные товарищи увлекались: одни — героями Плутарха, другие — светом науки, я мечтал о клоуне. Бетховен на метле! Моцарт на бутылках! Это как раз то, чего я всю жизнь искал. А костюм? О друзья мои, мне надо поскорее костюм.

Д ж е к с о н. Видно, что ты ничего не понимаешь. Костюм — это надо, понимаешь *(прикладывает палец ко лбу)*, очень долго думать. Ты видал солнце у меня на этом месте? *(Хлопает себя сзади.)* Я его искал два года!

Т о т *(восторженно)*. Я буду искать!

М а н ч и н и. Ну, а нам пора. Консуэлла, дитя мое, тебе надо одеваться. *(К Тоту.)* Мы завтракаем у барона Реньяра — мой друг, банкир.

К о н с у э л л а. Я не поеду, папа. Альфред сказал, что мне надо сегодня еще поработать.

Манчини *(в ужасе поднимая руки)*. Но, дитя мое! — в какое положение ты меня ставишь? Я обещал барону, барон будет нас ждать... нет, это невозможно! Я даже вспотел.

Консуэлла. Альфред говорит...

Безано *(сухо)*. Ей надо поработать. Ты отдохнула? Идем.

Манчини. Но это — черт знает что! Послушай, ты, Безано, жокей, ты с ума сошел? Я тебе позволил для интересов искусства несколько позаняться моей дочерью, но...

Консуэлла. Оставь, папа, какой ты глупый. Нам надо же работать. Завтракай один с твоим бароном. Ах, папа, ты опять не взял чистого платка? Я же вчера выстирала тебе два чистых, куда ты их девал?

Манчини *(краснея от стыда)*. Мне мое белье стирает прачка, а ты еще играешь в куклы, Консуэлла. Это глупо! Ты болтаешь, не думая, а эти... господа могут представить Бог знает что. Глупо! Я ухожу.

Консуэлла. Хочешь, я напишу ему записочку?

Манчини *(злобно)*. Записочку! Над твоими записочками лошадь засмеется! До свиданья! *(Уходит, сердито играя палкой.)*

За ним почтительно следуют музыкальные клоуны, наигрывая похоронный марш. Тот и Джексон смеются. Артисты постепенно расходятся.

Консуэлла *(смеясь)*. Разве я так плохо пишу? А мне это так приятно: писать записочки. Тебе понравилось мое письмецо, Альфред, или ты тоже смеялся?

Безано *(краснея)*. Нет, я не смеялся. Идем, Консуэлла.

Выходят оба, в дверях встречаются с Зинидой.

Зинида. Ты еще хочешь работать, Безано?

Безано *(вежливо)*. Да, сегодня что-то плохой день. А как твои львы, Зинида? Мне кажется, на них действует погода.

Голос Консуэллы: «Альфред!»

Зинида. Да. Тебя зовут, иди.

Альфред уходит.

Ну, что же, кончили?

Брике. Кончаем.

Джексон *(прощаясь)*. До вечера. Думай же о костюме, Тот, я тоже подумаю. И завтра приходи сюда к десяти,

не опаздывай, а то получишь лишнюю пощечину. Я тобой займусь.

Тот. Я не опоздаю. *(Смотрит ему вслед.)* Вероятно, очень добрый человек? Какие вокруг вас хорошие люди, папа Брике. А этот красивый жокей, вероятно, влюблен в Консуэллу, не правда ли? *(Смеется.)*

Зинида. А тебе какое дело? Для начала ты слишком суешь нос. Сколько он хочет, папа?

Брике. Погоди. Послушай, Тот, контракта с тобой я заключать не буду...

Тот. О, конечно, пожалуйста, как хотите. И знаете что? Мы сейчас и о деньгах говорить не будем! Ты малый честный, Брике, ты сам увидишь мою работу и тогда...

Брике *(с удовольствием)*. Это вполне порядочно с твоей стороны. Ведь на самом деле он ничего не умеет, Зинида?

Зинида. Если он так хочет. Надо записать. Дай книгу.

Брике. Вот. *(Тоту.)* Я не люблю писать. Мы здесь записываем артистов, знаешь, для полиции. Кто-нибудь может убиться, или...

С арены снова доносятся звуки танго и вскрики.

Зинида. Как твое имя?

Тот *(улыбаясь)*. Тот. Я уже выбрал. Или вам не нравится?

Брике. Нравится, но нам нужно твое настоящее имя. Паспорт у тебя есть?

Тот *(смущаясь)*. Паспорт? Но паспорта у меня нет. Вернее, у меня есть нечто в этом роде, но я не думал, что у вас так строго. Зачем это?

Зинида и Брике переглядываются молча. Зинида отодвигает книгу.

Зинида. Тогда мы не можем тебя взять. Нельзя же из-за тебя ссориться с полицией.

Брике. Это моя жена, ты еще не знаешь. Она права. Тебя может ударить лошадь, или ты сам что-нибудь вздумаешь такое, кто тебя знает... Мне все равно, но там, понимаешь, относятся иначе. Для меня труп есть просто труп, я его ни о чем не расспрашиваю и предоставляю это Богу или черту, а они очень любопытны. Так, вероятно, нужно для порядка, я не знаю. Карточка у тебя есть?

Тот в раздумьи потирает лоб.

Тот. Как же быть? Карточка у меня есть, но... *(Улы-*

бается.) Понимаете: мне ужасно не хочется, чтобы мое имя было известно.

Брике. Какая-нибудь история?

Тот. Да, в этом роде... И отчего не вообразить, что у меня просто нет никакого имени? Разве я не мог потерять имя, как теряют шляпу? Или его у меня обменяли? Когда к вам приходит заблудившаяся собака, вы не спрашиваете ее об имени, а даете новое,— пусть и я буду такая собака. *(Смеется.)* Собака Тот!

Зинида. Ты можешь сказать его нам двоим. Больше никто не узнает... если, конечно, ты не вздумаешь сломать себе шею.

Тот в раздумьи.

Тот. Честное слово?

Зинида пожимает плечами.

Брике. Там, где люди честны, там и всякое слово — честное слово. Видно, что ты оттуда.

Тот. Ну, хорошо. Вот. Не удивляйтесь, пожалуйста.

Передает карточку Зиниде. Та смотрит и передает Брике. Потом оба глядят на Тота.

Брике. Если это правда, сударь, и вы то, что здесь написано...

Тот. Ради Бога, Бога ради! Этого нет, это давно потеряно, это просто квитанция на старую шляпу! Умоляю вас, забудьте это, как и я. Я Тот, который получает пощечины, и больше ничего.

Молчание.

Брике. Но вы извините меня, если я еще раз почтительно спрошу вас: вы не пьяны, сударь? В ваших глазах есть что-то такое...

Тот. Нет. Я Тот, который получает пощечины. И с каких пор мы с тобой на вы, папа Брике? Ты меня обижаешь.

Зинида. Одним словом, это его дело, Брике. *(Прячет карточку.)* Но ты очень странный господин, это правда. *(Улыбаясь.)* И ты уже заметил, что Безано влюблен в наездницу? А что я люблю моего Брике, это видно?

Тот *(также улыбаясь)*. О да! Ты его обожаешь.

Зинида. Я его обожаю. Пройдись с ним, Брике, и покажи ему арену и конюшни, я кое-что запишу.

Тот. Да, да! Пожалуйста. Я так счастлив, наконец. Ведь я принят, это правда, вы не шутите? Арена! Песок арены! Круг, в котором я буду бегать, получая пощечины!

Да, да, идем, Брике. Пока я не почувствую под своими ногами песка, я все еще не буду верить.

Брике. Ну, пойдем. *(Целует Зиниду.)* Идем.

Идут к двери.

Зинида. Постой... Тот! Ответь мне на один вопрос. У меня есть служитель, который убирает клетки, ну, простой парень, которого никто не знает. Он убирает клетки. И ты знаешь: он всегда входит ко львам, когда хочет, даже не смотрит на них, он там совсем как дома. Отчего это? И его никто не знает, а меня знают все, а когда я вхожу, то все в страхе, а... Такой глупый парень, ты его увидишь! *(Смеется.)* Но не вздумай ты войти, Тот,— мой Рыжий даст тебе такую пощечину!..

Брике *(с неудовольствием)*. Ты опять, Зинида. Оставь.

Зинида *(смеясь)*. Да, идите, идите. Ах, да: пошли ко мне Безано, Луи, у меня есть счеты с ним.

Тот и директор выходят. Зинида еще раз взглядывает на карточку и прячет ее. Встает и быстро ходит по комнате, останавливается, прислушивается к звукам танго. Музыка внезапно обрывается. Не двигаясь, смотря прямо в темное отверстие двери, Зинида ждет.

Безано *(входя)*. Ты меня звала, Зинида? В чем дело, говори скорее, мне некогда.

Зинида молча смотрит на него. Вспыхнув и нахмурившись, Безано также молча поворачивается к двери.

Зинида. Безано!

Безано *(останавливаясь, не поднимая глаз)*. Что вам надо? Мне некогда.

Зинида. Безано! Я целые дни слышу, что ты влюблен в Консуэллу. Это правда?

Безано *(пожимая плечами)*. Мы с нею работаем вместе.

Зинида *(делая шаг вперед)*. Нет, скажи: это правда, ты ее любишь, Альфред?

Безано краснеет юношески, но смотрит прямо в глаза Зиниде.

Безано *(гордо)*. Я никого не люблю. Как я могу кого-нибудь любить? Я никого не люблю. Сегодня Консуэлла здесь, а завтра ее возьмет отец. И кто я? Акробат, сын сапожника в Милане. А она? Я даже говорить не умею, у меня нет слов, как у моей лошади. Кто я такой, чтобы любить?

Зинида. А меня ты любишь... немножко?

Безано. Нет. Я уже говорил.

З и н и д а. Все еще нет? И даже немножко — нет?

Б е з а н о *(помолчав)*. Я тебя боюсь.

Зинида хочет крикнуть что-то гневное, но овладевает собою, опускает глаза и как бы тушит их блеск. Бледнеет.

З и н и д а. Разве я такая... страшная?

Б е з а н о. Ты красива, как царица. Ты почти так же красива, как Консуэлла. Но я не люблю твоих глаз. Ты мне приказываешь глазами, чтобы я любил тебя, а я не могу, когда мне приказывают. Я тебя боюсь.

З и н и д а. Разве я приказываю? Нет, Безано,— я только прошу.

Б е з а н о. А отчего ты не смотришь на меня? Вот ты и попалась: ты сама знаешь, что твои глаза не умеют просить. *(Смеется.)* Тебя испортили твои львы.

З и н и д а. Мой Рыжий любит меня.

Б е з а н о. Нет. Если он любит, то отчего он такой скучный?

З и н и д а. Вчера он лизал мне руки, как собака.

Б е з а н о. А сегодня он все утро ищет тебя глазами, чтобы сожрать. Он просовывает морду и так смотрит, что видит только тебя. Он тебя боится и ненавидит. Или ты хочешь, чтобы и я лизал тебе руку, как собака?

З и н и д а. Нет. Это я, это я, Альфред, хочу поцеловать твою руку. *(В порыве.)* Дай мне поцеловать твою руку!

Б е з а н о *(сурово)*. Ты говоришь так, что тебя стыдно слушать.

З и н и д а *(сдерживаясь)*. Нельзя же так мучить, как ты мучаешь меня! Альфред, я тебя люблю! Нет, я не приказываю: посмотри мне в глаза. Я тебя люблю!

Молчание. Безано поворачивается к выходу.

Б е з а н о. Прощай.

З и н и д а. Альфред!..

В двери показался и остановился Т о т.

Б е з а н о. И, пожалуйста, никогда не говори, что ты любишь меня. Я не хочу, я тогда уйду отсюда. И ты так говоришь «люблю», как будто бьешь меня хлыстом. Знаешь — это противно! *(Резко поворачивается и идет.)*

Оба заметили Тота. Безано, нахмурившись, быстро проходит мимо; Зинида с видом надменно-равнодушным возвращается на свое место к столу.

Т о т *(приближаясь)*. Извините, я...

З и н и д а. Ты опять суешь нос, Тот? Тебе так хочется пощечины?

Т о т *(смеясь)*. Нет, я просто позабыл пальто. Я ничего не слыхал.

З и н и д а. Мне все равно, слыхал ты или нет.

Т о т. Можно взять пальто?

З и н и д а. Бери, если оно твое. Сядь, Тот.

Т о т. Сажусь.

З и н и д а. Отвечай мне. Ты мог бы меня полюбить, Тот?

Т о т. Я? *(Смеясь.)* Я и любовь? Взгляни на меня, Зинида: ты видала такие лица у любовников?

З и н и д а. С таким лицом можно иметь успех.

Т о т. Это оттого, что мне весело! Это оттого, что я потерял шляпу. Это оттого, что я пьян. Или я не пьян? Но у меня все кружится в глазах, как у молоденькой девушки на балу. Как здесь хорошо! Дай мне поскорее пощечину, я хочу играть. Может быть, она пробудит во мне и любовь. Любовь! *(Точно прислушивается к чему-то в сердце. С утрированным ужасом.)* А знаешь что? Я ее чувствую!

На арене возобновились звуки танго.

З и н и д а *(прислушиваясь)*. Ко мне?

Т о т. Нет. Я еще не знаю. Ко всем! *(Прислушивается.)* Да, они танцуют. Как прекрасна Консуэлла! И как прекрасен юноша, у него тело греческого бога, его точно изваял Пракситель. Любовь! Любовь!

Молчание. Музыка.

З и н и д а. Скажи мне, Тот...

Т о т. Что прикажешь, царица?

З и н и д а. Тот! Как мне сделать, чтобы меня полюбили мои звери?

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В той же комнате, вечером, во время спектакля. Урывками доносится музыка, вскрики, гул рукоплесканий. Верхние оконца светятся. На сцене двое: К о н с у э л л а и б а р о н Р е́ н ь я р. Консуэлла, в костюме наездницы, сидит с ногами на диване, на плечах платок. Перед нею барон Реньяр, высокий, грузный господин во фраке, с розою в петлице. Широко и грубо расставив ноги, он тяжело смотрит на Консуэллу неподвижными, выпуклыми, паучьими глазами.

Б а р о н. Это правда, что ваш папа... граф познакомил вас с каким-то маркизом Джусти, богачом?

Консуэлла *(удивленно)*. Нет! Он шутит. Он часто говорит про какого-то маркиза Джусти, но я его никогда не видала.

Барон. А вы знаете, что ваш папа — просто шарлатан?

Консуэлла. Ах, нет, он такой милый!

Барон. Вам понравились брилльянты?

Консуэлла. Да. Очень! Мне было так жаль, когда папа велел возвратить их вам. Он сказал, что это неприлично. Я даже поплакала немножко.

Барон. Ваш папа — нищий и шарлатан.

Консуэлла. Ах, нет, не браните его! Он так вас любит.

Барон. Дайте мне поцеловать руку.

Консуэлла. Что вы, это не принято! Можно целовать, когда здороваешься и прощаешься, а посередине нельзя.

Барон. В вас все влюблены, и оттого вы так важничаете с вашим папа. Кто у вас этот новый клоун, Тот? Он мне не нравится — хитрая бестия. Он тоже влюблен в вас? Я видел, как он на вас смотрел.

Консуэлла *(смеется)*. Ну, что вы! Он такой смешной. Вчера он получил пятьдесят две пощечины, мы считали. Вы подумайте: пятьдесят две пощечины! Папа сказал: если бы это были золотые!

Барон. Консуэлла! А Безано вам нравится?

Консуэлла. Да, очень. Он такой красивый! Тот говорит, что мы с ним самая красивая пара людей на свете. Он называет его Адамом, а меня Евой... Но ведь это неприлично? Тот такой неприличный.

Барон. А Тот часто говорит с вами?

Консуэлла. Часто, но я его не понимаю. Он всегда как пьяный.

Барон. Господи!.. Консуэлла — по-испански значит «утешение». Ваш папа — осел. Консуэлла, я вас люблю.

Консуэлла. Поговорите с папа.

Барон *(сердито)*. Ваш папа — мошенник и шантажист, которого надо отвести к комиссару. Разве вы не понимаете, что я не могу на вас жениться?

Консуэлла. А папа говорит, что можете.

Барон. Нет, не могу. А если я застрелюсь? Консуэлла, глупая,— я тебя люблю невыносимо. Невыносимо, ты понимаешь? Я, вероятно, сошел с ума и меня надо отвести к доктору, стащить за шиворот, избить палками? Почему я так люблю тебя?

Консуэлла. Тогда лучше женитесь.

Барон. Я имел сотню женщин, красавиц, но я их не видал. Тебя я вижу первую — и больше ничего не вижу.

Кто поражает любовью человека — Бог или дьявол? Меня поразил дьявол. Дай мне поцеловать руку.

Консуэлла. Нет. *(Задумалась и вздыхает.)*

Барон. Разве ты когда-нибудь думаешь? О чем ты задумалась, Консуэлла?

Консуэлла *(вздыхает)*. Мне почему-то стало жаль Безано. *(Вздыхает.)* Он такой добрый, когда учит меня, и у него такая маленькая комнатка...

Барон *(гневно)*. Вы были там?

Консуэлла. Нет, мне говорил Тот. *(Улыбаясь.)* Слышите, как там шумят? Это он получает пощечины. Бедный! Хотя это вовсе не больно, это только нарочно. Теперь скоро и антракт.

Барон бросает сигару, быстро делает два шага и становится на колени перед девушкой.

Барон. Консуэлла!..

Консуэлла. Ах, нет, встаньте, встаньте. Пустите мою руку!

Барон. Консуэлла!..

Консуэлла *(с отвращением)*. Да встаньте же, мне противно. Вы такой толстый!

Барон встает. В дверях шум голосов и публики — антракт. С веселым говором, возбужденные входят клоуны. Первым идет Тот, в костюме клоуна, с насурмленными бровями и белым носом, остальные рукоплещут ему. Голоса артистов: «Браво, Тот!» Артистки, берейторы, гимнасты, все в соответствующих костюмах. Зиниды нет. Потом является папа Брике.

Поли. Сто пощечин! Браво, Тот!

Джексон. Недурно, недурно! Ты сделаешь карьеру.

Тили. Сегодня он был профессор, а мы ученики. На еще, получи сто одну! *(Шутя бьет Тота.)*

Смех. Здороваются с бароном. Он приличен, но грубоват, ему надоели эти бродяги. Молчалив, к чему все привыкли. Подходит Манчини, все тот же, с тою же палкой.

Манчини *(здоровается)*. Какой успех, барон! И подумать, до чего эта публика любит пощечины... *(Шепотом.)* У вас испачканы колени, барон, отряхните. Здесь очень грязный пол. *(Громко.)* Консуэлла, дитя мое! Как ты себя чувствуешь? *(Отходит к дочери.)*

Веселый шум, голоса. Лакеи из буфета носят содовую и вино. Голос Консуэллы: «А где же Безано?»

Тот *(кланяясь барону, интимно)*. Вы меня не узнаете, барон?

Барон. Нет, узнаю. Вы клоун Тот.

Тот. Да. Я — Тот, который получает пощечины. Осмелюсь спросить, барон, вам передали брильянты?

Барон. Что такое?!

Тот. Мне поручили отнести вам какие-то брильянты, и вот я осмеливаюсь...

Барон поворачивает к нему спину. Тот громко смеется.

Джексон. Сода и виски! Поверьте, господа, он сделает карьеру, я старый клоун и понимаю публику. Сегодня он затмил даже меня, и на мое солнце нашли тучи! *(Хлопает себя сзади.)* Они не любят головоломки, им нужны пощечины, о которых они скучают и мечтают дома. Твое здоровье, Тот! Еще сода-виски! Сегодня он получил столько пощечин, что их хватило бы на весь партер...

Тили. Нет, не хватило бы! Пари!

Поли. Пари! Бейте по рукам. Я буду ходить и считать, сколько рож в партере.

Голос. Партер не смеялся.

Джексон. Потому что он получал. А галерка смеялась, потому что смотрела, как получает партер. Твое здоровье, Тот!

Тот. Твое здоровье, Джим! Но зачем ты не дал мне окончить речи, я так настроился?

Джексон *(важно)*. Потому что она была кощунственна, мой друг. Политика — да, нравы — сколько хочешь, но Провидение оставь в покое. И поверь, приятель, я вовремя захлопнул тебе рот. Не правда ли, папа Брике?

Брике *(подходя)*. Это было слишком литературно, здесь не академия. Ты забываешь, Тот!

Тили. Но захлопывать человеку рот — фи!

Брике *(наставительно)*. Когда бы человеку ни заткнули рот, это всегда вовремя. Разве только, когда он пьет... Эй, сода-виски!

Голоса. Сода-виски директору!

Манчини. Но это же обскурантизм! Ты опять философствовать, Брике?

Брике. Я сегодня тобою недоволен, Тот. Зачем их дразнить? Они этого не любят. Ваше здоровье! Хорошая пощечина должна быть чиста, как кристалл — бац! бац! правая, левая — и готово. Им приятно, и они смеются и любят тебя. А в твоих пощечинах есть какой-то привкус... понимаешь, какой-то запах!

Тот. Но ведь они же смеялись!

Брике. Но без удовольствия, без удовольствия, Тот!

Ты платишь, но тотчас же делаешь перевод на их имя, это неправильная игра, тебя не будут любить.

Д ж е к с о н. Это самое и я ему говорю. Он уже начал их злить.

Б е з а н о *(входя)*. Консуэлла, где ты? Я тебя ищу. Идем!

Оба выходят. Барон, помедлив, следует за ними; Манчини почтительно провожает его до дверей.

Т о т. Ах, вы не понимаете, друзья! Вы просто устарели и потеряли нюх сцены.

Д ж е к с о н. Ого! Это кто же устарел, молодой человек?

Т о т. Не сердись, Джим. Но это же — игра, вы понимаете? Я становлюсь счастлив, когда я выхожу на арену и слышу музыку. На мне маска, и мне смешно, как во сне. На мне маска, и я играю. Я могу говорить все, как пьяный, ты понимаешь? Когда я вчера с этой дурацкой рожей играл великого человека — философа!.. *(Приняв надменно-монументальный вид, Тот повторяет при общем смехе вчерашнюю игру.)* И шел так,— — и говорил, как я велик, мудр, несравненен,— — какое живет во мне божество,— и как я высок над землею,— и как слава сияет вокруг моей головы! — — *(Меняя голос, скороговоркой.)* — И ты, Джим, первый раз ударил меня — и я спросил: что это? Мне аплодируют? — — — И когда при десятой пощечине я сказал: кажется, за мной прислали из академии? *(Играя, оглядывается с видом непобедимой надменности и величия.)*

Смех. Джексон наносит Тоту пощечину.

За что?

Д ж е к с о н. За то, что ты играешь даром, дурак. Гарсон, счет.

Смех. Вдали звонок, призывающий на арену. Артисты быстро расходятся, некоторые бегут. Торопливо получают по счету лакеи.

Б р и к е *(протяжно)*. На арену! На арену!

М а н ч и н и. Мне нужно сказать тебе два слова, Тот. Ты еще не уходишь?

Т о т. Нет, я буду отдыхать.

Б р и к е. На арену! На арену!

Клоуны, визгливо напевая, уходят. Постепенно расходятся все. Там бравурные звуки музыки. Тот с ногами забирается на диван, зевает.

М а н ч и н и. Тот, у тебя есть то, чего никогда не было в моем роду: деньги. Я скажу дать бутылочку? Послушайте, принесите.

Л а к е й, убиравший посуду, приносит бутылку вина и бокалы. Уходит.

Тот. Ты что-то мрачен, Манчини. *(Потягивается.)* Нет, в мои года сто пощечин это трудно... Ты что-то мрачен. Как у тебя с девочкой?

Манчини. Тсс! Скверно. Осложнения. Родители. *(Вздрагивает.)* Ах!

Тот. Тюрьма?

Манчини *(смеется)*. Тюрьма! Надо же поддерживать блеск имени. Ах, Тот, я шучу, а на душе у меня ад! Ты один меня понимаешь. Но послушай,— что это за страсть? Объясни мне. Она доведет меня до седых волос, до тюрьмы, до могилы — я трагический человек, Тот. *(Утирает слезы грязным платком.)* Почему я не люблю дозволенное и каждое мгновение, даже в моменты экстаза, должен думать о каком-то... законе? Это глупо, Тот. Я становлюсь анархистом! Боже мой! Граф Манчини — анархист, этого только недоставало!

Тот. А уладить?

Манчини. А деньги?

Тот. А барон?

Манчини. Ну да, он только этого и ждет, этот кровопийца. И он дождется! — он дождется, что я отдам ему Консуэллу за десять тысяч франков! За пять!

Тот. Дешево.

Манчини. А разве я говорю, что дорого и что этого я хочу? Но если меня душат эти мещане, держат за горло — вот так! Ах, Тот, по всему видно, что ты человек из общества, ты понимаешь меня. Я тебе показывал бриллианты, которые я отослал ему? Проклятая честность, мне даже нельзя было подменить камни фальшивыми!

Тот. Почему?

Манчини. Потому что я испортил бы всю игру. Ты думаешь, он потом камни не взвешивал?

Тот. Он не женится.

Манчини. Нет, женится. Ты его не понимаешь. *(Смеется.)* Это человек, который половину жизни имел только аппетит, а теперь к нему пришла любовь. Если ему не дать Консуэллы, он кончен, как... как увядший нарцисс, черт его возьми с его автомобилем! Ты видал его автомобиль?

Тот. Видал. Отдай девчонку жокею.

Манчини. Безано? *(Смеется.)* Вот видишь, до чего мы договорились! Ах, да — это твоя шутка об Адаме и Еве... не надо, пожалуйста... Это остроумно, но компрометирует девочку. Она мне рассказывала.

Тот. Или отдай мне.

Манчини. А у тебя есть миллиард? *(Смеется.)* Ах, Тот, мне вовсе не до твоих клоунских шуток! Здесь, говорят, преотвратительные тюрьмы, не делается никаких различий для людей нашего круга и простых каналий. Что ты на меня так смотришь? Ты смеешься?

Тот. Нет.

Манчини *(сердито)*. Никогда не привыкну к этим рожам! Ты так мерзко накрашен...

Тот. Он не женится. Ты слишком честолюбив и горд, Манчини, но он не женится. Что такое Консуэлла? Она необразованна: когда она не на коне, у любой горничной из хорошего дома манеры лучше и речь умнее. *(Небрежно.)* Она не глупа?

Манчини. Она не глупа, а ты, Тот, дурак. Что такое ум у женщины, ты меня удивляешь, Тот! Консуэлла — это брильянт, который еще не гранили, и только настоящий осел не увидит ее блеска. Ты знаешь, что я было начал ее гранить?

Тот. Взял учителя? Ну и что?

Манчини *(кивая головой, таинственно)*. И я испугался — так это быстро пошло! Я его отставил. А? Я даже испугался. Еще только месяц или два, и она выгнала бы меня вон. *(Смеется.)* Прежние умные торговцы камнями в Амстердаме держали их негранеными — от воров; мне рассказывал отец.

Тот. Это — сон брильянта. Тогда он спит. Нет, ты мудр, Манчини!

Манчини. Ты знаешь, какая кровь течет в жилах итальянской женщины? В ней кровь Аннибала и Корсини, Борджиа и грязного лонгобарда или мавра. О, это не женщина низшей расы, где позади одни только мужики и цыгане! В итальянке заключены все возможности, все формы, как в нашем чудесном мраморе, понимаешь, чурбан? Ударь ее здесь — и она кухарка, которую ты выгонишь за грязь и крикливость вороны, дешевая кокотка; осторожно... деликатно! Тронь ее с этой стороны — и она королева, богиня, Венера Капитолийская! И она поет, как Страдивариус, и ты уже рыдаешь... болван! Итальянская женщина...

Тот. Однако ты поэт, Манчини! Но чем же сделает ее барон?

Манчини. Как — чем? Да... баронессой же, чурбан! Чему ты смеешься — не понимаю. Просто счастье, что это влюбленное животное не герцог и не принц: он сделал бы ее принцессой, и тогда мне фюить!.. через год меня не пустят

на кухню! *(Смеется.)* Меня! А я граф Манчини, тогда как она простая...

Тот *(поднимаясь)*. Что ты болтаешь? Ты не ее отец?! Манчини!

Манчини. Тсс! Черт возьми, как я сегодня расстроен. А кто же я, о небо? Конечно, отец! *(Кривится смехом.)* Чурбан, или ты не замечаешь фамильного сходства? Смотри: нос — вот! глаза! *(Внезапно глубоко вздыхает.)* Ах, Тот, как я несчастен. И подумать только: в то время как здесь погибает человек в борьбе за честь древнего рода, там, в партере, сидит это животное, этот слон с глазами паука, и смотрит на Консуэллу, и...

Тот. Да, у него неподвижный взгляд паука. Ты прав.

Манчини. А что же я говорю? Паук!.. Но нет, я его заставлю жениться. Ты увидишь! *(Возбужденно расхаживает, играя палкой.)* Ты увидишь! Я целую жизнь готовился к этому сражению... *(Ходит.)*

Молчание и тишина.

Тот *(прислушиваясь)*. Отчего там так тихо? Странная тишина.

Манчини *(брезгливо)*. Не знаю! Там тишина, а здесь *(касается палкой лба)* целая буря и вихры! *(Наклоняется к клоуну.)* Тот, хочешь, я сообщу тебе изумительную вещь? Случай необыкновеннейшей игры природы? *(Смеется и, сделав важное лицо, говорит.)* Уже — три столетия — графы Манчини — совершенно бездетны! *(Смеется.)*

Тот. Однако! А как же вы родитесь?

Манчини. Тсс! Это тайна наших святых матерей! Хе-хе. Мы слишком древни, мы слишком изящны, наконец, чтобы заниматься таким вульгарным делом, где каждый мужик сильнее нас...

Входит барьерный служитель.

Послушай, что тебе здесь надо? Директор на сцене.

Служитель *(кланяясь)*. Я знаю. Барон Реньяр просил передать вам это письмо.

Манчини. Барон? Он там?

Служитель. Барон уехал. Ответа не нужно.

Манчини *(раскрывая дрожащими руками конвертик)*. Черт возьми! Черт возьми!

Служитель уходит.

Тот. Постойте. Отчего не играет музыка и так тихо?

Служитель. Номер мадам Зиниды со львами. *(Ушел.)*

Манчини вторично перечитывает коротенькую записку.

Т о т. Ну что, Манчини? Ты сияешь, как солнце Джексона.

М а н ч и н и. Что? Вы, кажется, спросили меня: «что»? А вот что! *(Балансируя палкой, делает балетные пируэты.)*

Т о т. Манчини!..

Кокетничая глазами и лицом, Манчини танцует.

Да говори же, скотина!

М а н ч и н и *(протягивая руку)*. Дай десять франков! Немедленно дай десять франков! Ах, Тот! Давай же! *(Быстро и машинально прячет деньги в жилетный карман.)* Тот! — если у меня не будет через месяц автомобиля, ты можешь дать мне одну из твоих пощечин!

Т о т. Что? Он женится? Решился?

М а н ч и н и. Что значит — решился? *(Смеется.)* Когда у человека петля на шее, ты спрашиваешь, как его здоровье! Барон... *(Останавливается, пораженный.)* Смотри-ка, Тот!..

Шатаясь, как сильно пьяный или больной, закрывая глаза рукою, входит Б р и к е.

Т о т *(подходя и беря его за плечи)*. Что с тобою? Папа Брике!

Б р и к е *(стонет)*. Ах-ах-ах... Я не могу!.. Ах!

Т о т. Что-нибудь случилось? Ты болен? Да говори же.

Б р и к е. Я не мог смотреть! *(Отнимает руку и широко раскрывает остановившиеся глаза.)* Что она делает? Ах, что она делает! Ее надо взять. Она сошла с ума! Я не мог смотреть! *(Вздрагивает.)* Ее разорвут, Тот! Ее разорвут львы.

М а н ч и н и. Да нет же, Брике! Она всегда такая — ну что ты, как ребенок, стыдись.

Б р и к е. Нет. Она сегодня сошла с ума. Что с публикой! Они все как умерли, они не дышат. Я не мог смотреть! Послушайте — что это?

Все слушают. Но там та же тишина.

М а н ч и н и *(взволнованно)*. Я посмотрю...

Б р и к е *(кричит)*. Нет! Не надо смотреть... Ах, проклятый труд! Не ходи! Ты можешь зажечь... Каждые глаза, которые смотрят на нее... на зверей... Нет, это невозможно! Это кощунство! Я ушел оттуда. Тот, ее разорвут!

Т о т *(стараясь говорить весело)*. Да успокойся же, папа Брике! Вот я не думал, что ты такой трус... Как тебе не стыдно! Выпей вина... Манчини, дай ему вина.

Б р и к е. Не хочу. Господи, хоть бы поскорее!..

Слушают.

Я видел в жизни много, но это!.. Она сошла с ума.

Слушают. Внезапно тишина рушится, точно огромная каменная стена: там гром аплодисментов, крики, музыка, рев не то звериных голосов, не то человеческих. Здесь радостное волнение. Брике, обессилев, садится на стул.

Манчини *(взволнованно)*. Вот видишь! Вот видишь, чурбан!

Брике *(смеется и всхлипывает)*. Я больше не позволю...

Тот. Вот она!

Входит Зинида, одна. У нее вид пьяной вакханки или безумной. Волосы распустились, с одного плеча совсем свалилось платье; идет, сияя глазами, но не видя. Или на живую статую безумной победы похожа она. Позади с бледным лицом какой-то артист, оба клоуна; потом бледная Консуэлла и Безано. Все со страхом смотрят на Зиниду, как бы боятся прикосновения или взгляда огромных глаз.

Брике *(кричит)*. Ты с ума сошла!.. Ах, дуреха!

Зинида. Я? Нет. Вы видели, вы видели? Ну что?! *(Стоит, улыбаясь, переживая безумную победу.)*

Тили *(жалобно)*. Да перестань же, Зинида! Ну тебя к черту!

Зинида. А ты видел? Ну что?!

Брике. Домой! Домой! Делайте здесь что хотите... Зинида, домой!

Поли. Тебе нельзя, папа. Еще твой номер.

Зинида *(встречаясь глазами с Безано)*. А, Безано! *(Смеется долго и счастливо.)* Безано... Альфред! ты видел: мои звери любят меня!

Не ответив, Безано выходит. Зинида точно гаснет: потухает улыбка, глаза, лицо бледнеет. Брике, страдая, наклонившись, смотрит на нее. Говорит тихо: «стул». Зинида садится, голова лежит бессильно на плече, руки повисли. Начинает дрожать и дрожит все сильнее, ляская зубами. Шепчет: «коньяку». Артист бежит за коньяком.

Брике *(беспомощно)*. Что с тобою, Зинида? Дорогая моя!

Манчини *(суетится)*. Ей надо успокоиться... Ну, идите, идите, бродяги. Я все устрою, папа Брике. Манто! Где манто? Ей холодно.

Клоун подает манто. Ее укутывают.

Тили *(робко)*. А музыку не надо?

Манчини *(подавая коньяк)*. Пей, герцогиня! Пей — пей все. Так.

Зинида пьет, как воду, видимо, не чувствуя вкуса, дрожит. Клоуны тихонько выходят. Консуэлла внезапным гибким движением бросается на колени перед Зинидой и целует ее руки, согревает их.

Консуэлла. Милая, милая... тебе холодно? Миленькие ручки... милая... хорошая... любимая...

Зинида *(слегка отталкивая ее)*. До... домой! Сейчас пройдет, ничего. Я очень, очень... Домой! Ты оставайся, Брике, тебе еще надо. Нет, я ничего.

Консуэлла. Тебе холодно? Возьми мой платок.

Зинида. Нет. Пусти.

Консуэлла встает с колен и отходит.

Брике. Это все твои книги, Зинида! Мифология! Ну, скажи: зачем тебе понадобилось, чтобы тебя любили эти звери? Звери! Понимаешь, Тот? Ты тоже оттуда, она тебя скорее послушает, ну, объясни ты ей! Ну, кого могут любить эти звери, эти волосатые чудовища с их дьявольскими глазами?

Тот *(приятно)*. Я думаю: только себе подобных. Ты прав, папа Брике, нужна одна порода!

Брике. Ну, конечно! А это ведь глупость, литература! Скажи ей, Тот.

Тот *(делая вид размышляющего)*. Да. Ты прав, Брике!

Брике. Вот видишь, дурочка? Все говорят.

Манчини. Фу, как ты надоел, Брике! Ты совершенный деспот, азиат.

Зинида *(улыбаясь бледно и протягивая Брике руку для поцелуя)*. Успокойся, Луи. Все прошло. Я поеду. *(Встает, шатаясь, все еще в ознобе.)*

Брике. Но как же ты одна? Милая...

Манчини. Чурбан! А ты видал, чтобы граф Манчини покинул женщину, когда она нуждается в помощи? Я ее отвезу, будь спокоен, грубая душа, я ее отвезу. Томас, беги за автомобилем! Да не толкись же ты, Брике, ты неуклюж, как носорог! Вот так, вот так!..

Поддерживая Зиниду, медленно ведут ее к выходу Манчини и Брике. Консуэлла, приложив руки к подбородку, в невольно искусственной позе, смотрит ей вслед.

(Оборачиваясь.) Я за тобой вернусь, дитя!

Здесь только Тот и Консуэлла. На арене уже музыка, вскрики, хохот.

Тот. Консуэлла!

Консуэлла. Это ты, милый Тот?

Тот. Откуда у тебя эта поза? Я видел ее только в мраморе... Ты похожа на Психею.

Консуэлла. Не знаю, Тот. *(Вздыхает и садится на диван, сохраняя в позе ту же искусственность и красоту.)* Как здесь сегодня грустно, Тот. Тебе жаль Зиниду?

Тот. Что она делала?

Консуэлла. Я не видела. Я как закрыла глаза, так и не открывала. Альфред говорит, что она злая, но это неправда. У нее были такие добрые глаза... а какие холодные ручки! Как у мертвой. Зачем она делает это? Альфред говорит, что нужно быть смелой, прекрасной и спокойной, а это противно... то, что она делает. Это неправда, Тот?

Тот. Она любит Альфреда.

Консуэлла. Альфреда? Моего Безано? *(Пожимает плечами, удивлена.)* Как же она его любит? Так, как все любят?

Тот. Да, так, как все любят. Или еще сильнее.

Консуэлла. Безано, Безано... Нет, это глупости!

Молчание.

Какой у тебя красивый костюм, Тот! Ты сам его придумал?

Тот. Мне помог Джим.

Консуэлла. Джим такой добрый. Клоуны все добрые.

Тот. Я злой.

Консуэлла *(смеется)*. Ты? Ты — самый добрый! Ах, Боже мой! еще целых два отделения. Сейчас второе, а мы с Альфредом в третьем. Ты будешь смотреть меня?

Тот. Я всегда смотрю тебя, красавица. Как ты прекрасна, Консуэлла!

Консуэлла. Как Ева! *(Улыбается.)*

Тот. Да, Консуэлла! А если барон сделает тебе предложение быть его женой, ты примешь его?

Консуэлла. Конечно, Тот! Мы с папой только этого и ждем. Папа вчера сказал, что он долго не выдержит. Я его не люблю, конечно, но буду ему верной и честной женой. Папа хочет учить меня играть на рояли.

Тот. Это твои слова о «верной и честной» жене?

Консуэлла. Мои, а то чьи же? Он так любит меня, бедный. Тот, что такое любовь? Все говорят: любовь, любовь... Вот и Зинида, какая она бедная. И какой сегодня скучный вечер! Тот, ты сам нарисовал смех на твоем лице?

Тот. Сам, Консуэллочка.

Консуэлла. Как вы это умеете? Я раз попробовала нарисовать у себя, но ничего не вышло. Отчего женщины не бывают клоунами? Но ты все молчишь, Тот, сегодня и ты скучный!

Тот. Нет, сегодня я счастлив. Дай руку, Консуэлла, я хочу погадать.

Консуэлла. Разве ты умеешь — какой ты талантливый! На. Но только не ври, как цыганка.

Тот стал на одно колено и взял руку; оба, наклонившись, рассматривают ее.

Я счастливая?

Т о т. Да, счастливая... Но постой... эта линия... вот странно. Ах, Консуэлла, что здесь сказано! *(Играет.)* Я дрожу, мои глаза едва смеют разбирать эти странные письмена, эти роковые знаки... Консуэлла!

К о н с у э л л а. Это говорят звезды?

Т о т. Это говорят звезды. Их голос далек и страшен, их лучи бледны, и тени скользят, как призраки умерших дев. Их чары на тебе, Консуэлла, прекрасная Консуэлла, ты стоишь у врат Вечности!

К о н с у э л л а. Я не понимаю. Я долго буду жить?

Т о т. Эта линия... как далеко она идет... Вот странно! Ты будешь жить вечно, Консуэлла!

К о н с у э л л а. Вот и соврал, Тот, как цыганка!

Т о т. Но здесь так начертано, глупая! А здесь... Нет, подумай только, что говорят звезды. Вот тут у тебя вечная жизнь, любовь и слава, а здесь... Послушай, что говорит Юпитер. Он говорит: богиня, ты не должна принадлежать земнорожденному! И если ты — — вздумаешь выйти за барона — — то ты погибнешь — — ты умрешь, Консуэлла!

К о н с у э л л а *(смеясь)*. Он меня съест?

Т о т. Нет. Ты умрешь раньше, нежели он тебя съест.

К о н с у э л л а. А что будет тогда делать папа, тут не сказано, Тот? *(Смеясь, напевает тихонько мотив вальса, вторит отдаленным и тихим звукам оркестра.)*

Т о т. Не смейся над голосом звезд, Консуэлла! Они далеки, лучи их бледны и легки, и тени скользят едва заметно, но чары их грозны и мрачны. Ты у врат Вечности, Консуэлла. Твоя судьба предначертана, ты осуждена. А твой Альфред, которого любит твое сердце и не знает ум,— твой Альфред не спасет тебя. Он сам на земле чужой. Он сам погружен в глубокий сон. Он сам заблудившийся божок, который никогда — никогда, Консуэлла! — не найдет дороги на небо. Забудь Безано!

К о н с у э л л а. Я ничего не понимаю! Разве боги существуют? Учитель рассказывал мне, но я думала, что это сказки. *(Смеется.)* И мой Безано — бог?

Т о т. Забудь Безано! Консуэлла, знаешь, кто может спасти тебя — единственный, кто может спасти тебя? Я!

К о н с у э л л а *(смеясь)*. Ты, Тот?

Т о т. Да, не смейся же! Погляди: видишь букву «Т»? Это же я, ну да, я, Тот.

К о н с у э л л а. Тот, который получает пощечины? И это тоже сказано?

Тот. И это сказано, звезды все знают. Но посмотри, что про него сказано дальше.— Консуэлла, приветствуй его! Тот — это переодетый, старый бог, который спустился на землю для любви к тебе. К тебе, глупая Консуэлла!

Консуэлла *(смеясь и напевая)*. Хорош бог!

Тот. Не смейся! Боги не любят пустого смеха, когда уста прекрасны. И боги тоскуют и умирают, когда их не узнают. О Консуэлла, о великая радость и любовь, узнай бога и прийми его! Подумай: вдруг однажды бог сошел с ума!..

Консуэлла. Разве боги тоже сходят с ума?

Тот. Да — когда они наполовину люди. Тогда они часто сходят с ума. Вдруг увидел величие свое — и вздрогнул от ужаса, от одиночества беспредельного, от тоски сверхчеловеческой. Ужасно, когда тоска коснется божьей души!

Консуэлла. Мне неприятно. На каком языке ты говоришь? Я тебя не понимаю.

Тот. На языке твоего пробуждения! Консуэлла, узнай и прими бога, брошенного с вершины, как камень! Прими бога, приникшего к персти, чтобы жить, чтобы играть, чтобы быть бесконечно и радостно пьяным! Эвое, богиня!

Консуэлла *(мучаясь)*. Я не понимаю, Тот! Оставь мою руку.

Тот встал.

Тот. Засни — и снова пробудись, Консуэлла! И, пробудившись, вспомни то время, когда с пеною морскою ты возникла из лазурного моря! Вспомни то небо — и тихий ветер с востока — и шепоты пены у твоих мраморных ног...

Консуэлла *(закрыв глаза)*. Мне кажется... погоди... я что-то припоминаю. Напомни дальше.

Тот, наклонившись над Консуэллой и подняв руки, говорит тихо, но повелительно, точно заклиная.

Тот. Ты видишь, как играют волны? Вспомни же, что пели тогда сирены,— вспомни их строй беспечальной радости, их белые тела, наполовину голубые в голубой воде... Или это солнце поет? Как струны божественной арфы, протянулись золотые лучи — ты не видишь ли руки бога, дарящего миру гармонию, свет и любовь? Не в голубом ли ладане курятся горы, славословя? Вспомни молитву гор, вспомни молитву моря, Консуэлла!

Молчание.

(Повелительно.) Да вспомни же, Консуэлла!

Консуэлла *(открывая глаза)*. Нет. Ах, Тот, мне было так хорошо... и вдруг я опять все забыла. А в сердце что-то еще есть... Помоги же мне, Тот! Напомни! Мне больно. Я слышу много голосов, и все они поют: Консуэлла! Консуэлла!.. А что дальше?

Молчание.

А что дальше?.. Мне больно. Напомни же, Тот!

Молчание. Там, на арене, музыка внезапно разражается бурным цирковым галопом. Молчание.

Тот... *(Открывает глаза и улыбается.)* Это Альфред скачет. Ты узнаешь его музыку?

Тот *(яростно)*. Оставь мальчишку! *(Внезапно бросается на колени перед Консуэллой.)* Я люблю тебя, Консуэлла! Откровение моего сердца, свет моих очей,— я люблю тебя, Консуэлла! *(С восторгом и слезами смотрит на нее — и получает пощечину. Отшатнувшись.)* Что это?!

Консуэлла. Пощечина! А ты забыл, кто ты? *(С злыми глазами, вставая.)* Ты Тот, который получает пощечины. Ты забыл? Хорош бог, у которого такая рожа... битая рожа! Тебя не пощечинами согнали с неба, бог?

Тот. Погоди, не вставай... Я... Я еще не доиграл!

Консуэлла *(садясь)*. Так ты играешь?

Тот. Погоди... я сейчас! Консуэлла!

Консуэлла. Ты обманул меня. Зачем ты так играл, что я поверила?

Тот. Я тот, который получает пощечины.

Консуэлла. Ты не сердишься, что я тебя ударила? Ведь я не нарочно. Но ты так был противен! А теперь ты опять смешной Тот... Какой ты талантливый! Или ты пьян?

Тот. Ударь меня еще.

Консуэлла. Нет.

Тот. Это нужно для моей игры. Ударь!

Консуэлла, смеясь, кончиками пальцев трогает его щеку: «вот, на!»

Разве ты не поняла, что ты — царица, а я придворный шут, который влюблен в царицу? Консуэлла! — или ты не знаешь, что у каждой царицы есть шут, и он влюблен всегда, и его все бьют за это? Тот, кто получает пощечины.

Консуэлла. Нет, я не знала.

Тот. У всякой! Он есть и у красоты, он есть и у мудрости — ах, сколько у нее шутов! Ее двор полон влюбленными шутами, и звук пощечин не затихает даже ночью. Но такой

вкусной пощечины, как от тебя, я еще не получал, моя маленькая царица!

Со стороны двери кто-то показался, шаги. Тот замечает — и продолжает игру, усиленно кривляясь.

У клоуна Тота не может быть соперников! Кто выстоит под таким градом оплеух, под таким проливным дождем, не промокнув? Я обожаю тебя, несравненная! *(Притворно громко плачет.)* Пожалей меня, я бедный шут!

Вошли двое: артист в костюме берейтора и какой-то господин из публики. Очень приличен, сух, в черном. Шляпа в руке.

Консуэлла *(смеясь, смущенно)*. Там пришли, Тот. Довольно!

Тот *(вставая)*. Кто? Кто смел ворваться в чертоги моей царицы?.. *(Внезапно умолкает.)*

Консуэлла, смеясь, вскакивает и убегает, бросив быстрый взгляд на господина.

Консуэлла. Ты меня развеселил, Тот. Прощай! *(От двери.)* Завтра ты получишь записочку.

Берейтор *(смеется)*. Веселый малый, сударь. Вам угодно было видеть его? Вот. Тот, это к тебе.

Тот *(глухо)*. Чем могу служить?

Берейтор, поклонившись и улыбаясь, выходит. Эти двое делают шаг друг к другу.

Господин. Это... вы?

Тот. Да, это я. А это... вы?

Молчание.

Господин. Мне можно верить моим глазам? И это вы...

Тот *(яростно)*. Здесь меня зовут Тот! У меня нет другого имени, вы слышите?! Тот, который получает пощечины. И если тебе угодно здесь оставаться, то изволь это заметить!

Господин. Ты? Но насколько я помню...

Тот. Здесь всем говорят ты, а ты... *(презрительно)* ты везде недостоин лучшего!

Господин *(скромно)*. Вы не простили меня... Тот?

Молчание.

Тот. Ты здесь с моей женой? Она в цирке?

Господин *(поспешно)*. О, нет. Я один. Она осталась там.

Тот. Ты ее не бросил?

Господин *(скромно)*. Нет. У нас... сын. Когда вы так внезапно и таинственно исчезли, оставив это странное и... оскорбительное письмо...

Т о т *(смеется)*. Оскорбительное? Ты еще можешь оскорбляться? Зачем ты здесь? Ты меня искал или случайно?

Г о с п о д и н. Я полгода ищу вас во всех странах. И вдруг сегодня действительно случайно... У меня нет знакомых, и я пошел в цирк... Нам надо объясниться... Тот! Я умоляю вас!

Молчание.

Т о т. Вот тень, которую я не могу потерять! Объясниться — ты полагаешь, что нам еще надо объясняться? Хорошо. Оставь свой адрес у портье, я сообщу, когда можно меня видеть. А сейчас — ступай вон. *(Надменно.)* Я занят!

Господин, поклонившись, выходит. Тот, не отвечая на поклон, стоит с протянутой рукой — в позе вельможи, провожающего надоедливого посетителя.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же обстановка.

Утром, перед началом репетиций. Т о т, задумавшись, крупными шагами ходит по комнате. Одет в широкий красочный клетчатый пиджак, на шее пестрый галстук; котелок на затылке. Бугроватое лицо гладко выбрито, как у актера. Брови нахмурены, губы энергично сжаты — вид суровый и мрачный. С приходом Господина выражение меняется, лицо становится клоунски подвижно, как живая маска.

В дверях показывается Г о с п о д и н. Одет в черное, весьма прилично, худое лицо отливает болезненной желтизной; в минуты волнения часто моргает тусклыми, бесцветными глазами. Тот не замечает его.

Г о с п о д и н. Доброе утро, сударь.

Т о т *(обернувшись и рассеянно вглядываясь)*. А — это вы!

Г о с п о д и н. Не поздно?.. Но у вас такой вид, как будто вы не ждали меня. Я не помешал? Однако вы сами назначили этот час, и вот я осмелился...

Т о т. Без реверансов! Что тебе нужно от меня? Говори скорее, у меня нет лишнего времени.

Г о с п о д и н *(брезгливо озираясь)*. Я полагал, что вы пригласите меня куда-нибудь в другое место... в ваш дом...

Т о т. У меня нет другого дома. Мой дом здесь.

Г о с п о д и н. Но нам могут здесь помешать...

Т о т. Тем будет хуже для тебя: говори короче.

Молчание.

Г о с п о д и н. Вы разрешите мне сесть?

Т о т. Садись. Осторожнее, этот стул сломан!

Господин с испугом отстраняет стул и беспомощно озирается: здесь все ему кажется опасным и странным. Выбирает прочный, на вид золоченый диванчик и садится, ставит цилиндр, медленно стягивает прилипшие перчатки. Тот равнодушно наблюдает.

Г о с п о д и н. В этом костюме и с этим лицом вы производите на меня еще более странное впечатление. Если вчера все это показалось только сном, то сегодня вы...

Т о т. Ты забыл, как меня зовут? Меня зовут Тот.

Г о с п о д и н. Вы решительно желаете говорить мне ты?

Т о т. Решительно. Но ты швыряешь время, как богач. Поторопись!

Г о с п о д и н. Я, право, не знаю... Здесь все так поражает меня... эти афиши, эти лошади и звери, мимо которых я проходил, отыскивая вас... наконец, вы! Клоун в каком-то цирке! *(Слегка прилично улыбается.)* Мог ли я ожидать? Правда, когда там все решили, что вы умерли, я один высказывался против; я чувствовал, что вы еще живы... но найти вас в такой обстановке — это выше моего понимания!

Т о т. Ты сказал, что у вас родился сын. Он не похож на меня?

Г о с п о д и н. Я не понимаю!..

Т о т. А разве ты не знаешь, что у вдов или разведенных жен их дети от нового мужа часто похожи на старого? С тобой не случилось этого несчастья? *(Смеется.)* И книга твоя также имеет успех, я слыхал?

Г о с п о д и н. Вы снова хотите оскорблять меня...

Т о т *(смеется)*. Какой обидчивый и какой беспокойный мошенник! Сиди, сиди спокойно — здесь принято так говорить. Зачем ты искал меня?

Г о с п о д и н. Моя совесть...

Т о т. У тебя нет совести. Или ты обеспокоился, что не вовсе обобрал меня, и пришел за остальным? Но что же ты можешь еще взять у меня? Мой дурацкий колпак с погремушками? Его ты не возьмешь: он слишком велик для твоей плешивой головы! Ползи назад, книжный червь.

Г о с п о д и н. Вы не можете простить, что ваша жена...

Т о т. К черту мою жену!

Господин поражен и поднимает брови. Тот смеется.

Г о с п о д и н. Я, право, не знаю... Но какой язык! Я решительно затрудняюсь выразить мои мысли... в этой атмосфере. Но если вы так... равнодушны к вашей жене, которая — позволю подчеркнуть это — любила вас и считала святым человеком...

Тот смеется.

то что же привело вас к такому... поступку? Или вы не можете простить мне моего успеха... правда, не вполне заслуженного, и своим унижением как бы мстите мне и остальным, не понявшим вас? Но вы всегда были так равнодушны к славе! Или ваше равнодушие было только притворством, и когда более счастливый соперник...

Тот *(хохочет)*. Соперник! Ты — соперник?

Господин *(бледнея)*. Но моя книга!..

Тот. Ты можешь говорить о твоей книге? Мне?

Господин бледнеет. Тот с любопытством и насмешкой смотрит на него.

Господин *(поднимая глаза)*. Я очень — несчастный — человек.

Тот. Почему?

Господин. Я очень несчастный человек. Вам надо простить меня. Я глубоко — я непоправимо и бесконечно несчастен.

Тот. Но почему, наконец? Объясни мне. *(Ходит.)* Ты сам сказал: твоя книга имеет ошеломительный успех, ты славен, ты знаменит; нет бульварной газеты, где не приводилось бы твое имя и... твои мысли. Кто знал меня? Кому нужна была моя тяжелая тарабарщина, в которой не доищешься смысла? Ты — ты, великий осквернитель! — сделал мои мысли доступными даже для лошадей. С искусством великого профанатора, костюмера идей, ты нарядил моего Аполлона парикмахером, моей Венере ты дал желтый билет, моему светлому герою приставил ослиные уши — и вот твоя карьера сделана, как говорит Джексон. И куда я ни пойду, вся улица кривляется на меня тысячами рож, в которых — о, насмешка! — я узнаю черты моих родных детей. О, как безобразен должен быть твой сын, похожий на меня! Так отчего же ты несчастен — несчастный?

Господин опускает голову, теребит перчатки.

Ведь тебя же еще не поймала полиция? Что я болтаю — разве тебя можно поймать? Ты всегда в пределах закона. Ты и теперь мучаешься тем, что не венчан с моей женой: при твоих кражах всегда присутствует нотариус. Зачем же мучаться, мой друг: женись! Я умер. Но тебе недостаточно моей жены? Владей и славою моею — она твоя! Владей идеями моими... вступай в права, законнейший наследник! Я умер! И, умирая *(делает тупо-благочестивое лицо)*, простил тебя. *(Хохочет.)*

Господин поднимает голову и, наклонившись, устремляет свой тусклый взгляд в глаза Тота.

Господин. А гордость?
Тот. Ты — горд?

Господин выпрямляется и молча кивает головой.

Однако!.. Но отодвинься, пожалуйста, мне неприятно. И подумать только, что я когда-то любил тебя немножко и даже находил талантливым! Тебя — мою плоскую тень!

Господин *(кивая головой)*. Я — ваша тень.

Тот ходит по комнате и через плечо, улыбаясь, смотрит на Господина.

Тот. Нет — ты очарователен. Но какая комедия! Какая трогательная комедия! Послушай, скажи прямо и откровенно, если можешь: ты сильно ненавидишь меня?

Господин. Да. Всею ненавистью, какая есть на земле. Сядьте здесь.

Тот. Ты приказываешь?

Господин. Сядьте здесь. Благодарю вас. *(Наклонившись.)* Я уважаем, и у меня слава — да? У меня жена и сын — да? *(Тихо смеется.)* Но моя жена любит вас: наш любимый разговор — это о вашей гениальности... она полагает, что вы гениальны; мы с нею любим вас даже на постели. Тсс! кривиться должен я. Мой сын — да, он будет похож на вас. И когда, для отдыха от чужого, я иду к моему столу, к моей чернильнице, к моим книгам,— я и там натыкаюсь на вас. Всегда вы, всюду вы — и никогда я один, никогда я сам и один. И когда ночью — поймите же, сударь! — я ухожу к моим одиноким мыслям, ночным бессонным размышлениям,— я и там, в моей голове, в моем несчастном мозгу нахожу ваш образ... ваш проклятый, ваш ненавистный образ!

Молчание. Господин откидывается и моргает.

Тот *(бормочет)*. Какая комедия, как все чудесно перевернуто в этом мире: ограбленный — оказывается грабителем, грабитель — жалуется на кражу и проклинает!.. *(Смеется.)* Послушай: ты не тень моя, я ошибся. Ты — толпа. Живя мною, ты меня ненавидишь. Дыша мною, ты задыхаешься от злости. И, задыхаясь от злости, ненавидя, презирая меня,— ты плетешься в хвосте моих идей... но задом наперед! задом наперед, товарищ! О, какая чудесная комедия! *(Ходит улыбаясь.)*

Молчание.

Послушай: а тебе не станет легче, если я... действительно умру?

Господин. Да. Я думаю. Смерть делает расстояние и приглушает память. Смерть... примиряет. Но вы не похожи на человека, который...

Тот. Да, да... Смерть! Конечно!

Господин. Сядьте здесь.

Тот. Слушаю. Ну?

Господин. Конечно, я не смею просить вас... *(кривит рот)* просить вас умереть, но скажите: вы никогда больше не вернетесь туда? Нет, не смейтесь... Хотите, я поцелую вам руку? Нет, не надо кривиться. Ведь я поцеловал бы вам руку, если бы она стала... мертвая?

Тот *(тихо)*. Прочь — гадина!

Играя (как в первой картине), входят мелкими шажками Тили и Поли, долго не видят собеседников.

Жак!

Тили. А, здравствуй, Тот. Мы разучиваем. Знаешь, очень трудно, у Жака столько же музыки в голове, сколько у моей свиньи.

Тот *(небрежно)*. Это мой друг... К бенефису?

Клоуны, здороваясь, делают идиотское лицо.

Поли. Да. А ты что готовишь? Ты хитрый, Тот. Консуэлла сказала, что ты готовишь к ее бенефису. Она скоро уходит, ты знаешь?

Тот. Разве?

Тили. Зинида сказала. А то они дали бы бенефис. Но она славная девушка.

Поли *(беря дудочку)*. Ну? И не иди так, как будто ты слон. Ты — муравей. Ну?

Играя, уходят.

Господин *(улыбаясь)*. Это ваши новые товарищи? Какие они странные!..

Тот. Здесь все странно.

Господин. Этот ваш костюм... к вам так шло черное. От него рябит в глазах.

Тот *(оглядывая себя)*. Нет, красиво.— Началась репетиция, тебе надо уходить. Ты мешаешь.

Господин. Но вы не ответили на мой вопрос!

На арене тихие звуки танго, маленький оркестр.

Тот *(слушая музыку, рассеянно)*. На какой?

Господин *(не слыша музыки)*. Я умоляю вас сказать мне: вы вернетесь когда-нибудь туда или нет?

Тот *(слушая музыку)*. Никогда... никогда, никогда.

Г о с п о д и н *(вставая)*. Благодарю вас. Я ухожу.

Т о т. Никогда, никогда, никогда... Да, уходи — и не возвращайся. Там ты был еще выносим и на что-то нужен, а здесь ты лишний.

Г о с п о д и н. Но если с вами что-нибудь случится?.. вы человек здоровый, но здесь такая обстановка, такие люди... как я узнаю тогда? Ваше имя здесь неизвестно?

Т о т. Мое имя здесь неизвестно, но ты узнаешь. Ну, что еще?

Г о с п о д и н. Я могу быть спокоен? Вы даете мне честное слово? Конечно — сравнительно спокоен.

Т о т. Да, ты можешь быть сравнительно спокоен. Никогда!

Идут к двери. Господин останавливается.

Г о с п о д и н. А я могу бывать в цирке... вы позволите?

Т о т. Конечно: ведь ты же публика! *(Смеется.)* Но контрамарки я тебе не дам. А зачем тебе надо здесь бывать? Ты так любишь цирк? С каких пор?

Г о с п о д и н. Мне хочется еще посмотреть вас и, может быть, понять... Такая метаморфоза! Зная вас, я не могу допустить, чтобы и здесь вы не преследовали какой-нибудь идеи. Но какой? *(Близоруко всматривается в Тота.)*

Тот строит рожу и шутовски делает нос.

Что это?

Т о т. Моя идея! Честь имею кланяться, князь! Мой привет вашей высокоуважаемой супруге и преле-е-стному сыну вашего сиятельства!

Входит М а н ч и н и.

М а н ч и н и. Ты положительно живешь в цирке, Тот. Когда я ни приду, ты уже здесь... это фанатик своего дела, сударь...

Т о т *(знакомя)*. Князь Понятовский! Граф Манчини!

М а н ч и н и *(охорашиваясь)*. Очень, очень приятно. А вы также, князь, знаете моего чудака? Не правда ли, какая славная рожа! *(Покровительственно касается палкой плеча Тота.)*

Г о с п о д и н *(неловко)*. Да, я имел удовольствие, как же... Честь имею, граф...

М а н ч и н и. Честь имею, князь.

Т о т *(провожая)*. Осторожнее, ваше сиятельство, в темных переходах: здесь встречаются такие ступеньки. К сожалению, я лишен возможности сам вывести вас на улицу...

Г о с п о д и н *(останавливаясь, тихо)*. Вы не протянете мне руку на прощанье? Мы расстаемся навсегда.

Т о т. Лишнее, князь. Я еще имею надежду встретиться с вами в царстве небесном. Вы ведь там также будете?

Г о с п о д и н *(брезгливо)*. Когда вы успели? В вас так много клоунского.

Т о т. Я Тот, который получает пощечины. До свиданья, князь!

Делают еще шаг.

Г о с п о д и н *(засматривая в глаза Тоту, совсем тихо)*. А вы — не сошли с ума?

Т о т *(также тихо, делая большие глаза)*. Боюсь... боюсь, что вы правы, князь. *(Еще тише.)* Осел! еще никогда ты не выражался так точно: я сошел с ума! *(Играя, показывает как бы ступеньки — от головы к полу. Смеется.)* Сошел! Князь — до свиданья!

Господин выходит. Тот, возвращаясь, делает па и становится в позу.

Манчини, давай танцевать танго Манчини — тебя обожаю.

М а н ч и н и *(сидит, развалившись и играя тростью)*. Ну, ну — не забывайся, Тот. Но ты что-то скрываешь, чурбан; я всегда говорил, что ты из общества. С тобою так легко! А кто этот твой князь — настоящий?

Т о т. В высокой степени настоящий. Как и ты!

М а н ч и н и. Симпатичное лицо, хотя я сразу почему-то принял его за могильщика, пришедшего получать заказ. Ах, Тот! когда я, наконец, расстанусь с этими грязными стенами, с папа Брике, глупыми афишами, грубыми жокеями!

Т о т. Теперь скоро, Манчини.

М а н ч и н и. Да, теперь скоро. Ах, Тот, я просто изнемог в этой среде, я начинаю чувствовать себя лошадью. Ты из общества, но ты еще не знаешь, что такое высший свет! Одеться, наконец, прилично, бывать на приемах, блистать остроумием, изредка перекинуться в баккара *(смеется)*, не прибегая к фокусам и жонглерству...

Т о т. А вечерком пробраться в предместье, где тебя считают честным папашей, любящим детишек, и...

М а н ч и н и. И кое-что подцепить, да! *(Смеется.)* Я буду носить шелковую маску, а за мною будут идти два лакея, чтобы эта подлая чернь не оскорбила меня... Ах, Тот, во мне бурлит кровь моих предков! Посмотри на этот стилет: как ты думаешь, он был когда-нибудь в крови?

Т о т. Ты меня пугаешь, граф!

М а н ч и н и *(смеясь и вкладывая стилет)*. Чурбан!

Т о т. А как с девочкой?

М а н ч и н и. Тсс! Мещане вполне удовлетворены и благо-

словляют мое имя. *(Смеется.)* Вообще блеск моего имени разгорается с небыва-а-лой силой! Кстати: ты не знаешь, какая автомобильная фирма считается наилучшей? Деньги не важны. *(Смеется.)* А, папа Брике!

Входит Брике; одет, в пальто и цилиндре. Здороваются.

Брике. Ну, вот ты и добился бенефиса для твоей Консуэллы, Манчини! Скажу, впрочем, что если бы не Зинида...

Манчини. Но, послушай, Брике, ты положительно осел: чего ты жалуешься? На бенефис Консуэллы барон берет весь партер, тебе этого мало, скупец?

Брике. Я люблю твою дочку, Манчини, и мне жаль ее отпускать. Чего ей не хватает здесь? Честный труд, прекрасные товарищи — а воздух?

Манчини. Не ей, а мне не хватает — понял? *(Смеется.)* Я просил тебя, Гарпагон: прибавь, а теперь — не разменяешь ли ты мне тысячу франков, директор?

Брике *(со вздохом)*. Давай.

Манчини *(небрежно)*. Завтра. Я их оставил дома.

Все трое смеются.

Смейтесь, смейтесь! А сегодня мы едем с бароном на его загородную виллу; говорят, недурненькая вилла...

Тот. Зачем?

Манчини. Ну, ты знаешь капризы этих миллиардеров, Тот. Хочет показать Консуэлле какие-то зимние розы, а мне свой погреб. Он заедет за нами сюда... Что с тобою, Консуэллочка?

Входит Консуэлла, почти плачет.

Консуэлла. Я не могу, папа, скажи ему! Какое право он имеет кричать на меня? Он чуть не ударил меня хлыстом.

Манчини *(выпрямляясь)*. Брике! Прошу вас как директора... что это за конюшня? Мою дочь — хлыстом? Да я этого мальчишку! Какой-то жокей — нет, это черт знает что! Черт знает что, клянусь!

Консуэлла. Папа...

Брике. Да, я скажу...

Консуэлла. Ах, нет же! Альфред вовсе не ударил меня, я так глупо сказала. Что вы придумали? Ему самому так жаль...

Брике. Все-таки я скажу, что...

Консуэлла. Не смей! Не надо говорить. Он ничего не делал!

Манчини *(еще горячась)*. Он должен извиниться, мальчишка.

Консуэлла. Ах, да он извинился же — как вы глупы все! Просто мне сегодня не удается, я и расстроилась, такие пустяки. Он так извинялся, глупый, а я не хотела его прощать. Тот, милый, здравствуй, я не заметила тебя... Как к тебе идет этот галстук. Ты куда, Брике? К Альфреду?

Брике. Нет, я так. Я иду домой. Зинида просила кланяться тебе, девочка. Она еще и сегодня не будет. *(Выходит.)*

Консуэлла. Какая милая эта Зинида, такая хорошая... Папа, отчего здесь все теперь кажутся мне такими милыми? Должно быть, оттого, что я скоро уйду отсюда. Тот, ты не слыхал, какой марш будут играть Тили и Поли? *(Смеется.)* Такой веселый.

Тот. Да, слыхал. Твой бенефис будет замечателен.

Консуэлла. Я сама думаю. Папа, я хочу есть. Закажи мне бутерброд.

Тот. Я сбегаю, царица!

Консуэлла. Сбегай, Тот. *(Кричит.)* Только с сыром не надо.

Манчини и Консуэлла одни. Манчини, развалившись в кресле, критически рассматривает дочь.

Манчини. В тебе сегодня есть что-то особенное, дитя... не знаю, лучше или хуже. Ты плакала?

Консуэлла. Да, немножко. Ах, как я хочу есть!

Манчини. Ты же завтракала...

Консуэлла. То-то, что нет. Ты сегодня опять забыл оставить денег, а без денег...

Манчини. Ах, черт возьми! Вот память! *(Смеется.)* Но сегодня мы хорошо покушаем, ты не наседай на бутерброды. Нет, ты положительно мне нравишься. Тебе надо чаще плакать, дитя, это смывает с тебя лишнюю наивность, ты больше женщина.

Консуэлла. Разве я так наивна, папа?

Манчини. Очень! Слишком! В других я это люблю, но в тебе... да и барон...

Консуэлла. Глупости. Я не наивна. Но знаешь, Безано так бранил меня, что и ты бы заплакал. Черт знает что!

Манчини. Тсс! Никогда не говори: черт знает что. Это неприлично.

Консуэлла. Я только с тобой говорю.

Манчини. И со мной не надо — я и так знаю. *(Смеется.)*

Звуки необычайно бурного и стремительного циркового галопа, звонкие вскрики, хлопанье бича.

Консуэлла. Ах, послушай, папа! Это новый номер Альфреда, он делает такой прыжок... Джим говорит, что он непременно свернет себе шею. Бедненький!

Манчини *(равнодушно)*. Или ноги, или спину, они все что-нибудь себе ломают. *(Смеется.)* Ломкие игрушки!

Консуэлла *(слушая музыку)*. Мне будет скучно без них. Папа, барон обещал, что сделает для меня круг, по которому я могу скакать, сколько хочу... он не врет?

Манчини. Круг? *(Смеется.)* Нет, это он не врет! Кстати, дитя мое, про баронов говорят: лжет, а не врет.

Консуэлла. Все равно. Хорошо быть богатым, папа, все можно сделать.

Манчини *(восторженно)*. Все! Все, дитя мое! Ах, сегодня решается наша судьба, молись милостивому Богу, Консуэлла: барон висит на ниточке.

Консуэлла *(равнодушно)*. Да?

Манчини *(показывая пальцами)*. На тончайшей шелковой ниточке. Я почти убежден, что он сегодня сделает предложение. *(Смеется.)* Зимние розы и паутина среди роз, чтобы моя маленькая мушка... Он такой паук!

Консуэлла *(равнодушно)*. Да, ужасный паук. Папа, а руку еще нельзя давать целовать?

Манчини. Ни в каком случае. Ты еще не знаешь этих мужчин, дитя мое...

Консуэлла. Альфред никогда не целует.

Манчини. Альфред! Твой Альфред мальчишка, и не смеет. Но эти мужчины, с ними необходима крайняя сдержанность, дитя мое. Сегодня он поцелует тебе пальчики, завтра — около кисти, а послезавтра — ты у него уже на коленях!

Консуэлла. Фи, папа, что ты говоришь! Как тебе не стыдно!

Манчини. Но я знаю...

Консуэлла. Не смей! Я не хочу слушать эти гадости. Я такую дам барону оплеуху, хуже, чем Тоту. Пусть только сунется.

Манчини *(огорченно разводя руками)*. Все мужчины таковы, дитя.

Консуэлла. Неправда. Альфред не такой! Ах, ну что же Тот? Сказал: побегу, а все нет.

Манчини. Буфет закрыт, и ему нужно достать. Консуэлла, я еще хочу предупредить тебя, как отец, относительно Тота: не доверяй ему. Он что-то, знаешь, такое... *(вертит пальцами около головы)* он нечисто играет!

Консуэлла. Ты обо всех так говоришь. Я Тота знаю: он такой милый и любит меня.

Манчини. Поверь мне: там что-то есть.

Консуэлла. Папа, ты надоел с твоими советами! Ах, Тот, мерси.

Тот, несколько запыхавшийся, подает бутерброды.

Тот. Кушай, Консуэлла.

Консуэлла. Он еще теплый,— ты так бежал, Тот? Я тебе так благодарна! *(Кушает.)* Тот, ты любишь меня?

Тот. Люблю, царица. Я твой придворный шут.

Консуэлла *(кушает)*. А когда я уйду, ты возьмешь себе другую царицу?

Тот *(делая реверанс)*. Я последую за тобою, несравненная. Я буду нести твой белый шлейф и утирать им слезы. *(Притворно плачет.)*

Манчини. Чурбан! *(Смеется.)* Но как жаль, Тот, что прошли эти чудесные времена, когда при дворе Манчини кривлялись десятки пестрых шутов, которым они давали золото и пинки. Теперь Манчини должен идти в грязный цирк, чтобы видеть порядочного шута, да и то — чей он? Мой? Нет, всякого, кто заплатил франк... Скоро от демократии нельзя будет дышать, Тот. Ей также нужны шуты.— Ты подумай, Тот, какая беспримерная наглость!

Тот. Мы служим тому, кто платит,— что поделаешь, граф!

Манчини. Но разве это не печально? А ты представь только: мы сидим в моем замке; я у камина потягиваю вино, а ты у моих ног болтаешь глупости, звенишь бубенчиками и развлекаешь меня. Кое в чем пощипываешь и меня, это допускалось традициями и нужно для циркуляции крови. Потом ты мне надоел, мне захотелось другого — и вот я даю тебе пинка... Тот, как бы это было прекрасно!

Тот. Это было бы божественно, Манчини!

Манчини. Ну да! И ты получал бы золото, очаровательные желтенькие штучки. Нет, когда я разбогатею, я возьму тебя — это решено.

Консуэлла. Возьми его, папа.

Тот. И когда граф, утомленный моей болтовней, даст мне пинка сиятельной ногою, я лягу у ножек моей царицы и буду...

Консуэлла *(смеясь)*. Ждать того же? Ну, я кончила. Дай мне платок, папа, вытереть руки, у тебя в том кармане есть второй. Ах, господи, еще нужно работать!

Манчини *(тревожно)*. Но не забудь, дитя!

К о н с у э л л а. Нет, сегодня я не забуду. Поезжай.

М а н ч и н и *(смотрит на часы)*. Да, пора уже. Он просил меня заехать за ним, когда ты будешь готова. Пока я вернусь... тебе еще надо переодеться. *(Смеется.)* Signori! Mie complimenti! [1] *(Играя палкой, удаляется.)*

Консуэлла садится в угол дивана, укутавшись платком.

К о н с у э л л а. Ну, Тот, ложись у моих ног и расскажи что-нибудь веселенькое... Знаешь, когда у тебя нарисован смех, ты красивее, но ты и так очень, очень мил! Ну — Тот? Отчего же ты не ложишься?

Т о т. Консуэлла! Ты выходишь за барона?

К о н с у э л л а *(равнодушно)*. Кажется. Барон висит на ниточке. Тот, там, в бумаге, остался один бутербродик, скушай.

Т о т. Благодарю, царица. *(Ест.)* А ты помнишь мое предсказание?

К о н с у э л л а. Какое?.. Как ты быстро глотаешь — что, вкусно было?

Т о т. Вкусно. Что если ты выйдешь за барона, то...

К о н с у э л л а. Ах, это! Но ведь ты шутил тогда?

Т о т. Как знать, царица. Иногда человек шутит, и вдруг выходит правда: звезды напрасно говорить не станут. Если даже человеку трудно бывает раскрыть рот и сказать слово, то каково же звезде — ты подумай!

К о н с у э л л а *(смеется)*. Еще бы — такой рот!

Т о т. Нет, моя маленькая, на твоем месте я бы очень задумался. Вдруг ты умрешь? Не выходи за барона, Консуэлла!

К о н с у э л л а *(думая)*. А что такое — смерть?

Т о т. Не знаю, царица, никто не знает. Как и любовь! Но ручки твои похолодеют, и глазки закроются. Ты уйдешь отсюда — и музыка будет играть без тебя, и без тебя будет скакать сумасшедший Безано, и без тебя Тили и Поли будут играть на своих дудочках: тили-тили, поли-поли...

К о н с у э л л а. Не надо! Мне и так грустно, Тотик. Тили-тили, поли-поли...

Молчание. Тот взглядывает на Консуэллу.

Т о т. Ты плакала, Консуэллочка?

К о н с у э л л а. Да, немножко, меня расстроил Альфред. Но подумай: разве я виновата, что сегодня у меня не выходит? Я же старалась, но если у меня не выходит!

Т о т. Отчего?

---

[1] Синьоры, мое уважение! *(ит.)*

Консуэлла. Ах, я не знаю. Тут что-то есть такое... *(прижимает руку к сердцу)* я не знаю. Должно быть, я больна, Тот. Что такое болезнь? Это очень больно?

Тот. Это не болезнь. Это чары далеких звезд, Консуэлла! Это голос твоей судьбы, моя маленькая царица!

Консуэлла. Не говори, пожалуйста, глупостей. Какое дело звездам до меня? Я такая маленькая. Глупости, Тот! Лучше расскажи мне другую сказку, которую ты знаешь: про синее море и про тех богов, знаешь? — которые так прекрасны. Они все уже умерли?

Тот. Они живы, но они скрываются, богиня.

Консуэлла. В лесу и на горах? Их можно встретить? Ах, Тот, подумай: вдруг бы я встретила бога и он взглянул на меня! Я бы убежала! *(Смеется.)* А сегодня утром, когда не было завтрака, мне вдруг стало так скучно, так противно, что я подумала: хоть бы пришел бог и накормил меня! И только что я подумала, вдруг я услыхала... честное слово, правда! услыхала: Консуэлла, кто-то зовет. *(Сердито.)* Пожалуйста, не смейся!

Тот. Разве я смеюсь?

Консуэлла. Честное слово, правда. Ах, Тот, но ведь он не пришел. Он только позвал и сам скрылся, ищи его! А мне так больно стало и вот до сих пор болит... Зачем ты напомнил мне детство? — я его забыла совсем. Там было море... и еще что-то... много, много... *(Закрывает глаза, улыбается.)*

Тот. Вспомни, Консуэлла!

Консуэлла. Нет. *(Открывая глаза.)* Все забыла! *(Обводит глазами комнату.)* Тот, ты видишь, какая афиша будет на мой бенефис? Папа сам придумал, и барону нравится, он смеялся.

Молчание.

Тот *(тихо)*. Консуэлла, царица моя! Не езди сегодня к барону.

Консуэлла. Это почему? *(Помолчав.)* Какой, однако, ты дерзкий, Тот.

Тот *(опуская голову, тихо)*. Я не хочу.

Консуэлла *(встает)*. Что такое? Ты не хочешь?

Тот *(еще ниже опуская голову)*. Я не хочу, чтобы ты выходила за барона. *(Умоляя.)* Я... не позволю... Я... очень прошу!

Консуэлла. А за кого же прикажешь? Не за тебя ли, шут? *(Злобно смеется.)* Ты спятил, голубчик? Я не позволю... Это он! Он не позволит мне! Нет, это просто невыносимо! Какое тебе дело до меня? *(Расхаживает по комнате,*

через плечо сердито глядя на Тота.) Какой-то шут, клоун, которого завтра выгонят отсюда! Ты мне надоел с твоими дурацкими сказками... или ты так любишь пощечины? Дурак, который не мог придумать лучшего: пощечины!

Тот *(не поднимая глаз)*. Прости, царица.

Консуэлла. Рад, что над ним смеются... тоже, бог! Нет, не прощу. Я тебя знаю: у тебя тут *(показывая на голову)* что-то вертится! Смеется... такой милый... играет, играет, а потом вдруг и бац, скажет: слушайте его! Обжегся, голубчик, не на ту напал? Вот неси мой шлейф, это твое дело... шут!

Тот. Я понесу твой шлейф, царица. Прости меня, верни мне образ моей милостивой и прекрасной богини.

Консуэлла *(успокаиваясь)*. Опять играешь?

Тот. Играю.

Консуэлла. Вот видишь! *(Смеясь, садится.)* Глупый Тот.

Тот. Все вижу, царица. Вижу, как ты прекрасна, и вижу, как низко стелется под твоими ножками твой бедный шут... где-то в пропасти звучат его глупые бубенчики. Он на коленях просит: прости и пожалей его, божественная. Он был дерзок и заносчив, он так весело играл, что заигрался,— и потерял свой крохотный разум, последние сбережения рассудка — прости!

Консуэлла. Ну, прощаю. *(Смеется.)* А за барона теперь позволишь?

Тот *(также смеясь)*. А за барона — все-таки не позволю. Но что значит для царицы позволение ее влюбленного шута?

Консуэлла. Ну, встань, ты прощен. А, знаешь, за что? Ты думаешь, за твои слова?.. Ты хитрая бестия, Тот! Нет — за бутерброды, вот за что! Ты был так мил и так запыхался, когда принес их... бедный Тотик. С завтрашнего дня можешь снова лежать у моих ног. Как только я свистну: иси...

Тот. Так я тотчас же ложусь к твоим ногам, Консуэлла, это решено. Но сегодня все мои бубенчики облетели и...

Вошел Безано. Он смущен.

Консуэлла. Альфред? Ты за мной?

Безано. Да. Ты еще будешь работать, Консуэлла?

Консуэлла. Конечно, буду. Сколько хочешь! А я думала, что ты сердишься на меня, Альфред. Я больше не буду зевать.

Безано. Нет, ты не зевала. Ты не обижайся, что я так кричал... право, я... Но, знаешь, когда надо учить, и человек...

Консуэлла. Господи, да разве я не понимаю. Ты еще слишком добр, невыносимо добр, что соглашаешься учить такую дуру, разве я не понимаю? Идем.

Безано. Идем. Мы еще не видались, Тот. Здравствуй.

Тот. Здравствуй, Безано. Нет, нет, одну минуту, одну минуту постойте так! Да.

Консуэлла и Безано стоят рядом; жокей хмурится, Консуэлла смеется и краснеет.

Безано *(недовольно)*. Что ты выдумал, Тот?

Консуэлла *(краснея)*. Как Адам и Ева? Какой ты глупый, ужасно! *(Убегает.)* Я только переменю туфли, Альфред...

Тот. Консуэлла, а как же папа и барон? Они сейчас придут за тобой.

Консуэлла. Ну и пусть. Могут подождать, не такие важные! *(Убегает.)*

Безано нерешительно идет за нею.

Тот. Останься на одну минуту, Безано. Сядь.

Безано. Что еще надо? Мне некогда заниматься пустяками.

Тот. Или стой — как хочешь! Безано, ты любишь ее?

Молчание.

Безано. Я никому не дам вмешиваться в мои дела. Ты слишком много позволяешь себе, Тот. Я тебя не знаю, ты пришел с улицы — и почему я должен верить тебе?

Тот. А барона ты знаешь? Послушай, мне трудно произнести эти слова... но она любит тебя. Спаси ее от паука! Или ты ослеп и не видишь тенет, которыми затканы здесь все темные углы? Вырвись из твоего заколдованного круга, по которому ты носишься, как слепой,— умчи ее, укради, сделай что хочешь... наконец, убей ее и возьми на небо или к черту! — но не отдавай этому человеку. Он — осквернитель любви. И если ты робок, если тебе страшно поднять руку на нее — убей барона. Убей!

Безано *(усмехаясь)*. А кто убьет следующих?

Тот. Она любит тебя!

Безано. Она сама сказала это?

Тот. Какая маленькая, какая глупая, какая человеческая гордость! А ведь ты божок... бог, юноша! Отчего ты не хочешь поверить мне? Или тебя смущает улица, откуда я пришел? — но взгляни же сам, посмотри мне в глаза: разве такие лгут. Да, лицо мое безобразно, я корчу гримасы и

рожи, меня окружает смех... но не видишь ли ты за этим бога, как и ты? Ну, смотри, смотри же на меня!

Безано хохочет.

Что ты... мальчишка?!

Безано. Ты... сейчас совсем, как тогда, на арене... помнишь? Когда ты великий человек и за тобою прислали из академии, бац! Тот, кто получает пощечины.

Тот *(также хохочет)*. Да, да — а ведь похоже, Безано! Очень! *(С мучительным напряжением играет, становясь в позу.)* Кажется, это прислали за мной из академии?

Безано *(хмурясь)*. Но мне не нравится эта игра. Подставляй свое лицо, если хочешь, а меня ты не смеешь. *(Идет к выходу.)*

Тот. Безано!..

Безано *(оборачиваясь)*. И чтобы я никогда не слыхал про Консуэллу и что... я бог, не сметь! Знаешь — это противно! *(Выходит, гневно бьет себя хлыстом по ботфортам.)*

Тот один. Гневно, с перекосившимся лицом, делает шаг вслед жокею, останавливается — и беззвучно смеется, закинув голову. Таким застают его Манчини и барон.

Манчини *(смеясь)*. Какой ты весельчак, Тот! Смеешься даже один.

Тот громко хохочет.

Да перестань же, шут! Как тебя разбирает.

Тот *(низко и размашисто кланяясь)*. Здравствуйте, барон. Мое нижайшее почтение, граф. Прошу простить меня, граф, но вы застали клоуна за работой... так сказать, среди его повседневных удовольствий, барон.

Манчини *(поднимая брови)*. Тсс! Но ты — умный человек, Тот. Я буду просить папу Брике, чтобы тебе дали бенефис... хочешь, Тот?

Тот. Окажите милость, граф.

Манчини. Но, но, не слишком, будь проще, Тот. *(Смеется.)* Но сколько ты получишь пощечин в твой бенефис, если даже в будни в тебя звонят, как в гонг? Странная профессия, не правда ли, барон?

Барон. Очень странная. Но где же графиня?

Манчини. Да, да... я сейчас схожу за нею. Дитя, она так увлекается своим бенефисом и работой... они называют свои прыжки работой, барон!

Барон. Я могу подождать. *(Садится, цилиндр на голове.)*

Манчини. Нет, зачем же? Я потороплю ее. Я скоро.

А ты, Тот, будь хозяином и займи нашего дорогого гостя... Вы с ним не соскучитесь, барон. *(Выходит.)*

Тот размашисто шагает по комнате, улыбаясь и поглядывая на барона. Барон сидит,— широко расставив ноги, подбородком опершись на палку. На голове цилиндр. Спокоен.

Тот. Как прикажете вас занимать, барон?

Барон. Никак. Я не люблю клоунов.

Тот. Как и я баронов.

Молчание. Тот надевает на голову котелок, размашисто берет стул и со стуком ставит против барона. Садится верхом, повторяя позу барона, и смотрит ему в глаза. Молчание.

Вы долго можете молчать?

Барон. Долго.

Молчание. Тот постукивает ногой по полу.

Тот. А вы долго можете ждать?

Барон. Долго.

Тот. Пока не получите?

Барон. Пока не получу. А вы?

Тот. Я также.

Молча, сдвинувшись головами, смотрят друг на друга. На арене звуки танго.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

БЕНЕФИС КОНСУЭЛЛЫ

На арене музыка. В цирковой комнате бóльший беспорядок, нежели обычно. Много навешено и валяется по углам платья артистов. На столе, брошенный небрежною рукою, лежит большой букет огненно-красных роз. У арочного входа курят и болтают три берейтора — второстепенных артиста, несущих берейторскую службу. Одинаковые проборы на приглаженных волосах, два с усиками, третий брит, лицом похож на бульдога.

Бритый. Полно, Анри. Десять тысяч франков — это слишком много даже для барона!

Второй. А почем теперь розы?

Бритый. Я не знаю. Зимой они дороже, конечно, но все же Анри болтает глупости. Десять тысяч!

Второй. У барона свои оранжереи, ему ничего не стоит.

Анри *(бросая сигару, которая обожгла ему кончики пальцев)*. Нет, ты несносен, Граб! Послушай: ведь это же целая фура, от нее на милю пахнет розами. Чтобы усыпать всю арену...

Бритый. Только круг.

Анри. Это все равно. Чтобы усыпать круг, их нужно тысячи — тысячи роз и бутонов! Ты увидишь, что это будет, когда они лягут ковром... он велел ковром, Граб, понимаешь?

Второй. Но какая баронская прихоть! Нам не пора?

Анри. Нет еще, успеем. А мне это нравится: огненно-красный танго на огненно-красном ковре из зимних роз!

Бритый. Консуэлла будет скакать по розам, а Безано?

Второй. А Безано — по шипам.

Улыбки.

Бритый. У мальчишки нет самолюбия: я бы отказался!

Анри. Но это его служба, он обязан, Граб. *(Смеется.)* А о самолюбии поговори с ним самим: он зол и горд, как сатаненок.

Второй. Нет,— чудесный бенефис, не говорите. Приятно смотреть на эту толпу, она так возбуждена...

Анри. Тсс!

Все трое, как пойманные школьники, бросают сигары и папиросы и дают дорогу Зиниде, идущей с Тотом.

Зинида *(строго)*. Почему вы здесь, господа? Ваше место у барьера.

Анри *(улыбаясь, почтительно)*. Мы только на минуту, мадам Зинида, мы идем. Какой удачный вечер, не правда ли? — и какая слава для папы Брике!

Зинида. Да. Идите и, пожалуйста, не оставляйте ваших мест.

Берейторы уходят. Зинида открывает стол и прячет какие-то бумаги. Она в костюме укротительницы.

Ты что делал около зверей, Тот? Ты меня испугал.

Тот. Так, герцогиня. Я хотел послушать, что говорят звери о бенефисе. Они шагают по клетке и ворчат.

Зинида. Их раздражает музыка. Ну, Тот? Садись. Вечер превосходный — и я очень рада, что Консуэлла уходит от нас! Ты слыхал про баронские розы?

Тот. Все говорят. Розы Гименея!

Зинида. Вот и еще... *(отталкивает букет)* везде разбросаны! Да, я рада. Она здесь лишняя и мешает работе. Это несчастье для труппы, когда в ней заведется такая, слишком красивая и... доступная девчонка.

Тот. Но ведь это же честный брак, герцогиня!

Зинида. Для меня это безразлично.

Тот. И пауки ведь также нуждаются в улучшении породы! Какие очаровательные паучата выведутся у этой

пары — ты воображаешь, Зинида? С лицом матери-Консуэллы и с нутром папаши-барона они смогут украсить любую арену.

З и н и д а. Ты сегодня зол, Тот. И мрачен.

Т о т. Я смеюсь.

З и н и д а. Но не весело. Ты почему без грима?

Т о т. Я в третьем отделении, еще успею. А как относится к вечеру Безано? Он тоже доволен?

З и н и д а. Я не говорила с Безано. А знаешь ли, что я думаю, мой друг: ты также здесь лишний!

Молчание.

Т о т. Как прикажешь понимать это, Зинида?

З и н и д а. Как сказано. В сущности, Консуэлла продалась за пустяки: что такое этот барон и его несчастные миллионы. Про тебя говорят, что ты очень умен, пожалуй, даже слишком, так вот скажи мне, подумай: за сколько можно купить меня?

Т о т *(как бы прицениваясь)*. Только за корону.

З и н и д а. Баронскую?

Т о т. Нет — королевскую.

З и н и д а. Да, ты очень неглуп. А ты догадался, что Консуэлла не родная дочь Манчини?

Т о т *(пораженный)*. Да что ты! А она знает об этом?

З и н и д а. Едва ли, да и зачем ей знать? Да, безродная девчонка с Корсо, которую он предпочел пустить в оборот, нежели... Но по закону она его дочь — графиня Вероника Манчини.

Т о т. Хорошо, когда все делается по закону, не правда ли, Зинида? Но любопытно: в ней больше голубой крови, чем в этом Манчини... можно подумать, что это она подобрала его на улице и сделала отцом и графом. Граф Манчини! *(Смеется.)*

З и н и д а. Да, ты мрачен. Тот, я передумала: оставайся здесь.

Т о т. Я не буду лишний?

З и н и д а. Когда она уйдет, ты не будешь лишний... О, ты еще не знаешь, как с нами хорошо, как легко душе и телу. Я понимаю тебя, я тоже умная. Как и ты, я оттуда принесла с собою привычку к цепям и долгое время сама приковывала себя... к чему попало, только бы держаться.

Т о т. Безано?

З и н и д а. Безано и другие, их много было и много будет. Мой рыжий лев, в которого я безнадежно влюблена, страшнее и хуже всякого Безано... Но это пустяки, дурные при-

вычки, которые жаль прогонять, как старых слуг, ворующих мелочь. Оставь Консуэллу, у нее своя дорога.

Тот. Автомобиль и бриллианты?

Зинида. А где ты видел красавицу в сарпинке? Не этот купит, так другой — ведь все красивое покупают они. Да, я знаю: десять лет она будет печальной красавицей, на которую будут заглядываться бедняки с панели, потом она начнет подкрашивать глаза и улыбаться, потом возьмет...

Тот. Любовником шофера или гайдука? Ты недурно гадаешь, Зинида!

Зинида. А разве не правда? Я не хочу врываться в твое доверие... но сегодня мне жаль тебя, Тот! Что ты можешь сделать против судьбы? Не обижайся, мой друг, на слова женщины: мне ты нравишься, но ты некрасив, немолод и небогат, и твое место...

Тот. На панели, откуда смотрят на красавиц? *(Смеется.)* Но если я не хочу?

Зинида. Что значит твое хочу или не хочу! Мне жаль тебя, бедный друг, но если ты силен и мужчина... а ты мне кажешься таким, то путь у тебя один: забыть.

Тот *(смеется)*. По-твоему, это сила? Ты ли это, царица Зинида, которая даже в львином сердце хочет пробудить любовь? За один только миг обманчивого обладания ты готова заплатить жизнью, а мне советуешь... забыть! Дай твою сильную руку, прекрасная, и посмотри, сколько силы в моем пожатии... и не жалей меня!

Входят Брике и Манчини. Последний сух и важен, одет в новое, но та же палка и тот же безмолвный смех сатира.

Зинида *(шепчет)*. Останешься?

Тот. Да, я не уйду.

Манчини. Как мы поживаем, дорогая? Но вы ослепительны, клянусь, вы ослепительны! Ваш лев будет осел, если не поцелует вам ручку, как позволяю себе я... *(Целует руку.)*

Зинида. Мне можно поздравить вас, граф?

Манчини. Да. Мерси. *(К Тоту.)* Здравствуй, любезный!

Тот. Честь имею кланяться, граф.

Брике. Зинида, граф хочет немедленно уплатить неустойку за Консуэллу... за графиню. Ты не помнишь, мама, по контракту сколько там?

Зинида. Я сейчас взгляну, папа.

М а н ч и н и. Да, прошу вас, Консуэлла больше не вернется сюда, мы завтра уезжаем.

Зинида и Брике смотрят бумаги. Тот берет довольно грубо Манчини под локоть и отводит его в сторону.

Т о т *(тихо)*. А как твои девочки, Манчини?

М а н ч и н и. Какие девочки? Что это: глупости или шантаж? Смотри, любезный, будь осторожнее: комиссар здесь недалеко.

Т о т. Ты слишком суров, Манчини! Я полагал, что с глазу на глаз...

М а н ч и н и. Но послушай: какое же может быть с глазу на глаз между клоуном и мною? *(Смеется.)* Ты глуп, Тот: ты должен был предложить, а не спрашивать!

Б р и к е. Три тысячи франков, граф.

М а н ч и н и. Так мало? За Консуэллу? Хорошо, я скажу барону.

З и н и д а. Вы еще брали...

Б р и к е. Не надо, мама, оставь!

З и н и д а. Вы еще взяли вперед, граф, у меня записано: восемьдесят франков и двадцать сантимов. Эти деньги также позволите?

М а н ч и н и. Конечно, конечно, какой вопрос! Вы получите три тысячи... сто. *(Смеется.)* Двадцать сантимов! Я никогда не думал, что могу быть так точен: двадцать сантимов! *(Серьезно.)* Ах, вот еще что, друзья мои! Консуэлла, графиня, моя дочь, и барон выразили желание проститься с труппой...

Т о т. Барон также?

М а н ч и н и. Да. Огюст также. Они хотят это сделать в антракте. И вот я прошу вас собрать сюда... наиболее приличных — но без толкотни, без толкотни! Тот, милейший, будь так добр, сбегай в буфет и скажи, чтобы сюда немедленно подали корзину шампанского и бокалы... Понимаешь?

Т о т. Слушаю, граф.

М а н ч и н и. Постой... Не так быстро. Что это, новый костюм? Ты весь горишь, как черт в аду!

Т о т. Слишком много чести, граф: какой я черт? Я только бедный грешник, которого поджаривают черти. *(Уходит, шутовски кланяясь.)*

М а н ч и н и. Талантливый малый, но пройдоха, о!

Б р и к е. Это цвета танго, в честь вашей дочери, граф. Ему нужно для новой шутки, которую он не хочет открывать. Не угодно ли присесть, граф?

М а н ч и н и. Меня ждет Огюст, но, впрочем... *(Садится.)*

А все-таки мне жаль расставаться с вами, друзья! Да, высший свет, конечно, прерогативы звания, дворцы вельмож,— но где я найду такую свободу и... простоту? Наконец, эти афиши, эти жгучие плакаты, от которых по утрам захватывало дух,— в них было что-то зовущее, бодрящее... Там я постарею, друзья!

Брике. Но высшие удовольствия, граф... Что же ты молчишь, Зинида?

Зинида. Я слушаю.

Манчини. Кстати, моя дорогая: как вам нравится мой костюм? У вас чудесный вкус. *(Расправляет кружевной галстук и кружевные манжеты.)*

Зинида. Мне нравится. Вы похожи на вельможу прежних дней, граф.

Манчини. Да, но не слишком ли вольно это? Кто носит теперь кружева и атлас? Эта грязная демократия скоро всех нас нарядит в рогожу... и как там? *(Со вздохом.)* Огюст говорит, что это жабо не совсем уместно.

Зинида. Барон слишком строг.

Манчини. Ну да! Но мне кажется, что он все-таки прав: я здесь немного заразился вашей фантастикой.

Входит Тот. За ним два лакея тащат корзину с шампанским, бокалы. Приготовляют на столе.

Ага. Мерси, Тот. Но только, пожалуйста, без мещанского хлопанья пробками, тише и скромнее. Счет — барону Реньяру. Так мы явимся сюда, Брике, я иду.

Зинида *(смотря на часики)*. Да, сейчас кончается отделение.

Манчини. Боже мой! *(Поспешно выходит.)*

Брике. Черт его возьми совсем!

Зинида *(показывая на лакеев)*. Тише, Луи.

Брике. Нет, черт его возьми совсем! И ты не могла поддержать меня, мама, оставила с ним говорить... Высший свет, высшие удовольствия... мошенник!

Тот и Зинида смеются, улыбаются лакеи.

(Лакеям.) Нечего смеяться, ступайте, мы здесь сами управимся... Сода-виски, Жан! *(Ворчит.)* Шампанское!

Входит Джексон в костюме.

Джексон. И мне сода-виски! Хоть у вас слышу смех — эти идиоты положительно разучились смеяться. Мое солнце

сегодня всходило и заходило, ползало по всей арене — хоть бы улыбка! Смотрят на мой зад, как в зеркало... извини, Зинида! А ты недурен, Тот,— ну, береги сегодня щеки — я ненавижу красавцев.

Брике. Бенефисная публика!

Джексон *(рассматривая лицо в маленькое зеркальце)*. В партере все какие-то бароны и египетские мумии, у меня живот заболел от страха. Я честный клоун, я не могу, чтобы на меня так смотрели, как будто я украл носовой платок. Надавай им пощечин, Тот.

Тот. Будь спокоен, Джим, я отомщу. *(Выходит.)*

Зинида. А Безано?

Джексон *(ворчит)*. Безано! Сумасшедший успех, конечно. Но он сам сошел с ума, он завтра же сломает себе шею. Зачем он так рискует? Или у него крылья, как у бога?.. Черт его возьми, на него гнусно смотреть, это уже не работа.

Брике. Ты прав, Джим, это уже не работа! Твое здоровье, старый товарищ!

Джексон. Твое здоровье, Луи!

Брике. Это уже не работа, когда сюда являются всякие бароны! Вот они смеются, а я негодую, я негодую, Джим. Что им здесь надо, этим баронам? Пусть воруют кур в другом курятнике, а нас оставят в покое. Ах, будь я министром, я бы сделал железную решетку между нами и этими господами.

Джексон. Мне тоже очень жаль Консуэллочку... и противно. И почему-то мне кажется, что все мы сегодня больше похожи на мошенников, нежели на честных артистов... Тебе не кажется, Зинида?

Зинида. Всякий делает что хочет. Это дело Консуэллы и ее отца.

Брике. Оставь, мама, это неправда! Вовсе всякий не делает что хочет, а выходит так... черт его знает, почему!

Входят Анжелика и Томас, гимнаст. В костюмах.

Анжелика. Здесь будет шампанское?

Брике. А ты уж и обрадовалась?

Томас. Вот оно. Ого, сколько!

Анжелика. Мне граф сказал, чтобы я шла, я его встретила...

Брике *(сердито)*. Сказал, ну и иди, а радоваться тут нечего! Смотри, Анжелика, ты плохо кончишь, я тебя насквозь вижу... Как она работает, Томас?

Томас. Хорошо.

А н ж е л и к а *(тихо).* У, какой сегодня сердитый папа Брике!

Входят Т о т, Т и л и и П о л и, за ними еще какой-то а р т и с т. Все в костюмах.

Т и л и. Поли, ты очень хочешь шампанского?

П о л и. Нет, совсем не хочу. А ты, Тили?

Т и л и. И я очень не хочу. Тот, ты видал, как ходит граф? *(Ходит, передразнивая Манчини. Смех.)*

П о л и. А я буду барон, возьми меня под ручку. Тише, осел, ты наступил мне на любимое родословное дерево.

А н ж е л и к а. Сейчас кончится, теперь скачет Консуэлла, это ее вальс. Какой у нее успех!

Все слушают вальс на арене. Тили и Поли подпевают.

Но она так красива! Это ее цветы?

Слушают. Внезапно точно опять рушится стена: гром аплодисментов, крики, рев. Здесь движение. Артисты наливают шампанское. Входят н о в ы е, смеясь и болтая. Становятся скромны при виде директора и шампанского.

Г о л о с а. Сейчас идут!

— Какой успех!

— Еще бы, когда весь партер...

— А что будет с танго?

— Не завидуй, Альфонсинка!

Б р и к е. Тише. Без толкотни. Зинида, ты не молчи же... Высший свет!

Входит под руку с твердо шагающим б а р о н о м К о н с у э л л а. Она сияет. М а н ч и н и важен и счастлив. Позади них б е р е й т о р ы, а р т и с т ы и а р т и с т к и. В петлице у барона огненно-красная роза. Все аплодируют: «Браво, браво!»

К о н с у э л л а. Господа... мои милые... Папа, я не могу. *(Бросается к Манчини и прячет лицо у него на плече.)*

Манчини с улыбкой смотрит через ее голову на барона. Барон также слегка улыбается. Но в общем он суров и неподвижен. Новый взрыв аплодисментов.

Б р и к е. Довольно, довольно, дети!

М а н ч и н и. Ну, успокойся, успокойся, дитя мое... Как тебя все любят. *(Выступая несколько.)* Господа! Барон Реньяр оказал мне честь и вчера просил руки моей дочери, графини Вероники, которую вы знали под именем Консуэллы. Прошу вас взять бокалы...

К о н с у э л л а. Нет, я и сегодня Консуэлла и всегда буду Консуэлла. Зинида, милая! *(Бросается на шею к Зиниде.)*

Новые аплодисменты.

Б р и к е. Да перестаньте же. Тише! Берите бокалы и... да берите же! Пришли, так берите!

Т и л и *(дрожа)*. Они очень испугались. Возьми раньше сам, папа, а мы за тобою.

Берут бокалы. Консуэлла возле барона, левой рукой держится за рукав его фрака, в правой бокал, из которого разливается вино.

Б а р о н. У вас разливается вино, Консуэлла.

К о н с у э л л а. Ах! — ну, ничего. Я тоже боюсь. Тебе страшно, папа?

М а н ч и н и. Глупенькая...

Неловкое молчание.

Б р и к е *(выступая)*. Графиня! Как директор этого цирка... имевший счастье неоднократно... наблюдать... ваши успехи...

К о н с у э л л а. Я не хочу так, папа Брике. Я — Консуэлла. Что вы со мною делаете? Я буду плакать. Не хочу «графиня», поцелуй меня, Брике!

Б р и к е. Ах, тебя погубили книги, Консуэлла! *(Со слезами целует Консуэллу.)*

Смех, аплодисменты, клоуны кудахчут, лают и всеми другими способами выражают свое волнение и восторг. Пестрая толпа клоунов, костюмированных к пантомиме артистов, начинает оживляться. Барон неподвижен, вокруг него пространство, чокаются с ним быстро и почтительно и тотчас же отходят. С Консуэллой чокаются весело и охотно; с женщинами она целуется.

Д ж е к с о н. Тише!.. Консуэлла! С сегодняшнего дня я гашу мое солнце: пусть темная ночь наступит с твоим уходом. Ты была славным товарищем и работником; мы все тебя любили и будем любить следы твоих ножек на песке. Больше у нас ничего не осталось!

К о н с у э л л а. Ты такой добрый — такой добрый, Джим, что лучше тебя нет! И твое солнце лучше всех солнц, я столько на него смеялась! Альфред, мой милый,— что же ты не подходил, я тебя искала?

Б е з а н о. Поздравляю вас, графиня.

К о н с у э л л а. Альфред! Я — Консуэлла!

Б е з а н о. Когда вы на коне, но здесь... я поздравляю вас, графиня. *(Отходит, едва коснувшись бокала. Консуэлла еще держит свой.)*

Манчини с улыбкой взглядывает на барона — тот неподвижен.

Б р и к е. Глупости, Безано! Ты огорчаешь Консуэллу. Она хороший товарищ.

К о н с у э л л а. Нет, я ничего.

А н ж е л и к а. Ты еще будешь танцевать с ней танго, какая же она графиня?

Т и л и. А мне можно чокнуться с тобою, Консуэлла? Ты знаешь, Поли уже издох от тоски, а скоро и я издохну. У меня такой слабый желудок!

Смех. Барон незаметно морщится. Движение.

М а н ч и н и. Довольно, довольно, друзья! Скоро кончится антракт.

К о н с у э л л а. Уже! Мне так здесь хорошо.

Б р и к е. Я велю продлить его, могут и так посидеть... Скажи, Томас!

М а н ч и н и. Огюст, там еще музыканты просят позволения поздравить тебя и Консуэллу... как ты?

Б а р о н. Конечно, конечно.

Толпою входят м у з ы к а н т ы. Д и р и ж е р, старый итальянец, торжественно поднимает бокал, не глядя на барона.

Д и р и ж е р. Консуэлла! Здесь тебя называют графиней, но для меня ты была и осталась Консуэллой...

К о н с у э л л а. Ну, конечно!

Д и р и ж е р. Консуэлла! Мои скрипки и фаготы, мои трубы и литавры пьют твое здоровье. Будь счастлива, дитя, как ты была счастлива здесь. А мы навсегда сохраним в сердцах светлую память о легкокрылой фее, так долго водившей нашим смычком. Я кончил! Поклонись от меня нашей прекрасной Италии, Консуэлла.

Аплодисменты, приветствия. Музыканты, чокнувшись, один за другим выходят в коридор. Консуэлла почти плачет.

М а н ч и н и. Но не расстраивайся же, дитя мое, это неприлично. Если бы я знал, что ты так отнесешься к этой комедии,— Огюст, посмотри, как разволновалось это маленькое сердечко!

Б а р о н. Успокойтесь, Консуэлла.

К о н с у э л л а. Я ничего. Ах, папа, послушай!

В коридоре звуки танго. Восклицания.

М а н ч и н и. Вот видишь: это они для тебя.

К о н с у э л л а. Какие они милые. Мой танго! Я хочу танцевать — ну, кто со мной? *(Ищет глазами Безано.)*

Безано отвернулся.

(Печально.) Ну, кто же?

Г о л о с а. Барон!

— Пусть барон.

— Барон!

Б а р о н. Хорошо. *(Берет за руку Консуэллу и становится посередине очистившегося круга.)* Я не умею танцевать танго, но я буду держать вас крепко. Танцуйте, Консуэлла! *(Стоит, раздвинув ноги, тяжело и грузно, как чугунный. Серьезен и крепко держит руку Консуэллы.)*

М а н ч и н и *(рукоплещет)*. Браво! Браво!

Консуэлла делает несколько движений — и вырывает руку.

К о н с у э л л а. Нет, так я не могу, какие глупости! Пустите!

Она отходит к Зиниде и обнимает ее, словно прячется к ней. Музыка еще продолжается. Барон спокойно отходит в сторону; среди артистов неприязненное молчание. Пожимают плечами.

М а н ч и н и *(одиноко)*. Браво! Браво! Это очаровательно, прелестно!

Д ж е к с о н. Ну, не совсем, граф.

Тили и Поли, копируя барона и Консуэллу, танцуют, не сходя с места.

Т и л и *(пищит)*. Пусти!

П о л и. Нет, ты у меня не уйдешь! Танцуй!

Музыка обрывается. Общий, слишком громкий смех, клоуны лают и воют. Папа Брике жестами старается водворить спокойствие. Барон, по виду, все так же равнодушен.

М а н ч и н и. В конце концов, эти честные бродяги слишком развязны... *(Пожимает плечами.)* Аромат конюшни, что поделаешь, Огюст!

Б а р о н. Не волнуйтесь, граф.

Тот с бокалом подходит к барону.

Т о т. Барон! Вы разрешите предложить вам тост?

Б а р о н. Предлагайте.

Т о т. За ваш танец!

В толпе легкий смех.

Б а р о н. Я не танцую!

Т о т. Тогда другой. Барон! Выпьем за тех, кто дольше умеет ждать и получает!

Б а р о н. Я не принимаю тостов, значение которых мне непонятно. Говорите... проще.

Чей-то женский голос: «Браво, Тот!» Легкий смех. Манчини суетливо говорит что-то папе Брике, тот разводит руками. Джексон берет Тота за руку.

Д ж е к с о н. Оставь, Тот. Барон не любит шуток.

Т о т. Но я хочу выпить с бароном! Что же проще?.. проще?.. Барон! — выпьемте за маленькое расстояние, кото-

рое всегда остается... между чашей и устами! *(Выплескивает вино и смеется.)*

Барон равнодушно поворачивает спину. На арене музыка и звонок, призывающий к началу.

Брике *(облегченно)*. Ну, вот! На арену, господа, на арену! На арену!

Артистки убегают, толпа редеет. Смех и голоса. Манчини возбужденно что-то шепчет барону: «Огюст, Огюст!»

(Зиниде). Слава Богу, начало! Ах, мама, я просил тебя, тебе непременно хочется скандала, ты всегда...

Зинида. Оставь, Луи.

Тот подходит к Консуэлле, которая стоит одна.

Консуэлла. Тотик, милый, что же ты? Я думала, что ты не захочешь и подойти ко мне... *(Тихо.)* Ты видел, какой Безано?

Тот. Я ждал очереди, царица. К тебе так трудно протолпиться.

Консуэлла. Ко мне? *(Печально улыбаясь.)* Я стою одна... Ну, что тебе, папа?

Манчини. Дитя мое, Огюст...

Консуэлла *(вырывая руку)*. Оставь меня! Я сейчас. Пойди сюда, Тот.— Что ты сказал ему? Они все смеялись. Я не поняла. Что?

Тот. Я шутил, Консуэлла.

Консуэлла. Не надо, пожалуйста, Тот, не надо! Не серди его, он такой страшный. Ты видел, как он сжал мою руку! Я хотела закричать. *(Со слезами на глазах.)* Он сделал мне больно!

Тот. Откажись — еще не поздно.

Консуэлла. Поздно, Тот. Молчи!

Тот. Хочешь — я увезу тебя.

Консуэлла. Куда? *(Смеется.)* Ах, глупенький мой мальчик, куда же ты можешь увезти меня? Ну, молчи, молчи. Какой ты бледный, ты тоже любишь меня? — Не надо, Тот, пожалуйста, не надо. За что они любят меня?

Тот. Ты так прекрасна!

Консуэлла. Нет, нет, это неправда. Меня не надо любить. Мне было еще весело немножко, а когда они стали говорить... такое ласковое... и про Италию... прощаться со мной, как будто я умираю... я думала, что зареву! Молчи, молчи. Лучше выпей за... мое счастье... *(печально улыбается)*, за мое счастье, Тот. Что ты делаешь?

Тот. Бросаю твой бокал, из которого ты пила со всеми.

Я дам тебе другой. Подожди меня. *(Уходит, чтобы налить шампанского.)*

Консуэлла идет задумавшись. Почти все разошлись, здесь только главные.

Манчини *(подходя)*. Но это просто неприлично, Вероника! Огюст так мил и ждет тебя, а ты с этим клоуном... какие-то глупые секреты. На тебя смотрят, это становится смешно! Тебе пора отвыкать, Вероника...

Консуэлла *(громко)*. Оставь меня, папа. Я так хочу и так буду. Они все мои друзья... слышишь: оставь!

Барон. Перестаньте, граф. Пожалуйста, говорите, Консуэлла, с кем и сколько хотите. Не угодно ли сигару, граф? Добрейший Брике... прикажите еще продлить антракт.

Брике. Слушаю, барон, партер может немного посердиться... *(Выходит и вскоре возвращается.)*

Тот подает Консуэлле бокал.

Тот. Вот твой бокал. За твое счастье, за твою свободу, Консуэлла!

Консуэлла *(принимая бокал)*. А где же твой? Надо чокнуться.

Тот. Ты мне оставишь половину.

Консуэлла. Мне нужно так много выпить? Я буду пьяная, Тотик. Мне еще скакать.

Тот. Нет, ты не будешь пьяная. Девочка, разве ты забыла, что я твой волшебник и твоя сказка? Пей спокойно, я заговорил вино, в нем чары. Пей, богиня.

Консуэлла *(медля)*. Какие у тебя добрые глаза. Но зачем ты такой бледный?

Тот. Оттого, что я люблю тебя. Смотри в мои добрые глаза и пей, отдайся моим чарам, богиня! Ты уснешь и снова пробудишься, как тогда, помнишь? — и увидишь твою родину, небо...

Консуэлла *(поднося бокал к устам)*. Я его увижу, это правда?

Тот *(бледнея еще больше)*. Да! Пробудись, богиня,— и вспомни то время, когда с пеною морскою ты возникла из лазурного моря. Вспомни то небо — и тихий ветер с востока — и шепоты пены у твоих мраморных ножек...

Консуэлла *(выпивая)*. Вот. Смотри: как раз половина! Возьми. Но что с тобою? — ты смеешься или плачешь, Тот?

Тот. Я смеюсь и плачу.

Манчини *(слегка отталкивая Тота)*. Довольно, гра-

финя, мое терпение истощено! Если Огюст так добр и позволяет, то я, ваш отец... вашу руку, графиня! Посторонись, любезный!

Консуэлла. Я устала.

Манчини. Вы не устаете болтать и пить вино с фигляром, а когда вас призывает долг... Брике, прикажите давать звонок, пора.

Консуэлла. Я устала, папа.

Зинида. Послушайте, граф, это жестоко: разве вы не видите, как она побледнела...

Барон. Что с вами, Консуэлла?

Консуэлла. Нет, ничего, я так.

Зинида. Просто ей надо отдохнуть, барон, ведь она еще не садилась... и такое волнение... Сядь здесь, девочка, укройся, отдохни немного. Мужчины так жестоки!

Консуэлла. Мне надо еще работать. *(Закрывая глаза.)* А розы уже готовы?

Зинида. Готовы, готовы. У тебя будет такой необыкновенный ковер, ты понесешься, как по воздуху. Отдыхай.

Поли. Ты хочешь музики? Мы сыграем тебе песенку, хочешь?

Консуэлла *(улыбаясь, с закрытыми глазами)*. Хочу.

Клоуны играют тихую и наивную песенку: тили-тили, поли-поли. Все молчат. Тот сидит в углу, отвернувшись; Джексон, косясь на него, лениво тянет вино. Барон, в своей обычной позе, широко и грузно расставив ноги, выпученными, неподвижными глазами смотрит в бледное лицо Консуэллы.

(Внезапно вскрикивая.) Ай! Мне больно.

Зинида. Что с тобою? Консуэлла!

Манчини. Дитя мое! Ты нездорова? Успокойся.

Барон *(бледнея)*. Постойте... она переволновалась. Консуэлла!

Консуэлла встает и смотрит перед собою широко раскрытыми глазами, как бы прислушивается к происходящему внутри.

Консуэлла. Ай! Мне больно. Вот здесь, где сердце. Папа, что это? Я боюсь. Что это? И ноги... что у меня с ногами? Я не могу стоять. *(Падает на диван, глаза расширены.)*

Манчини *(суетясь)*. Доктора! Ах, боже мой, это ужасно. Огюст, барон... с ней никогда этого не бывало! Это нервы, нервы, успокойся, дитя...

Брике. Доктора!

Кто-то бежит за доктором. Испуганный голос Джексона.

Джексон. Тот, что ты! Тот.

Тот. Это смерть, Консуэлла. Моя маленькая царица, я убил тебя. Ты — умираешь! *(Бурно плачет.)*

Консуэлла вскрикивает и, закрыв глаза, затихает. Все в смятении. Барон неподвижен, видит только Консуэллу.

Манчини *(шипит)*. Ты лжешь... мошенник! Проклятый комедиант, ты что ей дал? Ты отравил ее... разбойник! Доктора!

Тот. Доктор не поможет. Ты умираешь, моя маленькая царица. Консуэлла! Консуэлла!

Входит быстро Безано: «Директор!» — умолкает и смотрит со страхом. Вошел кто-то еще. Брике машет рукою: «Двери!»

Консуэлла *(голосом бледным и далеким)*. Ты шутишь, Тот? Не пугай меня, я так боюсь. Это смерть? — Я не хочу. Ай... Тотик, миленький мой Тотик, скажи, что ты шутишь, я боюсь... золотой мой Тотик!

Тот повелительно отталкивает барона и становится на его место над Консуэллою. Барон стоит по-прежнему, видит только Консуэллу.

Тот. Да, я шучу. Разве ты не слышишь моего смеха, Консуэлла? Здесь все смеются над тобою... глупенькая! Не смейся, Джим, она устала и хочет спать... как можешь ты смеяться, Джим! Усни, моя дорогая, усни, мое сердце, усни, моя любовь!

Консуэлла. Да, мне теперь не больно. Зачем ты так шутил и напугал меня? Теперь мне смешно. Ты сам говорил, что я... буду... жить вечно...

Тот. Да, Консуэлла! Ты будешь жить вечно... усни! успокойся! *(Подняв руки, напрягает все силы и как бы все выше поднимает ее душу.)* Как тебе легко, как светло, сколько огней горит вокруг тебя... можно ослепнуть от света!!

Консуэлла. Да, светло. Это арена?

Тот. Нет, это море и солнце... какое солнце! Разве ты не чувствуешь, что ты пена — белая пена морская, и ты летишь к солнцу. Как тебе легко — у тебя нет тела — ты летишь! Еще выше, моя любовь!

Консуэлла. Я лечу. Я пена морская, а это солнце, оно так сияет... Мне хорошо. *(Умирает.)*

Молчание.

Тот еще стоит с поднятыми руками, взглядывает — и бросает руки вниз; шатаясь, отходит. Одну минуту еще стоит, потом садится, опустив голову на руки, одиноко борется с оцепенением надвигающейся смерти.

Брике *(тихо)*. Она уснула, мама?

Зинида *(выпуская мертвую руку)*. Боюсь, что нет...

Отойди, Луи. Барон, вам лучше отойти. Барон, вы не слышите! *(Плачет.)* Луи, она умерла.

Плачут клоуны и Брике, Манчини ошеломлен; барон и Тот неподвижны — каждый на своем месте.

Джексон *(вынимая огромный цветной клоунский платок и вытирая слезы)*. Увяла, как цветочек... спи, Консуэллочка. Только теперь и осталось, что следы твоих ножек на песочке. *(Плачет.)* Ах, что ты наделал, что ты наделал, Тот! Лучше бы ты не приходил сюда.

На арене музыка.

Брике *(машет рукой)*. Музыку, остановить музыку. Там с ума сошли. Какое несчастье!

Кто-то выбегает. К плачущему Безано подходит Зинида — и гладит его по склоненной, напомаженной голове. Взглянув, он ловит ее руку и прижимается к ней глазами. Барон, вынув розу из петлицы, молча обрывает ее лепестки и бросает, придавливая ногою. В дверь заглядывают бледные испуганные лица — все та же маскарадная толпа.

Зинида *(через голову Безано)*. Надо комиссара, Луи.

Манчини *(выходя из столбняка, кричит)*. Полицию, полицию сюда. Это убийство. Я граф Манчини! Я граф Манчини! Тебе отрубят голову, разбойник, проклятый комедиант, вор! Я сам тебя убью, мошенник! Ах, ты!

Тот с трудом поднимает тяжелую голову.

Тот. Отрубят голову — а дальше что... ваше сиятельство?

Брике. Сударь, послушайте, сударь, я иду за комиссаром... сударь! Перестаньте!

Барон внезапно делает шаг вперед и, глядя в глаза Тоту, говорит хрипло, держась за горло и откашливаясь.

Барон. Я свидетель. Я видел. Я свидетель. Я видел, как он сыпал яд. Я... *(так же внезапно выходит, теми же прямыми и грузными шагами.)*

От барона со страхом сторонятся. Тот снова опускает голову; по его телу изредка пробегает дрожь.

Джексон *(всплескивая руками)*. Так это все-таки правда? Отравил? Ах, Тот, какой же ты негодяй: разве так играют? Теперь и жди еще одной... последней пощечины от палача! *(Обводит вокруг шеи, намекая на гильотину.)*

Тили и Поли невольно повторяют его жест.

З и н и д а. Оставь его душу, Джим. Он был мужчина и любил... Счастливая Консуэлла!

В коридоре выстрел. Входит испуганный Т о м а с и показывает на голову.

Т о м а с. Барон... барон... череп! Застрелился!

Б р и к е *(поднимая руки)*. Боже, что же это? Барон? Какое несчастье над нашим цирком!

М а н ч и н и. Барон, барон? — Да нет. Да что вы тут? Ах...

Б р и к е. Успокойтесь, граф! И кто бы мог подумать: такой... важный господин.

Т о т *(с трудом поднимает голову, слабо различает помутившимися глазами)*. Что еще... что случилось?

Т о м а с. Барон застрелился. Честное слово: прямо сюда! Лежит.

Т о т *(соображая)*. Барон? *(Смеется.)* Так барон... лопнул?

Д ж е к с о н. Перестань! Стыдно. Человек умер, а ты... да что с тобою, Тот?

Тот встает, поднятый на ноги последней вспышкой сознания и жизни; говорит сильно и гневно.

Т о т. Ты так любил ее, барон? Ты так любил? Мою Консуэллу? И ты хочешь обогнать меня и там? Нет! Я иду! И мы еще там поспорим с тобою — чья она навеки. *(Схватившись за горло, валится навзничь.)*

К нему бросаются. Смятение.

З а н а в е с

К о н е ц

САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Дикая местность в горах.

На скале, представляющей собою почти правильный отвес, на маленьком, едва заметном выступе стоит какой-то человек в отчаянной позе. Как он туда попал, объяснить трудно, но ни сверху, ни снизу достать его нельзя: коротенькие лестницы, веревки и шесты показывают, что к спасению незнакомца делались попытки, но остались безуспешными.

По-видимому, несчастный давно уже находится в таком отчаянном положении; внизу успела собраться значительная толпа, очень разнообразная по составу. Здесь и торговцы с прохладительными напитками и даже целый маленький буфет, около которого, весь в поту, мечется запыхавшийся лакей — он один и не успевает исполнять все требования. Расхаживают разносчики с открытыми письмами, кораллами, сувенирами и всякою дрянью; какой-то субъект настойчиво пытается ввязать черепаховую гребенку, которая на самом деле не черепаховая. И со всех сторон продолжают стекаться туристы, привлеченные слухами о готовой совершиться катастрофе: англичане, немцы, русские, французы, итальянцы и т. д., со всеми их национальными особенностями в характере, манерах и костюме. Почти у всех альпенштоки, бинокли и фотографические аппараты. Разноязычный говор, который для удобства читателей переводим на один русский.

У подножья скалы, там, куда должен свалиться незнакомец, два полицейских сержанта отгоняют ребят и тоненькой веревочкой на колышках отгораживают место.

Шумно и весело.

Полицейский. Прочь отсюда, негодяй! Упадет тебе на голову — что тогда скажут твои мать и отец?

Мальчик. А он сюда упадет?

Полицейский. Сюда.

Мальчик. А если дальше?

Второй полицейский. Мальчишка прав: в отчаянии он может прыгнуть, перелететь веревку и причинить неприятности зрителям. В нем не меньше четырех пудов.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Прочь! Ты, девчонка, куда лезешь? Это ваша дочь, сударыня? Прошу вас убрать ее: молодой человек сейчас упадет.

Д а м а. Уже сейчас? Ах, Боже мой! А мужа нет!

Д е в о ч к а. Он в буфете, мама.

Д а м а *(в отчаянии)*. Ну конечно, всегда в буфете! Позови его, Нелли, скажи: сейчас будет падать. Скорей! Скорей!

Г о л о с а. Кельнер!

— Гарсон!

— Человек!

— Пива!

— Пива нет.

— Что? Что такое? Хорош буфет...

— Сейчас привезут.

— Поторопитесь!

— Кельнер!

— Кельнер!

— Гарсон!

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Ты опять, мальчишка!

М а л ь ч и к. Я хотел принять вон тот камень.

П о л и ц е й с к и й. Это зачем?

М а л ь ч и к. Чтобы ему не так больно было падать.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Мальчишка прав: камни следует убрать, и вообще место необходимо очистить. Нет ли здесь опилок или песку?

Подходят д в а т у р и с т а а н г л и ч а н и н а. Рассматривают незнакомца в бинокли, обмениваются замечаниями.

П е р в ы й. Молод.

В т о р о й. Сколько?

П е р в ы й. Двадцать восемь.

В т о р о й. Двадцать шесть. Кажется старше от страха.

П е р в ы й. Пари.

В т о р о й. Десять на сто. Запишите.

П е р в ы й *(записывая, к полицейскому)*. Скажите, пожалуйста, как он попал сюда? Отчего его не снимут?

П о л и ц е й с к и й. Пробовали, но безуспешно. Все лестницы коротки.

В т о р о й. Давно он здесь?

П о л и ц е й с к и й. Двое суток.

П е р в ы й т у р и с т. Ого! К вечеру упадет.

В т о р о й т у р и с т. Через два часа. Сто на сто.

П е р в ы й т у р и с т. Запишите! *(Кричит незнакомцу.)* Как вы себя чувствуете? Что? Не слышу.

Незнакомец *(чуть слышно)*. Скверно.

Дама. Ах, Боже мой! А мужа нет!

Девочка *(подбегая)*. Папа сказал, что он поспеет, он с каким-то господином играет в шахматы.

Дама. Ах, Боже мой! Скажи, Нелли, что я требую. Впрочем... А он скоро упадет, господин сержант? Нет, Нелли, иди лучше ты, а я поберегу место для папы.

Высокая худая дама, имеющая необыкновенно самостоятельный и воинственный вид, спорит с каким-то туристом из-за места. Турист низкоросл, слабосилен и тих и плохо отстаивает свое право; дама же наступает решительно.

Турист. Но это же мое место, сударыня, я уже два часа стою тут.

Воинственная дама. Мне-то какое дело до того, сколько вы тут стоите? Я здесь желаю стоять, вы поняли? Отсюда мне будет виднее, вы поняли?

Турист *(слабо)*. Но отсюда и мне будет виднее.

Воинственная дама. Скажите пожалуйста! А вы что-нибудь в этом понимаете?

Турист. Что же тут понимать? Человек должен упасть, вот и все.

Воинственная дама *(передразнивая)*. Человек должен упасть, вот и все! Скажите пожалуйста! А вы видели, как падает человек? Ну? Нет? А я видела целых трех: два акробата, один канатоходец и три аэронавта.

Турист. Выходит шесть.

Воинственная дама *(передразнивая)*. Выходит шесть! Скажите, какие блестящие способности к математике! А вы видали, чтобы в зверинце на ваших глазах тигр разрывал женщину? А? Что? Ну то-то! А я видела! Прошу вас, прошу вас.

Оскорбленно пожимая плечами, турист отступает, и худая дама победоносно рассаживается на завоеванном камне. Раскладывает вокруг себя ридикюль, носовые платки, мятные лепешки, бутылочку с каким-то эликсиром; снимает перчатки и протирает стекла бинокля, приятно посматривая на окружающих. Обращается к даме, которая ждет мужа из буфета.

Воинственная дама *(благосклонно)*. Вы так устанете, душечка. Вы бы сели.

Дама. Ах, и не говорите! У меня совсем занемели ноги.

Воинственная дама. Теперешние мужчины такие нахалы, никогда не уступят место женщине. А мятных лепешек вы взяли?

Дама *(испуганно)*. Нет. Разве они нужны?

Воинственная дама. Когда долго смотреть вверх, то обязательно начинает тошнить. А нашатырный спирт

у вас есть? Нет? Боже мой, какое легкомыслие! Как же вас будут приводить в чувство, когда он свалится? И эфира нет? Ну конечно! Если уж вы сама такая... неужели у вас нет никого, кто мог бы о вас позаботиться?

Дама *(испуганно)*. Я скажу мужу. Он в буфете.

Воинственная дама. Ваш муж негодяй!

Полицейский. Чья это куртка? Кто бросил сюда эту рвань?

Мальчик. Это я. Я бросил куртку, чтобы ему не было так больно падать.

Полицейский. Убрать.

Несколько туристов, вооруженных кодаками, спорят из-за более удобной позиции.

Первый. Я здесь хотел стать.

Второй. Вы хотели, а я уже стал.

Первый. Вы только стали, а я уже двое суток стоял здесь.

Второй. А зачем же вы ушли и даже не оставили своей тени?

Первый. Не стану же я, черт возьми, умирать от голода?

Продавец с гребенкой *(таинственно)*. Черепаховая.

Турист *(свирепо)*. Ну?

Торговец. Настоящая, черепаховая.

Турист. Пошли вы к черту!

Третий турист-фотограф. Бога ради, сударыня, вы сели на мой аппарат.

Дамочка. Ах, но где же он?

Турист. Да под вами же, под вами!

Дамочка. Но я так устала! Фи, какой скверный ваш аппарат. Я думаю, отчего мне так плохо сидеть, а это оттого, что я сижу на вашем аппарате.

Турист *(в отчаянии)*. Сударыня!

Дамочка. А я, знаете, думала, что это камень. Вижу — лежит что-то такое, и думаю: неужели это камень — отчего же он такой черный? А это, оказывается, ваш аппарат.

Турист *(в отчаянии)*. Сударыня, Бога ради!..

Дамочка. Но отчего же он такой большой? Аппараты бывают маленькие, а этот такой большой. Честное слово, я и не подозревала, что это аппарат. А меня вы можете снять? Мне бы хотелось на фоне гор, в такой обстановке.

Турист. Да как же я вас сниму, когда вы на нем!

Дамочка *(вскакивает в ужасе)*. Разве? Отчего же вы мне не сказали? Он снимает?

Голоса. Кельнер, пива!
— Отчего вы не подаете вино?
— Вам уже давно заказали.
— Что прикажете?
— Сейчас.
— Сию минуту.
— Кельнер!
— Кельнер!
— Зубочистку!

Быстро входит толстый, запыхавшийся турист, окруженный многочисленной семьею.

Турист *(кричит)*. Маша! Саша! Петя! Где Маша? Ах, Боже мой, где же Маша?

Гимназист *(уныло)*. Она здесь, папочка.

Турист. Да где же она? Маша!

Девица. Я здесь, папаша.

Турист. Да где же ты? *(Оборачиваясь.)* Ах, вот! Ну кто же стоит за спиною? Да смотри же, смотри! Куда же ты смотришь, Господи Боже мой!

Девица *(уныло)*. Я не знаю, папаша.

Турист. Нет, это невозможно! Вы подумайте, она молнии ни разу не видала: таращит-таращит глаза, как луковицы, а как только блеснет — она их и закроет. Так и не видала ни разу! Маша, опять прозеваешь! Вот он, видишь!

Гимназист. Она видит, папаша.

Турист. Последи за ней. *(Внезапно переходя на тон глубочайшей жалости.)* Ах, бедный молодой человек! Нет, вы подумайте, неужели так и свалится? Посмотрите, дети, какой он бледный: видите, как опасно лазить.

Гимназист *(уныло)*. Он сегодня не упадет, папаша.

Турист. Вздор! Кто это сказал?

Вторая девица. Папа, Маша опять глаза закрыла.

Первый гимназист. Позвольте мне посидеть, папаша. Он, ей-Богу, сегодня не упадет... Мне швейцар в отеле сказал. Я не могу! Вы нас таскаете с утра до ночи по всяким галереям...

Турист. Что такое? Для чьей же пользы это делается? А? Ты думаешь, мне с тобой, с болваном, приятно...

Вторая девица. Папа, Маша опять моргает.

Второй гимназист. И я не могу. У меня все страшные сны. Мне нынче всю ночь гарсоны снились.

Турист. Петька!

Первый гимназист. А я так исхудал, что у меня только кожа да кости. Я не могу, папаша. Отдавайте меня в пастухи, в свинопасы...

Турист. Сашка!

Первый гимназист. Главное, будь бы он вправду упал, а то наврет вам всякий, вы и верите. Бедекер, тоже. Врет ваш Бедекер!

Маша *(уныло)*. Папаша, дети, он валиться начинает.

Незнакомец сверху что-то кричит. Общее движение. Голоса: «Смотрите, он падает»; поднимаются бинокли, несколько фотографов в ажитации щелкают кодаками; полицейские энергично очищают место для падения.

Фотограф. Фу-ты черт! Зачем же это я... Проклятая торопливость!

Второй фотограф. Коллега, у вас объектив закрыт.

Первый. Фу-ты черт!

Голоса. Тише! Он собирается падать.

— Нет, он говорит что-то.

— Да нет же, падает!

— Тише!

Незнакомец *(слабо)*. Спасите!..

Толстый турист. Ах, бедный молодой человек! Маша! Петя! Вот вам трагедия: небо ясно, погода прекрасная, а он сейчас должен упасть и расшибиться насмерть. Ты понимаешь, Саша, как это ужасно!

Гимназист *(уныло)*. Понимаю.

Толстый турист. А ты, Маша, понимаешь? Ты подумай, вон небо, вон люди закусывают, все так приятно, а он должен свалиться. Какая трагедия! Петя, ты помнишь Гамлета?

Вторая девица *(подсказывает)*. Гамлет, принц датский, в Эльсиноре.

Петька *(угрюмо)*. В Гельсингфорсе, ну, знаю. Чего вы ко мне лезете, папаша?

Маша *(уныло)*. Ему всю ночь гарсоны снились.

Сашка. Лучше бы бутербродов заказали.

Торговец с гребенкой *(таинственно)*. Черепаховая. Настоящая.

Толстый турист *(доверчиво)*. Краденая?

Торговец. Что вы, сударь!

Толстый турист *(сердито)*. А если не краденая, так какая же она настоящая?

Воинственная дама *(благосклонно)*. Это все ваши дети?

Толстый турист. Да, сударыня. Обязанности отца... Но, как видите, протестуют: вековечная рознь между отцами и детьми, сударыня. Здесь такая ужасная трагедия, сердце сжимается от боли... Ты опять моргать начинаешь, Маша?

Воинственная дама. Вы совершенно правы: детей

необходимо закалять. Но только почему вы это называете ужасной трагедией? Любой кровельщик падает с большой высоты. Ну сколько здесь — сто, двести футов? А я видела, как человек падал прямо с неба.

Толстый турист *(в восторге)*. Да что вы! Саша, дети, слушайте. Прямо с неба.

Воинственная дама. Ну да. Аэронавт. Вылетел из облаков и тр-рах об железную крышу.

Толстый турист. Ка-кой ужас!

Воинственная дама. Вот это трагедия! Меня два часа из насоса поливали, чтобы привести в чувство. Чуть не утопили, негодяи! С тех пор вожу нашатырь.

Появляется бродячая труппа итальянцев — певцов и музыкантов. Низенький, толстый тенор с рыжеватой бородкой и большими водянистыми, глупо-мечтательными глазами; поет необычайно сладко. Худой горбун в жокейской фуражке поет скрипучим баритоном; бас, похожий на разбойника, он же мандолинист; тощая девица со скрипкой, закатывает глаза так, что видны одни только белки. Выстраиваются и поют.

Итальянцы *(поют)*.

> Sul mare lucido l'astro d'argento,
> Placida è l'onda, prospero è il vento.
> Venite all agile... Barchetta mia...
> Santa Lucia!..[1]

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите: он начинает размахивать руками.

Толстый турист. Неужели это влияние музыки?

Воинственная дама. Очень возможно. Вообще все эти вещи делаются под музыку. Но только так он упадет скорее, чем следует. Эй, вы, музыканты, пошли отсюда — пошли, пошли!

Горячо жестикулируя, в сопровождении нескольких сочувствующих любопытных, подходит высокий турист с закрученными кверху усами.

Высокий турист. Это возмутительно!.. Почему его не снимут? Господа, вы все слышали, как он кричал: «спасите меня»?

Любопытные *(хором)*. Все, все слышали.

Высокий турист. Ну вот! И я слышал совершенно

---

[1] Лунным сиянием море блистает,
Попутный ветер парус вздымает.
Лодка моя легка, весла большие...
Санта Лючия! *(ит.)*

отчетливо именно эти слова: спасите меня. Почему же его не спасают? Это возмутительно! Полицейский, полицейский! Почему вы его не спасаете? Что вы тут делаете?

Полицейский. Очищаем место для падения.

Высокий турист. А! Это разумно. Но почему вы его не спасаете? Вы должны его спасти. Это ваш долг человеколюбия. Раз человек просит, чтобы его спасли, так его необходимо спасти. Не так ли, господа?

Любопытные *(хором)*. Верно, совершенно верно! Его необходимо спасти.

Высокий турист *(горячо)*. Мы не язычники, мы христиане, мы должны любить ближнего. Раз он просит его спасти, должны быть приняты все меры, какие есть в распоряжении администрации. Полицейский, вы приняли все меры?

Полицейский. Все.

Высокий турист. Все до одной? Господа, все меры приняты. Молодой человек, послушайте — все меры приняты, чтобы вас спасти. Вы слышите?

Незнакомец *(чуть слышно)*. Спасите!..

Высокий турист *(взволнованно)*. Господа, вы слышите: он опять крикнул — спасите. Полицейский, вы слыхали?

Один из любопытных *(робко)*. По моему мнению, его необходимо спасти.

Высокий турист. Вот именно! Я же два часа только об этом и говорю. Полицейский, вы слыхали? Это возмутительно!

Тот же любопытный *(несколько смелее)*. По моему мнению, следует обратиться к высшей администрации.

Остальные *(хором)*. Да, да, необходимо жаловаться. Это возмутительно! Государство не должно оставлять своих граждан в опасности. Мы все платим налоги. Его необходимо спасти.

Высокий турист. А я что говорил? Конечно, необходимо идти жаловаться... Молодой человек, послушайте, вы платите налоги? Что? Не слышу.

Толстый турист. Петя, Катя, слушайте, какая трагедия! — Ах, бедный молодой человек! Он сейчас должен свалиться, а с него требуют квартирный налог.

Катя *(девочка в очках, учено)*. Разве это может быть названо квартирой, папа? Понятие квартиры...

Петька *(щиплет ее)*. У, подлиза!

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите — он опять валиться начинает.

В толпе снова движение, с теми же криками и беспокойством фотографов.

Высокий турист. Необходимо торопиться. Господа, его необходимо спасти во что бы то ни стало! Кто идет за мною?

Любопытные *(хором)*. Мы все, все!

Высокий турист. Полицейский, вы слыхали? Идемте же, господа.

Уходят, горячо жестикулируя. В буфете оживление растет; слышится стуканье пивными кружками и начало громкой немецкой песни. Окончательно заболтавшийся лакей отбегает в сторону, в отчаянии смотрит на небо и салфеткою вытирает потное лицо. Яростные требования: «Кельнер! Кельнер!»

Незнакомец *(довольно громко)*. Кельнер, не можете ли вы дать мне содовой воды?

Кельнер вздрагивает, в ужасе смотрит на небо, отыскивает глазами незнакомца и уходит, делая вид, что не слышал. Яростные голоса: «Кельнер, пива!»

Кельнер. Сейчас, сию минуту! Сейчас.

Подходят двое пьяных из буфета.

Дама. Ах, вот и муж! Сюда, скорее иди сюда!

Воинственная дама. Какой негодяй!

Пьяный *(отмахиваясь рукою)*. Эй, вы там, наверху — что, очень скверно? А?

Незнакомец *(довольно громко)*. Скверно. Надоело.

Пьяный. И выпить нельзя.

Незнакомец. Куда там!

Второй пьяный. Ну что ты говоришь, как же он может выпить? Человеку надо умирать, а ты волнуешь его разными соблазнами. Послушайте, мы все время пьем за ваше здоровье. Вам не повредит?

Первый пьяный. Ну что ты говоришь, как это может ему повредить? Это его может только приободрить. Послушайте! Нам, ей-Богу, очень жалко вас, но вы не обращайте на это внимания: мы сейчас опять уйдем в буфет.

Второй пьяный. Посмотри-ка, сколько народу!

Первый. Пойдем, а то упадет он, и буфет закроют.

Появляется новая кучка туристов, во главе ее весьма элегантный господин — корреспондент главнейших европейских газет. Его провожают шепотом почтительного удивления и бескорыстного восторга; многие покидают буфет, чтобы видеть его, и даже кельнер делает легонький крюк, взглядывает быстро, счастливо улыбается и несется дальше, что-то расплескивая из судка.

Голоса. Корреспондент!

— Корреспондент, смотрите!

Дама. Ах, Боже мой — а мужа опять нет!

Толстый турист. Петя, Маша, Саша, Катя, Вася, смотрите — это главный корреспондент... Понимаете, самый главный; что он напишет, то и будет.

Катя. Машечка, ты опять не туда смотришь.

Сашка. Лучше бы бутербродов заказали! Я не могу, папаша! Человека надо кормить...

Толстый турист *(в упоении)*. Какая трагедия! Катечка, дружок, ты понимаешь, как это ужасно: такая прекрасная погода — и главный корреспондент! Книжечку вынь, Петя, записную книжечку вынь.

Петька. Я ее потерял, папаша.

Корреспондент. Где же он?

Голоса *(услужливо)*. Вон он, вон!

— Немного выше, еще выше!

— Немного ниже!

— Нет, выше!

Корреспондент. Позвольте, позвольте, господа. Я сам найду. Ага, вон он! Н-да, положение...

Турист. Не хотите ли скамеечку?

Корреспондент. Благодарю вас. *(Садится.)* Н-да, положение! Очень, очень интересно. *(Приготовляет записную книжечку; к фотографам, любезно.)* Уже снимали, господа?

Первый фотограф. Да, как же, как же! Дали общий характер местности...

Второй фотограф. Трагическое положение молодого человека...

Корреспондент. Да-а? Очень, очень интересно.

Толстый турист. Слышишь, Сашка: умный человек, главный корреспондент, и говорит: как это интересно. А ты — бутерброды!.. Болван!

Сашка. Так, может, он уже наелся...

Корреспондент. Господа, прошу вас соблюдать тишину.

Услужливый голос. Эй там, в буфете, тише!

Корреспондент *(кричит вверх)*. Позвольте представиться: главный корреспондент европейской прессы, прислан сюда по специальному предложению редакции. Желал бы предложить несколько вопросов относительно вашего положения. Как вас зовут? Ваше имя, общественное положение, возраст?

Незнакомец что-то бормочет.

(В некотором недоумении.) Ничего не слышно. Это он все время так?

Голоса. Да, ничего не разберешь.

Корреспондент *(что-то записывая)*. Прекрасно! Вы холосты?

Незнакомец бормочет что-то.

Не слышу! Женаты, да? Повторите.

Турист. Он сказал, что холост.

Второй турист. Да нет же! Конечно, женат.

Корреспондент *(небрежно)*. Вы так думаете? Запишем: женат. Сколько у вас детей? Что? Не слышу. Кажется, он сказал — трое? Гм... запишем на всякий случай пятеро.

Толстый турист. Ах, какая трагедия! Пятеро детей. Вы подумайте!

Воинственная дама. Врет.

Корреспондент *(кричит)*. Как вы попали в такое положение? Что? Не слышу, громче! Повторите, что вы сказали. *(В недоумении, к публике.)* Что он говорит такое? У малого дьявольски слабый голос.

Первый турист. Мне показалось, что он крикнул, что он заблудился.

Второй турист. Нет, он сам не понимает, как он попал туда.

Голоса. Он охотился!

— Он лазил по скалам.

— Да нет же, он просто лунатик.

Корреспондент. Позвольте, позвольте, господа,— во всяком случае, он не с неба свалился. Впрочем... *(Быстро записывает.)* Несчастный молодой человек... уже с детства страдает припадками лунатизма... Яркое сияние полной луны... дикие скалы... сонный швейцар... не доглядел...

Первый турист *(второму, тихо)*. Да ведь теперь новолуние.

Второй турист. Ах, вы думаете, публика понимает что-нибудь в астрономии?

Толстый турист *(в восторге)*. Маша! Обрати внимание — здесь перед тобою наглядный пример влияния луны на живые организмы. Но какая ужасная трагедия: выйти в лунную ночь погулять — и вдруг залезть так, что снять нельзя!

Корреспондент *(кричит)*. Что вы чувствуете? Не слышу. Громче! Ах, вот что! Н-да, положение.

Публика *(заинтересованно)*. Слушайте, слушайте, что он чувствует. Как это ужасно!

Корреспондент *(записывает, бросая отдельные громкие замечания)*. Смертельный ужас оковывает члены... Ледяной страх холодом пробегает по спине... Никакой надежды... Пред мысленным взором проходят картины семейного счастья: жена делает тартинки, пятеро детей ангельскими невинными голосами выражают нежнейшие чувства... Бабушка в кресле, с трубкой... то есть дедушка с трубкой, а бабушка... Взволнован сочувствием публики... Выразил предсмертное желание, чтобы последний вздох его был напечатан в нашей газете...

Воинственная дама *(возмущенно)*. Как он врет!

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите — он опять начинает валиться.

Толстый турист *(сердито)*. Не мешай! Тут такая трагедия, а ты... Ну чего таращишь глаза?

Корреспондент *(кричит)*. Держитесь крепче! Так, так! Последний вопрос: что бы вы хотели передать вашим согражданам, уходя в лучший мир?

Незнакомец *(слабо)*. Чтобы все они пошли к черту.

Корреспондент. Что? Ах, да! *(быстро записывает.)* Горячая любовь... Последнее прости... Решительный противник закона о полноправности негров... Последний завет, чтобы никогда эти черномазые...

Пастор *(запыхавшись, раздвигает толпу)*. Где же он? Ах, вот! Несчастный молодой человек! Господа, здесь еще никто не был из лиц духовного звания? Нет? Благодарю вас. Неужели я первый?

Корреспондент *(записывает)*. Потрясающий момент... Появился священник... Все замерли в ожидании, многие плачут!..

Пастор. Позвольте! Позвольте, господа. Заблудшая душа желает последнего примирения с небом. *(Кричит.)* Не желаете ли вы, сын мой, примириться с небом? Откройте мне ваши грехи, и я немедленно дам вам отпущение. Что? Не слышу.

Корреспондент *(записывает)*. Рыдания потрясли воздух. В трогательных выражениях служитель церкви увещевает преступника, то есть несчастного... Со слезами на глазах, слабым голосом, несчастный благодарит...

Незнакомец *(слабо)*. Если вы... не отойдете, я прыгну вам на голову. Во мне шесть пудов.

Все испуганно отскакивают и прячутся друг за друга.

Голоса. Падает, падает!

Толстый турист *(в волнении)*. Маша, Саша, Петя!

Полицейский *(энергично)*. Место, прошу очистить место.

Дама. Нелли, скорей беги за папой, скажи — падает.

Фотограф *(в отчаянии)*. Боже мой, а у меня катушка вся. *(Мечется, жалобно смотря на незнакомца.)* Одну минутку, я сейчас. Они у меня там, в пальто. *(Отходит несколько, продолжая глядеть на незнакомца, и опять возвращается.)* Нет, не могу, но если... Ах, Боже мой! Они у меня там, в пальто! Я сейчас, сию минуту. Вот положение!

Пастор. Поторопитесь, мой друг, соберите силы хотя бы только для главнейших грехов. Мелочи мы оставим.

Толстый турист. Какая трагедия!

Корреспондент *(записывая)*. Преступник, то есть несчастный, приносит всенародное покаяние... Разоблачаются ужасные тайны... Злодей, взорвавший банкира...

Толстый турист *(доверчиво)*. Какой негодяй!

Пастор *(кричит)*. Во-первых, не убивали ли? Во-вторых, не крали ли? В-третьих, не прелюбодействовали ли?..

Толстый турист. Маша, Петя, Катя, Саша, Вася, заткните уши!

Корреспондент *(пишет)*. Возмущенная толпа... Крики негодования...

Пастор *(торопливо)*. В-четвертых, не богохульствовали ли? В-пятых, не желали ли осла ближнего? Вола его, рабыни его, жены его? В-шестых...

Фотограф *(беспокойно)*. Господа, осел.

Второй фотограф. Где, где осел? Я не вижу.

Первый фотограф *(успокаиваясь)*. Мне послышалось.

Пастор. Поздравляю вас, сын мой, вы примирились с небом. Теперь вы можете спокойно... Ах, Боже мой, что я вижу? Члены Армии Спасения? Полицейские, гоните их!

Несколько членов Армии Спасения, мужчин и женщин, в парадных мундирах, с музыкой приближаются к месту происшествия. Инструментов только три: барабан, скрипка и какая-то необычайно пискливая труба.

Первый член Армии Спасения *(неистово барабанит, кричит протяжно, в нос)*. Братия и сестры...

Пастор *(стараясь заглушить, кричит еще более громко и еще более в нос)*. Он уже покаялся, братие. Будьте свидетелями, господа! Он уже покаялся и примирился с небом.

Второй член Армии Спасения, дама *(влезая на камень, вопит)*. Как этот грешник, я блуждала в темноте и злоупотребляла алкоголем, когда свет истины...

Голос. Да она и сейчас пьяна, как стелька.

Пастор. Полицейский, вы слышали, что он покаялся и помирился с небом?

Первый член Армии Спасения неистово барабанит, остальные затягивают песню. Крики, хохот, свист. В буфете также поют и на всех языках зовут кельнера. Растерявшиеся полицейские отбиваются от пастора, который их куда-то тащит; фотографы вертятся как угорелые. Появляется туристка англичанка верхом на осле, который, расставив передние ноги, не хочет идти дальше и присоединяет свой голос к остальным. Несколько затихают, Армия Спасения торжественно удаляется, пастор, размахивая руками, уходит за нею.

Англичанин турист *(другому)*. Как неприлично. Этот сброд совершенно не умеет себя вести.

Второй англичанин турист. Уйдемте отсюда.

Первый. Одну минуту. *(Кричит.)* Послушайте меня, почтеннейший: не желаете ли вы свалиться поскорее?

Второй. Что вы говорите, сэр Вильям?

Первый *(кричит)*. Разве вы не видите, что они только этого и ждут? И, как джентльмен, вы должны доставить им удовольствие, а себя избавить от унижения — страдать публично перед этим сбродом.

Второй. Сэр Вильям!

Толстый турист *(в восторге)*. Вот она, правда-то! Саша, Петя, слушайте: говорят правду. Какая трагедия!

Какой-то турист *(наступая на англичанина)*. Как вы смеете?

Первый англичанин *(отстраняя его)*. Бросайтесь скорее, слышите? Если не хватает смелости, то я вам помогу хорошим выстрелом. Соглашаетесь или нет?

Голоса. Этот рыжий дьявол сошел с ума!

Полицейский *(хватает англичанина за руку)*. Вы не имеете права этого делать. Я вас арестую.

Какой-то турист. Варварская нация!

Незнакомец что-то кричит. Внизу движение. Голоса: «Слушайте, слушайте!»

Незнакомец *(громко)*. Уберите к черту этого осла, он меня застрелит. И скажите хозяину, что я больше не могу.

Голоса. Что такое?

— Какому хозяину?

— Он сходит с ума, несчастный!

Толстый турист. Саша, Маша, картина безумия. Петя, скорее, вспоминай Гамлета.

Незнакомец *(сердито)*. Скажите, что мне всю поясницу разломило.

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите, он начинает дергать ногами.

Катя. Это называется конвульсии, папа?

Толстый турист *(в упоении)*. Не знаю. Кажется. Какая трагедия!

Сашка *(мрачно)*. Катька, дура! Ее учат, а она не знает, что это называется агония. А еще очки надела! Я больше не могу, папаша.

Толстый турист. Вы подумайте, дети: сейчас человек расшибется насмерть, и о чем же он заботится? О пояснице!

Слышится шум. Несколько разъяренных туристов почти волокут какого-то сильно испуганного господина в белом жилете. Он улыбается, кланяется во все стороны, разводит руками и то, подталкиваемый, быстро бежит вперед, то старается ускользнуть в толпу, но его хватают и вновь волокут.

Голоса. Наглый обман!

— Это возмутительно!

— Полицейский, полицейский!

— Его надо проучить!

Другие голоса. Что такое?

— Какой обман?

— В чем дело?

— Господа, вора поймали.

Господин *(кланяясь и улыбаясь)*. Это шутка, почтеннейшие господа. Просто шутка! Публика скучает, и я хотел немного развлечь.

Незнакомец *(яростно)*. Хозяин!

Господин. Сейчас, сейчас.

Незнакомец. Что ж, я тут до второго пришествия стоять буду?! Уговорились до двенадцати часов, а сейчас сколько?

Высокий турист с закрученными усами *(вне себя от возмущения)*. Вы слышите, господа? Оказывается, что этот негодяй, что этот господин в белом жилете нанял другого негодяя и просто-напросто привязал его к скале.

Голоса. Так он привязан?

Высокий турист. Ну да, привязан и не может упасть. Мы тут волнуемся, мы тут беспокоимся, а он и упасть не может!..

Незнакомец. Еще бы захотел! Стану я тебе за двадцать пять рублей шею ломать! Хозяин, я больше не могу. Тут меня какой-то осел застрелить хотел. Пастор два часа отчитывал — это не по договору!

Сашка. Говорил вам, папаша, что Бедекер врет, а вот вы всякому верите, таскаете нас, не евши.

Хозяин. Публика скучает... Единственное желание развлечь почтеннейшую публику...

Воинственная дама. Что такое? Я ничего не по-

нимаю. Почему он не будет падать? А кто ж тогда будет падать?

Толстый турист. Я тоже ничего не понимаю. Конечно, он должен упасть.

Петька. Вы никогда ничего не понимаете, папаша. Вам же говорят, что он привязан.

Сашка. Да разве его убедишь! Он всякого Бедекера любит больше, чем родных детей.

Петька. Тоже — отец!

Толстый турист. Молчать!

Воинственная дама. Что такое? Он должен упасть!

Высокий турист. Нет, вы подумайте, какой обман! Вы должны объясниться, милостивый государь.

Хозяин. Публика скучает. Извините, господа. Но в желании угодить... Несколько часов приятного волнения... подъема нервов... вспышки альтруистических чувств...

Англичанин. Буфет ваш?

Хозяин. Мой.

Англичанин. И отель внизу ваш?

Хозяин. Мой. Публика скучает...

Корреспондент *(записывает)*. Наглый обман... Содержатель буфета, в желании повысить доход со спиртных напитков, эксплуатирует лучшие человеческие чувства... Негодование публики...

Незнакомец *(яростно)*. Скоро вы меня снимите, хозяин, или нет?

Хозяин. Ну а вы-то чего? Вы еще чем недовольны? Снимают вас по ночам или нет?

Незнакомец. Еще бы, недостает, чтобы я тут и по ночам висел.

Хозяин. Ну так можете потерпеть несколько минут. Публика скучает...

Высокий турист. Нет, вы понимаете, что вы такое сделали, негодяи этакие! Ради своих отвратительных целей вы безбожно эксплуатируете любовь к ближнему. Вы заставили нас пережить страх, сострадание, отравили наше сердце жалостью — и что же оказывается? Оказывается, что этот негодяй, ваш гнусный сообщник, привязан к скале и не только не упадет, как все того ожидают, но и не может упасть.

Воинственная дама. Что такое? Он должен упасть!

Толстый турист. Полицейский, полицейский!

Появляется запыхавшийся пастор.

Пастор. Что, еще жив? Ага, вот он. Какие шарлатаны эти господа Армия Спасения!

Голос. Вы еще не слыхали: он привязан.

Пастор. Что? К чему привязан? К жизни? О, все мы привязаны к жизни, пока смерть не развяжет. Но, привязан он или не привязан, я примирил его с небом, и баста! А эти шарлатаны...

Толстый турист. Полицейский! Полицейский, необходимо составить протокол!

Воинственная дама *(наступая на хозяина)*. Я не могу позволить, чтобы меня обманывали. Я видела, как из облаков летел аэронавт и тррах о крышу, я видела, как тигр разорвал женщину...

Фотограф. Я три катушки испортил, снимая этого негодяя. Вы мне ответите за это, милостивый государь!

Толстый турист. Протокол, протокол! Какая наглость! Маша, Петя, Саша, Вася, зовите полицейского.

Хозяин *(отступая, в отчаянии)*. Да не могу же я заставить его падать, если он не хочет. Я сделал все, что мог. Господа, господа!..

Воинственная дама. Я не позволю!

Хозяин. Позвольте, господа. Честное слово, он в следующий раз упадет, а сейчас он же не хочет!

Незнакомец. Что такое в следующий раз?

Хозяин. Молчите, вы там!

Незнакомец. За двадцать пять рублей?..

Пастор. Скажите пожалуйста, какой наглец! Я его только что с опасностью для жизни примирил с небом — вы слышали, как он грозился упасть мне на голову? А он еще недоволен. Прелюбодей! Вор! Убийца! Пожелавший осла ближнего!

Фотограф. Господа, осел.

Второй фотограф. Где осел? Я не вижу.

Первый фотограф *(успокаиваясь)*. Мне послышалось.

Третий фотограф. Это вы осел. У меня из-за вас глаза перекосились.

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите, идет полицейский.

Движение, шум. С одной стороны тормошат полицейского, с другой — хозяина, и оба они кричат: «Позвольте, позвольте».

Толстый турист. Полицейский, городовой! Вот он, этот обманщик, жулик...

Пастор. Полицейский! Вот он, прелюбодей, убийца, пожелавший осла ближнего...

Полицейский. Позвольте, позвольте, господа, сейчас мы его приведем к сознанию и раскаянию.

Хозяин. Да не могу же я его заставить падать, если он не хочет!

Полицейский. Эй, вы там, молодчик, наверху, вы можете упасть или нет, сознайтесь!

Незнакомец *(угрюмо)*. Не желаю я падать.

Голоса. Ага, сознался! Какой негодяй!

Высокий турист. Пишите, полицейский. Желая... в целях наживы... эксплуатировать чувство любви к ближнему... святое чувство... э... э... э...

Толстый турист. Дети, слушайте, составляется протокол. Какая выразительность!

Высокий турист. Святое чувство, которое...

Полицейский *(старательно пишет, высунув язык на сторону)*. Любовь к ближнему... святое чувство, которое...

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите: вон объявление идет.

Показывается несколько музыкантов с трубами и барабанами. Впереди их какой-то субъект на высоком шесте несет огромный плакат с изображением отчаянно волосатого человека с надписью: «Я был лысым».

Незнакомец. Опоздали! Тут, братцы, протокол идет! Проваливайте поскорее.

Субъект *(останавливаясь, говорит высоким голосом)*. Я был лысым с первых дней рождения и много времени спустя. Та скудная растительность, которая на десятом году покрыла мой череп, походила скорей на шерсть, нежели на волосы. При вступлении же в брак мой череп был гол, как подушка, и юная новобрачная...

Толстый турист. Какая трагедия! Новобрачный, и вдруг такая голова — вы понимаете, дети, как это ужасно?

Все слушают с интересом, и даже полицейский застыл с пером в руке.

Субъект *(вдохновенно)*. И наступил момент, когда супружеское счастье висело буквально на волоске. Все средства для ращения волос, рекомендуемые шарлатанами...

Толстый турист. Вынь-ка записную книжечку, Петя.

Воинственная дама. Но когда же он будет падать?

Хозяин *(предупредительно)*. В следующий раз, сударыня, в следующий раз! Я его привяжу не так крепко... и понимаете?..

Занавес

18 октября 1908 г.

ЧЕСТЬ

(СТАРЫЙ ГРАФ)

ДРАМА-ПАРОДИЯ

Звуки отдаленной музыки. Весенняя звездная ночь. Старый, разросшийся, запущенный сад, огражденный глубокой канавой; мраморная, потемневшая и осыпавшаяся балюстрада. Над вершинами дерев темная масса замка; все окна ярко светятся, на четырехугольной зубчатой башне догорают смоляные бочки, кидая в сад неверные светы. Графиня одна, задумавшись, сидит на каменной скамье; на ней белое торжественное платье, в волосах коронка. По неровным, покривившимся ступеням со стороны замка опускается старый граф; впереди его, согнувшись и освещая путь фонарем, идет Астольф, приближенный слуга, старик, похожий на своего господина.

Граф *(не видя дочери, громко и гневно)*. Поднять мосты! Гасить огни! Разогнать всю челядь, баронов пригласить в опочивальни. Пусть спят, пусть спят! Мы слишком долго ждали жениха, и хотя его сосватал император,— мы слишком бедны, чтобы всю ночь горели масло и смола! Гасить огни!

Астольф. А как прикажет граф относительно столов?.. Оставить их до завтра?

Граф. Все выбросить собакам! Впрочем... мы слишком бедны, Астольф, чтобы последний наш кусок бросать собакам; мы сами голоднее собак. Нет, Астольф, покорми моих голодных, как и я, баронов, а остатки спрячь в кладовые и выдавай нам понемногу, чтобы надолго хватило. Понемногу, Астольф, понемногу: в нашем положении надо быть бережливым.

Астольф. Бароны...

Граф. Понемногу, Астольф! Будь, как та благоразумная мещанка, что, выдав дочку замуж, полгода ест остатки. Береги каждый кусок, высчитывай, соображай, а если

плесень — соскобли и нам подай на стол, и этому мы будем рады!

Астольф. Бароны гневаются. Уже с утра они ждут герцога, высоконареченного жениха благородной графини Эльзы...

Граф. Бароны! А ты, старик, доволен? Довольные не держат руку на мече, а ты... А, вы здесь, графиня? Одна, без приближенных дам? Иди, старик.

Астольф, поставив фонарь на край балюстрады, уходит.

Ваш жених не торопится, графиня Эльза: уже ночь давно, а его все нет. С утра раскрыли мы объятия навстречу дорогому зятю и ловим только воздух... Не кажется ли вам, графиня, что в этом запоздании есть неуважение и к вам, и к вашему отцу?

Графиня молчит.

Вы молчите?.. Вы правы, вы должны молчать, когда идет речь об уважении к отцу. Ваш отец болен гордостью... так, кажется, определяю я болезнь? — и наш добрейший император, как врач искусный, прописал ему зятя для приема внутрь... Ха-ха! для приема внутрь! И мы раскрыли ворота, как рот: широко и покорно, а зятя-то и нет. Ха-ха! Смешное врачевание недуга! Но не кажется ли вам, графиня, несколько странною любовь, у которой такие короткие шаги? Вы плачете, графиня?

Эльза *(плачет)*. Отец, с ним случилось несчастье. Я чувствую это: с ним случилось несчастье.

Граф. С ним? Как странно: а я ведь думал до сих пор, что несчастье случилось с нами.

Эльза. С самого утра, как только я взглянула на нынешнее солнце, мной овладела тоска мучительных предчувствий. Тоскую и жду его напрасно, а день бежит, и уж зашло сегодняшнее солнце... Он умер, отец, я знаю это.

Граф. Насколько мне известно, здоровье герцога в прекрасном состоянии: ваш страх, графиня, преувеличен, как... и любовь. Под охраной императорского эдикта он спокойно и неторопливо проходит наши владения... Что ему ненависть моих голодных, оборванных баронов, бессильно ляскающих зубами, раз голову осеняют императорские крылья и хищный императорский клюв!

Эльза. Но его нет! Уже ночь, а его нет!

Граф. Да, уже ночь, а его нет. О, если б я не был нищим графом, над которым смеются при дворе, если бы не осыпались зубцы моих башен, если б тою же твердыней недоступной стоял мой за́мок, как при моем великом деде,— о, тогда

герцог не опоздал бы! Он был бы вежлив и почтителен, как ничтожнейший из вассалов, с которым я делюсь последним достоянием моим; он прискакал бы утром и, преклонив колено, как пес, лизал бы эту руку!

Эльза. Его избрало мое сердце.

Граф. Он мой враг.

Эльза. Ты его не знаешь! Ослепленный ненавистью к роду, ты уже ненавидел его, еще не видев его ни разу!

Граф. Род льстецов, низкопоклонников, ползающих у подножья трона. Там, где нужно брать, они выпрашивали, свободной доле волка они предпочли конуру цепной собаки; они наверняка хотят быть сыты. Предатели вольности нашей,— это они разрушили мой замок, и в его бойницах, безвредных теперь, вьет гнездо воронье. Слуги смеются исподтишка, когда я кричу: поднять мосты! — как будто нет тысячи калиток, дыр, лазеек, как будто не может всякий войти в мой беззащитный дом, когда захочет. Поднять мосты! *(Смеется.)*

Эльза. Ты несправедлив, отец. Мой Генрих прям и благороден. Разве с лицом открытым, с ясным взором, он не протянул тебе руку, умоляя...

Граф. И я не принял его руки.

Эльза. Умоляя согласиться на наш брак. А ты? С жестокостью слепца...

Граф. Зачем так мягко, Эльза? Ты можешь говорить с отцом еще смелее. За тобой стоит наш император, его нежные когти придерживают мою голову склоненной, его мягкий и любовный клюв расчесал сегодня мои седые волосы для встречи жениха. Будь смела и благородна, Эльза, как твой жених. Нищий граф не хочет отдать дочери,— какая наглость! Мы пойдем тогда к императору, мы на брюхе подползем к ступеням трона, и император отдаст нам то, что ему не принадлежит: прекрасную дочь нищего графа! И дочь пойдет, а нищий граф...

Эльза. Сжалься надо мной, отец. Я так люблю!

Граф. Я также любил когда-то, но если бы твоя мать была похожа на тебя,— я выбросил бы ее за порог, как последнюю рабу, мужичку, тварь, пригодную лишь на то, чтобы служить прихоти господ!

Эльза. Вы забываетесь, граф! Когда на предложенье герцога, просившего моей руки, вы ответили грубым и оскорбительным отказом, я сама пала к ногам государя, умоляя его вступиться за несчастных любовников, смягчить своей божественной властью ваше жестокосердие.

Граф. Да, да — божественной, конечно.

Эльза. И в декрете на ваше имя наш всемилостивейший император принимает меня под свое покровительство и называет дочерью своей и вашей. Вы оскорбляете его!

Граф низко склоняет голову.

Граф. Прошу прощения, герцогиня. Не будет ли каких распоряжений, прихотей, капризов даже — мой замок к услугам вашим и герцога. Кажется, я поступил оплошно: я приказал гасить огни — сейчас зажгутся новые! Дайте огней, катите бочки со смолой: всю ночь мы будем ждать запоздавшего жениха, глаз не сомкнем в волнении любовном, в покорности собачьей!

Эльза. Отец, прости меня.

Граф. Скорее! Иначе наш добрый император может рассердиться. Ему уже давно противен нищий граф, смеющий быть гордым, и завтра же он выгонит его из отчего гнезда, а самое гнездо разрушит, с землей сровняет. *(Притворно плачет.)* Куда пойти тогда бедному графу? Он нищ и гол, его кусают за ноги крестьянские собаки, над ним смеются женщины и дети. Куда пойти бедному старому графу? *(Становится на колени перед Эльзой и ловит ее руки.)* Всемилостивейшая герцогиня, умоляю вас, сжальтесь над стариком, попросите нашего доброго государя, заверьте его в послушании моем...

Эльза. Ну, что ты! Что ты! Встань.

Граф. Умолите его, всемилостивейшая, не разрушать гнезда, в котором родился нищий граф! Здесь знаком ему и дорог каждый камень, каждая потертая ступень в глухих и мрачных переходах. Ребенком ползал он по плитам каменного двора, с той башни юношей смотрел он вдаль и думал покорить миры, короною украсить голову последнего в роду великих! Здесь встретил он жену и здесь, в тени вон тех деревьев, качал он маленькую девочку, дочь маленькую, маленькое солнце — Эльзу...

Эльза *(плача)*. Что ты делаешь со мной, отец! Пусти! Ты ломаешь мне руки... ай! Или ты и вправду плачешь? — Да, да, руки мои мокры от слез... Ты плачешь, отец! Пожалей меня, я так люблю, я не знаю, что делается со мною. Что с ним? Почему он не едет? Мое сердце перестает биться от страха, я весь день дрожу, где-то здесь я чувствую его смерть. Пожалей меня, отец, успокой меня... Вспомни мою мать, как была она прекрасна, как ты любил ее...

Граф встает с колен и отходит к ступеням.

Граф. Успокойтесь, графиня. Воля нашего государя

будет точно исполнена. Замок готов к приему высокого жениха. Кажется, огни действительно начинают гаснуть... Сейчас прикажу дать новых!

Эльза. Отец!

Граф. Не прикажете ли прислать сюда ваших дам? Впрочем, любовь нуждается в уединении... Простите старика, который позабыл, как любят. Ваш слуга!

Поднимается по ступеням. Эльза одна.

Эльза. Бедный отец, как он страдает! Он совсем не знает моего Генриха. Когда он узнает, то полюбит его,— как я. Но отчего мне так страшно сегодня? Я не люблю нашего старого, заросшего, зеленого пруда; в нем так много лягушек, и они прыгают из воды... брр! А сегодня он показался мне страшным. Когда я проходила мимо и увидела в неподвижной воде отражение черного замка, его светящихся в глубине окон, я подумала, что таким должен быть дворец смерти. Смерть!.. Но если смерть, то почему же я чувствую Генриха где-то близко, совсем близко, и на губах моих я слышу его поцелуи, и грудь моя... Ай!

Вскрикивает от неожиданности и страха. Из чащи внезапно появляется герцог.

Эльза. Кто это?

Генрих. Эльза! Любовь моя, моя невеста!

Эльза. Генрих!

Замирает в объятиях. На верхней ступени, привлеченный криком Эльзы, появляется Астольф, смотрит мгновение и скрывается.

Почему так долго? Так можно умереть от ожидания, от тоски, от страха! Покажите мне лицо ваше... Да, это вы, это ты. Генрих, почему так долго? Почему ты молчишь, Генрих? Или ты умер, и это — твой призрак?

Генрих. Да, это мой призрак.

Эльза. А почему так горячи губы? У призрака губы холодны и немы.

Генрих. Их сожигает адский пламень.

Эльза. А почему так светятся твои глаза, призрак? У призрака глаза тусклы и немы.

Генрих. В них отсветы рая! Любовь моя, моя невеста — как я люблю тебя, Эльза! Какой сегодня длинный день!

Эльза. Какой сегодня страшный день!

Генрих. Я измучился, я бросил моих баронов и воинов,— они подвигаются так медленно и торжественно,— я прискакал вперед, и какое счастье: я встретил тебя здесь одну. Любовь моя, неужели ты ждала меня, меня?

Э л ь з а. Нет. Но какой странный на вас плащ!

Г е н р и х. Это плащ моего оруженосца; я не хотел, чтобы меня узнали. Это не я, это мой призрак, Эльза: герцог идет там, с баронами своими.

Э л ь з а. Уже близко?

Г е н р и х. Ты скоро услышишь их трубы,— и тогда мой призрак покинет тебя.

Э л ь з а. Надолго?

Г е н р и х. Любовь моя!

Целуются и тихо разговаривают. На верхней ступени лестницы показываются г р а ф и старый А с т о л ь ф. Молчание.

А с т о л ь ф *(шепотом)*. Смотрите, граф, смотрите.

Г р а ф *(так же)*. Смотрю, Астольф.

А с т о л ь ф. Это герцог.

Г р а ф. Ты думаешь?

А с т о л ь ф. Кому же больше? Это герцог.

Г р а ф. А плащ?

А с т о л ь ф. Но я узнаю его лицо,— это герцог.

Г р а ф. А я сомневаюсь. Это кто-то другой. Да, да, старик, не удивляйся, это кто-то другой... Боже, какая ужасная мысль: графиня Эльза изменяет своему благородному жениху, и пока он на крыльях любви стремится сюда, она принимает какого-то проходимца... Вот каковы женщины, Астольф! *(Смеется.)*

А с т о л ь ф. Вы шутите, граф?

Г р а ф. Разве то, что ты видишь, похоже на шутку?

А с т о л ь ф. Но это, ей-Богу, герцог!

Г р а ф. Молчи, старик! Или ты считаешь герцога способным на такое неуважение к нам? По-твоему, герцог может влезть ночью, через дыру в стене, как вор, как хорек, подбирающийся к курам? Герцог нам навязан императором, это правда, но герцог уважает нас... Ты, кажется, опять кладешь руку на меч?

А с т о л ь ф. Я начинаю сомневаться. Ваши глаза острее моих, граф.

Г р а ф. И разве тут не темно?

А с т о л ь ф. Темно.

Г р а ф. И разве в темноте нельзя ошибиться?

А с т о л ь ф. В темноте можно ошибиться. Да, это не герцог.

Г р а ф. Бедный герцог! Быть так гнусно обманутым, и когда же — накануне свадьбы! Но мы вступимся за его честь, за которую сам он постоять не может.

А с т о л ь ф. Да, это не герцог. Теперь я вижу.

Г р а ф. Тише! Возьми трех слуг, выбери тех, что голод-

нее — голод придаст им силы... Ах, негодяй, как он сладко целует мою дочь, невесту благородного герцога!.. И жди проходимца: а когда он пойдет, схватить его и бросить в пруд! Тише! Свинцу на ноги и камней! Тише... Как он сладко целуется, похититель моей чести!

Астольф. Да, теперь и я вижу ясно: это не герцог!

Граф. Тише!..

Уходят.

Эльза. Почему так долго?

Генрих. Какой длинный, какой насмешливый день. Весь день, с утра, как только я увидел нынешнее солнце, я стремлюсь к тебе, но земля держит мои ноги. Тысячи приключений, тысячи несчастий! Без причины падает мой конь; я беру нового, у которого восемь, двенадцать ног, и скачу! Мой путь преграждает разлив реки,— я бросаюсь в воду и плыву... Тонут кони и люди... но вода не берет меня...

Эльза. Ай!

Генрих. Что с тобой?

Эльза. Нет, ничего, мне что-то послышалось. Ты говоришь: вода.

Генрих. На пути мы попадаем в сражение: какие-то безумцы осыпают друг друга свинцом,— но мы пробиваемся сквозь, и свинец не берет меня.

Эльза. Ты говоришь: свинец... Я слушаю, это я так оглянулась.

Генрих. Мы скачем по горящему городу, и ему нет конца, а уже наступает ночь,— и вот снова падает мой конь! Бароны ропщут, везде им чудятся предзнаменованья; нахмурив брови, всегда бесстрашные, теперь они со страхом смотрят в даль пути и просят сделать остановку,— им не нравится сегодняшнее солнце. Но я кричу: вперед! К возлюбленной моей! К невесте, ждущей жениха,— вперед! И вот я здесь, с тобою, касаюсь плеч твоих и нежных рук, ловлю дыханье чистых уст твоих, теряю понимание жизни: что правда здесь, что сон? Но ты молчишь? Ты смущена?.. Как колокольчик, бьется сердце за корсажем,— скажи, что думаешь?

Эльза. Нет, ничего. Мне также не понравилось сегодняшнее солнце.

Генрих. Его уж нет, оно зашло!

Эльза. Оно зашло, его уж нет,— а ты со мною. Но нет, ведь это же не ты: твой призрак только, с горячими губами и светлым взором!

Громко трубят трубы.

Это идет герцог!

Генрих. Это идет герцог.

Эльза. Боже, как я сознаюсь ему в моей измене: ведь я кого-то поцеловала!

Генрих. Идет герцог, и призрак должен удалиться. Ах, не смешно ли: чуть ли не ревность я чувствую к счастливцу, который смеет звать тебя так громко!

Эльза. Как он гордо шествует! С ним идут бароны, закованные в латы.

Генрих. И воины в доспехах. Медленно и важно ступает конь, весь в золоте и дорогих уборах... и на пустом седле...

Смеются. На верху лестницы показываются четыре осторожные тени и пропадают в темноте. Вторично на том же месте трубят трубы.

Прощай, любовь моя!

Эльза. Еще одну минутку.

Генрих. Они у ворот. Они сказали, что, если после третьего зова я не вернусь, они ворвутся в замок. Они боятся за меня.

Эльза. Да, отец гневен.

Генрих. Он еще не знает, что я везу ему от императора милость: по моим настояниям, мольбам и просьбам, ему возвращены прежние владения...

Эльза. Как ты добр!

Генрих. Я люблю тебя. Прощай, моя любовь, мое счастье, мое завтрашнее солнце. На мгновение, как призрак, явился я тебе, чтобы через мгновенье — слиться с тобою навсегда в любви и жизни!

Эльза. Еще одну минуту.

В третий раз трубят трубы.

Генрих. Зовут. О, какое нетерпение,— иду! Прощай, любовь моя.

Эльза. Нет, до свиданья. Генрих, любовь моя: я жду, я жду,— я жду тебя! Генрих, откликнись, одно только слово... Генрих!

Из-за деревьев из темноты доносится тихое: Эльза!.. Вслед за тем слышен как бы шум борьбы, подавленный глухой крик — и наступает тишина.

(Испуганно.) Генрих!.. Нет, тихо. Но кто же крикнул там? Нет, показалось. Нет, да нет же, тебе показалось, Эльза!

Настойчиво и продолжительно ревут трубы.

Милые трубы! Как весело поют они. Громче, медные трубы, веселее, медные трубы: осветите темный путь моему жениху, призраку с горячими губами. Он опоздал немного, он

идет,— не сердитесь на него, медные: целуя меня, опоздал он. Ах, Эльза, бессовестная девчонка, у тебя совсем нет стыда: кого ты целовала сейчас в темноте? Или ты думаешь, что твои красные щеки не выдадут тебя? Слава Богу,— вот и смолкли трубы. Теперь он садится на коня,— он входит в ворота замка, отец встречает его... бедный отец!

Отрывисто вскрикивают трубы и смолкают.

Что это? Опять? Значит, так надо,— о чем ты спрашиваешь, Эльза, разве ты знаешь все ихние обычаи? Молчи и смейся. О Боже, вошли!

Возле замка шум и крик, быстро возрастающие. Сквозь листву иногда просвечивают движущиеся огни факелов.

Это ищут меня. Как мне стыдно,— нет, нет, я не пойду, я буду ждать его здесь. Там так светло, и все увидят мои красные щеки, и вдруг ты, Генрих, взглянешь и улыбнешься... нет, нет, я умру от стыда. Идут сюда, о Боже!

С криком врывается толпа вооруженных людей; в руках обнаженные мечи. Нахмурившись, входят и приближенные графа, держатся в стороне, озлобленно ворчат. Все заливает свет факелов. Голоса: «Герцог! Где герцог?»

Вальдемар. Это вы, графиня? Где герцог? Где Генрих?

Эльза. Я не знаю, о чем вы спрашиваете.

Вальдемар. Где Генрих? Я его друг. Мы ищем по всему замку, и его нет. Я умоляю вас, графиня, откройте нам, где герцог,— вы должны это знать!..

Бароны. Какая наглость!

Эльза. Нет, я не видала его.

Вальдемар. Это неправда! Он бросил нас и поскакал вперед на свидание с вами. Вы видели его, графиня!

Бароны *(обнажая мечи)*. Какая дерзость! Зовите графа, здесь оскорбляют его дочь.

— Они заставили нас ждать!

— А теперь они обвиняют графиню в безнравственности.

— Обнажайте мечи!

На верхней ступени показывается старый граф.

Граф. Остановитесь, бароны. Кто обвиняет мою дочь в безнравственности? И кто эти люди, похожие на разбойников с большой дороги?

Вальдемар и приближенные герцога обнажают головы.

Вальдемар. Простите, граф, наше вторжение: мы ищем герцога. Всему миру известно ваше рыцарское благородство, граф, но наша любовь к герцогу не меньше. Наше беспокойство, когда после третьего зова герцог не явился...

Эльза. Не явился?

Граф. Вы меня удивляете. Разве герцог не с вами? Где же он? С утра, раскрыв родственные объятия, мы ждем высоконареченного жениха, и мои бароны уже утомились ожиданием...

Среди баронов ропот.

Где же ваш герцог? Или эта шайка разбойников, забывших рыцарскую честь и осмелившихся обнажать оружие в нашем замке, должна заменить его? Тогда я должен сказать императору: слишком много женихов для одной дочери моей.

Вальдемар. Это вы, граф, должны знать, где он.

Граф. Я?

Вальдемар. Вы! Герцог уже был здесь. Вот его перчатка!

Показывает. Всеобщий ропот.

Вот здесь стояла его нога. Он был на свидании с вашей дочерью.

Крики негодования.

Граф. Вы ошибаетесь, рыцарь. Хотя герцог и против нашей воли входил в наш дом, но он не вор, чтобы ползти в лазейку для лисиц, когда ворота открыты ему настежь. Мы не имеем оснований любить герцога, но в уважении его сану мы отказать не можем. И хотя вы — друг герцога, но вы слишком плохо знаете его, допуская, что он может отнять честь у своей невесты и ее отца. Ищите его в другом месте... быть может, в попутном кабачке!

Теперь ропот с другой стороны. Бароны громко хохочут.

Вальдемар. Тогда я обыщу весь замок!

Граф. Обыщите. Впрочем... Астольф, поди сюда. Вы уверены, рыцарь, что герцога с вами нет? Это беспокоит меня: я боюсь, не стал ли он жертвой преступления со стороны некоего проходимца... Только самому герцогу, с глазу на глаз, хотел открыть я эту тайну, но раз вы его друг... Рыцари, пусть позор падет на голову графини и ее отца: она не верна герцогу — невеста изменила жениху!

Э л ь з а. Где Генрих? Я схожу с ума,— зачем все эти факелы? От них такой страшный свет; я ничего не вижу. Генрих!

Г р а ф. Какое искусное притворство! А давно ли... Впрочем, расскажи ты, Астольф.

А с т о л ь ф. Граф призвал меня сюда,— вот на этой ступеньке мы стояли...

Г р а ф. Короче, старик, короче!

А с т о л ь ф. И кто-то, одетый, как слуга, в плаще дешевом, обнимал графиню.— «Какое несчастье,— сказал мне граф,— графиня Эльза изменяет жениху: никогда этого не было в нашем благородном...»

Г р а ф. Короче, старик!

А с т о л ь ф. «Возьми же ты, Астольф, трех слуг,— сказал мне граф,— и возьми ты, Астольф, свинцу побольше и камней потяжелее, чтоб привязать к ногам, и жди ты, Астольф... и схвати ты, Астольф...»

В а л ь д е м а р. О, небо праведное! И ты сделал это, старик? Но ты же не слеп; речь твоя тиха и сбивчива, но глаза горят, как у волка... Да говори же, старик, где герцог?

Молчание.

Г р а ф *(протягивая руку)*. Он там, на дне пруда.

Движение.

Э л ь з а. Генрих! Мой призрак с горячими губами! Я иду к тебе, Генрих!

Падает и умирает.

В а л ь д е м а р. Ты зверь, а не отец. Эй, взять его и заковать в цепи: мы в клетке повезем его, как волка. Именем императора,— назад, бароны! Со всех сторон поджигайте замок, проклятое гнездо, лишенное птенцов! Пусть вихрь огня поднимется средь ночи! Это будет твоим брачным торжеством, мой герцог, мой Генрих, мой несчастный друг!

З а н а в е с

ПРЕКРАСНЫЕ САБИНЯНКИ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Дикая, неблагоустроенная местность. Рассвет. Вооруженные римляне волокут из-за горы похищенных сабинянок, полуодетых красивых женщин. Они сопротивляются, визжат, царапаются; и только одна совершенно спокойна и, кажется, спит на руках несущего ее римлянина. Вскрикивая от боли при новых царапинах, похитители торопливо сваливают женщин в кучу, а сами поспешно отскакивают в сторону, оправляются, едва могут дышать. Визг стихает. Женщины тоже оправляются, недоверчиво следя за движениями похитителей, шепчутся, тихо щебечут.

Разговор римлян.

— Клянусь Геркулесом, я мокр от испарины, как водяная крыса. Мне кажется, что моя весит не меньше двухсот килограммов.

— Не нужно было гнаться за самой большой. Я взял маленькую, худенькую и...

— А что у тебя с лицом? Неужели это маленькая, худенькая?

— Увы! Она царапается, как кошка.

— Они все царапаются, как кошки! Я был в сотне сражений: меня били мечами, палками, камнями, стенами и воротами, но еще ни разу мне не было так скверно. Я боюсь, что мой римский нос сейчас никуда не годится.

— А если бы я не брился наголо — как все древние римляне, у меня не осталось бы ни одного волоска. У них, знаете ли, очаровательные тонкие пальцы с изумительно острыми ноготками. Вы говорите: кошки! Ах, но что такое кошки?.. Моя ухитрилась выдергивать даже пух и трудолюбиво всю дорогу занималась этим. Даже замолчала!

Высокий толстый римлянин *(говорит басом)*.

А моя забралась под латы и щекотала меня под мышками. Я всю дорогу хохотал.

Среди сабинянок тихий, ядовитый смешок.

— Тише, они нас слышат. Господа, оправьтесь и бросьте жалобы; нехорошо, если с первого же дня они перестанут нас уважать. Посмотрите на Павла-Эмилия — вот человек, который держится с достоинством.

— Он сияет, как Аврора!

— Клянусь Геркулесом! У него ни единой царапины. Как ты это сделал, Павел?

Павел *(с притворной скромностью)*. Не знаю. Она с первой минуты привязалась ко мне, как к мужу. Я поднял ее на руки, она с готовностью обняла меня за шею, и если чего я и боялся, так только того, что она удушит меня в объятиях: у нее тонкие, но очень сильные руки.

— Вот счастливец!

— Но ведь это же так просто! Ее доверчивое невинное сердце шепнуло ей, что я искренно люблю ее и уважаю, и вы, пожалуй, не поверите: полдороги она спала как убитая.

Толстый римлянин. Но позвольте, господа римляне: как же мы теперь узнаем каждый свою? Мы похищали их в темноте, как кур из курятника.

Из кучки примолкших сабинянок доносится негодующий возглас: «Какое гнусное сравнение!»

— Тише: они нас слышат.

Толстый римлянин *(понижая голос до октавы)*. Как же мы теперь разберемся? Моя была очень веселая, и я никому ее не уступлю. Вообще я не позволю наступать себе на ногу.

— Какие глупости!

— Мою я узна́ю по ее голосу: кажется, до самого Рождества Христова я не в состоянии буду забыть ее визга.

— Мою я узна́ю по ее ноготкам.

— Мою — по дивному запаху ее волос.

Павел. А я мою — по кротости и красоте души. О римляне, вот мы на пороге новой жизни! Прощай, томительное одиночество! Прощайте, бесконечные ночи с их проклятыми соловьями! Пусть теперь поет соловей или какая угодно птица,— я готов.

Толстый римлянин. Да, пора приступить к семейной жизни.

Со стороны женщин иронический возглас: «Да, как же, попробуйте, приступите».

— Тише: они нас слышат.

— Пора, пора.

— Господа римляне, кто первый?

Молчание. Все стоят неподвижно. Среди женщин тихий, ядовитый смех.

Толстый римлянин. Я уже достаточно хохотал. Пусть похохочут другие. И вообще я не позволю наступать себе на ногу. Эй, ты, Павел, выходи!

— Чудовище! Разве ты не видишь, что моя еще спит. Вон, посмотри: темный клубочек под камнем,— это она. О, невинное сердце!

Сципион. По вашим позам, господа римляне, полным нерешительности и справедливой тревоги, я вижу, что в одиночку никто не осмелится подойти к этим безжалостным созданиям. И вот мой план, господа древние римляне...

Толстый римлянин. Ну и голова у этого Сципиона!

Сципион. Вот мой план: двинемся все сразу, укрываясь друг за друга и вообще не торопясь. Если уж мы не побоялись их мужей...

Толстый римлянин. Ну, мужья — это что!

Среди женщин громкие вздохи и демонстративный плач.

— Тише — они слышат.

— Опять ты, Марк-Антоний, со своей глоткой! И вообще нужно избегать этого несчастного слова: мужья,— вы видите, как оно ужасно действует на бедных женщин. Итак, господа, согласны ли вы на мой план?

— Согласны, согласны.

— Итак, господа!..

Римляне готовятся к нападению, женщины — к защите: вместо очаровательных лиц видны одни только острые ноготки, готовые впиться в лицо и волосы. Тихое, как у змей, шипение. Римляне наступают согласно плану, то есть укрываясь друг за друга; но это приводит их к тому, что все они пятятся назад и скрываются за кулисы. Среди женщин смех, римляне выходят растерянные.

— По-видимому, в твоем плане, Сципион, есть какой-то недостаток. Намереваясь прийти, мы ушли,— как сказал бы Сократ.

Толстый римлянин. Я ничего не понимаю.

Павел. Господа римляне, будем смелы. И что такое одна или две царапины, раз впереди — неземное блаженство? Вперед, господа римляне, на абордаж!

Римляне нестройной толпой — за исключением Павла, мечтательно глядящего в небо,— бросаются на женщин, но через мгновение молчаливого боя поспешно отступают. Молчание. Все ощупывают свои носы.

Сципион *(в нос)*. Вы заметили, господа, что они даже не визжали? Скверный признак! Я предпочитаю женщину, когда она визжит.

— Как же быть?

— Я хочу семейной жизни!

— Я хочу семейного очага! Что за жизнь, когда нет семейного очага? Довольно, черт возьми, мы основывали Рим, надо же и отдохнуть!

Сципион. К сожалению, среди нас, господа древние римляне, нет ни одного человека, который хорошо знал бы психологию женщины. Занятые войнами и основанием Рима, мы огрубели, потеряли лоск и забыли, что такое женщина...

Павел *(скромно)*. Не все.

Сципион. Но ведь были же у этих женщин мужья, которых мы вчера побили? Отсюда я заключаю: есть какой-то особый, таинственный способ приблизиться к женщине, которого мы не знаем. Как его узнать?

Толстый римлянин. Надо расспросить самих женщин.

— Они не скажут.

Среди женщин ядовитый смех.

— Тише — они слышат!

Сципион. Но вот какой придумал я план...

Толстый римлянин. Ну и голова у этого Сципиона!

— ...Наши очаровательные похитительницы — не кажется ли вам, господа, что не мы их похитили, а они нас? — занятые тем, чтобы царапать наши лица, выдергивать пух, щекотать под мышками, просто не могут нас слышать. А раз они не могут слышать, то мы не можем их убедить. А раз мы не можем их убедить,— они не могут быть убеждены. Это факт!

Римляне, повторяя: «это факт», впадают в мрачное состояние. Женщины прислушиваются.

Сципион. И вот мой план: выберем из своей среды парламентера, согласно военным обычаям, и то же предложим сделать нашим обворожительным врагам. Надеюсь, что, под защитой белого флага, представители воюющих сторон, находясь в полной безопасности *(трогает себя за нос)*, в состоянии будут прийти к определенному, говоря по латыни, модусу вивенди. И тогда...

Римляне перебивают его блестящую речь, разражаясь криками: «ура». Единогласно выбирают парламентером Сципиона, и тот с белым флагом осторожно приближается к женщинам, говоря назад: «Вы же не очень далеко отходите, ребята».

Сципион *(вкрадчиво)*. Прекрасные сабинянки, пожалуйста, пожалуйста, не трогайтесь с места: вы видите, что я под защитой белого флага. Белый флаг священен, я уверяю вас, и личность моя неприкосновенна, честное слово! Прекрасные сабинянки, только вчера мы имели удовольствие похитить вас, а уже сегодня между нами начались несогласия, распри, странные недоразумения.

Клеопатра. Какая наглость! Вы напрасно думаете, что если вы надели на палку эту белую тряпку, то вы можете говорить нам всякие гадости!

Сципион *(вкрадчиво)*. Помилуйте — какие гадости? Наоборот, я очень рад, то есть, вернее, мы все очень несчастны и *(с отчаянной решимостью)* сгораем от любви, клянусь Геркулесом! Сударыня, я вижу, вы сочувствуете нам, и осмелюсь просить вас о маленьком одолжении: выберите, как и мы, из вашей среды парлам...

Клеопатра. Знаем, уже слыхали, не притворяйтесь.

Сципион. Но мы же говорили тихо?

Женские голоса.

— А мы все равно слыхали.

Клеопатра. Ступайте с вашей тряпкой на свое место и подождите. Мы посоветуемся друг с другом. Нет, нет, пожалуйста, подальше. Мы не желаем, чтобы нас подслушивали. А это что за молокосос с разинутым ртом? *(Указывает на мечтающего Павла)*. Уберите его, пожалуйста.

Римляне, шепча: «дело налаживается», на цыпочках отходят; некоторые добросовестно затыкают себе уши.

Разговор сабинянок.

— Какая наглость! Какое издевательство! Так гнусно пользоваться своей силой — о, наши бедные мужья!

— Клянусь: я лучше выцарапаю тысячи глаз, чем хоть на йоту изменю моему несчастному мужу! Спи спокойно, дорогой друг, я бодрствую на охране твоей чести!

— И я клянусь!

— И я клянусь!

Клеопатра. Ах, дорогие мои подруги: мы все клянемся, но что толку в этих клятвах: — эти люди так невоспитанны и грубы, что они не могут оценить клятвы. Я моему изгрызла нос...

— А ты помнишь своего?

Клеопатра *(с ненавистью)*. Я не забуду его до гробовой доски! От него так пахло латами и мечом, и вообще

грубым солдатом, он так неосторожно тискал меня... Мой бедный, дорогой муж!

— От них от всех пахнет солдатом.

— И они все ужасно тискаются! Может быть, у них так принято?

— Когда я была еще совсем девочкой, к нам пришел солдатик и сказал, что он из той далекой стороны, где...

Клеопатра. Господа! Сейчас не место воспоминаниям!

— Но этот солдатик...

— Ах, Юноночка, клянусь Венерой, нам не до твоего солдата, когда у нас свои на шее! Как же нам быть, дорогие подруги? Я вот что предложу вам...

Подходит проснувшаяся Вероника, сабинянка почтенного возраста и тощая, и, томно щуря глаза, перебивает:

— А где же они? Почему они так далеко? Я хочу, чтобы они подошли ближе. Мне очень стыдно, когда они далеко. Я была все время в обмороке и теперь не могу найти: где мой мальчик, который нес меня. От него пахло солдатом!

Клеопатра. Вот он стоит, разинув рот.

Вероника. Я пойду к нему: мне стыдно.

Клеопатра. Держите ее! Ах, Вероника, неужели ты уже забыла своего несчастного мужа?

Вероника. Клянусь, я буду его любить вечно. Но отчего мы не идем туда? Вы чем-то озабочены, дорогие подруги? Впрочем, я на все согласна: пусть они сами идут сюда. Мужчины непозволительно зазнаются, как только на них взглянешь без гнева.

Клеопатра. Итак, мои милые подруги: первое, что я предложу, это поклянемся, что мы никогда не изменим нашим дорогим, несчастным мужьям. Пусть делают с нами, что хотят, но мы останемся верны, как Тарпейская скала. Когда я вспомню, как он теперь скучает без меня, как тщетно взывает он к пустому ложу: «Клеопатра! О, где ты, Клеопатра!..» Когда я вспомню, как он меня любил...

Все плачут.

Поклянемся же, дорогие подруги, а то они ждут.

— Клянемся, клянемся! Пусть делают с нами, что хотят, но мы останемся верными!

Клеопатра. Теперь я спокойна за наших мужей. Спите спокойно, дорогие друзья! Дальше, милые подруги: выберем, согласно их желанию, парламентерку, и пусть она...

— Выцарапает ему глаза!

— Нет, пусть она скажет негодяю всю правду. Они ведь думают, что мы умеем только царапаться,— пусть они узнают, как мы говорим!

Вероника *(пожимая худыми плечами)*. О чем тут говорить, когда сила на их стороне!

Клеопатра. Держите ее! Ах, Вероника, сила не есть еще право, как сказано в Римском праве. Пустите меня, и я им докажу, что они не имеют права нас держать, что они обязаны нас отпустить. Что по законам божеским и человеческим и вообще, как там говорится, они поступили прямо по-свински.

Голоса:

— Иди, иди, Клеопатра.

— Держите Веронику.

Клеопатра. Эй вы, парламентер с белой тряпкой! Идите-ка сюда, мне надо с вами поговорить.

Сципион. Прикажете снять меч?

Клеопатра. Нет, зачем же: не думайте, что мы боимся ваших мечей. Да, пожалуйста, не бойтесь: я вас не укушу... Однако вчера, когда вы ночью ворвались в наш мирный дом и грубо вырвали меня из объятий моего несчастного мужа, вы не были так трусливы... Да идите же наконец!

Сципион осторожно подходит. Римляне и сабинянки, расположившись по сторонам сцены в две симметричные группы, внимательно следят за разговором.

Сципион. Я так счастлив, сударыня...

Клеопатра. Вы счастливы? Ну так я вам скажу: вы негодяй, вы с ума сошли, вы разбойник, грабитель, вы убийца, злодей, чудовище, изверг! Это безбожно, отвратительно, возмутительно, неслыханно, невиданно!..

Сципион. Сударыня!

Клеопатра. Вы мне противны, вы мне отвратительны, я вас видеть не могу, от вас пахнет солдатом! Если бы ваш нос не был так исцарапан, я бы...

— Позвольте, это вы же и исцарапали!

— Я! Так это вы тот самый, который... *(Смотрит на него с презрением.)* Простите, я вас не узнала.

— *(Радостно.)* А я вас сразу узнал. Не правда ли, что ваши волосы пахнут вербеной?

— А вам какое дело, чем они пахнут? Вербена — духи не хуже других.

— Я и говорю...

— Мне дела нет до ваших слов. Я же не говорю, чем от

вас пахнет — и вообще, что это за странный разговор о запахах. Я прошу вас, милостивый государь, как честного человека, сказать нам прямо и открыто: чего вы от нас хотите?

Сципион скромно потупляет глаза; но, не выдержав, фыркает в кулак. Фыркают все римляне, и среди женщин негодование.

Клеопатра *(краснея)*. Фыркать не значит отвечать! Это гнусно! Я вас спрашиваю: чего вы от нас добиваетесь? Вам, надеюсь, известно, что все мы замужем?

— Как вам сказать, сударыня?.. С другой стороны, мы также намерены предложить вам руку и сердце...

— Ага! Значит, это серьезно? Но вы с ума сошли!

— Сударыня! Взгляните на нас: мы не какие-нибудь ловеласы с Невского! Мы только что основали Рим и пылаем желанием увековечить... Войдите в наше положение, сударыня, и пожалейте нас! Неужели вы не пожалели бы ваших, например, мужей, если бы они в один прекрасный день остались совсем без женщин? Мы одиноки, сударыня!

Толстый римлянин. Одиноки!

Вероника *(утирая глаза)*. Мне их жалко.

Сципион. Средь бурь военной непогоды, занятые основанием Рима, мы упустили, так сказать, момент, когда... Сударыня, мы от души жалеем ваших мужей...

Клеопатра *(с достоинством)*. Вы меня радуете, сударь.

— Но какого же черта они вас отдали?

Римляне радостно подтверждают: «так, так, Сципион!» — но женщины в негодовании. Слышны возгласы: «Это гнусно! Он оскорбляет наших мужей! Это инсинуации!»

Клеопатра *(сухо)*. Если вы хотите продолжать переговоры, то я прошу вас отзываться о наших мужьях с уважением.

Сципион. С удовольствием! Но, сударыня, как бы мы их ни уважали, мы не можем не признать, что они недостойны вас! В то время, как вы раздираете нам сердце вашими нечеловеческими страданиями; когда ваши горячие слезы, вызванные утратой, льются подобно горным рекам весною; когда даже камни, содрогаясь от жалости, ропщут и стонут; когда ваши очаровательные носы, теряя форму, начинают пухнуть от жестоких слез...

— Это неправда!

— Когда вся природа и так далее — где же в это время находятся ваши мужья? Я их не вижу. Их нет! Они отсутствуют! Они вас покинули! Скажу, рискуя вызвать ваш гнев: они вам подло изменили!

Римляне гордо подбочениваются. Среди женщин волнение и слезы. Спокойный голос Прозерпины: «Отчего они и в самом деле не идут? Пора бы!»

Клеопатра. Это звучит очень гордо, милостивый государь, и вашей позе я не могу отказать в красоте, но как поступили бы вы, если бы ночью пожелали нас похитить?

Сципион. Мы будем бодрствовать всю ночь!

— А днем?

— А днем тогда вы сами не уйдете.

Томный голос Вероники: «Почему они так далеко? Мне стыдно, когда они так далеко. Я хочу, чтобы они были ближе!» И шепот женщин: «Держите ее!»

Клеопатра. Какая самоуверенность! Но мне жаль вас, сударь: правда, я не могу отказать вам в чувстве почтительности и уважения к нашим страданиям, но ваша молодость вовлекает вас в ошибки. Сейчас я приведу вам аргумент, который сразу разрушит вашу чудесную мечту и, надеюсь, заставит вас даже покраснеть. А дети, милостивый государь?!

Сципион. Какие дети?

— Дети, которых мы оставили?

— Признаюсь, сударыня, это вопрос серьезный. Позвольте удалиться мне на минуту для совещания с товарищами.

Клеопатра идет к своим. Сципион к своим. Шепотом совещаются.

Сципион. Сударыня!

Клеопатра. Я слушаю!

— Мои товарищи, господа древние римляне, после продолжительного совещания, поручили передать вам, что у вас будут новые дети.

Клеопатра *(пораженная)*. Ага! Вы так думаете?

— Мы клянемся! Господа, клянитесь!

Римляне клянутся нестройным хором.

Клеопатра. Но у вас здесь очень некрасиво.

Сципион *(обиженно)*. У нас?

— Да. Ужасная местность! Горы, буераки, вообще что-то непонятное. Зачем здесь лежит этот камень? Уберите его, пожалуйста.

— Сударыня *(убирая камень)*.

— Какие-то деревья! Это Бог знает что, я здесь задыхаюсь! Пожалуйста, что это за глупое дерево? Вы сконфужены, милостивый государь? Впрочем, позвольте мне удалиться: кажется, я должна вам дать какой-то ответ.

Сципион. То есть как: какой-то?

— Вы о чем-то спрашивали, кажется?

— Я? Простите, сударыня, я немного одурел! О чем я вас спрашивал?

— Ну вот! Теперь вы оскорбляете меня.

— Я?

— Ну да. Вы говорите, что вы одурели!

— Я?

— Не я же! Вы забываетесь, милостивый государь!

— Я?

— Впрочем, я удаляюсь. Оправьтесь, милостивый государь, пока мы будем совещаться: на вас жалко смотреть! У вас есть носовой платок? Вытрите лицо: оно у вас так потно, будто вы целый день таскали камни!

Намеревается уйти.

Сципион. Нет, сударыня, позвольте: я, кажется, действительно таскал какой-то камень, но ведь это вы же меня заставили!

Клеопатра. Я? И не думала!

— Позвольте, сударыня, но в чем же дело?

— А я почем знаю: это ваше дело, а не мое!

— Вы, кажется, смеетесь надо мною.

— А вы заметили?

— Я не позволю смеяться!

— Как же вы это сделаете?

— Я, слава Богу, еще не муж!

— Ага! Теперь уже: слава Богу! Недурно, сударь! Хороши мы были б, если бы поверили вашим клятвам *(к своим)*. Вы слышите: они уже радуются, что мы не их жены!

— Нет, это невозможно! Или вы прекратите...

— Или...

— Или уходите домой! Да, да, уходите-ка домой, сударыня! Довольно! Клянусь Геркулесом, мы не для того основывали Рим, чтобы вязнуть в ваших нелепых рассуждениях, как мухи в варенье!

— Нелепых?

— Да, да, идиотских!

Клеопатра *(плачет)*. Вы меня оскорбляете.

— О Юпитер, теперь она плачет! Что вам надо, сударыня? Чего вы ко мне привязались? Хоть я и древний римлянин, но я, ей-Богу, сейчас с ума сойду! Да перестаньте же плакать, я ничего не понимаю, что вы там бормочете!

Клеопатра *(плача)*. Вы нас отпускаете?

— Да, да! Товарищи! Господа древние римляне! Вы слышали? У меня больше нет сил!

Толстый римлянин. Пусть уходят: мы отберем жен у этрусков.

Сципион. Это не женщины, а...

Клеопатра *(плачет)*. Честное слово?

Сципион. Да что честное слово?

— Вы нас отпустите? Может быть, вы это говорите нарочно? А как только мы захотим уйти, вы нас схватите?

— Да нет же — уходите. Вот привязалась!

— А вы нас отнесете?

— Что такое?

— Ну да, как вы не понимаете? Раз вы нас принесли сюда, так вы должны отнести и назад. Тут очень далеко.

Женщины ядовито смеются. Сципион, задыхаясь от гнева, мечет бешеные взгляды, что-то хочет сказать, но, топнув ногой, идет к своим. Все римляне демонстративно оборачиваются к женщинам спиной и так сидят во время дальнейшего. Женщины спокойно совещаются.

Клеопатра. Вы слыхали, дорогие подруги: нас отпускают.

Вероника. Да, это ужасно!

— Нет, скажите лучше: прогоняют! Это возмутительно: похитить ни в чем не повинных женщин, взбудоражить среди ночи весь дом, перевернуть всю мебель, разбудить детей, а теперь извольте: мы им не нужны!

— А наши бедные мужья! За что же они пострадали?

— Нет, вы подумайте: ночью, когда все спят!

— А вы знаете дорогу отсюда?

— Неужели вы думаете, что я наблюдала за дорогой? — конечно, нет. Знаю, что только ужасно далеко.

— Но ведь они нас не понесут.

Тихий смех. Вероника стонет.

— Ах, мой бедный мальчик! Смотрите: они и его заставили сесть спиной. Я пойду к нему.

— Да подождите же, Вероника: не уйдет от вас ваш мальчик. Нам надо поговорить.

Прозерпина. А я думаю, не все ли равно, какие мужья, те или эти. И те хороши и другие хороши. Ведь я знаю, что от меня первым делом потребуют, чтобы я приготовила горячую похлебку. И мне даже нравится, что муж будет новый: тому уже надоело мое меню, а этот ротозей будет рад.

Клеопатра. Это цинизм, Прозерпина! Нас осудит история.

— Ах, много понимает история в наших делах. И тут у них очень недурно.

Клеопатра. Вы ужасны, Прозерпина!.. Ах, если б они нас подслушали! Но вот мой план, дорогие подруги: кончено, мы немедленно уйдем домой к нашим дорогим, покойным мужьям. Но идти далеко, мы так устали...

— У меня совершенно расстроены нервы!

— Никакое здоровье этого не выдержит. Вдруг среди ночи взбудоражить весь дом...

Клеопатра. Останемся здесь дня на два и отдохнем — ведь это ни к чему нас не обязывает? А они будут так рады и, видя наш веселый и кроткий нрав, легче расстанутся с нами. Признаюсь, мне моего было несколько жаль: с его носом делается что-то ужасное!

— Но только на два дня!

— Я думаю, и одного будет достаточно. Мы немного погуляем... Идите скорее, Клеопатра, они, кажется, уже заснули.

Клеопатра. Сударь!

Сципион *(не оборачиваясь)*. Что угодно?

— Подите-ка на минутку.

— К вашим услугам.

— Мы решили воспользоваться вашим великодушным предложением и немедленно уходим. Вы не сердитесь?

— Нет.

— Но раньше мы хотели бы немного отдохнуть. Вы позволите пробыть нам здесь день или два? Пока мы оправимся? У вас очень красивая местность.

Все римляне разом поворачиваются и вскакивают на ноги.

Сципион *(в экстазе)*. Дорогая сударыня, да что местность! Да что — о, Юпитер! Сударыня, клянусь Геркулесом! Клянусь Венерой! Клянусь Вакхом! Сударыня, будь я трижды анафема, если... Клянусь Афродитой! Господа древние римляне! На абордаж!!

Клеопатра. Мы пойдем немного погулять, не правда ли?

— Сударыня!.. Господа древние римляне! Шагом марш! Соблюдать очередь! Правой, левой! Ряды вздвой!

Подхватывает Клеопатру под руку и волочит ее в горы. За ним по команде, подхватив каждый свою сабинянку, гордо марширують остальные.

— Левая, правая, левая, правая! Раз, два, раз, два!

Мечется по сцене один Павел-Эмилий, жалобно восклицая:

— Где же она? Господа древние римляне, погодите! Я потерял ее! Где же она?

Вероника стоит, скромно опустив глаза, как невеста. Павел сослепу налетает на нее.

— Виноват! Сударыня, вы не видали ее?

— Глупый!

— Я?

— Да! Ты — глупый.

— Да за что же вы ругаетесь?

— Ругаюсь? О... глупый! Разве ты не видишь? О дорогой мой мальчик — я тридцать лет ждала тебя. На̀ — возьми.

— Что?

— Меня! Ведь это я — она. О глупый!

— Вы? Нет, не вы.

— Нет, я.

— Нет, не вы.

Садится на пол и плачет.

Вероника. Слушай, мы остались здесь одни — мне стыдно. Идем.

— Это не вы.

— А я тебе говорю, что это я, черт возьми! Скажите пожалуйста: тот твердит тридцать лет, что это не я, этот молокосос — тоже! Руку!

Павел *(воет, с ужасом)*. Это не вы! Ай, ай, ай, спасите! Она меня по-хи-ща-ет!

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

До последней степени мрачная картина, изображающая печальное положение ограбленных мужей. Очень возможно, что идет дождь, свистит ветер, и черные тучи закрывают небо, но очень возможно, что все это только кажется. Ужасно! (Было бы желательно показать в самом пейзаже, что мужьям хочется выть от тоски.)

При открытии занавеса расположение действующих лиц таково: по бокам, в две симметричные группы, часть сабинян занимается гимнастикой. Вторя движениям рук, они шепчут сосредоточенно: «пятнадцать минут ежедневного упражнения — и вы будете совершенно здоровы». Посередине, на длинной скамейке рядом сидят мужья, имеющие детей, и каждый держит на руках младенца. Головы уныло склонены набок, вся поза выражает стилизованное отчаяние. Ужасно! Долгое время только и слышен зловещий шепот: «пятнадцать минут ежедневного упражнения — и вы...»

Входит Анк Марций, издали показывая письмо.

Марций. Адрес, господа сабиняне! Получен адрес наших жен! Адрес, господа, адрес!

Тихие голоса:

— Слушайте! Слушайте! Адрес, получен адрес!

Анк Марций быстро вынимает из кармана колокольчик и звонит.

— Тише! Тише!

Марций. Господа сабиняне! История не упрекнет нас ни в медлительности, ни в нерешительности. Ни медлительность, ни нерешительность не присущи характеру сабинян, буйный, стремительный нрав которых едва сдерживается плотинами благоразумия и опыта. Вспомните, ограбленные мужья, куда бросились мы в то достопамятное утро, которое наступило за той достопамятной ночью, когда эти разбойники гнусно похитили наших несчастных жен? Вспомните, сабиняне, куда несли нас резвые ноги, пожирая пространство, уничтожая случайные препятствия и грохотом своим наполняя страну? Да вспомните же, господа!

Сабиняне кротко молчат.

— Да ну же! Вспомните же, господа!

Робкий голос. Прозерпиночка, дружочек, где ты? — ау!

Сабиняне молчат и с восторгом ожидания смотрят в рот оратору. Анк Марций, не дождавшись ответа, восклицает патетически:

— В адресный стол — вот куда! Но вспомните, господа, наше горе: адресный стол, это отжившее учреждение, еще ничего не знал и дал нам справку на прежний адрес! И целую неделю он давал нам все ту же убийственно-ироническую справку, пока наконец не дал вот этой, горчайшей (*читает*): «Выбыли неизвестно куда». Но успокоились ли мы, сабиняне? — вспомните!

Сабиняне молчат.

— Нет, мы не успокоились! Вот сухой, но красноречивый перечень того, что мы сделали в эти краткие полтора года. Мы поместили объявление в честных газетах с обещанием дать награду нашедшему. Мы пригласили всех наличных астрологов, и каждую ночь по звездам они угадывали адрес наших несчастных жен...

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

— Мы погубили тысячи кур, гусей и уток, мы взрезали животы всем кошкам, пытаясь по внутренностям птиц и животных угадать роковой адрес. Но — увы! — наши нечеловеческие труды по воле богов не увенчались успехом. Вспомните, господа сабиняне... впрочем, не надо, я так скажу: ни опытное знание, ни неопытное не дали нам ответа. Сами небесные светила, к которым с тоской и вопросом обращались наши взоры, соглашались ответить, но не больше, чем

адресный стол: выбыли, выбыли, выбыли... а куда? — неизвестно!

Сабиняне тихо плачут.

Робкий голос. Прозерпиночка — ау!

— Да, господа сабиняне: странный ответ со стороны небесных светил, если принять в расчет, что оттуда не видно! Но... продолжаю с гордостью перечень наших дел. Вспомните, господа, чем занимались наши ученые юристы, пока астрологи гадали по звездам? Да ну же!

Сабиняне молчат.

— Да вспомните же, господа!.. Ведь так с вами трудно говорить! Стоите, как статисты, ей-Богу! Я уверен, что вы помните, только стесняетесь говорить. Да ну же, господа! Ну? Ну? Ну вспомните: что делали наши юристы, пока...

— Прозерпиночка — ау!

— Да постойте, не мешайте с вашей Прозерпиночкой! Ну, я помогу вам, господа: вспомните, зачем вы занимались гимнастикой? Да ну же?

Робкий голос из задних рядов. Чтобы развить мускулы.

— Ну конечно! Прекрасно... ну, а зачем нам нужны мускулы? Да ну же! С вами, господа, всякое терпение лопнет. Вспомните: зачем нам, сабинянам, нужны мускулы?

Нерешительный голос. Чтобы драться?

Марций в отчаянии поднимает руку к небу.

— О, небо! Драться! И это говорит сабинянин, друг закона, опора порядка, единственный в мире неподдельный образец правового сознанья! Драться! Мне стыдно за эту хулиганскую выходку, достойную разбойника-римлянина, гнусного похитителя законнейших жен!

— Прозерпиночка — ау!

— Да замолчите вы с вашей Прозерпиночкой! Тут вопрос о принципах, а он о Прозерпиночках! Я вижу, господа, что утрата несколько затмила вашу блестящую память, и повторяю вкратце: мускулы нужны нам для того, чтобы, поднявшись походом на римлян после того, как станет известен адрес — понимаете? — нести всю дорогу очень тяжелый свод законов, собрание узаконений и кассационных решений, а также — понимаете теперь? — те четыреста томов изысканий, которые добыли наши юристы по вопросу о законности наших браков — что, поняли? — и незаконно-

сти похищения! Наше оружие, господа сабиняне,— наше право и чистая совесть! Гнусным похитителям мы докажем, что они — похитители; нашим женам мы докажем, что они действительно похищены. И небо содрогнется, ибо адрес получен, и дело в шляпе. Вот!

Потрясает письмом, сабиняне на цыпочках заглядывают.

— Заказное письмо за подписью: раскаивающийся похититель. В нем неизвестный друг выражает свое раскаяние по поводу необдуманного поступка, уверяет, что никогда больше похищать не будет, и умоляет судьбу смилостивиться над ним. Имя неразборчиво; большая клякса, по-видимому, от слез. Вот что значит совесть! Кстати, он сообщает, что сердца наших жен разбиты...

— Прозерпино...

— Послушайте наконец: с вашей Прозерпиночкой вы не даете мне сказать слова! Поймите же, что ваша Прозерпиночка — частность. В то время, как все мы с таким воодушевлением разрабатываем общие вопросы, создаем план,— я сейчас скажу о нем,— готовимся к поражению или смерти, вы скулите о какой-то Прозерпиночке! От лица собрания выражаю вам порицание. Итак, господа, в поход! Слушать команду! Стройтесь в ряды... да поживее, господа! Это возмутительно, вы до сих пор не отличаете правой от левой! Куда? Куда? — стойте!

Хватает сбившегося сабинянина и учит:

— Чтобы узнать, где правая, станьте — смотрите на меня! — станьте лицом к северу... или нет, станьте лицом к югу, а спиной к востоку... да где у вас лицо? Ведь это же не лицо, а спина, ведь вот же ваше лицо! Поняли? — ну, больше не могу, смотрите у соседей, где правая. Теперь, господа, у кого есть перочинные ножи? Выверните карманы. Так! А зубочистки? Оставить! Ни намека на насилие, господа, ничего колющего и режущего: наше оружие — наше право и чистая совесть! Теперь каждый берет по тому законов и изысканий... так... надо бы переплести, да уж потом... вот что значит мускулы! Так, так! Трубачи, вперед! Помните же: марш ограбленных мужей! Впер... Позвольте, а вы помните, как идти?

Сабиняне молчат.

— Нет? Ну, я вам напомню. Два шага вперед — шаг назад. Два шага вперед — и шаг назад. В первых двух шагах мы должны выразить, сабиняне, весь неукротимый пыл наших буйных душ, твердую волю, неудержимое стремление вперед. Шаг назад — шаг благоразумия, шаг опыта и зрелого

ума! Делая его, мы обдумываем дальнейшее; делая его, мы как бы поддерживаем великую связь с традицией, с нашими предками, с нашим великим прошлым. История не делает скачков! А мы, сабиняне, в этот великий момент — мы история! Трубачи — трубите!

Трубы заунывно воют, то судорожно дергаясь вперед, то плавно оттягивая назад и таща за собою все войско ограбленных мужей. Делая два шага вперед и шаг назад, они медленно проходят сцену [1].

Занавес падает. Трубы заунывно воют, и вторая картина переходит в третью.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Первая дикая местность. Зачатки благоустройства. У одной из хижин стоит римлянин в ленивейшей позе и блаженно ковыряет в носу. Из-за левой кулисы показывается войско мужей, сосредоточенно шагающее в том же первоначальном темпе: два шага вперед — и шаг назад. Первую минуту, при виде их, римлянин как бы слегка оживляется и даже приостанавливает изыскания в носу, смотрит с благодушным любопытством; но медленное движение, по-видимому, снова усыпляет его: зевает, истомно потягивается и тихо опускается на камень. По знаку А н к а М а р ц и я трубы смолкают.

А н к М а р ц и й *(отчаянно кричит)*. Стойте, господа сабиняне! Да стойте же!

Сабиняне останавливаются как вкопанные.

А н к М а р ц и й. Да стойте же! О, боги, какими силами можно удержать падающую лавину? — какими силами... Слава Богу, стали! Слушайте команду! Трубачи — назад! Профессора — вперед! Остальные — смирно!

Трубачи отступают, профессора выступают, остальные стоят как вкопанные.

А н к М а р ц и й. Профессора — готовься!

Профессора быстро опускаются на корточки, раскладывают маленькие столики, кладут на каждый по толстой книге и с шумом откидывают крышки переплетов — получается подобие батареи. Проснувшийся римлянин — Сципион — видимо, заинтересован и с участием спрашивает:

— В чем дело, господа? Не могу ли я служить... Но если это цирк, то должен вас предупредить: Колизей еще не окончен.

А н к М а р ц и й *(равнодушно)*. Молчи, гнусный похититель. *(К своим.)* Итак, мы у вожделенной цели, господа

---

[1] Петербургский театр «Кривого зеркала» очень удачно применил здесь Марсельезу: первые два такта, отзвучав торжественно и бодро, переходят в нечто заунывно-попятное... как бы в мучительную отрыжку.

сабиняне. Позади нас — путь долгих лишений, голода, одиночества, консервов; впереди — неслыханная в истории битва. Воодушевитесь, господа сабиняне, овладейте собой, успокойтесь, сдержите чувство естественного негодования и спокойно ждите роковой развязки. Вспомните, сабиняне: зачем мы сюда пришли?

Сабиняне молчат.

— Да вспомните же, господа! Ведь не гулять же мы шли сюда с этими книжищами? Да вспомните же, господа: зачем мы сюда пришли?

Сципион. Ну, ну! Да вспомните же, господа!

Анк Марций *(к Сципиону)*. И вы подумайте — вот так все время!

Сципион. Да что вы!

Анк Марций. Честное слово! Стоят, как истуканы, хлопают глазами, да и только. Ну подумайте: можно ли сказать хорошую речь, ни разу не прибегнув к возгласу: «вспомните!»?

Сципион *(любезно качая головой)*. Едва ли, какая же это будет речь!

Анк Марций. Вот видите, даже вы это понимаете. А эти господа...

Из рядов сабинян доносится дрожащий голос:

— Прозерпиночка, дружочек, где ты? Ау!

Сципион *(нерешительно)*. Кажется, он вспомнил?

Анк Марций *(с презрением)*. Ах, это, это он все время помнит. *(К своим.)* Смир-рно! Сейчас мы потребуем наших жен — горе похитителям, если совесть их еще не проснулась: мы заставим их поступить по закону. Эй, гнусный похититель! Зови своих гнусных товарищей и готовься к страшному ответу.

Сципион. Сейчас я позову жену.

Идет в хижину, крича: «Клеопатрочка, выйди-ка, к тебе пришли за делом». Из-за угла выглядывает Павел-Эмилий и, узнав сабинян, воет от радости:

— Мужья пришли! Мужья пришли! Господа древние римляне, просыпайтесь: мужья пришли!

Бросается к Марцию и в слезах виснет у него на шее; Марций в недоумении. Павел мчится дальше с тем же радостным криком: «мужья пришли!» Выползают заспанные римляне и занимают правую сторону сцены. Марций, воинственно, подбоченившись, надменно ждет, пока соберутся.

Толстый римлянин. Клянусь Вакхом! — я так сладко спал, как в первый день основания Рима. Что это за чучело?

— Тише: это мужья.

— А! — пить хочется! Прозерпиночка, дай квасу, дружок!

Из рядов сабинян скромный призыв:

— Прозерпиночка,— ау!

Толстый римлянин. А этому что надо? Он тоже зовет мою жену.

— Тише, это ее муж.

— А! Я и забыл. О, небо! — как хочется пить: после этой похлебки и крепкого сна я готов выпить целое озеро! Но как готовит Прозерпина! Воистину, господа древние римляне, это дар Божий!

— Тише!

— А! Я и забыл. Но какой я нынче видел странный сон: будто сплю я и вдруг вижу: Рим начинает падать, падать, падать... Так и упал.

— Но что же наши жены? К ним пришли, а они и не показываются, это неловко.

— Верно, одеваются.

— О, это вечное женское кокетство! Казалось бы, что такое: бывший муж! — а и тут надо проявить свое вечноженственное. Нет, никогда я не пойму психологии женщины!

— О, небо! — как хочется пить. Долго будут стоять эти истуканы? — хоть бы сыграли: у них трубы. Глядите, глядите — они шевелятся.

Анк Марций. Господа римляне, теперь, когда мы стоим лицом к лицу, вы, надеюсь, не станете долее скрываться и дадите нам прямой и честный ответ. Вспомните, римляне, что совершили вы в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля?

Римляне растерянно переглядываются и молчат.

Да вспомните же! Неужели и вы ничего не помните? Да постарайтесь же припомнить, господа! Поймите, что я не могу тронуться, пока вы не припомните.

Толстый римлянин в испуге шепчет другому: «Может быть, ты помнишь, Агриппа? Что-то должно быть важное, а?» — «Нет, не помню».— «Это у меня, должно быть, от сна память отшибло».— «Я лучше уйду, ты мне после расскажешь».— «Да что ему нужно?»

(Громким голосом.) Так я вам напомню, римляне: в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля свершилось величайшее злодеяние, какое только знает история — кем-то, о ком я скажу дальше, были злодейски похищены наши жены, прекрасные сабинянки!

Римляне, вспомнив, радостными кивками подтверждают: «Да, да; да, да. Так вот в чем дело! — совершенно верно: именно двадцатого апреля!»

Толстый римлянин *(почтительно)*. Ну и голова у этих сабинян!

Анк Марций. И эти похитители — вы, римляне! О, я знаю, вы станете оправдываться, отвергать факты, гнусно искажать юридические нормы, прибегая к той отвратительной казуистике, которая неизбежно сопутствует всякому нарушению права. Но мы готовы. Господа профессора — начинайте!

Первый с края профессор начинает ровным, вне времени и пространства, голосом:

— О преступлениях против собственности. Том первый, раздел первый, глава первая, страница первая. О краже вообще. В древнейшие времена, еще более древние, чем настоящее время, когда птицы, насекомые и жуки бестрепетно порхали в лучах солнца и никакие правонарушения не входили в сознание, так как и сознания не было,— в те далекие времена...

Анк Марций. Слушайте, слушайте!

Сципион. А нельзя ли короче?

Анк Марций. Нельзя!

— Но они заснут.

— Вы полагаете?

— Вы посмотрите: они уже дремлют. А когда они дремлют, они ничего не слышат. Нельзя ли хватить с конца, а? Будьте добры, скажите прямо, чего вы хотите.

— Воистину странный диспут! Но так и быть,— снисходя к слабости ваших друзей, я скажу прямо: мы хотим доказать, что вы были неправы, похитив наших жен, что вы, римляне,— похитители, что никакими ухищрениями софистики вам не удастся оправдать вашего гнусного поступка. И небо содрогнется!

Сципион. Позвольте, позвольте, уважаемый: да мы и не спорим.

Анк Марций. Нет?! Тогда зачем же мы сюда пришли?

— Не знаю. Гуляли, может быть?

— Нет, мы пришли именно доказать. Вот странность!.. Так вы согласны, что вы — похитители?

— Совершенно; нахожу, что слово очень удачно: похитители.

— Но, может быть, вы не вполне уверены в этом. Тогда профессор с готовностью — не правда ли, господин профессор, вы с гот...

— Да нет же, не надо! Мы совершенно уверены! Господа римляне, да поддержите же, а то он опять начнет.

Римляне.

— Согласны! Согласны!

Анк Марций. Так в чем же дело?

— Не знаю.

— Вот странное недоразумение! Господа сабиняне, торжествуйте: виновные сознались. Один только вид наших грозных приготовлений разбудил в них мощный голос правового сознания, и небо содрогнулось! Нам остается, с сознанием совершенного долга, повернуться и...

Дрожащий голос: «А Прозерпиночка?»

— Ах, да! Если выражение не совсем удачно, то мысль все же верна,— вы правы, товарищ! Господа римляне, вот подробный и точный список наших жен — потрудитесь возвратить. За пропажу, какую-либо порчу... и — как там, профессор?

Профессор. Утечку, усушку...

— Ах, нет,— ущерб! Да, за всякий ущерб ответственны вы. Прочтите статьи, профессор. Впрочем... вот и наши жены! Внимание, сабиняне, овладейте собою, умоляю вас, сдержите порыв любви, пока не кончен вопрос о праве... два шага вперед — шаг назад, смирр-но! Привет вам, сабинские жены! Здравствуй, Клеопатра!

Женщины занимают середину сцены, глаза потуплены, вид скромный, но полный достоинства и покорности.

Клеопатра *(не поднимая глаз)*. Если вы пришли нас упрекать, Анк Марций, то мы не заслужили ваших упреков. Мы долго боролись, и если уступили, то только насилию. Клянусь вам, дорогой Марций, я ни на минуту не перестаю вас оплакивать!

Плачет, и за нею плачут все сабинянки.

Анк Марций. Успокойся, Клеопатра,— они уже сознались, что они похитители. Идем же к пенатам, Клеопатра.

Клеопатра *(не поднимая глаз)*. Я боюсь, что вы будете упрекать нас. Но мы уже так привыкли к этой местности. Вам нравятся горы, Марций?

Анк Марций. Я не понимаю тебя, Клеопатра. При чем тут горы?

— Я боюсь, что вы рассердитесь, но право, мы не вино-

ваты. Я уже оплакала вас, Марций, и теперь совершенно не могу понять, чего вы хотите. Еще слез? О, сколько угодно. Дорогие подруги, они думают, что мы недостаточно их оплакивали,— докажем же противное. О, плачьте, плачьте, дорогие подруги! Я так любила вас, Марций!

Все женщины заливаются слезами.

Сципион. Клеопатрочка, успокойся,— в твоем положении это вредно. Милостивый государь, вы слыхали? — Поворачивайте же оглобли. Иди же, Клеопатрочка, приляг и успокойся — я сам присмотрю за супом.

Анк Марций. Но позвольте, при чем тут суп? Успокойся, Клеопатра,— здесь недоразумение. Ты, очевидно, не понимаешь, что ты — похищена!

Клеопатра *(плача)*. Ну, я и говорила, что вы будете упрекать. Сципиончик, не у тебя ли мой носовой платок?

— Вот, душечка.

Анк Марций. Но позвольте, при чем тут носовой платок?

Клеопатра *(плача)*. И такие сцены из-за носового платка! Не могу же я без носового платка, если я плачу... по вашей вине. Это жестоко, вы чудовище, Анк Марций.

Теперь все плачут: и сабинянки, и сабиняне, и даже некоторые из римлян.

— Прозерпиночка,— ау!

Анк Марций *(зычно)*. Успокойтесь, господа сабиняне, овладейте собою. Ни с места! Сейчас я все устрою. Здесь, по-видимому, недоразумение юридического свойства. Несчастная женщина думает, что ее обвиняют в похищении носового платка, и не догадывается, что она сама жертва похищения. Сейчас мы докажем ей это. Господа профессора, приступите.

Профессора готовятся. Римляне в ужасе. Сципион хватает Клеопатру за руку.

— Сознавайся, Клеопатра! Да скорей же. О, небо! — он сейчас начнет.

Клеопатра *(плача)*. Мне не в чем сознаваться. Это клевета!

Анк Марций. Господин профессор, мы ждем.

Сципион. Да скорей же! Сознавайся! О, Юпитер! — он уже раскрывает рот, он его сейчас раскроет... Господа сабиняне, постойте — она созналась! Закройте рот профессору,— она созналась.

Клеопатра. Ну хорошо: я созналась. *(К женщинам.)* Дорогие подруги, вы также?

Сципион *(поспешно)*. Все, все сознались. Дело конченое.

Анк Марций *(в недоумении)*. Но позвольте! Ты, Клеопатра, признаешь, что ты и другие сабинские женщины были похищены в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля — не так ли?

Клеопатра *(ядовито)*. Нет, мы сами убежали.

Анк Марций. Ну, вот видите — она не понимает. Господин проф...

Клеопатра. Это гнусно, Марций! Сами же проспали нас, не заступились, оставили, забыли, покинули — и теперь нас же обвиняют в том, что мы убежали! Мы были похищены, Марций, гнусно похищены! Вы можете прочесть об этом в любом учебнике, не говоря *(плачет)* про энциклопедический словарь.

Сципион *(кричит)*. Да закройте же рот профессору!

Но рот профессора остается открытым. Римляне в панике, некоторые убегают.

Анк Марций. Господа римляне, господа сабиняне, смирр-но! Я сейчас все устрою. Здесь недоразумение механического свойства. Позвольте осмотреть вас, господин профессор... Ну да, конечно, я так и знал: затвор испортился, и он не может закрыть рта. Но это пустяки — дома мы все поправим. Теперь я слышал собственными ушами: они сознались в том, что они похищены. Цель достигнута, и небо содрогнулось. Идем же к пенатам, Клеопатра!

Клеопатра. Не хочу к пенатам!

Сабинянки. Не хотим к пенатам! Долой пенаты! Мы остаемся здесь! Нас оскорбляют! Нас собираются похитить! Спасите! Помогите! Защитите!

Римляне, бряцая оружием, становятся между женщинами и сабинянами и понемногу оттесняют женщин в глубину сцены. Бросают на сабинян гневные взгляды. Голоса: «К оружию, римляне! В защиту жен! К оружию, римляне!»

Анк Марций *(звонит в колокольчик)*. В чем дело? Сейчас будет драка. Мой ум мутится. Господа сабиняне, мой ум мутится!

Выступает Прозерпина и говорит спокойно и положительно:

— Успокойтесь, римляне. Я одна поговорю с Марцием.

Из рядов сабинян дрожащий голос, тоскливый призыв любви:

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

Прозерпина *(положительно)*. Ау, мой дружок,— как твое здоровье?.. Подойдите-ка сюда, Анк Марций —

не бойтесь: ваше войско не уйдет. Вы поняли, что ни ваша жена Клеопатра, ни я, ни другие сабинянки не желаем возвращаться. Понимаете?

Анк Марций. Мой ум мутится. Как же я буду без Клеопатры? Я не могу без Клеопатры. Она моя жена совершенно законная. Вы думаете, что она ни за что не пойдет?

Прозерпина. Ни за что.

Анк Марций. Что же мне делать? Я ведь ее люблю. Как же я буду без нее жить? *(Плачет.)*

Прозерпина. Успокойтесь, Марций. *(Шепчет.)* Мне вас жалко, и я скажу вам по секрету, что есть еще одно только средство, единственное: похитить ее.

Марций. И она пойдет?

Прозерпина *(пожимая плечами)*. Как же она может не пойти, когда вы ее похитите?

Марций. Но это ведь гнусно! Вы предлагаете мне совершить насилие! Куда же я дену мое правовое сознание? Или для вас, женщины,— где сила, там и право? О, женщины, женщины!

Прозерпина. Слыхали уж мы это: о, женщины, женщины! Ах, Марций: в плохую минуту тебя создали боги, ты ужасно глуп! Да, я хочу сильного, самого сильного, но только потому, что я хочу быть верной. Ты думаешь, нам так приятно, чтобы нас похищали, крали, требовали назад, возвращали, теряли, находили...

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

Прозерпина. Ау, дружок,— как твое здоровье?.. Чтобы с нами обращались, как с вещью. Только я привыкла к одному — приходит другой и увозит меня; только я привыкла к этому — приходит старый и требует: возвращайся. Ах, Марций, если хочешь, чтобы женщина была твоя, на что ты так претендуешь, то будь же самый сильный, не уступай ее никому, дерись за нее ногтями и зубами, наконец, умри, защищая ее. Поверь мне, Марций, для женщины нет высшей радости, как умереть на гробе мужа, который пал, ее защищая. И узнай, Марций, что женщина изменяет только тогда, когда ей изменил мужчина.

Анк Марций. У них мечи, а мы безоружны.

Прозерпина. Вооружитесь.

— У них сильные мускулы — у нас их нет.

— Станьте сильными. Вообще, Марций, ты непроходимый дурак.

Анк Марций *(отскакивая)*. А ты, женщина, безумна и ничтожна. Да здравствует закон! Пусть грубой силой

отнимут у меня жену, пусть разрушат мой дом, погасят мой очаг — я не изменю закону! Пусть весь мир будет смеяться над несчастными сабинянами — они не изменят закону. И в рубище почтенна добродетель! Сабиняне, вертайте вспять! И плачьте, сабиняне, горькими слезами, рыдайте, бейте себя в грудь и не стыдитесь слез! Пусть в вас бросают камнями, пусть над вами смеются — вы плачьте! Пусть вас забрасывают грязью — плачьте, сабиняне, ибо вы плачете над попранным законом. Вперед, сабиняне! Смирр-р-но! Трубачи, трубите. Два шага вперед — шаг назад. Два шага вперед — шаг назад!

Женщины начинают плакать.

Клеопатра. Марций, подожди!

Анк Марций. Прочь, женщина, я тебя не знаю. Шагом мар-р-ш!

Трубы заунывно воют. Женщины с плачем и громкими криками тянутся к прежним мужьям, но римляне удерживают их силой. Хохот победителей. Не обращая внимания ни на слезы, ни на смех, согнувшись под тяжестью законов, сабиняне медленно удаляются: два шага вперед — шаг назад.

Занавес

КАЮЩИЙСЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Действующих лиц двое: купец Краснобрюхов, кающийся,— и лицо со служебным положением. Есть еще некто Гавриленко, который привел кающегося, и другие живые механизмы, которые его выводят.

Канцелярия: нечто вроде фабрики на ходу. Лицо со служебным положением отрывисто лает, удивляется и гневается по телефону. Гавриленко, почтительно держа всего двумя пальцами, вводит купца Краснобрюхова, толстого, здорового, рыжебородого старика, вспотевшего от волнения. Шапки на нем нет, одежда в некотором подозрительном беспорядке, несмотря на явную почтительность Гавриленки.

Лицо *(у телефона)*. Кто? Кого? Почему? Да, конечно, слышу, если говорю... зарезанный? Ага! Да, да, двое... Да слышу же я. Что такое? На какой почве? — Ну? — Ничего не понимаю. Кто убежал — раненый убежал? Что вы городите: куда раненый побежал?

Гавриленко. Ваше благородие, как я привел...

Лицо. Не мешать! Ага: один убежал, другого везут... А убийцы? — что, тоже убежали — послушайте, вы мне вашей почвой очков не втирайте — что такое? — Ничего не понимаю.— Если вы хотите докладывать, вы слышите, то и докладывайте, а не свистите носом, я вам не кларнет! — Что, какая музыка? — это я кларнет — вы слышите? Алло! А, чтоб тебя черт. Алло!

Вешает трубку, мельком сердито оглядывает Краснобрюхова и садится.

Ну? Чего там?

Гавриленко. Как, ваше благородие, позвольте доложить, они задерживали движение екипажей, стамши по середки площади, где езда, говоримши, что как они купец и как они убимши, я их взямши...

Лицо. Пьяный? Ишь, борода, напился — в приемной!

Гавриленко. Никак нет, ваше благородие, оконча-

тельно тверезый, а только как они стамши по середки площади, где езда, и говоримши, так что, ваше благородие, никакого движения екипажей. И трамвай стамши... народ собрамши, кричат голосом: убил я, православные, каюсь! Как я их взямши, так что: совесть замучила, ваше благородие!

Лицо. Так бы сразу и говорил, тетеря! Вы что?.. Пусти его, Гавриленко, чего вцепился... Вы кто?

Краснобрюхов. Купец Прокофий Карпович Краснобрюхов. *(Становится на колени, другим, покаянным голосом.)* Каюсь, православные, берите меня, вяжите меня: человека я убил!

Лицо *(вставая)*. А! Так вот ты как!

Краснобрюхов. Каюсь, православные, желаю принять искупление грехов. Не могу больше! Берите меня, вяжите меня — человека я убил! Злодей я непокаянный, изверг естества! Человечка я зарезал! *(Кланяется в землю.)*

Гавриленко. Вот так они и орамши, ваше благородие, по самой по середки, где езда.

Лицо. Молчать! Встань! Рассказывать толком. Кого убил?

Краснобрюхов *(тяжело вставая, бьет себя в грудь)*. Я убил. Желаю искупления грехов, больше не могу, нет моего терпения. Совесть замучила, православные! На, брей!

Лицо. Что брей?

Краснобрюхов. Голову брей, кандалы давай: желаю искупиться. *(Громко плача.)* Человека я зарезал, простите, православные!..

Опять валится на колени и кланяется земно.

Лицо. Встать! Говорить толком!

Гавриленко. Вот так они, ваше благородие, стамши по самой середки и орамши.

Лицо. Молчать! Эй, послушайте, как вас: это не ваша корзина?

Краснобрюхов *(встав и вытирая пот и слезы)*. Какая корзина? Никакой корзины я не знаю. Овощью мы торговали. Эх, Господи! Что уж: овощью мы торговали.

Лицо. Какая корзина? Теперь не знаешь? А как запрятывать в корзину, знаешь? А как по железной дороге трупы отправлять, знаешь?

Краснобрюхов. Никакой корзины я не знаю. Водички бы мне. *(Гавриленке.)* Дай-ка, милый, водички, охрип я *(густо вздыхает)*. Эх!

Лицо. Не давать! А какая корзина, не знаешь? Гавриленко, сколько у нас корзин?

Гавриленко. Четыре корзины, ваше благородие, да один чемуданчик. Три корзины распечатамши, ваше благородие, а четвертую никак не успемши.

Лицо *(купцу)*. Слыхал?

Краснобрюхов *(вздыхая)*. Никакой корзины не знаю.

Лицо. А где же твой?

Краснобрюхов. Кто мой?

Лицо. А я почем знаю, кто твой, кого ты там зарезал, удушил, убил. Труп где?

Краснобрюхов. Труп-то? Да уж истлел поди. *(Снова валится на колени.)* Православные: каюсь я, человечка я зарезал, Господи! В землю его закопал. Думал я, православные, народ обмануть, а видно, не обманешь его: совесть меня замучила. Ни сна, ни покою, одно мученье-мученьское, свету я в глазах лишился. Желаю искупиться — на, брей!

Лицо. Встать! Говорить толком!

Краснобрюхов *(вставая и вытирая пот)*. Я толком и говорю: ну, думаю, пройдет времячко, авось и забуду, радостями какими развлекусь, на помин души свечечку поставлю, ан не тут-то было: замучился сверх естественно, всякого покою лишился! И что ни год, то все тяжелее: нет, думаю, потерплю еще, авось пройдет, авось забудется. Каюсь, православные! Имущества я жалел, овощью мы торгуем, детей, жены стыдился; как же это вдруг, что же это такое: был человек, а вдруг злодей, смертоубивец, изверг естества!

Лицо. Толком говорите!

Краснобрюхов. Я толком и говорю: плачу ночью-то, разливаюсь, а жена и говорит: чем плакать-то да подушки мочить, пошел бы ты, Карпыч, да и покаялся, народу православному земно преклонился, мучение принял. И что тебе, говорит, ты уж старый и на каторге проживешь, а мы за тебя помолимся — иди, говорит, Карпыч, не моргай. Плакали мы с ней, плакали, а все решиться не можем: жалко, страшно, православные! Как это посмотришь округ себя, овощью мы торгуем, морковкою всякою, капусткой, лучком... *(плачет)*. А она все решает, все решает: иди, Карпыч, не моргай, попей чайку, побалуйся да иди, несчастненький, преклонись. Раз уж и пошел было, рубашку она на меня чистую надела, чаем с медком попоила, волосы мне сама рукой пречистой своей причесала — да не осилил! Ослаб! Дух потерял! До самой этой площади уж дошел и как раз на середку вышел, а тут трамвай — я в трактир

и повернул. Каюсь, миленькие: заместо честного покаяния три дня и три нощи стойку трактирную лощил, полбуфета вылакал: что значит совесть-то, и куда только лилось!

Лицо. Да, что, брат, вот оно, совесть! Но приятно, приятно наконец приветствовать... Гавриленко, слышишь?

Гавриленко. Вот так они и орамши, ваше благородие...

Лицо. Молчать! Ну! Продолжай, мой друг.

Краснобрюхов. Какой я друг, недруг я человеческий, изверг естества. Бери меня, вяжи меня, человечка я зарезал, к злодеям сопричислился! Вот он я, бери! Вяжи! Брей!

Лицо. Так, так, приятно приветствовать!.. Гавриленко, не помнишь такого случая относительно убийства? Какие у нас есть?

Гавриленко. Не могу помнить, ваше благородие.

Краснобрюхов. Вяжи!

Лицо. Так, так, я понимаю твое благородное нетерпение, но... А когда это было, человечка-то? Конечно, мы все знаем, но столько случаев вообще... Видал корзин одних сколько, точно багажная станция! — и вообще... Кого ты и когда, одним словом, мой друг?

Краснобрюхов. Когда? Да уж двадцать один год минул, да еще с привеском поди. А то и двадцать два считай, не ошибешься.

Лицо. Двадцать два? Так что же ты?

Краснобрюхов. Думал оттерпеться, говорю. А какое тут терпение: что ни год, то тяжеле, что ни день, то горше. То хоть явлений не было, а то и явления начались: вчистую приперло. Каюсь, православные, убил!

Лицо. Но, позвольте... двадцать два. Вы какой гильдии?

Краснобрюхов. Первой. Оптом мы торгуем.

Лицо. Так, так. Гавриленко, подать стул. Прошу садиться.

Краснобрюхов. Водички бы мне, охрип я.

Лицо. А чаю-то с медком опять попили, чудак!

Краснобрюхов. Попил, как же, попил.

Лицо. Гавриленко, два стакана чаю: один покрепче... небось жиденький пьете? Имя, отчество?

Краснобрюхов. Прокофий Карпович Краснобрюхов. Когда же, ваше благородие, вязать?

Лицо. Садитесь. Так-то, Прокофий Карпыч,— это не ваша торговля на углу?.. знаете, еще такая вывеска — удивительная вывеска. Искусство! И до чего теперь эти вывески хорошо пишут, знаете, я прямо удивляюсь. Мне знакомые говорят, отчего вы, Павел Петрович, не пройдетесь в картин-

ные галереи, там Эрмитаж и вообще... но я отвечаю — зачем? У меня весь квартал — одна картинная галерея, хе-хе! Ну, а медку у нас не водится, хе, уж извините. Канцелярия!

Краснобрюхов. Какой уж тут мед! Детям я торговлю передал, пусть торгуют. Когда же, ваше благородие, вязать-то будете? Поскорей бы, замаялся я.

Лицо. Вязать? Гавриленко, пошел вон! И раз почтенное лицо на площади, то можешь поделикатнее. Шапка ихняя где?

Гавриленко. Там и осталась, публика ногами затоптамши. Да они, ваше благородие, голосом орамши...

Лицо. Пошел вон! Вот народ, извольте, попробуйте с ним провести начало, так сказать, законности-с! Надоели, как горькая редька! Знакомые и то говорят: и что это такое, Павел Петрович, слова от вас толком не услышишь — а какой тут может быть толк! Разве я бы не рад — только о том и мечтаю, чтобы светский разговор, мало ли чего на свете! Война, крест на св. Софии и вообще... дипломатия!

Краснобрюхов. Уж вязали бы поскорей! Не мучали бы.

Лицо. Вязать? Чистейшее недоразумение, Прокофий Карпыч, чистейшее недоразумение. Но от чего ж вы чайку? Ваше благородное волнение делает вам честь и вообще приятно приветствовать, но — давность! Изволили забыть: давность. Надеюсь, не родителей изволили зарезать?

Краснобрюхов. Ну, ну, родителей. Девицу одну, в лесочку, да там же и закопал.

Лицо. Ну вот видите: я и сразу понял, что не родителей, сразу видно человека! Вот если бы родителей изволили, ну там отца или мать, тогда действительно печально: на родителей давности нет. А за девицу и вообще всякие уголовные преступления, убийства там и вообще покрываются десятилетней давностью. Как же-с, как же-с, изволили не знать? Конечно, нужно будет там кое-какое расследование, подтверждение, но это пустяки, не стоит и волноваться. Торгуйте себе овощью, а мы ваши покупатели... Ну что же чайку?

Краснобрюхов. Какой уж тут чай? Тут уголья под ногами, а не чай.

Лицо. Напрасно мучились! Напрасно мучились! Но, конечно, незнание законов. Вот вам бы вместо жены да к адвокату и пойти, адвокат бы...

Краснобрюхов *(падает на колени)*. Вяжите, не мучайте!

Лицо. Ну, ну, встаньте же, наконец! Нельзя же, нако-

нец, вязать, чудак! Если всех таких вязать, так и веревок не хватит! Ступайте себе и... адрес ваш мы знаем...

Краснобрюхов. Да куда ж я пойду? Я пришел. Вязали бы уж, ей-Богу, ну зачем эти слова? Веревок, говорите, нету, ну и зачем такая насмешка. Я по чистой моей совести, а вы издеваетесь... *(вздохнув)*. Но, конечно, заслужил я. Смиряюсь. Вяжи! Бей! Издевайся надо мною, народ православный! Тычь пальцем в старую харю, не жалей бороды моей холеной: изверг я!

Снова валится на колени.

Лицо *(с некоторым нетерпением)*. Но позвольте, это уж слишком. Встать! Вам говорят, чтоб вы домой шли, некогда мне с вами, домой!

Краснобрюхов *(не вставая)*. Нету у меня дома, православные, нету у меня пристанища, окромя каторги! Вяжи меня! *(Орет.)* Брей!!

Лицо *(также орет)*. Да что я тебе, парикмахер? Встать!

Краснобрюхов. Не встану! Каюсь я, и должен ты меня уважить: совесть меня замучила! Не хочу я твоего чаю: вяжи меня, нá руки, крути лопатки. Брей!

Лицо. Гавриленко! Скажи как разорался тут, а? С совестью своей, а? Есть мне с тобою время... Гавриленко, поднять!

Гавриленко старается поднять купца, тот сопротивляется.

Гавриленко *(бормочет)*. Вот так-то они и орамши... Его не подымешь, ваше благородие, упирается.

Лицо. А, упирается? Петрученко! Сидоренко! Ющенко — поднять.

Означенные поднимают упирающегося купца, пока лицо продолжает гневаться.

Нет, скажите: прямо на площадь прет, движение экипажей задерживает, я тебе задержу! Я тебе покажу, я тебе поору в присутственном месте!

Краснобрюхов. Не смеешь так. Вяжи — а то жаловаться буду! Ни на кого не посмотрю! До самого министра дойду! Поиздевался и буде! Православные, братцы, человечка я зарезал. Совесть замучила! Каюсь!

Лицо. Совесть? — скажите, обрадовался! А где ж ты раньше был, ты чего раньше не приходил с твоей совестью? А теперь прямо на площадь прешь, беспорядок делаешь — ты чего раньше не шел?

Краснобрюхов. Оттого и не шел, что не домучился

еще. Вот домучился, оттого и пришел! Не смеешь ты мне отказывать!

Лицо. Не домучился! Нет, скажите, какое издевательство. Тут их ищут, тут их разыскивают, одних корзин пять штук, собак для них завели — так вот нет: спрячется, подлец, и сидит, и ни гу-гу, и как будто его и нет! А теперь прямо на площадь: совесть, вяжите меня — какая цаца! Тут с очередными голову потеряешь, вздохнуть некогда, а он еще со своей девицей... Вон! Уходи!

Краснобрюхов. Не пойду. Не смеешь выгонять! Я уж с женой попрощался — не пойду.

Лицо. Ну и поздороваешься: скажите пожалуйста, с женой попрощался, чай с медом пил, рубашку чистую надел, цаца какая! Небойсь стаканов двадцать выдул, пока пузо налил, а теперь извольте!.. Вон!

Краснобрюхов. А ты видал, как я его пил? Может, там-то чаю всего наполовину, а наполовину-то слезы моей горькой! Не пойду вон! Каторгу мне давай, кандалы желаю — брей!

Лицо. Нет тебе каторги. Скажите пожалуйста, каторги захотел! Ну и нанимай себе... комнату на каторге, квартиру с мебелью, а у нас нет для тебя каторги.

Краснобрюхов. Нет, ты мне дашь! Не уйду без каторги — последний мой сказ. Православные, мучения я хочу, каторгу мне на двадцать лет за злодейство мое. К злодеям сопричислился, человечка я убил.

Лицо. Нету тебе каторги, слыхал? Раньше бы приходил, а теперь нету тебе каторги! Скажите пожалуйста: тут для настоящих каторги не хватает, а он еще со своей совестью: замучился, подлец! Ну и мучайся — нет тебе каторги.

Краснобрюхов. Не дашь?

Лицо. Не дам.

Краснобрюхов. Нет, ты меня обреешь!

Лицо. Сам брейся!

Краснобрюхов. Нет, ты меня обреешь. *(Старается стать на колени, поджимает под себя ноги, но вышеозначенные держат его на весу.)* Православные, смилуйтесь, вяжите меня, да неужто ж обрывочка не найдется, хоть мочалкой вяжи, я не развяжусь, православные. Совесть меня замучила. Хоть обрывочком, хоть мочалочкой! Эх, каторга матушка,— да неужто ж местечка не найдется, ваше благородие? Много ли мне надо, ваше благородие, православные. Окажите милость божескую, да скрутите ж вы меня, голову мою седую обрейте! Эх, Владимирка, дорожка,

мать ты моя родная, дай хоть по краюшку пройти, пылью твоею опылиться, в слезе твоей вековечной душу нечистую омыть. Эх тузик бубновый, каторжный, палачушко-братушко, клещи огневые родненькие, клеймо каиново ужасное!

Лицо. Гавриленко! Вывести его! Сидоренко, помоги!

Краснобрюхов *(упираясь)*. Не пойду! Волоком волоки, так не пойду! — Ты меня обреешь.

Лицо. Ющенко, поддержи! Ты у меня пойдешь!

Краснобрюхов *(барахтаясь)*. Ты меня обреешь! Жаловаться буду! Не смеешь!

Лицо. Гавриленко — выноси!

Гавриленко. За ногу, да за ногу! Хватай под мышки!

Краснобрюхов *(барахтаясь)*. Не вынесешь!

Лицо. Выноси!

Купца почтительно выносят. Лицо оправляет усы и берет стакан чаю, но он оказывается холодным.

Василенко! Чаю горячего! Черт знает что... Чаю горячего! Да... Раненого привезли?

Василенко. Они уже умерли, ваше благородие, так что охолодамши.

Лицо. Пошел вон!

Занавес

УПРЯМЫЙ ПОПУГАЙ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Ворон каркнул: никогда.
Эдгар По

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Некто. Посюшьте... Я, ей-Богу, очень рад, что вы пришли. Нет, честное слово, я очень рад — посюшьте?

Тимофеев. Весьма счастлив приветствовать ваше превосходительство.

Некто *(удивленно)*. Нет, посюшьте, я действительно очень рад. Но почему вы зовете меня: ваше превосходительство?

Тимофеев. Для удобства произношения, ваше превосходительство.

Некто. Как странно: для удобства... Но, может быть, я действительно!.. Посюшьте, но о чем я говорю?

Тимофеев. Не уяснил, ваше превосходительство. Изволили приказать явиться?

Некто. Ах, да. Но я же сам знаю!.. Тимофеев, дорогой мой, вы еще не видали моего попугая? Очаровательная штучка!.. Попка, покажись!..

Тимофеев. Еще не имел чести... Но какая великолепная птица!.. Орел!..

Некто. Не правда ли? Очаровательная штучка!.. Посюшьте, а окраска? Нет, честное слово, какие богатые тона и этакая... этакое...

Тимофеев. Совершенно справедливо, ваше превосходительство... Этакое...

Некто. Ударяет в другие тона и снова этакое... даже обратно! Я бы сказал, Тимофеев, что это импрессионизм — не правда ли?

Т и м о ф е е в. Очень возможно, ваше превосходительство! Очень даже возможно. Изумительная птица, истинный обман глаз!.. Дорого изволили дать?

Н е к т о. Нет, правда? Не особенно... я хочу ее продать, Тимофеев. Нет, посюшьте, но я очень рад, что вы пришли! Мне кажется, что при ваших знакомствах, наконец ваше влияние на умы... посюшьте, честное слово, помогите мне!

Т и м о ф е е в. Помилуйте! Каждый за честь и удовольствие почтет. Такая птица... на зависть всему городу. Один колер убьет.

Н е к т о. Вы думаете?

Т и м о ф е е в. Божусь. У меня весь район, можно сказать, только и мечтает, что о такой птице.

Н е к т о. Но это мне кажется уже слишком, хотя, однако... Посюшьте, это не мало: сто рублей?

Т и м о ф е е в. Сто? Полтораста, ваше превосходительство, и ни копейки меньше! За такого-то орла?

Н е к т о. Нет, честное слово, я очень рад! Вот видишь, попка, как тебя ценят! Но мне жаль, я огорчен. Попка, ты будешь скучать обо мне?

П о п у г а й. Дуррак!

Н е к т о. Но, но!

П о п у г а й. Дуррак!

Н е к т о *(огорченно)*. Опять? Нет, вы слышите... ей-Богу, это, наконец, грустно.

Т и м о ф е е в. Ничего не слыхал, ваше превосходительство.

П о п у г а й. Дуррак!

Н е к т о. Нет, вы слышите. Нет, это прямо ужасно, честное слово. Такая окраска, богатейшие тона и вдруг... Но разве мало других слов, посюшьте: есть же и другие слова?

Т и м о ф е е в. А изволили учить?

Н е к т о. Не только я, моя жена... Наконец, не брать же мне для него репетитора: честное слово, это ужасно!

Т и м о ф е е в. Надо на сахар, ваше превосходительство.

П о п у г а й. Дуррак!

Н е к т о. Нет, вы слышите? Вы говорите сахар, Тимофеев, но я пробовал на шоколадные конфеты: съест фунт и вместо естественной благодарности опять... это слово. Это уже какой-то пессимизм, честное слово. Не понимаю! У меня в доме жена, дети, бывают весьма почтенные лица, наконец, гувернантка английская подданная... тут уже, знаете!

Т и м о ф е е в. Могут быть осложнения. Но ежели меры строгости?

Некто. Сажал. Ну и ничего: только высунет голову, сейчас же опять... это слово. Ужасный пессимист!

Попугай. Дуррак!

Некто *(в отчаянии)*. Нет, вы слышите? Вот так целый день, хочется наконец поговорить... посюшьте, это ужасно! На днях у меня был его превосходительство, вы знаете нашего генерала, почтенный старик, мудрые морщины и во взоре этакое...

Тимофеев. Воистину ангел доброты и невинности! Но неужели птица осмелилась?

Некто. Ну да. С величайшей снисходительностью генерал протянул руки, чтобы этак погладить и вообще выразить и... Нет, представьте мой ужас. Чудная окраска, богатейшие тона и вдруг такая грубость.

Попугай. Дуррак!

Некто. Невежа.

Попугай. Дуррак!

Некто. Хулиганство. Я говорю: хулиганство — что?

Попугай. Дуррак!..

Некто *(истерически)*. Нет, нет, берите его. Уносите. Я не могу. Деньги потом принесете... посюшьте... это ужасно!

КАРТИНА ВТОРАЯ

На сцене Тимофеев, Гаврилов, Попугай.

Тимофеев. Просто, брат, ума не приложу, что с ней делать! Вот уж как захочет наказать Господь, так накажет — правду говорят старые люди. Посоветуй, Гаврилов, будь товарищем — протри бельма, посоветуй!

Гаврилов. Очень просто: сверни ей голову, да и в щи. Очень просто: не может же быть такого, чтобы она была даже не съедобная!

Тимофеев. С таким-то колером? Тоже хорош: как уж скажет!!! Колер-то ты видал?

Гаврилов. Но что же такое — колер? Позови маляра, он тебя за полтинник самого еще не так раскрасит.

Тимофеев. Меня красить нечего, брат, я и так хорош, брат, а вот тебе рябую твою морду прошпаклевать недурно бы. И чего ты гордишься: в щи! Я ее в щи, а деньги, полтораста рублей, кто отдаст? Ты отдашь?

Гаврилов. Нет, зачем же я? Это тебя Господь наказал, а не меня!

Тимофеев. Вот погоди: и тебя, брат, накажет! Так

накажет за бесчувствие твое! Тогда и ты почешешься! Нет, что я с ней, дьяволом, делать буду? Я к ней и с того боку, я и с этого, со всей лаской, печенки ей, дьяволу зеленому, давал — нет ведь: так и лупит, так и жарит!..

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Слыхал?

Гаврилов. Слыхал. Это она про кого же?

Тимофеев. Пошел ты к черту. Про кого! на извозчике ее домой вез, так от одного сраму глаз поднять не смел. А извозчик, подлец, еще спрашивает: с кем это вы, ваше благородие, разговариваете? Я, конечно, ему внушил, но ведь по спине-то я вижу, о чем он думает!

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Слыхал.

Гаврилов. Слыхал. Голос очень даже внятный и с этаким даже выражением...

Тимофеев. Пошел к черту! Я тебя как товарища спрашиваю, а ты ломаешься. Если ты за биллиард сердит, так это, брат, глупо и неблагородно, надо друг дружке помогать, а не интриги! Совестно, Гаврилов, Бог тебе судья!

Гаврилов. Ну, ну — подумаем. Продай-ка ее купцу Абдулову.

Тимофеев. Про Абдулова-то я уж сам думал... Конечно, при таком колере поставить ее на прилавок, так ведь это же красота! Обман глаз! Такое... этакое — даже в глазах рябит. Это что уж и говорить! Наконец в целях, так сказать, просвещенной рекламы, принимая во внимание...

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Нет, ты слыхал? Ну и что за подлая птица! Вот так попробуй поставить ее на прилавок — всех покупателей разгонит, сам сбежишь.

Гаврилов. Кому же охота слушать — это верно. Мало ее били, Тимофеев.

Тимофеев. Как тебе сказать? Нынче с извозчика приехадчи, попробовал я ее прутиком, да что? Я ее раз, а она это слово. Я ее два,— а она это слово! Я ее десять,— а она двадцать, так и бросил, брат. Ну и что за подлая птица — не понимаю, честное слово, не понимаю. Истинно загадка судьбы, не иначе. Почему «дуррак»?

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Слыхал? Нет, объясни ты мне, Гаврилов, ты у нас человек умный: почему она не говорит других слов?

Гаврилов. Но, может, горло у нее так устроено. Вот у тебя, Тимофеев, горло, понимаешь? — круглое и этакое прямое, вроде самоварной трубы — понимаешь? И на кон-

чике заворот, почему ты и можешь так и этак, так и этак. Понимаешь? А у нее — понимаешь? — горло этаким треугольником...

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Слыхал? Это она уж про тебя, брат. Умный дьявол!

Гаврилов. Но почему же умный? Она и про тебя тоже говорит.

Тимофеев. Я ж и спрашиваю: почему? Ведь есть же на свете другие благородные, просто приятные слова, мало ли их! Я не получил высшего образования и вообще не силен в красноречии, куда уж, но и я знаю многие... душечка, например! Ну если это не хорошо, то скажи: умница — ну благородный человек...

Гаврилов. Герой, например.

Тимофеев. Ну и герой, это тоже хорошо. Надо же и заслуги отмечать, вообще, как это говорится: светлые явления жизни, вообще этакое... понимаешь? Герой — это очень хорошо. Или, например: красавец! — Всякий чиновник купит. Да что чиновник: и всякому лестно, от людей-то когда еще услышишь, а тут сел в кресло, кури себе сигаретку да и слушай. И любить тебя, дьявола, будут! Да как еще полюбят-то! На грудях своих тебя взлелеют! Перышку упасть не дадут.

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Молчи, дьявол.

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. У, да и подлая же птица! Будь бы не колер твой, я б тебе прописал дурака, я б тебе такую кузькину мать показал...

Попугай. Дуррак!

Тимофеев. Молчать.

Гаврилов *(внезапно выходит из себя)*. Молчать!

Попугай. Дуррак! Дуррак!

Гаврилов *(орет)*. Молчать!

Тимофеев. Постой, Гаврилов, да не ори: хуже как народ сбежится! Постой, где тут платок... фу-ты, черт! Да где платок?

Попугай. Дуррак!

Гаврилов *(орет)*. Молчать!

Тимофеев. Тише! Вот он, вот и посиди, вот и посиди в темноте-то — у, дьявол! С того боку подоткни, так. Избави Бог щелочку — так, так! Фух! Ну и подлая же птица.

Гаврилов. Я бы ее...

Тимофеев. Да не ори. Не можешь шепотом, разорался! *(Шепчет.)* Ну?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

На сцене Тимофеев, Мендель и Попугай; потом жена Менделя.

Тимофеев. Здравствуй, Мендель. Ну как делишки — вертишься? *(Вытирает пот.)* И квартира у тебя — все как следует.

Мендель. Здравствуйте, господин Тимофеев, какая честь. Покорнейше прошу садиться: ну и что же будем кушать? Или чего-нибудь выпьем: ой, что-то горло у меня пересохло!

Тимофеев. Не хочется что-то. Ну, как делишки? Живешь?

Мендель. Но разве это жизнь? Но избави Бог, чтобы я жаловался — это я просто так говорю. Вы говорите, и я говорю, вот уже и разговор.

Тимофеев. Видал?

Мендель. Ай, какая птица! Это даже и не птица, скажу вам, а вылитый орел!

Тимофеев *(любуясь)*. Орел! Колер-то видишь? — и туда отливает и сюда отливает, такое, брат, что истинная красота! Обман глаз!

Мендель. Даже кричать хочется, такая красота! Почем покупали?

Тимофеев. Купи.

Мендель. Такая остроумная шутка, что даже кричать хочется! Зачем мне попугай? У меня своих попугаев восемь штук, да еще жена, и всех кормить надо, так я же и кормлю!

Тимофеев. А колер? Ты на колер-то посмотри, руками-то потом махать будешь. Где ты такой колер видал? — ввек не увидишь. Вот я ее тут на окошечке поставлю... Красота. Прохожие-то удивляются: и откуда, говорят, у Менделя такая удивительная птица.

Попугай. Дуррак!

Мендель. Ой! А это кто же говорит, она?

Тимофеев. Она. Еще с разговором! Это она прохожему говорит — засмотрелся.

Мендель. Она будет говорить, а мне стекла побьют? — Позвольте, я ее на стол. Таких умных птиц на окно нельзя, господин Тимофеев, вы сами это знаете. Ну и что же будем кушать?

Тимофеев. Купи, Мендель. Даром отдаю, дурень! Я бы ее за тысячу не отдал, да человек я занятой, и дома-то не бываю, а тут дети, кошки... Купи.

Мендель. Ах, как не нравятся мне такие шутки!

Тимофеев. Да ты не бегай. Постой. Даром отдаю: сто двадцать.

Мендель. Сто двадцать слышу, а чего — не слышу! Может быть, рублей, а может, сто двадцать аршин моих кишок. Что — почему не кишок? Почему не саженей? Почему?..

Тимофеев. Да постой — вот забегал! Купи, потом сам благодарить будешь. Колер-то видал?

Мендель. Копейки не дам! Она себе колер, а я себе Мендель. Гроша не дам, хоть вы меня лошадьми разорвите.

Тимофеев. Мендель!

Мендель. Что?

Тимофеев. Мендель!

Мендель. Ну и что Мендель? Зачем повторять Мендель, Мендель. Вот Мендель уже и готов на двадцать пять.

Тимофеев. Мендель!

Мендель. Ну вот уже Мендель и на шестьдесят готов. Но вы сейчас опять скажете?

Тимофеев. Мендель!

Мендель. Ну так скоро Мендель и на сто двадцать будет готов и на сто пятьдесят...

Тимофеев. Больше не надо, Мендель!..

Мендель. Готов на сто двадцать. Купил. Ну кому же не известно, что Мендель давно хотел иметь попугая. Ну кто же не знает, что Мендель жить не может без попугая, что Мендель готов все кишки развешать на заборе, только бы иметь попугая! Вот Мендель и купил попугая — что?

Попугай. Дуррак!

Мендель. Но эта же умная птица! Это она говорит, Мендель дурак?

Тимофеев. У, дьявол — слышать ее не могу! Ну, прощай, Мендель, не сердись. Завтра за деньгами зайду. Прощай!

Мендель. Почему не сегодня? А почему не вчера? Мендель давно уже родился, и попугай давно уже родился, и деньги давно уже родились. Почему не вчера?

Тимофеев. А ты не скули, может, кому еще продашь. Колер-то видал? Я и сам, брат, убыток потерпел, эх! Прощай.

Мендель. До свидания, господин Тимофеев,— уже ушел? Ну так чтоб ты сдох! Он ушел, а попугай остался: и

это называется Мендель купил попугая! Если бы я сто лет думал, я бы такого не придумал: я же его и во сне не видáл!

П о п у г а й. Дуррак!

М е н д е л ь. Ну уже слышал, уже довольно.

П о п у г а й. Дуррак!

М е н д е л ь. Я тебе говорю, что уже довольно. Идиот зеленый! Мне уже в ушах это стоит, а еще ты мне будешь говорить, тогда что от меня останется? Очень ты мне нужен, идиот зеленый,— но если он говорит: Мендель! Тогда что? Тогда я слона могу купить! Тогда я тигра могу купить, и пусть он меня слопает. Что?

П о п у г а й. Дуррак!

М е н д е л ь. Но ты и сам умный. Что же, мне по улице бежать и караул кричать? Идиот зеленый. Или взять вот это стуло и в господина Тимофеева стрелять: пиф, паф!!!

П о п у г а й. Дуррак!

М е н д е л ь. Но уже довольно, я говорю. Я не посмотрю, что вы птица, я вам такое скажу...

Ж е н а *(входя)*. Ты что такой веселый, Мендель? Ты так кричишь, что стаканы лопаются... Но какая хорошенькая птичка! Дети, идите смотреть, какая хорошенькая птичка!

П о п у г а й. Дуррак!

Ж е н а. Но это же чудеса! Она говорит: дурак. Мендель, ты слыхал? Дети, дети!..

М е н д е л ь. Да не надо же детей! Гони их в шею! Или ты такая уже глупая, что не видишь: Мендель купил попугая за сто двадцать!

Ж е н а. Дети, назад! Кшшш! Чего, Мендель: ну, убивай же сразу.

М е н д е л ь. Рублей — ну и что ты так лупишься на меня!

Ж е н а. Дурак.

П о п у г а й. Дуррак!

М е н д е л ь. Уже довольно. Уже слыхал. Но это же не птица, а черт!

П о п у г а й. Дуррак!

Ж е н а *(плачет)*. Дурак.

КОНЬ В СЕНАТЕ

ВОДЕВИЛЬ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ ИЗ РИМСКОЙ ИСТОРИИ

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.

Державин

Здесь собирается Римский Сенат. Все в огромном масштабе, все грандиозно, кроме людей.

Медленно и величественно, едва волоча ноги от важности, сходятся сенаторы к нынешнему торжественному заседанию. Наиболее важных и старых окружает толпа челяди, вольноотпущенников и рабов. Во множестве вьются льстецы. Всюду заглядывают с рассеянным видом, все слушают, все пробуют, все щупают какие-то скромные остролицые полусенаторы в гороховых хитонах. Солнце светит, погода прекрасная.

Один старый и важный патриций приветствует другого, такого же старого и важного.

— Привет тебе, достойнейший Публий.

— Привет тебе, Сципион, величайший из римских граждан, украшение Сената.

Кланяются и расходятся, валясь назад от гордости. Первый льстец шепчет на ухо первому сенатору:

— И чтобы у такого вора и мошенника и такая свита!

Второй льстец также шепчет второму:

— И чтобы у такого казнокрада, прелюбодея и стервеца — и такая свита.

Оба, каждый на своем месте, отчаянно потрясают головами, выражая гражданскую скорбь.

Здороваются несколько сравнительно молодых сенаторов, собираются в кружок.

Первый. Здравствуй, Клавдий.

Второй. Здравствуй, Марк.

Третий. Что с тобою, Марк? Вчера твое лицо наполовину не было так широко, как сегодня.

Марк. Меня насилу разбудили. *(Хрипло откашливается.)* За какой глупостью нас созвали? Голова трещит.

Четвертый. Тише!

Второй. Какое-то очень важное дело. Мне так сказал посланец. Цезарь...

Четвертый. Тише! Тебе чего здесь надо?

Полусенатор. Мне? Решительно ничего. Вот странно, ей-Богу. Я просто так.

Марк *(угрожающе)*. Так?

Полусенатор. Какие колонны! Какие арки! А портики-то? Это не портик, а...

Четвертый. Все рассмотрел?

Полусенатор *(поспешно)*. Благодарю вас, все. *(Отходит.)* Ах, какая замечательная архитектура!..

Марк *(хрипло)*. Презренное ремесло! Вот я его поймаю как-нибудь возле Капитолия...

Пятый *(здороваясь, взволнованно)*. Вы слыхали?

Голоса. Нет. Что?

— Что такое?

— Говори, Агриппа.

Агриппа. Я просто не понимаю, куда мы идем. Это Плутон знает, что такое. У нас хотят укоротить тогу.

Четвертый. Не может быть! Укоротить?

Агриппа. На целый локоть или два: одним словом — выше колен. Нет, вы понимаете — какие же мы будем после этого римляне?

Все поражены.

Марк *(вздыхая)*. Здорово!

Агриппа. И хотят, чтобы мы сами проголосовали это — нет, вы понимаете!

Марк *(вздыхая)*. Здорово. А ничего не поделаешь, отрежут.

Четвертый. Не отрежут!

Марк *(мрачно)*. Так укоротят, что мое почтение.

Агриппа. Нет, не укоротят. Мы свободные граждане, а не рабы.

Второй. Никто не смеет коснуться Римского Сената!

Агриппа. А если резать, пусть отрежут вместе с ногами. Если мой предок, Муций Сцевола, сумел пожертвовать рукой, то я...

Третий. Ты больше пьешь и лежишь, Марк, чем ходишь,— зачем тебе ноги? А вот каково мне!

Марк. Тебе хорошо, Агриппа, у тебя все ноги в мозолях, тебе будет легче, а каково мне?

Все мрачно задумались. Сопровождаемые толпой челяди, встречаются и здороваются два важных сенатора.

Марк. Нет, как можно без ног! Не хочу я без ног! *(Обращается к важному сенатору.)* Привет тебе, великий Тит! Не слыхал ли ты чего о новой воле нашего божественного, нашего...

Тит. Слыхал. Здравствуйте. Вчера я был у цезаря... но какая это голова, какой светлый ум!

Все. О, еще бы, голова!

Второй важный сенатор *(завидуя первому)*. Я тоже был у цезаря. Меня он звал. Но какое вино! Меня выносили пять рабов, так я был тяжел!

Тит. А меня несли шестеро, не понимаю, что здесь такого? *(Марку.)* Когда ты бываешь пьян, тебя сколько рабов несут домой?

Марк *(нехотя)*. Двенадцать. Но скажи на милость, Тит, ты не слыхал, чтоб великий цезарь божественный Калигула выразил пожелание укоротить нашу тогу?

Тит. Тогу?

Второй важный сенатор. Укоротить?

Оба снисходительно смеются.

Тит. Какое ему дело до нашей тоги?

Второй важный сенатор. Какие пустяки!

Агриппа. Но почему же такое торжественное собрание? Мне сказали, что посланец отправлен даже за теми, кто живет в загородных виллах, в Альбано. Ты видишь, сколько уже собралось. А мы так обеспокоились...

Тит. Пустяки! Цезарь хочет устроить ряд особенно пышных празднеств...

Радостное движение и возгласы.

Ну да, да — и ему нужны, вы понимаете, деньги. *(Смеется, потирая сухими пальцами.)* Келькшоз даржан![1]

Агриппа *(радостно)*. Кредиты? Ну, это другое дело.

Все. Это другое дело.

Марк. Этого сколько угодно! Главное, чтобы ноги.

Четвертый. Даже история признала, что «хлеба и зрелищ»... вообще этот принцип... одним словом *(запутывается)*. Я даже не понимаю, о чем тут... Тише!

Второй полусенатор. Нет, я ничего, я так. Мне

послышалось, что тут анекдот рассказывают, а я, знаете, люблю это сальце. Хе-хе. Скоромненькое!

Тит *(благосклонно)*. А, это ты! Ну, здравствуй, бестия, здравствуй. Отчего не заходишь? Посидели бы, поболтали.

Полусенатор. Да все некогда, почтеннейший мой благодетель. Столько забот, что воистину голова кругом идет...

Все остальные почтительно отодвинулись.

Тит. Заходи, заходи.

Полусенатор. За долг почту, благодетель, у меня такие есть новости, что... *(Наклоняясь.)* А ты не слыхал, о чем они тут? Этот Агриппа давно у меня на следу.

Тит. Ну и дурак же ты, братец. Раз я тут, так о чем они могут, а? Пойдем. Вчера цезарь и спрашивает меня...

Уходят. Остальные возвращаются на свое место.

Марк. Даром только напугали! Беспокойный ты человек, Агриппа.

Второй. А это хорошо, что празднества! Чернь что-то беспокойна. Вчера мои рабы палками прочищали мне дорогу.

Агриппа. Я сам, брат, доволен. Тише — идет Марцелл.

Голоса. Марцелл!
— Однако и его призвали!
— Нет, это что-то важное.

Марк. Я его боюсь. Вдруг возьмет и скажет: ну и подлец же ты, Марк,— что я ему отвечу? Ведь правда.

Агриппа. Не много таких осталось.

Все почтительно приветствуют Марцелла. Тот останавливается.

Марцелл. Привет, друзья. Вы не знаете, зачем нас сегодня призвали? Весь Рим шумит о нынешнем собрании. Не новая ли война с Галлией?

Агриппа. Где ты уже стяжал однажды такие лавры, великий Марцелл,— о, нет! Говорят, что ожидаются большие празднества и нужны деньги.

Марцелл. А!

Глухой и полуслепой сенатор. А я всегда голосую за. А? Что? Ну да. Раз я глухой, как же я могу голосовать против? Ну да. Что ты говоришь? Говори, что хочешь, я все равно ничего не слышу. Это не ты, Марцелл, что-то я плохо вижу. Мы вместе были в Галлии, я Антоний, помнишь?

Марцелл. Я Марцелл, но ты уже не Антоний. *(Уходит.)*

Глухой. Что он? Ну и не надо. Говори что хочешь, я все равно ничего не слышу. Пойду с другими поговорить. *(При общем смехе уходит и вмешивается в чей-то разговор.)*

Сенаторы почти все в сборе, разбились на группы. К нашей группе подходит донельзя взволнованный, круглый, как шар, сенатор Мене ний. Не может говорить, задыхается, машет руками.

Агриппа. Что с тобой, Менений?

Марк. Что с ним? Эй, опомнись.

Менений. Ох! Ох-охо-хохошеньки. Ох...

Четвертый. Ну? Да говори.

Менений. Ры... ры... ры... Сенатором... Ох.

Подходят еще.

Голоса. Что здесь?

— Слушайте. Слушайте.

— Да говори же, Менений. Кто умер?

— Никто.

Менений. Цезарь... Цезарь... Божественный цезарь, ох! Назначит сенатором Рыжего! Ох! Рыжего! *(Плачет.)*

Марк. Какого рыжего? Да он пьян, ей-Богу.

Менений. Нет.

Марк. А чего же ты плачешь? Да говори же ты.

Агриппа. Какого рыжего? Отчего он так взволнован? Мало ли у нас сенаторов...

Третий. А кто у нас рыжий? Сципион — раз.

Второй. Камилл — два. Гельвидий — три.

Менений *(машет рукой)*. Да нет, нет. Лошадь!

Все. Какую лошадь? Что он говорит?

Менений. Цезарь назначил свою лошадь... ну рыжего жеребца, знаете?

Голоса. Знаем!

— Знаем!

— Ну так что же? Говори!

Менений *(трагически)*. Цезарь назначил его — сенатором! Ох!

Молчание — и затем всеобщий громкий смех. Подходят новые и, узнав в чем дело, также хохочут. Менений машет руками, но на него не обращают внимания.

Голоса. Ну и сказал. Жеребца — сенатором!

— Ха-ха-ха!

— Кто сказал?

— Он. Ха-ха-ха!

Наконец стихают.

Менений *(кричит)*. Ослы! Дураки! Идиоты! Что сме-

етесь? Я вам истину говорю: назначил — назначил — и сегодня его введут...

Опять громкий смех.

Ну да — введут, а то как же, и мы должны жеребца приветствовать, и вот речь, которую я сам произнесу. *(Показывает свиток и плачет.)* Вот и консулы, они все знают, спросите их... идиоты!

Недоуменное молчание. Кое-кто еще фыркает, но многие уже серьезны. Подходят к о н с у л ы, двое, одеты щеголевато, важны, но любезны.

П е р в ы й к о н с у л. Прекрасное настроение! Очень приятно. Какой чудный день, не правда ли?

В т о р о й к о н с у л. Прекрасная погода! Птицы! Слава Юпитеру, наш божественный цезарь сегодня чувствует себя прекрасно и повелел благодарить. Я думаю, скоро и начнем?

А г р и п п а *(запинаясь)*. А это правда?

О б а к о н с у л а *(любезно)*. Что, дорогой товарищ?

М а р к *(вздыхая)*. Насчет Рыжего. Тут такого наврал Менений.

Консулы делают приятное, но несколько грустное лицо; впрочем, оно одной только стороной грустное, а на другой на нем сияет кроткая радость.

П е р в ы й к о н с у л. Ах, вы уже слыхали? Да, да, как же. Могу всех вас поздравить с радостью, господа. К нам назначен милостью цезаря, и мы сегодня же можем приветствовать в нашей среде нового, так сказать, сочлена...

П о л у с е н а т о р *(просовывая голову)*. Сенатора.

К о н с у л. Ах, да, благодарю тебя, конечно, сенатора. А то как же? Это вполне достойный... или, вернее, достойное...

В т о р о й к о н с у л *(подсказывая)*. Животное.

К о н с у л. Да, да, животное. Господа, но разве и все мы не животные? Все животные. И если у одного из вас две ноги, то есть некоторые, у кого всего одна,— почему же не быть и четырем?

В т о р о й к о н с у л. И в наказе ничего не упомянуто относительно количества ног. И если означенный жере...

М а р к *(мрачно)*. ...бец — договаривай уж! О Юпитер, Юпитер!

П е р в ы й к о н с у л. Его блестящее прошлое всем нам известно. Еще только в прошлом году он... или оно получило приз на ристалище... и вообще мы должны гордиться и приветствовать.

Второй консул. Если и есть какие сомнения по наказу, то только возраст. Новому нашему почтенному товарищу всего шесть лет.

Первый консул. Здесь я позволю себе не согласиться с уважаемым товарищем. Для существ, имеющих четыре ноги, возраст измеряется несколько иначе. Для существ, имеющих четыре ноги, полная умственная зрелость наступает...

Агриппа. Я протестую.

Общие крики негодования и возмущения.

Голоса. И мы!

— И мы!

Агриппа. Еще не было такого прецедента — с тех пор как стоит Рим!

Голоса. Не было!

— Долой жеребца!

— Долой Рыжего!

Агриппа *(воодушевляясь)*. К нам назначали разных мерзавцев — и мы молчали, мы соглашались. Но у них по крайней мере было две ноги, а не четыре...

Голоса. Верно.

— Нельзя четыре!

Агриппа. К нам сажали воров и любовников цезаря...

Марк *(хватая его за руку)*. Ты с ума сошел!

Все крики стихли. Молчание.

Первый консул *(любезно)*. Ты что-то сказал, Агриппа?

Полусенатор *(шепчет)*. Сказал: и любовников цезаря.

Первый консул. Но таково, впрочем, повеление божественного Калигулы. Если тебе не нравится, Агриппа, ты можешь сказать об этом: через несколько минут прибудет сам цезарь. И тогда же при... введу...

Полусенатор. Пригласят.

Первый консул. Пригласят нашего нового и уважаемого сочлена. Должен заметить, что цезарь особенно рассчитывает на ваш теплый и радушный прием новому товарищу. Цезарь глубоко убежден, что обычная ваша сдержанность, отцы отечества, не помешает вам в этот раз вполне выразить ваш восторг и благодарность божественному Августу за его милость. После приветственной речи, которую выразил желание произнести Мнений...

Мнений. Ох!

П е р в ы й к о н с у л. А, это ты, Марцелл! Очень рад тебя видеть.

М а р ц е л л. Я также. Ты сам введешь коня?

П е р в ы й к о н с у л. Нет. *(Ядовито.)* Но ты скажешь ему вторую приветственную речь... Так повелел божественный цезарь. Он заранее в восторге от твоего испытанного красноречия.

М а р ц е л л *(бледнея).* Я плохой оратор. Я воин.

П е р в ы й к о н с у л. Могу передать только то, что повелел Калигула.

М а р ц е л л. Скажи цезарю...

П е р в ы й к о н с у л *(поднимая обе руки).* Ни-ни, достойнейший воин! Я ничего не смею передавать цезарю. *(Любезно улыбаясь.)* Могу только повторить, что он заранее в восторге. Итак — поздравляю, господа.

Оба консула в сопровождении ликторов и свиты уходят. Возле Марцелла образовалась пустота. Марцелл, очень бледный, медленно удаляется. Молчание — и затем общий крик негодования.

— Это неслыханно!

— Это невиданно!

— Нас засмеет чернь! Выгнать эту лошадь!

— Долой жеребца! Долой Рыжего!

О д и н о к и й г о л о с. Долой Калигулу!

Внезапное молчание. Все оглядываются — и Марк за шиворот выволакивает на середину испуганного полусенатора. Хохот.

М а р к. Вот он. Ты это что кричишь, а? Ты кого хочешь долой?

П о л у с е н а т о р. Да разве я что? Юпитер! Да разве я...

В с е. Вон!

Полусенатора вышвыривают пинками; за ним, испуганные, удаляются и прочие полусенаторы. Прислушиваются издали, стараясь хоть что-нибудь схватить; в глазах отчаяние. Здесь становится несколько тише.

Т р е т и й. Мы не должны соглашаться. Помилуйте, что же это будет — на всех воротах написано: Сенат и Народ Римский — и вдруг... какая-то лошадь. Рыжий жеребец!

— Это конюшня, а не Сенат!

— Стойло!

Ч е т в е р т ы й. Тише, тише, сенаторы! Надо обсудить... Вон идет Тит — спросим его, и он... Тит, а Тит!

Сквозь толпу протискивается почтенный Т и т, утративший значительную долю важности.

Т и т. Я уходил и не слыхал, что тут... Крики, шум, что случилось, друзья? Говорят о какой-то лошади...

Марк. Не о какой-то, а цезарском жеребце. Рыжего знаешь? Жеребца?

Тит. Знаю. Ну?

Марк. Вот тебе и ну. Назначен сенатором. Рядом с тобою сидеть будет.

Снова крики и хохот. Тит в обмороке валится назад.

Голоса. В носу! Щекочите ему в носу!
— Водой его!

Тит приходит в себя.

Тит *(слабо)*. И это правда? О Юпитер!

Голоса. Что же нам делать, Тит?

Агриппа. Я говорю, что надо обратиться к народу и легионам...

Тит *(машет руками)*. Что ты! Ни в каком случае. Погодите, дайте подумать! *(Думает.)*

Остальные, разинув рты, смотрят на него.

Итак...

Голоса. Слушайте! Слушайте!

Тит. Как старейший в высоком собрании, я решительно говорю: мы не должны подчиняться.

Возгласы одобрения.

Божественный Август, видимо, впал в какую-то ошибку. Как можно лошадь назначать сенатором? Что же, и я тогда тоже лошадь? *(С горькой иронией.)* Жеребец? Видимо, цезарю что-нибудь не так доложили, и в своем стремлении к благу народа божественный просто не рассчитал, сколько...

Голос. Сколько ног у Рыжего?

Тит. Ну да — и сколько ног, и вообще. Но едва ли здесь в ногах дело: вопрос, по моему мнению, стоит глубже. И надо просто обратиться к Калигуле с петицией, просить его отменить неправильный... или, вернее, непро... нетактичный выбор.

Полусенатор *(просовывая голову)*. И ты, Тит?

Тит. Пошел ты к Плутону! Ну и я, Тит, так что? Убирайся.

При криках «вон» полусенатор исчезает.

И надо прежде всего указать божественному на наши заслуги, на нашу готовность, которая лишает, так сказать, необходимости вводить в нашу среду новых...

Голос. Животных.

Тит. Ну да, животных. Разве мы не всегда соглашались?

Мы все молчали, когда цезарь обобрал, так сказать, весь народ и бросал деньги на ночные празднества и оргии. Мы молчали, когда он растворял жемчуг в уксусе и пил этот весьма дорогой и малополезный напиток. Мы молчали, когда он бросал римских граждан на корм своим зверям в зверинце, вполне доверяя его заявлению, что такой корм обходится дешевле. Помню, я сам тогда исследовал этот вопрос и пришел к убеждению, что действительно при дороговизне припасов такой корм...

Голоса. Короче! Известно!

Тит. Мы молчали, когда, отправившись в поход на Британию, он врал оттуда, что побеждает, а сам собирал ракушки на берегу. Мы молчали, когда, объявив себя богом, он приказывал отсекать головы у других богов и на их место ставить свою. А если это так, то — за что же такое оскорбление. За что? *(Плачет.)* Я старый человек, я отец отечества, и я не могу, чтобы какая-то рыжая лошадь... *(Плачет.)*

Менений *(плачет)*. Жере... жеребец...

Тит *(рыдает)*. Надевши тогу... надевши тогу... *(успокаивается)* вела себя неприлично возле самого моего места. За что?— спрашиваю я. Где наша вина? В чем наше преступление? Не мы ли молчали, когда...

Голоса. Довольно!

— Просить!

— Нет нашей вины!

— Просить!

— Долой проклятую лошадь!

Агриппа. Я протестую! Римские сенаторы, опомнитесь!

Глухой сенатор *(шамкающе вопит)*. А я за! За, за!

Агриппа. Не просить, а требовать мы должны, римские сенаторы. Если мы виновны, то пусть нам назначат наказание по суду, но чтобы так!— чтобы вдруг прямо и лошадь!— что же это такое? Здесь многие указывали на рыжую масть жеребца, а по-моему, дело не в масти, а в том, чтобы подняться и всем уйти отсюда.

Голоса. Уйдем!

— Оставим Сенат!

Агриппа *(заслушавшись себя)*. И когда мы все, покрыв тогой голову, с видом мрачного отчаяния и гордой непокорности судьбе...

У входа движение. Показываются консулы и преторианская гвардия императора. Ликторы кричат: «На места! На места! Дорогу императору!» Окружавшие Агриппу сенаторы поспешно разбегаются на свои места.

(Не слыша.) Кто тогда останется в Сенате? Кто будет заседать? Один жеребец. На том месте, где некогда славный Брут...

Преторианец *(толкая его)*. Дорогу!

Агриппа, опомнившись, бежит на свое место. Шумное движение, суматоха; престарелые сенаторы, сбившись с толку, путают свои и чужие места, спорят. Проходят писцы. Изо всех углов и щелей торчат головы полусенаторов, готовящихся к составлению умственного отчета о заседании. У выходов размещаются преторианцы. В сопровождении толпы изнеженных любимцев, префектов и других высших воинских чинов показывается Калигула. Он пьян, и двое друзей, Приск и Дион, поддерживают его под руки. На голове цезаря золотой лавровый венок. Его маленькие припухшие глаза смотрят сонно и свирепо. Из озорства цезарь волочит одну ногу и выделывает ею кренделя, но потом, рассмеявшись, отталкивает друзей и один, довольно твердо, всходит на возвышение, где цезарская ложа (в правом углу авансцены). Свита помещается возле него.

Когда Калигула занимает свое место, весь Сенат поднимается и устраивает ему продолжительную овацию, по-тогдашнему — триумф. Крики: «Виват цезарь! Виват!» Калигула, не кланяясь, рассматривает орущих, потом машет рукой: довольно!

Крики стихают, сенаторы сели. Первый консул открывает заседание.

Первый консул. Римские сенаторы! В непрестанном попечении о благе народа римского и блеске республики божественный цезарь повелел и соизволил назначить нового сенатора. Не останавливаясь перед жертвами, сколько ни тягостны они его великому сердцу, Калигула отказался для нужд государственных от своего любимого жере... е... лош...

Второй консул *(подсказывая)*. Коня.

Первый консул. Коня, и ныне последний, уже в качестве сенатора и отца отечества, окажет нам честь своим посещением. И мы счастливы...

Калигула *(громко)*. Что он врет? Останови его, Приск. Скажи, что я буду ездить на Рыжем. Что еще придумал, дурак!

Приск *(лениво)*. Послушай, как тебя!..

Консул. Да, я знаю. И милость цезаря столь велика, что он и впредь не оставит нового сенатора своим вниманием и будет на нем... как это сказать, будет на нем... упражняться.

Второй консул. По наказу всякий сенатор в свободное от государственных занятий время может быть... как это сказать, употребляем или вообще приспособляем...

Калигула *(громко и сердито)*. Скажи ему: когда хочу!

Консул *(поспешно)*. Так как служба цезарю есть важнейшее государственное дело и первая и самая святая

наша обязанность, то новый сенатор всегда будет готов для этого... для упражнений. И затем я счастлив передать Сенату благодарность императора за то, что римские сенаторы, в сознании лежащего на них долга, столь поспешно и в таком отрадном количестве собрались на сегодняшнее заседание. Теперь прошу ввес... привес...

Второй консул. Пригласить.

Консул. Пригласить достойнейшего Рыж... сенатора.

Все с волнением смотрят. Несколько конюхов вводят рослого рыжего жеребца, звонко шагающего по каменному полу. Конь действительно прекрасен; слегка взволнованный, он тревожно косит черными гордыми глазами. Вместо попоны на нем накинута сенаторская тога.

Калигула *(бормочет в восторге)*. Какая лошадка! Приск, какая лошадка, а?

Консул. Римские сенаторы, что же вы! Приветствуйте же товарища. Виват!

Сенаторы встают и единодушно громкими и продолжительными криками «виват» приветствуют коня.

Калигула *(щуря оплывшие глазки)*. Все встали, Приск?

Приск. Все.

Калигула *(со вздохом)*. А может, кто не встал, вглядись?

Приск. Все.

Калигула. Дай вина. *(Тянет вино, сердито поглядывая на толпу.)*

Около нового сенатора собралась кучка особенно восторженных патрициев и осторожно, боясь его зубов, похлопывает с нежной улыбкой по спине и крутой шее. Конь волнуется.

Приск. Не кажется ли тебе, божественный, что эти новые поклонники слишком раздражают Рыжего?

Калигула. А? *(Кричит.)* Скажи, чтобы не трогали! Чтобы вон, вон!

Консул. Цезарь просит не обременять сенатора излишней ласковостью, которая его волнует...

Калигула. Чтобы вон! вон!

Консул *(поспешно)*. И занять свои места.

Восторженные, с поклонами и улыбкой понимания отходят на свои места. Затишье. Сенаторы негромко, с выражением на лицах лояльности, переговариваются. Кто-то лояльно зевает, показывая тем, что все обстоит благополучно.

Калигула *(мрачно)*. И это — все?

Приск *(зевая)*. Что же еще, божественный? Твой Рыжий принят достойно.

К а л и г у л а. Достойно, достойно... Приск, тебе интересно?

П р и с к *(небрежно)*. Нет. Я говорил: назначь им петуха.

В т о р о й п р и б л и ж е н н ы й. И с петухом было бы то же.

К а л и г у л а. Не говори глупостей! Какого еще петуха? Я люблю Рыжего и никакого петуха не хочу. Сам ты петух! Нет, ты понимаешь, Приск, что же это такое? Свинство! Я хочу повеселиться, мне скучно, а они ничего не умеют. *(Плачет.)* Плутон меня побери, я ищу сильных ощущений, а разве это си... сильные ощущения? О Афродита, какая скука, какая зеленая скука!

П р и с к. Успокойся, божественный, ты раздираешь нам сердце.

П р е ф е к т *(берясь за меч)*. Негодяи! Расстроили цезаря!

В т о р о й п р и б л и ж е н н ы й. Успокойся! Твое здоровье необходимо для отечества! Может быть, еще что-нибудь выйдет...

К а л и г у л а *(рыдая)*. Да, выйдет, как же. Я их знаю!

П р и с к. Вот сейчас Менений скажет коню приветственную речь...

К а л и г у л а *(переставая плакать и таращa глазки)*. Менений... Да ты с ума сошел.

П р и с к *(небрежно)*. Почему же? Знатный патриций, род свой ведет непосредственно от кухарки Нумы Помпилия, почтенная личность, безукоризненная репутация, уважаем Сенатом...

К а л и г у л а. Менений? Да пойми ты: он только на похоронах говорит. Я помню, когда еще папашу Тиверия одеялами душили, так он хорошую речь сказал, я тогда плакал. *(Опять плачет.)*

П р и с к. Да успокойся, божественный, утишь свою чувствительность! То-то и интересно: привык говорить на похоронах, пусть-ка вывернется теперь. Мы с консулом нарочно его выбрали, чтобы ты посмеялся.

Приближенные смеются. Калигула, поняв, присоединяется к ним и громко хохочет.

К а л и г у л а. Ну пусть, пусть, Менений!..

Г о л о с а. Менений!

— Менений!..

Р е ч ь М е н е н и я.

— Божественный Калигула и вы, римские сенаторы. Какую тяжелую утрату... кхе, кхе... понесли бы мы, если

бы наш божественный цезарь не назначил к нам этого... как его... кхе, кхе... вот этого... сенатора. Какое душевное прискорбие испытали бы мы все, здесь собравшиеся над... под... над тем, что отнюдь не есть прах, да — если бы император вдруг пожалел своего жеребца и не по... покрыл его тогой. Слезы душат меня при одной только этой мысли. Отцы отечества! Вы все знали его и любили, и не мне вызывать в вашей памяти его незабвенный образ, да — незабвенный. Как он скакал! Как он носился, подняв трубою хвост, по императорскому ристалищу, как он вообще резвился, а ныне, что видим? Он заседает. *(Плачет.)* И если даже для нас, имеющих так мало ног, это трудно, а в летнее время даже невыносимо — заседать, то каково же ему при его, да — многоножии... и хвосте? Почтим же его еще раз вставанием и возблагодарим нашего великого и славного Августа за то, что не пожалел для Сената даже своего... *(плачет)* родного... жеребца. *(Садится.)*

Все встают; крики «виват», хохот. Хохочут и в цезарской ложе, и только Калигула не совсем понял и недоволен.

Калигула. Что он, хорошо сказал?

Второй приближенный. По-моему, хорошо.

Приск. И по-моему, хорошо. Вот только последние слова...

Второй приближенный. Да и последние слова... если принять в расчет глубокую искренность оратора, его слезы...

Снова хохочут. Цезарь подозрительно оглядывает всех своими оплывшими глазками — и внезапно приходит в ярость.

Калигула. Молчать, вы — рабы! Я вам покажу. Я вас всех, я вас!.. *(Захлебывается яростью.)*

Наступает могильное молчание. Багровый от гнева, Калигула встает, шатаясь, и кричит через барьер ложи:

Эй вы, отцы отечества, рабы! Не смеяться! И чтобы без этих, этих ваших... я вас знаю. Кто вам позволил смеяться? Не сметь. Это моя лошадь! И если вы будете смеяться, то я вас, я вас... Молчать, навозная куча, дрянной сенатишко! А то велю вас всех бичами, бичами... Молчать. Кто я? Я — бог, вот. Я Кастору отрубил голову, я Полуксу отрубил голову и вам всем велю отрубить, мне надоело. Я — бог. Захотел я — и жеребца сделал сенатором, я захочу — всех вас сделаю жеребцами и отправлю на ристалище бегать. Вы мне побежите. Всем хвосты приставлю. Слыхали? *(Садится и пьет вино, косясь кровавыми*

глазами на приближенных. Те шепотом переговариваются.)

Приск. Какая речь! Это одна из лучших речей божественного.

Калигула *(пьет).* То-то!

Второй приближенный. А насчет хвостов? Какая мысль!

Калигула. Ну, довольно. Надоели. Пусть говорит там кто. Только чтобы это была настоящая речь, а не над покойником.

Приск. Кажется, очередь Марцелла.

Калигула. А, старый буян. Разве он еще жив?

Приск. Ты забыл о нем, божественный.

Калигула. А вы не можете и напомнить? Ну, пусть говорит. Марцелл!..

Робкие голоса: «Марцелл!», «Марцелл!»

Речь Марцелла.

Привет тебе, божественный и несравненный Август! Привет, сенаторы! Привет и тебе, наш новый и достойный товарищ! *(Кланяется коню.)* Я воин, а не оратор, и биться мечом мне пристойнее, нежели бросаться легкими словами; и заранее прошу простить меня, если моя речь будет недостаточно искусна. Этот недостаток я постараюсь возместить воинскою прямотою и честностью старого римского гражданина.

Да, ты прав, Калигула. Ты во всем прав. И когда ты гневно пожелал заткнуть смеющиеся глотки, я всем сердцем присоединился к твоей яростной речи. Бичей! Бичей им! Они клянутся и нарушают клятву, они говорят глупости, их нечистый рот набит нечистыми словами — он один с достоинством молчит. Кто же здесь лучший? Кому же быть сенатором в этом сенате, как не рыжему жеребцу?

Но в одном я упрекну тебя, божественный: ты остановился на полдороге. Ты не довел до конца начатое тобой и не завершил мудрого дела достойным венцом: не уступил Рыжему твоего лаврового венка и высокого сана...

Калигула еще не понял; приближенные что-то поспешно шепчут ему, но он отмахивается рукой.

Ты бог, и ты все можешь! Сделай же рыжего коня цезарем, как ты уже сделал его сенатором, укрась жеребцом ряды великих римских владык. Но я вижу: ты покраснел, ты сомневаешься, достоин ли такого божественного дара ненавистный тебе римский народ? Успокойся: народ до-

стоин. Если долгие годы он молчаливо и покорно терпел двуногую скотину, подобную тебе, божественный, то четвероногое животное будет только новою ступенью к славе! Долой венец, ублюдок, отдай его коню!

Шум. Легионеры поспешно направляются к Марцеллу, чтобы взять его. Многие сенаторы поспешно удаляются, чтобы не видеть дальнейшего.

Калигула *(яростно вопит)*. Взять его! Я тебя брошу диким зверям! я...

Марцелл *(кланяясь)*. Я кончил!

Шум растет, все убегают. Преторианцы схватывают Марцелла.

Занавес

МОНУМЕНТ

КОМЕДИЙКА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

В городе Коклюшине, наконец, решили поставить памятник Пушкину; объявили всенародную подписку, устроили конкурс на проект памятника и учредили комиссию. Проектов было представлено множество, но Ее Превосходительство, по инициативе которой воздвигается памятник, остановила свое внимание только на двух проектах, принадлежащих художникам Фракову и Пиджакову. И в настоящий момент комиссия заседает в квартире Ее Превосходительства как для обсуждения означенных проектов, так и других важных вопросов, связанных с небывалым происшествием. Члены комиссии, кроме Ее Превосходительства, следующие:

Градский голова, Павел Карпович Маслобойников, лицо почтенное, но лишенное образования. Крупен, лыс, бородат и мордаст. Гаврил Гавриилович, податной инспектор, бывший учитель гимназии, уволенный за то, что ругал учеников дурными словами. Учитель географии в прогимназии, Петр Петрович Еремкин, чахоточный. Местный барон. Некто, внушающий почтение и легкий трепет. Мухоморов Анатолий Наполеонович — самый умный человек в городе; ходит в наваченных брюках, в ушах вата, пальцы длинны и костлявы. Его супруга Анна Титовна; большие черные усы. Иван Иванович, обаятельный молодой человек без речей. И еще два члена без речей: один — всегда смеется с Гавриилом Гаврииловичем; другой — ужасается и скорбит с Некоим, внушающим почтение.

Тут же присутствуют и оба художника с проектами. Фраков ненавидит Пиджакова, последний презирает Фракова. По этой причине сидят они в разных концах комнаты. Из посторонних лиц присутствует специально командированный представитель столичной прессы, господин Исполинов.

При открытии занавеса Ее Превосходительства нет: она еще не выходила из своих апартаментов. Члены комиссии собрались кружком около журналиста.

Некто *(Исполинову)*. Пешком изволили? У нас извозчики с семи часов спать ложатся.

Исполинов *(глядя на концы брюк)*. Пешком, да, представьте! Но очень, очень милый городок, такой ори-

гинальный. Однако почему столько собак? Почти как в Константинополе.

Еремкин *(страстно)*. А вы и в Константинополе были?

Исполинов. Как же! Два года писал оттуда корреспонденции, ведь это же рядом с Одессой, ну да! А скажите, у вас это первый памятник?

Барон. Пока первый. Культура этого края еще не... не... Да, первый пока.

Маслобойников. А на кладбище-то забыли, барон? Есть, есть, вы сбегайте, поглядите, господин хороший.

Некто. Кладбище у вас знаменитое.

Еремкин. Но господин Исполинов говорят, если не ошибаюсь, о городских монументах. Полководцы, вообще фигуры великих мужей и...

Некто. Напрасно утруждаете себя объяснениями: здесь вам не ваши ученики. Вот воздвигнем памятник Пушкину, тогда и любуйтесь, сколько хотите, тогда ваша воля.

Еремкин. Но...

Гавриил Гавриилович. Нет, вы вот что нам скажите, господин Исполинов: почему Пушкину? Ну, я понимаю, как этого не понять, ну, город и вообще культура, и нельзя же, чтобы одни собаки и калачи,— но почему именно Пушкину? Мало ли других великих людей? А то все Пушкин, Пушкин, ведь это может и надоесть!

Еремкин. Но с точки зрения...

Гавриил Гавриилович. Вас не спрашивают. А вот вы, господин Исполинов, как представитель столичной печати, не удостоите ли нам объяснить?

Исполинов. Виноват, я в вашем городе только гость и...

Барон. Как известно, Пушкин наш величайший поэт, и задачи культуры — как же можно, иначе нельзя. Где же тогда культура?

Гавриил Гавриилович. Нет уж, барон, извините,— конечно, я не противоречу,— но кому это известно, а мне нет, неизвестно. А вам, Пал Карпыч, известно?

Голова *(вздыхая)*. Мне ничего не известно. Вы меня, Гаврил Гаврилыч, не приводите, я здесь не в пример.

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. Вот оно-с! Не любит Пушкина наш почтеннейший городской голова, не одобряет! Но, виноват, вы желаете сказать, господин Исполинов?

Исполинов. Как гость я, право, затрудняюсь ответить, почему вы решили ставить именно Пушкину. Это даже странно.

Гавриил Гавриилович. А я что говорю?! Но ваше отношение к памятнику?

Исполинов. Мое отношение? А что касается моего отношения к памятнику, то оно двоякое: одно — пока памятник еще не поставлен, и другое — когда он уже стоит. В первом случае я имею материал... ну, положим, и не так много... ну, когда десять, а когда и сотню строк; а во втором случае... Ну, и что мне от памятника, когда он уже стоит, сами посудите? Скажу просто: от всех памятников, какие стоят в Петербурге и Москве, я не имею даже рубля! Да и никто не имеет, это же не требует доказательств!

Голова *(вздыхая)*. Да, под квартиру не отдашь.

Еремкин. Но с точки зрения исторической...

Гавриил Гавриилович. Пошла история с географией: вот уж чего не люблю, так не люблю. И почему, господин Еремкин, вы не можете слова сказать без но?

Еремкин. Но...

Некто. Вот так они всегда: но! Не могут, по-видимости, иначе, не могут. И сколько раз я имел удовольствие их слушать, и каждый раз на этом месте удивлялся: но.

Еремкин *(пугаясь и оглядываясь)*. Но как же мне быть, если так начинается: но? Я совсем ничего не думаю сказать лишнего, и вообще я, но...

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. И опять! Не может!

Некто. Очень жаль, если не можете. Позвольте вам внушить следующее: но — есть знак гордости человеческой, а что такое гордость? Но — есть отвращение ума не токмо от законов человеческих, но даже и божеских,— а что такое ум? Но — есть знак высокой непочтительности, своеволия, так сказать, и даже дерзости. Нехорошо-с, молодой человек, нехорошо-с! обидно!

Еремкин *(в отчаянии)*. Но...

Голова. Цыц! сама.

Входит Ее Превосходительство, поддерживаемая Иваном Ивановичем; ее почтительно приветствуют.

Ее Превосходительство. Уже? здравствуйте, уже? Я так счастлива, наконец, видеть и вообще, наконец, приблизиться — не так ли, господа? Моя мечта — садитесь, господа,— или, лучше сказать, моя идэя наконец близка... Не хотите ли чаю? впрочем, чай потом, а сперва нужно что-то другое... что? Надеюсь, господа, вы простите слабую женщину, которая, это правда, так богата идэями, но совершенно беспомощна в вопросах — как это называется?

М у х о м о р о в *(подсказывая).* Прозаической действительности, Ваше Превосходительство.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Мерси. Вот видите, какая у меня голова, ах, я такая бедная. Раз это не идэя, то я уже ничего не понимаю, я бессильна, как дитя,— нет, нет, не спорьте. Я даже удивляюсь иногда: зачем у меня тело? Ну, у других, я понимаю, ну, там на что-нибудь нужно; а зачем мне?

М у х о м о р о в. Вы, Ваше Превосходительство, по моему скромному мнению,— я заранее извиняюсь, если что-нибудь не соответствует в моих словах,— вы просто дух, Ваше Превосходительство.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Вы так думаете? Ах, как это необыкновенно. Но я очень счастлива... Господа, позвольте вам представить нашего достоуважаемого сочлена, господина, господина...

Г о л о в а. Кто его не знает, знаем.

М у х о м о р о в *(подсказывая).* Мухоморов, Анатолий Наполеонович...

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Мерси. Вот видите, какая у меня голова! Я, право, не знаю, зачем у меня самой есть имя? Это так ненужно, когда вся душа: не так ли, достоуважаемый Павел Егорович?

Г о л о в а. Карпович, Карпов сын. *(Потея.)* Не могу знать, Ваше Превосходительство. Стало быть, нужно, коли дают.

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч *(хохочет).* А для вывески-то? «Павел Карпович Маслобойников-сыновья, мука и бакалея».

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Ну вот, вы все что-то понимаете и даже смеетесь, а я — как это необыкновенно — но к делу, к делу, как говорит монмари. Господа, я пригласила господина Мухоморова в нашу дорогую Пушкинскую комиссию...

Г о л о с а. Просим, просим!

Мухоморов и его жена встают и кланяются.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Ах, как это трогательно! Господин Мухоморов, как вам, надеюсь, известно, самый умный человек в нашем городе; его открыл нам наш дорогой барон...

Б а р о н. Это такой русский ум!

Г о л о с а. Известно, известно!

— Просим!

— Садись, Мухоморов.

М у х о м о р о в *(кланяясь, рукою как бы отстраняя честь)*. Польщен! высоко польщен! Но как глас народа, то — молчу и покоряюсь. Однако не сокрою... Анна, выступи! Моя супруга и равным образом моя муза.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Ах, как романтично! Садитесь, пожалуйста, или что? Но — уже, это прекрасно. Скажите, ведь у нашего Пушкина также была муза?

М у х о м о р о в. Как же-с. Была.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Ах, господа, когда я подумаю, что тень великого Пушкина присутствует между нами, то мне становится страшно, я плачу. Не удивляйтесь, господа, я слабая женщина. Правда, когда мне пришла идэя поставить в нашем Коклюшине памятник великому Пушкину, я — вы понимаете? Но теперь, когда — вы понимаете? Но почему же мы не заседаем? Или мы уже? Прошу вас, господа, заседайте, заседайте! Я умоляю!

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч. Что же, можно. Пал Карпыч, вы, как градский голова, бессменный наш председатель — открывайте.

Г о л о в а. Открывать-то открывать... *(Вздыхает.)* А то вы бы, барон, а?

Б а р о н. Нет, нет, просим.

Г о л о в а. Наше дело простое, торговое, и как по примеру прочих, так куда уж: с суконным рылом да в калачный ряд. Главное, не могу я за себя поручиться: такого могу наговорить, что и до завтраго не прочихаешься... А тут еще тень, говорите. Эх! Стало быть, открывается. Звоночек бы мне...

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Я даже боюсь вас! Иван Иванович, дайте председателю звоночек — но как, уже?

Г о л о в а. Спасибо, милый. Кому желательно?

Мгновение некоторой нерешительности.

Н е к т о *(Исполинову, тихо)*. Вы уж ко мне поближе. Блокнотик вынули? Записывайте, записывайте, освещайте!

Е р е м к и н. Позвольте мне, я быстро. Нет, нет, я без но. Просто надо, чтобы Павел Карпович, в ознаменование и, так сказать, в присутствии столь почтенных лиц, выяснил нам значение, если смею так выразиться, высказал свой просвещенный взгляд на творения и личность усопшего поэта. Я уже, кончил!

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч. Да, не мешало бы выяснить, а то я что-то не понимаю. Нуте-ка, Пал Карпыч, понатужьтесь! *(Хохочет.)*

Голова. Что? шутите вы, что ли? Да как же я выясню? Нет уж, господа, ей-Богу, увольте: что касается остального, так я на все согласен, ей-Богу, а уж выяснить ничего не могу. Учены мы на медные деньги, я и счета правильно-то написать не умею, а вы говорите: выяснить. Ну, Пушкин и Пушкин — что ж тут неясного?

Ее Превосходительство. Ах, как стыдно! Неужели вы не знаете Пушкина?

Голова. Как не знать — знать-то я его хорошо знаю, я его окончательно знаю — как не знать! Но только зачем это выяснять? Ну, собрались, ну, и слава Богу, и тому порадоваться надо. Я, извините, от дела отбился с этим Пушкиным, а вы еще говорите, выяснять. Стало быть, ясно, коли собрались. Я же первый и три рубля взнес: стало быть, знаю, коли взнес; не знал бы, так не взносил бы. А вы, Гаврил Гаврилыч, чем усмехаться над моим убожеством да голову мне морочить, лучше взяли и сказали бы.

Гавриил Гавриилович. Позвольте, при чем я тут? Как всем известно, я вовсе уж не такой поклонник господина Пушкина, и зачем я стану говорить? Не желаю говорить, вот и все. В комиссию я согласен, потому что образованный человек, все понимаю, а говорить мне нечего. Пушкин! Ну, и ставьте памятник Пушкину, а если вы его не знаете, так это стыдно. Я, например, все наизусть знаю; не люблю — но знаю.

Еремкин. Да, стыдно, стыдно.

Некто. Нехорошо.

Барон. И даже некультурно.

Маслобойников *(звонит)*. Да что стыдного-то: я ж говорю, знаю. Может, оттого, что знаю, оттого и выяснять не хочу. Не желаю выяснять. И что это, господа, привязались вы: стыдно, стыдно. Разве я прекословлю? Будь бы я прекословил, а то нет? Пушкин так Пушкин, я против него ничего не имею. А чем препираться и председателю огорчения делать, так лучше делом займемся. Вон и энти господа, художники-то, на нас косятся, думают, чем занялись вместо дела. Верно, господа?

Фраков. Помилуйте! Нам оказана такая честь.

Маслобойников. Прожектики-то принесли? Ну, ну, сейчас, дайте о деньгах сказать. Как на мне лежит счетная часть, так должен я отчитаться... Вот тут *(показывает на боковой карман)* лежит у меня три миллиона двести тысяч, да еще не знаю, сколько нынче по почте

пришло — миллион или два. Отбою нет от денег — так и жертвуют, так и жертвуют: кто копейку, кто две.

Ее Превосходительство. Три миллиона — этого хватит?

Маслобойников. Обойдемся как-нибудь. Так что ж, картинки будем смотреть или что? Давайте уж картинки посмотрим. Ну-ка, милый, покажь, что намалевал? Разверни, разверни.

Фраков. Вот. Пожалуйста. *(Развертывает на стене проект памятника.)*

На рисунке Пушкин изображен в короткой римской тунике с венком на голове.

Голоса. Удивительно!
— Какая прелесть!
— Нет, но как классично, какая поза!
— Великолепно!

Голова. Так. Это самое и есть Пушкин? Скажи ты! А отчего же он без брюков? По-моему, брюки бы надоть.

Фраков. Извините, почтеннейший, но Минин и Пожарский...

Голова. Чудак! Так то — Минин и Пожарский: тогда и все без брюков ходили, а теперь стыдно.

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. Вот так ляпнул городской голова!

Ее Превосходительство *(страдая)*. Здесь недоразумение, дорогой Павел Карпович, вы просто не знаете требований классицизма!

Художник Пиджаков насмешливо хохочет.

Голова. Я-то? Извините, Ваше Превосходительство, но как у меня самого два сына в классической прогимназии, так я эти требования вот как знаю, здесь сидят! *(Бьет себя по шее.)* Но чтобы вовсе без брюков, этого даже и не слыхал, извините, врать не стану! *(От души хохочет.)*

Ее Превосходительство. Барон, объясните ему, я не могу!..

Барон. Но мне и самому... Конечно, я не о той части костюма, о которой, но... Да, да, несколько странно. Но, может быть, коллега, автор следующего проекта, нам что-нибудь скажет... компетентное мнение...

Фраков *(гордо)*. Я слушаю.

Пиджаков. Я ему не коллега.

Барон. Но почему же?

Пиджаков. Он академик. А я нет.

Ф р а к о в. Горжусь, что я академик!

П и д ж а к о в. Горжусь, что я не академик!

Б а р о н. Но, господа, позвольте, зачем так остро переживать? Я извиняюсь и, может быть, лучше, если сам автор проекта объяснит свою мысль...

Ф р а к о в. Что же тут объснять?

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Ах, пожалуйста, мы просим.

Ф р а к о в. Подчиняюсь приказанию Ее Превосходительства. Итак — что такое памятник? Памятник — это монумент. Надеюсь, никто не возражает?

П и д ж а к о в. Я возражаю.

Ф р а к о в *(окидывая его презрительным взглядом)*. А раз монумент, то он должен быть монументален. Все временное, все слишком человеческое, все слишком обыденное и пошлое — отпадает.

Г о л о в а *(иронически)*. И брюки?

Ф р а к о в. Да-с — и брюки, как вам угодно выражаться. Моя скромная задача дать величие, а не брюки, я художник, а не портной. Брюки и на вас есть, почтеннейший!

Г о л о в а. Ну да: еще я б тебе без брюков ходить стал, чего захотел.

Гавриил Гавриилович хохочет.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Боже мой, что они говорят! Но где же идэя, идэя?

Г о л о в а *(звонит)*. Прошу господ собрание не ржать, тише! И вот мой сказ: голого нельзя. У нас мимо памятника девицы ходить будут, нельзя. Так — я ничего не имею: Пушкин — ну и Пушкин, а неприличия, как градский голова, допустить не могу, на мне медаль. Одень — тогда и ставь: тут тебе не спальня, а прохожая улица. А вы опять ухмыляетесь, Гаврил Гаврилыч — ну, чего вы?

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч. Так-с. Величие! Скажите пожалуйста! Конечно, я все понимаю, тут и понимать нечего,— но почему именно Пушкин велик? Стихи писал — но, позвольте, что тут такого? Стихи всякий может писать, я сам их мальчишкой сколько написал. Наконец, ставят памятник человеку, который был убит в какой-то драке...

Н е к т о. Смерть нехристианская, это верно. Но раз начальство ничего против такой смерти не имеет, то мы должны покориться. При всем том голизны одобрить не могу: человек умер, и Бог ему судья, а не мы. *(Исполинову.)* Округлив, запишите.

Еремкин. Осмелюсь и я. Та широта, под которой находится наш город, условия сурового климата заставляют и меня присоединиться к протесту. Было бы странно, если бы зимой, в мороз до тридцати градусов и более, на площади, занесенной сугробами, возвышался голый человек! Несоответственно.

Голова. На него и глядя-то зубами заляскаешь!

Фраков. Но не могу же я его в шубу!..

Голова. А не можешь, так чего ж берешься? Какой важный! Не ты стоять будешь, а он: так чего же ты ерепенишься?

Ее Превосходительство. Боже мой, что они говорят!

Фраков *(гневно)*. Это... это папуасы! Это... это... Извиняюсь, Ваше Превосходительство, но я... позвольте мне удалиться!

Голова. Ну, ну, какой обидчивый,— и слова сказать нельзя. Посиди, посиди, не расстраивай компании. Может, другой-то еще хуже твоего: вместе ругать будем; возьми папиросочку, покури. Ну — твой черед, разворачивай... Эх, Пушкин!

Пиджаков (не совсем трезвый молодой человек, лохматый, поэтической внешности) развертывает и прикалывает свой проект. На рисунке Пушкин стоит, широко расставив ноги, одну руку положив в карман, другою — сморкаясь. Снова недоумение.

Так. Хорошо! Отчего же он за нос-то держится?

Пиджаков *(гордо)*. Сморкается.

Голова. Монумент-то? Да что вы, ей-Богу, морочите, от дела отрываете?

Барон. Да, странно.

Некто. И опять-таки неприлично...

Ее Превосходительство *(страдая)*. И где же идэя?

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. Нет, хорошо! А то — величие! Знаю я это величие, видал великих немало: прекрасно знают, где раки зимуют, ваши великие. Нет, хорошо. Очень хорошо!— так его и надо. Браво, молодой человек.

Пиджаков *(гордо)*. Несколько слов. И надеюсь, вы меня поймете, хотя от рождения я одинок. Мне надоело ваше лживое искусство, и я кладу ему конец! Довольно! *(Бьет кулаком по столу.)* К черту!..

Еремкин *(тихо)*. Но какой он сердитый.

Голова *(также тихо)*. Выпил, оттого и сердится. Погоди, еще бить нас с тобою будут... Эх, Пушкин!

П и д ж а к о в. Довольно! Я больше не хочу! Я ненавижу ваши лживые города с их бездушными героями на нелепых конях. Долой старую ложь! Пушкин был велик не тем, что писал стихи, как здесь сказал какой-то идиот...

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч. Но, позвольте, кто дал вам право!..

П и д ж а к о в. Виноват, это только полемический прием, и лишь идиот может понимать это буквально. Пушкин велик тем, что он был — человеком! Человек — вот что такое Пушкин, и человека я вам даю. Вам, ничтожным людишкам, нужно, чтобы ваш герой сидел на коне, а мой — сморкается!

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о *(робко)*. Но где же идэя?

П и д ж а к о в. Вы не понимаете? Ха-ха — в насморке. Что, не понравилось? не любишь?

Б а р о н. Но послушайте, дорогой мой!..

П и д ж а к о в. Я вам не дорогой. Если у меня нет знаменитого имени, как вот у этого академического тупицы, так это не дает вам права называть меня «дорогой»!

Ф р а к о в *(вскакивая)*. Я протестую!

П и д ж а к о в. Ну и протестуй, сморчок несчастный.

Ф р а к о в. Я ухожу!

П и д ж а к о в. Ну и уходи ко всем чертям! Ты думаешь, что если я молчал, так это от восторга? Молчал потому, что все вы подошвы моей не стоите — вот!

Фраков выходит. Пиджаков сатанински хохочет.

Н е к т о *(Исполинову, тихо)*. Этого не пишите!

Г о л о в а. Говорил, бить начнут.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Милостивый государь, вы позволяете себе такое, что я, право, не знаю. Что в этих случаях делается?

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч *(яростно)*. Вывести надо, вот и все!

Н е к т о. Правильно!

П и д ж а к о в. Я все позволил и все позволяю. Выводите — я всегда готов. Я сам крикну по вашей подлой терминологии: эй, человек, выводи человека! Вы думаете, я молчал от восторга?— рожи проклятые!

Н е к т о *(быстро)*. Этого не записывайте!

С Ее Превосходительством дурно. Ее успокаивают, пока голова осторожно выводит Пиджакова, уговаривая его.

Голова. Ну, ну, иди! Я это дело знаю: завтра проспишься, тогда и поговорим. Ну, сморкается и сморкается, чего же плакать-то?

Пиджаков *(плача)*. Ты — хам, но только ты один меня понял. Поцелуемся.

Голова. Изволь, сколько хочешь. В калошах пришел или так? Калоши-то не забудь. Ну, и сморкается, эка! Не плачь, все там будем. На извозчика-то есть? А то у меня возьми, потом отдашь. *(Выводит его в переднюю.)*

Здесь некоторое смущение и печаль о несовершенстве человеческого рода.

Барон. Какое некультурное происшествие! Молодой человек сидел так скромно,— и кто бы мог подумать!

Мухоморов. Водка-с. Вот кто наш истинный враг.

Гавриил Гавриилович. А по-моему,— дурак и больше ничего! нахал!

Некто *(Еремкину)*. А вот вы все твердите: но. Вот оно, ваше «но», молодой человек, видали? Хорошо, по-вашему?

Еремкин. Но при чем же я, Господи!

Ее Превосходительство. Анатолий Наполеонович, вы умный человек, скажите мне, зачем я спустилась на землю? И разве идэи — это так трудно и недоступно другим людям?

Мухоморов. По моему скромному мнению,— вы избранная натура, Ваше Превосходительство. В нашем ли Коклюшине вам прозябать, когда самые первые столицы должны с гордостью открыть Вашему Превосходительству свои врата. Не так ли, господин журналист?

Испòлинов. Безусловно! Целиком присоединяюсь!

Голова *(входя и отдуваясь)*. Отправил. Ну и народ горячий: хочет еще энтого первого догнать: изобью, говорит, как собаку. Так как же, по домам после такого скандала или продолжать будем? Надо бы уж кончать, а то совсем я от дела отбился, хоть лабаз закрывай.

Ее Превосходительство *(слабо)*. Продолжим.

Голова *(звонит)*. Открывается и продолжается. Как, прогнавши обоих, по какому планту будем памятник ставить? С ума сойдешь, ей-Богу. Ты что все молчишь, Мухоморов? — подскажи. Ума у тебя, сказывают, целая палата.

Мухоморов. Смею ли я?

Голова. Раз позвали, значит, смеешь. Не форси. Ну?

Мухоморов *(вставая)*. Я мыслю об единообразии. Анна! ты понимаешь? Раз если Пушкин один, то на каком

основании памятники должны быть различны? Мыслю так: откинув лжемудрие...

Некто. Правильно.

Мухоморов. ...воздвигнуть монумент по образу столичного московского. Изволили видать? Со шляпою в руке для обозначения задумчивости, и в альмавиве, то есть плаще-с. Анна, ты согласна?

Мухоморова. Согласна.

Голова. И я согласен. Верно! Лучше московского не придумаешь. Дадим этим по сотняге за беспокойство, да и приступим, благословясь... Умница ты, Мухоморов! Спасибо!

Гавриил Гавриилович. А я не согласен. Позвольте! какая это еще задумчивость? Раз ты стоишь на площади, так веди себя вежливо, а не задумывайся. Голову опустил, ни на кого глядеть не желает, скажите пожалуйста! Спроси раньше, желаю ли я на тебя глядеть, а потом и задумывайся.

Голова. Ну и гордости у вас, Гаврил Гаврилыч! А по-моему, то и хорошо, что ни на кого не глядит,— чего ему на нас глядеть, эка невидаль, подумаешь! Кончено *(звонит)*, принято подавляющим большинством. Поздравляю, Ваше Превосходительство, честь имеем!..

Ее Превосходительство. А что?— разве уже? Ах, какие вы милые. Но когда? Я так задумалась о нашем дорогом Пушкине, тень которого...

Голова. Уже, уже, поздравляем. А теперь что? В прошедший раз мы говорили, как его, этого самого Пушкина ставить,— продолжим?

Некто *(грозно шипит)*. Тсс! что вы, что вы! Тут еще пресса сидит, а вы такое!.. Страха на вас нет, Пал Карпыч!

Голова *(мгновенно потея)*. Фух-ты! Про прессу-то и забыл.

Все со страхом смотрят друг на друга, потом на Исполинова. Молчание.

Исполинов. Мне удалиться?

Голова. Вот именно: удались, миленький. Тут у нас, понимаешь, такое дело, что...

Некто. Тсс!

Все. Тсс! тсс!

Снова со страхом смотрят друг на друга. Пауза.

Голова. Ты не обижайся, голубчик...

Исполинов. Не беспокойтесь, я привык. Я удаляюсь.

Голова. А привык, так тем лучше: удались, миленький,

удались. Завтра я тебе, ей-Богу, все расскажу, а сейчас ступай ты от греха. Иди, иди!

Исполинов быстро уходит. Все смотрят ему вслед. Гавриил Гавриилович заглядывает в дверь.

Гавриил Гавриилович. Знаю я этих! Уйдет, да под дверью и притаится.

Барон. Лучше на ключ, Гаврил Гаврилыч.

Голова. Да и занавески бы спустить: чего на улицу светим, прохожих беспокоим!

Некто. Я и говорю: разные. Будь друг, Еремочка, опустите занавесочки-то: все спокойнее. Да и свету бы поубавить: друг дружку знаем и в потемках не ошибемся. Гаси свечи, Гаврилыч!

Гавриил Гавриилович. Готово. Я и лампу эту погашу, зачем она! *(Гасит.)*

На сцене темнеет. Лица заговорщиков бледны.

Еремкин. Но я полагаю, что в присутствии Ее Превосходительства...

Некто *(шипит)*. Опять: но! Вот как залетите в места не столь отдаленные, тогда и покаетесь, да поздно будет! поздно!

Ее Превосходительство. Я не понимаю. Ах, как романтично. Сейчас тень, да?

Голова. Какая еще тень? Да не пугайте вы, Христа ради! Тут и так поджилки трясутся, а вы еще: тень... Я так не могу, Ваше Превосходительство,— у меня дети!

Мухоморов. Ее Превосходительство не от мира сего: чего мы, однако...

Голова. Ну да, а мы от мира сего... Потуши-ка вон ту свечечку, Гаврилыч,— чего ей коптеть. Да поближе садитесь, кружком. Ну — кажись, все ладно... можно приступить. Ну — Господи благослови... чур меня, чур, перечур, тьфу!

Мухоморов *(тихо и выразительно)*. Политика?

Голова *(одним вздохом)*. Она самая. Господи, всю жизнь я этого опасался, а вот привелось на старости лет. Мука мученьская, этот ваш Пушкин.

Гавриил Гавриилович. Да, фигура.

Некто. Сказано: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Что есть мы? Человеки, а над нами перст. Куда направит, туда и придем, независимо от рассуждений.

Голова. Пожили, значит, побаловались, и буде. Детей мне, главное, жалко: останутся они без отца, без матери... Ну, да что уж, снявши голову, по волосам не плачут. Одним

словом, навостри уши, Мухоморов, и слушай,— дело это негромкое. Навострил?

Барон. Да. Здесь мы очень нуждаемся в ваших компетентных советах, дорогой Анатолий Наполеонович. Ваш всему городу известный ум...

Мухоморов. Готов к услугам. Способности мои преувеличены голосом народа, но насколько могу — я весь внимание. Анна, сядь ближе. Извините, но это моя муза. Анна, садись. Мы слушаем. По какой статье?

Голова. Статья-то еще неизвестная, а плохая. Тяжелая статья. Надо его ставить, а как поставить, чтобы без нарушения... понимаешь? — политика, брат! Вот, рассуди сам, голубчик. Нашу Ильинскую площадь знаешь? Гляди, я тебе пальцем покажу для вразумления: тут острог, а супротив его, на другой стороне,— богоугодное заведение, ну, для сумасшедших, желтый дом, понимаешь? А тут, с правой руки, сиротский суд, а тут слева, супротив его,— свечной завод Галкина, знаешь небось. Вот она какая география-то,— сам тут черт ногу сломает.

Мухоморов *(качая головой)*. Да, расположение затруднительное, требующее крайней осторожности. Анна, ты чувствуешь?

Голова. Ну, конечно, осторожности, а то чего же? Не маленький, чать, понимаю. Ну — и куда его задом приткнуть, спиной, понимаешь? Думали мы, думали, гадали, гадали и решили, после долгой канители, поставить его задом — к острогу: так оно никому не обидно... Ну... чего же ты молчишь?

Мухоморов. Молчу, Анна, ты также?

Анна. Я также.

Голова. О Господи!..

Барон. Говорите, многоуважаемый, мы ждем. По-видимому, что-то не так?

Голова. Да говори, не мучь. По ехидству твоему вижу, что мысль имеешь: рази уж. Ну?

Мухоморов. Я только одно позволю себе спросить: что такое острог? Анна, ты меня понимаешь?

Голова. Который для арестантов, что ж тут понимать. Ну?

Мухоморов. Так-с. Для арестантов. Так-с. А что такое арестант?

Испуганное молчание.

Не знаете, так я вам скажу: арестанты — это жертвы правосудия. А раз тут правосудие, то *(вставая и угрожающе*

вытягивая руку) позвольте вас спросить, к кому задом вы изволите ставить господина Пушкина? Анна, слыхала?

Голова. Батюшки!

Мухоморов. Вот именно-с. К правосудию! К самим законам! А их четырнадцать томов, не считая кассационных решений! К самому, наконец *(свистящим шепотом)*, министерству юстиции! *(Садится.)*

Все взволнованы.

Гавриил Гавриилович. Вот это голова! Это ум!

Голова. Ну и политика! Воистину только как Бог спас. Ну их, арестантов,— боюсь я их теперь, прокаженных! Вот история... Слушай, Мухоморов, наклонись-ка: а что, если мы его к сиротскому суду задом поставим?

Мухоморов. К сиротам-то? Анна, ты слышишь? Но, конечно, если невзирать ни на сиротский суд, ни на воспитательный дом, состоящий...

Ее Превосходительство *(решительно)*. К сиротам нельзя спиной. Какая ужасная идэя! Я не позволю вам обижать моих сирот, Павел Карпыч.

Голова. Нет, нет, я уж сам вижу... И опять Бог спас!

Гавриил Гавриилович. Раз спасет, а другой и не станет.

Некто. Истинно удивляюсь вам, Павел Карпович! Человек вы семейный, с достатком, а такие мысли!.. Нехорошо.

Голова. Язык мой — враг мой, сам вижу. Слова больше не скажу, клещами не вытащишь, оглоблей из меня не выбьешь! нет! А коли вы, батенька, так все понимаете, так вы и говорите; я ничего не знаю, я председатель. Кому желательно?

Еремкин. Позвольте мне!

Голова. Тебе? да ты спятил? Думаешь, двери затворены, так все тебе и можно? Помолчишь, и так хорош. Лишаю голоса, нельзя!

Некто. Ни в каком разе! Но по случаю того, что ко мне сделано обращение, и как человек многоопытный, весьма и весьма искушенный, предложу сие. Не поставить ли нам господина Пушкина задней их половиной к дому умалишенных? Поясню. Что есть умалишенный?..

Голова. Погоди, батя, он что-то улыбается. Ты что улыбаешься, Мухоморов? Ну и язва же ты, и кто тебя сотворил такого?

Мухоморов. Так-с. Спиной к желтому дому,— а лицом куда?

Голова. Погоди, дай сообразить. Ну, лицом к острогу, стало быть.

Мухоморов. К острогу? Так-с, хорошо. А не скажут ли свыше *(вставая и угрожающе вытягиваясь)* — это почему в городе Коклюшине господин Пушкин заглядывает в острог? Не есть ли сие *(свистящим шепотом)* самый предерзостный намек на неподлежащее нашим суждениям существо властей предержащих? Анна, понимаешь!

Гавриил Гавриилович. Ого! это уж в самые отдаленные, не ближе.

Голова. Да и то ежели с снисхождением.

Некто *(взволнованно)*. Ну, конечно, так оно и есть. Воистину соблазн, и как это я? Тьфу, тьфу, отыди, сатана. Намек! форменный намек, не то что прокурор, а и ребенок всякий поймет! Отрекаюсь, поспешно отрекаюсь.

Голова. Вот сам видишь, батя, каково это, а других осуждаешь! С виду-то оно легко, а как вдумаешься, так со всех сторон каторгой пахнет. Хорошо, что умный человек с нами, а без него давно бы уж поминай как звали! Тю-тю! Двери-то закрыты?

Гавриил Гавриилович. Закрыты. А по-моему, уж не так это и трудно,— только бы ум был. Позвольте мне? Свечной завод, говорите? — ну и поставьте его спиной к свечному заводу, Галкин не обидится.

Молчание. Размышляют.

Барон. Это хорошая мысль. А вы как полагаете?

Некто. Не знаю. Может, хорошая, а может, и нехорошая. Ничего не понимаю. Один соблазн и больше ничего! Не знаю-с.

Барон. Но вы изволите молчать, Анатолий Наполеонович?

Мухоморов. Молчу-с. Анна, ты понимаешь?

Голова. Ну, держись, сейчас распишет... о Господи!

Мухоморов *(небрежно)*. Да и расписывать нечего, все и так ясно... Конечно, здесь есть маленькая аллегория или символ, как говорится, но для тонкого ума это не представляет затруднений. Господа,— а что такое свеча?

Подавленное молчание.

Голова. Свеча, ну, и свеча,— да не пугай ты, Христа ради!

Мухоморов. Так-с. Свеча — это свет, не правда ли? Следовательно, к кому станет задом ваш господин Пушкин? *(Поднимаясь.)* К свету-с! К просвещению! *(Свистящим*

шепотом.) К самому министерству народного просвещения!

Молчание.

Голова. Ну и дела! Одно слово: капут. Как ни упирайся, а капут. Плакал мой лабаз! Ваше Превосходительство, помилосердуйте, освободите — прикажите сами его поставить, как вашей душеньке угодно.

Ее Превосходительство. Но я не понимаю или я должна? Но что? Если бы дело касалось идэи, я могла бы, но здесь... Но помогите же нам, гениальный ум! Мы умоляем!

Мухоморов. Нет уж, какое я имею право. Извольте сами.

Голова. На колени перед тобой, что ли, становиться? Помоги!

Мухоморов. Извольте сами.

Голова. Да не упирайся ты, как козел. Скажи! Тебе при твоем уме это все равно что плюнуть, а мы мучаемся!

Барон. Мы просим вас.

Все просят.

Мухоморов. Хорошо-с. Но тогда уж позвольте не мне, а моей музе. Анна! скажи.

Ожидание, полное надежды. Маслобойников даже разинул рот.

Анна. Надо у Пушкина весь зад обсадить деревьями.

Мухоморов *(торжествующе)*. Что-с? каково-с? Так по слову самого поэта и выйдет: широколистные дубравы и прочее. Анна, я тебя благодарю.

Всеобщее ликование.

Голова. Спасибо! Выручил Мухоморов! Свечи зажигайте! занавески отдергивайте! Эх, музыку хорошо бы! Урра!..

Занавес

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЛН — Литературное наследство, т. 72.— Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., Наука, 1965.

Письма — Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917).— Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 266. Тарту, 1971, с. 231—312.

ПССА — Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений. СПб., А. Ф. Маркс, 1913.

Реквием — Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., Федерация, 1930.

СС — Андреев Л. Н. Собрание сочинений, т. 1—13 — Просвещение; т. 14 — Московское книгоиздательство; т. 15— Шиповник; т. 16—17 — Книгоиздательство писателей в Москве.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

Настоящий том главным образом составляют произведения, созданные Андреевым в 1914—1915 гг. То новое, что выявилось в его мировоззрении и творчестве в эти годы, обычно связывают с особой духовной атмосферой в России, вызванной началом мировой войны. Метаморфоза, произошедшая с писателем-«индивидуалистом», с автором, который десять лет тому назад устами героя своей драмы «Савва» провозгласил сверханархический лозунг о «голом человеке на голой земле», а ныне отстаивающем принципы временного примирения с государственностью во имя победы, и на самом деле была разительной. Однако, на наш взгляд, этот перелом был подготовлен прежде всего тем «просветлением» его взгляда на мир, человека и Бога, «оправданием» бытия, проблесками надежды, все в большей и большей степени пронизывающими прежнюю фатальную безысходность, которыми было обозначено для Андреева

уже начало 1910-х гг. Вызревшая тогда же в былом «индивидуалисте» потребность в единении с людьми в 1914 г. стала обретать «общественно» и «национально» конкретные формы. «Конкретизация» эта была, впрочем, совершенно специфического, «андреевского» характера, но от этого не теряла своей определенности *как тенденция.*

По воспоминаниям В. Беклемишевой, Андреев рассказывал о страшном психологическом напряжении, о «темном хаосе и тоске», преследовавших его в летние месяцы 1914 г., и неожиданной перемене в его душевном настрое после 1 августа: «С момента объявления войны все исчезло: нет темного ужаса, нет тоски. Если бы меня спросили, что со мной, я бы сказал: это воскрешение из мертвых. Это не только мое личное воскрешение из мертвых, это прежде всего воскрешение из мертвых России» (*Реквием,* с. 268). Тяжелое испытание, выпавшее на долю всего народа, сместило многие мировоззренческие ориентиры писателя, но, повторим, к этому повороту Андреев внутренне был настроен уже с начала десятилетия. И хотя во многом восприятие войны строится (особенно в самый первый ее период) под знаком высокой трагедии, преображающей жизнь, подымающей обыденное до библейских высот, это уже не типичная для Андреева трагедия отъединенного индивида, но — путь воссоединения всех в одну судьбу. «...А услышать войну, это так много значит, что даже страшно подумать только. Услышать войну — это ведь услышать голос самого синайского Бога, услышать — и содрогнуться, содрогнуться — и погубить ту милую, старую, привычную душу свою, с которой так великолепно мы доплясались до войны. Услышать войну — это значит переоценить всю свою жизнь, все ее радости, страдания и надежды; не только все прошлое поставить насмарку и вбить осиновый кол в могилу вчерашнего дня, но и нынешний день изменить до неузнаваемости». Так писал Андреев в 1915 г. в статье «Пусть не молчат поэты» [1].

Вообще нужно отметить, что библейские образы становятся для Андреева тех лет вновь притягательными, но уже не как символы, от которых нужно оттолкнуться, чтобы их парадоксально переосмыслить (а это ранее было главным — и в «Жизни Василия Фивейского», и в «Иуде Искариоте», и в «Бен-Товите»), а в их общепринятом в христианском мире *объединительном* значении. В статье «В сей грозный час» он вспоминает имена Давида и Голиафа, предание о Моисее, во время битвы израилитян с неприятелем воздевающим в молитве руки и тем самым черпающим силу для своего войска.

При этом Андреев-публицист (а этот дар с новой силой про-

[1] Биржевые ведомости, 1915, 18 окт., № 15155.

буждается в нем с самого начала войны) в своих патриотических воззваниях никогда не доходит до шовинистических и милитаристских крайностей. Он далек от воспевания «романтики войны», напротив — он призывает к *духовности* (как в общекультурном, так и собственно религиозном смысле) искать противоядие против грозящего душе в этих условиях вируса насилия: «Читайте книги и посещайте музеи, бывайте в театрах, дружите с людьми. Общайтесь с великими: их бессмертно звучащие речи сильнее грохота снарядов, их правдивой красоты не победить лживым красотам ночных пожаров. Крови слишком много, она подступает к горлу, в ней можно захлебнуться и потерять сознание — держитесь за великих... их светловеющие одежды имеют силу держать над пучиной»[1]. И может быть, именно в этот период так ясно проступает ядро андреевского гуманизма, ранее затуманенное его же жестокой, экспериментирующей над человеческой судьбой мыслью.

В статье «Освобождение» он выступает против «излишка национально-сгущенного самочувствия» и верит, что немецкая культура не будет отвергнута в России в связи с этой войной[2]. Отвергнут должен быть лишь дух аракчеевских военных поселений, имеющий, по мнению Андреева, прусское происхождение и пропитавший собой многие стороны русской жизни. С этой мыслью связана и надежда на то, что война станет началом освобождения России не только в духовном, но и социально-политическом смысле (в письмах знакомым Андреев выражает ее открыто).

Меняются в те годы и личные пристрастия писателя, круг близких ему деятелей культуры. Война еще в большей степени отдалила его от Горького — фигуры, всегда очень много значащей для писателя. «Пораженец» Горький в письмах этих лет не раз неодобрительно поминает деятельность «оборонца» Андреева, саркастически подчеркивая, что «все вчерашние анархисты ныне патриоты и государственники» (*ЛН*, с. 48). Не менее резко характеризует в своей переписке бывшего друга и Андреев. Направленная против чрезмерной идеализации русского национального характера статья Горького «Две души»[3] вызывает уже прямую отповедь Андреева, в которой во многом верно отмечены «западнические» перехлесты в горьковском приговоре российскому народу[4].

Однако между двумя писателями оставались и отдельные линии притяжения. Они объединяются для организации «Русского общества по изучению жизни евреев», которое должно было про-

---

[1] Андреев Л. Н. В сей грозный час. Статьи. Пг., Прометей, 1915, с. 14—15.
[2] Там же, с. 99.
[3] Летопись, 1915, дек.
[4] Современный мир, 1916, № 1.

тивостоять волне антисемитизма, усиливавшегося в России с началом войны. Горького явно заинтересовывает трагедия «Самсон в оковах», с рукописью которой он внимательно знакомится, о чем свидетельствует сделанный им в одном из писем Андрееву основательный разбор историко-культурных реалий этой пьесы (*ЛН*, с. 358—359).

Характерно тяготение писателя к фигуре, во многом полярной Горькому,— Федору Сологубу. В письме к нему от 28 июля 1915 г. Андреев пишет: «Жду Вас и А. Н. (Чеботаревскую, жену Сологуба.— *М. К.*) с нетерпением; за этот год вы стали самыми близкими людьми» (*ЛН*, с. 48). Этому сближению способствовало, видимо, не только совместное участие во многих альманахах и сборниках. Сологуб в своих печатных выступлениях не раз защищал от нападок критики новые андреевские произведения, выделяя в них черты, которые в первую очередь импонировали его собственным эстетическим убеждениям: условность, обращенность к сущностным началам бытия, связь с античной традицией и т. п. Оценки Сологубом андреевских пьес (выдержки из них приводятся далее, в комментариях к конкретным произведениям) на общем критическом фоне кажутся подчас чрезмерно эстетизированными и абстрагирующими живую и нервную плоть этой драматургии. Однако эта крайность во многом оказывалась необходимым противовесом постоянным попыткам прочих рецензентов всячески «заземлить» напряженные поиски Андреева-драматурга, который продолжает в те годы реализовывать свой «театр панпсихизма» (подробнее о этой теории см. коммент. к наст. изд., т. 4). Так, крайне чувствительный к оценкам его творчества, писатель с гордостью повторяет в своих пьесах слова Сологуба о близости андреевских пьес к античным трагедиям (*Письма*, с. 270).

Андреев, в свою очередь, заново переоценивает творчество Сологуба, к которому еще в конце девятисотых годов он относился достаточно подозрительно (так, будучи одним из редакторов альманаха «Шиповник», он оказал существенное сопротивление публикации в альманахе продолжения известной сологубовской трилогии «Творимая легенда» — см.: *ЛН*, с. 307). Перечитывая знаменитый роман «Мелкий бес», Андреев дает крайне оригинальную и потому весьма симптоматичную для его новых настроений характеристику главному герою романа — ограниченному, завистливому и озлобленному на весь мир преподавателю гимназии Ардальону Борисычу Передонову: «Прочел недавно Передонова — с очарованием и страхом. И странно: в этот раз выделилось другое — его тоска. Какая тоска! И ведь он герой, он велик, он душа великого, запертая в теле скота, он один среди всего пейзажа — человек. Ардальон Борисыч — человек! А это так. И что «сон Макара», слезинка ребенка и прочее — вот с *этим* доказательством можно

идти к Богу без доклада и требовать немедленного суда и воскресения» (*ЛН*, с. 48). Как бы на новом уровне здесь явлено гуманистическое кредо писателя, выраженное им еще десятилетие назад в письме к К. Чуковскому: «Мне не важно, кто «он» — герой моих рассказов: поп, чиновник, добряк или скотина. Мне важно только одно — что он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни» [1].

Другой фигурой, в которой писатель видит своего союзника в драматургических поисках, становится А. А. Блок [2]. Он очень высоко оценивает блоковскую пьесу «Роза и Крест» и заражает своей увлеченностью В. Н. Немировича-Данченко, который с марта 1916 г. начинает репетировать эту драму в Художественном театре (постановка не осуществилась). Но главное — это тот ракурс, под которым Андрееву видится блоковское произведение. В письме от 20 мая 1914 г. он пишет Немировичу-Данченко: «...«Роза и Крест» психо-символическая вещь, причем психо очень много, а символа очень мало, да и тот прост, естественен и необходим» (*Письма*, с. 252). Выраженное в этом письме чувство близости блоковского театра собственным поискам во многом проливает свет на особенности андреевской драматургии этого периода.

Пять очень разных по жанру, темам и сценическому рисунку пьес — «современная трагедия» «Мысль», трагедия на библейский сюжет «Самсон в оковах», мелодраматическая «повесть в диалогах» «Младость», дышащая злобой дня, откровенно «публицистическая» драма «Король, закон и свобода», романтическое «представление» «Тот, кто получает пощечины» — объединены все тем же крепнущим мироощущением, основополагающимся на идее сближения людей.

Показательным здесь становится работа над «Мыслью». Пьеса оказывается не просто сценическим вариантом раннего рассказа с тем же названием (1902; см. наст. изд., т. 1). Андреев добивается глубинной перестройки всего идейного стержня этого произведения.

В письме к Немировичу-Данченко от 31 октября 1913 г., говоря о замысле пьесы, он пишет: «В «Мысли» (здесь имеется в виду рассказ.— *М. К.*) есть одна опасность: сила и захват настроения безумного; если это писать вовсю, не стесняясь, то можно дать вещь просто недопустимую для сцены, убийственную. Но эту сторону я хочу смягчить тем, что безумие, в рассказе торжествующее, властное и единое, я подчиняю в драме некоторому новому началу:

---

[1] Чуковский К. Из воспоминаний. М., 1958, с. 258.

[2] О глубоких внутренних связях между творчеством двух художников см.: Беззубов В. Л. Андреев и традиции русского реализма. Тарту, Ээсти раамат, 1984, с. 156—250.

царственной силе бессознательного, категорически утверждающего рацио жизни вообще» (*Письма*, с. 238). В другом письме, от 17 ноября 1913 г., протестуя против понимания уже написанной и посланной на прочтение адресату трагедии как «тенденциозно пессимистической вещи», Андреев углубляет свои разъяснения: «...трагически погибающему Керженцеву, одинокому носителю голой индивидуальной мысли, весьма резко противопоставляется Маша, выразительница твердых и бесспорных начал коллективной, почти мировой жизни, развенчанной мысли противопоставляется жизнестойкая, царственная интуиция» (*Письма*, с. 239).

Столь же явственно Андреев-«новый» спорит с Андреевым-«старым» в «Младости», пьесе, подхватывающей и развивающей тему другого раннего рассказа — «Весной» (1902; см. наст. изд., т. 1).

Те же «твердые и бесспорные начала коллективной, почти мировой жизни» — основа «Самсона в оковах». По андреевским меркам пьеса писалась мучительно долго (с марта 1914 г. по январь 1915 г.), и в ней, разумеется, не мог не отразиться патетический пафос Андреева-публициста военных лет, однако необходимо помнить о том, что замысел этой грандиозной трагедии возник задолго до августа четырнадцатого года и ее идеи и образы гораздо шире тех весьма актуальных ассоциаций, которые она могла бы вызвать в годину войны. Не случайно Андреев, надеясь на постановку пьесы в МХТ, которая, по его мнению, могла бы с наибольшей полнотой выявить ее смысл, не хотел до окончания войны печатать «Самсона», отказывая многим редакторам (см., например: *Реквием*, с. 61).

Однако уже в «Самсоне», а в еще большей степени в драме «Тот, кто получает пощечины», ощутимы черты духовного кризиса, приметы нового круга трагического отъединения, в который вступит писатель на самом последнем этапе своего творческого пути, в 1916—1919 гг. (пьесы «Собачий вальс» и «Реквием», неоконченный роман «Дневник Сатаны»). Личностные, в чем-то даже исповедальные черты в образе Тота ощущались близко знавшими писателя современниками. Об этом писал в своих воспоминаниях Ю. Соболев: «В судьбе клоуна «Тота», которому налево и направо раздают пощечины и который имеет у публики такой большой успех потому только, что он уморительно корчится от этих оплеух,— в судьбе «Тота» можно было разгадать грустные раздумья Андреева о его личной писательской судьбе» [1]. Но преобладающей нотой в этой весьма сложной по своему идейному подтексту пьесе остается все-таки оправдание бытия. Как убедительно доказывает В. А. Келдыш, любовь Тота к Консуэлле — это проявление его

---

[1] Художник и зритель, 1924, № 6—7, с. 125.

«борьбы за спасение красоты, отданной на поругание грубой животности. И хотя борьба оканчивается трагически... все же — пусть и в трагической развязке — Тот победитель. Он разбудил красоту, погруженную в забытье, вызвал в спящей человеческой душе сознание ее «божественности», тоску по идеалу...» [1]. Причем в отличие от прежних андреевских героев-бунтарей, отвергающих устройство мироздания в принципе, в его основах, Тот отстаивает высокие ценности, составляющие суть самой жизни, и поэтому «идея утверждения жизни через трагедию, близкая писателю в десятые годы, всего выразительнее, пожалуй, предстала именно в этом произведении» [2].

Другой существенной стороной андреевского творчества этого периода оказывается тяготение к иронии и юмору. 15 декабря 1916 г. он писал С. С. Голоушеву: «Купи рождественские номера и прочти «Чемоданова» в «Огоньке», «Состязание с Орфеем» в «Биржевых» и «Рогоносцев» в «Аргусе»» (недурные вышли рисунки). Вместе с «анекдотами» дедушки и «Чертом на свадьбе» и другими это составит будущий том *«иронических рассказов»* — нечто новенькое для читателя» (*Реквием*, с. 133).

В перечисленных рассказах (почти все они были собраны в 17 томе *СС*, озаглавленном «Иронические рассказы») Андреев, как кажется, едва ли не впервые открывает для себя мир так называемых «простых истин». Удивительно здесь его приобщение к дарам нелукавой и чувствительно заземленной народной мудрости. Слабость человеческой натуры (рассказ «Рогоносцы»), ограниченность ее возможностей (новелла «Ослы»), зависимость от внешних обстоятельств («Конец Джона-Проповедника») — все это вызывает теперь не суровый приговор автора, возвышающегося над «человеками» на некоем морально-этическом пьедестале, а сочувственную иронию равного, «своего среди своих».

И даже пронизанный искрами былого, парадоксально-гротескового Андреева, «черный юмор» рассказчика из «Моих анекдотов» по сути становится доказательством от противного торжества здравого смысла и здорового мироощущения над изысками индивидуалистического имморализма, стремящегося отмежеваться от всечеловеческих норм мышления и поведения.

С иной стороны «смеховая» сторона андреевского творчества раскрывается в его драматических миниатюрах. В настоящем томе собраны все пьесы такого рода, независимо от года их написания, но следует отметить, что именно в первой половине десятых годов писатель разрабатывал этот жанр с особой увлеченностью. По-

---

[1] Келдыш В. А. Русский реализм начала XX века. М., Наука, 1975, с. 259.

[2] Там же.

этому иронические рассказы этих лет и «комедийки» (как сам писатель озаглавил одну из этих пьес) во многом близки — как две ипостаси, две возможности проявления новых черт миросозерцания Андреева.

Художественная природа «комедиек», выглядящих, на первый взгляд, несколько неожиданно в общем возвышенно-трагическом контексте андреевской драматургии, достаточно убедительно раскрыта Ю. В. Бабичевой. Исследовательница пишет, что «подобно античному драматургу, который считал необходимым смеховым, травестийным вариантом («четвертой драмой») уравновесить высокую важность трагедийной трилогии, Андреев кривым зеркалом иронии все время контролировал сам себя, измерял глубину и важность волновавших его вселенских «проклятых» вопросов... Это позволяет рассмотреть драматургическое наследие Андреева в целом еще в одной системе: выстроить его своеобразными «парами», которые создало решение проблемы в разных планах: высоком, трагедийном и в комедийном. Например, «Жизнь Человека» с ее глобальной задачей обозреть вечный круг человеческой жизни и вечный поединок человека с роком и — травестийный вариант той же проблемы в «Попугае»... Проблема совести, поставленная в драме «Не убий» («Каинова печать»), прокорректирована ироническим «Происшествием» («Кающимся»); неразгаданная тайна женского естества («Женское, женственное, ихнее»), ставшая основой первой «панпсихической» драмы (имеется в виду пьеса «Екатерина Ивановна».— *М. К.*), травестирована в трехактном водевиле «Прекрасные сабинянки»; вопрос о пресловутой христианской любви к ближнему поставлен в трагическом плане в драме-притче «Анатэма», а до того — в сатирической, фельетонной «Любви к ближнему» в духе злого фарса. Сама идея театра панпсихе, идущего на смену театру игры с его укороченной психологией... проверена и проиллюстрирована комической пьесой-пародией «Честь», или «Старый граф», которая утрирует приемы игровой драмы с ее манерой показывать «похороны вскачь» [1].

Стоящий несколько в стороне от прочих произведений наст. тома рассказ «Ночной разговор» является одной из немногих вещей Андреева, в которых тема войны нашла прямой отклик. Однако и здесь фантастический диалог императора Вильгельма с пленным бельгийским волонтером-профессором, *бывшим русским революционером*, превращается в спор между носителями двух полярных мировоззрений, уводящий достаточно далеко от слышной за окнами канонады, от конкретных времени и пространства. И поражение германского кайзера, говорящего чуть ли не цитатами из Ницше,

---

[1] Бабичева Ю. В. Эволюция жанров русской драмы XIX — начала XX века. Вологда, 1982, с. 71—73.

прежнего кумира Андреева,— это опять-таки посрамление бесов индивидуализма перед старой доброй моралью, перед испытанным двумя тысячелетиями гуманизмом. Жалкий и оборванный пленный побеждает в этом споре императора — убийцу миллионов не столько с помощью слова, а с помощью деяния, своего благороднейшего, но естественного и единственно возможного с точки зрения исповедуемых им принципов поступка: он пощадил беспомощного, заснувшего в утомлении врага. В «Ночном разговоре», видимо, с наибольшей отчетливостью проступает нравственная позиция Андреева, который не приемлет широко распространившегося в эти годы тезиса о «крушении гуманизма».

Хочу выразить свою глубокую признательность В. Н. Чувакову за ту существенную помощь, которую он оказал при подготовке комментария к наст. тому, за любезно предоставленные им материалы и ценнейшие консультации.

РАССКАЗЫ

ГЕРМАН И МАРТА

(Стр. 7)

Впервые — под заглавием «На севере» — Отечество, 1914, 25 дек., № 7. Печатается по *СС*, т. 16.

В письме к И. А. Белоусову от 15 декабря 1914 г. автор писал: «Прочти мой рассказ в «Отечестве» — Герман это я...» (*ЦГАЛИ* — цит по изд.: Андреев Л. Повести и рассказы в двух томах. М., Художественная литература, 1971, т. 2, с. 425).

КОНЕЦ ДЖОНА-ПРОПОВЕДНИКА

(Стр. 12)

Впервые — Биржевые ведомости, 1914, 25 дек., утр. вып. № 14575. Печатается по *СС*, т. 16.

ЧЕРТ НА СВАДЬБЕ

(Стр. 15)

Впервые — Вечерние известия, М., 1915, 5 дек., № 854. Рассказ вошел в сб.: Новая жизнь. Литературно-художественный

альманах. Альманах I. М., Акц. о-во «Московское издательство», 1916. Печатается по *СС*, т. 17.

Критика неодинаково оценила появление этого рассказа. Один из рецензентов писал об оригинальности его сюжета, яркой фантастике, о звучащей в нем теме «глубокого трагизма человеческого существования» (Чернозем, Пенза, 1915, 25 дек., с. 4). Другие отнеслись к нему отрицательно (см., например: Пегас, М., 1916, январь, № 1, с. 118).

Стр. 15. *Па-де-катр* — бальный танец, близкий по рисунку к вальсу.

ОСЛЫ

(Стр. 19)

Впервые — под названием «Состязание с Орфеем. Новелла» — Биржевые ведомости, 1915, 25 дек., утр. вып., № 15290. Печатается по *СС*, т. 17.

Стр. 20. *Пиано* — здесь: негромкое исполнение (от и т. piano — тихо).

Стр. 24. *Синдик* — здесь: мэр, городской голова.

Стр. 27. *Пианиссимо* — очень тихо (муз., и т.).

Форте — громко, мощно (муз., и т.).

МОИ АНЕКДОТЫ

(Листки из моих записок)

(Стр. 29)

Впервые — Утро России, 1915, 25 дек., № 354. Печатается по *СС*, т. 17.

«Мои анекдоты» являются, по словам автора, «как бы продолжением 〈...〉 или некоторым 〈...〉 комментарием к повести «Мои записки» (см. «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год». Л., Наука, 1979, с. 191).

РОГОНОСЦЫ

(Стр. 37)

Впервые — Аргус, 1915, № 12. Печатается по *СС*, т. 16.

В письме к С. С. Голоушеву от 10 сентября 1915 г. Андреев,

перечисляя произведения, написанные им с 17—18 августа, среди прочего называет рассказ «Рогоносцы», миленькую штучку» (*Реквием*, с. 117). Печатается по *СС*, т. 16.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР
(Стр. 49)

Впервые — А н д р е е в Л. Н. Ночной разговор. Гельсингфорс, Библион, 1921. Печатается по этому изданию.

Появление этого «очень интересного» рассказа Андреева, который был написан еще в 1915 г., было отмечено Д. Лутохиным (Утренники. Кн. 2. Пб., М. С. Кауфман и Д. А. Лутохин, 1922, с. 143—144).

Рассказ переведен на немецкий и польский языки.

Стр. 50. *Мелинит* — принятое в начале века в России и Франции название тринитрофенола, взрывчатого вещества.

Стр. 51. *...но, как Вечный Жид, он не мог остановиться...*— Агасфер, или «Вечный Жид» — персонаж средневекового предания, обреченный на томительное бессмертие и вечные скитания за то, что он отказал в кратковременном отдыхе Иисусу Христу во время его пути на Голгофу.

...танец ведьм на Брокене...— Имеется в виду средневековая немецкая легенда о ежегодных шабашах ведьм в Вальпургиеву ночь (с 30 апреля на 1 мая) на легендарной горе Броккен (высочайшей вершине гор Гарца в Саксонии).

Стр. 52. *...лестница Иакова...*— Согласно библейскому преданию, патриарх Иаков, один из легендарных прародителей еврейского народа, в вещем сне увидел лестницу, соединяющую землю с небом. Стоящий на лестнице Яхве предрек Иакову обильное потомство и обещал ему свое покровительство (Бытие, 28, 10—16).

Стр. 53. *Ланд-штурм* — здесь: ополчение, военнообязанные старших возрастов, призываемые в случае крайней необходимости.

Волонтер — доброволец.

Альберт I (1875—1934) — король Бельгии с 1909 г., во время первой мировой войны был верховным главнокомандующим бельгийской армии.

Стр. 55. *Маркиз Поза* — герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1783—1787), благородный борец с деспотизмом; в данном случае — олицетворение идеалиста.

Стр. 58. *...мученики при Траяне...*— Имеются в виду последователи христианства, преследуемые и подвергаемые мучительным казням при римском императоре Траяне (53—117).

Стр. 60. *Цирлих-манирлих* — (иронически) излишняя щепетильность, манерность (от нем. zierlich — изящный и manierlich — учтивый, благовоспитанный).

Стр. 65. *...германец... в тевтобургском лесу колотил... римлян.*— Тевтобургский лес — местность в Германии, где в 9 г. н. э. германские племена во главе с Арминием уничтожили три римских легиона и остановили продвижение Рима за Рейн.

Сара Бернар (1844 — 1923) — выдающаяся французская актриса.

Стр. 66. *...отвернуться, как сделал Иафет...*— Согласно библейскому преданию, благочестивые Иафет и Сим укрыли одеждами опьяненного и заснувшего обнаженным своего отца Ноя и при этом отворотили свои лица в отличие от их неправедного брата Хама, открыто посмеявшегося над грехом отца (Бытие, 9, 20—23).

Стр. 70. *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934) — германский генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба.

Стр. 74. *Комбатанты* — здесь: разнородная, полупрофессиональная военная сила — ополченцы, добровольцы, партизаны и т. п.

ЧЕМОДАНОВ

(Стр. 76)

Впервые — Огонек, 1916, 3 января, № 1. Печатается по *СС*, т. 17.

Рассказ переведен на английский и латышский языки.

Стр. 78. *«Тигренок»* — популярный в начале века в мещанской среде романс (слова и музыка К. С. Шиловского; 1882).

ПЬЕСЫ

МЫСЛЬ

(Стр. 87)

Впервые — Андреев Л. Н. Мысль. Современная трагедия в 3-х действиях и 6-ти картинах. СПб., Прометей, 1914. Одновременно с подзаголовком «Драма в 6-ти картинах» вышла в берлинском издательстве И. П. Ладыжникова. Печатается по изданию «Прометея».

Замысел переделки раннего рассказа «Мысль» (1902) в пьесу во многом связан со стремлением писателя реализовать одну из центральных идей его теории «театра панпсихизма»: «Жизнь стала психологичнее, если так можно выразиться, в ряд с первич-

ными страстями и «вечными» героями драмы: любовью и голодом — встал новый герой — интеллект. Не голод, не любовь, не честолюбие: мысль, человеческая мысль в ее страданиях, радостях и борьбе — вот кто истинный герой современной жизни, а стало быть, вот кому и первенство в драме» (Андреев Л. Н. Письма о театре.— Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 22. СПб., 1914, с. 232). Попытка противопоставить внешнему действию сценическое воплощение внутренних, душевных и интеллектуальных, движений, впервые спеланная драматургом в пьесе «Екатерина Ивановна» (1912), находит свое продолжение в новой драме.

Первое упоминание об этом замысле возникает в письме к Немировичу-Данченко от 31 октября 1913 г. Идея пьесы настолько увлекает Андреева, что уже 6 ноября он пишет тому же адресату: «С бешенством принялся за работу — и вот драма почти готова, написано три акта и одна картина, остается только одно действие. И это меньше, чем в четыре дня!» (*Письма*, с. 238).

Андреев придавал большое значение новаторским идеям, заложенным в «Мысли», и потому, узнав о согласии совета Художественного театра на ее постановку, он настаивает, чтобы она осуществилась уже в этом театральном сезоне. Премьера «Мысли» в МХТ состоялась 17 марта 1914 г., а в апреле театр с этим спектаклем приехал на гастроли в Петербург.

Блестяще сыгравшему в пьесе роль Керженцева актеру Л. М. Леонидову Андреев еще во время репетиций направляет обширное письмо, подробно изъясняющее идеи пьесы и особенности ее центральных образов.

Драматург шутливо обвиняет артиста в том, что он «впал в жестокую ересь». «И ересь твоя, — продолжает он, — в том, что ты стал читать и сравнивать рассказ «Мысль» с пиесой «Мысль», полагая, очевидно, на основании прежнего твоего опыта с Достоевским, что пиеса только инсценировка рассказа, ряд сцен, полный смысл которых становится ясным только при внимательном изучении основного произведения. Это неверно: пиеса «Мысль» есть нечто вполне самостоятельное, в себе самом заключающее все, что нужно актеру и зрителю. Работа чистой критики — сравнить внутренний образ Керженцева в рассказе с внешним образом того же Керженцева в пиесе; ты же должен знать только пиесу и совсем, дочиста, забыть о рассказе. И все твои недоразумения взялись как раз от ненужного чтения рассказа.

Теперь вопросы твои.

1. Керженцев сам не знает, сумасшедший он или нет, в этом трагедия его; и поскольку ты хочешь быть искренним и не притворяться ни в какую сторону, — ты также не должен этого знать. И чем искреннее ты будешь «не знать», тем ты будешь сильнее;

в противном же случае ты неизбежно впадешь в фальшь и притворство: если ты будешь знать, что К. здоровый, — ты сфальшивишь в тех местах, где он безумствует, и наоборот. Правило: ты не знаешь, как не знает этого К., как не знает этого никто — здоров он или нет.

2. Ты совершенно правильно изложил в первом твоем письме психологию третьей картины (убийства). Здесь важна психологическая фатальность совершающегося. Все знают или догадываются, что должно произойти — и все, как обреченные, идут навстречу событию, не имея силы выпутаться из сети сложных отношений. Это чувство неопределенной опасности, которая только чувствуется, но не может быть доказана, раздражает до последней степени Савелова и заставляет его стремиться к развязке, вызывать ее, почти провоцировать убийство. Самым правильным было бы — связать Керженцева, как только он вошел, но ведь этого же нельзя сделать, ведь доказательств того, что он хочет сделать, нет — вот и мучайся, и жди, и раздражай его, только бы поскорее он доказал. Самому Керженцеву это облегчает его задачу, но если в начале он сознательно пользуется раздражением Савелова, то к концу сцены приходит в непритворную ярость. Не забудь, что помимо всего прочего оба они, К. и Савелов, ненавидят друг друга, ревнуют — между ними женщина и вопрос о превосходстве. А если в рассказе Керженцев несколько по-иному описывает свое отношение к Савелову и самую сцену убийства, то почему ты знаешь, что К. не лжет? Но это между прочим.

3. Во время самого убийства Татьяна Николаевна также в трансе, в столбняке; поза ее — поза ужаса, беспомощности, внезапной немоты; это то самое состояние, при котором отнимаются ноги и язык, человек же не может шевельнуться, как во сне, в кошмаре. Так же и у Федоровича» (сб. «Леонид Миронович Леонидов». М., Искусство, 1960, с. 284—285).

Реакция критики на постановку «Мысли» была в подавляющем большинстве отрицательной. Пресса, сначала московская, а затем и петербургская, буквально обрушилась на автора с обвинениями в чрезмерном смаковании мрачных начал человеческой психики и стремлении к драматической вычурности. Характерно название рецензии Оберона (Ф. С. Соколова) — «Театр или Канатчикова дача?» (Театр, 1914, 19 марта, № 1473). Другой рецензент мхатовской постановки говорил о несценичности «Мысли», называя пьесу лишь неудачной переделкой раннего рассказа. «Пьеса оставляет тяжелое и смутное впечатление. Ненужно-тяжелое, я сказал бы,— вредное, которое хочется не пережить, не осмыслить, а поскорее отбросить, изгладить в своей душе» (Ал. См. (А. Смирнов). «Мысль» на сцене Художественного театра.— Театр, 1914, 20 марта, № 1474).

Даже серьезные театральные критики, пытавшиеся дать объективный анализ пьесы (С. Глаголь, Н. Эфрос, А. Койранский), писали о постановке как о неудавшемся опыте новой, «бездейственной» драмы. Механизм коллизии между замыслом Андреева и его сценической реализацией с наибольшей определенностью охарактеризовал Н. Эфрос, отмечавший, что в пьесе «главный интерес принадлежит мысли и последовательному развитию ее трагедии, а не заключительной катастрофе, не безумию Керженцева». Когда же пьеса получила театральное воплощение, главным сделался именно последний, выигрышный в актерском исполнении момент, «трагедия мысли непременно должна заслониться в театре картиной безумия, страданиями безумца» (Речь, 1914, 19 марта). Подобному смещению акцентов во многом способствовала замечательная игра Леонидова, которую многие рецензенты отмечали как одну из его самых больших актерских удач.

В отзыве А. Кугеля мхатовская интерпретация осуждена еще резче: «Пьеса трактована крайне вульгарно, крайне натуралистично, крайне обыденно. Символические намеки, очевидно, кого-то прельстившие, даже и не чувствуются... В постановке «Мысли» на первый план выдвинуты психиатрическая больница, патологические элементы, умоисступление...» (Homo novus. Заметки.— Театр и искусство, 1914, 4 мая, № 18). Solus (К. Арабажин) также утверждал, что Художественный театр «совершенно не понял одного из самых блестящих произведений талантливого писателя... Постановкой этой москвичи обнаружили и дурной вкус, и недостаток любви к литературе... Трагедию мысли превратили в плохую бытовую мысль» (Биржевые ведомости, 1914, 11 апреля, веч. вып., № 14096, с. 14).

Показателен отзыв Горького, присутствовавшего 10 апреля 1914 г. на представлении «Мысли» в Петербурге и писавшего о своем впечатлении Е. П. Пешковой: «Скучно и неумно...» (*ЛН*, с. 546).

Один из немногих положительных отзывов принадлежит Ф. Сологубу. Писатель-символист истолковывает неуспех андреевской драмы как конфликт между «возвышенным замыслом» художника и мещанским вкусом публики, подогреваемый предвзятостью театральной критики: «Обыватель не понимал и сердился, — чем выше поднимается художник, тем он становится дальше от толпы. А между тем, если бы не предвзятое отношение многих в наши дни к Леониду Андрееву, то как же было бы не очароваться этою совершенною стройностью построения драмы, этою победою высокой мысли!» Отвергая характерный упрек критики в том, что пьеса является лишь неудачной попыткой перенести на сцену психологические коллизии рассказа «Мысль», Сологуб утверждает, что в драме нет «никаких следов механического пере-

делывания, ничего лишнего, ничего недосказанного, — превосходное произведение зрелого мастера, совершеннейшая из драм Леонида Андреева, драгоценное приобретение для театра» (С о л о г у б Ф. Два слова о «Мысли». — Дневники писателей, 1914, апрель, № 2, с. 48—49).

Неудовлетворение самого Андреева от мхатовской постановки побудило его выступить с серией интервью, подготовленных его секретарем В. В. Брусяниным, в которых он стремился уточнить принципы «театра панпсихизма» в связи с появлением на сцене «Мысли». В них выявляется существенное различие между установками мхатовской школы и Андреева-драматурга. Так, например, в одном из этих выступлений он говорит, что «для пьес будущего театра, как оказывается, мало обычных авторских ремарок, руководствоваться которыми приходится и режиссерам, и артистам, нужны еще какие-то «знаки» в виде нотных знаков, чтобы выразить ритм диалогов, нюансы в вибрациях голоса и особые паузы, в которых часто скрыты или мысли, которых, быть может, он и не выразит, или чувства его, в которых он сам не разобрался... Боюсь, что отсутствие этих знаков окажет влияние и на постановку «Мысли» (Биржевые ведомости, 1914, 31 марта).

Это выступление Андреева вызвало немедленную реакцию Немировича-Данченко, который в письмах к драматургу возражал против подобной чрезмерной, на его взгляд, регламентации автором всех нюансов игры: «Какая же должна быть простота переживаний, какая же должна быть индивидуальность артиста, какая же должна быть свобода, без которой немыслима сильная и четкая игра, если актеру указывать даже его интонации. Вы понимаете, конечно, что я вовсе не стою за *разнузданность* актерской индивидуальности, но как же можно связывать ее такими задачами, которые присущи автору, *как актеру*. Автор вообще делает большую ошибку, когда он *играет* свою пьесу. Это не его дело!» (*Письма*, с. 300).

В последующем «Мысль» изредка появлялась на провинциальной сцене, а в 1922 г. режиссером Л. С. Вивьеном была поставлена в бывшем Александринском театре.

В последние десятилетия интерес к андреевской пьесе возник заново. В 1961 г. французский режиссер Л. Терзиев поставил «Мысль» в парижском театре «Лютес» (см.: «Мысль» на парижской сцене.— Литературная газета, 1963, 5 янв.), а в 1966 г. в постановке Г. Родуина она шла в Драматическом театре Амстердама. В 1987 г. режиссер В. Драгунов ставит спектакль «Мысль» в Московском театре на Малой Бронной в оригинальной сценической трактовке, равным образом использовавшей мотивы и рассказа и пьесы Андреева.

В 1916 г. пьеса была экранизирована В. Гардиным.

«Мысль» переведена на ряд иностранных языков.

Стр. 95. *Чигорин* Михаил Иванович (1850—1908) — выдающийся русский шахматист, один из претендентов на звание чемпиона мира.

Стр. 110. *Персидская революция.*— Имеется в виду антифеодальная революция в Персии (Иране), начавшаяся в 1905 г. и разгромленная в 1908—1911 гг. силами иранской монархической реакции, русского царизма и Великобритании.

Стр. 129. *Ласкер* Эммануил (1868—1941) — сильнейший шахматист того времени, долго удерживавший звание чемпиона мира.

Стр. 130. *Бон вояж!* — Счастливого пути! (фр.)

КОРОЛЬ, ЗАКОН И СВОБОДА

(Стр. 135)

Впервые — отдельное (гектографическое) издание журнала «Театр и искусство» (1914). В том же году пьеса вышла отдельным изданием журнала «Отечество». Отрывок из драмы (картина четвертая) был опубликован в «Биржевых ведомостях» (1914, 20 окт., № 14444). Вошла в кн.: Отражения. Около войны. Литературный альманах. М., Мысль, 1915. Печатается по *СС*, т. 16.

Пьеса написана под влиянием реальных событий начала первой мировой войны — захвата кайзеровской Германией Бельгии. Бельгия стала одной из самых первых жертв войск императора Вильгельма. Германия начала военные действия против нее уже 4 августа (22 июля) 1914 г., вероломно нарушив договор о нейтралитете, гарантированном Бельгии рядом держав. Наступление было стремительным: уже 20 августа был взят Брюссель, а к 21 августа немцы вышли к границам Франции.

Андреев был потрясен этими событиями и написал о поверженной Бельгии несколько публицистических статей: «Бельгийцам», «Бельгия (монолог)», «О Бельгии» (Андреев Л. Н. В сей грозный час, с. 43—52).

Уже 27 августа 1914 г. он пишет Немировичу-Данченко о своем новом драматическом замысле: «Подумайте: хочу писать военную пьесу, самую настоящую из теперешней войны. Герои — по секрету! — Метерлинк, король, Вандервельде и прочее. Конечно, отнюдь не патриотический моветон, а нечто вроде «драматической летописи войны», немного в формах «Царя Голода», а главное в настроениях. Долго колебался, прежде чем решиться, но факт тот, что быть *иносказательным* как-то стыдно, и нет ни спокойствия, ни отвлечения для чисто художественной работы. Буду уж прямо жарить. Конечно, настоящее не может быть материалом

для чисто художественной вещи, но мне кажется, что, взяв Бельгию, я дам то необходимое расстояние, которое должно отделить сцену от зрителя» (*Письма*, с. 254).

В письме к И. А. Белоусову от 28 октября 1914 г. он сознавался, что плакал, когда писал эту пьесу (см.: *ЛН*, с. 547). Характерно, что в одном из интервью он подчеркивал свое глубоко личностное отношение к теме, как бы предупреждая этим упреки критики в публицистической «торопливости», в стремлении угодить злобе дня: «Поскольку пьеса моя *лирична* (курсив мой.— *М. К.*), постольку для нее не было нужды ни в исторической перспективе, ни в долгом вынашивании...» (Кручинин Н. Леонид Андреев о своей пьесе.— Биржевые ведомости, 1915, 25 янв., утр. вып., № 14632).

Пьеса «Король, закон и свобода» была поставлена в Московском драматическом театре режиссерами А. А. Саниным и И. Ф. Шмидтом (премьера — 23 октября 1914 г.), а в Александринском театре — А. Н. Лавреневым (премьера — 19 декабря 1914 г.). По поводу последней постановки Андреев сообщал в письме к С. С. Голоушеву в январе 1915 г.: «Я только нынче из Петрограда, где... присутствовал в театрах, в одном из коих видел и андреевского «Короля». Что с ним сделали, Боже ты мой!» (*Реквием*, с. 100).

Критикой новое произведение Андреева-драматурга было принято в основном отрицательно. Наиболее утвердившееся мнение выразил в своей рецензии С. Адрианов, подчеркнувший ходульность и чрезмерный пафос пьесы, в которой «протоколизм телеграмм с театра войны переплелся, не сливаясь органически, с фантастическим художественным вымыслом» (Вестник Европы, 1915, № 4, с. 333). С ним был солидарен В. Л. Львов-Рогачевский, выразивший свое отношение к «Королю...» в самом названии своей рецензии — «Не те слова» (Северный голос, 1915, 21 февр., № 4, с. 2). Н. Эфрос назвал ее «драматизированной корреспонденцией, только без ее правдивости» (Русские ведомости, 1914, 24 окт., № 245, с. 6).

Однако непосредственные отклики на первую постановку андреевской пьесы содержат иные оценки, говорящие о горячем приеме ее публикой, которую глубоко задевал именно ее страстный публицистический характер. Так, Ю. Соболев, говоря об особом складе таланта писателя, который «впитывает с болезненной яркостью все переживания современности» и который не мог не отозваться «со всей болью, со всем отчаянием страдающего человека» на события в Бельгии, замечает, что новая его пьеса «не останется «на завтра»... Ибо это не пьеса, а только ряд картин. Одни из них волнуют чрезвычайно, другие — кажутся бледным сколком действительности. Но пьеса будет иметь успех. Она нахо

дит живой и яркий отклик в душе зрителей. И трепетное волнение охватывает их с первой фразы о том, что «немцы вошли в Бельгию» (Рампа и жизнь, 1914, 26 окт., № 43, с. 3—4). Одно из наблюдений рецензента свидетельствует о том, что вся постановка была направлена на «узнаваемость» реалий, на которых основывался «Король...», например, исполнявший роль графа Клермона (под именем которого к Грелье приезжает сам бельгийский король) И. Мозжухин был мастерски загримирован под Альберта I.

В обстоятельном разборе пьесы Шах-Эддином (О. Форш) главным также оказывается упрек в «торопливости» Андреева: «...уже одна затея кристаллизовать действие, находясь фактически еще в «истории», лишает пьесу глубины и перспективы и вульгаризирует ее до кинематографичности» (Шах-Эддин. О новой пьесе Л. Андреева.— Современник, 1914, дек., с. 255). Критик подробно разбирает каждого из первостепенных персонажей пьесы (садовника Франсуа, девушку из Лонуа, Жанну и Пьера Грелье, графа Клермона) и приходит к выводу о нежизненности, искусственности этих фигур. Отдельно останавливаясь на главном герое — писателе Эмиле Грелье, она сопоставляет этот образ с его прототипом — известным бельгийским писателем Морисом Метерлинком, так как подобное сравнение, по ее мнению, с наибольшей очевидностью показывает несостоятельность самого замысла Андреева — выразить в художественном образе «неотстоявшийся» исторический эпизод. Андреевский герой оказывается тенью Метерлинка, которая «тянется за ним следом в уродливом или смешном очертании... весь обширный диапазон автора «Le trésor de humbles» («Сокровище смиренных», книга эссе Метерлинка, 1896.— *М. К.*) Л. Андреев свел к прямолинейности своего героя «Тьмы»... А было бы ценно, если бы Л. Андреев раскрыл нам в лице своего героя, какую роль играет мировоззрение, философия и мистика, когда судьба ставит перед человеком свое решительное испытание, заставляя его, как Эмиля Грелье, взять на свою совесть разрушение плотин?» (там же, с. 256—257).

Пьеса в военные годы шла также в ряде провинциальных театров (в Одессе, Ростове-на-Дону и др.).

Андреев думал о кинематографической версии пьесы и сам сделал по ней сценарий (опубликован в журнале «Экран и рампа», 1915, № 7, 8—12 февраля).

Пьеса переведена на голландский и итальянский языки.

Стр. 135. *Король, закон и свобода* (название) — слова из бельгийского национального гимна (ср. более точную цитату в самом тексте пьесы: «...Лишь ореол искусств венчает — закон, свободу, короля!»).

Стр. 138. *...они стреляют уже в Льеже.*— Осада сильно укреп-

ленных фортов Льежа — главного препятствия на пути германской армии продолжалась с 4 по 16 августа 1914 г.

Стр. 142. *...это была интересная библиотека, которую они сожгли?* — Имеется в виду библиотека Католического университета в г. Лувен, сгоревшая при наступлении германских войск.

Стр. 163. *Ной* — библейский праведник, единственный из людей, предупрежденный Богом о наступлении всемирного потопа и спасшийся вместе со своей семьей в построенном им ковчеге (Бытие, 6—8).

САМСОН В ОКОВАХ

(Стр. 178)

Впервые — Эпоха. Литературно-художественный сб. Кн. 2. М., 1923, а также в журнале «Современные записки», Париж, 1925, № 24. Печатается по публикации альманаха «Эпоха» с поправками по машинописной копии с правкой автора (архив ЦГАЛИ) и по тексту журнала «Современные записки». Экземпляр пьесы был передан в редакцию парижского журнала А. И. Андреевой, второй женой писателя, через друга Андреева, американского переводчика его произведений Германа Бернштейна.

Первое упоминание о замысле этой пьесы встречается в письме к Немировичу-Данченко от 17 ноября 1913 г., в котором Андреев, совсем недавно завершивший работу над «Мыслью», говорит о своей идее написать трагедию, «построенную чисто психологически, исключительно на переживаниях, без тени позы и жестокой декламации» (*Письма*, с. 241). Непосредственно к работе над «Самсоном в оковах» он приступает весной 1914 г. в Риме. 1 апреля он пишет тому же корреспонденту: «Самсона» я начал, написал одну картину — и отложил до осени или до зимы. Причина — несоответствие своего настроения теперешнего с укладом и душой всей этой вещи» (там же, с. 247).

Толчком к продолжению работы стали события первой мировой войны; в письме к Немировичу-Данченко от 27 августа 1914 г. писатель говорит о «возрождении трагедии», обусловливаемом «важностью момента»: «...Посмотрите, как размашист жест событий, в какую позу становятся народы, как патетически декламируют пушки!.. Герой масс, геройское в массах и личности, широкий мазок и крайняя стилизация, самые громкие слова и рискованные позы, трубный глас, гимны, чудеса и откровения, Синай и Саваоф — вот настоящее и вот будущее наше на добрый десяток лет» (там же, с. 254).

В январе 1915 г. трагедия, после многочисленных переделок и исправлений, «после двух месяцев неусыпного труда» (*Реквием*, с. 100), была наконец закончена. По признанию самого Андреева, ни одна из его вещей не стоила ему такого труда и напряжения. В письме от 7 февраля он жаловался В. Беклемишевой: «Самсон» совсем истощил меня, высосал всю волю к работе, всякую способность воодушевиться какой-нибудь другой темой» (там же, с. 234).

Характеризуя законченную пьесу Немировичу-Данченко, Андреев подчеркивает, что и в этом произведении, основанном на библейской тематике, он стремился развить принципы своей своеобразной театральной эстетики: «Это большая по размеру и внутреннему значению трагедия, многокрасочная, широкая, подобная «Анатэме». Действуя согласно моему взгляду на новый театр, я дал трагедию на переживаниях, не формальную, психореальную, что было довольно трудно при историчности и экзотичности сюжета. Насколько мне это удалось, Вы увидите сами. По настроению и мысли вещь подъемная и при отсутствии намека на войну была бы как раз к настоящему серьезному моменту. Но ставить ее хочу только после окончания войны, когда пройдет очумление» (*Письма*, с. 259).

Несмотря на последнее замечание, идея постановки «Самсона» в Художественном театре в самое ближайшее время все более и более захватывает Андреева. В конце января он посылает пьесу Немировичу-Данченко, а уже 15 февраля требует от него «категорического ответа» на вопрос о возможности и сроках постановки.

Немирович-Данченко отвечает ему 20 февраля официальной телеграммой, уведомляющей о невозможности ввести «Самсона» в репертуар театра в будущем сезоне, на которую крайне расстроенный писатель отозвался большим письмом, где говорил об упадке возвышенного и героического не только в МХТ, но и в современном театре вообще. Однако надежда увидеть трагедию на сцене Художественного театра и после этого не оставляет Андреева. С ней связано и необычное для него нежелание печатать пьесу до постановки. С текстом «Самсона» автор знакомит достаточно ограниченный круг лиц (в том числе — М. Горького и Ф. Сологуба), а 27 ноября 1915 г. С. С. Голоушев в присутствии автора читает пьесу на одном из заседаний литературного общества «Среда» (см.: Утро России, 1915, 21 ноября, № 320, с. 6, а также: Телешов Н. Избр. соч. в трех томах, т. 3. М., 1956, с. 129).

Упорно возвращаясь в своих письмах к Немировичу-Данченко к трагедии, постановку которой он считает возможной только в МХТ и ни в каком другом театре, Андреев старается убедить его и в новаторской значимости пьесы, и в связях ее с мировой традицией: «Самсон в оковах» есть опыт трагедии психологической, и опыт удавшийся. Дух остается на трагической высоте, но из тела

не вылезает, слит с ним в единое живое; и чувства даны, как таковые, и не в идее, не в божественно-вневременном отвлечении. Самсон — пророк, и на двор ходит и с Богом беседует... Ф. Сологуб очень порадовал меня: он находит, что в «Екатерине Ивановне» и «Самсоне» я являюсь как бы восстановителем греческой трагедии, мифотворцем, и проводит интересную параллель между этими вещами и Эвридикой и Прометеем» (письмо от 6 апреля 1915 г.— *Письма*, с. 270).

Немирович-Данченко, видимо, прислушивается к доводам писателя и 27 апреля 1915 г. даже сообщает о своем решении добиваться включения «Самсона» в репертуар МХТ на следующий сезон. В одном из писем конца апреля — начала мая 1915 г. он говорит о том, что «сегодня ночью, среди бессонницы я вдруг прозрел и увидел то «самое внутреннее» зерно, что ли, в «Самсоне», чего не уловил, несмотря на чтение два раза и долгие размышления, увидел, чего не улавливал, почувствовал тот «аромат» духовный, без которого произведение всегда оставляет меня равнодушным.

Это случилось сегодня ночью, и я еще долго не ответил себе на естественный вопрос: почему же главное было так долго скрыто от меня? Или: что есть в пьесе такого, что ненужное прикрыло главное?» (*Письма*, с. 306).

Однако режиссеру не удалось убедить своих коллег по Художественному театру, и трагедия Андреева так и не вошла в его репертуар.

Пьеса переведена на английский язык.

Стр. 178. *Самсон* — библейский герой, один из двенадцати «судей Израилевых» (избранных военачальников). Самсон был рожден, как предсказал его матери ангел, для того, чтобы спасти Израиль от довлеющего над ним целых сорок лет ига филистимлян. В решающие моменты на Самсона нисходит «дух Господень», дающий ему чудесную силу и позволяющий одолевать любых врагов. Самсон всячески мстит филистимлянам, убивает их в великом множестве, сжигает их урожай и т. п. Это продолжается до тех пор, пока он не влюбляется в коварную филистимлянку Далилу (Далиду). Она допытывается у Самсона, что вся сила его заключена в его волосах: он стал назореем (то есть посвященным Богу) еще во чреве матери и согласно обету не должен был никогда стричься, иначе станет как «все прочие люди». Ночью филистимляне остригают заснувшего на ложе Далилы героя, ослепляют его, заковывают в цепи и заставляют вращать мельничные жернова в темнице.

Финальный эпизод из легенды о Самсоне, положенный в основу пьесы Андреева, в первоисточнике изложен гораздо проще и динамичнее. Во время великого жертвоприношения богу Дагону фили-

стимляне приводят Самсона в храм и заставляют его «забавлять» собравшихся. К тому времени волосы у Самсона отросли заново, и он почувствовал, что сила вернулась к нему. Герой просит, чтобы его подвели к двум центральным столбам храма, возносит молитву Богу и, раздвинув столбы, обрушивает все здание на собравшихся. «И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» (Книга Судей Израилевых, 16, 30).

Стр. 181. *Иштар* — центральное женское божество у ряда древних ближневосточных народов, богиня плодородия и плотской любви. Звезда Иштар — Венера.

Стр. 185. *Фарсисское вино* — вино из Фарсиса, неоднократно упоминаемого в Библии богатого торгового города (скорее всего — финикийского).

Стр. 188. *Виссоновые одежды* — одежды из виссона, роскошной ткани темно-красного цвета.

Стр. 189. *Сидон* — крупный финикийский город-государство на побережье Средиземного моря.

Стр. 190. *...тысячу сиклей золота...*— Сикль — принятая в Ветхом завете мера веса; точное количественное значение не установлено.

Возьми цитру, ходи по городу...— Песня заимствована из библейской Книги пророка Исайи (23, 16).

Стр. 191. *Аскалон* — один из филистимлянских городов. Он упоминается в библейской легенде о Самсоне, однако там же говорится, что ослепленный герой содержался в темнице другого города — Газы.

Ниневия — в VII в. до н. э. столица Ассирийского царства.

Стр. 193. *Дагон* — у филистимлян в конце II — начале I тыс. до н. э. верховное божество, бог войны.

Стр. 195. *Золото офирское.*— Офир — в Библии сказочная земля, богатая золотом и ценными породами дерева. Так, например, в качестве места, откуда царю Соломону привозятся эти роскошные товары, неоднократно упоминается земля Офир (Третья книга Царств, 9, 28; 10, 11; 22, 48).

Стр. 224. *Аббадон* (Авадон) — демон, фигура, близкая к Ангелу Смерти.

Стр. 232. *Я руками разорвал льва среди этих скал.*— Имеется в виду первый из подвигов Самсона, который, встретив около селения Фимнавы молодого льва, голыми руками растерзал его, «как козленка» (Книга Судей Израилевых, 14, 5—6).

МЛАДОСТЬ

(Стр. 252)

Впервые — Слово. Сб. 6. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1916. Отрывки из пьесы печатались в изд.: «День печати». Клич. Сб. На помощь жертвам войны. М., 1915 (краткое изложение пьесы и 1-я и 2-я картины третьего действия); Невский альманах жертвам войны. Писатели и художники. Вып. 1. Пг., 1915. Печатается по *СС*, т. 17.

Пьеса написана по мотивам раннего рассказа «Весной» (1902), который, по воспоминаниям Горького, носил автобиографический характер (*ЛН*, с. 366). Образ Александры Петровны Мацневой близок к личности Анастасии Николаевны Андреевой (1851—1920), матери писателя.

В письме к Немировичу-Данченко от 17 ноября 1913 г. Андреев впервые упоминает о замысле этой вещи: «Задумал для вас некую психологическую пьесу — и как раз в тоне большой и светлой радости (отнюдь не тоне горьковского кисловосторга)» (*Письма*, с. 240). В письме от 28 ноября к тому же адресату он продолжает развивать эту идею, идею «драмы с великолепным молодым настроением; не драма в сущности, а этакое «Будьте здоровы» (там же, с. 241), а 11 января 1914 г. ему же пишет: «Наконец я кончил пьесу и сейчас занимаюсь ее отделкой. Название «Образы жизни» (еще, может быть, изменю)... Меня же смущает, не потаю, уж слишком большая ее простота и полное отсутствие внешнего драматизма. Возможно ли вообще так писать пьесы?» (там же, с. 246). В письме от 1 апреля автор разъясняет новое название пьесы: «...не Молодость», а именно «Младость» с эпиграфом: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть», и уточняет ее основную идею, подчеркивая, что в ней «есть и драма и смерть, но общий смысл радостно-печальный: вечно бегущий поток жизни, старость и младость, любовь и любовь» (*ЛН*, с. 555). 15 апреля 1914 г. Андреев высылает Немировичу-Данченко законченную пьесу (*Письма*, с. 250).

В письме к И. А. Белоусову, написанном в начале 1914 г. во время работы над «Младостью», он шутливо противопоставляет ее пьесе «Мысль», осуждаемой московскими зрителями за «нежизнерадостность»: «Но утешь дорогих, новая моя пьеса жизнерадостна, как сам Вересаша (В. В. Вересаев. — *М. К.*), и не только в ней никто не сходит с ума, но, наоборот: уже сошедшие возвращаются обратно с починенными и направленными мозгами. Хочу просить врачебную инспекцию дать мне патент...» (*Реквием*, с. 70).

В статье, посвященной шестому сборнику «Слово», критик Мих. Левидов писал: «Идея пьесы — утверждение, радостное приятие жизни, исходящее от «Младости», соприкоснувшейся

со смертью. Идея эта неожиданна для Андреева последнего периода; будем надеяться, что она не оставит писателя и впредь и найдет в дальнейшем более художественные формы выявления, чем в «Младости» (Летопись, 1916, № 4, с. 334).

И. А. Бунин в одном интервью выразил свои впечатления от «Младости», подчеркнув ее «жизненность» и «свежесть» (Биржевые ведомости, веч. вып., 1916, 14 апреля, с. 3).

Пьеса без особого успеха шла в 1916 г. в Троицком театре (Петроград), театре «Соловцов» (Киев) и в театре И. Синельникова (Харьков).

Немирович-Данченко в письме 28 ноября 1916 г. предложил Андрееву отдать «Младость» Второй студии МХТ. Однако пьеса была поставлена в студии лишь в 1921 г.

Пьеса переведена на испанский язык.

Стр. 254. *«Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался...»* — начальные строки из стихотворения (без названия) А. Майкова (1854).

Стр. 263. *«На заре туманной юности всей душой любил я милую...»* — начальные строки романса А. Л. Гурилева, написанного на слова стихотворения А. В. Кольцова «Разлука» (1840). «На заре туманной юности» — один из первоначальных вариантов названия пьесы «Младость».

Стр. 266. *...у Пушкина: «Зоя милая девушка — ручка белая, ножка стройная».* — Здесь: свободный пересказ строк из стихотворения А. С. Пушкина «Бова (отрывок из поэмы)» (1814):

...Зоя, милая девица,
Ангел станом, взором, личиком,
Белой ручкой, нежной ножкою...

Стр. 279. *«Ночи безумные»* — популярный цыганский романс, написанный на основе стихотворения А. Н. Апухтина (1876).

Стр. 292. *«Равнодушная природа красою вечною сиять»* — слова из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829).

Стр. 297—298. *«Ах, зачем порой — вижу траур в них...»* — отрывок из популярного «цыганского» романса, песенного варианта стихотворения Е. П. Гребенки «Черные очи» (1843).

Стр. 299. *Лотоха* (диалект.) — от «лотошить» — суетиться, торопиться.

Стр. 300. *Ремингтон* — марка пишущей машинки.

Стр. 307. *Осени поздней цветы запоздалые...* — строка из романса «Ночи безумные».

ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ

(Стр. 309)

Впервые — Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник», кн. 24. Пг., 1916. Отдельной книгой в том же году пьеса вышла в издании журнала «Театр и искусство». В 1919 г. выпущена издательством И. П. Ладыжникова в Берлине. Печатается по *СС*, т. 17.

В письме к С. С. Голоушеву от 10 сентября 1915 г. Андреев пишет: «С 17—18 августа я среди болей и прочего сел за работу» — и называет в числе других произведений, законченных за это время, и «Тот, кто получает пощечины» — «большую 4-актную пьесу для Драматического театра. Будет здорово играться и смотреться!» (*Реквием*, с. 117).

Постановке своей новой драмы в Московском драматическом театре (сад «Эрмитаж») Андреев придавал большое значение: осенью 1915 г. он специально приезжал в Москву, чтобы присутствовать на репетициях, а еще ранее написал ряд писем к некоторым актерам этого театра, в которых дал подробные пояснения к пьесе.

Особенное внимание в своих комментариях он уделяет характеру Консуэллы. В письме к актрисе Е. А. Полевицкой от 28 сентября 1915 г. он подчеркивает, что в раскрытии его «одна из важнейших задач артистки и режиссера: показать богиню под мишурой наездницы и акробатки.

Со стороны характера, психики — Консуэлла возвышенна, чиста и бессознательно *трагична*. Последнее *очень* важно. И это не внешний драматизм пышной Зиниды, а глубокий и истинный *трагизм*, создаваемый противоречием между божественной сущностью Консуэллы и ее внешним *случайным* выражением. Она в плену у жизни, она порабощена тяжкой реальностью, силою вещей — и она *страдает*. До появления Тота она находилась как бы во сне — он *разбудил* ее; и тот момент, когда она хочет припомнить свою родину, небо и не может, полон для нее величайшей *скорби*. В этом смысле, по силе трагических переживаний, возрастающих к четвертому акту, она не менее *героиня*, нежели Катерина в «Грозе». Нет ничего легче драмы, в которой все снаружи: в движении, крике, слезах, воплях, в ясной видимости драматических столкновений — страшно велика трудность этой роли, где вся трагичность внешне основана *на полутонах, на вздохе, на улыбке, на выражении печали в лице и глазах, где душа скрыта от самого переживающего.* 〈...〉 Истинный узел драмы 〈...〉 именно в Консуэлле. 〈...〉 В этой пьесе есть спор между язычеством Эллады и христианством, отравившим любовь; в этой пьесе-сказке повествуется о прекрасных богах, мучимых земным засильем, заблудившихся в лабиринтах

мелких человечков и тяжелых страстей» (цит. по кн.: Андреев Л. Пьесы. М., 1959, с. 581—582).

Пьеса была поставлена в Московском драматическом театре 27 октября 1915 г. режиссером И. Ф. Шмидтом, а в Петрограде 27 ноября 1915 г. состоялась премьера «Тота» в Александринском театре (постановка В. Н. Петрова).

Обе постановки, и московская, и петроградская, имели, согласно театральной хронике и воспоминаниям современников, большой успех у зрителя. Однако критика выступила преимущественно с отрицательными оценками пьесы. Как обычно, в отзывах превратно истолковывалась природа условности андреевского театра, драматурга обвиняли в «ходульности» и «оригинальничании», хотя почти все рецензенты отмечали замечательную игру И. Н. Певцова — исполнителя Тота в Драматическом театре. А. Р. Кугель, обычно благожелательно оценивающий новинки Андреева-драматурга, на этот раз холодно отозвался о пьесе, попрекая автора отсутствием ясно выраженной мысли, которую здесь подменяет множество противоречащих друг другу «идей» в кавычках, и злоупотреблением внешними сценическими эффектами (Театр и искусство, 1915, № 49, с. 927—931).

С. Голоушев дает пьесе высокую оценку и говорит о Тоте как о роли, требующей для своего исполнения трагического актера шаляпинского масштаба. В своей статье он указывает на сущностный конфликт, лежащий в основе этой драмы-«маскарада, где маска каждого срослась с кожей»: «Тот — это снова Человек с большой буквы, и снова рядом с ним — господин, человек маленького «ч». Снова столкновение личности и толпы, величия духа и пошлости. Побеждена личность. У нее отнято все, чем она жила» (Утро России, 1915, 28 окт.).

Своеобразную интерпретацию пьесы дал Ф. Сологуб. В «Тоте» он видит «вскрытие ясных очертаний древнего мифа под личинами переживаемой нами действительности» (как на предшествующие опыты в этом роде Сологуб указывает на «Екатерину Ивановну», перекликающуюся с мифом о Эвридике, и на уже прочитанного им «Самсона в оковах»— аналог сказания о Прометее). Тот, в его прочтении, является посланцем иного, высшего мира, Творцом идей, который «низшел до арены цирка, опять принял на себя униженный вид, рабий зрак, воклоунился, чтобы снова принять заушения». Консуэлла — это «дочь народа, душа простодушного человечества, очаровательная Психея... И повторяется вечная история невинной души, обольщенной вечным Осквернителем. Он последовал за Творцом идей на арену цирка, он принял вид владеющего мирскими сокровищами, уже он готов сочетаться с земным образом Психеи, увлечь ее на поругание грубой, тупой жизни, полной скуки и порока... Но спасти от греха, проклятия и смерти — вот

зачем воклоунился Творец идей, и он спасет Психею, исторгнув душу ее, еще невинную, из клонящегося к соблазну тела» (Сологуб Ф. Мечтатель о театре.— Театр и искусство, 1916, 4 янв., № 1, с. 15). Интересно, что писатель-символист, резко выступивший против третирующего тона московской прессы, саму отрицательную реакцию критиков включает в выстроенный им мифопоэтический ряд: «Порочность мира, грехи партера принял на себя получающий пощечины, и партер скучает. Доверенное лицо партера, театральный рецензент, объявляет, что пьеса скучна и непонятна» (там же).

Л. Андреев вспоминает сологубовскую трактовку пьесы в письме к Немировичу-Данченко от 4 сентября 1916 г.:«...«Тот, кто получает пощечины» есть широкое обобщение и *точно* и счастливо найденное выражение для весьма сложной группы явлений, *своя Америка* (см. статью Сологуба о «воклоунившемся»)...» *(Письма,* с. 232).

В 1910—1920 гг. пьеса шла в ряде провинциальных театров (в Киеве, Сызрани, Воронеже и др.), а также в Эстонии.

В 1916 г. режиссер И. Ф. Шмидт экранизировал «Тота».

В 1970—1980-е гг. пьеса вернулась на сцену многих советских театров. Она шла в Русском драматическом театре ЭССР, Ленинградском театре им. Ленсовета, Центральном театре Советской Армии и др.

Пьеса переведена на английский, болгарский и испанский языки.

Стр. 309. *Голоушев* Сергей Сергеевич (1885—1920) — публицист, критик, художник, друг Л. Андреева. Печатался под псевдонимом «С. Глаголь».

Стр. 311. *Парвеню* (от фр. parvenu) — выскочка, плебей, пробившийся в аристократы.

Стр. 313. *Обскурант* — мракобес, противник науки и просвещения.

Стр. 319. *Гарпагон* — герой комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой» (1668).

Стр. 325. *Пракситель* (ок. 390 — ок. 330 до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, автор ставших классическими образцами мужской красоты скульптур «Гермес Олимпийский» и «Аполлон, убивающий ящерицу».

Стр. 331. *Аннибал* (Ганнибал) (247/246—183 до н. э.) — один из великих полководцев древности, главнокомандующий карфагенскими войсками в Испании, нанес ряд ощутимых поражений римским войскам.

Корсини — одна из именитейших аристократических фамилий в Италии.

Борджиа — один из самых известных родов Италии, предста-

вители которого отличались жаждой власти, жестокостью, коварством и развратом.

Лонгобарды (лангобарды) — одно из германских племен, вторгшееся в 568 г. в Северную Италию и образовавшее там свое королевство (ныне — область Ломбардия).

Стр. 335. *Психея* (г р е ч. psyche) — душа. В греческой мифологии супруга Эрота; история испытаний и трудностей, выпавших на ее долю, отражена в сказке Апулея «Амур и Психея» (II в. до н. э.).

Стр. 347. *Баккара* — род карточной игры.

САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

(Стр. 374)

Впервые — с подзаголовком «Шуточное представление в одном действии»— Современный мир, 1908, № 11. Отдельным изданием вышла в издательстве И. П. Ладыжникова в Берлине (без указания года). Печатается по *ПССА*, т. 7.

Андреев предполагал поставить пьесу в Александринском театре. Однако, несмотря на одобрение Театрально-литературного комитета, рассмотревшего ее в январе 1909 г., постановка «Любви к ближнему» на его сцене не состоялась, т. к. в эту пору существенно обострились отношения между драматургом и дирекцией императорских театров. Миниатюра была поставлена в Городском театре Одессы (30 января 1909 г.) и в петербургском театре «Кривое зеркало» (12 ноября 1911 г.).

Пьеса переведена на английский язык.

Стр. 380. *Sul mare lucido...*— куплет из неаполитанской песни «Санта Лючия».

ЧЕСТЬ (СТАРЫЙ ГРАФ)

(Стр. 392)

Впервые — под названием «Честь. Драма-пародия» — Речь, 1912, 5 февр., № 35. Печатается по *ПССА*, т. 7.

Московский театр-кабаре «Летучая мышь» показал «Честь» на своих гастролях в Полтаве 28 и 29 апреля 1912 г.

Пьеса переведена на испанский язык.

ПРЕКРАСНЫЕ САБИНЯНКИ

(Стр. 403)

Впервые — с подзаголовком «Историческое происшествие в 3-х частях»— Утро России, 1912, 4, 6 и 8 марта. В 1913 г. отдельной книгой вышло в гектографическом издании журнала «Театр и искусство», а также в издательсте И. П. Ладыжникова в Берлине. В 1913 г. пьесу выпустило издательство «Шиповник» (с рисунками Ре-Ми). Печатается по *ПССА*, т. 7.

В письме к брату, А. Н. Андрееву, от 18 ноября 1911 г. писатель называет пьесу в числе произведений, которые он написал с 15 августа по 19 октября 1911 г. (Русский современник, 1924, кн. 4, с. 132).

В основу сюжета положено одно из легендарных преданий об основании Рима: похищение первыми римлянами, которым нужны были жены, девушек из племени сабин. По воспоминаниям А. Кугеля, Андреев, создавая пьесу, замышлял ее прежде всего как политически заостренную сатиру: «Да вы поймите, ведь сабиняне — это кадеты, ка-де-ты. Они говорят о конституции и праве, а их по зубам, а их по морде!» (К у г е л ь А. Листья с дерева. Л., 1926, с. 90).

Премьера пьесы состоялась в театре «Кривое зеркало» 12 декабря 1911 г. (режиссер Н. Н. Евреинов).

Рецензент этого спектакля писал о евреиновской постановке как о талантливом сценическом воплощении интеллектуально-условной природы «Прекрасных сабинянок». «Самое важное — что в тонкой, художественной пьесе Л. Андреева театр сумел выделить ее главное содержание. Это пьеса, которую надо слушать, прежде всего, а для того, чтобы заставить публику слушать, нужно умно и читать и вникать в текст... Пьеса имела очень большой успех, и автора на первом представлении настойчиво вызывали» (В. П. «Кривое зеркало».— Театр и искусство, 1911, № 51, с. 996).

А. Кугель, не отказывая пьесе в актуально-сатирическом начале, говорит о том, что в драматической миниатюре Андреева ставятся более общие, «вечные» вопросы. «Идея пьесы заключается, разумеется, не в той «коротенькой» мысли... что сила на острие меча... Сущность ее в том, что побеждает наивное, простое, естественное, *произрастающее*, а следовательно, органическое... Хотя по виду пьеса Л. Андреева, конечно, политическая сатира... Но в действительности она шире, чем политический памфлет, и глубже, чем злободневная сатира. Это отрывок из вечной книги о Дон-Кихоте и Гамлете, о воле и уме... двух типах человечества, о роковом дуализме человеческой сущности» (К у г е л ь А. Театральные заметки.— Театр и искусство, 1911, № 51, с. 1007—1008).

Любопытно, что это противостояние двух начал, «римского» и «сабинянского», органически-жизненного и умозрительного, критик распространяет и на творчество самого Андреева. «Ранний, молодой Л. Андреев — вполне римлянин... Но постепенно дух римлянина, владеющего жизнью, стал вытесняться в нем сабинянином, которым владеет идея. Андреев стал все больше и больше удаляться в высь абстракций, в область чистых идей... Сейчас в Л. Андрееве наблюдается отлив: он вновь приближается к римлянинам. И всякий, кому дорог талант Андреева, не может не радоваться этому обороту...» (там же, с. 1009—1010).

Пьеса шла также в ряде провинциальных театров (в Нижнем Новгороде и др.). После революции постановка пьесы была возобновлена в «Кривом зеркале» (премьера 6 февраля 1923 г.).

Пьеса переведена на английский, болгарский и испанский языки.

Стр. 406. *...модусу вивенди.*— Modus vivendi (лат.) — образ жизни, способ существования.

Стр. 408. *Тарпейская скала* — южная часть Капитолийского холма в Риме, с которой в древности сбрасывали в пропасть осужденных преступников.

КАЮЩИЙСЯ
(Стр. 428)

Впервые — под заглавием «Происшествие (Сценка)» — Свободный журнал, 1913, кн. 1, дек., а также — Аргус, 1915, № 9. Отдельной книгой вышла в гектографическом издании журнала «Театр и искусство» (1915). Вошла в издание: Андреев Л. Происшествие. Попугай. Две пьесы. Берлин, И. Ладыжников (без указания года). Печатается по *СС*, т. 17.

В письме к Немировичу-Данченко от 23 декабря 1913 г. Андреев сообщил, что «Происшествие» «зарезано цензурой» (*Письма*, с. 243). Цензор драматических произведений, рассматривавший миниатюру, в своем докладе от 23 ноября 1913 г. пришел к следующему заключению: «Едва ли удобно допускать на сцену пьесы, изображающие в карикатурном виде администрацию» (там же, с. 297). Попытка Андреева представить пьесу в театральную цензуру под другим названием — «Горе купца Краснобрюхова» также потерпела неудачу (см.: Андреев Л. Рассказы. Сатирические пьесы. Фельетоны. М., Правда, 1988, с. 492). Под давлением цензуры автор был вынужден сделать некоторые исправления в тексте, главным из которых была замена персонажа, многозначительно названного «Лицо», на «Городничего», что переносило действие пье-

сы в отдаленное прошлое и смягчало ее сатирическую направленность. При переиздании «Происшествия» в *СС* Андреев восстановил первоначальный текст.

Премьера «Кающегося» состоялась в петроградском Троицком театре 6 апреля 1915 г. (режиссер А. М. Фокин). Постановка вызвала доброжелательные отклики прессы. Своеобразную трактовку ей дал Н. Шебуев, увидевший в пьесе нечто большее, чем остроумную сатиру на провинциальные нравы, произведение, в котором заключена «какая-то особая андреевская правда»: «Только пошляки могут смеяться, слушая эту одноактную трагедию... это одна из значительнейших и удачных пьес Леонида Андреева» (Обозрение театров, 1915, 8 апреля).

УПРЯМЫЙ ПОПУГАЙ

(Стр. 436)

Впервые — под заголовком «Попугай» — Солнце России, 1913, декабрь, № 50. В 1914 г. пьеса вышла в двух гектографических изданиях журнала «Театр и искусство» под двумя разными названиями — «Попугай» и «Дурак». С заголовком «Попугай. Символическое представление в одном действии» вошла в издание: Андреев Л. Происшествие. Попугай. Две пьесы. Берлин, И. Ладыжников (без указания года). Печатается по *СС*, т. 17.

Еще до публикации в печати появилось сообщение о том, что Андреев передал эту пьесу для постановки в театр «Кривое зеркало», и кратко пересказывалось ее содержание (Театр и жизнь, 1914, 4 нояб., № 180, с. 6—7). Однако постановка ее в «Кривом зеркале» не осуществилась. Под названием «Дурак» пьеса шла в Троицком театре в Петрограде (см.: Биржевые ведомости, веч. вып., 1914, 2 дек., № 14531, с. 4).

Стр. 436. Эпиграф — рефрен стихотворения Э. По «Ворон» (1840). Эпиграф задает тему, которая пародийно обыгрывается в пьесе,— неумолимость рока. Зловещее «никогда», многократно повторяемое вороном в стихотворении Э. По и олицетворяющее неизбежность судьбы, у Андреева заменяется на слово «дурак», столь же неутомимо повторяемое попугаем. Не являясь пародией на какое-то конкретное произведение, миниатюра иронически преломляет весьма распространенный в начале века тип драмы, задевая при этом и пьесы самого Л. Андреева (прежде всего — «Жизнь Человека»). «Всесильный Рок предстает здесь в иронической ипостаси неизбывной и вечной человеческой глупости» (Бабичева Ю. В. Эволюция жанров русской драмы XIX—начала XX века, с. 72).

КОНЬ В СЕНАТЕ

(Стр. 444)

Впервые — полностью с подзаголовком «Водевиль в одном действии из римской истории» — Известия ВЦИК, 1924, 12 апреля, № 85, а также: Русский современник, 1924, кн. 1. Ранее отрывок из пьесы с подзаголовком «Анекдот из римской жизни» был напечатан в газете «Русская воля», 1917, 16 и 17 апреля (№ 66 и 67). Печатается по публикации в «Известиях ВЦИК».

В письме к С. С. Голоушеву от 10 сентября 1915 г. Андреев упоминает среди произведений, которые были написаны им за период с 17—18 августа, «Лошадь в сенате»— одноактную нецензурность для Кривого Зеркала» (*Реквием,* с. 117).

В основу водевиля, язвительно иллюстрирующего взаимоотношения русского самодержавия и Государственной думы, легла легенда о римском цезаре Гае Калигуле, который захотел возвести в сан сенатора своего любимого коня.

В феврале 1977 г. пьеса была поставлена Московским театром миниатюр (режиссер Р. Рудин).

Стр. 444. Эпиграф — строка из оды Г. Р. Державина «Вельможа» (1794).

Стр. 445. *...хотят укоротить тогу.*— В ранний период Римской империи тога (верхняя мужская накидка из шерстяной ткани) была официальной одеждой, и поэтому ее длина, цвет и орнамент строго соответствовали должности и возрасту человека.

Стр. 446. *Кельшоз даржан* — немного денег (от фр. quelque chose d'argent).

Альбано — название озера и местечка близ Альбанской горы в области Лаций (сравнительно недалеко от Рима).

Стр. 453. *Ликторы* — должностные лица в Древнем Риме, исполнявшие обязанности почетной стражи при высших чиновниках, а также осуществлявшие охрану во время суда и казней.

Стр. 456. *Нума Помпилий* — легендарный, второй от основания, царь Рима.

Тиверий (Тиберий) Клавдий Нерон (42 г. до н. э.— 37 г. н.э.) — римский император. Согласно версии древнего историка Тацита, пристрастно относившегося к Тиберию, был задушен по указанию римского префекта Макрона, сторонника Калигулы.

Стр. 457. *Кто я? Я бог, вот.*— Во время своего правления Калигула ввел культ почитания его как бога.

Я Кастору отрубил голову, я Полуксу отрубил голову...— Здесь намеренный анахронизм. Кастор и Поллукс — Диоскуры, мифологические братья-близнецы, сыновья Юпитера и Леды, герои похода аргонавтов и других сказаний.

МОНУМЕНТ

(Стр. 460)

Впервые — с подзаголовком «Комедийка в одном действии» — Ежемесячный журнал для всех, 1917, январь, № 1. Печатается по тексту этой публикации.

Пьеса была поставлена театром «Кривое зеркало» (премьера 13 февраля 1916 г.). В письме А. Кугелю, написанном в день премьеры, Андреев говорит о своем желании переделать пьесу, «дать хороший острый кончик», дополнить действие условно-гротесковыми моментами (явлением во сне городскому голове тени Пушкина и т. п.). Однако это намерение осталось незавершенным, писатель успел написать только черновой вариант второго действия «Сон городского головы» (опубликован в журнале «Театральная жизнь», 1968, № 20).

А. Кугель в своей рецензии назвал «Монумент» «остроумной, едкой и злой сатирой» и также сожалел об отсутствии эффектной сценической развязки. «Трагические маски Л. Андреева часто представляются неубедительными, потому что я не вижу в них лица реальной действительности, но «рожи» или, если хотите, «хари», комически отвратительные или смешащие, наоборот, тем и показательны, что в них претворяется хорошо знакомая жизнь. Этот «пушкинский комитет», под председательством «градского головы», на котором «медаль» и который поэтому не может потерпеть «голизны» памятника; чахоточный учитель, робко начинающий свои речи с обязательного «но», и в особенности «некто, внушающий почтение и легкий трепет» с его семинарскими оборотами и робостью, а также «самый умный человек во всей губернии», Мухоморов, ибо он самый трусливый,— вся эта коллекция «рож» превосходна» (Homo novus. Заметки.— Театр и искусство, 1916, № 8, с. 159—160).

В феврале 1977 г. пьеса была поставлена Московским театром миниатюр (режиссер Р. Рудин).

Стр. 463. *Монмари* — мой муж (фр. mon mari).

М. В. Козьменко

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПЬЕСЫ

САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ

Андреев Л. Н.

А 65 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 5. Рассказы; Пьесы 1914—1915; Сатирические миниатюры для сцены 1908—1916/Редкол.: И. Андреева, Ю. Верченко, В. Чуваков; Сост. и подгот. текста В. Александрова и Е. Жезловой; Коммент. М. Козьменко.—М.: Худож. лит., 1995.—511 с.

ISBN 5-280-01530-X (Т. 5)
ISBN 5-280-00978-4

В пятый том собрания сочинений вошли рассказы и пьесы 1914—1915 гг., а также сатирические миниатюры для сцены, созданные Л. Андреевым в 1908—1916 гг.

А $\frac{4702010106\text{-}040}{028(01)\text{-}95}$ Подписное ББК 84(2Рос-Рус)1

Леонид Николаевич Андреев

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Том пятый

Зав. редакцией
С. КНЯЗЕВА

Редакторы
С. ЧУЛКОВ и Н. ЖИЛЬЦОВА

Художественный редактор
Г. МАСЛЯНЕНКО

Технический редактор
Н. КОШЕЛЕВА

Корректоры
Б. ТУМЯН и Т. ФИЛИППОВА

ИБ № 6224

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.
Сдано в набор 20.08.90. Подписано к печати 09.03.95. Формат 84×108 1/32 Бумага тип. № 2. Гарнитура "Тип. Таймс". Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88+вкл.+альб.=27,77. Усл. кр-отт. 29,08. Уч.-изд. л. 29,67+вкл.+альб=30,5.
Тираж 50000 экз. Изд. № II-3693. Заказ 828. "С"—268. Заказ 713.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Художественная литература"
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в типографии "Печатный Двор". 197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15

Отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии "Правда Севера", 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32